

Василий Молодяков

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ



ЖЗЛ

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ



Василий
Молодяков



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



ЖИЗНЬ[®]
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1970

(1770)

Василий Молодяков

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
БУДЬ МРАМОРОМ



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
2020

УДК 821.161.1.0(092)
ББК 83.3(2Рос=Рус)
М 75



Научный редактор А.В. Бурлешин

знак информационной
продукции **16+**

ISBN 978-5-235-04234-6

© Молодяков В. Э., 2020
© Издательство АО «Молодая гвардия»,
художественное оформление, 2020

*Являй смелей, являй победней
Свою стообразную суть,
Но где-то, в глубине последней,
Будь мрамором и медью будь!*

Валерий Брюсов

ВСТУПЛЕНИЕ

Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому братья за перо — вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.

Михаил Булгаков.
Записки покойника

Фамилию Брюсов знают все образованные люди, но многие ли читали его произведения за пределами антологий, хрестоматий и прочих массовых изданий? Не потому что «ленивы и нелюбопытны», а потому что Брюсов до сих пор не издан сколько-нибудь полно. В самом объемном из доступных, сиреневом семитомном собрании сочинений 1973–1975 годов цензура не пропустила около полусотни стихотворений даже из прижизненных авторских сборников. Сегодня все крупные поэты Серебряного века изданы лучше, чем он. На какого цензора это свалить?

Нельзя сказать, что о Брюсове писали мало. О нем высказались почти все именитые современники — от Владимира Соловьева до Владимира Ленина, включая Николая Михайловского, Николая Гумилева и Николая Бухарина. Получается замечательная антология, но ее никто не собрал и не издал. Не собраны и воспоминания о нем. Материалов к биографии опубликовано много, а биографии не было. Были только «очерки детства и творчества», где краткие сведения о жизни играют роль дописка к филологическому анализу. «Написать биографию Брюсова сложнее, нежели написать очерк его творчества, — констатировал в 1973 году исследователь русского символизма Л.К. Долгополов. — Жизненный путь Брюсова сложен и противоречив. Он изобилует такими резкими поворотами, такими резкими изменениями симпатий и антипатий, общественных взглядов и политических позиций, какими, пожалуй, не может похвастаться ни один из его современников» (1).

Незадолго до смерти, в статье «Без божества, без вдохновения» Александр Блок писал: «Так же, как неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга — философия, религия, обществен-

ность, даже — политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры» (2). О том же говорил и Брюсов: «Всеобъемлющий гений Пушкина охватывал все стороны духовной жизни его времени: не только интересы искусства, в частности — поэзии, но и вопросы науки, общественной деятельности, политики, религии [...] И вся эта разносторонняя деятельность образует стройное целое, потому что отражает единое мирозерцание, составляет различные проявления единой, цельной личности великого поэта... Как сочинения Пушкина, так и его убеждения — это живой организм, из которого нельзя изъять одну часть, не повредив целого. [...] Пушкина должно принимать в его целом, и только тогда получаем мы в полноте грандиозный облик нашего национального гения» (3). Сказанное применимо и к нему самому.

Эта книга — первая биография Брюсова, описание его жизни и отношений с друзьями и врагами в контексте эпохи. В очерке «Конец Ренаты» Владислав Ходасевич заметил: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. [...] Внутри каждой личности боролись за преобладание “человек” и “писатель”» (4). Как быть с этим единством «двух в одном»? Вадим Крейд утверждает: «Без знания жизненного пути многие стихи теряют часть своего содержания. На биографию можно взглянуть как на комментарий к стихам, тогда понятнее становится творческое развитие» (5). В нашем случае наоборот: произведения, мемуары, дневники, письма Брюсова и его современников — материал для жизнеописания, требующий критического подхода.

Описание жизни Брюсова день за днем может занять много томов. Автор лучше, чем кто бы то ни было, сознает, что смог охватить далеко не все, ибо нельзя объять необъятное: всегда найдется незамеченный мемуар, письмо, слух. Но надеется, что не упустил ничего принципиально важного и не исказил облик героя, причудливо двоившийся уже в восприятии современников. Возлюбленная поэта Нина Петровская была права, написав в 1923 году: «Будущим литературным летописцам придется покорпеть, чтобы из всех этих шлаков восстановить истинный его образ» (6).

Настоящая биография Брюсова впервые увидела свет в 2010 году в издательстве «Вита Нова» и была тепло принята читателями. Необходимости перерабатывать книгу не

возникло, но автор дополнил и местами исправил написанное. Для удобства чтения в цитируемых текстах сокращения, содержание которых не вызывает сомнения, раскрыты без дополнительных обозначений. Все даты до 1/14 февраля 1918 года приводятся по старому стилю; даты писем, отправленных из-за границы, по старому и новому стилям.

В работе, занявшей много лет, мне помогали десятки людей: историки и филологи, архивисты и букинисты, музейщики и издатели, художники и редакторы — перечислить всех не представляется возможным, но я глубоко признателен всем. Особая благодарность А.В. Бурлешину, принявшему на себя, как и в первом издании, труд научного редактора, А.С. Александрову и А.Ю. Сергеевой-Клятис, прочитавшим рукопись. Моя жена О.В. Андреева поддерживала меня на всех этапах работы. Ответственность за возможные упущения и ошибки целиком лежит на авторе.

Василий Молодяков
9 октября 2018,
Токио

Книга первая



ХОЛОД УТРА
(1873—1897)

Погребенных воскресенье
И среди глубокой тьмы
Петуха ночного пенье —
Холод утра — это мы!

Дмитрий Мережковский

Глава первая
«МЕЧТАЮЩИЙ О СЛАВЕ И ПОБЕДАХ»

1

Молодой Брюсов начал рассказ о себе в написанной летом 1900 года, но оставшейся незаконченной повести «Моя жизнь», с неожиданной для декадента фразы: «По происхождению я — костромской крестьянин». Та же тема в стихотворении «Не память...», созданном за год до смерти:

Во мне вдруг вздрогнет доля деда,
Кто вел соху под барский бич...
И (клич сквозь ночь!) я снова, где-то, —
Все тот же старый костромич.

Это не рисовка, но стремление подчеркнуть свое отличие от собратьев по символизму — выходцев из дворянских семей, видевших деревню помещичьими глазами. Брюсов — внук крестьянина, ставшего купцом и переселившегося в город, — деревни не знал, но «старым костромичом» в себе гордился.

Дед Валерия Яковлевича по отцу, Кузьма (Козьма) Андреевич Брюсов (1817—1891) родился крепостным крестьянином помещицы Федосьи Алалыкиной, владевшей землями в Карцевской волости Солигаличского уезда Костромской губернии. В семейном архиве сохранилось письмо барыни Кузьме Андреевичу от 27 мая 1845 года из деревни в Москву, которое внук приложил к «Моей жизни» как документ эпохи — и самый ранний из известных нам письменных источников по истории рода Брюсовых. Речь в нем идет о выкупе из крепостного состояния, в чем ему помог московский купец Смирнов (1). О жизни деда мы знаем главным образом со слов внука, который основывался на рассказах и записях отца: «Слышал, что в молодости

он был печником. Старший брат его (кажется) нажился в Кронштадте (то есть был отпущен на заработки. — *В.М.*) и, умирая, оставил ему маленький капитал, на который он и начал торговлю пробками. [...] Особенно помогли ему годы Крымской войны. В те времена в России еще не было пробочных фабрик, пробки надо было привозить из-за границы морем, а все порты были в блокаде. Дед рискнул выписать товар на свой собственный страх через Архангельск; товар дошел, и он мог брать за него любую цену. В [18]60—[18]70-х годах пробочная торговля К.А. Брюсова была единственной в Москве, обороты доходили до 90 000 в месяц». Жаль, из конторских бумаг почти ничего не сохранилось.

Фирму Брюсовых знали не только в торговом мире. Вспомнили о ней насмешники-футуристы, поглумившиеся над происхождением Валерия Яковлевича в манифесте «Идите к черту» (1913): «Василий Брюсов привычно жевал страницами “Русской мысли” поэзию Маяковского и Лившица. Брось, Вася, это тебе не пробка!..» Бенедикт Лившиц вспоминал: «Василий — не опечатка, а озорство: поэт любил свое имя, вводил его в стихи, злоупотреблял его благозвучием [...] Ладно — назовем его в таком случае Василием! Пробка — тоже неспроста; это — намек на принадлежащий Валерию Яковлевичу, а может быть, и никогда не существовавший, пробковый завод» (2). Насчет пробкового завода Лившиц только «слышал звон», а вот с именем угадал, хотя и случайно: первая публикация десятилетнего Валерия — письмо в редакцию детского журнала «Задушевное слово» в 1884 году — по ошибке оказалась подписана «Вася Брюсов».

Кузьма Андреевич «был крепкого здоровья, бодр до глубокой старости. Пока торговлей распоряжался он, дело шло так или иначе, несмотря на сильную конкуренцию, развившуюся за последние годы. Образ жизни до конца дней своих он вел самый простой. Ели у него из общей чашки. Обед ограничивался щами да кашей; редко прибавляли жаркое, котлеты. Читать он умел и охотно перечитывал разрозненный том Четьи-Миней и еще какие-то издавна бывшие у него книги. Писать он так и не научился, лишь с трудом, каракулями подписывал свою фамилию. Бабка моя, его жена, Марфа Николаевна (ошибка Брюсова; следует: Никоновна. — *В.М.*), перед ним не смела возвышать голову, но далеко не была женщиной запуганной и дом держала строго». Некоторое представление об этом дает коллективное послание к ней членов семьи, начинающееся: «Милой

моей сожительнице Марфе Никоновне от сожителя твоего Козьмы Андреевича свидетельствую мое искреннее почтение и желаю доброго здоровья и всякого благополучия. Милой нашей и неоцененной мамаше от детей Ваших Якова, Дарьи и Лизаветы Козьминых и Александра Ивановича (муж Д.К. Губкиной, урожд. Брюсовой. — В.М.) свидетельствуя Вам наше сердечное искренно-любящее почтение вместе с тем просим у Вас наше заочное родительское благословение и посылая вам несчетное число поцелуев, желаем Вам всякого благополучия и молим всевышнего творца, чтоб сохранил он Ваше неоцененное для нас здоровье».

Расторговавшись, Кузьма Брюсов в 1877 году купил — «кажется, не без некоторой коммерческой хитрости» — каменный дом на Цветном бульваре (дом 22 по современной нумерации). «Местность эта была тогда еще довольно пустынная, — вспоминал внук. — На бульваре были постоянные балаганы, вторая половина бульвара только что разбивалась. Самотечный пруд еще не был даже огорожен. Но местность застраивалась и заселялась быстро». Рассказов о доме сохранилось много, причем они, как водится, не просто различаются, но порой противоречат друг другу. Собрав их, А.Л. Соболев затем изучил кадастровый план и дал четкое описание, которым мы и ограничимся:

«Земля, на которой был построен дом, имела официальный адрес: “Сретенской части участок за № 24 по проезду Цветного бульвара”. [...] Он имел площадь в 1260 квадратных саженей — в нынешней терминологии около 57 соток. Форма его была клиновидной; в широкой части, выходящей на Цветной бульвар, располагался главный дом; в сужающемся фрагменте — сараи и служебные помещения, всего четыре строения. Дом был одноподъездным; двухэтажным со стороны бульвара и трехэтажным со двора. На фасаде — восемь окон по первому этажу, восемь — по второму; посередине, над входной дверью, был балкон с ажурной решеткой, поддерживаемый двумя колоннами» (3).

Опасаясь мотовства сына, Кузьма Андреевич завещал дом внукам Валерию и Александру с условием не продавать его до достижения старшим из них, Валерием, тридцатипятилетнего возраста, то есть до декабря 1908 года. С начала 1900-х годов дом был преобразован в доходный с восемью квартирами, из которых сдавались шесть. Управляла домом Иоанна Матвеевна Брюсова, жена Валерия Яковлевича. Они занимали одну из оставшихся квартир; в другой жили родители с дочерьми, до выхода двух из них замуж.

Наконец, 22 июня 1910 года внуки продали дом за 65 тысяч рублей Александру Робертовичу Герценбергу, владевшему соседним зданием, и разъехались. Валерий Яковлевич и Иоанна Матвеевна сняли у купца Ивана Баева квартиру в первом этаже дома 32 по Первой Мещанской улице (ныне проспект Мира, 30) — где прожили до смерти; сейчас там Музей Серебряного века.

Старый дом не уцелел, хотя «в статусе жилого [...] почти без ущерба пережил труднейшие годы истории отечества. В 1978 году равнодушный свидетель (журналист О. Точеный. — В.М.) писал: “Дом Брюсовых на Цветном бульваре неплохо сохранился до наших дней, он выглядит сейчас почти так же, как и столетие назад. Можно только сожалеть, что исчез ажурный металлический балкон, находившийся на уровне второго этажа дома, над парадным входом. Думается, что пришла пора восстановить его, благо, что сохранились старинные фотографии здания”. Последние же десятилетия оказались для него фатальными: в конце 1990-х годов дом был снесен и заменен своим не слишком похожим подобием. Балкончик, впрочем, вернули» (4).

У Кузьмы Андреевича и Марфы Никоновны было трое детей — сын Яков и дочери Дарья и Елизавета. В 1855 году, когда Якову исполнилось семь лет, «тятенька» отдал его «в частный пансион, платя за обучение по 2 рубля в месяц. Там мальчик оставался в течение полутора лет, после чего его знания мой дед, — вспоминал Александр Брюсов, — счел достаточными для ведения торговых книг, и с 9 лет мальчик стал бесплатным конторщиком в деле Кузьмы Андреевича» (5), помогая грамотному дяде Петру Андреевичу. С десяти лет Яков пытался вести дневник, но записывать было нечего, разве что «Рубили капусту в дождик» (запись повторялась в октябре, из года в год) или «1858 года в августе начала ходить на небе комета звезда с хвостом и кончилась в 1 числах октября».

Записи и рассказы отца послужили Валерию Яковлевичу материалом не только для автобиографических страниц, но и для «повести из жизни 60-х годов» «Обручение Даши» (1913) и оставшегося в набросках романа «Стеклянный столп», над которым он работал в годы Первой мировой войны (6). Яков Брюсов стал прототипом главного героя повести — честного и неискушенного Кузьмы Русакова, которому «в привычной полутьме отцовской лавки, где уже третье поколение торгует бечевой, веревками, канатом, вязкой [...] мечталось легко и привольно». Юношей вол-

новали одни и те же проблемы: «С папенькой об чем разговаривать? Он, кроме жития святых да старинного описания Макарьевской ярмарки, ничего не читал, а о Тургеневе (время споров о романе «Отцы и дети». — В.М.), понятно, не слыхивал. Да и один у него сказ на все: "Ты, Кузьма, дурак, твое дело — бечева, а не книги!"... Мысли Кузьмы были прерваны окриком отца: "Что ворон считаешь, Кузьма! За дело взялся, так, того, в дело и смотри. Эдак ты ложку мимо рта пронесешь". Вздохнув, Кузьма вернулся к товарной книге. "Четырехшнуровых по двадцати сажен столько-то, шестишнуровых по десяти сажен столько-то, двойных трехшафтовых столько-то пудов..."».

Яков Кузьмич самостоятельно выучил латинскую азбуку и с апреля 1862 года начал вести ей дневниковые записи, которые никто в доме не мог прочитать. Первая тетрадь озаглавлена: «*Moi Journal ili dnevníc Jaca Casmina Brusova. Се 1862*» (такой же дневник вел Кузьма Русаков). «Латинскими буквами дневник заполнялся до тех пор, пока у Я.К. Брюсова не появилась шкатулка с ключом, куда можно было спрятать дневник от посторонних глаз. [...] Последние записи относятся к октябрю 1866 года. [...] Говоря о "быте Островского"* , в котором вырос и нравственно сформировался отец поэта, надо иметь в виду, что в семье Брюсовых, по-видимому, не было жестокости. [...] Ни об одном серьезном конфликте с родителями Яков Кузьмич в своем дневнике не пишет ни разу. Стеной, о которую разбивались многие стремления и упования молодежи, была скупость отца. Оказалось невозможным, например, брать уроки французского языка и танцев, пришлось оставить занятия в хоровом классе пения, с трудом приходилось убеждать родителей сделать детям выходные туалеты, чтобы можно было пойти в гости по приглашению. [...] "Все у них (то есть у отца, уважительно именуемого во множественном числе. — В.М.) обыкновенный ответ, что «танцы пустяки, от них денег не получишь»". [...] Но разговоров о жесткости, страха наказания и т.п. в этом дневнике нет абсолютно. Дети, в общем-то, были предоставлены сами себе» (7).

Это обстоятельство сыграло большую роль в жизни как отца поэта, так и его самого. Яков Кузьмич вырос в атмосфере «темной», но человеческой: духовной близости с отцом у него не было, но было уважение, а в зрелые го-

* В «Моей юности» Брюсов охарактеризовал семью деда как «быт, запечатленный Островским».

ды — взаимопонимание. Отсутствие насилия и жестокости в собственном детстве в сочетании с прогрессивными увлечениями юности сделали из него гуманного и терпимого отца, возможно, даже несколько легкомысленного. Валерий Яковлевич тоже рос, предоставленный самому себе, и, несомненно, любил и уважал Якова Кузьмича, который, в отличие от Кузьмы Андреевича, старался если не жить интересами сына, то уважать и понимать их. Закоренелый «шестидесятник», он получал все декадентские журналы, читал и даже не бранился.

Тяга к литературе — не только к чтению, но и к сочинительству — у Валерия Яковлевича тоже от отца. «В 1865 году Я.К. Брюсов вместе со своим товарищем И.П. Смирновым приступает к изданию рукописной газеты “Эхо” и журнала “Свобода”. [...] Программа газеты очень широка. В ней предполагалось 11 разделов. Среди них: политика; обзор русских и иностранных журналов и газет; статьи о науке и искусстве; стихи и проза; сатира и юмор; библиография и критика и т.д. Практическое исполнение этого замысла, конечно, очень наивно и примитивно. Все статьи, стихи и рассказы писали Я.К. Брюсов и И.П. Смирнов, — разумеется, на уровне очень малой культуры и образованности. Но тяга к образованию, общий “культуртрегерский” пафос этих “изданий” двух молодых людей, стремление их стать выше своей среды — бесспорны» (8). С незначительными оговорками сказанное можно применить к детским и гимназическим «журнальным» опытам Валерия Яковлевича, речь о которых впереди. Менялось время — менялись темы и уровень знаний, но пафос и настроение оставались прежними.

Юношеские записи Якова Кузьмича «очень подробны и обстоятельны, очень наивны и вместе с тем часто ярки, почти пластически выразительны: “Мы сели в вагон. Я с Лизой рядом, а визави у окна Маргерит: контр-визави около нас поместились замоскворецкие типы толстых купчих, между ними замешалась хорошенькая барышня лет 17-ти, тоже из купеческого быта; когда поезд тронулся, все они, не исключая и мадемоазель, перекрестились большими крестами”. [...] Очень колоритен язык дневника, представляющий собой смесь купечески-мещанской речевой стилистики с вкраплениями иноязычных слов, которые для автора дневника очень важны, так как использование их есть для него признак высшей культуры, к которой он тянется изо всех сил» (9). Велико искушение применить последние сло-

ва к французским и латинским заглавиям первых поэтических книг Валерия Яковлевича...

В четырнадцать лет Яков Кузьмич читал Загоскина и Поля Феваля, в шестнадцать — Гоголя, Тургенева и Достоевского: двух последних — как новинки текущей литературы (дело происходило в 1864 году). Отмечу еще одну черту сходства между отцом и сыном, старшими из детей в семье: Яков Кузьмич пытался руководить образованием и чтением сестер; Валерий Яковлевич был первым учителем своих сестер и продолжал уроки даже в переписке, когда уезжал из Москвы*. «Обычно такие затеи братьям мало удаются», — заметила его жена Иоанна Матвеевна (10). Она вряд ли знала, что Елизавета Брюсова (которая читала даже Герцена и Лас-салья в анонимных и запрещенных изданиях) писала любимому брату Якову в 1873 году: «Ты сам хорошо знаешь, чем ты был для меня целых двадцать лет». То же самое могли сказать — и говорили — сестры о Валерии Яковлевиче.

Яков Кузьмич и его товарищи увлекались романом «Что делать?» и в 1869 году создали по его примеру «Модную мастерскую, основанную на началах ассоциации» и «Частную сберегательную кассу»; правда, через несколько лет оба предприятия прогорели (11). Осенью 1899 года, просматривая в библиотеке Исторического музея старые журналы, роман прочитал его сын-декадент. «Во мне есть пути, на которых я схожусь с крайностями шестидесятых годов, — писал он тогда Ивану Коневскому. — Я люблю их буйство и ниспровержение всех кумиров, разрешение всяческих свобод» (12). Языком Чернышевского — как языком времени — Яков Кузьмич объяснялся в любви своей будущей жене Матрене Александровне Бакулиной: «Если бы Вы даже не любили меня, то я все-таки люблю и буду продолжать любить Вас, может быть той любовью, которой любит Лопухов Веру Павловну даже тогда, когда она его разлюбила. [...] Если Вы не любите меня, неужели мы прервем свои сношения или переменим что-либо в своих отношениях — мы причисляем себя к новым людям, неужели на этом споткнемся?»

* Младшие братья и сестры: Николай Яковлевич (1877–1887); Надежда Яковлевна (1881–1951) — музыковед, профессор Московской консерватории; Евгения Яковлевна (в замужестве Калужная) (1882–1977) — преподаватель Московской консерватории; Александр Яковлевич (1885–1966) — археолог, профессор, в молодости выступал как поэт и переводчик; Лидия Яковлевна (в замужестве Кисина) (1888–1964) — химик, профессор.

Матрена Бакулина, как писала ее невестка, «в [18]70 году покинула Елец, где воспитывалась как “барышня” у тетки-купчихи, приехала в Москву, сняла с шеи крест, остригла волосы, поступила на службу, повела знакомство с молодежью, стремившейся, как она сама, к образованию и отчасти к развлечению, устроилась на тех же курсах, что и молодой купец Яков Брюсов» (13). О курсах сказано не совсем верно — речь идет о кружке самообразования, в который входили Яков и Елизавета Брюсовы, Матрена Бакулина и ее сестра Зоя, а также образованный и бойкий Г.С. Михайлов, который в 1874 году женился на Елизавете. Надежда Брюсова считала его прототипом Аркадия Липецкого из «Обручения Даши», но сходство может быть только очень отдаленным: в частности, между ним и Яковом Кузьмичем не было никаких заметных столкновений. Елизавета Брюсова умерла в 1879 году в Ялте от скоротечной чахотки (14).

В 1871 году Яков Кузьмич вопреки воле отца поступил вольнослушателем в Петровскую сельскохозяйственную академию, но через год был вынужден оставить ее, поскольку не имел законченного гимназического образования. В январе 1872 году он пошел на новый конфликт — женился. «Родители уже выбрали ему невесту из купеческой семьи с подходящим состоянием. Но он задумал жениться по своему выбору. Мать моя была из семьи очень небогатой, у нее было пять сестер и шесть братьев, так что ни на какое наследство надеяться было невозможно. [...] На этот раз дело дошло до полного разрыва. Отец ушел из семьи, нашел место в суде на 20 р. в месяц. Он рассказывал мне, с каким внутренним самоудовлетворением отказывался он от взяток и благодарностей. Впрочем, [служба отца] продолжалась не долго. Дед, до безумия любивший своего единственного сына, Яшу, сам пришел к нему мириться. Отец вернулся в прежнее дело». Уже в марте 1873 года он принял на себя руководство пробочной торговлей Кузьмы Андреевича — неохотно, но понимая, что без формального образования другой работы не найти. Тоскуя, он пристрастился к вину. После смерти отца и раздела его наследства, Яков Кузьмич передал дела фирмы более предприимчивым родственникам и жил на проценты с капитала, которые стали основным источником существования и для его детей на многие годы.

Второй дед будущего поэта Александр Яковлевич Бакулин (1813—1894) являл собой полную противоположность

Кузьме Андреевичу. Он родился в Ельце в состоятельной купеческой семье, потерявшей значительную часть состояния в 1840-е годы, в том числе из-за разрушительного пожара. Александр Яковлевич арендовал мельницы и имения, где хозяйством занимались его многочисленные дети от двух браков, и был принят в домах соседей-помещиков почти на равных. В юности он однажды видел Пушкина, о чем с благоговением вспоминал до конца жизни, поскольку главной его страстью была литература. «Он писал лирические стихи, поэмы, повести, романы, драмы, — сообщает внук, — но особенно сильным считал себя в баснях. Воспитывавшийся еще в Пушкинскую эпоху [...] он признавал только Державина, Крылова, Пушкина и поэтов Пушкинской плеяды; уже к Лермонтову (своему погодку. — В.М.) он относился несколько пренебрежительно, “новых” же поэтов, как, например, Фета или Полонского, он отрицал совершенно. Кое-что из своих произведений деду удавалось пристроить в разные мелкие издания, а в 1864 году он даже издал отдельной книжкой свои басни (под псевдонимом “Басни провинциала”*)». Александр Яковлевич входил в Суриковский литературно-музыкальный кружок писателей-самоучек и участвовал в его сборнике «Рассвет» (1872).

«Дед обычно целые дни проводил за письменным столом, исправляя свои старые сочинения и неустанно списывая новые груды бумаги. Сыновья и дочери, конечно, подсмеивались над тем, что считали чудачеством отца, но дед до конца жизни ждал, что его, наконец, оценят по справедливости, и умер с уверенностью, что придет когда-нибудь его день, и Россия поставит после имен Державина, Крылова и Пушкина равное им имя — Александра Бакулина». Благодарного слушателя непризнанный баснописец нашел лишь на старости лет: «Дед первоначально любил меня, посвятил мне одну сказку и длинное стихотворение “Волки”. Позже он интересовался моими литературными опытами и отстранился от меня окончательно лишь после появления первого выпуска “Русских символистов”». Александр Яковлевич умер в январе 1894 года, до выхода первого выпуска, но мог читать неопубликованные стихи внука-декадента или слышать их от него. Внук написал о нем трогательный рассказ «Голубочки — это непорочность» и статью «Стихотворения и басни А.Я. Бакулина» (15), при-

* Имеется в виду анонимное издание под таким заглавием, вышедшее в Москве.

ведя образцы его творений, и даже подписывался «В. Бакулин». Приведу одну из многочисленных басен непризнанного поэта, которые он сам распределил по двенадцати книгам, «Волы и молодая Кобылка»:

Волы везли тяжелый воз.
Кобылка молодая,
По выгону гуляя,
Завидя их, заржала: «Вот курьез,
Вот смех! Смотрите-ка: в упряжке!
Да как послушны, как идут!»
А утром, глядь, самой бедняжке
Пришлось примеривать хомут.
Смеялся бы Волам Орел иль Сокол птица.
Ну... те летают в высоте.
А то смеется кобылица,
Чья мать и чей отец ходили в хомуте.

2

Валерий Яковлевич Брюсов родился в Москве 1 декабря 1873 года, под знаком Скорпиона, в доме армян Хероудиновых (Милютинский переулок дом 14). Крестили его в ближайшей церкви Евпла архиерея на углу Милютинского и Мясницкой (разрушена в 1926 году). Сохранившаяся метрическая справка гласит: «В метрической книге Московской Евпловской, что на Мясницкой, церкви тысяча восемьсот семьдесят третьего года № 16-й писано: Декабря второго числа (так! — *В.М.*) родился Валерий, — крещен 6-го числа, родители его: Московский 2-й гильдии купеческий сын Мясницкой слободы Яков Косьмин Брюсов и законная его жена Матрона Александровна, оба православного вероисповедания, восприемники были: Лебедянский второй гильдии купеческий сын Яков Александрович Бакулин и Московская 2-й гильдии купеческая дочь девица Елизавета Косьмина Брюсова, крестил священник Димитрий Добронравов с причтом» (16). Жизни в Милютинском переулке Валерий Яковлевич помнить не мог, потому что через год с небольшим после рождения первенца Брюсовы переехали в дом Бари на Яузском бульваре (дом 10), где прожили более трех лет. В отличие от Андрея Белого, он не уверял, что осознал себя чуть ли не в утробе матери: «Помнить себя я начинаю лет с четырех, а что было до тех пор, отчасти знаю по рассказам».

О своем детстве Брюсов рассказал с юмором, передавая дух времени, захвативший родителей: «Они с жаром предались моему воспитанию, и притом на самых рациональных основах. Начали с того, что меня не пеленали вовсе. Я мог барахтаться сколько угодно и наперекор старорусскому убеждению нисколько не вышел искривленным. Кормила меня мать сама, конечно, по часам. Игрушки у меня были только разумные. [...] Родители мои очень низко ставили фантазию и даже все искусства, всё художественное. Им хотелось избрать своим кумиром Пользу. Поэтому мне никогда не читали и не рассказывали сказок. Я привык к сказкам относиться с презрением. Впервые прочитал я сказки лет 8-9-ти; тогда как читать научился я 3-х лет от роду, а полюбил слушать чтение еще раньше». «Если мы сами вышли ни то, ни сё, то пусть наши дети будут настоящими людьми», — писал Яков Кузьмич жене, пояснив в другом письме, когда любимому «Вальке» было всего девять месяцев: «Я не хочу, чтобы он вынес из своего детства обыкновенные обыденные впечатления с предассудками».

Летом 1877 года Брюсовы, в семье которых только что родился второй сын Николай, отправились в Крым: первое путешествие в жизни Валерия. «Море и скалы, “царственные виды соседства гор и вод Тавриды” сразу обольстили мое детское воображение. [...] В памяти у меня остались лишь разрозненные отрывки впечатлений этого лета: запомнилась почему-то, и вполне отчетливо, Ореанда; запомнились стены севастопольских домов, на которых тогда еще показывали следы ядер и пуль Крымской войны; запомнилась бурная ночь, когда ветер срывал ставни на ялтинских домах, а в море затонуло немало рыбацких баркасов».

В 1878 году на Яузском бульваре у Брюсовых, незадолго до их переезда на Цветной бульвар, бывал революционер-народоволец Николай Морозов, будущий узник Шлиссельбургской крепости, почетный академик и автор «новой хронологии». Яков Кузьмич в революционном движении не участвовал, но считал делом чести помочь товарищам, если тех преследовали власти. Морозов сажал хозяйского сына «на свое колено и качал, предлагая мне воображать себя скачущим на лошади», но маленький Валерий вряд ли это запомнил. В марте 1910 года он записал в дневнике: «Познакомился с Н.А. Морозовым, шлиссельбуржцем. Он знал меня ребенком, качал на коленях — так как гимназистом и студентом был близок с моим отцом. [...] Узнав, что

я сын его старого знакомого, был тронут, обнял меня, поцеловал. Много говорил с моей матерью, вспоминал прошлое». Памятью нового знакомства стал инскрипт на втором томе собрания стихов «Пути и перепутья» (1908): «Николаю Александровичу Морозову на память о давних, давних днях, когда он качал на коленях будущего автора этой книги. Валерий Брюсов» (17).

Валерий Яковлевич вспоминал, что родители воспитывали его не только рационально, но в материалистическом и атеистическом духе. «Об идеях Дарвина и о принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножению. Нечего и говорить, что о религии в нашем доме и помину не было: вера в Бога мне казалась таким же предрассудком, как вера в домовых и русалок». Выступая с ответной речью на своем юбилее в Российской академии художественных наук 16 декабря 1923 года, он рассказывал: «Вся моя семья были именно шестидесятники. Первые мои впечатления в детстве — это портреты Чернышевского и Писарева, которые висели над столом отца и так и остались висеть до самой его смерти. Это были первые имена больших людей, которые я научился лепетать. А следующее имя великого человека, которое я выучил, было имя Дарвина. И, наконец, четвертое имя — Некрасова, поэзия которого была долгое время единственно знакомой мне поэзией. В доме нашем не было ни Пушкина, ни Лермонтова — я узнал их несколько позже, а стихи Некрасова я заучил с детства». Именно их он читал матери во время ее предсмертной болезни в 1920 году.

«Вот что было впечатлениями моего детства, вот что создало мое мирозерцание, мою психологию», — подытожил Валерий Яковлевич, добавив: «И я думаю, что какой она была в детстве, такой она осталась и до конца моей жизни». Эту фразу повторяли авторы популярных (а порой и научных) статей о Брюсове, стремясь выставить его последовательным материалистом, оторвать от «мистических туманов» символизма и объяснить его позднейшее сотрудничество с большевиками принятием их философии. Все, что не укладывалось в схему, — от юношеского увлечения спиритизмом до серьезных работ в области эзотерики и традиционных знаний — объявлялось недостойным внимания или замалчивалось.

Юности свойственно вольнодумство: в этом возрасте Владимир Соловьев, сын профессора и внук священника, отказывался ходить в церковь, а однажды выбросил из ок-

на икону. В гимназические годы Валерий Яковлевич тоже «не верил в дух и не ходил к обедне», о чем с доброй иронией писал в поэме «Краски»: «И я вспомнил, что *был* материалистом и позитивистом» (курсив мой. — В.М.). Отвечая самому себе — пятнадцатилетнему атеисту, которому «навсегда указал дорогу» Огюст Конт, — двадцатипятилетний Брюсов говорил:

«Безумец! — воскликнул я, — знай, что ты будешь верить!
Будешь молиться и плакать пред Знаком Креста,
Любить лишь то, где светит живая мечта,
И все проклянешь, что можно весить и мерить!»

Другое дело, что он никогда не был церковным человеком — любая церковность была чужда его духу — но создал ряд стихотворений на библейские темы, которые включались в антологии «душеполезного чтения», одобренные духовной цензурой. В отличие от многих символистов и их эпигонов, в его поэзии, при всем эпатаже, нет ни скрытого, ни тем более откровенного кощунства над религией. А вот как выглядит учение материализма в стихотворении «Истинный ответ»:

«Единенье атомов случайных —
Наша жизнь, смерть — распаденье их».
Рассуждает, фрак надев, о тайнах
Черт в кругу учеников своих.

Кому угодно доверил бы поэт, посвящавший стих «всем богам», свои заветные мысли, но только не «хитрому черту с профессорской осанкой»...

С переездом на Цветной бульвар в 1878 году Валерий впервые соприкоснулся с миром купечества: «типичный вид московской окраины, ничем не отличной от провинции» (18), — хотя родители всячески сторонились «темного царства», которое их сын четверть века спустя красочно описал в поэме «Мир»:

Амбары темные, огромные кули,
Подвалы под полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах,
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свет незоркий...
Я помню: за окном, за дверью с хриплым блоком

Был плоский и глухой, всегда нечистый двор.
Стеной и вывеской кончался кругозор
(Порой закат блестел на куполе далеком).
И этот старый двор всегда был пуст и тих,
Как заводь сорная, вся в камышах и тине...

Брюсов начал рассказ фразой: «Я помню этот мир, *утраченный* мной с детства», — и пояснил: «Я берегу его — единое наследство / Мной пережитых и *забытых* лет» (курсив мой. — В.М.). Можно не сомневаться, что он это видел. Но какой отпечаток увиденное наложило на его личность, на его сознание?

Если воспринимать сказанное буквально, он вырос в амбаре. Так поступил Ю. Каменев (Л.Б. Розенфельд), автор первой марксистской статьи о поэте, в заглавии которой «О Ласковом Старике и о Валерии Брюсове» (19) использован ключевой образ этого стихотворения: «У поэзии Брюсова был “хозяин”, и хозяином этим был — амбар». Да, в «Мире» сказано: «И я дышал тем ядом, / И я причастен был твоей судьбе!» Однако ни одна из автобиографий, ни одно из мемуарных свидетельств не позволяют говорить о влиянии «амбара» и о его преодолении. Когда Максимилиан Волошин заявил об автобиографичности «Мира» применительно к дому Брюсовых, Валерий Яковлевич решительно возразил: «Поэма “Мир” говорит *вовсе* не о доме на Цветном бульваре; дом этот принял свой теперешний вид лишь за последние годы, а прежде был *иным*; детство мое прошло *не* в этом доме и т. д.» (20). Напостовский критик Г. Лелевич и через много лет утверждал, что «в поэме “Мир” [...] Брюсов дал несравненную по выразительности картину обстановки, *окружавшей его в раннем детстве*» (курсив мой. — В.М.). Источником вдохновения автора стала статья Каменева, из которой он заимствовал представление о «полусонном мечтателе, задыхающемся в пыльном амбаре, истомленном его могильной тишиной, оторванном от борющихся и создающих людей» (21). Марксисты явно перепутали Валерия Брюсова с Кузьмой Русаковым: от власти «дряхлого, ветхого мира» освободились уже родители поэта.

Материалистическое воспитание выразилось еще и в том, что Брюсов с детства был начитан в естественной истории и географии, а затем во всеобщей истории и увлекался популярными биографиями великих людей, вроде книги Гастона Тиссандье «Мученики науки». За ними последовала классика литературы для юношества — Жюль

Верн, Гюстав Эмар, Фенимор Купер, Майн-Рид. Яков Кузьмич «вывел откуда-то правило, что, в сущности, дети и взрослые должны читать одно и то же». Запойное чтение Жюль Верна произвело на Валерия «неотразимейшее действие», заставляя «леденеть от ужаса» и нередко доводя до истерик и ночных кошмаров. Родители отбирали слишком волнующие книги, но читать вместо них «Игрушечку» или «Детский отдых» мальчик уже отказывался. «С этого времени в своих играх я стал воображать себя то путешественником в неизведанных странах, то великим изобретателем. Очень любил я изображать летательный снаряд. Строил его из книг и деревяшек и летал с ним по комнатам. Столы и комоды были горы, а пол — море, где я часто и терпел крушения, попадал на необитаемый остров — ковер, жил по Робинзоновски и т. д. С этого же времени я стал мечтать о своей будущности как о будущем великого человека, и меня стало прельщать все неопределенное, что есть в гибком слове “Слава”».

Воспитать в юном Валерии поклонение «кумиру Пользы» не удалось, хотя в возрасте трех или четырех лет он проповедовал учение Дарвина во дворе дома Бари, «приводя в ужас няnek и гувернанток». Его увлекали не тычинки и пестики, не перспектива «резать лягушек», но дальние страны и великие люди. «Кажется, родители мои еще до моего рождения порешили, что их первенец будет необыкновенным человеком. По крайней мере, у меня самого было почему-то такое убеждение. Я с самых первых лет привык смотреть на сверстников свысока. Вероятно, способствовало этому то, что я рос среди взрослых и слышался от них много, о чем мальчики, мои ровесники, и понятия не имели. [...] Мальчики играть со мной не любили, тем более что мне хотелось первенствовать, а, по их понятиям, у меня не было для этого никаких преимуществ. Я предпочитал играть один и даже больше любил играть в комнатах. [...] Так рос я среди женщин и младших братьев, окруженный обожанием и поклонением, привыкший повелевать и всё устраивать по-своему, мечтающий о славе и победах». Дома, особенно во время игры в индейцев, он командовал младшим братом Колей и двоюродным братом Николаем Павловым (сыном маминой сестры Фаины), которого почему-то прозвал «Тонькой». Запоздалый контакт с реальным миром оказался тем более трудным.

Лето 1883 года Брюсовы проводили в Медведково, прельстившись дешевой дач, хотя, по уверению попу-

лярного путеводителя, это место «с неопрытными лачугами, расположенное на солнцепеке, представляет мало удобств для дачной жизни» (22). Волей-неволей девятилетнему Валерию, еще не ходившему в гимназию, пришлось играть с другими мальчишками, среди которых верховодил Сережа Бугрецов (23), «мальчик очень развитый для своих лет (кажется, пришлось ему с семьей пережить разные трудные положения, что очень быстро развивает)». Они легко сошлись на игре в индейцев, но потом Сережа за что-то поколотил Колю Брюсова, и Матрена Александровна запретила детям общаться с ним. «Мало в жизни знаю я больших унижений, пережитых мною, — вспоминал Валерий Яковлевич через семнадцать лет. — Обидно, конечно, было не то, что я лишился любимого товарища, а то, что я *должен* был подчиниться, на мой взгляд, бессмысленному приговору. [...] Хочется крикнуть всем родителям и всем воспитателям: много думайте раньше, чем подвергать своих детей унижениям».

Еще бóльшим унижением стала первая драка со сверстником, необходимый этап мальчишеской самоидентификации. «Некто К., мальчик постарше меня, неотступно вызывал меня на драку. Я не отказался. Но я совсем был неопытен в этом деле. К. повалил меня, сел на меня и бил меня кулаками по лицу. [...] Потом он спросил: “Признаешь себя побежденным?” Я сказал: “Признаю”. Он меня отпустил, и я ушел... Я убежал в парк, я влез на дерево и сидел там в ужасе, стараясь уяснить, что произошло. Мне казалось, что всё погубило, что больше я никогда не посмею смотреть на людей, я хотел идти на Язу и утопиться».

Официальная версия выглядит более оптимистически. Это письмо в редакцию журнала «Задушевное слово», которое увидело свет за подписью «Вася Брюсов, 10 лет», — первые строки Валерия Яковлевича в печати:

«Позвольте мне вам описать, как мы провели лето в селе Медведкове, в котором мы в 1883 году жили на даче. Расположено оно на гористой местности, покрытой молодым лесом. Направо от нашей дачи был большой запущенный парк. Налево склон к речонке Чермянке; на другой стороне этой реки густой лес. Позади нас лес; тут стояла совершенно высохшая сосна, под которой, по преданию, зарыт клад. Прямо перед нами стояла церковь, позади ее склон к Язу, в которую впадает Чермянка. На другой стороне Язу лес. Время проводили мы очень весело: гуляли, купались, играли, учились только 1 час в день. Часто во время прогул-

ки мы видели зайца или лисицу, но они убегали при нашем приближении. В Москву ездили мы редко, да и не любили этого, в Москве нам было скучно» (24).

Пытаясь как можно подробнее вспомнить свою жизнь, Брюсов сделал ряд интересных признаний. Покоритель неизведанных стран «очень боялся взглядов прохожих. Мне все казалось, что у меня что-то не так. Я всего более боялся поступить не так, как следует. Менее развязным нельзя было быть. Когда на меня смотрели, мне начинало казаться, что я хромаю, и я не знал, куда деть руки и глаза. Заговорить с незнакомым я никогда не осмеливался. [...] Я вечно стыдился самого себя, особенно же в обществе. Я не умел кланяться, не умел благодарить, до смешного не умел вести себя, и сознавал это и мучился каждый миг. Быть в гостях, особенно у новых лиц, было для меня мучением».

С шести лет Валерию нанимали гувернанток, затем домашних учителей из студентов. Дела семьи шли хорошо, платили им исправно, за качеством занятий не следили, поэтому «учиться с гувернантками мне было нестерпимо скучно, и учился я довольно-таки плохо». Оказавшись в 1885 году сразу во втором классе гимназии Франца Ивановича Креймана в доме 25 на Петровке — первой частной гимназии в Москве, где учились в основном дети состоятельных родителей, — балованный первенец попал, как ему показалось, в настоящий ад.

«Надо отдавать или в старшие классы, где сумеют отнестись к новичку, — суммировал он свой печальный опыт, — или в I-й класс, где все новички. Во II-м же классе ученики образуют из себя общество, уже обжились и встречают новичков очень недружелюбно. К тому же я не был приспособлен к мужскому обществу, все еще оставался красной девицей, не умея ни драться, ни ругаться. [...] Сначала меня только дразнили тем, что я “Брюс”, что я купец [...] потом перешли к толчкам, наконец, к побоям. [...] Я негодовал, возражал, но не умел защититься. Дома, конечно, я не рассказывал об этом. Кажется, уверял, что у меня много товарищей, что я очень хорошо сошелся с товарищами». Поначалу с ним дружил только «общественный шут» Василий Строев, который, «оказался самым образованным из всего класса», «прекрасно знал древнюю историю, был знаком с учением Дарвина, немало читал и умел читать».

Литературный враг Брюсова Юлий Айхенвальд пустил в его адрес злое, но запоминающееся определение «преодоленная бездарность». В отношении преодоления он был

прав: Брюсову приходилось очень многое преодолевать, прежде всего в психологическом плане, что сделало его взросление мучительным.

Глава вторая **«Я РОЖДЕН ПОЭТОМ...»**

1

Брюсов выучился читать в три года, писать — пока еще печатными буквами — годом позже. Яков Кузьмич делал приписки для сына почти в каждом письме, и уже 28 августа 1878 года тот отвечал: «Папаша, я сам читаю твои письма. Валя». Через год в отцовских письмах появляются французские слова. «Милый папа, я не говорю по-французски, потому что фраз не умею составлять, слов же много знаю», — ответил сын, но вскоре сам стал подписываться «*ton fils Valerri*»*. После переезда на Цветной бульвар мальчика начали учить систематически, и он уже не расставался с пером и бумагой. «Я пересказывал сначала сведения из естественной истории о китах, о тиграх в маленьких тетрадочках, любил составлять краткие перечни животных. [...] Потом стал сочинять рассказы, но мне мешало то, что я не мог писать скоро: перо не поспевало за мыслью».

Важное место в жизни семьи Брюсовых занимали газеты и журналы. Семи лет Валерий сделался их исправным читателем и оставался им до конца жизни. «Ежедневно я читаю четыре газеты: для пятой уже не хватает сил», — писал он Александру Измайлову 29 декабря 1911 года (1). Еще до поступления в гимназию он — как некогда отец — издавал рукописные журналы «Природа» и «Дальние страны», названия которых говорят сами за себя.

К 1881 году относится его первое стихотворение — или, по крайней мере, первое из сохранных автором — «Соловей» (2):

Соловей мой, соловей,
Сероперый соловей.
Распевай ты средь ночей,
Милу песню начинай,
Веселее распевай
И подолже не кончай!

* Твой сын Валерий (фр.).

Говорить о чем-либо влиянии здесь не приходится, хотя Некрасова Брюсов, по его словам, уже прочитал. Через десять лет он заботливо переписал «Соловья» в тетрадочку, озаглавленную «Мои стихи. Сборник всех моих стихотворений и набросков с 1881 года». В предисловии говорилось: «Здесь собраны все мои сохранившиеся стихи, хотя бы незначительные, неотделанные отрывки или первый стихотворный лепет восьмилетнего ребенка». Смотрится как материал для будущего академического собрания сочинений. К этому же времени, 1890—1891 годам, относятся и его первые автобиографические опыты, имевшие подчеркнуто литературную форму. «Очерк, написанный всего на 12 страницах, разделен на 4 главы, обозначенные римскими цифрами, из которых каждая разбита еще на мелкие главки, пронумерованные арабскими цифрами. Каждой главе и главке предшествуют эпитафии из Надсона, Майкова, А.К. Толстого или из стихотворений самого автора. У каждой главы есть заглавие, есть общее вступление и предисловие» (3).

Привыкший дома «командовать» другими детьми и вызывать восхищение родителей и нянек, в гимназии Валерий оказался в отвергавшем чужаков мальчишеском коллективе, к тому же не посвященный в «тайны пола» и «матерную словесность». Завоевать симпатии одноклассников помогла литература. В отличие от них, он много читал и умел увлекательно излагать прочитанное: «Около меня во время рекреаций (перемен. — В.М.) образовывался целый кружок, и я рассказывал всё, что успел прочесть и чего они еще не знали, — иные романы Ж. Верна, Майн Рида, потом Понсон дю Террайля, Дюма, Габорио... Позднее я стал даже готовиться к этим рассказам усерднее, чем к урокам. Рассказы мои имели громкий успех. Приходили слушать и из старших классов».

Когда они учились в третьем классе, друг и однокашник Брюсова Владимир Константинович Станюкович, племянник знаменитого писателя, задумал издавать рукописный журнал «Начало». «В эти дни я и познакомился с Брюсовым, — вспоминал он сорок лет спустя. — [...] Его худая, сутулая фигурка в мешком сидящей блузе и в серых штанах возникла передо мною, и мы быстро сдружились. У Брюсова оказалось много материала для “Начала”. Это были замыслы и наброски повестей, полные приключений и тайн. Я сам был начинен Купером, Эмаром, Майн Ридом и Жюль Верном, но знания Брюсова в этой литературе зна-

чительно превосходили мои. К тому же я совершенно не знал Э. По, которого Брюсов читал и любил уже в это время. Еще больше меня удивила его память, позволявшая ему рассказывать прочитанные вещи почти дословно. Мы уселись поближе друг к другу — на одной парте — и без умолку, поскольку нам не мешали учителя, делились добытыми знаниями. [...] Эта потребность делиться друг с другом прочитанным (а читали мы запоем) продолжалась все время нашего совместного пребывания в гимназии. С утра мы искали друг друга, были неразлучны на большой перемене и по окончании уроков часто засиживались в классе» (4).

Брюсов взял «Начало» в свои руки. О серьезности намерений редактора-издателя говорило объявление в первом номере: «Открыта подписка на еженедельный детский журнал “Начало”. Подписная цена в год с доставкой и пересылкой в другие города и за границу 3 р. В Москве 1 р. 50 к., без доставки 1 р. 25 к.». «Начало» сыграло заметную роль в жизни юного сочинителя: «До того времени я писал немало, но случайно, не задаваясь мыслью, зачем это. Появление журнала “Начало” как-то сразу подтолкнуло меня. Я вдруг понял, что я прежде всего литератор (курсив мой. — В.М.). Я стал писать без конца стихи, рассказы, статьи. Содержание преимущественно касалось все еще индейских приключений, с которыми я не расстался. Теории стихосложения мы еще не знали совсем и если выдерживали размер, то только чутьем. [...] Журнал “Начало” одно время заинтересовал весь класс. В журнале сотрудничали многие, его усердно переписывали. Потом интерес ослаб. Журнал продержался до Рождества. После Рождества Станюкович отказался. Я продолжал его один, но был его единственным сотрудником и единственным читателем».

В 1937 году в архиве Брюсова хранились семнадцать номеров «Начала» за 1886 и 1887 годы, целиком написанных его рукой: от четырех до шести страниц в четвертку бумаги. Затем И.М. Брюсова передала номера с 9-го по 16-й в Институт русской литературы, а другие в Кабинет брюсоведения Ереванского государственного педагогического института имени Брюсова (ныне Центр брюсоведения Ереванского государственного лингвистического университета) (5).

Среди авторов «Начала», кроме Брюсова и Станюковича, фигурируют Н. Орлов, К. Фрейтаг, а также Шапка, Пятнистый Ягуар, Козел, Кушак, Граф и Спиппер. Под большинством экзотических псевдонимов скрывался сам Валерий Яковлевич, ибо те же произведения обна-

руживаются в его детских тетрадах. Перехватив инициативу у Станюковича и став единоличным хозяином всего предприятия, Брюсов стремился не только сделать журнал разнообразным и интересным, но и показать, что у него большой авторский коллектив. Чутье прирожденного литературного вождя подсказало ему правильный ход — выступать одновременно под многими масками, по мере сил индивидуализируя каждую из них для придания этим личинам максимальной достоверности. В полной мере он использовал этот прием в «Русских символистах», а затем в начальный период существования «Весов».

Чем заполнялись страницы «Начала»? Помимо стихов, беллетристики и статей, как полагалось настоящему журналу, здесь были задачи, шарады и приложения, вроде сделанной от руки карты Голландии. Некоторые произведения — например, написанный в подражание Жюль Верну рассказ «На Венеру» — публиковались с продолжением. Об общем художественном уровне говорит «Песнь троянцев»:

О Гектор, о Троя,
Погибли и вы!
Убили героя
Олимпа сыны.
Разрушили Трою
Не силой враги,
А хитростью злою
Победу взяли.

Как раз в это время Александр Бакулин давал внуку первые уроки стихосложения: «Когда мальчиком я начал писать стихи и об этом узналось, дед обратил на меня внимание. Сперва начал снисходительно разговаривать со мной, потом поучать меня технике стихотворства».

Тематика первых опытов видна из заголовков прозы, опубликованной в «Начале» и оставшейся в тетрадах: рассказ из индейского быта «Орлиное перо», роман «Куберто, король бандитов», этюд «Последний выезд» о гибели жокея, очерк «Сибирь». В набросках остались повести «Два центуриона» и «Легион и фаланга», трагедии «Цезарь и Помпей Великий». Многие из перечисленных тем можно найти во взрослой прозе Брюсова и среди его позднейших, но так и не воплощенных замыслов. «Ясно, что со всем этим писанием можно было справиться только при особо пристрастном отношении к нему, при большой одаренности и исключительном трудолюбии» (6).

В юношеском творчестве Брюсова проза (рассказы и статьи) занимает не меньшее место, чем стихи. Уже осознав себя литератором, он еще не сделал выбора между ними. Резонно предположить, что, отбирая произведения для «Начала», редактор не только руководствовался собственным вкусом, но и ориентировался на потенциальных читателей, которым авантюрные или фантастические повествования были ближе, чем лирические излияния. Как раз в это время — под непосредственным влиянием Станюковича — он прочитал Пушкина, Лермонтова и Надсона, особенно увлекаясь последним. «Страсть моя к литературе всё возрастала, — вспоминал Брюсов в «Моей жизни». — Беспрестанно начинал я новые произведения. Я писал стихи, так много, что скоро исписал всю толстую тетрадь “Poésie”, подаренную мне. Я перепробовал все формы — сонеты, терцины, октавы, триолеты, рондо, все размеры. Я писал драмы, рассказы, романы... Каждый день увлекал меня всё дальше. На пути в гимназию я обдумывал новые произведения, вечером вместо того, чтобы учить уроки, я писал». Понятно, почему директор Крейман оставил его в четвертом классе на второй год.

Одноклассники с удовольствием слушали и читали Брюсова. Неудивительно, что ему захотелось видеть свои стихи в настоящих газетах и журналах: он посылал их в «Наблюдатель» и «Новости дня», но ответа не дождался. После письма в редакцию «Задушевного слова» он увидел свое имя — точнее, только инициалы «В.Б.» — лишь в сентябре 1889 года, в номере 37 журнала «Русский спорт» под небольшой статьей «Несколько слов о тотализаторе». «Напечатание ее я торжествовал как победу. Я показал статью всем ученикам, потом показал учителю русского языка — Виноградову. Он прочел и порешил: “Что ж, написано довольно правильно”. Это относилось, конечно, к слогу, ибо содержание вряд ли он одобрял: я защищал тотализатор».

Брюсов пояснил, что отправил статью в редакцию инкогнито, поскольку «фамилия Брюсовых была очень известна в спортивных кружках». «Дело в том, что в [18]85 году отец стал посещать скачки и брал с собой меня. Сначала отец довольствовался игрой (верней, проигрышем) в тотализатор, но позднее завел себе собственную лошадь, сначала одну, потом — целую конюшню. Я жадно пристрастился к скачкам, мне нравилась эта борьба лошадей и жокеев за первенство (вот откуда этюд о гибели жокея в «Начале». — *В.М.*), борьба конюшен за выигрыш. [...] Сначала я доволь-

ствовался составлением отдельных отчетов к действительным скачкам. Потом увлекся новой игрой. Я вообразил мир спортивной жизни, будто бы существующим в американском городе С.-Луи. [...] Я создал в воображении десятки лиц: владельцев лошадей, жокеев, случайных участников, — всем им были даны строго очерченные характеры, которые не нарушались; все они участвовали в общей интриге бесконечного романа. [...] Позднее я стал издавать рукописный журнал, где сотрудниками были все те же лица, причем опять-таки стиль и писания каждого соответствовали его характеру. Уже из этого видно, как путалось у меня все в голове — поэзия и прочитанные романы, спорт и детская игра, и жажда литературной деятельности».

Это был не первый параллельный мир, который придумал себе юный Брюсов. Но он отличался от странствий по далеким материкам, межпланетных перелетов и перемещений в эпоху Цезаря или Александра Великого тем, что постоянно подпитывался реальными, личными впечатлениями. Он же открыл Валерию Яковлевичу дорогу в печать, правда, инкогнито. Через полтора года после публикации в «Русском спорте», 26 февраля 1891 года в газете «Листок объявлений и спорта» появилась его анонимная статья «Немного математики». Автор попытался установить закономерность и вывести формулу бега лошади, слагающуюся из скорости пробега, расстояния, сопротивления, вызываемого грунтом, и усталости, основывая расчеты на примерах конкретных забегов известных московских рысаков. Публикации предшествовало первое в жизни Брюсова личное знакомство с настоящим писателем (если не считать гимназических педагогов, занимавшихся литературой) и редактором — Владимиром Гиляровским.

«Дядя Гиляй», сам заядлый лошажник, подробно описал начало их знакомства, продолжавшегося почти 35 лет. Дело было на бегах: «Завсегдатай “Яра” Иван Иванович [...] подошел к соседнему столику, где сидели солидный пожилой (42 года. — *В.М.*) мужчина с рыжей бородой и другой — с коротко подстриженными усами, а на стуле стоял гимназист и в бинокль наблюдал лошадей.

— Яков Кузьмич, меня просил цыган Федор Соколов узнать — выиграет ли сегодня кандикап ваш Еврипид? [...]

— Думаю, что не выиграет... Мы сейчас вот с Бараниным рассуждали... Он ведь его тренирует — и говорит, что шансов нет — фунтов пять сбросить бы.

— Ну, а Этна как? Она на поощрительный приз скачет...

— Этна не в кондициях... Так, для галопа пускаем! — вдруг, соскочив со стула, отрезал гимназист. Сел, отвернулся и снова взялся за бинокль.

Иван Иванович извинился, встал и направился к своей компании.

— Этна сегодня легко выиграет, но если этому усатому сказать, он разблаговестит, и дадут за нее гривенник на рубль, — заявил гимназист, как только Иван Иванович отошел.

— Ты уж у меня, Валерий, известный политик... Все у тебя рассчитано, — ответил мужчина с рыжей бородой, отец гимназиста.

В тотализатор он обычно не играл, только каждый раз брал на свою лошадь один билет и то не ради азарта, а просто так, без всякого расчета. За билетом он посылал сына, а тот, когда знал наверное, что лошадь выиграть не может, клал деньги в карман и говорил отцу:

— Я ставить не буду и страхую твой выигрыш, даром жечь денег не следует. А на эти деньги я книг куплю...

— Ах, дипломат, дипломат! И все-то у тебя с “холодным вниманием рассудка”.

Яков Кузьмич, развитой и начитанный, любил щегольнуть цитатой, особенно за стаканом вина, в дружеской беседе. Чистокровные лошади были его страстью. [...] У него были всегда только две лошади второстепенные — Этна и Еврипид. Они стояли на конюшне тренера Баранина, выигрывали редко, а все-таки окупали себя и доставляли огромное удовольствие владельцу, страстному любителю скачек, как и его сын, гимназист. [...] Однажды сын пришел ко мне в редакцию, раскрасневшийся, взволнованный и робко подал статью по вопросу, в то время сильно волновавшему спортсменов. Написано было бойко, освещение верное. Я ее напечатал в ближайшем номере, и велика была радость юноши, увидавшего в печати свое первое произведение» (7).

«Здесь я должен сознаться в маленькой мистификации, — поведал Брюсов об этой публикации, прошедшей тогда незамеченной. — Я сам написал возражение на свою статью и послал его в “Русский спорт”. Возражение было напечатано*. Я хотел писать контр-возражение в “Листке спорта”, но Гиляровский объявил мне, что он в принципе

* Итог: «Строго математические выводы менее всего могут быть приложены там, где приходится иметь дело с живым органическим существом» (И.П. Законы спорта // Русский спорт. 1891. 16 марта. С. 167).

“против полемики”». К подобной полемике с самим собой Брюсов позже не прибегал, однако прятался за псевдонимами не только для мнимого увеличения числа своих соратников: «чтобы одно копьё казалось тысячей копий», как говорят японцы, — но и при обсуждении вопросов, говорить о которых от своего имени считал неудобным. Поэтому книгу Андрея Шемшурина «Стихи В. Брюсова и русский язык» раскритиковал «В. Бакулин», а на «блистательные карикатуры» Корнея Чуковского в книге «От Чехова до наших дней» ответил «Аврелий»: «Я думаю, что Валерий Брюсов, прочтя статью о себе в книге г. Чуковского, несколько дней не мог отделаться от навязчивой мысли: а что, если я в самом деле поэт прилагательных?» (8). Впрочем это не более чем игра, поскольку в литературных кругах хорошо знали, кто скрывается за обеими масками.

Приобщение к скачкам совпало у гимназиста Брюсова с приобщением к «тайнам пола». «Первые ощущения полового чувства» он сам относил к возрасту 6—7 лет, сообщая в «Моей жизни», что «любил заговаривать о соблазнительных для моего возраста вопросах» и «тогда же испытал первые ощущения эрекции». Гимназистом он «стал предаваться странным и страстным мечтам [...] долго, до рассвета иногда, или пока не засну. Страх еще жил в этих мечтах, ведь была в них доля садизма. Я с особой охотой рисовал себе картинки пышных девушек и особенно беременных женщин. Страсть к систематике не оставляла меня и тут. В моих ночных мечтах стали повторяться одни и те же имена, а позднее я стал записывать свои мечты и образовал из них длиннейшие романы». Эти же истории, дополненные чтением фривольных французских книг, свободно попадавших в его руки, он пересказывал одноклассникам, упрочив среди них свою популярность. Так в судьбе Брюсова переплелись эротика и литература.

Впрочем, атмосфера продажной любви сопровождала его с детства, по месту жительства. Ставшие в ХХI веке районом элитного жилья, Трубная площадь, в которую упирается Цветной бульвар, и переулки, идущие от него в сторону Сретенки, уже в начале XIX века считались «московской Субуррой» (ср. в поэме Василия Пушкина «Опасный сосед»: «Пошел на Сретенку, к б...м»). «Чтобы дойти до Брюсова, — вспоминал Станюкович, — нужно было либо пройти по Неглинному проезду, пересечь толкучку “Трубы” (обиходное название Трубной площади. — В.М.) [...] либо спуститься со Сретенки по грязным переулкам,

пропитанным перегаром пива и еще каким-то невыразимо противным и в то же время волнующим запахом. [...] Много лет совершал я эту дорогу и каждый раз, пересекая Трубную площадь, чувствовал, что вступаю в жуткую зону. В незавешенном окне гостиницы, стоявшей на углу, я видел почти голую красивую девушку, манящую меня к себе. [...] Все это волновало меня — мальчика, юношу. Я ужасался — как могут они спокойно жить в таком омуте?! Но я никогда не говорил об этом с Брюсовым. Если мы шли вместе среди мрачного шабаша — мы, не обмениваясь замечаниями, проходили мимо» (9).

Эти отталкивающие и в то же время волнующие впечатления, разумеется, наложили отпечаток на Валерия Яковлевича и отразились в его произведениях. Но когда в 1907 году Волошин, рецензируя его собрание стихов «Пути и перепутья», написал: «Вся юность Валерия Брюсова прошла перед дверьми Публичного Дома» (10), — Брюсовотреагировал немедленно и резко, послав автору официальный протест для публикации в той же газете, который снабдил вежливым, но решительным личным письмом: «Все, что Вы говорите о моей поэзии, хотя я и не со всем согласен, кажется мне очень интересным и очень ценным. Все, что Вы говорите обо мне лично, меня очень сердит и кажется мне очень неуместным. [...] Кроме того, Вы знаете меня (т.е. мою личную жизнь) в общем мало, и многие из Ваших сообщений совершенно неверны» (11). Для печати он разъяснил: «Довольно беглое, в общем, и ни в каком случае не интимное знакомство г. Волошина со мною не давало ему права рассказывать своим читателям небылицы о моем детстве, ему вовсе неизвестном» (12). После обмена объяс-

нениями инцидент был исчерпан, и Волошин более не говорил о влиянии «московской Субурры», пообещав не касаться «ни наружности, ни личности» поэта.

В «Моей жизни» — предназначавшейся для печати, но оставшейся неопубликованной — Валерий Яковлевич подробно описал свой первый любовный опыт в наемной комнате с «бульварной феей», когда ему было 13 лет. О результате он поведал с подчеркнутой откровенностью: «Я старался внушить себе, что это та минута, какой я ждал так давно, но все было мучительно пусто и глупо. Прощаясь, я был преисполнен тоской. Я был разочарован до глубины души моей. [...] Дома меня ждали горькие сетования матери: “Ах, Валя! Валя!” Отец написал мне письмо, где говорил (сказался шестидесятник! нигилист!), что он не смеет препятствовать

свободе моих поступков, но предупреждает меня, что я могу по неопытности попасть в беду» (13).

В «Автобиографии» 1913 года — первой, своевременно дошедшей до читателя, — Брюсов, уже известный на всю Россию писатель, рассказал о том, как дошел до жизни такой. «Соблазны оказались для меня столь неодолимы, что я стал посвящать им значительную часть своего времени. [...] Наша семья переживала тогда трудную пору жизни. Отец [...] запутался в долгах, которые дед отказался платить. Мой младший брат (Николай) был долго и тяжело болен болезнью (опухоль мозга), которая и свела его в гроб; мать целые дни проводила с ним. На мое поведение никто не обращал внимания. Мне свободно предоставляли возвращаться домой поздно ночью или даже под утро, и это в связи с тем, что у меня всегда были карманные деньги, открывало мне полную возможность наслаждаться “ночными приключениями”. Понемногу я отошел от того круга товарищей, с которыми меня сблизил любовь к литературе [...] и сблизился с другим кругом — любителей кутежей и попок». Его ближайшими товарищами стали «красивый и разгульный» Николай Эйхенвальд, сын модного фотографа, Владимир Краевский и Александр Ланг, сын книготорговца с Кузнецкого моста, «странный долговязый юноша с темными, безумными глазами» (14). Первые двое быстро уйдут из жизни Брюсова, не оставив следа, зато третий сыграет в ней заметную роль, став участником его литературного дебюта и оставшись добрым приятелем до своей смерти в 1917 году.

Увлечшись кутежами, Валерий забросил гимназию. «В результате в моих отметках все чаще начали появляться “двойки”, а затем и классические “единицы”. [...] Однако, покинуть гимназию Креймана мне пришлось все же по другому поводу. Уже в 4-ом классе я числился на самом дурном счету у гимназического начальства за свои “вольнодумные” суждения, которые мне случалось, по детской заносчивости, высказывать в лицо учителям. Перейдя не без труда в 5-й класс, я вздумал возобновить издание рукописного гимназического журнала. Но на этот раз литературе в моем “Листке V класса” было отведено лишь второстепенное место. Листок был посвящен гимназическим “злобам дня” и, страшно сказать, политике. Почти единственным сотрудником был я сам и еженедельно, в 5-6 экземплярах, распространял среди товарищей свой “Листок”, наполненный памфлетами против учителей, гимназического начальства и, отчасти, критикой различных явлений обществен-

ной жизни». В архиве Брюсова хранилось шесть номеров «Листка» (с 28 октября по 9 декабря 1889 года); «каждый номер занимал кругом исписанный лист писчей бумаги» (15).

Что стояло за этим самиздатом, кроме литературского и редакторского зуда? Во-первых, Брюсов был заметно начитаннее своих одноклассников, которые, повзрослев, начали это ценить. Во-вторых, он «считал своим долгом прочитывать от доски до доски (с политическим и внутренним обозрением) все русские журналы, которые мы по традиции брали из библиотеки». В результате он начал задумываться над политическими и социальными вопросами, трактуя их под влиянием отца в «шестидесятническом» духе. «Под влиянием тех же идей я был крайним республиканцем. [...] Я считал долгом презирать всякое начальство, от городского до директора гимназии». Полагаю, Брюсов читал «Вестник Европы», «Дело» и «Русское богатство», а дома было много старых номеров «Отечественных записок» и «Современника». Они стали образцом для «Листка V класса», как «Вокруг света» и «Природа и люди» — для «Начала».

Уже в первом номере появилась статья редактора «Народ и свобода», имевшая целью «кинуть взгляд на различные формы правления, с целью выяснить, что понимали под именем свободы древние и новые народы». Вывод: «Итак, здесь (в древней Греции, Франции и Соединенных Штатах. — В.М.) во главе правления стоят люди, которых большинство выдвинуло вперед». Этот пассаж начальство, которому всё становилось известно (впрочем, Брюсов не скрывал своей деятельности), кое-как стерпело, но критика гимназических порядков показалась ему недопустимой. «Франц Иванович призвал меня к себе в кабинет, ходил большими шагами по комнате и упрекал меня жестоко.

— Что это такое! Это против наставников! Это против нравов!

Я отвечал ему твердо, то есть, вернее сказать, нагло. *Я привык наглостью скрывать врожденную робость* (курсив мой. — В.М.). Надо, впрочем, сказать, что я рисковал немногим. Дома уже решено было, что я перейду в другую гимназию. [...] После разговора с Францем Ивановичем я больше не возвращался в его гимназию».

С новой школой ему повезло — Брюсов выдержал экзамен в шестой класс располагавшейся на Пречистенке (дом 32) частной гимназии Льва Ивановича Поливанова, педагога-новатора, автора известных книг о русских классиках и хрестоматий по отечественной литературе, общи-

тельного и остроумного человека, относившегося к ученикам с уважением и любовью. Здесь учились в основном сыновья профессуры и либеральной интеллигенции, включая детей Льва Толстого. О гимназии многословно и восторженно написал Андрей Белый, тоже «поливановец». Лев Иванович «поражал воображение всех, приходящих с ним в конкретное соприкосновение»: «не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. [...] Изумительный педагог и учитель, действующий от сердца к сердцу. [...] В девяностых годах она была лучшей московской гимназией; в ней отрицалась “казенщина”; состав преподавателей был довольно высок; преподаватели принадлежали к лучшему московскому, культурному кругу; не одною силою педагогических дарований их должно оценивать, а фактом, что человек, интересующийся культурою, в них доминировал над только “учителем”. [...] Поливановская гимназия противопоставлялась казенным; противопоставлялась и Креймановской. [...] От Креймана попадали к нам лучшие элементы, не мирящиеся с креймановским составом, подчеркнуто буржуазным; пример — Брюсов; прочтите, какою тоской веет от его креймановских впечатлений; наоборот, появляются бодрые, здоровые ноты чисто гимназических интересов в гимназии Поливанова» (16).

Перейдя к Поливанову, Валерий Яковлевич не сразу расстался с прежними привычками и приятелями, прежде всего с Эйхенвальдом, с которым, впрочем, не только шатался по бульварам и кафе, но и играл в шахматы. «Мы стали одеваться, насколько могли, по последней моде. Мы усвоили себе пренебрежительные манеры, будто бы свойственные истинным дэнди. Официанты в ресторанах называли нас “ваше сиятельство”. Мы небрежно бросали на чай рубли, когда у самих в портмонэ оставались копейки. [...] Собравшись часов в 5 у кого-либо из своих, мы при первых сумерках небрежной походкой — тросточки в карманах — шли на бульвар, торжественно раскланиваясь со знакомыми, окидывали дерзкими взглядами женские лица, стараясь говорить пошлости и гадости». Откликаясь несколько лет спустя на первый выпуск «Русских символистов», некий «Иванушка Дурачок» писал в «Новом времени»: «Появление этой книжечки на ниве русской поэзии соответствует появлению пропитанных пачулей полуразвалившихся бульвардье среди толпы наших деревенских парней и девушек» (17). «Поливановский период обрывает в Брюсове пошлость; я думаю, что это — влияние гимназии» (18), —

к такому выводу пришел Белый после прочтения «Моей юности» и дневников старшего друга-врага. Однако новых друзей, влияние которых могло бы сравниться с влиянием Ланга или Станюковича, в поливановской гимназии Валерий Яковлевич не завел.

Какими бы пошлыми ни были бульварные знакомства, с ними связано одно из сильных литературно-эротических переживаний взрослого Брюсова — роман с Елизаветой Федоровой (выведена в «Моей жизни» под именем «Елены Викторовой»), случившийся как раз во время перехода от Креймана к Поливанову, так что к вступительным испытаниям он готовился не слишком прилежно. В этой банальной истории, подробно описанной им самим, интересно следующее признание: «Моей заветной мечтой было обольстить девушку. Во всех читанных мною романах это изображалось как нечто трагическое. Я хотел быть трагическим лицом. *Мне хотелось быть героем романа* — вот самое точное определение моих желаний. [...] Я писал стихи к ней, бледные и тягучие, — такая же отраженная поэзия, как отраженным было и мое чувство».

Лиза и ее старшая сестра Мария, молодые, но уже искушенные жизнью дочери небогатого отставного чиновника, искали развлечений, а в перспективе подумывали о выгодном замужестве, так что к кавалерам относились серьезно. Эйхенвальд был попроще: «скоро они начали целоваться, искать уединения». Брюсов «трепетал», но «не осмеливался ни разу сказать ей о любви, и только намекал о том длинными стихотворениями, которые посылал ей в письмах». «Я писал Елизавете Викторовне, — занес он в рабочую тетрадь, — длинные послания по 2—3 листа, наполненные философией (которую начал изучать) и поэзией. Не знаю, читала ли она их» (19). Судя по рассказу Брюсова, не читала. 1 ноября 1891 года в ответ на просьбу о свидании он получил от нее записку: «К сожалению, не имею вечера, чтобы провести его с вами, то есть проскучать». Обольщение не состоялось, хотя именно Елизаветой Федоровой Брюсов открыл свой «дон-жуанский список», составленный по примеру пушкинского (20). Остались стихи, написанные в тот вечер:

Ты немного со мной поиграла:
Все, что было святого во мне,
Что таилось в душе, в глубине —
С любопытством ты все изломала

И шутя, как дитя, осмеляла.
Сорвала покрывало с заветной мечты
И над нею довольно натешилась ты...

Но, процитировав это подражание Апухтину (опускаю еще две строфы в том же духе), Валерий Яковлевич честно признался: «Это была ложь, ложь самому себе... Я хорошо знал, что "заветные мечты" тут ни при чем».

В сентябре 1890 года началось ежедневное хождение в новую гимназию. Брюсов снова оказался среди незнакомых, но здесь его приняли много лучше: он особо отметил, что «у Поливанова, где гораздо больше было аристократических фамилий, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь в самом младшем классе хвастал своим происхождением». «Я во время перемены бродил взад и вперед по зале, слал в голове стихи, невпопад отвечал тогда на задаваемые вопросы. [...] Должно быть, зрелище было довольно смешное. Особенно донимали меня перво- и второклассники, они просто начинали дразнить меня, как невиданного зверя». Поступивший к Поливанову осенью 1891 года гимназист Боря Бугаев, на семь лет моложе нашего героя, Брюсова не дразнил, но его «чудную» внешность запомнил на всю жизнь.

2

Поливанов всячески поощрял литературные занятия своих учеников, не давая на них, но развивая их вкусы. В выпускном классе на заданную тему о Горации Брюсов написал большой рассказ из римской жизни «У Мецената», отмеченный знанием предмета и не лишенный литературных достоинств (21). «Поливанов надписал мне по сочинению: "Подобные сочинения должны быть частными занятиями, которым нельзя не сочувствовать, но нужно упражняться и в *сочинениях школьных*, которые имеют свои требования, для вас очень и очень бесполезные", — но в журнале поставил пятерку. Следующую тему, стихи Пушкина: "О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха", — я написал, применяясь к "ученическим требованиям", и третий раз получил 5. Но после этого мне захотелось воли. Задано было сочинение на эпиграф из кн. Вяземского: "В нас ум космополит, а сердце домосед". Я дал волю своей фантазии и скачкам своей мысли. Поливанов зачеркнул все

окончание статьи, поставил мне 2- и написал: “Писать следует приличным слогом рассуждений без выхонок во вкусе малой прессы”».

Атмосфера у Поливанова максимально располагала к самообразованию и к творчеству. Обнаружив, что практически не знаком с русским романом, Брюсов запоем читал Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова, Писемского, Гончарова — собраниями сочинений. Некрасов, любимый с детства, Надсон, к которому его приохотил Станюкович, оказались быстро забыты — их сменили вожди «новой поэзии» Фофанов и Мережковский. Среди промежуточных увлечений — Полежаев, Лермонтов, А.К. Толстой, Гейне: «говорят, что Гейне это болезнь, которую должен пережить каждый из пишущих стихи». Тетради Брюсова, где собственные стихи перемежались с переписанными произведениями других поэтов*, наглядно показывают эту эволюцию. Его опыты подражательны, но он старательно учится. У Надсона, кумира эпохи:

Так наступит и время страданий
(Неизбежно оно у людей),
И забудется смех для рыданий,
Для глухих, безысходных скорбей.

У Лермонтова, кумира юношей многих поколений:

И перед ним изгнанник рая
Склонился трепетной главой
И, речь забытую внимая,
Закрыв глаза своей рукой.

Или у обоих сразу — как Дмитрий Мережковский, чье юношеское творчество, хронологически опережающее брюсовское на 8-10 лет, отмечено теми же влияниями. Но в 1890 году, всего через три года после ранней смерти Надсона, Мережковский в поэме «Вера» уверенно заявил: «Как Надсон ни хорош, / А с ним одним недалеко уйдешь». Брюсов зачитывался «Верой», а сборник «Символы» (1892), в который вошла поэма, стал его настольной книгой. Под влиянием Лермонтова и Мережковского он попробовал свои силы в «большом жанре»: так появилась поэма «Ко-

* «Переписывая твои “Полутени”, — писал он 24 июля 1895 года поэту А.А. Курсинскому, — я убедился во всех преимуществах *такого* знакомства с книгами» (ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 294).

роль» (1890—1891; не опубликована), над которой автор, по его словам, «особенно много работал. Она собственно и выработала мой стих» (22).

Где проходит рубеж между «долитературным» и «литературным» в творчестве Брюсова? Обычно таковым считается 1893 год, к которому относятся самые ранние стихотворения, включенные автором в итоговое собрание сочинений. Но еще 20 июня 1892 года он послал стихи в «Северный вестник» — самый передовой с точки зрения «новых течений» журнал — пояснив: «Выбирая эти 6 стихотворений, я старался избегать слишком субъективных, хотя бы с внешней стороны они и были отделаны удачно. Равным образом, я не брал тех, где не удовлетворяла меня форма, отказываясь при этом даже от лучших по содержанию. [...] Может быть, несколько дерзко пытаться дебютировать стихами в таком журнале, как "Северный вестник", но мне кажется, что и сами стихи без имени автора что-нибудь да значат» (23). Заурядные стихи в сочетании с претенциозным письмом и подписью «Валериан Барсов» (помесь собственной фамилии с «Пятнистым Ягуаром») затерялись в библиотеке.

«Юношеское творчество Брюсова не представляет, конечно, сколько-нибудь значительного художественного интереса само по себе», — писал в 1937 году Н.К. Гудзий, задав подход к теме. Оговорки о том, что «неоспорима его культурно-бытовая ценность» и что «весь писательский путь поэта, начиная с его детских опытов, воспринимается как процесс органический и закономерный», остались незамеченными (24). Ювенилии Брюсова, в отличие от аналогичных опытов Блока и Сологуба, не говоря о поэтах-классиках XIX века, не изданы и не изучены. Не углубляясь в рассуждения об их литературных достоинствах и недостатках, следует обратить внимание на отражение в них интеллектуальных и духовных исканий юного Брюсова.

Ограничусь одним примером — трагедией в четырех действиях «Учитель», опубликованной А.В. Андриенко (25). Исследователи брюсовской драматургии упоминали ее, но бегло. В предисловии к пьесе, начатой в феврале—марте и законченной в июле 1892 года, автор писал: «Считаю нужным сказать, что ошибочно было бы искать в учениях, приводимых здесь, отголосок моих собственных идей. Театр не трибуна и не место убеждения. Мнения, приведенные здесь, принадлежат не мне, а действующим лицам трагедии. Далее, так же несправедливо было бы искать здесь

намек на события, хорошо знакомые всем. Конечно, великий образ божественного основателя Новой Веры носился предо мной, когда я создавал пророка моей трагедии, но все же внешнее сходство событий случайно, если только можно назвать случаем, что два одинаковых по духу лица встретили одни события жизни».

Брюсов дал героям условные имена: Иисус — пророк Алэт, Иоанн — Эйот, Иуда — Айстат, Мария Магдалина — Эрата. По замечанию публикатора, «такая условность не может обмануть», так как «в рукописи поэт не раз сбивается, называя переименованных персонажей первоначальными евангельскими именами» и даже вкладывает в уста Алэта цитаты из Евангелия. По характеристике автора, «Иоанн — тверд. Поклонник идеи. Ум и чувство подавленное. Не гений. Думает убить Иисуса. Не убивает. Хочет его увлечь. Не понял Иисуса. Эрата — Чувство. Поиск лучшего. Любовь к Иисусу. Отказ от Иуды. [...] Иуда — Гордость. Ум». «Философ не хочет быть ни жрецом старых религиозных культов, ни революционером, — суммирует А.В. Андриенко. — Алэт ищет истину, не стремясь к разрушению существующих систем, но готов отдать свою жизнь за новое учение. Жрецы подозревают Алэта в подрыве устоев веры, а заговорщики, видя его гипнотическую власть, стремятся привлечь его на свою сторону для увеличения числа своих последователей и достижения политической власти. В трагедии происходит двойное предательство: заговорщик Эйот направляет на Алэта гнев жрецов и народа, а Айстат из ревности предает учителя Совету жрецов, уже осудивших его за проповеди. В черновом варианте трагедии два варианта финала: 1) канонический: предательство Иуды и 2) творческий — ученик уходит от учителя в поисках своего пути».

Публикация «Учителя» является важным открытием, поскольку ведет к пересмотру сложившихся представлений о духовном и творческом мире юного Брюсова, включая восприятие им христианства.

К 1889 году относятся первые автобиографические наброски Брюсова. Рефлексия стала его постоянным спутником и неотъемлемым атрибутом творчества. Теперь он не только заимствовал сюжеты у других авторов, но обратился к собственному жизненному опыту, следуя тютчевскому завету: «Лишь жить в себе самом умей, / Есть целый мир в душе твоей». С 1891 года в лирике доминирует «резиньяция», она приобретает характер лирической исповеди, с яр-

ко выраженным первым лицом. «Параллельно с правдивой автобиографией, — отметил Н.К. Гудзий, — как она набирается поэтом в его дневниках и записях, создается поделенная на периоды автобиография литературная, отражаемая в стихах. Индивидуалистический по преимуществу, характер творчества будущего поэта-декадента, более всего равнодушного к судьбам своей личности, в этих стихах вскрывается очень явственно» (26). С осени 1890 года Брюсов начал вести дневник «Моя жизнь. Материалы для моей автобиографии», а в следующем году составил свод *всех* своих стихотворений с 1881 года с ранними редакциями и примечаниями, раскрывавшими обстоятельства написания текста или содержащими позднейшую оценку автора. «В этом тщательном собирании своих вещей и фиксации их перед нами уже в эту пору обрисовывается будущий поэт, печатающий собрания своих произведений по типу академических изданий» (27).

31 августа 1892 года Валерий Яковлевич записал в дневнике: «Я рожден поэтом. Да! Да! Да!» Самоопределение совершилось. Он открыл для себя поэзию французских декадентов и встретил первую настоящую любовь.

Глава третья

«ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА В ТУМАНЕ»

1

В декабре 1891 года, вскоре после разрыва с Елизаветой Федоровой, Брюсов, которому только что исполнилось восемнадцать лет, познакомился с двадцатитрехлетней Еленой Андреевной Красковой, выведенной в «Моей юности» под именем Нины Кариной*. О ней известно гораздо больше, чем о его предыдущем увлечении, в том числе из дневников и рабочих тетрадей, которые позволяют считать автобиографическую повесть вполне достоверным источником.

«Женское общество нашел я у Кариных. Это была до-

* С.И. Гиндин раскрыл прототипы действующих лиц «Моей юности»: Соня Хлындова — Вера Петровна Биндасова, Зардин — Сергей Михайлович Саблин, Гурьянов — Михаил Евдокимович Бабуurin, Барбарисин — Николай Владимирович Андрусsek (*ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 618–619).

вольно простая русская семья. Отец, всегда занятый службой, мать бесконечно добрая женщина. [...] У Кариных было две дочери: старшей, Нине, было лет 25, младшей, Жене, всего 15. Ради них, а впрочем, скорее по гостеприимству собирались у них несколько раз на неделе всевозможные гости. [...] В маленькой квартире Кариных для всех находилось укромное местечко для разговора наедине; кто хотел — танцевал, кто умел — пел или декламировал».

«Конечно, по своей прямолинейности, — с иронией вспоминал Брюсов, — я чуть ли не с первых слов заявил всем, что я поэт, что я — поклонник Спинозы и, следовательно, пантеист, что я презираю обычные условности и очень искушен жизнью. Конечно, и там надо мной смеялись. Конечно, я не мог уже обойтись без любви и поспешил влюбиться. Так как почти все барышни были “разобраны”, то я удовольствовался Соней Хлындовой. То была девушка лет двадцати с лишком, помнится, мало обворожительная, с неподвижными серыми глазами. Не знаю, каким чудом фантазии умел я пересоздать ее в образ, достойный стихов и мечты. Впрочем, она была девица добрая, кроткая и милая; она была тронута тем, что попала в число избранных; как бы из благодарности она отвечала немного на мое чувство. [...] В салоне Кариных каждый должен был считаться в кого-нибудь влюбленным». Прототип Сони Хлындовой, Вера Биндасова, следа в жизни Валерия Яковлевича не оставила, хотя и мелькнула в одном из списков «Мои прекрасные дамы». Брюсов продолжал переписываться с ней и после того, как навсегда покинул дом Красковых, но, судя по сохранившимся черновикам, в письмах называл ее исключительно на «Вы» и «многоуважаемая Вера Петровна».

В одном из его самых знаменитых стихотворений «Поэту», открывавшем сборник «Все напевы» (1909), есть декларативные строки:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Они цитировались не одну сотню раз и, как правило, с оттенком осуждения: дескать, Брюсов все приносил в жертву литературе. Судя уже по его первым романам, доля правды в этом немалая. Забывается лишь одно — приносил он в жертву и самого себя.

«Трудно пересказать все глупости и несообразности, которые выделял я в салоне Кариных», — признавался всего-то через восемь лет Валерий Яковлевич, которого большинство современников считало начисто лишенным чувства юмора и даже иронии, тем более по отношению к самому себе. Он весело и бесхитростно повествовал, как пытался ухаживать за младшей дочерью хозяев Женей (в жизни Варвара), готовился «приучать Женю к себе и воспитывать в своем направлении», но быстро получил, как говорится, от ворот поворот. Зато тональность повести заметно меняется, как только в ней появляется Нина, старшая сестра. В дневнике Брюсова «Елена Андреевна» появляется летом 1892 года. Шестая тетрадь «Моя жизнь» с подзаголовком «Лёля» (вписано позже, поскольку Валерий стал так называть ее лишь в начале 1893 года) содержит записи с 21 октября 1892 года по 12 мая 1893 года (1).

Начало любви к Нине-Елене, некрасивой девушке со «странными, несколько безумными глазами», которая была на пять лет старше Валерия и считалась невестой Гурьянова-Бабурина, было наполовину игрой, наполовину литературой: «Я вдруг, сразу и неожиданно начал “ухаживать” за Ниной. Больше никого не было. [...] А так как, в сущности, мне было *все равно* в кого ни быть влюбленным, — *мне просто нужен был чей-нибудь образ, чтобы писать к нему стихи и мечтать о нем* (курсив мой. — В.М.), — то я тотчас же, в те же полчаса, переменял свою любовь и стал влюбленным в Нину». Чувство, вопреки ожиданиям, оказалось сильным и обоюдным. Настолько сильным, что Брюсов оборвал работу над «Моей юностью» как раз на начале романа с Еленой: думаю, просто не нашел душевных сил описать то, что последовало далее.

«Но что видела во мне Нина?» — спрашивает себя автор повести, признаваясь, что определенного ответа не имеет. И отвечает уже не как беллетрист, а как мемуарист: «Может быть (о, гордая надежда!), она прозревала в моей душе то лучшее, чего я сам не сознавал в ней. Однажды она сказала мне: “Знаешь ли, ты гораздо лучше, чем это думаешь сам”. Ей, может быть, наскучили обычные лица всяких кавалеров, виденные ею на своем веку, и ей понравился дикий и смешной мальчик, кричавший на перекрестках, что он гений. [...] Может быть, просто ее ужасала мысль стать женой ненавистного ей, искусно прикрывающего плешину Гурьянова. Она рада была всякому другому выходу. Я казался ей смельчаком, способным на все, способным жениться и на

ней, прошлое которой все же было сомнительно (Брюсов уклончиво пояснил, что до Гурьянова «она тоже несколько лет считалась невестой одного офицера». — В.М.). Она надеялась легко овладеть мной и сыграть со мной игру наверняка. Я не знаю — может быть и это».

Здесь рукопись «Моей юности» обрывается. Но история только началась. Дальше о ней рассказывает дневник Брюсова, в котором тема любви к Елене причудливо переплелась с еще двумя — декадентством и спиритизмом.

Двадцать второго октября у Красковых состоялся очередной спиритический сеанс. Валерий Яковлевич усердно посещал их из интереса не только к хозяйским барышням, но и к возможным гостям из потустороннего мира, хотя был уличен в фальсификации медиумических явлений, когда они долго не случались.

Интерес Брюсова к спиритизму оказался серьезным и долгим и немало смущал его знакомых. Одни недоумевали, почему столь ученый и рационально настроенный человек интересуется подобной глупостью. Другие, мистики, считали спиритизм слишком примитивным для настоящего посвященного. Сам Брюсов объяснил это в разговоре с Ходасевичем в начале 1905 года: «Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству». Высказывания такого рода ставили в тупик и позитивистов, и мистиков, но перекликались, например, с замечанием Николая Бердяева: «Давно уже явились признаки и симптомы перерождения и расширения науки и техники в сторону магическую. [...] Наука и техника переродятся в магию, будут познавать живую природу и вступят в практическое общение с духами природы» (2). В предисловии к поэме Миропольского «Лествица» (1902), озаглавленном «Ко всем, кто ищет», Брюсов писал: «За последнее время в науке о медиумизме произошел важный и благотворительный переворот. Внимание исследователей от физических явлений обратилось к их духовному содержанию. [...] Наблюдения и исследования последнего времени расширили наше представление о свойствах человеческого духа и о взаимоотношениях духа и вещества».

Через двадцать с лишним лет, споря в Коктебеле с химиком Сергеем Лебедевым (мужем Анны Остроумовой-Лебедевой, которая в это время пыталась написать портрет Брюсова), он решительно возразил собеседнику, отрицавшему мистику: «Как вы можете говорить, что такой науки

нет?! Вы просто не знаете этой науки, и потому не имеете права говорить, что ее нет. Оккультизм есть наука с точными знаниями. Есть много выдающихся людей, которые признают оккультизм наукой, изучают его. Эта наука в своей истории имеет целый ряд доказательств. И я не верю в нее, а знаю, что потусторонний мир существует так же, как и наш» (3). Вопрос о существовании потустороннего мира и возможности контактов с ним волновал Брюсова всю жизнь. Спиритические сеансы стали для него научным, позитивистским способом такого контакта, когда сверхъестественные явления можно услышать и «пощупать руками».

Вернемся к сеансу у Красковых 22 октября 1892 года. Судя по подробной и откровенной дневниковой записи, он удался во всех отношениях: «Мрак и темнота. Я сидел рядом с Еленой Андреевной, а Вари не было (уехала в театр). Сначала я позволил себе немного. Вижу, что принимаюсь благополучно. Становлюсь смелее. Наконец, перехожу границы. И поцелуи и явления. Стол подымается, звонки звенят, вещи летят через всю комнату, а я покрываю чуть слышными, даже вовсе неслышными поцелуями и шею, и лицо [так!], и, наконец, губы Елены Андреевны. Она мне помогает и в том, и в другом. Все в изумлении (понятно, насчет явлений). Потом пришел Михаил Евдокимович, но и это не помешало. Наконец, зажгли огонь, сеанс кончился. Я и она, оба держали себя прекрасно».

2

В дневнике у приведенной записи примечательное соседство. Чуть раньше Брюсов законспектировал статью переводчицы и критика Зинаиды Венгеровой «Поэты-символисты во Франции» (4). Исследователи пришли к выводу, что она стала для будущего отца русского символизма — и не только для него — первым источником сведений об этом литературном течении, хотя сам Брюсов затемнил вопрос о времени и обстоятельствах знакомства с ним.

В автобиографиях он называл то «начало 90-х годов», то «около 1890-го года». В интервью газете «Новости», опубликованном 18 ноября 1895 года, он рассказывал: «Когда в газетах наших проскальзывали сведения о новом движении среди поэтов Франции, я с жадностью набрасывался на эти случайные заметки, и первым поэтом из числа символистов, с которым я познакомился, был Поль Вер-

лэн. [...] *Впоследствии* (курсив мой. — В.М.) появилась статья Венгеровой, из которой русское общество узнало более подробные сведения о французских декадентах». В «Моей юности» он писал менее определенно: «В литературе прошел слух о французских символистах. Я читал о Верлэне у Мережковского (“О причинах упадка”), потом еще в мелких статьях. Наконец, появилось “Entartung”^{*} Нордау, а у нас статья З. Венгеровой в “Вестнике Европы”. Я пошел в книжный магазин и купил себе Верлэна, Маллармэ, А. Римбо и несколько драм Метерлинка. То было целое откровение для меня».

Приведу брюсовский конспект статьи Венгеровой:

«Поэты-символисты. Основатели школы (во Франции) — Поль Верлен (1 сборник вышел в 1865 г. — реформировал и размер. Перелом в деятельности — по направлению к символизму в 1871 г. С 1881 года увлекся католичеством) и Маллармэ — (пишет непонятно, понимают лишь посвященные).

Артур Римбо (наименее понятный) *

Жюль Лафорг (музыкальность).

Роденбах, Тальяд, Г. Кан, Маргерит, Ренье, Мерсо.

Жан Мореас (стоит несколько особо).

Из статьи Зин. Венгеровой “Вестник Европы”,
1892, № 9.

* Писал 1869—1871 (лет 18), а в начале 80-х годов исчез, не напечатав ни одного стихотворения. Верлен тщательно сохранил уцелевшие и превозносил его гениальность».

Собственных оценок здесь нет. Нет и более ранних записей на ту же тему. Отмечая 16 декабря 1892 года в дневнике работу над переводом стихотворений Верлена, начатую четырьмя днями раньше, он поясняет в скобках «поэта-символиста», что указывает на новизну этого имени для него.

Где еще Брюсов мог читать о символистах? О них немного говорилось в книге Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», вышедшей в самом начале 1893 года. В апрельской книжке «Русской мысли» на нее отозвался ведущий народнический критик Николай Михайловский, судивший о французских символистах со слов немецкого врача и публициста Макса Нордау. Громившая декадентов книга Нордау «Вырождение» вышла в Германии в 1892 году и уже в кон-

* «Вырождение» (нем.).

це 1893 года появилась в русском переводе, который читал Брюсов (сохранился экземпляр с многочисленными пометами). О каких именно «мелких статьях» идет речь, неясно, однако к осени 1895 года относится следующая запись самого Брюсова: «Когда два года назад я и мой друг А.Л. Миропольский выступили в первом выпуске “Русских символистов”, мы стояли еще в пустоте. [В русской литературе о символизме еле-еле знали. Была напечатана дельная статья З. Венгеровой (составленная, видимо, главным образом, по Нордау) и несколько пустых заметок Михайловского]» (5). «Пустыми заметками» автор именует пространные статьи критика, демонстрируя отношение к ним: заметок в обычном смысле слова тот не писал.

Брюсов узнал о французском символизме от его врагов, но этого оказалось достаточно, чтобы заинтересоваться. Книги авторов, названных в статье Венгеровой, он купил в книжном магазине Александра Ланга на Кузнецком мосту и читал их вместе с его сыном — тоже Александром, своим товарищем по гимназии Креймана.

Александр Ланг-младший тоже увлекался поэзией и спиритизмом, не отделяя одно от другого. Вспоминая осень 1892 года, Владимир Станюкович, реалист из реалистов, рассказывал: «Как-то раз я зашел к Брюсову вечером. Он торопился к А. Лангу на спиритический сеанс и затащил меня к нему, зная мое отрицательное отношение к этим сеансам. В слабо освещенной комнате с темными портьерами мы нашли длинного, странного, с блестящими глазами Ланга. Он был один и никого не ждал. В торжественной тишине хозяин и Брюсов приступили к священнодействию. На дощечку, сквозь которую проходил карандаш, они положили правые руки, и он тотчас забегал по большому белому листу, разложенному на столе. Как только лист исписывался, он убирался в сторону, а под ним оказывался чистый, готовый к дальнейшим откровениям. Быстро покрывались листы строками, написанными крупным почерком. [...] Ланг был убежденный спирит. Брюсов говорил мне, что стихи Ланга написаны не им, а “духами”. Возможно, что они писались так, как я видел на памятном сеансе» (6).

Какие именно стихи Ланга, выступавшего в литературе под псевдонимами «А.Л. Миропольский» и «Александр Березин», созданы с помощью автоматического письма, мы не знаем, но их литературные достоинства весьма скромны. Впрочем, имя духа, продиктовавшего Лангу первую часть третьей главы поэмы «Лествица», которая заметно отли-

чается от остального текста, нам известно. Р.Л. Щербаков обнаружил, что ее основой стал... стихотворный набросок Брюсова в 28 строк, подаренный приятелю, который счел необходимым немного изменить его стихотворный размер (7). Сравним первые восемь строк. Вот текст Ланга:

Войска проходили по множеству стран,
Раздвигая победные грани,
Под столицами вражьими ставили стан,
Налагали нещадные дани.
Но был ненасытен водитель их, Князь,
И отдых ему был неведом,
Какою-то жаждой безумной томясь,
Спешил он к новым победам.

А вот брюсовский оригинал:

Войска проходили по множеству стран,
Раздвигая все дальше победные грани,
Под столицами вражьими ставили стан,
Налагали везде беспощадные дани.
Но был ненасытен водитель их Князь,
И отдых ему был не нужен, не ведом,
Какою-то жаждой безумной томясь,
Спешил он все к новым и новым победам.

Ланг остался в истории литературы лишь благодаря участию в сборниках «Русские символисты». В первом из них, вышедшем в начале марта 1894 года (25 февраля Валерий Яковлевич отметил в дневнике получение сигнального экземпляра), символистов было только двое — Брюсов и Миропольский. Отец заставил Ланга взять псевдоним, но продавать книгу у себя в магазине разрешил.

Часть стихотворений из «Русских символистов» Брюсов позже включил в сборник «*Juvenilia*», подготовленный к печати летом 1896 года, но увидевший свет только в первом томе *ПССП* в 1913 году. Именно о нем автор говорил Измайлову: «Было бы несправедливо — вычеркивать слабое и юношеское. Когда-нибудь я соберу это и издам. Если поэт интересен, то и первые шаги его любопытны» (8). Но мы снова сталкиваемся с авторской мистификацией, масштаб которой стал ясен лишь в год столетия Брюсова, с выходом первого тома семитомника, где стихотворения датированы по рукописям. В «*Juvenilia*» автор отнес 15 текстов к 1892 году, хотя все они написаны не ранее февраля 1893

года, сдвинув на год назад начало того, что считал своим серьезным творчеством.

Брюсовская часть (далее шли опыты Ланга в стихах и прозе, отмеченные влиянием Метерлинка) первого выпуска «Русских символистов», разрешенного цензурой 30 декабря 1893 года, — 44 страницы, 200 экземпляров — завершилась стихотворением:

Золотистые феи
В атласном саду!
Когда я найду
Ледяные аллеи?
Влюбленных наяд
Серебристые всплески!
Где ревнивые доски
Вам путь преградят?
Непонятные вазы
Огнем озаря,
Застыла заря
Над полетом фантазий.
За мраком завес
Погребальные урны,
И не ждет свод лазурный
Обманчивых звезд.

Такого в русской поэзии еще не было. Но можно ли относиться к прочитанному серьезно?

Сборник вызвал около десятка откликов, в том числе со стороны таких влиятельных критиков, как Платон Краснов, Аполлон Коринфский и Владимир Соловьев. Рецензии были не просто единодушно отрицательными, а еще и с оттенком глумления. «И по форме, и по содержанию это не то подражание, не то пародии на наделавшие в последнее время шума стихи Метерлинка и Малларме, — отчитывал Брюсова Краснов. — Но за французскими декадентами была новизна и дерзость идеи писать чепуху, вроде белых павлинов и теплиц среди леса (намек на стихи Метерлинка. — *В.М.*), и хохотать над читателями, думавшими найти здесь какое-то особенное, недоступное профану настроение. Когда же Брюсов пишет “Золотистые феи в атласном саду...”, то это уже не ново, а только не остроумно и скучно» (9).

Соловьев — не только мистик и поэт, но и известный остроумец — уверял читателей: «Несмотря на “ледяные аллеи в атласном саду”, сюжет этих стихов столько же ясен,

сколько и предосудителен. Увлекаемый “полетом фантазий”, автор засматривался в дощатые купальни, где купались лица женского пола, которых он называет “феями” и “наядами”. Но можно ли пышными словами заглазить поступки гнусные? И вот к чему в *заключение* (обыграно название стихотворения. — В.М.) приводит символизм! Будем надеяться, по крайней мере, что “ревнивые доски” оказались на высоте своего призвания. В противном случае “золотистым феям” оставалось бы только окатить нескромного символиста из тех “непонятных ваз”, которые в просторечии называются шайками и употребляются в купальнях для омовения ног» (10).

Угадал Соловьев истинный смысл стихотворения или нет? В кратком предисловии издателя говорилось лишь о том, что «язык декадентов, странные, необыкновенные тропы и фигуры вовсе не составляют необходимого элемента в символизме» и что «цель символизма — рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нем известное настроение». Настроение у Соловьева создалось игривое. 13 сентября 1894 года, вскоре по прочтении рецензии, Брюсов ответил ему не менее игриво (11):

Раннее утро

Посв. Вл. Соловьеву

Сколько счастья! Сколько неги!
Сколько радости в очах!
И развиты в быстром беге
Полотенца на плечах.
Щелкнул ключик. Слышен шорох.
За дощатою стеной
Больше наглости во взорах,
Обольщенных наготой.
Слышен смех, слышнее визги,
И как будто видишь сам
Бриллиантовые брызги
По свернутым волосам.

3

Однако мы удалились от других тем — спиритизма и Елены Красковой. 4 января 1893 года Валерий Яковлевич «говорил ей о том, что воспоминание о ней было лучшей святыней моего сердца»; 25 января «бессвязно объяснялся

ей в любви»; 10 марта «лепетал какое-то бессвязное декадентское объяснение» (12). 4 марта он сделал историческую запись — известную и часто цитируемую, но, как правило, в усеченном виде. Полностью она выглядит так:

«Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало! Надо выбрать иное. Без догматов можно плыть всюду. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу их: это декадентство и спиритизм. Да! Что ни говорить, ложны ли они, смешны ли, но они идут вперед, развиваются, и будущее будет принадлежать им, особенно когда они найдут достойного вождя. А этим вождем буду я!

Да, Я! И если у меня будет помощником Елена Андреевна. Если! Мы покорим мир».

Дальше записи о свиданиях с Еленой перемежаются записями о хождениях по редакциям, которым юный поэт предлагал переводы из Малларме и Верлена. Связей в литературном мире у него не было, поэтому он обращался и в такие мало расположенные к «новым течениям» издания, как консервативное «Русское обозрение». Редактор журнала Анатолий Александров взял у Брюсова стихи, переводы и статью о Верлене, составленную на основе книги критика Шарля Мориса (13), но так и не напечатал ни строки. Видимо, присматривался к эрудированному юноше, переводившему странные стихи мало кому известных поэтов, а после скандала с «Русскими символистами» решил не рисковать.

Девятого мая Брюсов узнал, что «Лёля больна»: «простудилась, может быть, на последнем свидании». 12 мая он сделал запись, которая может покоробить любого, кто не знает контекста этой истории: «Если она умрет... как сказать? Жаль, очень жаль будет. Я все же отчасти люблю ее, наконец, мы так мало времени были с ней. 5 свиданий! Сколько еще неизведанных наслаждений и сколько нетронутых струн сердца! Но если она умрет, разрубится запутывающийся узел наших отношений, распутается красиво, театрально и с честью для меня. О! Каково будет мое отчаяние. Я буду плакать, я буду искать случая самоубийства, буду сидеть неподвижно целые дни!... А сколько элегий! Дивных элегий! Вопли проклятий и гибели, стоны истерзанной души... О! Как это красиво, как это эффектно».

Однако все оказалось вовсе не так «красиво». 18 мая Елена Краскова умерла. Брюсов был на панихиде и на похоронах: «Только во время пути к церкви я потерял самоо-

бладание и впал в какое-то оцепенение. Ланг водил меня, клал моею рукой цветы и ставил меня на колени». Записи были сделаны через десять дней, когда он «собрался с силами описать все». Первая же реакция была такова:

«Умерла! Умерла! Умерла!

И кто виноват?

Ты! Два раза. Три раза — ты!

Ради тебя она простудилась, из-за тебя заразилась корью и... и разве твои фразы “пусть умрет” — не имели силы? Ты — ее убийца! Ты!»

Валерию Яковлевичу пришлось оставить дом Красковых: поводом стало признание в том, что он подделывал «явления» на спиритических сеансах. Он попытался объяснить с матерью Лёли Марией Ивановной, но безуспешно и, видимо, не получил фотографию возлюбленной, о которой молил. «Кроме того, на мою мысль повлияло то, что Ланг предложил мне совместное самоубийство. Его слабые нервы не выдержали всего, он разрыдался однажды и изобрел это. Я согласился, зная, что он откажется, и он действительно отказался».

Как раз в эти дни Брюсов сдавал выпускные экзамены в гимназии. На Закон Божий он не явился и «принужден был разъяснить Поливанову причину». 4 июня ему выписали аттестат зрелости. Поведение его было оценено как отличное, «исправность в посещении и приготовлении уроков» — удовлетворительная, прилежание — хорошее, любознательность (была и такая позиция!) — очень хорошая. Оценки «купеческий сын» получил следующие (первая выставлена педагогическим советом, вторая — по результатам экзаменов): Закон Божий 5 (5); русский язык и словесность 4 (5); логика 5 (5); латинский язык 4 (3); греческий язык 4 (4); математика 5 (5); история 5 (5); география 3 (только по результатам экзаменов. — *В.М.*); физика и космография 5 (5); французский язык 5 (5); немецкий язык 5 (4). Это опровергает утверждение Брюсова в «Моей юности», что на экзамене по математике он сбилсся и получил «четверку», а потому раздумал поступать на математический факультет и выбрал историко-филологический. Любовь к математике он сохранил на всю жизнь: в зрелые годы любил решать задачи из гимназических учебников алгебры и тригонометрии и работал над статьями «Общая теория чисел», «Возможность панарифметики и ее обоснование» и «Вопрос о четвертом измерении» (14). 9 августа он «подал бумаги в университет»: сомнений в необходимости высшего образования у него не

было, но он вряд ли мечтал об ученой карьере. Вступительных экзаменов при наличии гимназического аттестата тогда не требовалось.

Боль от смерти Елены не отпускала. «Она унесла с собою все. Она была одна, которая знала меня, которая знала мои тайны. [...] Знаю, что в сердце еще найдется сил для новой любви, но сейчас-то, сейчас-то я один» (28 мая). «Вот когда мне понятна моя утрата! Живу в прошлом, ею. Она! она! она! [...] Стараюсь себя убедить, что это идеализация, припоминаю, что писал раньше. Но к чему! Еще тяжелей становится» (7 июня). «Жить еще не живу, хотя собираюсь» (14 июня). «Увы, Лёля была моим счастливым ангелом. С ее смертью все рушится. Жить? Для чего? Зачем? Ни сил, ни надежды. [...] За что! За что! Я виноват, во многом виноват, но есть предел, есть пощада! А, если бы я мог у кого-нибудь молить о ней. Слишком тяжело, а всюду, а вокруг мрак и какие-то лица, искаженные злобной насмешкой» (25 июня).

В 1916 году Брюсов написал венок сонетов «Роковой ряд», зашифровав в нем свой «дон-жуанский список»: кого под подлинными именами, кого под созвучными*. Открывает его Лёля:

Ты страсть мою с улыбкой приняла,
Ласкала, в отроке поэта холя,
Дала восторг и, скромная, ушла...
Предвестье жизни, мой учитель Лёля!

Спасением стали литература и новая любовь... нет, все же не любовь, а увлечение Натальей Александровной Дарузес, зеленоглазой «коварной и маленькой Талей», как она названа в следующем сонете. Они вместе играли в любительских спектаклях: он — Маслов, она — Раевская. Стихи, посвященные Тале, составили раздел «Новые грезы» в первом выпуске «Русских символистов», а позже в сборнике «Juvenilia». Однако в самом конце 1893 года (16 декабря они еще вместе снимались на память) или в начале 1894 года она рассталась с поэтом, который некрасиво поступил с ней, в чем позже раскаивался. На это намекает и автохарак-

* 1. Лёля — Е.А. Краскова. 2. Таля — Н.А. Дарузес. 3. Маня — М.П. Ширяева. 4. Юдифь — Е.В. Букова. 5. Лада — И.М. Брюсова. 6. Таня — А.А. Шестеркина. 7. Лиля — Л.Н. Вилькина. 8. Дина — Н.И. Петровская. 9. Любовь — Л.Н. Столица. 10. Женя — Е.И. Образцова. 11. Вера — В.Ф. Коммиссаржевская. 12. Надя — Н.Г. Львова. 13. Елена — Е.А. Сырейщикова. 14. Последняя — М.В. Вульфарт.

теристика (в третьем лице) в одном из набросков: «...новое увлечение, которое повлекло только к ненужному преступлению» (15).

«Занимаюсь много и начинаю входить в колею. [...] Думаю (среди тысяч планов) описать свою любовь к Лёле, в виде повести. Поэма на ее смерть подвигается что-то очень плохо» (14 июня). «Старательно пишу роман из моей жизни с Лёлей. Начинает он сбиваться на “Героя нашего времени”, но это только хорошо. Сегодня сон (умирающая Лёля) и этот роман опять разбудили боль на сердце» (17 июня). «Написал весь роман до конца. Написал несколько удачных лирических стихотворений, но о чем? всё о том же. Лёля царит везде — во сне, в листах, в разговорах. Беру По и вспоминаю, что читал его ей. Говорю об идеале и вспоминаю, что это был наш последний спор» (22 июня).

В стихах дальше отдельных набросков дело не пошло, а роман вылился в «лирическую повесть в XII главах» «Декадент» (закончена 3 ноября 1894 года), начинающуюся словами: «Чем дальше отодвигается от меня мое прошлое, мое недавнее прошлое, которое уже начинает мне казаться невероятным, тем яснее начинаю я понимать, как много пережито за один мелькнувший год» (16). Многие в ней заимствованы из дневника, хотя герой по имени Альвиан — alter ego автора — изображен неискренним в чувствах к героине и поглощенным лишь поиском «средства для ярко-певучих стихов». Прототип, действительно, был «лучше», как говорила подруга.

4

В сентябре 1893 года начались университетские занятия, о которых Брюсов вспоминал в «Автобиографии»: «Я переменил только форму одежды, но не переменил образа жизни. [...] Проф. В.И. Герье заставлял нас писать “сочинения”, проф. А.Н. Шварц, будущий министр, задавал нам на дом “уроки”, с проф. Ф.Е. Коршем мы занимались на семинарии переводом классиков, словно в школе. Со студенческим кругом я не сблизился, вероятно, все по той же своей неспособности легко сходиться с людьми. Кроме того, студенты все, прежде всего, интересовались политикой, я же в те годы, простившись со своим детским республиканством, решительно чуждался вопросов общественности и все более и более отдавался литературе».

Гораздо более важным делом, чем лекции, семинары и конспекты, была подготовка к печати первого выпуска «Русских символистов». Краткое предисловие к нему и более подробное к несостоявшемуся сборнику «Символизм. (Подражания и переводы)» выдержаны в академично-просветительском тоне: «За последнее время у нас много говорят и пишут о символистах, но до сих пор появлялось еще очень мало переводов из их произведений, так что эти “подражания и переводы” могут быть только своевременными. [...] Символизм представляет несомненный интерес и как новое веяние в поэзии, и просто как значительная литературная школа современной Франции» (17). «Первое публичное выступление Брюсова-символиста, — отметил В.С. Дронов, — носило относительно мирный характер. Рассматривать его как намеренное и глубоко осознанное стремление эпатировать “читающую публику” разного рода декадентскими крайностями нет достаточных оснований. От установки на литературный скандал Брюсов в эти дни был далек», рассматривая свое детище как «эксперимент, доказывающий, что в символизме есть рациональное начало и для русской поэзии» (18).

Второй выпуск «Русских символистов» делался если не в расчете на скандал, то с учетом такой возможности. Во-первых, сам факт его появления говорил, что символисты не спасовали перед единодушным осуждением прессы — от консервативного «Нового времени» до либерального «Вестника Европы». Брюсов ответил критикам информативным и подчеркнуто спокойным предисловием в виде письма к «очаровательной незнакомке», заявив между прочим: «По некоторым данным я предвижу, что в недалеком будущем символизм займет господствующее положение». Во-вторых, декадентов стало заметно больше: «Порода существ, именующихся русскими символистами, — писал Соловьев в издевательской рецензии на второй выпуск, — имеет главным своим признаком чрезвычайную быстроту размножения. [...] Я готов был бы думать, что эта порода размножается путем произвольного зарождения, но едва ли такая гипотеза будет допущена точной наукой». В-третьих, на призыв издателя «В.А. Маслова»* присылать ему про-

* Утверждения, что Брюсов взял этот псевдоним в память о Елене Красковой, поскольку ее настоящая фамилия — Маслова, неверны. Р.Л. Щербаков установил, что Краскова при жизни нигде не фигурировала под фамилией Маслова, а Брюсов использовал данный псевдоним в любительских спектаклях уже осенью 1893 года.

изведения для публикации стали откликаться совершенно незнакомые люди.

Во втором выпуске «Русских символистов», получившем цензурное разрешение 23 августа 1894 года и вышедшем в начале октября, перед читателем предстали: А.Л. Миропольский, Эрл. Мартов, Брюсов, Н. Нович, А. Бронин, М., К. Созонтов, В. Даров, ***, З. Фукс. В третьем выпуске — без указания порядкового номера, но с подзаголовком «Лето 1895 года» — разрешенном 26 апреля 1895 года и увидевшем свет между 10 и 23 августа, к ним прибавились: Г. Заронин, Ф.К. и В. Хрисонопуло. Предисловие к переводам Брюсова из французской поэтессы Приски де Ландель извещало об «отречении А.Л. Миропольского от литературной деятельности».

Известных имен, кроме Брюсова, мы здесь не видим. Кто эти люди?

А. Бронин, М., К. Созонтов, В. Даров, Ф.К., *** — это все тот же многоликий Брюсов, он же издатель Маслов. Стихотворения и переводы, опубликованные под инициалом М. и астрономом ***, вошли в его сборники еще при жизни. Созонтов и Даров как маски Валерия Яковлевича названы в печати в 1927 году Н.К. Гудзием, работавшим с рукописями поэта, хотя в «Автобиографии» 1913 года тот, перечисляя реальных участников альманаха, назвал второго в их числе: «В. Даров (псевдоним) занялся торговлей и в настоящее время известен в финансовом мире, но продолжает писать стихи». В черновых тетрадах Брюсова осени 1894 года Гудзий обнаружил наброски предисловия к сборнику «покойного» Дарова: в одном из них говорилось, что это — псевдоним рано умершего поэта с задатками гения, в судьбе которого очевидны параллели с литературной судьбой Артюра Рембо. «Проектировавшаяся мистификация Брюсова в ее начальной стадии обуславливалась, нужно думать, не бескорыстными побуждениями. Практически всего выгоднее было, укрывшись за спиной псевдонима, выждать, какой прием встретит книга, а затем открыть или не открывать свое подлинное имя, в зависимости от успеха или неуспеха предприятия. Самое предисловие издателя рассчитано было на то, чтобы загипнотизировать читателя и судьбой юного поэта, импонировавшего самым фактом столь преждевременной смерти, и уверениями издателя в его гениальности. Перед нами явный расчет на эффект, на исключительность и необычайность факта» (19). Именно Дарову в «Русских символистах» отданы самые необычные стихотворения.

Двинулось, хлынуло черными, громкими волнами,
 И тоски, и отчаянья полными.
 Задыхаюсь, тону, погибаю, мой друг!
 Где ты? один я... о где ты!
 Как будто в бреду разбивают оковы мечты,
 Разбивают оковы,
 Встают и идут... но куда? на подвиг
 Иль на позор?
 Силою дышит могучее женское тело,
 Спутаны волосы, бьются обрывки цепей,
 Бьются о камни...
 Взлетают в испуге навстречу летучие мыши.
 Стойте!.. Стойте! Я гибну...
 Пространство...
 Крутятся светила в ужасной борьбе... На куски
 Разбиваются сферы... О стойте!..
 Смешано вечное... вечное!.. Нет!
 Нет! Это ты ли, мой друг?
 На грудь к тебе упаду я,
 На грудь упаду, буду плакать,
 Буду плакать, как женщина, плакать
 Как девушка, только что нагло
 Оскорбленная... плакать
 Как невольницы в тайных темницах Нерона,
 Что в бреду свои разбивают оковы,
 Встают и идут... но куда? на подвиг
 Иль на позор?

Р.Л. Щербаков атрибутировал тексты Бронина и Ф.К. как принадлежащие Брюсову, но неизвестным остался автор стихотворения «Я ненавижу вас, великие...», напечатанного в 1907 и в 1909 годах за подписью «А. Бронин» с явным намеком на Брюсова (20). Споры вызвал(а) З. Фукс из второго выпуска. Критики гадали, мужчина это или женщина: как заметил Соловьев, «будем надеяться, что “З” означает Захара, а не Зинаиду», — потому что какая дама могла позволить себе такие «бодлерианские» стихи:

Труп женщины гниющий и зловонный. —
 Большая степь, чугунный небосвод...
 И долгий миг, насмешкой воскрешенный,
 С укорным хохотом встает.
 Алмазный сон... чертеж вверху зажженный...
 И аромат, и слезы, и роса...
 Покинут труп, гниющий и зловонный,
 И ворон выклевал глаза.

Авторство Брюсова установил Гудзий на основании его рукописей.

Теперь о реальных лицах (21), которые, согласно автобиографии Валерия Яковлевича, «относились к своему делу и к своим стихам очень несерьезно. То были люди, более или менее случайно попытавшие свои силы в поэзии, и многие из них вскоре просто бросили писать стихи. Таким образом я оказался вождем без войска».

Г. Заронин (в черновике одного из писем Брюсов называет его «Григорием») — петербуржец Александр Васильевич Гиппиус, в ту пору гимназист, ничем себя в литературе не проявивший, кроме дружбы с Александром Блоком. Знал ли Брюсов настоящую фамилию человека, от которого получил по почте не слишком грамотные стихи, неизвестно. Псевдоним был раскрыт в статье Гудзия со ссылкой на свидетельство младшего брата автора — известного литературоведа Василия Гиппиуса.

Н. Нович, публиковавший в сборниках исключительно переводы, — основной псевдоним плодovitого переводчика Николая Николаевича Бахтина. О «Русских символистах» он узнал, видимо, из бранной рецензии И.П. Белоконского в газете «Орловский вестник», где сам периодически печатался: с 1891 года он преподавал в Орловском кадетском корпусе, основанном его предком М.П. Бахтиным. «Было бы страшно за русскую литературу, — писал Белоконский, — если бы были какие-либо основания предполагать, что наш “символизм” имеет какую-либо будущность. Но никаких оснований к такому предположению нет, и почти несомненно, что наши “символисты” лишь обезьянничают, подражая западноевропейским и, главным образом, французским “символистам”» (22). Сказанное не могло не заинтересовать Бахтина-Новича, который уже переводил Верлена и По. Переписывавшийся то с «Брюсовым», то с «Масловым», Бахтин оказался, по замечанию публикаторов их переписки, «на редкость нечестолубивым, тихим и покладистым автором»: «Его недолгое сотрудничество в альманахе Брюсова не было омрачено никакими разногласиями, и в этом заключалась причина успешности их сотрудничества в отличие от всех остальных поэтов, многих из которых отпугнула редакторская бесцеремонность Брюсова, [...] правившего чужие стихи по собственному разумению». Валерий Яковлевич охотно обсуждал с Бахтиным проблемы поэтического перевода, найдя в нем заинтересованного и сведу-

шего собеседника, но с прекращением «Русских символистов» их переписка сошла на нет (23).

Виктор Евстафьевич Хрисонопуло — автор единственного стихотворения в сборнике, которое тем не менее удостоилось пародии Вл. Соловьева, — был родом из Одессы, учился в Нижнем Новгороде, затем в Санкт-Петербургском университете. Он прислал Брюсову семь стихотворений, из которых тот напечатал одно, да и то со своей правкой. Согласовывать ее с автором составитель не стал, из-за чего Хрисонопуло 25 сентября 1895 года написал ему гневное письмо с требованием объяснений. Объясняться Брюсов не счел нужным (24). Годом позже подборка стихотворений Хрисонопуло появилась в благотворительном альманахе в Петербурге, а в 1900 году он умер.

Эрл. Мартов «по паспорту» звался Андрей Эдмондович Бугон. В середине марта (не отсюда ли псевдоним?) 1894 года он прислал Брюсову стихи в сопровождении велеречивого письма, подписанного «Эрла-Мартов» (так! — *В.М.*): «Великое дело вы предприняли! Пробивавшееся и прежде сквозь лед отживающих представлений о задачах поэзии могучее течение, которому предстоит наводнить весь мир, нашло в вас союзника, смело поднявшего знамя новых заветов искусства. Вы кликнули клич по России, чтоб объединить всех разрозненных борцов за истинно прекрасное, вы протянули руку великодушной помощи, и я, захлебывающийся в мутных водах жизни, прибегаю к Вам, чтобы дать возможность моей плоти, моей крови, моей душе взглянуть смело и гордо в лицо дрожащей и бледнеющей рутины» (25). Письмо и ультрадекадентские стихи вполне могли быть мистификацией, но Брюсов счел их пригодным материалом для своего проекта и тоже подверг правке. В августе он познакомился с Бугоном лично и еще в 1896 году общался с ним, хотя относился к соратнику с иронией.

Валерий Яковлевич планировал напечатать четвертый сборник «Русских символистов» и даже заложил свои часы, но денег все равно не хватило, поэтому рукопись осталась в архиве. О пародийных и откровенно издевательских текстах из самотека речь пойдет позже, а пока назову тех, чьи стихи могли попасть, но по разным причинам не попали на страницы сборников.

Восемнадцатилетние Александр Добролюбов и Владимир Гиппиус (старший брат Александра Гиппиуса), в июне 1894 года пришедшие к Брюсову знакомиться, произвели на него сильное впечатление и сразу же вызвали желание

сотрудничать. «Минувшая неделя была очень ценна для моей поэзии, — записывал он 19 июня. — В субботу явился ко мне маленький гимназист, оказавшийся петербургским символистом Александром Добролюбовым. Он поразил меня гениальной теорией литературных школ, переменяющей все взгляды на эволюцию всемирной литературы, и выгрузил целую тетрадь странных стихов. С ним была и тетрадь прекрасных стихов его товарища — Вл. Гиппиуса. Просидел у меня Добролюбов до позднего вечера, обедал etc. Я был пленен. Рассмотрев после его стихи с Лангом, я нашел их слабыми. Но в понедельник опять был Добролюбов, на этот раз с Гиппиусом, и я опять был прельщен. Добролюбов был у меня еще раз, выделял всякие странности, пил опиум, вообще был архисимволистом. Мои стихи он подверг талантливой критике и открыл мне много нового в поэзии».

Биографически Добролюбова и Брюсова сближало многое: отцы-«шестидесятники», которых они уважали, но от влияния которых ушли, ранняя тяга к литературе, проявившаяся в издании гимназических журналов, склонность к экстравагантному поведению и бытовому позерству, интерес к французским символистам, личное знакомство с литераторами и неприемлемость собственных творений для существующих изданий. Валерий Яковлевич сразу же предложил петербуржцам сотрудничество в подготовке новой книжки «Русских символистов», но двум медведям в одной берлоге оказалось тесно. «Казалось, все шло на лад, — заносил Брюсов в дневник 19 июня, — Добролюбов писал статью, их стихи должны были войти во 2-й выпуск, но вот два новых символиста взялись просмотреть другие стихи, подготовленные для 2-го выпуска. В результате они выкинули больше половины, а остальное переделали до неузнаваемости. В субботу они явились с этим ко мне. Мы не сошлись и поссорились. Союз распался. Жаль! Они люди талантливые».

В письме Лангу 19–20 июня Валерий Яковлевич изложил случившееся в более резких и откровенных выражениях: «Самый губительный их довод [...] был следующий: вы нарочно печатаете свои (т.е. мои и твои) недекадентские стихи, а у других декадентские. Т.е. критика, к декадентам вообще не расположенная, начнет вас хвалить. [...] Мерзавец был прав, хотя, конечно, я преотчаянно защищал нас, доказывая, что символизм вовсе не новая школа, что в символистском сборнике нужны и несимволические произведения, что, нако-

нец, наши тоже — черт возьми — символические произведения». По мнению Гиппиуса, размолвка произошла «отчасти из-за мальчишества с нашей стороны, но, может быть, и из-за того, что декадентские требования Добролюбова к поэзии показались Брюсову чрезмерными» (26).

Сотрудничество Добролюбова и Гиппиуса в «Русских символистах» не состоялось, но знакомство — личное и литературное — продолжилось, повлияв и на готовившийся сборник. «Мой друг, — возвышенно продолжал Брюсов послание Лангу, — не роптать, а повиноваться! Мы должны смирить их! Наш сборник должен быть и прекрасен и символичен! Все, что у нас есть, надо превратить в шедевры. Друг! Не изумляйся! Если надо — напишем все вновь! Ничего дорогого пусть не существует! Лучшие стихи, может быть, придется выкинуть. Пусть! Наш сборник должен быть и самобытен и прекрасен. Докажем, что мы это можем! И дни и ночи я занят поправками. Бронина всего переделал так, что он сам себя не узнает. Мартова переделываю страшно. Собственные стихи переделываю от верха до низу. [...] Составляю сборник диктаторской властью» (27). Даже стихи Ланга он переделывал настолько радикально, что, по мнению С.И. Гиндина, «Русские символисты» можно рассматривать как авторское произведение Брюсова (28). Беседы с гостями из Петербурга отразились в предисловии ко второму выпуску «Русских символистов» и в газетных интервью москвичей «Новостям дня», поэтому Брюсову пришлось отвечать на упреки Добролюбова и Гиппиуса в том, что он и Миропольский заимствуют их взгляды и теории (29).

Еще один петербуржец Иван Осипович Лялечкин не попал в число участников «Русских символистов» из-за преждевременной смерти. Его, в отличие от Брюсова и Добролюбова, печатали литературные журналы; в 1895 году он собирался выпустить книгу стихов, но не успел. В ноябре 1894 года Лялечкин послал Валерию Яковлевичу одобрительный отзыв о первом и втором выпусках: «Мило и восхитительно. От души желаю примкнуть к вашему кружку» (30). Брюсов обрадовался письму лично незнакомому ему литератора, которое резко контрастировало с грубой бранью «собратьев по перу», тем более что он уже в 1893 году обратил внимание на стихи Лялечкина. Между поэтами завязалась переписка, но встретиться им так и не удалось: 27 февраля 1895 года Иван Осипович умер в Калуге, где гостила у сестры. «Вот тяжелый, очень тяжелый удар для молодой поэзии! — писал Брюсов в черновике письма критику

Петру Перцову, с которым подружился по переписке. — Если в кого я верил как в лирика, это в него» (31). Стихотворение «На смерть И. Ляleckина» проникнуто грустью по обещанному, но несбывшемуся:

Милый брат! ты звездой серебристой
Заблестел над тропинкой росистой,
Ты внушил нам ненужные грезы!..
Ты предтечей безвестных гармоний
Тихо канул в вечерние тени!

Невозможно сказать, как развивалось бы творчество Ляleckина дальше, но то, что он успел написать, говорит, во-первых, о несомненном таланте, а во-вторых, о близости к «новым течениям». Брюсов хотел включить в третий выпуск его сонет «Полночные тени, пугливые тени...», полученный от автора, но почему-то не сделал этого.

Если Ляleckин в «Русских символистах» смотрелся бы органично, то появление там Авенира Евстигнеевича Ноздрина — рабочего-текстильщика из Иваново-Вознесенска, в будущем революционера и одного из зачинателей пролетарской поэзии — показалось бы удивительным (32). 17 марта 1895 года Ноздрин, живший в то время в Петербурге, написал Брюсову пространное письмо с приложением стихов: «Для меня было бы лестно, если бы из них что-нибудь удостоилось напечатания в издании Владимира Александровича Маслова». Подробно разобрав присланные стихи, Брюсов ничего не принял в альманах, но всячески ободрял и поддерживал своего корреспондента в литературной деятельности (осенью 1895 года они познакомились лично), давал ему советы, посылал книги, а осенью 1896 года чуть было не стал издателем его первого сборника «Поэма природы»: Валерий Яковлевич составил книгу, исправив часть текстов, написал краткое предисловие и получил на нее цензурное разрешение. Почему сборник не вышел, точно не известно — видимо, по недостатку средств у автора и у издателя.

Первая книга стихов Ноздрина «Старый парус» увидела свет только в 1927 году, когда автору исполнилось 65 лет. Сохранился черновик его дарственной надписи, адресованной Иоанне Матвеевне Брюсовой: «Подытоживая свое прошлое, мне хочется сказать, что еще 30 лет тому назад, когда моя судьба отправилась в поэтическое плавание, то моим рулевым был покойный Валерий Яковлевич. Жизнь

прошла, мое плавание заканчивается, и от него остается “Старый парус”, который мне и хотелось бы передать в ту семью, где жил мой первый и добрый рулевой, где, как мне известно, я еще не забыт».

В четвертом выпуске «Русских символистов» должны были появиться стихотворения Владимира Митрофановича Голикова (33), что могло бы спасти его от забвения. Позднейшая деятельность газетного поденщика шансов на это не давала, хотя его грубоватые стихотворные фельетоны, в том числе с перепевами Брюсова, привлекали внимание исследователей сатирической журналистики. Профессионального скандалиста Александра Николаевича Емельянова-Коханского, именовавшего себя «первым смелым русским декадентом», Брюсов не допустил в альманах сознательно (34).

«Киевское общество символистов», упомянутое Брюсовым, относилось к числу мистификаций, а утверждение: «Значительный по количеству материал, присланный со всех концов России, показывает, что символизм уже крепко стал на русской почве» (35), — к числу преувеличений, хотя некоторые основания для последнего имелись. «В далекой глуши, в г. Мерве Закаспийской области, штабс-капитан Глаголев в 1895 году переводит Верлена, Метерлинка, Мореаса и запрашивает Брюсова о возможности напечатать свои переводы. К сожалению, сами эти переводы в брюсовском архиве отсутствуют. Но тот факт, что [...] безвестный штабс-капитан не только читает, но и переводит никому тогда в России неизвестного Мореаса, показателен сам по себе: он свидетельствует лишний раз об органичности и своевременности литературного выступления московских символистов» (36). А еще в 1889 году в Вытегре начал переводить Верлена учитель Федор Кузьмич Тетерников — будущий Федор Сологуб.

Глава четвертая

ИСКУССТВО БЫТЬ «ВАЛЕРИЕМ БРЮСОВЫМ»

1

В 1909 году востоковед Владимир Тардов, он же поэт и критик «Т. Ардов», опубликовал большую статью «Ересь символизма и Валерий Брюсов», в которой хорошо передал

впечатление от дебюта московских декадентов и объяснил, почему реакция на него была именно такой — в обществе в целом и среди «тех, кто ищет»:

«В эпоху оскудения и стихийного торжества пошлости [...] появилась вдруг яркая ересь. Пришли какие-то люди, до сих пор неизвестные, стали писать о вещах, о которых нельзя было и, казалось, не нужно было писать, и таким языком, какого до тех пор не слышали в юдоли толстых журналов. Чувствовалась огромная дерзость: люди давно отвыкли говорить и давно привыкли молчать, а эти странные “мальчишки” осмеливаются быть свободными. В их бурных песнях, казавшихся такими дикими, звучали трепеты пробужденного тела, радующегося жизни, порывы в неизведанные дали, где могут быть опасности, непосильные для добрых филистеров, святотатственные дерзновения, неоглядывающаяся насмешка над тем, что весьма воспрещается. [...] Было неуважительно, неприлично, главное — неуместно! Встречая в печати эти новые произведения, такие странные, изысканные, подчас неудобопонятные, экзотически причудливые, вызывающе резко звучащие, под нашим серым небом, подобные невиданным орхидеям, вдруг выросшим на почве, где до того произрастала лишь картошка да капуста, вообще хлеб насущный, — обыватель только отфыркивался: какая странная штука! Новая поэзия рождала в нем то же чувство, которое является у него, когда он рассматривает уродца в спирту или читает в газетной “смеси” про гориллу, обольстившего девицу. [...] Читатель относил эти стихи к симптомам вырождения, называл всех без разбору декадентов маньяками, дегенератами, распространял басни о том, что все они морфиноманы, галлюцинанты, садисты. [...]

В эту пору я познакомился с творчеством Валерия Брюсова. Про него говорили: “А, это — тот, который...” Вождь и первосвященник декадентов! Я помню, прочитав несколько стихотворений, я закрыл книгу с странным, сложным чувством: хотелось бежать, сесть на поезд, ехать искать его, или взять перо, написать ему: “Зачем? Зачем вы *это* делаете? Зачем смешались так странно в ваших стихах строки, которые живут самодовлеющей таинственной жизнью великих произведений искусства, образы, иссеченные из гранита, вылепленные быстрой рукой из послушной глины, с мертвыми словами, в которых нет души?” [...] Искусственность, изысканность, не сдержанная самокритикой вычурность, экзотичность — мешали увлечься и полюбить эти стихи» (1).

Издавая первый выпуск «Русских символистов», Брюсов не рассчитывал на скандал. Тоненькая тетрадка, которую никому не известные авторы сами рассылали по редакциям, была обречена на невнимание. Наверно, втайне он надеялся, что поэты, рецензировавшие сборники стихов в журналах, отнесутся к новаторским опытам хотя бы с интересом. Ругательная рецензия «Иванушки Дурачка» в «Новом времени» только подзадорила Валерия Яковлевича: «Конечно, что до меня, мне это очень лестно, тем более, что обо мне отозвались как о человеке с дарованием. Чувствую себя истинным поэтом» (13 марта 1894). Он еще мог смириться с отзывом Коринфского, молодого, но чуждого «новым течениям» поэта и критика: «Если это не чья-нибудь добродушная шутка, если гг. Брюсов и Миропольский не вымышленные, а действительно существующие в Белокаменной лица, — то им дальше парижского Бедлама или петербургской больницы св. Николая (психиатрические клиники. — В.М.) идти некуда» (2). Точки над *i* расставила рецензия Соловьева: «Общего суждения о г. Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет, то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны».

Уже современники задавались вопросом, почему именно дебют Брюсова был встречен столь единодушным неприятием. «В то время как произведения его собратьев по духу гг. Бальмонта, Мережковского, Минского, Соллогуба (так! — В.М.) *et tutti quanti** принимаются и публикой, и критикой всерьез (даже смеются над ними всерьез), к г. Валерию Брюсову установилось какое-то двусмысленное отношение: не то — наивный младенец, не то остроумный шутник, сознательно доводящий до крайностей вычурности символизма, чтобы лучше их высмеять» (3). Ответ на это дал Владислав Ходасевич, рецензируя через двадцать лет после дебюта, первый том «Полного собрания сочинений и переводов» Брюсова: «Литературная деятельность некоторых адептов школы хронологически началась раньше деятельности Брюсова, но все они пришли к символизму не сразу, а постепенно. Брюсов начал с него — и символизм начался Брюсовым».

Старшие собратья по символизму вошли в литературу обычным путем — через толстые журналы, причем в их дебюте не было ничего новаторского или странного. «Жур-

* И всяких иных, подобных (*ит.*).

нал — дело общественное, — писал Брюсову 10 января 1897 года несостоявшийся соратник по «Русским символистам» Владимир Гиппиус, — в нем и беллетристику, и стихи читают с точки зрения житейской и выуживают оттуда какие-то общественные намеки. [...] Книга — дело другое, да книги и не покупают. [...] С книгой выступать — выходить на трибуну» (4). Первые книги стихов Минского (1883), Мережковского (1888) и Бальмонта («Сборник стихотворений» 1890 года, от которого автор отрекся) были эпигонством народнической традиции. Следующие сборники Минского (1888) и Мережковского (1892) можно назвать новаторскими в плане содержания, но не поэтики или эстетики. Первый декадентский сборник Бальмонта «Под северным небом» вышел в том же 1894 году, что и «Русские символисты». Первые книги Сологуба и Гиппиус (проза) появились в 1896 году, позже, чем у Брюсова.

Литературная среда приняла Минского и Мережковского как законных, хотя и блудных сыновей: они дебютировали «как надо» и «где надо» и заявили себя как новаторы, уже обладая литературным именем. Гиппиус воспринималась в «среде» как жена Мережковского, Сологуб не стремился интегрироваться в нее. Брюсов сделал все наоборот: после первых отказов перестал обращаться в журналы; связей среди редакторов и критиков не заводил и с их мнениями не считался; дебютировал сразу провозглашением новой школы; демонстративно игнорировал социально-политическую и нравственно-философскую проблематику.

На фоне всеобщего осуждения, упоминавшееся выше интервью газете «Новости дня» показалось Брюсову «далеко не противным»: «Идем вперед», — прокомментировал он 30 августа 1894 года его появление. Эта история началась с интервью Миропольского, объявленного «главным декадентом», и Мартова, который на самом деле беседовал с газетчиком в одиночку. «Признаюсь, — писал репортер, — ожидал встретить сборище людей, которые видят свое призвание в праве носить какой-нибудь необычный костюм, которые и видом, и речами не похожи на простых смертных. [...] Совсем молодые и довольно милые мальчики, вот и все. В костюмах никаких странностей, есть некоторая странность в речах, но эта странность показалась мне, так сказать, официальной. Нельзя же, в самом деле, и московским декадентом быть, и вместе с тем говорить так, чтобы каждый тебя понял». Через 15-20 лет этим искусством в совершенстве овладеют футуристы.

Интервью насторожило Брюсова тем, что излагало добролюбовскую «теорию литературных школ» как общую позицию символистов, — и тем, что появилось без его участия и санкции. Валерий Яковлевич поспешил в редакцию для объяснений, захватив с собой заготовленный текст о теории символизма. Юный вождь оценил силу печатного слова, тем более что в газете к нему отнеслись как минимум с вниманием. На ее страницах появилось не только изложение теории, но и целый букет рекламной информации: о готовящемся «издании корифеев символизма в русских переводах» (амбициозный, но так и не осуществленный план), о предстоящем выходе сделанного Брюсовым полного перевода «Романсов без слов» Верлена (цензурное разрешение 11 ноября 1894 года, вышел между 16 и 23 декабря), о том, что первый выпуск «Русских символистов» намеренно имел небольшой тираж в 400 экземпляров (на самом деле 200) и уже разошелся (официально назван распроданным только через год), что вскоре будет издан второй выпуск большим тиражом (на самом деле 400 экземпляров). Максимум возможного «пиара» новым книгам и их основному автору был сделан.

Валерий Яковлевич начал большую игру — стал сознательно вести себя как «Валерий Брюсов, вождь московских символистов» («зарегистрированная торговая марка»). Два года спустя, 28 июля 1896 года в письме Станюковичу он признался: «Надо мной и моей поэзией глумились очень достаточно и за "Русских символистов", но я все время чувствовал себя так, как будто я сам по себе, а "Валерий Брюсов", русский символист — сам по себе; один другого не касался» (5). Осенью 1894 года в дневнике одна за другой появляются записи: «Показывали меня как редкостного зверя домашним Иванова («музыкант-символист», приятель Мартова-Бугона. — В.М.). Я выделял все шуточки ученого зверя — говорил о символизме, декламировал, махал руками (признак оригинальности)» (14 сентября); «Сегодня у Зунделовича (соученик по гимназии Креймана — В.М.) меня "показывали", демонстрировали как символиста. Спорил о Марксе, о социализме и многом другом. Декламировал и произвел известное впечатление» (22 октября). И автокомментарий: «Скромничай или будь безумно дерзок. При дерзости не заметят, что даешь слишком мало, при скромности будут благодарны, что ты даешь больше, чем обещал. Но никогда не говори, что дашь именно столько, сколько можешь» (21 октября).

Всё это не было для Валерия Яковлевича чем-то принципиально новым. Привыкнув еще в отрочестве «наглостью скрывать свою робость», он старался выделиться в любой аудитории, где его могли оценить. Поэтому следующий, казалось бы сугубо бытовой, фрагмент «Моей юности» заслуживает внимания в свете его *творческой* биографии:

«Перед сестрами Викторowymi я не мог особенно ломаться, ибо ясно видел, что они не очень-то образованы и мало интересуются литературой. Все же я читал и посылал им свои стихи. У Кариных же собирались люди более или менее образованные — студенты, певцы, люди читающие. И чего я ни говорил перед ними! По всякому удобному, а чаще неудобному поводу высказывал я свои мысли, старался, чтобы они были особенно оригинальны и особенно неожиданны. Я не пропускал ни одного общего суждения, хотя бы о новой опере или о новом здании в городе, чтобы тотчас не запротиворечить этому суждению. Мне нужно было противоречить, чтобы спорить и говорить. Я даже иногда дома письменно составлял планы будущих своих бесед у Кариных и иногда умело, иногда очень грубо ломал разговор на свой лад. [...] По самым ничтожным поводам я говорил громкие слова, заставляя себя не стыдиться их. По поводу опущенной шторы я говорил об ужасе дня и сладости принять в себя ночь, о первобытном человеке, мир которого был небосводом, и о будущем человеке, который будет жить только книгами, чертежами, утонченностью мысли. [...] Увидя электрические фонари, я не мог не сказать, что они прекраснее луны; видя длинную полосу газовых фонарей вдоль улицы, я каждый раз говорил, что это — ожерелье улицы. Надо мной немного смеялись, немного по наивности, и интересовались мной». Поэтому самооценку из дневника: «Часы, потраченные на рисовку перед барышнями, — потеряны для меня» (16 мая 1892), — следует признать неверной.

Столь же полезной школой стало для Валерия Яковлевича участие в любительских спектаклях, где он играл даже... самого себя. 30 ноября 1893 года, в канун его двадцатилетия, на сцене Немецкого клуба в Москве была исполнена одноактная пьеска Брюсова «Проза», упомянутая в газетной хронике (6). Автор — под настоящей фамилией — играл молодого поэта Владимира Александровича Дарова, «артистка-любительница Раевская» (Наталья Дарузес), которой была посвящена пьеса, — его жену Талю. Сюжет сценки

предельно прост. Получив большой гонорар, поэт собирается издать книгу стихов, но брат жены вынуждает его потратить деньги на платья и летний отдых, говоря Дарову: «Зачем вам издавать свои стихи? Их никто не поймет; вы их сочиняли не для публики, а для себя, так и читайте сами». Со словами: «Да, вы правы», — поэт рвет рукопись. Единственное стихотворение, которое он читает по ходу пьесы, не оставляет сомнений в том, о ком и о чем идет речь: это «Гаснут розовые краски...» — пролог к первому выпуску «Русских символистов».

Судьбе непонятого поэта-новатора, вынужденного уступать давлению семьи, посвящен рассказ «Через десять лет», написанный годом позже «Прозы». Под именем Ныркова Брюсов вывел себя, под именем Пекарского — Ланга (эту фамилию он носит и в повести «Декадент») (7). Пугая себя возможностью печального будущего, не следовал ли автор примеру... Тургенева? А.П. Могилянский предположил, что скульптура-автошарж «Будущность художника Павла Яковлевича Шубина» в романе «Накануне» (глава 20) и повесть «Петушков» — изображение перспективы жизни самого Тургенева под каблуком Полины Виардо (8). Так это или нет, но задуматься стоит...

В конце 1893 года Брюсов написал пьесу «Декаденты. (Конец столетия)». Прототипом главного героя — поэта Поля Ардье — послужил Верлен, стихи которого звучат в пьесе в переводе автора (9). Ироническим продолжением портретной галереи стали молодой поэт Владимир Александрович Финдесъеклев (от французского «fin de siècle», «конец века», синоним «декадентства») из комедии «Дачные страсти» (1893), которую цензура запретила за «безнравственность», и «юный символист и декадент» Анапестенский из прозаического наброска «Развратник» (февраль 1896), который «как все его собратья по перу, раз в год (осенью, когда критики еще не устали ругаться) печатал “книги” в 15 страниц толщиной. Особенность же г. Анапестенского состояла в том, что он особенно любил воспевать “осужденные ласки”, “тайны разврата” и другие ужасы, о которых слыхал в переводных романах (увы — г. Анапестенский слишком плохо знал иностранные языки, чтобы читать французских символистов)» (10). Насмешки метили не только в Брюсова, умевшего посмеяться над собой, но и в его подражателей. Декадентство входило в моду.

Четырнадцатого декабря 1894 года Валерий Яковлевич записал: «В начале этой тетради обо мне не знал никто, а

теперь, а теперь все журналы ругаются. Сегодня “Новости дня” спокойно называют Брюсов, зная, что читателям имя известно». Второй выпуск «Русских символистов» был сделан еще в примирительном настроении, хотя и с сознательными дерзостями. Разделы, озаглавленные «Ноты», «Гаммы», «Аккорды», «Сюиты», были пронумерованы, но следовали друг за другом не по порядку номеров. Именно здесь появились стихи «З. Фукс» и «В. Дарова». О последнем Брюсов поведал в августовском интервью «Новостям дня»: «Г. Даров — один из наиболее страстных последователей символизма. Только в символизме видит он истинную поэзию, а всю предыдущую литературу считает прелюдией к нему. До сих пор, говорит г. Даров, поэзия шла по совершенно ложному пути». Тон критики стал жестче: символисты оказались не мистификаторами, но самоуверенными людьми, осмелившимися игнорировать мнение мэтров. Соловьев продолжал издеваться, хотя и выделил в книжке одно стихотворение — но не Брюсова, а Мартова — как «напоминающее действительную поэзию».

2

Русская литературная среда привыкла оглядываться на Европу и ее мнения. Союзниками в борьбе за символизм должны были стать иностранные поэты. «Нечто свершено. Заточенный дома и как-то успокоившись, я отдался одному делу. Вчера оно окончено. Оно не прославит моего имени, но представляет ценный вклад в русскую литературу, — без ложной скромности записал Брюсов 16 августа 1894 года, — это перевод “Романсов без слов” Верлена». 11 ноября книга была дозволена цензурой и вышла в свет в конце декабря. Ограниченные финансовые возможности вынудили Валерия Яковлевича отказаться от включения в книжечку, изданную на свои средства тиражом в тысячу экземпляров, готового очерка жизни и творчества поэта и заменить его кратким предисловием, которое открывалось декларацией: «Верлен один из самых субъективных поэтов». Выбор сборника для перевода он объяснил следующим образом: «Хотя “Романсы без слов” и прошли в свое время незамеченными, они были откровением для поэзии, первой книгой *вполне выраженного, но еще не искаженного символизма* (курсив мой. — В.М.)». Переводчик заранее готовился отражать возможные нападки, а потому, отметив трудность пе-

реложения Верлена на чужом языке, сделал такую оговорку: «Недостатки этой книги надо приписывать переводу, а не шедеврам Верлена» (11).

Критики набросились на качество перевода, но делали это в грубой форме и без каких-либо конкретных замечаний. «Брюсовский Верлен настолько далек от оригинала, — уверенно писал Коринфский, — что вызывает только усмешку, нелестную для переводчика» (12). «Брюсов совершенно не понял Верлена, — вторил ему анонимный рецензент «Недели», — все тонкие, неуловимые оттенки мысли он принял за бессмысленный набор слов, вставленный только для рифмы, и вообразил, будто заменить его аналогичным набором бессмысленных слов будет значить “перевести Верлена”» (13). Но и у обличителей — отнюдь не знатоков французской поэзии, за исключением Петра Краснова, переводившего Малларме, — не было оснований для подобной резкости, кроме неприязни к московскому декаденту. Традиции русских переводов Верлена еще не существовало, а имевшиеся образцы были малочисленны и в основном неудачны (первые опыты Сологуба появились в «Северном вестнике» лишь в 1893 году). Наиболее консервативные в политическом и литературном отношении критики не скрывали, что ополчились не только на Брюсова, но и на Верлена, считая его влияние вредным для русской поэзии (14).

Ранние переводы Брюсова не свободны от недостатков, поэтому в 1900-е годы он начал переводить Верлена заново, а в 1911 году, выпуская итоговое собрание, критически оценил свою первую книгу: «В этих опытах было гораздо больше усердия и восторга перед поэзией Верлена, чем действительно воссоздания его стихов на русском языке» (15). Брюсову «предстояло много учиться, и перевод стал отличной школой», — заметила историк символизма Дж. Гроссман (16). Леонид Гроссман, выступая на чествовании Валерия Яковлевича 16 декабря 1923 года с докладом «Брюсов и французские символисты», сказал: «”Острый галльский смысл”, по слову Блока, не только пленил, но и образовал Брюсова. При всем своеобразии его поэтического лица, на нем определяющими чертами легли эти отражения французского гения в его неустанном завоевании новых эстетических ценностей и кристаллической отшлифовке их для всего человечества. Эти боевые и созидательные традиции старого “галльского духа” были восприняты у нас в начале 1890-х годов юным поэтом Валерием Брюсовым» (17).

Валерий Яковлевич собирался послать Верлену первый и второй выпуски «Русских символистов» через газету «Фигаро». Сделал он это или нет, неизвестно. Перевод «Романсов без слов» был отправлен автору с почтительным письмом (18), но никакого ответа из Франции не пришло. Русский вариант стихотворной дарственной надписи звучал:

Еще покорный ваш вассал,
Я шлю подарок сюзерену,
И горд и счастлив тем, что Сену
Гранитом русским оковал.

Это первое отдельное издание Верлена в России и вообще за пределами Франции, равно как и первая авторская книга Брюсова.

Чтобы доказать успешное бытование символизма за границей, классиков было недостаточно — требовались современники, причем молодые. «Нас совершенно не интересует современная западная литература, — с сожалением констатировал Брюсов в третьем выпуске «Русских символистов», имея в виду русскую читающую публику, — особенно поэзия, так что имена ее *самых видных* (курсив мой. — В.М.) деятелей у нас совершенно неизвестны» (19). Первым примером — и первым открытием, сделанным в книжном магазине Ланга, — стал немецкий поэт Франц Эверс, который, несмотря на молодость (на два года старше Брюсова), успел за несколько лет выпустить полдюжины книг. Валерий Яковлевич бурно восторгался: «Это гений, которого уже давно не видал мир! Его лирика выше, лучше и Шиллера, и Гёте, и Гейне, и Ленау, его драма — если и ниже Шекспира, то выше Альфиери и Шиллера! А его книга псалмов (“Die Psalmen”), современных псалмов! предвещаний пророка и пророчеств поэта! Нет места говорить о нем, но особенно восхищен я его любовной лирикой (книга “Eva”). [...] Эверс бесконечно разнообразен — он пишет философские произведения, романы, стихи» (20) — и переводил его стихотворения, хотя напечатал только одно. Перевод Эверса для отдельного издания был поручен Миропольскому, который вступил с немецким поэтом в переписку, но не довел работу до конца, в том числе из-за преследований цензуры, запретившей публикацию стихов Эверса и статьи о нем в третьем выпуске «Русских символистов». В 1906 году издательство «Скорпион» анонсировало сборник Эверса, одна-

ко русский читатель так и не узнал этого поэта, «еще неизвестного, но уже великого».

Еще одним «неизвестным, но великим» современником был Генрих Шульц. 19 ноября 1894 года Валерий Яковлевич прочитал о нем реферат в Кружке любителей западноевропейской литературы при Московском университете (21), где 20 октября огласил свой так и не напечатанный этюд о Верлене (22), а 8 ноября реферат об Эверсе. Изложив, с обильными цитатами, содержание основных книг Шульца и сообщив, что в 1890 году тот сошел с ума, Брюсов завершил выступление многозначительными словами: «Деятельность его сама по себе не была значительной, но деятельность десятков Шульцев, являющихся один на смену другому, уже потрясает здание нашей жизни. Они ведут нас к лучшему будущему — будущее всегда лучше настоящего». Слушали его, видимо, с большим вниманием, потому что никто из собравшихся имени Генриха Шульца не знал. И не удивительно: Брюсов придумал его — отчасти по образу и подобию мертвых душ из «Русских символистов», отчасти используя реального Эверса — в чем сознался лишь три года спустя.

Кружок любителей западноевропейской литературы был основан 5 февраля 1894 года и собирался еженедельно; Брюсов впервые побывал там 21 сентября. Возглавлял его профессор историко-филологического факультета Николай Иванович Стороженко, не сочувствовавший «новым течениям», но разбиравшийся в них. Обязанности секретаря исполнял студент славяно-русского отделения Александр Антонович Курсинский (тезисы прочитанных рефератов сохранились в его архиве), поэт и переводчик, ставший по рекомендации Стороженко репетитором сына Льва Толстого Михаила. Брюсов учился на том же отделении, но познакомился с Курсинским не в университете, а в Русском охотничьем клубе на представлении пьесы Метерлинка «Втируша» 3 мая 1894 года. Среди участников кружка выделялись марксисты Владимир Максимович Фриче, Петр Семенович Коган и Владимир Михайлович Шулятиков, а также Марк Владимирович Самыгин и Ланг-Миропольский. Называю лишь имена, связанные с Брюсовым, поскольку эта среда была для него много важнее, чем те, с кем он сидел рядом на лекциях и семинарах.

Курсинский и Самыгин, получивший известность в литературе под именем «Марк Криницкий», во второй половине 1890-х годов стали друзьями Валерия Яковлевича:

первый надолго, второй — до начала 1900-х годов (23). Отношения с марксистами закончились идейным разрывом, однако Фриче — «будущий великий критик, преемник Лессинга, ибо после этого писателя не было мало мальски достойных критиков» (24) — вместе с Курсинским был шафером на свадьбе Брюсова в 1897 году, а Брюсов — шафером на свадьбе Курсинского в 1907 году, хотя тогда прежней близости между ними уже не было.

Отношения с Фриче и Коганом (Шулятиков умер в 1912 году) Валерий Яковлевич восстановил только после революции. Первый трудился в Коммунистической академии, Институте красной профессуры и еще во множестве мест, оставаясь до своей смерти в 1929 году ведущим теоретиком официального марксистского литературоведения (его взгляды известны как «вульгарный социологизм»). Коган из приват-доцентов Петербургского университета стал профессором МГУ и президентом Государственной академии художественных наук. 16 декабря 1923 года Фриче по болезни не смог прийти на пятидесятилетие Брюсова, но прислал ему теплое письмо: «Как-то особенно ярко встает сейчас в памяти прошлое — наши студенческие годы. Помните наш студенческий литературный кружок — наши собрания — часто — у Вас на квартире на Цветном бульваре — наши споры и наши “симпозионы”» (25).

По неизвестной причине Валерий Яковлевич не посвятил отдельного доклада своей заочной знакомой — французской поэтессе Приске де Ландель. Правильно ее фамилия — точнее, псевдоним (настоящее имя Луиза Бургуэн) — должна писаться «де ль'Андель» (de l'Andel), то есть из Анделя. Неверное написание на обложке первого и, как оказалось, единственного сборника своих стихов «Радости и горести»* (Joies at Tristesses; 1895) поэтесса исправила сама (экземпляр в моем собрании). На родине она совершенно забыта, в России памятна только специалистам по Брюсову. Ее книгу Валерий Яковлевич обнаружил 6 февраля 1895 года, просматривая новинки в магазине Ланга, о чем на следующий день записал в дневнике: «Вчера получили % (проценты с капитала, оставленного дедом. — В.М.). Весь дом ожил. Я накупил себе символистов. Р. де Ландель из них очень мил» (26). Что привлекло его внимание? Несомненно, раздел, озаглавленный «Символизм», «цветные» заглавия вроде «Симфонии в красном» и «Голубого посла-

* Перевод Брюсова; можно перевести как «Радости и печали».

ния» и отзвуки Верлена и Бодлера. Брюсов сразу прочитал книгу и написал автору на адрес издателя. И вскоре получил ответ, из которого узнал настоящее имя поэтессы.

Черновики писем Брюсова, сохранившиеся в рабочих тетрадях, показывают, что он высоко оценил стихи новой знакомой и попросил разрешения поместить их переводы в «нашем маленьком журнале» как образцы молодой французской поэзии (27). Приска де Ландель (сохраним привычное написание) не знала русского языка и не могла прочитать присланные ей «Романсы без слов» и выпуски «Русских символистов», но охотно дала разрешение на публикацию. В начале апреля Брюсов сообщил ей, что отобрал для перевода две дюжины стихотворений, рассчитывая представить «более или менее символические» в «Русских символистах», а другие отправить в «Вестник иностранной литературы» со своей статьей. Следов подготовки журнальной публикации в архиве не обнаружено, но в третьем выпуске «Русских символистов» появились восемь стихотворений Приски де Ландель (предполагалось девять, но одно запретила цензура, как и переводы из Бодлера и Эверса) с предисловием переводчика, представлявшим собой краткий вариант статьи о ее творчестве, которая так и не увидела света. Брюсов выделил ее стихи в персональный раздел, подчеркнув «статусность» публикации, и подумывал о переводе большей части «Радостей и горестей» для отдельного издания. Он также послал ей обратные переводы своих переложений, которые поэтесса одобрила, равно как и отбор текстов: «По тому, какие из моих стихотворений Вы выбрали — а Ваш выбор кажется мне вполне обоснованным — я вижу, что Ваши читатели получают достаточно полное представление об особенностях моего творчества». «Русская слава» Приски де Ландель так и не состоялась, хотя начало ей было положено. В конце 1895 года переписка по неизвестным причинам прекратилась, и Брюсов окончательно потерял из виду свою корреспондентку.

Сравнение русских текстов с французскими показывает, что Валерий Яковлевич вольно обошелся даже с теми стихотворениями, которые объявил переведенными «близко к оригиналу». Те же, которые «с дозволения автора переданы более вольно», порой просто не узнать: перевод «Тому, кто далеко» не имеет ничего общего с оригиналом, озаглавленным «Отсутствующему». Дело не в недостаточном знании Брюсовым французского языка или непонимании простых и недвусмысленных стихов. Просто он обошелся с ними по-

что так же, как с русскими стихами из самотека, присланными для публикации в «Русских символистах». Исходя из общей задачи сборников и третьего выпуска в частности, Брюсов «одекадентил» скромные и тихие стихи Приски де Ландель, придав им с помощью надставок (в основном эпитетов) страстный и мрачный колорит, хотя из раздела «Символизм» взял всего одно стихотворение. Приведу лишь один пример его работы — «Надпись на экземпляре Бодлера»:

С своей любовницей, мечтой,
Во мраке полночи беззвездной
Блуждаю я над страшной бездной,
Но дух мой полон красотой
И на разнузданные чувства
Бросает мантию искусства —
Так иногда нескромный взгляд
Ресницы длинные хранят.

По-русски это звучит неплохо. Но вот оригинал «В память Бодлера» в дословном переводе:

Моя любовница — моя фантазия;
Она увлекает меня, Бог знает куда,
И я могла бы сойти за безумную,
Если бы не имела душу, охваченную
Великой любовью к поэзии,
Которая покрывает одеянием искусства
Часто сумасбродные мысли...
Как опущенное веко
Скрывает нескромный взгляд!

Если интерпретировать стихотворение как написанное от имени Бодлера (оригинал оставляет такую возможность), женский род надо заменить на мужской. Добавлю, что стихотворение Приски де Ландель «Данте» — возможный источник стихотворений Брюсова «Данте» (1898) и «Данте в Венеции» (1900), которые не только похожи на него по содержанию и интерпретации личности героя, но так же написаны терцинами.

3

Третьему — самому боевому — выпуску «Русских символистов», вышедшему в середине августа 1895 года, суждено было стать последним. Его открывало задорное анонимное

предисловие «Зоилам и аристархам», написанное Брюсовым и исправленное Лангом, — резкий ответ на журнальную брань: «Оценить новое было им совсем не под силу, и потому приходилось довольствоваться общими фразами и готовыми восклицаниями. Все негодующие статьи и заметки не только не нанесли удара новому течению, но по большей части даже не давали своим читателям никакого представления о нем. [...] Не обязаны же мы спорить со всяким, кто станет на большой дороге и начнет произносить бранные слова». Это было открытое объявление войны. Столь же дерзким вызовом звучали следовавшие за статьей два стихотворения Брюсова, которым суждена была долгая слава.

Первое, опубликованное без заглавия, позже стало называться «Творчество» (приводим текст из «Русских символистов»):

Тень несозданных созданий
Колыхается во сне,
Словно лопасти латаний
На эмаливой стене.
Фиолетовые руки
На эмаливой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.
И прозрачные киоски
В звонко-звучной глубине
Вырастают точно блески
При лазоревой луне.
Всходит месяц обнаженный
При лазоревой луне;
Звуки реют полусонно,
Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне,
И трепещет тень латаний
На эмаливой стене.

«Творчество» объявили примером нарочитой бессмыслицы. Однако через тридцать три года Георгий Адамович вспомнил эти «строфы, где чудесный ритм придает причудливым образом сходство с заклинанием» (28), и ответил на них.

Ничего не забываю,
Ничего не предаю...

Тень несозданных созданий
По наследию храню.
Как иголкой в сердце, снова
Голос вещий услышать,
С полувзгляда, с полуслова
Друга в недруге узнать.
Будто там, за далью дымной,
Сорок, тридцать, — сколько? — лет
Длится тот же слабый, зимний,
Фиолетовый рассвет,
И как прежде, с прежней силой,
В той же звонкой тишине
Возникает призрак милый
На эмалевой стене.

Однако младший брат поэта Александр Брюсов утверждал: «Стихи эти отражали конкретную действительность, облеченную, правда, в одежду символики. Совершенно случайно я был свидетелем, как создавались эти стихи. Но тогда я не обратил внимания и не мог обратить внимания на это, потому что был еще мал. Только много позднее, когда я подрос и прочитал эти стихи, мне сразу вспомнилась обстановка, в которой эти стихи слагались». Вот его рассказ, имеющий большое значение для понимания брюсовского «Творчества» — в кавычках и без них:

«Три парадных комнаты нашей тогдашней квартиры на Цветном бульваре, выходившие окнами на бульвар, представляли собою анфиладу комнат, связанных друг с другом не дверьми, а широкими арками. Вдоль окон и на окнах стояло множество цветов, большой любительницей которых была наша мать. Тут были и мелкие цветы в банках на окнах, и крупные деревья в деревянных бадах, некоторые из которых достигали потолка. Тут были пальмы, араукарии, панданусы, *латании* и много других тропических растений. По вечерам, если не было гостей, эти комнаты не освещались, и в них редко кто-либо заходил. Мне было в это время лет 8. Я зачем-то забрался в эти комнаты и сидел в полутьме в большом кресле. На улице фонарей не зажигали, так как “по календарю” должна была светить луна. И действительно, было полнолуние, небо было чистым, и восходившая над противоположными домами луна ярко светила в окна.

В это время в комнату вошел Валерий и стал расхаживать вдоль этих комнат, произнося вполголоса рождавшиеся у него новые стихи. Меня он или не видел, или не об-

рашал на меня внимания. До меня, разумеется, доносились только отдельные слова, может быть, даже строки. Но я отчетливо помню, что тут были и “эмалевая стена”, и “латании”. И позднее, читая стихи Валерия, передо мной ярко встала эта картина, обстановка этого вечера и, казалось, бессмысленные образы сразу стали понятными и совершенно реальными: и колеблющиеся лопасти латаний на “эмалевой стене” — дрожащие тени латаньевых листьев на белой поверхности расположенной почти против окон кафельной печи; и “звонкозвучная тишина” — царившая в этих комнатах тишина, изредка прерываемая звуком колес, проезжавших мимо дома извозчиков; и “фиолетовые руки” — лунные лучи, освещавшие печку и рисующие на ней причудливые тени. Валерий здесь не придумывал, а изображал свои ощущения, вызванные самой будничной реальностью» (29).

Александр Яковлевич «приземлил» творческий процесс брата, но нет оснований сомневаться в его словах. Еще в 1914 году об этих реалиях применительно к «Творчеству» написал Ходасевич, бывавший в доме на Цветном бульваре. Подробный разбор стихотворения он заключил выводом: «“Несозданное” стало “созданным”». Уже созданные создания отщепляются от реального мира и получают бытие самостоятельное. В первой строфе они еще не оформились и “колыхаются, словно лопасти латаний”. В последней они сами по себе “ластятся” к поэту, а пальмы сами по себе бросают свои обычные тени. Некогда связывавший их союз “словно” заменен разделяющим “и”: два мира разделены окончательно. Такое соотношение между миром и творчеством характерно для поэта-символиста. Однако в той резкости, с какой его выражает начинающий Валерий Брюсов, есть значительная доля поэзы и литературного задора». «Брюсов после того сказал мне при встрече, — вспоминал Ходасевич, — “Вы очень интересно истолковали мои стихи. Теперь я и сам буду их объяснять так же. До сих пор я не понимал их”. Говоря это, он смеялся и смотрел мне в глаза смеющимися, плутовскими глазами: знал, что я не поверю ему, да и не хотел, чтобы я верил».

Слова о «позе и литературном задоре» можно с полным правом отнести к другому знаменитому стихотворению из третьего выпуска — моностиху «О закрой свои бледные ноги». Это было первое — и на многие годы единственное — что запомнили о Брюсове журналисты и читатели массовой прессы, вспоминая «ноги» к месту и не к месту. «Широкая

публика почти не знает его творчества, — констатировал 16 лет спустя Дмитрий Философов. — Но нет ни одного самого захудалого провинциала, который при упоминании Брюсова самодовольно бы не усмехался: “Знаю! знаю! — закрой свои бледные ноги!” И эти бледные ноги будут преследовать Брюсова до могилы. Ничего с этим не поделаешь. Таков “суд глупца”» (30).

«Фиолетовые руки», «бледные ноги» и очередное творение «В. Дарова» «Мертвецы, освещенные газом...» были восприняты как литературное хулиганство:

Мертвецы, освещенные газом!
Алая лента на грешной невесте!
О! мы пойдем целоваться к окну!
Видишь, как бледны лица умерших?
Это — больница, где в трауре дети...
Это — на льду олеандры...
Это — обложка Романсов без слов...
Милая, в окна не видно луны.
Наши души — цветок у тебя в бутоньерке!

Пятого сентября 1895 года Валерий Яковлевич в черновике письма журналисту Илье Гурлянду — «Арсению Г.» из «Новостей дня» — попытался «разумно» разъяснить смысл этого стихотворения, что вообще делал нечасто:

«Автор был поражен судьбою любви в современном мире, судьбою идеального чувства в мире прозы. Эта тема символически изображена и выражена в первом стихе, где мертвецы поставлены не в обычную обстановку кладбища, а залиты светом газа. И во всем стихотворении изображается прежде всего состояние нашего века, как оно представляется поэту: нашу жизнь он называет гигантской больницей, где дети уже надели траур, он сравнивает ее с олеандрами, корни которых засыпаны снегом, везде перед собой он видит лики умерших и всему находит символ в лучшей символической книге, в книге, которая воплощает всю современную жизнь, — в “Романсах без слов”. [...] На фоне этого мира поэт изображает свою невесту, которую он сам называет *грешной*, как поэт, как декадент, он не хочет таить своей любви, зовет невесту целоваться к окну — но увь! перед ними уже не обычная обстановка свидания, все изменилось, что символически и изображается стихом “в окна не видно луны”. Все изменилось — и только любовь неизменна и по-прежнему души влюбленных томятся на груди у милых, как цветы в ее бутоньерке» (31).

Никакие разъяснения не помогли — Брюсова не хотели ни слушать, ни слышать. Новая волна ругани в печати всех направлений по адресу третьего выпуска «Русских символистов» и первой книги стихов Брюсова «*Chefs d'œuvre*»* (различия между ними рецензенты не делали) давала понять декадентам, что рассчитывать на снисхождение не приходится. В «Новом времени» Виктор Буренин и Александр Амфитеатров объявили их мошенниками, которые прикидываются сумасшедшими и дурачат публику, собирая с нее деньги. По свидетельству Перцова, «удивительна была эта потребность, свойственная не одному Буренину и характерная вообще для тогдашнего момента: говоря о какой бы то ни было литературной новизне, изображать ее не просто плохой, а непременно бессмысленной, идиотической или же недобросовестной» (32). Николай Михайловский гневно обличал новых Геростратов, которые «страстно желают выкинуть какую-нибудь непристойность затем лишь, чтобы обратить на себя побольше внимания», и назвал Брюсова «маленьким человеком, который страстно хочет и никак не может» (33). Аким Волынский в рецензии на два первых выпуска «Русских символистов» и на сборник Добролюбова «*Natura naturata, natura naturans*», которому уделил основное внимание, заявил, что «новые течения в литературе, новые разговоры об искусстве не всегда сопровождаются появлением крупных и свежих поэтических талантов», что эти книги «не заслуживают никакого серьезного разбора» и что стихи Брюсова «не поднимаются над уровнем самой ординарной версификации»: «Веяния эпохи бессильно волнуют людей бездарных или, при некоторой даровитости, лишенных настоящей умственной оригинальности» (34). К аналогичному выводу — только в более резкой форме и с подчеркиванием неудачного подражания иностранным образцам — пришел представитель противоположного лагеря Ангел Богданович, руководитель левонароднического журнала «Мир Божий» (35).

Как говорится, обложили со всех сторон. Брюсову стало ясно, что обычный путь в литературу — через журналы — ему заказан. Более того, даже в случае издания книг за свой счет и рассылки их рецензентам надеяться на благоприятные отклики не приходилось. Еще более огорчитель-

* Шедевры (*фр.*).

ными были отзывы друзей из числа не-символистов. Станюкович, подаривший Брюсову 22 апреля 1894 года свою фотографию с надписью: «Символисту от реалиста», осенью 1895 года откровенно писал ему: «Получил твои две книги (третий выпуск «Русских символистов» и первое издание «Chefs d'œuvre». — В.М.) и от первой до последней страницы во время чтения с лица у меня не сходило выражение удивления, смешанного со страшным смехом и полным недоумением. [...] По-моему, “символизм”, представителем которого являются эти две книжки, дошел в них до Геркулесовых столбов нелепицы. [...] Но верх совершенства следующее стихотворение:

О закрой свои бледные ноги.

Мне кажется, что не менее осязательную картину нарисую я, сочинивши подобное стихотворение:

...Мне хочется выпить с приличной закуской...» (36).

По предположению А.В. Бурлешина, им же сочинен моностих «О, застегни скорее свой жилет!», фигурирующий в «Письмах “Знатного иностранца”» (1896) его дяди Константина Станюковича как произведение новейшего поэта (37).

Прозаическое остроумие Владимира Соловьева не пошло дальше шуточек о том, что «обнаженному месяцу всходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета». Однако в конце рецензии на третий выпуск он поместил свои пародии («Горизонты вертикальные...», «Над зеленым холмом...» и «На небесах горят паникадила...»). Великий мистик был хорошим пересмешиком, поэтому его экзерсисы понравились Брюсову: «слабые стороны символизма схвачены верно», — хотя Волынский назвал их «бесплодным балагурством» (38). Тексты зажили отдельной жизнью — не раз переиздавались, в том числе в сборниках для декламации, оторвавшись в восприятии читателя и от автора, и от объекта пародирования.

«Критика, единодушно подвергнувшая первое выступление московских символистов литературной анафеме, не только привлекла к ним внимание общественности, но и стимулировала выработку тактики активного противодействия. [...] Именно эта, лишенная серьезной теоретической базы и достаточной аргументации, нередко рассчитанная на анекдот “журнальная ругань”, не только создавала “дурную славу”, отголоски которой преследовали Брюсова до конца дней, но и способствовала укреплению позиций московских символистов, признавая их существование

де-факто, как вполне реальное явление современной литературы, мимо которого уже нельзя пройти безразлично. Брюсов сразу же оценил сложившуюся ситуацию и активизировал свою деятельность, избрав тактику фронтального наступления на литературных противников» (39).

Коммерческий неуспех «Романсов без слов» побудил отказаться от отдельных изданий иностранных поэтов, хотя Брюсов не устал ссылаться на их авторитет, например, в статье «К истории символизма» (40). Он понял, что «Русские символисты» исчерпали себя и не довел до конца издание четвертого выпуска. Вместо альманаха нужны были авторские сборники, но серьезных авторов, кроме него самого, пока не находилось. Так родилась идея «Chefs d'œuvre» — «сборника несимволических стихотворений», как говорилось о нем в рекламном объявлении на последней странице второго выпуска «Русских символистов»: увы, с опечаткой «shefs», давшей газетчикам дополнительный повод позубоскалить.

Считая нападение лучшим видом обороны, Брюсов начал работать над брошюрой «Русская поэзия в 1895 году» (41), в которой обзор новинок должен был сочетаться с развернутым ответом критикам (два замысла то отделялись друг от друга, то сливались в один). Он вышел на битву в полном сознании того, что ему предстоит и на кого он замахивается. Он всё понимал и рискнул, понимая: Победа или Смерть! Во всяком случае, литературная...

«Пора поднять оружие для защиты, а — если надо будет — и перейти в наступление, зная, что силы в такой борьбе будут неравны — но “тем будет громче гимн победы!”». Пусть у тех свой журнал или своя газета, которую читают тысячи, а у нас случайная брошюрка, которую купит сотня, другая читателей, да и то больше из глупого любопытства. Пусть у тех имя, известность, может быть, незаслуженная, но торжествующая — а у нас прозвище “русских символистов”, деятельность начатая слишком недавно, но уже слышавшая слишком много свистков и проклятий. Пусть у тех привычка писать, взгляды общие со взглядами толпы, уверенность в победе, беззастенчивость, — а у нас ничего, кроме понимания прекрасного, драгоценности недорого ценимой в наши дни. Пусть! Я выхожу на борьбу — и пока для меня будут светить зори — я не уроню своего кнута, не опущу копыя. Я объявляю войну — с моей стороны неумолимую [...] Я буду обличать пошлость их суждений, узоСТЬ их взглядов, недостойность их приемов во всех областях, ко-

торые мне доступны. Я буду бодрствовать над ними, как мрачный ангел, я буду для них трубой, напоминающей об ином мире — мире красок, который они презирают. Слышите, вы? Я возвещаю вам смерть!» (42).

Декларация осталась в архиве. Возможно, Брюсов понял, что не перекричит противников с помощью «случайной брошюрки». Возможно, решил не тратить силы на полемику и заняться оригинальным творчеством. В эти годы он пробовал силы во многих жанрах. Неоконченные романы: «Грань» о последних годах Римской империи, который «заслуживает опубликования как этапное произведение ранней брюсовской исторической прозы» (43); «Медиум» (варианты заглавия — «Берег» и «Декаденты») «из жизни русских декадентов» (44). Замысел сборника рассказов «О чем вспомнилось мне» (1894) (45). Драматургия: кроме упомянутых выше, этюд «Каракалла» (не опубликован), сатирическая драма «Красная шапочка», маленькая драма для марионеток в духе Метерлинка «Урсула и Томинетта» плюс большое количество набросков и планов. Работы по истории и теории поэзии, среди которых главное место занимала «История русской лирики» (46). Этот «труд громадный, величайший», который «должен создать науку “истории литературы”» (47), остался незавершенным, хотя и сыграл большую роль в становлении автора как ученого и как вождя новой школы.

«Ему удалось, — писал Измайлов пятнадцать лет спустя, — избежать того скучного для писателя периода, когда он идет посередине улицы в огромной толпе, маленький и незамечаемый. Брюсова заметили сразу, хотя тогда еще он был немногим выше других в толпе, и у него не было лица, приковывающего ласковое внимание или любопытство» (48).

Глава пятая **«ПОЛДЕНЬ ЯВЫ»**

1

Весной 1894 года Брюсов задумался об авторском сборнике: в тетрадах появились заглавие «*Les chefs d'œuvre*» и эпиграф: «Огонь горит, но пламя часто исходит с дымом. Фома Кемпийский». Особое значение он придавал компо-

зиции и архитектонике, о чем позднее писал в предисловии к «Urbi et orbi» (1903): «Книга стихов должна быть не случайным *сборником* разнородных стихотворений, а именно *книгой*, замкнутым целым, объединенным единой мыслью. Как роман, как трактат, книга стихов раскрывает свое содержание последовательно от первой страницы к последней. Стихотворение, выхваченное из общей связи, теряет столько же, как отдельная страница из связного рассуждения. Отделы в книге стихов — не более как главы, поясняющие одна другую, которые нельзя переставлять произвольно».

Считается, что именно здесь Брюсов впервые сформулировал свое понимание «книги стихов», однако эта концепция возникла у него десятилетием раньше. Еще в пьесе «Проза» (1893) поэт Даров говорил: «Многие не поймут и этого нововведения, чтобы сборник стихотворений составлял одно целое, как роман или поэма. Да, каждое стихотворение связано с прежним, готовит следующее, пока все не разрешится последним чарующим аккордом». 25 августа 1895 года Брюсов писал Перцову о «Шедеврах»: «Умоляю Вас, читая ее, — читать все подряд, от предисловия к содержанию включительно, ибо все имеет свое назначение, и этим сохранится хоть одно достоинство — единство плана. ChdO [...] цельный сборник, с головой, туловищем и хвостом, — так их должно и рассматривать» (1).

История четырех изданий «Шедевров»: отдельных (1895; 1896), в первом томе собрания стихов «Пути и перепутья» (1908) и в первом томе «Полного собрания стихотворений и переводов» (ПССП) (1913), — представляет не только филологический интерес. Первые два — дебют, третье — закрепление своего места в литературе, четвертое — превращение в классика. Позднее «Шедевры» печатались только по четвертому варианту, который отражает последнюю авторскую волю, но к молодому Брюсову отношения не имеет. «Для изучения “облика писателя” Брюсова, — отметил Философов, рецензируя первый том полного собрания, — нужно не только купить 30 (правильно: 25. — В.М.) томов нового издания, но иметь и все отдельные его книги, что составит целую библиотеку» (2). Для серьезного исследователя другого пути нет. Чтобы понять характер дебюта любого автора и реакцию современников на него, надо обратиться к первым изданиям, учитывая не только текст, но и их внешний вид.

Второго мая 1895 года «Шедевры» были дозволены цензурой и отнесены в недорогую типографию Э. Лисснера и

Ю. Романа в Крестовоздвиженском переулке*. Лето Брюсов проводил на даче в Хорошеве — занимался с сестрами, гулял с ними в лесу или играл в крокет, сочинял стихи и строил грандиозные планы: издать четвертый выпуск «Русских символистов» и «Юношеские стихотворения» с автобиографией, закончить два романа, драму и переводы Эверса, написать поэму «Атлантида» и обзор «Русская поэзия в 1895 году», не говоря об университетских работах. Тетради наполнялись заметками, но дальше этого дело не шло. Кроме редких поездок в Москву для встреч с друзьями главным развлечением служила переписка с Курсинским, проводившим лето в Ясной Поляне. Брюсов взялся представить в цензуру первую книгу его стихов «Полутени», для чего собственноручно переписал ее, попутно сообщив автору ряд замечаний (3).

Вышедший в последней неделе августа тиражом 600 экземпляров, сборник «Шедевры» — в скромной шрифтовой обложке и со старомодными виньетками, которые типография предоставила бесплатно, — включал «лирические поэмы» (авторское определение) «Осенний день» и «Снега», за которыми следовали 25 стихотворений, составивших разделы «Криптомерии», «Последние поцелуи» и «Méditations». Первая из поэм была совсем не по-декадентски посвящена «Мане». «...“Вечность” и “Маня” — сочетание довольно парадоксальное», — заметил Д.Е. Максимов (4). Адресат — купеческая дочь Мария Павловна Ширяева, третья героиня «Рокового ряда», «девица ужасно набожная», с которой Валерий Яковлевич весной и летом 1894 года ходил по церквям и монастырям.

Поэме предшествовало велеречивое предисловие, фразы которого звучали как декларации, но были мало связаны друг с другом. Наибольшее внимание привлекла концовка: «*Chefs d'œuvre* — последняя книга моей юности; название ее имеет свою историю, но никогда оно не означало “шедёвры (так! — В.М.) моей поэзии”, потому что в будущем я напишу гораздо более значительные вещи (в 21 год позволительно давать обещания!). Печатаю свою книгу в наши дни, я не жду ей правильной оценки ни от критики,

* Шестого августа 1895 года Брюсов сообщил Курсинскому типографские расценки, исходя из формата «Русских символистов» (13×17 сантиметров): «Набор с листа — 10 р. Печатанье id (так же (лат.). — В.М.) — 3 р. (сколько бы ни было экземпляров). Бумага на 100 экз. меньше стопы; стопа хорошей бумаги — рубля 4. Обертка и брошюровка 10 р.» (ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 300).

ни от публики. Не современникам и даже не человечеству завещаю я эту книгу, а вечности и искусству». В рукописи остались более дерзкие заявления: «Издав эту книгу, ослепив глаза всем искренним ценителям поэзии, я отдамся той новой поэзии, образ которой давно тревожит меня. Пока я противлюсь ее искушениям, но тогда вполне отдамся ей, буду упиваться ею как любовницей, радостно встречу все безумства страстей. Конечно, мои издания того времени, если будут встречены, то только хохотом и свистом. Но мне-то что до того. Вперед!» (5).

Раздел «Криптомерии» открывался сонетом «Предчувствие», первая строка которого была не менее революционной, чем «бледные ноги»:

Моя любовь — палящий полдень Явы.

Едва ли не единственным, кто сразу же оценил его значение, был Лялечкин: «Ваш экзотический сонет поистине шедевр, и если в вашей книжке будут только подобные стихи, то название ее совсем не будет преувеличенным» (6). «Никто в то время не понял, — констатировал пятнадцать лет спустя теоретик и историк символизма Эллис (Лев Кобылинский), — что нужное, долго и смутно ожидаемое слово найдено и выкрикнуто; пусть этот выкрик был дерзок, наивен, исполнен противоречий и недостаточно “солиден”, пусть среди первых опытов наших “символистов” многое было слабо, но все же знамя было выброшено» (7).

За «полднем Явы» следовали раздумья индийской девушки «на журчащей Годавери», гигантские каменные статуи острова Пасхи, жрец, божеством для которого является «далекий Сириус, холодный и немой», гондолы, прокаженные. Критика увидела в этом лишь декадентские выходки, хотя простила бы подобные темы и образы парнасцу Майкову или, скорее, его эпигонам вроде Владимира Лебедева. Брюсову не прощалось ничего, хотя экзотика была взята им из географических и естественнонаучных журналов, а не из «мечтаний опиомана». Поэтому второе издание автор снабдил примечаниями. Однажды он получил по почте издательское послание за подписями «Мимозно-орхидейная хризантема», «Поярково-оранжевый Скорпион» и «Кисловато-просвечивающий Хамелеон» со стихами (8):

Никак не понявши «ваува»,
Сидели мы тебя, Валерий, вопрошая, —

намекавшими на строки из стихотворения «В ночной полумгле», которое перекидывало мостик от «Криптомерий» к «Последним поцелуям»:

Но чу! Что за шелест лиан?
Опять вауваев проказа?

Приняв замечание анонимов к сведению, Брюсов при переиздании озаглавил стихотворение «Ваувау» и пояснил: «Ваувау — явайское название обезьяны оа (*Hylobates leuciscus*) из рода гиббонов». Трудно сказать, какой вариант выглядел более вызывающим: первый, без пояснений, или второй, указывающий на то, что никакого декадентства здесь нет, а есть лишь то, чего не знают обыватели.

Самым большим дерзанием — или дерзостью? — стали эротические стихи. «Эротика “Шедевров” оказалась в опале и была подвергнута критической анафеме», — заметил В.С. Дронов (9). Наибольшим цензурным преследованиям она подверглась в семитомнике 1973 года, где из окончательного варианта небольшой по объему книги были исключены пять стихотворений и одна поэма, так что полностью ее можно прочитать только в дореволюционном издании.

Мерещилось мне, в неверной тени,
Опухшее женское тело,
И мерзости ласк, и грязь простыни,
Каким-то салом давно пропотелой.

(«Фантом»)

Одна из осужденных жриц,
Я наблюдаю из кровати
Калейдоскоп людей и лиц,
И поцелуев и объятий...

(«Стансы»)

Отмечая в этих стихах влияние Бодлера, Д.Е. Максимов усматривал здесь предвестие блоковского «страшного мира» задолго до Блока, с элементами «социальной чуткости», пояснив: «Эротическая поэзия представляла собой тот участок, где борьба Брюсова со “страшным миром” принимала исключительно ожесточенные формы и где успех часто переходил то на одну, то на другую сторону. [...] Эротика “страшного мира” не поощрила творчества Брюсова и глубоко отпечатлелась в его лирике» (10). На мой взгляд, социального здесь нет, одна сплошная эстетика, смесь

литературных впечатлений от Бодлера с житейскими впечатлениями от соседства с «московской Субуррой». Приведу свидетельство Станюковича, которое можно считать реальным комментарием к «Фантому»: «Из темных ворот, из подвалов, из черных зловонных нор выползали сильные, опухшие женщины. Они ссорились, ругались истошно, хватали за рукава проходящих, предлагали за гроши свое дряблое тело» (11). Соглашусь с другим замечанием Максимова: «В эротических стихах Брюсова можно найти немало болезненного и мучительного, но игривости, скабрёзности, внутренней нечистоплотности, легкомыслия, двусмысленности, нарочитости — всего того, что является главным признаком порнографии, — в них найти невозможно» (12).

«Шедевры» вышли одновременно с третьим выпуском «Русских символистов» во второй половине августа 1895 года: вспомним Анапестенского, который «раз в год (осенью, когда критики еще не устали ругаться) печатал “книги” в 15 страниц толщиной». Обругали их тоже одновременно. Из неучтенных в библиографии отзывов процитирую отклик «Екатеринбургской недели» — возможно, единственный за пределами двух столиц. «Если бы г. Валерий Брюсов был логичен, то завещавши сокровища своей поэзии “вечности и искусству”, не тратился бы на почтовые марки, которыми он оплачивает свою книгу, рассылая ее в редакции газет для отзыва, — насмешничал рецензент «Эн». — Видно, “вечность” сама по себе, а надежда на одобрительный отзыв современников тоже сама по себе и друг с другом прекрасно уживаются». Содержание и стиль отзыва оригинальностью не отличались: «Г. Валерий Брюсов — поэт символист, но это еще не суть важно, потому что никому не возбраняется сходить с ума по своему вкусу, но он, кроме того, человек, обладающий громадным самомнением, а потому критику игнорирующий, зане оная критика не способна правильно оценить его музу». Далее цитаты из «Фантома», упоминание о Поприщине и т. д. (13).

«Если бы у нас была критика, — грустно заметил Эллис, — пронизательный глаз отметил бы среди этих ученических исканий несколько звуков, несколько сочетаний, возможных только у первоклассного художника» (14). Увы, книгу не оценили даже те, на чье понимание автор, казалось, мог рассчитывать. «Твои посвящения или завещания странны и до невероятия самоуверенны», — писал Станюкович (15). Судя по наброскам, Брюсов хотел ответить резко, но ограничился грустным укором: «Ты совершенно

чужд той поэзии, к которой я стремлюсь. Ты не заметил того, чем я горжусь в “Chefs d’œuvre”. Ты прошел мимо тех стихотворений, в которых когда-то была вся моя душа. [...] Ты так далек от красоты настроений, образов, слов, от этой — если хочешь — бесполезной, бесцельной красоты, что произносишь несправедливые обвинения» (16). Коган, язвительно названный в письме Станюковичу «некто г. Коган», «заявил даже, что напечатай я свое предисловие раньше — он не счел бы возможным вступить со мной в знакомство. Остались на моей стороне, — продолжал Валерий Яковлевич сводку с поля боя, — Ланг (по глупости своей), Курсинский (поэт, подражающий мне) и Фриче (умный господин, понимающий, что сущность не в предисловиях)*. Однако негодование приняло такие размеры, что когда недавно в университете я стал читать Аристофана, аудитория недовольно зашипела и до меня долетело слово “декадент”» (17). Занеся это в дневник, Брюсов отметил: «Только искреннее сочувствие Самыгина и Шулятикова успокоило меня немного» (11 сентября 1895). Образцы журнальной брани — от Буренина до Богдановича — я уже приводил. 8 сентября Брюсов честно признался: «Ругательства в газетах меня ужасно мучат».

Житейской отдушиной, помимо романа с Маней Ширяевой, стали случайные связи, о которых мы знаем совсем мало. Елена Владимировна Бурова, «пламенная Юдифь» (почему она Юдифь?) «Рокового ряда» и адресат цикла «Глупое сердце», была, как сказано в дневниковой записи от 20 ноября 1895 года, «тенью, потревожившей стоячую воду моей жизни. Любви не было, но без нее я вдвое одинок» (18). «Миньона», она же «Плавочка», неизвестна даже по имени. Очень поддерживала Брюсова переписка с Бальмонтом и с Курсинским. Отношение ко второму становилось снисходительно-покровительственным, но в Константина Дмитриевича, с которым он познакомился 27 сентября 1894 года в Кружке любителей западной литературы, Брюсов был буквально влюблен. В наброске для книги «Русские символисты. Характеристики и наблюдения», задуманной по образцу «Проклятых поэтов» Верлена, он, говоря о себе в третьем лице, рассказывал: «В первую же встречу друзья провели всю ночь, не расставаясь и блуждая

* В письме Перцову (25 марта 1895 года) к своим знакомым, «действительно понимающим поэзию», Брюсов отнес только Бальмонта, Лялечкина и Фриче (*Письма к Перцову*. С. 14).

по московским улицам. Небо в тот день послало им чудо. Вопросы жизни и смерти, мира и небытия уже были подняты, уже исчерпана исповедь души, когда Брюсов заговорил о высшем и лучшем наслаждении [...] это мерный зов колокола в тихий утренний час. И вот как в ответ на эти слова последние отзвуки городской жизни замерли и первый звонкий удар сменился звучным глаголом благовеста. Два друга стояли очарованные и неподвижные в дымке утреннего тумана» (19). В дневнике прозаичнее, но не менее красочно: «Познакомился с Бальмонтом. После попойки [...] бродили с ним пьяные по улицам до 8 часов утра и клялись в вечной любви» (28 сентября 1894).

2

Весной 1895 года у Брюсова появился новый друг — Петр Петрович Перцов. К середине 1890-х годов он уже был известен в литературных кругах — сначала родной Казани, потом Петербурга — в качестве журналиста и критика, сменившего вехи от народничества к «новым течениям». Он переписывался с Фетом, бывал у Майкова и Полонского, дружил с Мережковским и в то же время не терял связей с народническими кругами. Именно широта взглядов и эклектичность литературных и эстетических воззрений позволяли Перцову выступать в качестве собирателя и даже объединителя разнородных литературных сил, пусть на короткое время. Результатом явилась книга «Молодая поэзия. Сборник избранных стихотворений молодых русских поэтов». «Осенью 1894 года мне пришла в голову мысль составить хрестоматию лучших стихотворений молодых поэтов — представителей новой полосы русской поэзии и таким образом подвести этой “школе” некоторые итоги. Я стал рыться в толстых и иллюстрированных журналах последних лет, просматривать бесчисленные сборники стихов и делать выписки» (20).

«Цель настоящего сборника (первого в своем роде), — говорилось в предисловии, — представить критике и публике материал для общего суждения о характере, достоинствах и недостатках нашей молодой поэзии, столь мало популярной и, в сущности, столь мало известной. [...] Чуждые всякой партийности и тенденциозности, издатели руководились в своем выборе единственно правилом Тургенева: “в деле поэзии важна только одна поэзия”» (21). Главный вопрос был, кого

считать «молодыми», поскольку речь шла не о физическом возрасте, но о месте поэта в «новых веяниях». За точку отсчета был взят 1855 год — год рождения Минского, признанного выразителя чаяний поколения, смотра сил которого стал сборник. Соловьев был старше его всего на два года, но в литературе не мог быть отнесен к тому же поколению. Фельетонисты глумились над сорокалетней «молодостью», но Перцов пошел на это, понимая, что показать претендующую на новаторство поэзию без автора стихотворения «Как сон, пройдут дела и помыслы людей...» невозможно:

Лишь то, что мы теперь считаем смутным сном —
Тоска неясная о чем-то неземном,
Куда-то смутные стремленья,
Вражда к тому, что есть, предчувствий робкий свет,
И жажда жгучая святынь, которых нет, —
Одно лишь это чуждо тленья...

В конце 1894 года Перцов обратился к Брюсову с просьбой сообщить, кто является автором стихотворения «Мечты о померкшем, мечты о былом...», напечатанного во втором выпуске «Русских символистов» под литерой «М.», и сколько ему лет. 15 декабря Брюсов ответил, что «стихотворение написано лично мною», «но теперь я предпочел бы, если б Вы поставили мою настоящую фамилию» и сообщил свой возраст (22). Среди участников сборника он оказался самым младшим. В середине февраля 1895 года Валерий Яковлевич получил книгу и вместо формальной благодарности ответил подробным письмом с разбором «Молодой поэзии»: «Я давно мечтал о таком сборнике и, думаю, не я один. Пора. Пора оглянуться, оценить Молодую Поэзию, хотя... хотя наводит она на грустные думы. [...] Ее может оживить только сноп ослепительно ярких лучей; тогда у нее найдутся и силы, и чувства, теперь же она труп с открытыми глазами» (23). Так началась переписка, переросшая в заочную, затем в очную дружбу. Одиннадцатью годами позже знаменитый и признанный Брюсов благодарил Перцова: «Первым человеком, который признал меня как поэта, были Вы, перепечатав в “Молодой Поэзии” “Мечты о померкшем”. Это было буквально первое в моей жизни (“со стороны”, не “от своих”) одобрение моей поэзии. Очень помню» (24).

От обсуждения «Молодой поэзии» корреспонденты перешли к обмену новостями, мнениями о поэзии и творческими планами. Брюсов писал подробно и тщательно,

демонстрируя широкую эрудицию, без позерства, но с «частоколом восклицательных знаков» (выражение Перцова). Он признался, что не был доволен «Шедеврами», когда представлял рукопись в цензуру, а выход книги вверх его в меланхолию: «Первые дни я не мог видеть эту книжонку. Были минуты, когда я подумывал бросить все экземпляры попросту в печь. [...] Я дал себя уговорить своим чувствам, которые твердили, что если ChdO и не шедевры, то все же лучше моих прежде-печатанных стихов, что все же ChdO лучше многих и многих стихов современных поэтов». «Понемногу все смягчилось, — писал он 22 сентября, месяца спустя. — [...] Первые дни после издания я видел в своих стихах только одни недостатки; теперь всё стало на место, и я вспомнил и о достоинствах. [...] Если бы мне предложили теперь или издать мою книжку в том виде, как она есть, или вовсе не издавать, я выбрал бы первое и не думаю, что этот выбор был подсказан только мелкими чувствами» (25).

Предложений от издателей, однако, не было и ждать их не приходилось. Зато 18 декабря Брюсов получил приглашение от Добролюбова участвовать в задуманном им вместе с Вл. Гиппиусом журнале «Горные вершины» и просьбу оповестить об этом всех «символистов» (в кавычках, то есть участников московских сборников). «Ввиду того, что журнал затеян при небольших средствах, — говорилось в письме, — гонорар сейчас не выдается, а будет распределен в конце года, смотря по количеству прибыли». Валерий Яковлевич согласился, но задал ряд вопросов: о подписке, о помещении переводов и прозы и, наконец, «имеет ли редакция что-либо принципиально против *моих* произведений». Добролюбов сообщил, что «первый номер выйдет, должно быть, в феврале» и просил тексты любого жанра, включая переводы и критику (26), но оптимизм оказался преждевременным. Инициаторы, будучи студентами, не могли выступать учредителями печатного издания, поэтому официальное прошение 12 января 1896 года подал «декадентствующий» поэт Константин Льдов (Розенблюм), в то время подружившийся с Добролюбовым. Главное управление по делам печати, «принимая во внимание, что проситель не получил образования даже в среднем учебном заведении и не пользуется достаточно солидною репутациею», отклонило его, поэтому Добролюбов обратился с аналогичной просьбой к своему покровителю Михаилу Микешину, известному скульптору и художнику, автору обложки к книге «*Natura naturata, natura naturans*». Тот представил прошение об издании журнала «На рубеже»,

но умер во время его рассмотрения, так что вердикт снова оказался неблагоприятным.

Зимой 1895/96 года Брюсов тяжело болел ревматизмом. «Я очень серьезно помышлял, что переживаю свои последние недели, — набрасывал он очередное письмо Добролюбову, — и думал лично составить посмертный сборник стихотворений — таким образом по моим указаниям была составлена большая книга, стихотворений в полтораста, и отправлена в цензуру. [...] Выздоровев, я решил воспользоваться этой рукописью, но разделил ее на 2 собрания — “Juvenilia” (стихи из “Русских символистов”) и 2-ое издание “Chefs d’œuvre”. Последний сборник уже печатается. Впрочем, это будет издание почти домашнее. Продаваться будет лишь в каком-нибудь одном магазине в Петербурге и в одном магазине в Москве. В редакции “для беспристрастного отзыва” я рассылать ее не буду» (27).

Несмотря на болезнь, Брюсов представил рукопись второго издания в цензуру, 6 января получил разрешение, но смог забрать ее только через двадцать дней. Сборник увеличился почти вдвое, часть стихотворений была по-новому озаглавлена и подвергнута правке. Изменения заслуживают внимания: перед нами не переиздание, а другая книга, учитывавшая и недовольство автора первым вариантом, и реакцию на него. Как и в третьем выпуске «Русских символистов», Брюсов пошел ва-банк и сделал сборник нарочито вызывающим, начиная с предисловия: «Я еще смутно надеялся, что мои стихи найдут себе истинных читателей. Такой надежды более у меня нет совершенно. И критика, и публика, и те лица, мнениями которых я дорожил, и те, которых в праве считать поклонниками моей поэзии, — выказали такое грубое непонимание ее, что теперь я только смеюсь над их суждениями. [...] Я спокойнее чем когда-либо завещаю ее вечности, потому что поэтическое произведение не может умереть. Все на земле преходяще, кроме созданий искусства». Проставленная под предисловием дата «24 декабря 1895 г. Ночь» соответствует обострению болезни, начавшемуся тремя днями раньше и повлиявшему на душевное и физическое состояние автора.

Второе издание, появившееся в начале апреля 1896 года, демонстративно начиналось «Криптомериями», но без сонета о «полдне Явы»* (теперь им открывался цикл «Буд-

* В этом издании первое лицо заменено на третье: «Его любовь — палящий полдень Явы»; впоследствии Брюсов вернулся к первоначальному варианту и открыл этим сонетом «Шедевры» в ПССП.

ни» в середине книги); поэмы были отнесены в конец, а «Осенний день» и вовсе исключен. Из сборника исчез «Фантом», но добавилось несколько не менее декадентских текстов. Эротических стихотворений не так много: цикл «К моей Миньоне» был запрещен цензурой и дошел до читателя только в 1913 году:

Я войду, — и мы медлить не будем!
Лишний взгляд — и минута пропала!
Я скользну под твоё одеяло,
Я прижмусь к разбежавшимся грудям...

Не меньшее возмущение вызвали садомазохистские мотивы. Тема любви-страдания, любви-мучения, любви-поединка станет одной из главных для Брюсова. Сначала он трактовал ее нарочито декадентски и весьма наивно:

Все, что нынче ласкал я с любовью,
Я желал бы избить беспощадно!
Ах, как было бы сердцу отрадно
Видеть всю тебя залитой кровью.

Что стояло за этим — личный опыт, необузданные фантазии или книжные ассоциации в духе «проклятых поэтов»? В поэме «И снова» «мерзостные объятья» приобретают отчасти мистический, отчасти некрофильский колорит, особенно заметный в том варианте, который 19 ноября 1895 года был послан Перцову:

Ее глаза — закрытые цветы,
Ее уста — что губы мертвых ламий*,
И грудь ее (нездешней красоты)
Пощажена могильными червями...
Отпрянувши, смотрю я в дикой дрожи,
Как синева расходится по коже.

Над сугубо литературным «некрофильством» Брюсова посмеивались, особенно после стихотворения «Призыв» («Приходи путем знакомым...») — единственного, которое не преодолело препоны и рогатки царской цензуры при подготовке *ПССП*. Но поэма «И снова» не только о «синеве». Она о странном чувстве, которое охватывает лириче-

* Л а м и и — по представлениям древних, существа вроде наших ведьм, но обладающие молодостью (*Прим. авт.*).

ского героя «в больные дни бессильных новолуний» (позднее замененных на «полнолуния»):

Ищу свой путь по странным арабескам,
Начертанным листвою по земле.
Иду, иду — и не собоюсь во мгле!

И о радости избавления от этого чувства:

Какая тишь! Какая благодать!
Моя душа зарей дышать так рада;
Свой фимиам — я ей мечты несу,
И, как светляк, пью раннюю росу.

В следующем письме Перцову автор обмолвился: «Не совсем правда, что сюжет («И снова...». — В.М.) взят из головы. Он имеет отношение к одному явлению в моей жизни, о котором, однако, я не решаюсь говорить. Во всяком случае настроение ясно: ужас перед неодолимостью физического сладострастия» (28). Накануне написания поэмы, 16 августа 1895 года, автор случайно встретил в Сокольниках бывшую возлюбленную «Талю» Дарузес, что вызвало у него мощный прилив творческой энергии: шесть стихотворений и поэма «Встреча после разлуки» в день встречи, семь стихотворений и поэма на следующий день (29).

Интересный анализ ранней брюсовской эротики дал в 1913 году, после выхода первого тома *ПССП*, Виктор Чернов, лидер эсеров и будущий председатель Учредительного собрания. Полагая, что стихи первых книг дают «необыкновенно ясную картину внутреннего мира автора», он принял на веру все его декларации и заявил, что «от гнетущего одиночества самодовлеющего индивидуализма поэзия Брюсова ищет спасения в любви, в страсти». Но здесь начинается новая трагедия: «Мертвящая рука этого сверх-индивидуализма своим леденящим прикосновением превращает даже любовь в особый вид одиночества — одиночества вдвоем. [...] Оледеневшее, насильно — из гордости — замороженное сердце не раскрывается, не в силах раскрыться, и самое любовное слияние остается неполным. [...] Минута забвенья, подобие счастья — и невольное чувство отворачивания потом. И возвращаясь снова к тому же, влекомый стихией инстинкта, человек тянется к чаше наслаждения, раздвоенный, нецелостный, как будто одержимый чуждой внешней силой. [...] Опустошенная от внутреннего содержания, любовь оказывается слишком скудна, слишком од-

нообразна и дает все меньше и меньше удовлетворения. [...] Те, кто сам себя отрезал от светлых и радостных оазисов любви, кто жадно ищет их, став к ним спиной, — неизбежно попадает в ее мрачные, глубокие провалы. И прежде всего — в мрачный провал сочетания любви с мучительством. Эта опасная ловушка открыта прежде всего для каждого, заблудившегося в лабиринте темных дорожек в поисках ускользающего чувства удовлетворенности» (30).

Чернов разбирал стихи, исходя из представлений тогдашней науки о садомазохизме, и поставил диагноз лирическому герою, которого отождествил с автором, не допуская литературного, экспериментального происхождения этих тем и образов. Здесь главный порок его яркой статьи, которая может легко ввести в заблуждение. Исходя из того, что известно нам сейчас, следует единственный вывод: садомазохистские мотивы в творчестве Брюсова не мотивированы биографически — по крайней мере, в том, что относится к физическим, а не душевным мукам.

Для читателей 1890-х годов декадентство оставалось синонимом абсурда, поэтому без очередной «тени несозданных созданий» было не обойтись. В «Шедеврах» эту роль сыграла «Летучая мышь»:

Весь город в серебряном блеске
От бледно-серебряных крыш, —
А там на твоей занавеске
Повисла летучая мышь.
Мерцает неслышно лампада,
Чуть видно белеет плечо,
Все небо мне шепчет: «не надо»,
Она повторяет: «еще!»
Покорен губительной власти,
Как узник брожу близ окон,
Дрожат мои руки от страсти,
В ушах моих шум веретен.
Весь город в серебряном блеске
От бледно-серебряных крыш,
А там, у нее — к занавеске
Приникла летучая мышь.
Упав на седой подоконник,
Не знаю небесных красот.
Явись! твой поэт и поклонник
Измучен, бессилен, зовет.
Мерцает неслышно лампада,
Чуть видно белеет плечо,
Все небо лепечет: «не надо»,
Чудовище шепчет: «еще!»

Аналогом «фиолетовых рук» стал «седой подоконник». О происхождении этого образа и о реакции на него мы можем узнать из первых уст — из протокольного и в то же время иронического рассказа Брюсова, прочитавшего стихотворение на одном из своих четвергов:

«Бальмонт (делая жест). Брюсов! Вот это стихотворение! (Его обычай хвалить все вплоть до той минуты, когда стих будет напечатано; после этого все проклинается).

Фриче (юный кандидат в наши профессора*; медленно и значительно). А что же это собственно означает?

Бальмонт (в порыве). Что означает! Ты один можешь спросить это! «Седой подоконник»... — так у вас сказано? — О! это уже многое значит.

Фриче (окончательно недоумевая). Седой подоконник?

Бальмонт. Седой подоконник! Несмотря на «бледные ноги», я все-таки в вас верю, Брюсов!

Фриче. Мне кажется, и бледные ноги, и седой подоконник ровно ничего не значат.

Курсинский (имитируя интонацию Бальмонта). Есть слова, которые выше своего значения. (Недоумеваю я).

Бальмонт. Ах, В.М. (Фриче — они на «ты», но зовут друг друга по имени и отчеству)! Ты этого не поймешь. Я знаю целую гамму ощущений, которых не знаешь ты, потому что ты не поэт. (Внезапно). Представьте себе дом покоем (в форме буквы П. — В.М.); громадное, громадное количество окон и в каждом на подоконнике восковая свеча.

(Курсинский изображает мистический трепет).

Фриче. Но что же есть еще в стихотворении?

Бальмонт. Молчи! ты прозаик! ты профессор! Знаете, Брюсов, при вашем седом подоконнике мне представилась длинная, длинная галерея, и по ней во всю длину лежат цветы, побледневшие, бессильные и умирают.

Курсинский. Да! «седой» удивительно удачный эпитет.

Голиков (Юный символист, приспособляемый для 4 выпуска; робко). В.Я., а что же вы хотели сказать этим эпитетом?

Я показываю на подоконники своей комнаты; они сделаны из белого камня с белыми жилками. Общее разочарование» (31).

Получив в конце марта книгу из типографии**, Брю-

* Фриче был оставлен «для подготовки к профессорскому званию» по кафедре всеобщей литературы.

** Во втором издании «Шедевров» использована нетипичная для русской книжной культуры обложка с двойным клапаном (ложная

сов совершил странный поступок: разослал ее знакомым с бранными инскриптами вроде «автору “Полутеней”, полупоэту и полудругу» (Курсинскому) или «писателю, которым я когда-то интересовался» (Криницкому). Ни один из них до нас не дошел; сохранились только черновики да признание автора: «Друзья мои — кроме Бальмонта — отвернулись от меня после рассылки им 2-го изд. с моими надписями». Тяжелая и незаслуженная обида была нанесена Фриче, который в сопровождении возмущенного письма вернул книгу, адресованную «одному из тех, мнение которых я когда-то ценил». Был ли послан Буренину сборник «грубо изруганного им автора» мы не знаем (32).

Молчание критики, проигнорировавшей второе издание, усугубило дурное настроение Брюсова. Однако споры вокруг «Шедевров» не прекратилась и после его смерти. К.В. Мочульский назвал книгу «поэтически беспомощной, претенциозной, местами чудовищно безвкусной, но по-юношески дерзкой и свежей» (33). В.Н. Ильин отметил: «Эти первые опыты начинающего Брюсова нам бесконечно дороги, ибо это младенец Гераклес шевелился в колыбели и расправлял свои рученки. Как они ни слабы, эти первые опыты, но это были опыты на ином пути» (34). То же самое еще в 1910 году афористически сформулировал Эллис, назвав «Шедевры», в отличие от «Под северным небом» Бальмонта, «книгой, говорящей о новом по-новому» (35).

3

Не успев отдать в печать второе издание «Шедевров», Брюсов задумал новый проект: «Моя будущая книга “Это — я” будет гигантской насмешкой над всем человеческим родом. В ней не будет ни одного здравого слова — и, конечно, у нее найдутся поклонники» (6 февраля 1896). После зимних недугов он поехал в Петербург, где встретился с Добролюбовым. «Развалины прежнего», «покорный, заискивающий юноша», — записал Брюсов 7 апреля в дневник, хотя днем раньше, даря Добролюбову второе издание «Шедевров», назвал себя в инскрипте «почитателем его поэзии» (собрание Государственной публичной исторической би-

суперобложка), как в «Радостях и горестях». С этого издания в книгах Брюсова появляется чистая страница после титульного листа с надписью «Ex libris», которую он использовал для инскриптов; начиная с «Urbi et orbi», для этой цели служил авантитул.

блиотеки). Совершенно иные эмоции вызвал Гиппиус: «О, это человек победы! Он горд и смел и самоуверен. Через год он будет читаться, через пять лет он будет знаменитостью» (7 апреля 1896). Оба впечатления оказались неверными. Добролюбов, круто переломив свою жизнь, стал проповедником, «учителем жизни». Гиппиус превратился в благополучного педагога, вернувшись в литературу только в 1910-е годы, но и тогда предпочитая выступать под псевдонимами. 30 мая датировано предисловие к отданной в цензуру рукописи «Juvenilia»: автор дает «совет читать этот сборник как роман или как тетрадь дневника». Главным событием года стала поездка на Кавказ.

Брюсов отправился в путь 9 июня. «Я совершил довольно милое путешествие, — сообщал он Курсинскому через неделю, — из Москвы через Харьков (мимо Козловки-Засеки*) в Севастополь, оттуда по Черному морю мимо Ялты, Керчи и Анапы в Новороссийск и далее по железной дороге в Пятигорск. В первой половине пути познакомился с юной девицей без части щеки (вероятно, ей делали какую-нибудь операцию). Если не считать этого оригинального недостатка, она была очень миленькой, и дорогу до Севастополя я провел очень романтично. Были у девицы братья — люди очень покладистые, но я напугал их, рекомендовавшись анархистом и постоянно болтая о клубах анархистов в Париже, Лиссабоне и Москве» (36). Напугать молодых людей было нетрудно: в первой половине 1890-х годов Европу взбудоражила волна террористических актов, совершенных анархистами, которые покушались на монархов, министров, депутатов или просто бросали бомбы в скопления публики. Дорожный флирт не стоил бы упоминания, если бы не имя барышни — София Судейкина: Брюсов посвятил ей стихотворение «Софии С., подарившей мне лепесток розы»; одним из ее спутников был четырнадцатилетний брат Сергей, будущий художник. Их отец — жандармский подполковник Георгий Судейкин, разгромивший остатки «Народной воли», — был убит революционерами в 1883 году, через год после рождения Сергея.

Крымская и кавказская природа, воспетая поэтами, разочаровала Брюсова — по крайней мере в этом он уверял и своих корреспондентов, и себя самого. «Видел я море и го-

* Станция Козловка-Засека, ныне Ясная Поляна. В ответном письме Курсинский, проводивший лето в Ясной Поляне, негодовал, что Брюсов не встретился с ним по пути.

ры. И то и другое произвело самое слабое впечатление. [...] Начался “Кавказ”. Везде вокруг бугорки, носящие громкие имена — Змеиная гора, Машук, Бештау. — Как! Это Бештау! Да это холмик какой-то!» (Курсинскому, 15 июня) (37). «Я смотрел и напрасно искал в себе восхищения. Самый второстепенный художник, если б ему дали, вместо красок и холста, настоящие камни, воду, зелень, — создал бы в десять раз величественнее и очаровательнее» (Станюковичу, 22 июня) (38). Отражением этих впечатлений стали стихи, написанные еще в Крыму:

Создал я грезой моей
Мир идеальной природы —
О, как ничтожны пред ней
Степи, и скалы, и воды!

Позже Брюсов признался, что написал их «в угоду своим эстетическим теориям»: «Мне все еще не хотелось “уступить” обаянию природы, и я упорно заставлял себя видеть в ней несовершенство». «Не надо мне сияющей природы», — заявлял он еще в конце 1892 года «в одном из своих первых, если не первом декадентском стихотворении», как отметил Д.Е. Максимов (39).

В Пятигорске Брюсов провел более двух месяцев (14 июня — 24 августа), затем заехал на несколько дней в Кисловодск, где ему очень не понравилось, и через Армавир, где жила сестра матери Зоя Бакулина, вернулся в Москву (40). Пятигорское лето стало «болдинской осенью»: здесь написаны большая часть стихотворений книги «*Meum esse*»*, наброски предисловия к «Истории русской лирики» и множество писем: родителям, сестре Наде о Тургеневе, которого она штудировала (41), Мане Ширяевой (42) (на ее сестре Авдотье женился Ланг), Курсинскому, Лангу, изредка Станюковичу и Перцову. При этом Брюсов успевал принимать ванны, гулять по окрестностям со случайными знакомыми, прочитать множество книг, а также влюбиться в пятнадцатилетнюю барышню Катерину Александровну из Кутаиса — «худенькую девочку в красненькой шапочке, с ярко красными тонкими губами» — «объясниться» с немилым ей, но богатым женихом Александром Петровичем (Катя была влюблена в бедного художника-поляка), затем увлечься увиденной в толпе Марией, «девушкой с египетскими глазами», посвятив каждой по несколько сти-

* Это я (лат.).

хотворений: «мне нужен видимый идеал для моих грез». Но самой яркой встречей стал двенадцатилетний Александр Браиловский, купеческий сын из Ростова-на-Дону.

Познакомились они следующим образом: «В Пятигорске была читальня, почти никем не посещаемая, где на столе лежали журналы, редко кем разрезаемые. Обычно в читальне никого не было, кроме меня — угрюмого гимназиста в блузе, и худошавого студента с черной бородкой, в длинном наглухо застегнутом форменном сюртуке. Отрываясь от чтения, мы молча поглядывали друг на друга, причем студент улыбался, а гимназист отвечал неприветливым взглядом.

Однажды студент прервал молчание:

— Вижу я, молодой человек, вы все читаете толстые журналы.

— Ну так что же, что толстые, — огрызнулся я.

— Да ведь в них печатаются более серьезные вещи, да и беллетристика, чем в каких-нибудь “Книжках Недели” (ежемесячный литературный журнал, выходивший в 1878—1901 годах как приложение к газете «Неделя». — В.М.).

— А чем “Книжки Недели” плохи?

— Да какая там беллетристика — Дедлов!

— А чем Дедлов плох?

— Шаблонен очень.

Я признался, что не понимаю слово “шаблонен”. Когда студент объяснил, что “шаблонен” или “банален” понятие противоположное слову “оригинален”, я сказал:

— Ну так что ж, что шаблонен. А вот наоригинальничали наши “фиолетовые руки на эмалевой стене”!

Это были декадентские стихи, освищенные журналами и публикой... Студент улыбнулся, вынул из кармана свою студенческую карточку и предложил мне прочесть ее.

Не веря собственным глазам, я прочел, что предъявитель сего — студент Московского университета Валерий Брюсов!

— Как! Вы — тот самый Брюсов? — почти простонал я и чуть не стал ощупывать его руками. Так объясните мне, ради Бога, зачем вы так пишете, и чего вы, символисты и декаденты, хотите!

Мы вышли, уселись на скамейку на бульваре, и студент принялся объяснять. Объяснения его, помнится, были довольно хаотичны и сбивчивы, и приводимые им примеры недоумения моего не рассеивали. Больше всего упирал он на “оригинальность”, “необыденность” и “дерзость”, при-

чем иллюстрировал эти свойства стихами французских поэтов. [...] Свои собственные стихи он объяснял так:

— Ну вот, вообразите — эмалевая стена, и на ней, как тени, скользят чьи-то фиолетовые руки... Это ведь не банально, неправда ли?

— Ну, а “О, закрой свои бледные ноги”, — это что такое? — не унимался я.

— Вы бродите по городу, и вдруг видите распятие. Вы видите ноги, пронзенные гвоздями. У вас вырывается поэма: “О, закрой свои бледные ноги!”

— И это — поэма?..

— Мне представляется и такая, например, поэма, белый лист бумаги, и в центре только одно слово: “Солнце!” С восклицательным знаком. И больше ничего.

Я никак не мог взять в толк, смеется ли он или говорит всерьез. Но все, что он говорил, было ново и “необыденно”. С детских лет, опьяненный поэзией, я слушал его жадно, он же говорил только о поэзии и говорил о ней без конца. [...] Ничего демонического, “сатурнинского” в нем не было. Он держался сдержанно и совершенно обыденно. “Необыденность” проявлялась только в стихах и суждениях. О всех почти своих соперниках он говорил дружелюбно. Казалось, все поэты образуют в его глазах как бы некое братство — орден, что ли — людей, преодолевших “обыденность”. [...] Я не могу не вспоминать с благодарностью человека, который в дни моей ранней молодости посвящал меня в тайны “Ars poetica”, как он сам ее понимал. [...] В поэты Брюсов меня зачислил, поверив на слово. Я только сказал ему, что пробую писать стихи, но ни одной строчки ему не прочел. Да и читать было нечего, то был жалкий детский лепет. Вряд ли я мог быть и интересным для него собеседником. Говорю это не из скромности, а просто вспоминая ограниченный объем моих тогдашних познаний, незрелость вкусов и наивность взглядов. Мне было 12 лет, — год я прибавил себе для солидности. Наше сближение могу объяснить лишь тем, что я был единственным и неутомимым для него слушателем, — кроме меня, там говорить ему было не с кем».

Говорить ему и вправду было не с кем, о чем свидетельствует следующий фрагмент тех же воспоминаний: «Как-то на улице мы наткнулись на моего брата. Спутник его был провинциальный адвокат, бородатый и лохматый. Я остановился с ними на минуту, а Брюсов пошел дальше. “Кто это?” — “Валерий Брюсов”. — “Как! Тот самый!..” — и оба

они, врач и адвокат, присели посреди тротуара на корточки, высунули языки и, визжа, устремили вслед декаденту указательные пальцы» (43).

Десятого июля Брюсов записал: «Только что познакомился с юным поэтом Александром Браиловским — лет 13-ти, знавшим меня по рецензиям. Он провел у меня весь вечер. Конечно, я победил большинство предубеждений, которые были у него против меня. Станный, юный и серьезный человек. Будем ждать дальнейших встреч». 13 июля Валерий Яковлевич описал своего нового знакомого Лангу: «По общественному положению он — гимназист, по внешнему виду — старообразный мальчик с красивыми зубами и блестящими глазами, по убеждениям — демократ и враг символизма, как и подобает в тринадцать лет».

На следующий день Брюсов написал стихотворение «Юному поэту» в рукописи посвященное «А.Б.» (приводим вариант из письма Лангу от 19 июля):

Юноша бледный со взором горящим,
Ныне даю я тебе три завета. —
Первый из них: не живи настоящим,
Только грядущее область поэта.
Дальше второй: не люби, не сочувствуй,
Сам лишь себя обожай беспредельно!
Третий совет: поклоняйся искусству,
Только ему — безраздумно, бесцельно.
Юноша бледный со взором смущенным,
Если ты примешь мои три завета,
Гордо умру я бойцом побежденным,
Зная, что в мире оставлю поэта.

«Создав сии строфы, — продолжал он, — я пришел в безумный восторг (стихотворение, действительно, классическое)». Опубликовано в «Me eum esse» без посвящения — на первом месте, в качестве манифеста — оно стало не менее знаменитым, чем «бледные ноги» и «фиолетовые руки», хотя и не вызывало таких насмешек. А в 1904 или в 1905 году автор получил письмо от бывшего «юноши бледного»... из рудника Акатуй:

«Может быть, Вы припомните, г. Брюсов, лето, проведенное Вами в Пятигорске, лет около 7 назад, нашу оригинальную встречу и странное сближение, возникшее между нами. Я был тогда маленьким гимназистиком, а Вы “юношей бледным со взором горящим” (или смущенным), а проще молоденьким студентом. Я очень обрадовался зна-

комству с самим пионером русского декадентства, тогда для меня совершенно непонятного. С любопытством, словно увидев восьмое чудо света, я стал добиваться от Вас раскрытия смысла плодов декадентского творчества, но ничего из Ваших объяснений не понял. Потому ли, что объяснения были неудовлетворительные, потому ли, что я сам был еще несмышленочек, а, может быть, и по обоим (так! — *В.М.*) причинам вместе. За эти несколько лет определилось, как различны наши дороги. Вы продолжали нести Ваше знамя, зовущее дальше, прочь от грани тесной, в мир чудесный, к неизвестной красоте*. Вы несете его смело, презирая уколы и насмешки “и критики, и публики”, не смущаясь ихнего непонимания. А я пристал к другому, “шаблонному” на Ваш взгляд знамени, я иду под ним, подвергаясь преследованиям, несравненно более убийственным и грозным. [...] И Вы, и я — мы можем гордиться каждый успехами своего дела. [...] Теперь, на досуге, мне хочется ближе к Вам (и не только к Вам, а к вам вообще (символистам. — *В.М.*)) присмотреться. Кто Вы? Я хочу услышать не только то, что о вас говорят, а то, что вы сами о себе говорите. Вот почему я решил возобновить старинное знакомство. Надеюсь, что Вы мне ответите, оторванному от новой жизни и заброшенному в мертвый дом в мертвой стране, мне будет дорога каждая строчка из человеческого мира».

Браиловский участвовал в революционном движении еще гимназистом. В 1902 году он стал социал-демократом, бросил учиться, уехал в Германию, примкнул к «искровцам» и занялся нелегальной доставкой газеты в Россию. Организовал несколько демонстраций и столкновений с полицией, за что в августе 1903 года был приговорен к смертной казни, замененной пятнадцатью годами каторги в Акатуе, поэтому и написал: «О моей участи Вы, вероятно, знаете по газетам». «В ответ он прислал мне пышный том — это было его “*Urbi et orbi*”. Странно было, лежа на нарах, среди убийц, разбойников, поджигателей помещичьих усадеб и пламенных политических догматиков, перелистывать модный том на роскошной бумаге со словесными феериями» (44).

Браиловский был не единственным знакомым Брюсова в революционном лагере. В сентябре 1902 года с ним вступил в переписку молодой Алексей Ремизов, отбывавший в Вологде уже не первую ссылку, а почти год спустя ему при-

* Реминисценция стихотворения Бальмонта «За пределы предельного...».

слал стихи другой вологодский ссыльный — Иван Каляев. «Берегите себя: Вы — талант, — ответил Валерий Яковлевич 17 сентября 1903 года. — А поэтический дар, по моему разумению, более нужен литературе, чем революции. Русская изящная словесность и без того понесла слишком тяжелые жертвы в прошлом, когда писатели уходили в политику. Сказанное, разумеется, не означает, что я предлагаю Вам отречься от ваших убеждений. Постарайтесь лишь сберечь себя!» (45). Но Каляев сделал другой выбор: в феврале 1905 года он убил великого князя Сергея Александровича и через несколько месяцев был казнен.

Осенью 1905 года Браиловский бежал из Акатуя и продолжал вести бурную жизнь профессионального революционера, несколько раз был на волосок от смерти, а затем эмигрировал во Францию. Оттуда в 1917 году он перебрался в США, где выпустил несколько книг стихов и опубликовал очерк о встрече с Брюсовым.

Краткое предисловие к «*Me eum esse*», датированное 23 июля, тоже обращено к «юношам бледным»: «Если мне и не суждено продолжать начатое, эти намеки подскажут остальное будущему другу. Приветствую его». В тот же день Брюсов написал стихотворение «Последние слова» — «предсмертные стихи, звучащие уныло» — с концовкой: «Так много думано, исполнено так мало!», отсылавшей читателя к знаменитой фразе Надсона: «Как мало прожито, как много пережито». Три дня раньше он сообщил Лангу: «Расхворался окончательно и отчаянно. Нахожусь в состоянии, близком и к смерти, и к самоубийству». Однако, ни Ширяевой, ни Перцову Валерий Яковлевич в эти дни о болезни не писал, а в позднейшем письме Курсинскому поведал, что отправился в Самарканд, но по дороге заболел — неясно, чем именно — и вернулся (возможно, все это сообщение — мистификация). 26 июля наступила кульминация кризиса: «Душевно, телесно и умственно погибаю. [...] Послал Лангу распоряжения на случай моей смерти или самоубийства». Вот эти распоряжения:

«Мой неизменный друг! Пишу Тебе это письмо в здравом уме и твердой памяти и притом, как видишь, твердой рукой. Итого можешь рассматривать его (письмо) как мое завещание. Говорю Тебе откровенно и серьезно — дело мое очень плохо: телесно я никуда не годен, духовно — колеблюсь, а умственно — увя! — умственно ослабеваю. Конечно, я не намерен слишком рано опускать руки. Бороться я буду, но до известного предела; Ты сам понимаешь, что так

я и должен поступить, — отговаривать меня — я твердо надеюсь — не станешь. Итак, дело не в том. Завтра или послезавтра я пошлю Тебе заказной рукописный пакет. Это тетрадь маленьких размеров моей книги “*Me eum esse*”. Эту маленькую тетрадь Ты отдашь переписать хорошему переписчику, требуя, чтобы знаки препинания он расставлял именно так, как у меня. Переписанную рукопись [спешу оговориться: так начнешь Ты поступать в том случае, если я пришлю Тебе прощальное письмо или если Ты получишь определенные сведения о моей смерти (красивое слово); пока же этого нет, прошу Тебя и заклинаю нашей старой дружбой рукописи моей никому не показывать, а самое лучшее и самому ее не читать]. Продолжаю. Переписанную рукопись отдашь Ты в цензуру, причем спорь с цензорами и отстаивай каждое слово. Когда рукопись выйдет из цензуры, тащи ее к Лисснеру и Роману. Туда же еще раньше надо будет снести рукопись “*Juvenilia*”, которая находится у моего отца. (Относительно денег я, конечно, в свое время извещу моих родных). Формат и внешность издания должны быть такими же, как *Chefs d’œuvre* 2-е издание. Каждой книги — и “*Juvenilia*”, и “*Me eum esse*” — должно быть напечатано только 600 экземпляров. Если когда-нибудь в будущем книги мои распродадутся, предлагаю Вам, т.е. Тебе и моим, напечатать “Полное собрание стихотворений” Валерия Брюсова, куда могут войти все стихи, напечатанные мною при жизни и внесенные в “*Juvenilia*” и “*Me eum esse*”. Глупой прозы моей прошу никогда не перепечатывать (46). [...] Домашних моих (разумею маму и сестер) не пугай» (47). Домашним он в те же самые дни писал совершенно по-другому: «Прознали здесь, что я оный самый Валерий Брюсов, и показывают на меня пальцами. [...] Играете ли вы в крокет? есть ли грибы? сколько черники и брусники? маринуете? варите?» (48).

Ланг получил рукопись с предисловием... от своего имени, написанным рукой Брюсова: «*Me eum esse* — последняя книга Валерия Брюсова, который скончался [число] ... 1896 года в Пятигорске. Незадолго перед смертью автор сам составил рукопись этой книги, хотя далеко не считал ее законченной. Издатели надеются в непродолжительном времени собрать в отдельном сборнике также все появившиеся в печати переводы Валерия Брюсова. А.Л. Миропольский. Москва. 1896» (49). Кризис быстро миновал. «Освоился с “погибанием”, — записал Валерий Яковлевич 29 июля. — Живу, пишу, даже строю планы о будущем». Исходя из того, что все трагические новости сообщались одному Лангу,

притом в строжайшем секрете, Дж. Гроссман предположила, что «самоубийство» с последующим выпуском книги было всего лишь литературным проектом (50). Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу мы не можем.

По возвращении в Москву Брюсов получил дозволенную к печати 9 августа рукопись «*Juvenilia*»: цензор вычеркнул полемическую часть предисловия и снял семь стихотворений, включая три наиболее ранних, относящихся к 1890—1892 годам (51). От издания пришлось отказаться из-за нехватки средств. Еще в апреле Валерий Яковлевич обещал помочь Добролюбову с выпуском его прозаического сборника «Одни замечания» (или «Только замечания»). Летом Добролюбов напомнил об обещании, но свободных денег у Брюсова не оказалось. Лишь в середине августа, ссылаясь на дороговизну и продолжительность лечения на Кавказе, Валерий Яковлевич выпросил у отца сто рублей — большая сумма для их семьи в тот момент — и отправил половину в Петербург. Этот факт он скрыл от Якова Кузьмича, который пересылал сыну приходящую тому корреспонденцию, порой со своими комментариями, например: «Хоть я и не понял его символические бредни, но зато понял о человеческих рублях» («человеческие рубли» — выражение Добролюбова). Однако брат не только не поблагодарил Брюсова, но даже не известил о получении денег (пришлось наводить справки в канцелярии Петербургского почтамта) и... ничего не издал. Готовая к печати «*Juvenilia*» осталась в столе до 1913 года, когда переработанный вариант сборника вошел в первый том итогового «Полного собрания сочинений и переводов» (ЛССП).

Пятого ноября рукопись «*Me eum esse*» пришла из цензуры без замечаний. «Дерзостей» в книге не было, как будто автор постарался не злить критику (это один из трех сборников, перепечатанных в семитомнике полностью; два других — «*Juvenilia*» и «В такие дни»). Деньги на издание нашлись. 16 декабря Брюсов держал корректуру и через неделю получил сигнальный экземпляр. Книгу обругали Коринфский в «Севере» и «Н.Н.» в демократической «Жизни». Обругали больше по инерции — за нерусское заглавие и декадентские декларации:

Я действительности нашей не вижу,
Я не знаю нашего века,
Родину я ненавижу —
Я люблю идеал человека...

Есть великое счастье — познав, утаить;
Одному любоваться на грезы свои;
Безответно твердить откровений слова,
И в пустыне следить, как восходит звезда.

Годом раньше это бы вызвало скандал, побудивший автора броситься в бой. Теперь критики молчали, и это было дурным знаком. Валерий Яковлевич занес в тетрадь набросок «Не время ль нам промолвить символизму / Свое “адыё”...» и задумался об уходе из университета, пребывание в котором после перехода на классическое отделение весной 1895 года стало казаться пустой тратой времени, тем более, что древние языки — на университетском уровне — давались ему не так легко, как хотелось бы.

Пропустив по болезни первую половину 1896 года и не сдав экзамены, Брюсов в сентябре перевелся на историческое отделение, фактически «оставшись на второй год». Однако занятия античностью продолжались и здесь. 1 октября он отметил в дневнике работу над рефератом «Критика рассказа Ливия (книга III, 1—3) о том, как им была выведена в Аквиум колония». Через неделю там же появилась горькая запись: «Я мучусь университетом. Там — лишний. Я знаю, что я должен уйти. [...] Смешно сказать — я вот уже три недели стараюсь написать реферат для Герье о Ливии — и — не могу! Мне, мне — Валерию Брюсову — повелевают исследовать факты, ползти, как червяку, — мне, — могу ли я повиноваться?» (52). 11 октября он сдал реферат, а в ноябре начал сочинять исторический памфлет «Недостоверность биографии Юлия Цезаря», пародируя академические методы критики источников.

4

Новое ждало дома. Осенью 1896 года гувернанткой к младшим сестрам поступила курсистка Евгения Ильинична Павловская — «худенькая, невысокая брюнетка, бедно одетая» и слабая здоровьем. «Что-то в ней было от Достоевского, — вспоминала младшая сестра ее подруги Софья Мотовилова, — что-то больное, оскорбленное и какая-то постоянная экзальтация. [...] Девушка эта страстно любила поэзию, читала вслух стихи как-то особенно нараспев (что меня очень сместило) и любила таких поэтов, как Фет и Тютчев, которых мы совсем не знали» (53). «Новая гувер-

нантка — поэтесса», — отметил Валерий Яковлевич 2 октября, вскоре добавив: «С нашей новой гувернанткой мы друзья. Она некрасива, но — клянусь! — умная женщина и понимает поэзию».

Павловская влюбилась в Брюсова. Он не успел разобраться в своих чувствах, а уже 8 ноября его мать Матрена Александровна отказала девушке от дома. В тот же день он навестил ее... и стал свидетелем тяжелого нервного припадка: «Она упала на пол и каталась в конвульсиях. “Не смотри на меня! Сойди с креста!”». На этом основании Ю.П. Благоволитина предположила, что Павловская стала одним из прототипов Ренаты в романе «Огненный ангел» (54), замысел которого возник у Брюсова во время первой, неожиданной для всех, поездки в Германию в мае-июне 1897 года: «*Впервые* “сквозь магический кристалл” предстали мне образы “Огненного ангела”» (курсив мой. — В.М.).

Евгения Ильинична переехала в дом Федотовой, на углу Столового и Скатертного переулков вблизи Большой Никитской, и стала переписываться с Брюсовым, поскольку они не могли часто встречаться. В письмах доминировала интересовавшая обоих литературная и философская тематика (55). Личное в них колеблется от декадентской бравады: «Вот я такой, каков я есмь, эгоист, себялюбец, самообожатель — какие еще есть синонимы? — понимающий только свои желания и блуждающий в жизни как хозяин в цветнике» — до трогательных признаний в любви к «Змейке». «Этим счастьем я обязана тебе, Валя, — отвечала она, — тебе, мое своенравное солнце, ослепившее меня своим дивным ореолом поэзии и самобытности! Я тебе так бесконечно много обязана, что не смею и не могу сердиться на тебя за мои страдания».

Бедность, неустроенность жизни, безнадежная любовь и стремительно развивавшийся туберкулезный процесс не оставляли девушке надежд. Валерия Яковлевича легко упрекнуть в эгоизме: он тяготился ее экзальтированностью, но, расставшись с Женей, сразу начинал тосковать. В нашем восприятии жизни и произведений Брюсова его драматические отношения с Павловской заслонены позднейшими мучительными романами с Ниной Петровской и Надеждой Львовой, принесшими ему много поэтического вдохновения и столь же много личного горя, вплоть до пристрастия к наркотикам. Петровская общалась с ним в обвинительно-требовательном тоне, Львова тоже требовала, хоть и не так жестко. Павловская ни в чем не обвиняла Брю-

сова, даже в других увлечениях — вроде некоей Елены Коршуновой, которая «хороша тем, что убивает всякую думу» (56), — и ничего не требовала, хотя спорила с ним не только о литературе. Она сразу поняла, что он — прежде всего поэт, для которого человеческие чувства, включая любовь, — источник творческой энергии. «Будь моим творением, моей поэмой, к которой я опять и опять буду возвращаться, но которая останется все же одной веткой в моем “лавровом венце”», — заклинал он. «Мой поэт, — отвечала она, — когда дело идет о поэзии, ты несравненен, я никогда не люблю тебя так, как в то время, когда ты в этой сфере». Конечно, она знала его стихотворение «Юному поэту» и слишком хорошо знала его автора, чтобы не принимать сказанного всерьез или пытаться переделать своего возлюбленного. То, о чем позднее писали критики, имело под собой биографическую основу: «Он не ждет “счастья”. Он предчувствует горе, он знает изнанку любви, он знает, что будет горе, ужас, смерть, что исчезнет чистота и радость. [...] Любовь у Брюсова — это любовь-страдание, любовь-Рок, неизбежность, любовь-трагедия» (57).

В начале апреля 1897 года безнадежно больная Павловская уехала к родственникам в Полтавскую губернию. «Мы оба сломаны, — записывал Брюсов. — Я знал, я мучительно знал, что мне следовало, следует ехать с ней. Двадцать раз я готов был произнести: “Женя, я поеду с тобой”... но я не сказал этого, не сказал! [...] И все же, и все же, о Господи, — если я не поеду, я буду проклинать себя за это — всю жизнь. [...] Я проклинаю себя, проклинаю — за то, что не поехал с Женей» (58). Он писал ей, она отвечала — письма помогали бороться с недугом. В начале июля Брюсов сообщил ей, что женится. Последовали обмен мучительными посланиями (Павловская не переставала надеяться, но, кажется, сама не понимала, на что именно) и особенно мучительная последняя встреча 5-7 сентября в Сорочинцах, когда они обменялись нательными крестами: «Мы вспоминали с Женей наше прошлое, наши счастливые часы, лучшие минуты... мы думали только о них, о первых и последних днях. И стало нам так хорошо, и стало нам так печально, что плакать было бы счастье. [...] Душа ее еще горит светом, но уже погасает» (59). «Ее образ остался в моей памяти, отпечатлелся, как я ее видел последний раз перед отъездом. Я уже вышел в сад, дверь захлопнулась. Она стояла у окна (слабая, так что стояла едва) и держала лампу. Я обернулся и встретил ее взор. Я иду, и она освещает мне путь» (60).

В начале декабря Валерий Яковлевич получил последнее письмо от Жени. «Сердце чувствовало слишком мало, — записал он. — Да, Бальмонт прав. — Я становлюсь добродетельным мужем» (61). Павловская умерла 22 января 1898 года, о чем Брюсов узнал неделю спустя, получив обратно свое последнее письмо к ней с указанием «За смертью адресатки» (62). Он посвятил ее памяти два стихотворения в книге «*Tertia vigilia*»*, но не включил Евгению Ильиничну ни в «Роковой ряд», ни в один из «дон-жуанских списков».

На ком же собрался жениться декадент?

В феврале 1897 года на Цветном бульваре появилась новая гувернантка, она же учительница французского языка Иоанна Матвеевна Рунт. Ее отец, чех по национальности и подданный Австро-Венгрии, был литейным мастером завода братьев Бромлей (впоследствии «Красный пролетарий») — из тех, кого называли рабочей аристократией. Матвей Рунт помнил, что он европеец, а потому не был подвержен запоям, носил белые воротнички и ежедневно читал газеты. Он очень любил своих дочерей Иоанну, Марию и Брониславу и дал им хорошее образование: Иоанна окончила французскую католическую школу святых Петра и Павла в Милютинском переулке (в доме по соседству родился Брюсов!), поэтому все звали ее Жанна.

«Семья Брюсовых была самая странная, самая оригинальная, какую случалось мне когда-либо видеть, — вспоминала она через много лет. — В те годы главой семьи была мать поэта, женщина умная, в достаточной мере своевольная и обожавшая своих детей. Отец держался в стороне от всех домашних и каких бы то ни было иных забот. Жил он в смежной квартире, где, между прочим, жил и Валерий Яковлевич. Квартира та имела весьма холостяцкий вид, об ней не заботились, ее мало убирали. Яков Кузьмич целыми днями с самым серьезным и деловым видом сидел у себя за большим письменным столом и читал газету или новейший толстый журнал от начала до конца или же раскладывал пасьянс; в общую квартиру являлся к обеду и ужину или иногда вечером, чтобы поиграть в карты. Вообще в доме все, от мала до велика, жили каждый своей самостоятельной жизнью. [...] Самым независимым был все же Валерий Яковлевич. Никто не знал и не интересовался, где он бывает, кто у него бывает, что делает, приходит ли домой, нет ли, но были строго установленные часы, в которые Ва-

* «Третья стража» (лат.).

лерий Яковлевич регулярно в продолжение нескольких лет занимался со своими сестрами, не посещавшими гимназию, но всецело обучавшимися у брата. Валерий Яковлевич, так же как и отец, приходил к общему обеду, — приходил, сухо здоровался, садился за стол, ставил перед собой книгу, в которую, бывало, уставится, ничего не замечая и не вникая в то, что происходит кругом» (63).

Иоанна Матвеевна не оставила цельных воспоминаний, хотя не раз принималась за них, поэтому ее сообщения порой противоречат друг другу. «Не как с писателем встретились мы с Валерием Яковлевичем, познакомились мы с ним, как обычно знакомятся молодые люди, какими оба мы тогда были. Меня как-то мало интересовало, что Валерий Яковлевич — поэт», — утверждала она (64). Между тем в другом ее тексте находим совсем иную версию начала их близости: «Однажды утром, когда я занималась с кем-то из учеников, толстая няня Секлетинья пронесла через нашу комнату молоко в холодную кухню. [...] Меня удивила красиво написанная бумага, которой была покрыта крынка... Я полюбопытствовала взглянуть. Это оказались стихотворения из “*Me eum esse*” — “Девушка вензель чертила...” и “Три подруги”, переписанные тщательно Валерием Яковлевичем. Такое кощунственное отношение к стихам меня покорило. Я поспешила покрыть молоко другой бумагой и, расправляя измятые страницы, стояла и перечитывала знакомые мне стихи. К моему ужасу — за этим делом застал меня Валерий Яковлевич. [...] Брюсов был удивлен и, видимо, доволен вниманием, оказанным его автографам. С тех пор его отношение ко мне резко изменилось» (65).

Признавшись, что «как и вся современная молодежь, я зачитывалась Лермонтовым, Пушкиным и особенно Некрасовым», Иоанна Матвеевна все же ознакомилась с творчеством Брюсова — то ли перед поступлением в дом, то ли сразу после этого. «Надо сознаться, что “Шедевры” не очаровали меня, чуждыми мне были все стихи в этой книжечке, почему-то показались мне они вычурными. [...] Стихи в “*Me eum esse*” были мне гораздо ближе, они доходили до меня, и мое представление о поэзии нашло в них больше удовлетворения». Умение «понимать стихи» было для Брюсова — как раз в это время переживавшего мучительный роман с Павловской — одним из важнейших критериев оценки человека. «Поэтессу» в «новой гувернантке» он разглядывал не сразу. «С непосвященными, т.е. с теми, кто сам не писал стихов, Валерий Яковлевич не любил говорить о

своей поэзии, не любил их посвящать в тайны своего творчества. Также и со мной избегал говорить о своих стихах, я это заметила».

Поначалу в их сближении не было ничего литературного. «Вчера ездил с m-lle Жанной искать дачу, — записал Брюсов 29 апреля. — День вдвоем с молоденькой, наивной институткой. Полупризнания, пожатия рук и голубое небо» (66). Через месяц Валерий Яковлевич вспомнил эту поездку, мучительно составляя (пять вариантов!) письмо к «Янинке», «нежнее, чем можно было предполагать», как она написала через много лет (67).

Решение о женитьбе Брюсов принял 23-24 июня 1897 года после недолгих, но напряженных размышлений, что нашло отражение в стихотворениях «В день святой Агаты» и «Я люблю...», написанных в следующие дни (цикл «Милая правда», появившийся в ПССП в составе «Tertia vigilia»). Даты официального предложения мы не знаем, но в первой декаде июля он известил друзей о предстоящей женитьбе. Подробная характеристика избранницы — в письме к Самыгину от 26 июля:

«Она — не из числа замечательных женщин; таких как она много; нет в ней и той оригинальности, того самостоятельного склада души, которому мы с Вами дивились в письмах Евгении Ильиничны. [...] Добавлю еще, что далеко не красива и не слишком молода (ей 21 год). [...] Да, этот брак не будет тем идеальным союзом, о котором Вы проповедуете. Избранница, которая была бы равна мне по таланту, по силе мысли, по знаниям, — вероятно, это было бы прекрасно. Но можете ли Вы утверждать, что я встречу такую и что мы полюбим друг друга? А может быть возненавидим? [...] Я предпочитаю, чтобы со мной было дитя, которое мне верит. Мне нужен мир, келья для моей работы — а там была бы вечная, и для меня бесплодная борьба. [...] Еще один великий довод, перед которым все остальные ничто, — это любовь, ее любовь! [...] Вы скажете, что я много говорю о себе, а не подумал о том, что нужно ей. Неправда, подумал и думаю» (68). Это письмо Иоанна Матвеевна опубликовала почти полностью, не исключив из него ничего важного.

В конце июля и начале августа они часто ссорились, но вскоре мирились. 28 сентября Валерий Яковлевич и Иоанна Матвеевна венчались в храме Иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине, построенном в 1868—1870 годах (Фестивальная ул., дом 77а), «для успокоения родителей». Шафе-

рами были Курсинский и Фриче. «Недели перед свадьбой не записаны. Это потому что они были неделями счастья. Как же писать теперь, если свое состояние я могу определить только словом блаженство. [...] Я давно искал этой близости с другой душой, этого всепоглощающего слияния двух существ. Я именно создан для бесконечной любви, для бесконечной нежности. Я вступил в свой родной мир, — я должен был узнать блаженство» (2 октября 1897 года).

В «Роковом ряду» Жанна фигурирует под именем «Лада»:

Чтоб ни было, нам быть всегда вдвоем;
Мы рядом в мир неведомый сойдем;
Мы связаны звеном святым и тайным!

В одном из «дон-жуанских списков» против слов «Jeanne (моя жена)» указаны 1897—1899 годы. В другом: 1898—191() — Брюсов не рискнул проставить последнюю цифру, потому что этот «роман» никогда не кончился.

Книга вторая



ПОСТРОЕНИЕ
ФАЛАНГИ
(1897—1906)

Создана отцом фаланга,
вашу мощь открыл вам он.

Валерий Брюсов

Глава шестая

«ПО-ЕВРОПЕЙСКИ СКРОЕННЫЙ МОСКВИЧ»

1

В отличие от большинства современников, Валерий Брюсов вошел сначала в литературу и лишь потом в литературную среду. Никто из влиятельных писателей, критиков или редакторов не помогал ему — если не считать антирекламы. Его окружали или дебютанты (Добролюбов издал первую книгу в конце 1894 года, Криницкий в 1895 году, Курсинский в 1896 году), или незначительные литераторы вроде братьев Антона и Николая Облеуховых, с которыми он познакомился во время хождения по московским редакциям. С Бальмонтом, бывшим на шесть с половиной лет старше, Брюсов держался на равных, что не исключало ни пылких взаимных восторгов, ни язвительной критики. Двадцатипятилетний Иван Бунин, знакомство с которым состоялось в конце 1895 года, только входил в литературу, причем традиционным путем и с репутацией писателя для юношества.

Валерий Яковлевич не искал покровительства, а после первых откликов критики перестал надеяться и на понимание. Однако, по свидетельству знавшего его в те годы Петра Пильского, «по природе замкнутый, молодой Брюсов отличался большой литературной общительностью. Он желал и искал знакомств. К людям пера он приближался с горячей любознательностью. Будто ревнивец, он изучал своих соперников» (1). Главной целью Брюсова стало построение фаланги единомышленников, где он будет вождем. Он был единственным деятелем «нового искусства», способным мыслить и стратегически, и тактически: «метода Брюсова — строго-обдуманное и преднамеренное взвешивание всех составных элементов, ее неизменное свойство — соразмерность частей и строгость руководящего плана» (2).

Поначалу будущий вождь не пренебрегал никакими со-

юзниками, будь то Мартов-Бугон или Голиков, «поэт для кроликов», как прозвал его Бальмонт. Брюсов переживал временное отречение Ланга от литературы, давал деньги Добролюбову на печатание «Одних замечаний», правил стихи Ноздрина, составил из них сборник «Поэма природы» и думал издать его, помогал Курсинскому, переписав рукопись «Полутеней» для цензуры, пытался влиять на Криницкого — единственного беллетриста среди соратников, особенно на его старомодную манеру (тот, в свою очередь, пытался влиять на философские и этические воззрения Брюсова в сторону сближения их с христианством). Все эти люди в большей или меньшей степени признавали если не лидерство, то авторитет Брюсова, но он не обольщался относительно их способностей и понимал, что с ними новая школа не добьется успеха. Фриче, Коган и Шулятиков окончательно ушли в другой лагерь, хотя с первым из них Брюсов продолжал общаться и спорить.

Бальмонт — на тот момент самая яркая поэтическая звезда русского декадентства — был слишком эгоцентричен и независим для признания чьего бы то ни было руководства. Зато он добился признания даже у недружественной критики и, несмотря на непостоянство в личных отношениях, оказался надежным союзником в литературных боях. Интересное наблюдение сделал Пильский: «В неровных, изменчивых, то ласковых, то колющих отношениях с Бальмонтом были моменты самого полного и искреннего восторга, идущего от Брюсова, и они всегда совпадали с публичными неудачами Бальмонта — когда он претерпевал неприятности и гонения за вызов и дерзость проповеди» (3). Современники воспринимали «брата Константина» и «брата Валерия» неотделимо друг от друга, сравнивая их то с Бодлером и Верленом, то с Пушкиным и Тютчевым. Что думали об этом они сами? «В перечислении поэтов, со мной и тобою имеющих что-нибудь общего, — писал Бальмонт Брюсову 2/15 июля 1906 года, — ты называешь Пушкина поэтом мужского начала, а Тютчева — поэтом начала женского. Я изумлен неверностью. Тютчев — типичный поэт — *vir**. И именно ты, а не я с ним сроднен. И ты вовсе несроднен с моим женственным легкомысленным капризным поэтическим братом Пушкиным**» (4).

* Муж (*лат.*).

** Бальмонт и Пушкин родились под знаком Близнецов, Брюсов и Тютчев — под знаком Стрельца, на противоположной стороне зодиакального круга.

Затем появился Сологуб. Брюсов знал это имя по «Северному вестнику», хотя в ранней статье о Верлене приписал его переводы «графу Соллогубу», видимо, спутав Федора Кузьмича с поэтом Федором Львовичем Соллогубом. 20 июля 1896 года Сологуб предложил Брюсову обмениваться книгами и послал ему свои сборники «Стихи. Книга первая» и «Тени. Рассказы и стихи» с одинаковыми инскриптами: «Многоуважаемому Валерию Яковлевичу Брюсову от автора». Адресат ответил лишь в начале ноября, пояснив, что «не хотел на этот раз ограничиться стереотипной благодарностью». Он собирался высказать развернутое мнение о стихах нового знакомого, но в итоге ограничился кратким официальным письмом (5). Личное знакомство поэтов произошло в начале января 1897 года, когда Валерий Яковлевич приехал в Петербург для занятий в Публичной библиотеке, но больше гулял по городу, посещая музеи и театры. «Сологуба я нашел каким-то сонным, — писал он Курсинскому, — ничем не интересующимся, на все махнувшим рукой» (6). «Мы поговорили с полчаса», — подвел он в дневнике 11 января итог встречи, назвав «главным» вопрос о судьбе денег, посланных Добролюбову.

Вернувшись в Москву в октябре 1897 года после недельного свадебного путешествия в столицу, Брюсовы поселились в меблированных комнатах «Тулон» на Большой Дмитровке (дом 10), где прожили до начала апреля 1898 года. Валерий Яковлевич готовил рефераты для университета, штудировал Лейбница и Канта, водил жену в театры и на выставки, читал ей вслух французские романы, регулярно бывал на Цветном бульваре, где занимался с сестрами и играл в винт с родителями, а в самом конце года серьезно заболел плевритом. «Три недели почти вычеркнуты из моей жизни, — грустно фиксировал Брюсов 18 января 1898 года. — [...] Меня навещали друзья, особенно Облеухов. Он что-то упорно твердит о замысленных новых журналах и приглашает меня сотрудничать в разные еще не существующие журналы. [...] Курсинский жалуется на одиночество. Ланг ожидает второго наследника. [...] Был Мартов-Бугон. [...] Теперь он пишет городскую хронику».

«Важнейшее событие этих дней, — читаем там же, — появление статьи гр. Л. Толстого об искусстве. Идеи Толстого так совпадают с моими, что первое время я был в отчаянии, хотел писать “письма в редакцию”, протестовать — теперь успокоился и довольствуюсь письмом к самому Л. Толстому». Чтение трактата «Что такое искусство?» в журна-

ле «Вопросы философии и психологии» привело Валерия Яковлевича к выводу о совпадении мыслей Толстого с предисловием к первому изданию «Шедевров». «Меня не удивило, что Вы не упомянули моего имени в длинном списке Ваших предшественников, — писал он 20 января «графу Льву Николаевичу», — потому что несомненно Вы и не знали моих воззрений на искусство. Между тем именно я должен был занять в этом списке первое место, потому что мои взгляды почти буквально совпадают с Вашими. [...] Мне не хотелось бы, чтобы этот факт оставался неизвестен читателям Вашей статьи. [...] Вам легко поправить свою невольную ошибку, сделавши примечание ко второй половине статьи, или к ее отдельному изданию, или, наконец, особым письмом в газетах» (7).

Толстой прочитал письмо и сделал на нем пометку для секретаря «Б.О.», то есть без ответа. Как еще он мог отреагировать на предложение оповестить в газетах, что его взгляды на искусство были ранее выражены неким (фамилию Брюсов он мог слышать от Курсинского) «декадентом, упадочником, духовным дегенератом», как Лев Николаевич даже в конце 1905 года назвал Брюсова в разговоре с поэтом-рабочим Федором Поступаевым. Однако, выслушав в его чтении стихотворение «L'ennui de vivre»*, Толстой вынес вердикт: «Глубокое по мысли и настроению, можно уверенно считать поэтическим». По словам мемуариста, «задумчиво-серьезное внимание великого старика начинается цвести юношеской улыбкой радости чуткого художника. Глаза Льва Николаевича лучились и искрились духовным удовольствием, чувствовалось без его признания, что стихотворение ему нравится. И когда я кончил, он попросил еще прочесть». «Каменщик» («Каменщик, каменщик, в фартуке белом...» — два стихотворения Брюсова носят это заглавие) разочаровал его: «прозой гораздо лучше можно выразить ту мысль каменщика, которая выражена стихами» (8). В очерке «На похоронах Толстого» Брюсов вспоминал об их «невстрече»: «Как москвич я хорошо знал его величавую фигуру, которую, бывало, можно было часто встречать среди прохожих на Арбате. [...] Когда я был студентом, многие из моих сотоварищей “ходили к Толстому”, чтобы спросить у него “как жить”, а на деле просто чтобы посмотреть на него. Мне такое лицемерие, — может быть, и простительное, — казалось недопустимым».

* «Скука жизни» (фр.).

Продолжая заполнять тетради бесчисленными набросками для задуманных книг и статей (9), Брюсов решил обратить один из замыслов — «Литературные опыты» (они то пересекались с «Философскими опытами», то отделялись от них) — в ответ Толстому. Итогом стала статья «О искусстве»*, законченная в середине августа и дозволенная цензурой 22 октября 1898 года. «Благословенна воскресающая гордость творца! — занес автор в дневник, завершив работу. — Велико таинство слов и их могуществ. Одни почти как серебряные трубы в поле, другие созданы залетными ангелами, иные сама неподвижность и смерть. Счастлив, кто знает заклинания! По знаку его собираются беспорядочно стройные воинства. О, торжество завоевателей, идущих с развернутыми знаменами. Слышны крики воинов, пение труб... Благословенна воскресающая гордость вождя» (13 августа 1898 года). Судя по записи с «частоколом восклицательных знаков», Брюсов нес в мир не меньше, чем новое Евангелие.

Этот короткий текст, над которым автор работал долго и тщательно, хорошо известен и изучен, в том числе применительно к идеям Толстого, которые помогли Брюсову облечь замысел в конкретную форму. Молодой декадент был в числе немногих, кто высоко оценил толстовский трактат, принятый критикой и публикой резко отрицательно. Книжка Брюсова с эпиграфом из Лейбница разбита на главки «Заветы к художнику», «Заветы к читателю», «О новой школе», «Чаянья», причем их заглавия есть только в оглавлении, но не в тексте. Как и в предисловии к первому изданию «Шедевров», автор не говорил, а вещал — краткими многозначительными фразами, не всегда связанными друг с другом. Это признал и он сам: «Написано совсем хорошо, но сжато до последней степени; часто совсем непонятно по краткости» (26 октября 1898 года). *Так* о литературе и искусстве в тогдашней России писать было не принято — манера Брюсова скорее напоминала манифесты французских символистов 1880-х годов или русских романтиков 1820-х годов.

За истинами, которые изрекал автор-пророк, видны не только теоретические размышления, но и личный опыт, отразившийся в стихах. «Кто дерзает быть художником, должен найти себя, стать самим собою. Не многие могут ска-

* «Не кто другой, как Л.И. Поливанов, уверил меня, что предлог “об” ставится только перед местоимениями» («Автобиография»).

зять не лживо: “это — я”», то есть «*me eum esse*». «Есть для избранных годы молчания», — этой же строкой открывается стихотворение, написанное 13 декабря 1896 года. «Только одинокие раздумья создают право вынести людям свои скрижали». Валерий Яковлевич молчал два года, прежде чем обнародовал собственные «скрижали» — не столько свои лично, но «нового искусства» в целом, которое поместил в примечательный контекст: «В наши дни везде предвозвестники и указатели нового. В душе своей мы усматриваем, чего не замечали прежде: вот явления распада души, двойного зрения, внушения; вот воскресающие сокровенные учения средневековья (магия) и попытки сношений с невидимыми (спиритизм)».

Немногочисленные критики не пошли дальше предисловия, зацепившись за фразу: «И Толстой, и я, мы считаем искусство средством общения». Бальмонт первым оценил «замечательную книгу». Брюсов занес в дневник его слова: «Она полна мыслей, как горный воздух бурь». Прочие знакомые молчали, поэтому автора заинтересовало письмо неизвестной ему Ольги Кастальской: «Я от всей души желаю оправдать декадентство. [...] Читаешь Ваше “О искусстве” [...] и начинаешь верить, что в декадентстве есть смысл, и хочется думать, что это не ложный путь — так душевно, искренно написаны эти статьи. Но подходишь к декадентскому произведению [...] и овладевает тобой сначала недоумение, потом смех, а потом и горечь. [...] Может быть, так было потому, что до сих пор мне не приходилось видеть или читать произведения искреннего декадента». Ссылаясь на публичный отказ Брюсова от своих книг (вроде посвященного «Шедеврам» стихотворения в «*Me eum esse*»), корреспондентка просила указать ей «сборник Ваших стихотворений, который был бы для Вас настоящим» во время работы над «О искусстве». Что ответил Валерий Яковлевич, неизвестно, но, судя по второму письму Кастальской, ответ был содержательным (10). В начале 1899 года, желая активизировать диалог с читателем, он вернулся к оставленному было замыслу книги «Мои письма», которым решил придать характер «поучений» на литературные и философские темы, однако дальше набросков дело не продвинулось.

Вторую половину апреля, май и начало июня 1898 года Брюсов провел с отцом и женой в Ялте и Алушке, поправляя здоровье. «Буду учиться любить природу», — записал он в дневнике 15 апреля. Через четыре дня последовало признание: «Сказочная страна! Таврида! Веришь преданиям,

веришь картинам, веришь, что все это действительность, что есть прелесть в природе». Запомнился подъем на Ай-Петри: «Пришлось карабкаться чуть-чуть не по отвесной скале, цепляясь за клочки травы, за колючие кустарники, за шатающиеся камни; иногда совсем ползли по гладкому каменному наклону». «Ходили на Яйлы, проблуждали 14 часов и вернулись чуть живыми от усталости; сегодня подымались на Ай-Петри, смотрели бесконечную даль моря, берег с его соснами, фиговыми деревьями. [...] Любить природу можно, это я понял», — суммировал он 19 мая, добавив: «Но уже утомились глаза и воображение. Уже душа не трепещет, хочется от наслаждения природой вернуться назад, к моим раздумьям и моим творческим фантазиям».

«Примирение с природой» отразилось в цикле «Картинки Крыма и моря», написанном, по словам автора, «со всей возможной благопристойностью». Но уже 24 мая Валерий Яковлевич писал домой: «Мама, здравствуй, милая! Хорошо здесь, и жить совсем хорошо, а понемногу начинаешь все ясней и ясней подумывать: довольно! пора и назад. Говоря проще, соскучился я по вас; хочется и с тобой повидааться, и Наде о арабах рассказывать, и просто на всю вашу обстановку поглядеть, к которой глаз так привык за 24 года» (11). В Москве, а затем на даче в Останкино он романтически вздыхал: «Понимаю, всей душой понимаю, тоску южанина, жителя морского побережья, закинутого на север». И восклицал: «О! я создан, чтобы жить на Юге. Там я у себя на родине, на Севере я в изгнании». Настроение быстро прошло, но вопрос о месте отдыха на следующий год решился сам собой.

Главным событием лета 1898 года стала встреча с неожиданно появившимся в Москве Добролюбовым, подробно описанная в дневнике. Брюсов волновался: «О, сколько странных и безумных, и невероятных воспоминаний. [...] Что же найду я сказать ему, я, теперешний? Бальмонт и Добролюбов были для меня в прошлом два идеала. Я изменился с тех пор, я иной, да! Но перед ними я не смею быть иным и уже не умею быть прежним. И я перед ними бессилен. А в душе возникает вопрос, что если “я” тот, прежний, был лучше, выше».

Вопреки ожиданиям, встреча не была трудной, хотя Добролюбов переменялся до неузнаваемости — и внешне, и внутренне: «теперь он стал прост, теперь он умел говорить со всеми». Гость пересказал хозяевам всю свою жизнь, произведя особенно сильное впечатление на семнадцатилет-

нюю Надежду Яковлевну. «Встреча с Добролюбовым повеяла на меня новым, оживила, воскресила душу, — записал Брюсов 31 июля. — [...] Перечитывал сегодня свою книгу о искусстве, и все бессилие ее мне открылось. За работу, опять сначала!» Однако новый, столь же неожиданный, приход странника на Цветной бульвар в начале сентября произвел тягостное впечатление: «Я пытался заговорить с ним, но он отвечал односложно. Часто наступало молчание. Вдруг со словами “Я помолюсь за вас” он вставал и падал ниц. [...] Последние мгновения вечера мы были совсем вне себя. Со словами: “Если не поцелую ноги вашей, не будете со мной в раю”, — он поцеловал нам ноги. [...] Прощаясь, я ему сказал: “Воистину вы тяжелы нам. Как некогда Симон, я скажу вам: выйди от меня, ибо я человек грешный”». Такими же были последующие встречи и письма. Валерий Яковлевич даже перенял тон собеседника, адресовавшего свои послания «В. Брюсову от знающего»: «Смотреть в себя, в глубь души своей, дальше в глубь своего духа. Весь круг постижимого и откровенного во мне. [...] Вероятно, это шаг к истине. Только шаг. Но мне страшно идти снова во мрак. Я медлю...» (12). В столь же высокопарной манере выдержаны его осенние письма Самыгину, отмеченные влиянием вошедшего в моду Ницше (13).

Для борьбы за символизм Добролюбов был потерян, но Брюсов продолжал видеть в нем «талантливейшего и оригинальнейшего из нас, из числа новых поэтов». Кроме того, общение с практикующим мистиком наложилось на новую волну интереса к оккультизму, связанную с философскими штудиями. 15 августа он внес в число намеченных работ «О запретных науках (магия)», для чего читал «Философию мистики, или Двойственность человеческого существа» Карла дю Прея (книгу ценил Вл. Соловьев, идеями которого Брюсов тогда увлекался), а также «Книгу духов» и «Книгу медиумов» французского спиритуалиста Алена Кардека (14).

Вслед за вторым визитом Добролюбова в дневнике зафиксировано знакомство с 69-летним Петром Ивановичем Бартечевым, который показался Брюсову «древним старцем». Казалось бы, пожилому издателю консервативного исторического журнала, славянофилу, не признававшему слова «редактор» и потому именовавшему себя «составителем»* «Русского архива», не о чем было гово-

* Двенадцатого сентября 1898 года Брюсов записал слова Бартечева: «Иностранные слова оттого, что писатель заимствует *мысль* у

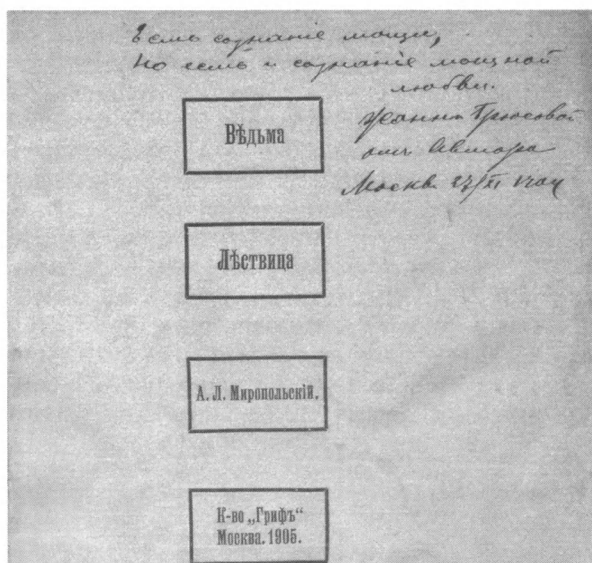
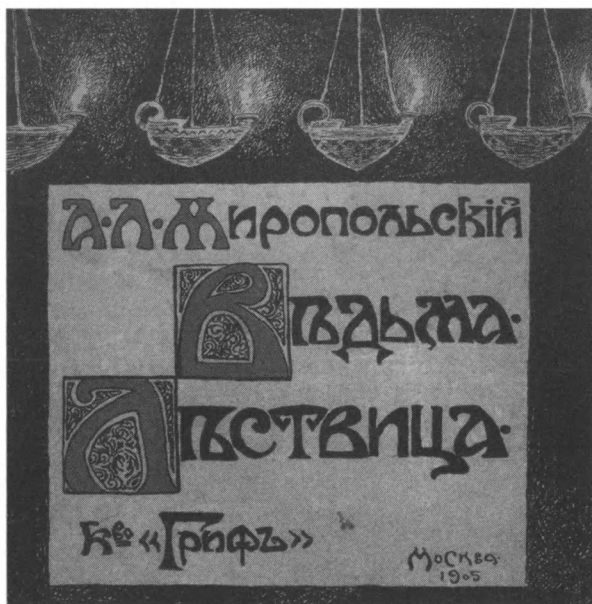
рять с молодым (44 года разницы в возрасте!) вождем новомодной школы со скандальной репутацией. «Как робкий ученик», Валерий Яковлевич принес Бартеневу статью о вариантах стихотворений Тютчева — «и был принят старым ласковым учителем, который подыскивал способного ученика, к тому же “бессеребренника”, — не любил Петр Иванович платить большие гонорары, — чтобы вручить ему свои литературные навыки, которые были с признательностью приняты Брюсовым» (15). Через несколько дней он получил корректуру и вскоре увидел статью в печати. Оценив профессионализм нового знакомого, Бартенев вручил ему корректуру подготовленного «Русским архивом» к печати издания стихотворений Тютчева, в которое Брюсов внес немало уточнений и исправлений.

Старого издателя и молодого поэта сблизила любовь к Тютчеву: Валерий Яковлевич считал его первым и лучшим русским символистом, но вряд ли говорил об этом собеседнику. «Русская литература остановилась для Бартенева на Тургеневе. [...] Не читал Бартенев и моих книг, — признал Брюсов в очерке «Обломок старых поколений», — и всегда был убежден, что я не говорю с ним о моих стихах из чувства стыда за свое “бедное рифмачество”*. [...] Он продолжал жить в наши дни в общении с людьми прошлого, с Екатериной Великой, с Александром I, с Пушкиным, с ушедшими из жизни друзьями лучших лет, с кн. Вяземским, Хомяковым, Тютчевым... В их кругу он чувствовал себя как дома и как на что-то чужое смотрел на суетливую современность». Брюсов стал не только автором журнала, в котором печатался почти до его закрытия в 1917 году, но помощником издателя** и почти членом семьи: он поддерживал дружеские отношения с сыновьями Петра Ивановича цензором Юрием и историком Сергеем, а затем с внуком, подписывавшимся «Петр Бартенев-младший». Сотрудничество с Бартеневым не только стало началом литературной реабилитации Валерия Яковлевича, но и дало ему хороший опыт журнальной и историко-литературной работы. Напечатанные в «Рус-

иностранных писателей; кто ясно сознал *свою* мысль, тот выскажет ее по-русски».

* Выражение из письма М.В. Ломоносова графу И.И. Шувалову (19 января 1761 года) об А.П. Сумарокове: «бедное свое рифмачество выше всего человеческого знания ставит».

** Условия службы зафиксированы в договоре от 14 августа 1900 года, где она названа «скорее приятной, чем обременительной» (*Дневники*. С. 173).



Книга А. Л. Мировольского «Ведьма. Лестница» (1905) с дарственной надписью И. М. Брюсовой. 27 ноября 1904 года. Обложка работы М. А. Дурнова. *Собрание В. Э. Молодякова*

ском архиве» статьи, рецензии, библиографические заметки, архивные публикации и переводы показывают не только эрудицию Брюсова, но и тот высокий профессиональный уровень, которым будут отмечены его позднейшие работы о Пушкине, Тютчеве, Каролине Павловой.

У Бартеневых 20 апреля 1900 года Валерий Яковлевич познакомился с философом «общего дела» Николаем Федоровым. О том, как протекала беседа, можно судить по письму Юрия Бартенева Брюсову: «Мне весьма обидно, что Вы вчера у нас подвергнулись столь свирепому нападению несомненно замечательного, но невыдержанного старца. Не сетуйте на меня и снисходительно отнеситесь к 80-летнему (Федорову было 72 года. — *В.М.*) мыслителю, от которого претерпевали и Соловьев и Толстой. Его необузданный язык и горячий нрав ничем не могут быть удержимы» (16). Описывая встречу в дневнике, Брюсов почти дословно использовал эту характеристику, пояснив: «Речь шла о Ницше, и вообще Николай Федорович нападал на меня жестоко. Я остался очень им доволен и, уходя (я спешил), благодарил его». Коллекционер Николай Чернугов, с которым Брюсов общался в эти годы, был «федоровцем» и в конце 1903 года передал в «Весы» некролог и статью Федорова «Астрономия и архитектура» (при жизни тот принципиально отказывался публиковать свои сочинения). Брюсов стал первым издателем его текстов; публикацию сопровождал рисунок Леонида Пастернака, запечатлевший разговор «загадочного старика» с Львом Толстым и Владимиром Соловьевым.

«Смерть и воскресение суть естественные феномены, которые она (наука) обязана исследовать и которые она в силах выяснить. Воскрешение есть возможная задача прикладной науки, которую она вправе себе поставить», — писал Брюсов в 1914 году, отвечая «федоровцам» на вопрос о «смерти, воскресении и воскрешении» (17). Идеи Федорова о физическом воскрешении мертвых научным путем и о возможности изменения орбиты Земли совместными усилиями всего ее населения отразились и в его стихотворениях «Хвала Человеку» и «Как листья в осень...».

2

Шестого декабря 1898 года Валерий Яковлевич приехал в Петербург, собираясь повидать множество знакомых и незнакомых: Гиппиуса, Сологуба, Мережковских, Роза-

нова, Волинского, Венгерову, Соловьева, Перцова, родных Добролюбова и его приятелей Якова Эрлиха и Евдокима Квашнина-Самарина, а также трех редакторов: эстета Сергея Дягилева («Мир искусства»), спирита Владимира Прибыткова («Ребус») и народника Сергея Южакова («Большая энциклопедия»). Далеко не все из задуманного состоялось: с Соловьевым он так и не встретился, с Дягилевым, Волинским и Розановым познакомился в другой приезд. Первые дни Брюсов провел с Бальмонтом, обменявшись с ним стихами в знак окончательного примирения и восстановления дружбы после временного охлаждения, вызванного женитьбой Константина Дмитриевича, его заграничным путешествием и переездом в столицу. Затем был визит к Мережковским: гость, видимо, волновался, поскольку испытывал пиетет перед хозяином и ценил стихи хозяйки. «Зинаида Гиппиус угощала нас чаем в темной и грязной столовой. Любезной она быть не старалась и понемногу начинала говорить мне дерзости. Я отплатил тем же и знаю, что два-три удара были меткими».

Так началась дружба, продолжавшаяся двадцать лет. Вот как описала знакомство сама Гиппиус — после разрыва — в очерке «Одержимый»: «Скромный, приятный, вежливый юноша; молодость его, впрочем, в глаза не бросалась; у него и тогда уже была небольшая черная бородка. Необыкновенно тонкий, гибкий, как ветка; и еще тоньше, еще гибче делал его черный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Черные глаза, небольшие, глубоко сидящие и сближенные у переносья. Ни красивым, ни некрасивым назвать его нельзя; во всяком случае, интересное лицо. [...] В личных свиданиях он был очень прост, бровей, от природы немного нависших, не супил, не рисовался. Высокий тенорок его, чуть-чуть тенорок молодого приказчика или московского сынка купеческого, даже шел к непомерно тонкой и гибкой фигуре» (18).

Мережковский в день знакомства болел и лежал в постели. «Сразу начал он говорить о моей книге («О искусстве». — В.М.) и бранить ее резко.

— Ее даже бранить не за что, в ней ничего нет. Я почти со всем в ней соглашаюсь, но без радости. Когда я читаю Ницше, я содрогаюсь до пяток, а здесь я даже не знаю, зачем читаю.

Зинаида хотела его остановить.

— Нет, оставь, Зиночка. Я говорю прямо, от сердца, а ты ведь хоть молчишь, зато, как змея, жалишь, это хуже...

И, правда, он говорил от чистого сердца, бранил еще больше, чем меня, Толстого, катался по постели и кричал: Левиафан! Левиафан пошлости!»

Знакомство с Мережковскими имело для Брюсова стратегическое значение, которое в полной мере выявилось через несколько лет. Тактически важным было вхождение в круг петербургских поэтов. Николай Минский, «паукообразный человечек, с черной эспаньолкой и немного еврейским акцентом» «говорил пошлости и пустяки», но дал остроумную оценку книге «О искусстве»: «Ждешь появления привидения, а выходит дядюшка и говорит “здравствуйте”». Иероним Ясинский, «красивый, могучий зверь, с красивой длинной, остроконечной бородой» сказал о ней же: «Смело, очень смело». Собиратель автографов и портретов знаменитых людей Фридрих, он же Федор Федорович, Фидлер попросил у Брюсова фотографию и книги, что означало признание. Коринфский «робко извинялся за свои рецензии: “Странно бывает читать, что писал прежде, не понимаешь себя, как мог...”. Я предложил тост за новую поэзию, он выпил». И получил «О искусстве» с инскриптом: «Апполону Апполоновичу (так! — В.М.) Коринфскому. Память о наших здравицах за новую поэзию и за старую и за вечно единую». На сей раз его отзыв оказался более пристойным, хоть и не отличался пониманием идей нового знакомого (19). Краткую рецензию, сводившуюся к пересказу основных положений трактата, поместил журнал «Вопросы философии и психологии», который редактировали университетские учителя Брюсова Николай Грот и Лев Лопатин (20). В дневнике Валерий Яковлевич написал о ней: «такая, которую терпеть можно».

Больше всего стихотворцев собиралось на «пятницах» Константина Случевского, начавшихся 1 октября 1898 года, после похорон Якова Полонского, у которого раньше проходили аналогичные собрания. «Был там и я 11-го (декабря. — В.М.) вечером, пришел с Бальмонтом и Бунным, — записывал Брюсов. — [...] Мы трое декадентов — Бальмонт, Сологуб и я, тоскливо укрылись в угол. [...] Когда все собрались, начали читать стихи. [...] Я прочел “На новый колокол”, а так как полагалось, что я декадент, то все и нашли, что это стихотворение архи-декадентское. [...] Под конец читал сам Случевский, читал удивительно плохо, но стихи иной раз любопытные. Кроме него и того же самого Сафонова, стихи всех были ни на что не нужные (говорю о мне незнакомых)».

Кто такой Сафонов? В 1892 году редакция журнала «Петербургская жизнь» писала о нем: «Вооружен бичом сатиры и лирою поэта-декадента. Человек, который смеется над тем, над чем он плачет, и плачет над тем, над чем смеется» (21). Ровесник Бальмонта, Сергей Сафонов запомнился, и то немногим, как балагур и выпивоха, съеденный газетно-журнальной поденщиной, хотя был талантливым лириком, захваченным «новыми веяниями», но остановившимся на пороге символизма. У Случевского, после чтения Брюсова, он «вскочил с места и закричал: “Господа! вот вопрос, что это искание новых путей или что иное?”». «...Или шарлатанство?» — как более определенно записал Фидлер (22). Разговор продолжился в «некоем трактирчике»: «Сафонов сел против меня и спросил будто бы пронизательным голосом:

— Скажите, Брюсов, шарлатан вы или искренни?

Я сказал что-то о странности вопроса.

— Э, нет! если бы я знал, что вы вилять будете, я бы и не спросил. Можете ответить прямо?

Пришлось улыбнуться и ответить прямо».

Памятью о разговоре остался инскрипт на втором издании «Шедеров»: «С.А. Сафонова прошу принять эту книгу давно оплаканную и осужденную. ВБ. 1898» (23). Охарактеризовав большинство встреченных стихотворцев формулой «Тут кабак, а тут и храм», Брюсов прибавил: «Для Сафонова действительно храм существует». «Одни из них живут в хоромах, другие на чердаках, — суммировал он впечатления в письме к Станюковичу, — одних печатают, других не печатают, но все они бранят друг друга и рассказывают один о другом мерзейшие сплетни. За десять дней моей жизни в Петербурге перевидал я человек 40 новых лиц, голова у меня пошла кругом и, вернувшись в Москву, я два дня был болен» (24).

Во время следующей поездки в столицу в марте 1899 года Брюсов закрепил знакомство со Случевским, поэзией которого начал по-настоящему восхищаться. Другие встречи были не столь идиллическими. «Мережковский бегал на коротких ножках и вопил “банально”». Зинаида Гиппиус говорила злые слова, — сообщал он жене о встрече с ними у Бальмонта. Однако днем позже у Случевского они держались по-другому: «Мережковский словно пытался загладить свое поведение со мной и все со мной заговаривал» (25). Для сборника «Денница», посвященного столетию Пушкина, Случевский взял у Брюсова стихотворение «Де-

моны пыли», имевшее успех на «пятнице», но вскоре вернул его автору из-за «невозможной фактуры стиха» (26).

В конце декабря 1898 года московский журнал «Знамя», который редактировал приятель Брюсова Николай Облеухов, отверг «Ассаргадона»:

Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон.
Владыки и вожди, вам говорю я: горе!
Едва я принял власть, на нас восстал Сидон.
Сидон я ниспроверг и камни бросил в море...

Рассерженный автор потребовал обратно все свои рукописи. Знал бы Облеухов, что мог остаться в истории как человек, первым опубликовавший стихи Брюсова в периодике, а не кануть в Лету вместе с Александровым из «Русского обозрения», который не оценил брюсовские переводы из Верлена. Лавры достались одесскому «Южному обозрению», напечатавшему в 1899 году восемь «благопристойных» «Картинок Крыма» и по одному переводу из декадентов: Приски де Ландель (текст, ранее запрещенный цензурой для «Русских символистов»), Роденбаха, Мореаса, Эверса, Верлена. Устроил публикацию сотрудничавший в газете Бунин: «Радуюсь, что даете приют моим гонимым стихам», — писал ему Брюсов (27). «Конечно, газета пойдет на разные домашние нужды, — философски заметил он в дневнике в первой половине марта, — и если я сам решаюсь там печатать, то только ради того, чтобы быть где-нибудь напечатанным». «Годы молчания» ему надоели.

С началом января 1899 года Валерий Яковлевич засел за подготовку к государственным экзаменам, но не прекращал общаться с друзьями. Кроме Ланга, Курсинского, Бунина, в дневнике мелькают фамилии художника и архитектора Модеста Дурнова, активно выступавшего в печати товарища по университету Владимира Саводника (филолог и педагог, по учебникам которого учились несколько поколений гимназистов (28)), немецкого поэта и переводчика Георга (Егора Егоровича) Бахмана. «Прекрасный поэт, — вспоминал о последнем Брюсов, — страстный поклонник и тонкий ценитель поэзии всех народов и всех веков, исключительный знаток литературы, которая была доступна ему в подлиннике на всех европейских языках. [...] В маленькой квартире Бахмана, заполненной, затопленной книгами, которых здесь было много тысяч томов, было как-то особенно хорошо читать и слушать стихи. [...] Все присут-

ствующие знали, что *здесь* каждый стих будет оценен по достоинству, что *здесь* не пройдет незамеченным удачное выражение, меткий эпитет, новая рифма». Бахман подарил Брюсову книгу своих стихов «Мечты и звуки» «на память о беседах о Верлене и Тютчеве». Саводник поднес ему свой первый поэтический сборник, вставив после слов «дорогому товарищу» в заранее заготовленной надписи «и беспощадному зоилу» (29). Среди более редких встреч — философы Давид Викторов, Борис Фохт и Иван Лапшин, филолог Иван Розанов, критик Юлий Айхенвальд, будущий автор одной из самых разгромных статей о Брюсове (30).

3

В январе в Москву приехал Бальмонт с идеей выпустить коллективный сборник стихотворений — своих, Брюсова, Сологуба, Вл. Гиппиуса, Дурнова и Ивана Ореуса. Последний еще не избрал себе псевдоним «Коневской» по названию острова Коневец на Ладожском озере: отец-генерал запретил сыну выступать в литературе под настоящей фамилией, которой подписана лишь его первая публикация в ноябрьских «Книжках Недели» за 1896 год, и до своей смерти в 1909 году даже не разрешал раскрывать в печати его псевдоним.

Только в последнее десятилетие личность и творчество Ивана Коневского были наконец оценены за пределами узкого круга знатоков. Его значение для русской литературы (а не только для истории литературы) стало очевидным после выхода собрания стихотворений в «Новой библиотеке поэта», серии работ А.В. Лаврова и монографии Дж. Гроссман (31). В сознании читателей Коневской занял законное место в символистской фаланге, перестав считаться невоплотившимся из-за ранней гибели поэтом.

Знакомство с Ореусом оказалось для Брюсова главным приобретением поездки в Петербург (32). Первое впечатление от встречи 12 декабря 1898 года у Сологуба, где новый знакомец читал поэму «Дебри»: «Прекрасный поэт». Второе, через два дня: «Болезненный юноша, с нервными подергиваниями; немного напоминает Добролюбова былых дней, но менее привлекателен». Добролюбов, с творчеством которого Коневской был знаком через Гиппиуса, и французские символисты, которых он хорошо знал и любил, стали главной темой беседы. Рукописи Ореуса, приве-

зенные Бальмонтом, привели Брюсова в восторг: «Мы все были увлечены, читали, перечитывали, переписывали, выучили наизусть» (январь 1899 года).

«Поэт мысли», продолжатель Боратынского, Тютчева и Вл. Соловьева, Коневской не мог остаться чужд Брюсову. Обнаружились между ними и иные черты сходства. В итоговой статье о творчестве друга для «Русской литературы XX века» под редакцией С.А. Венгерова, Валерий Яковлевич писал: «В гимназии, попав в уже сплотившийся круг одноклассников, Коневской не мог сойтись с ними по-товарищески и до конца школы остался наполовину чуждым ей. Привыкший к одиноким раздумьям, к серьезному чтению, к беседам со взрослыми, Коневской не умел войти в обиход гимназической жизни, с ее мальчишескими проделками, обманыванием учителей при помощи подстрочников (то есть шпаргалок. — *В.М.*) и, позднее, увлечением характерной школьной “эротикой”». Нетрудно заметить здесь рефлексия автора, столкнувшегося с такой же ситуацией. Но Валерий Яковлевич, видимо, не знал о параллельном мире, который придумал его младший друг, — воображаемой стране Росамунтии, сочетавшей славянские и варяжские элементы.

В отличие от Брюсова, Коневской был поздним ребенком, рано остался без матери и воспитывался исключительно отцом — военным историком генералом Иваном Ореусом. «Многие отличительные стороны личности Коневского, — отметил А.В. Лавров, — многие оттенки его идейных убеждений, его психологии поведения имеют наследственное происхождение. Цельность и определенность нравственных представлений, консерватизм, коренящийся не только в политических взглядах, но и в подчеркнуто почтительном отношении ко всему, что связано с поддержанием традиций и заветов, — с родом, домом, семейными устоями, благородство и предупредительная корректность в поведении, пристальный интерес к внутреннему миру личности в сочетании с известной асоциальностью, отчужденностью от злобы дня — все эти черты наглядно проступают в духовном облике и отца, и сына» (33).

По свидетельству Брюсова, «у Коневского была глубокая, нерушимая уверенность в том, что его поэзия — хороша и значительна. Он чувствовал, он сознавал себя большим поэтом, этого сознания ничто не могло поколебать. [...] В разговорах, например, с К. Бальмонтом, Коневской (на де-

сять лет моложе его. — *В.М.*), как-то невольно, принимал тон “старшего” и начинал указывать те и другие, как ему казалось, недостатки в стихах своего собеседника, что выходило несколько комично. Когда в 1899 году К. Бальмонт предложил издать “Книгу раздумий”, альманах, в котором рядом со своими стихами хотел поместить стихи Коневского, тот принял это как справедливую дань со стороны старшего собрата достоинству своих стихов. Ни на минуту Коневской не мог даже помыслить, что К. Бальмонт оказывает ему благородную услугу, связывая свое уже “признанное” и “чтимое” имя с именем никому не известного поэта-дебютанта». «Это равенство в отношениях, установившееся с первых же встреч, Брюсовым было принято и признано: он отдавал должное своеобразию таланта, глубине мысли и редкой широте познаний молодого поэта, проявлявшего удивительные для его возраста зрелость и самостоятельность суждений» (34).

В отличие от Брюсова, Коневской был чужд стихии литературной игры, не говоря уже об эпатаже и позерстве. Подобно Брюсову, он обращался в «Северный вестник» как самый передовой журнал своего времени и в 1896 году даже встречался с Минским, а затем с Перцовым, но из этого ничего не вышло. Коневской не искал своего читателя (хотя надеялся на него), не говоря о том, чтобы угодить издателям и критикам. «Он не умел писать ни о ком, кроме как о себе, — подытожил Брюсов, — да, в сущности говоря, и не для кого, как только для самого себя. Коневскому было важно не столько то, чтобы его поняли, сколько — чтобы понять самого себя» (35).

Стиль — это человек. Особенности личности Коневского в полной мере проявились в его индивидуальном стиле, с обилием архаизмов и затрудненным синтаксисом. «Я люблю, чтобы стих был несколько корявым», — приводил Брюсов слова друга, поясняя, что того «раздражала беглая гладкость многих современных стихов». На память приходят эксперименты архаиста 1820—1830-х годов Степана Шевырева, который презрительно именовал карамзинистов «утюжниками», а собственные стихи называл «темными» и «тяжелыми», считая формальную негладкость художественно необходимой. Коневского с Шевыревым никто пока не сопоставлял, хотя его сравнение с другим Любомудром Дмитрием Веневитиновым, мотивировавшееся прежде всего сходством биографии, стало общим местом. Связующим звеном между ними можно

считать поэзию Случевского, которую высоко ценили и Брюсов, и Коневской.

Творчество Коневского — слишком значительная тема, чтобы говорить о ней вскользь, поэтому ограничусь цитатами, характеризующими его отношения с Брюсовым. «Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столетий» (декабрь 1899), — отклик на получение первого и единственного прижизненного сборника стихов и прозы Коневского «Мечты и думы» с надписью «Милому Валерию Я. Брюсову в знак признательности за любовь к моему творчеству и сродства мировоззрений» (36). «Коневскому я обязан тем, — признал Брюсов в автобиографии, — что научился ценить глубину замысла в поэтическом произведении — его философский или истинно символический смысл. [...] Коневской своим примером, своими беседами, заставил меня относиться к искусству серьезнее, благоговейнее, нежели то было “в обычае” в тех кругах, где я вращался прежде».

В конце апреля 1899 года в Московском университете начались государственные экзамены, которым предшествовали студенческие волнения, пошедшие из Петербурга и прокатившиеся по многим городам. Валерий Яковлевич занял позицию стороннего наблюдателя, сосредоточившись на подготовке к экзаменам. Сочинение (аналог современной дипломной работы) «Теория познания у Лейбница» философ Л.М. Лопатин оценил высшим баллом — «весьма удовлетворительно». На письменном экзамене по всеобщей истории у славившегося своей строгостью В.И. Герье Брюсов выбрал тему о Руссо; по русской истории В.О. Ключевский дал «Явления русской истории XIII и XIV веков». Он выдержал все «испытания» — кроме устного греческого, к которому недостаточно подготовился, — с наилучшими оценками и 7 сентября получил диплом № 21082 первой степени, то есть с отличием:

«Предъявитель сего, Уалерий Иаковлевич Брюсов, вероисповедания православного, из мещан, по *весьма удовлетворительном* выдержании в Московском Университете, в 1894 и 1895 годах, полукурсового испытания и по зачете определенного Уставом числа полугодий на Историко-Филологическом Факультете означенного Университета подвергся испытанию в Историко-Филологической Испытательной Комиссии при Императорском Московском Университете в апреле и в мае месяцах 1899 года, при чем оказал следующие успехи: 1) по сочи-

нению *весьма удовлетворительно*; 2) по письменным ответам: по русской истории *весьма удовлетворительно*; по всеобщей истории *весьма удовлетворительно*; 3) по устным ответам: по греческому языку *удовлетворительно*, по латинскому языку *весьма удовлетворительно*, по русской истории *весьма удовлетворительно*, по новой истории *весьма удовлетворительно*, по истории церкви *весьма удовлетворительно*, по истории славянских народов *весьма удовлетворительно*, по истории новой философии *весьма удовлетворительно*.

По сему на основании ст. 81 Общего Устава Императорских Российских Университетов 23 августа 1884 года, г. Брюсов в заседании Историко-Филологической Испытательной Комиссии 31 мая 1899 года, удостоен диплома первой степени, со всеми правами и преимуществами, поименованными в ст. 92 Устава и в V п. Высочайше утвержденного в 23 день августа 1884 года мнения Государственного Совета. В удостоверение сего и дан сей диплом г. Брюсову, за надлежащею подписью и с приложением печати Управления Московского Учебного Округа» (37).

Вместе с ним курс окончили Саводник и Викторов, будущий президент Сербской Академии наук Александр Белич и будущий член-корреспондент АН СССР славист Николай Дурново, но с двумя последними Брюсов, видимо, не общался. Университетские знакомства — исключая те, что завязались в Кружке любителей западноевропейской литературы, — не сыграли в его жизни никакой заметной роли и поддерживались недолго, по инерции. После экзаменов, закончившихся попойкой, хождением «по самым отреченным пристанищам» и двухдневной головной болью, Брюсов с женой отправился в Алупку. «Я сюда приехал совсем не живой, — жаловался он Бунину 29 июня. — [...] Целый месяц изучал я какие-то литографированные записки, изучал нередко то, что искренно считал просто детской глупостью. И эти глупости, сказанные самодовольно, торжественным тоном откровения, я выучивал и после пересказывал, ибо не спорить же мне было перед экзаменаторами». Экзамены измучили Брюсова, подвигнув его на филиппики против современной науки в целом: «Я эту самодовольную, эту самоуверенную науку — ненавижу, презираю. Придумывать способы, свои “научные методы”, чтобы отнять у мысли всякую самостоятельность, чтобы всех сравнять и зоркость гения заменить счислительной машиной. [...] Если бы я мог, все так же отдаваясь поэзии, успеть сказать им о их на-

уже все то, что я уже знаю, и раскрыть иное, что мне еще смутно, обличить до конца это пошлое всемирное лицемерие!» (38).

Общее состояние духа сказалось на занесенных в дневник впечатлениях от Крыма: «Не было уже прежней радости перед зелеными склонами гор, перед ширью моря, каменными тропами. [...] В крымских видах слишком много однообразного. [...] Много мешало нам, что мы были не одни, с нами жили все наши домашние; сначала мать с сестрами, уехавшие раньше нас, а потом внезапно приехал и отец, истомившийся в одиночестве. Новым наслаждением в этом году было только купание. Это сладко — отдаться морю. Встретился здесь и с Бальмонтовскими знакомыми: девица со змейкой (у нее есть живая змейка, с ней она и спит) и с ее, кажется, компаньонкой, Анной Рудольфовной, довольно странной пророчицей, поклоняющейся стихам». «Девица со змейкой» следа в жизни Брюсова не оставила, зато ее компаньонкой оказалась Анна Минцлова, одна из самых загадочных фигур Серебряного века. О встрече с ней в конце октября 1899 года он записал: «Она оказалась менее интересной, чем при беглом знакомстве. Эти обычные речи о демонах, вампирах, духах — я уже слишком слышал. Интереснее ее физическая организация, неверный глаз, резкие ощущения» (39).

Заканчивая по возвращении в Москву очередную тетрадь дневника, Валерий Яковлевич подводил итоги: «Этот круг моей жизни дал мне слишком много счастья и удачи! Говоря в общем, мне удавалось едва ли не все, что я начинал, исполнилось многое из того, чего ждал давно, долгие холодные годы. [...] Все это с тех дней, как мы живем с Эдой (так Брюсов прозвал Иоанну Матвеевну в честь героини одноименной поэмы Баратынского. — В.М.). Вот скоро два года, как я не знаю тех безумных, бесконечных приступов тоски, которые на целые недели выбрасывали меня из жизни. [...] Бодрость, уверенность, надежды — вот мое обычное настроение теперь» (июль 1899 года).

Дозволенная цензурой 26 марта 1899 года, «Книга раздумий» вышла лишь в конце ноября. Руководил изданием Бальмонт, открывший ее своими циклами «Лирика мыслей» и «Символика настроений» (20 стихотворений). За ними следовали «Раздумья» Брюсова (17 стихотворений и один перевод из Метерлинка), «Красочные сны» Дурнова (пять стихотворений) и «От солнца к солнцу» Коневского (12 стихотворений). Последнему досталось от рецензентов боль-

ше всех. Можно было оставить без внимания зубоскальство Амфитеатрова, но отзыв талантливого «предсимволиста» Дмитрия Шестакова не мог не огорчить: «Бредить и гордиться своим бредом — вот в чем “и признак, и венец”^{*} четырех поэтов. [...] Обозревая эту “выставку отверженных”^{**}, мы невольно поражены какими-то кошмарными образами, темнотой и невразумительностью мысли, вложенной иногда в безобразные, а иногда в превосходные по внешности формы. [...] Кажется, трудно и в дальнейшем ожидать от этих представителей нашего декадентства более просветленных стихотворений... Слишком уж безнадежно все они манерны, хотя “Ассаргадон” г. Брюсова, если бы это было не единичное у него простое стихотворение, и могло бы указать на лучшее будущее для этого поэта» (40).

«Лучшее будущее» оказалось рядом. В июле 1899 года Бальмонт познакомил Брюсова с Юргисом (Георгием) Казимировичем Балтрушайтисом, писавшим стихи по-литовски и по-русски, и Сергеем Александровичем Поляковым, купеческим сыном, математиком, полиглотом и поклонником «нового искусства». Поляковы (Фабрично-торговое товарищество Знаменской мануфактуры А.Я. Полякова) были более «купецкой» семьей, чем Брюсовы, и несравненно более состоятельной. Брюсов часто виделся с ними в Москве и в подмосковном имении Поляковых Баньки и был шафером на свадьбе Балтрушайтиса. Общность интересов выявилась сразу же. «Заметнейшей чертой новой интеллигенции, в состав которой вливается значительно число выходцев из патриархальных буржуазных семей, оказывается эстетизм, становящийся знаменем века, — отметил Н.В. Котрелев. — Подобного массового увлечения искусством не только как предметом потребления, но и как полем приложения сил, как средством реализации человеческого “я”, самоидентификации не знало русское общество ни до, ни после. Искусство и художник оказываются едва ли не самыми продуктивными мифо-образующими символами общественного сознания. Апогея этот процесс достигает, кажется, в 1910-х годах, но первыми его протагонистами были люди поколения Полякова и Брюсова» (41).

* Цитата из стихотворения А.А. Фета «Одним толчком согнать ладью живую...».

** «Выставка (салон) отверженных» — в 1860–1870-е годы альтернативные выставки работ, отвергнутых жюри Парижского салона.

Глава седьмая «СКОРПИОН»

1

Кому принадлежала инициатива создания «Скорпиона» — лучшего символистского издательства России? Екатерина Бальмонт утверждала, что ее мужу, когда тот летом 1899 года жил у Поляковых (Бальмонт и брат Полякова были женаты на сестрах) и писал «Горящие здания» (1). Иоанна Брюсова все сводила к встрече своего мужа с Поляковым, у которого «были деньги (в достаточном количестве), у Валерия Яковлевича — знания и запас литературных работ, а редакторско-издательский пыл в избытке был у обоих» (2). Других ближайших участников — Бальмонта и Балтрушайтиса — она в начале тридцатых годов не упомянула: первого как эмигранта, второго как тогдашнего литовского посланника в Москве.

Ясно одно: без денег Полякова никакого «Скорпиона» бы не было, а триумфальный выход русского символизма к читателю если бы и состоялся, то на несколько лет позже. Бальмонт выпускал книги за собственные деньги или при поддержке меценатов вроде князя Урусова, но это отнимало много времени и сил, не обеспечивая спокойной жизни. Издательская деятельность Брюсова приносила сплошные убытки, а положение семьи, в которой подрастали три сестры на выданье, не позволяло надеяться на дополнительные средства. Поляков готов был рискнуть и рискнул, тем более с учетом энергии Бальмонта и Брюсова. Так появился «Скорпион».

Новое предприятие нарекли сообща — по некоторым сведениям, идея принадлежала Бальмонту — и не без желания удивить публику. «Что в сей гадине лестного для себя зрит декадентское издательство?» — привычно иронизировал Амфитеатров (3). В названии принято видеть указание на знак Зодиака, под которым предприятие было создано, однако, по предположению Н.В. Котрелева, здесь присутствует «специфически декадентский обертон»: «средневековая космология в мужском теле знаки Скорпиона ставила в соответствие с областью гениталий» (4). Первую марку издательства, обыгрывавшую зодиакальный символ, нарисовал приятель Балтрушайтиса художник Николай Филянский (впоследствии известный украинский поэт), но уже в

1904 году ее сменила более изящная работа Николая Феофилактова, ставшего ведущим графиком издательства.

Офис «Скорпиона» разместился в конторе Поляковых в Китай-городе, где Сергей Александрович отбывал повинность в качестве кассира семейной фирмы. Стоявшее в официальном адресе слово «амбар» не подходило для декадентского издательства, поэтому было заменено на загадочное обозначение «А 10/11». Да и в купеческой среде Сергей Александрович свои издательские дела по понятным причинам не афишировал.

Осенью 1899 года началось формирование издательского портфеля. У Полякова были готовы переводы пьесы Генрика Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся» (совместно с Балтрушайтисом) и сборника новелл Кнута Гамсуна «Съеста», а в работе находился его роман «Пан». Балтрушайтис перевел трагедии Габриэле д'Аннунцио «Мертвый город», «Джиоконда» и «Слава». Бальмонт горел желанием переиздать переводы из Эдгара По и Шелли. Преобладание иностранных авторов в первые годы деятельности «Скорпиона» объяснялось не столько бедностью литературы русского символизма, сколько стремлением подчеркнуть свою принадлежность к самой передовой фаланге европейского «нового искусства» и преемственность по отношению к его великим предшественникам. Метерлинк из объекта насмешек уже превратился в модного и респектабельного автора: с 1902 года выходило первое собрание его сочинений на русском языке (в первом томе были и переводы Брюсова), а постановка пьесы «Монна Ванна» с Верой Комиссаржевской в главной роли, через полгода после парижской премьеры, стала настоящим событием — резкий фельетон Власа Дорошевича немедленно вызвал язвительный ответ Брюсова (5).

Валерий Яковлевич разделял культуртрегерский пафос своих товарищей, выпустив в «Скорпионе» переводы произведений культовых авторов символизма: Метерлинка (рассказ «Избиение младенцев» в 1904 году, драма «Пеллеас и Мелизанда» и стихи в 1907 году), Верхарна («Стихи о современности» в 1906 году и трагедия «Елена Спартанская» в 1909 году) и Верлена («Собрание стихов» в 1911 году). Он же предложил издать серию авторских сборников иностранных поэтов — замысел из эпохи «Русских символистов», оставшийся нереализованным, — в едином оформлении, для которого были использованы работы бельгийского графика Тео ван Риссельберга. «Скорпион» привлекал к ра-

боте модных европейских художников: немец Фидус (Гуго Хеппенер) нарисовал обложку к самой знаменитой книге Бальмонта «Будем как солнце» (1903); итальянец Альберто Мартини проиллюстрировал второе издание сборника прозы Брюсова «Земная ось» (1910), но выпуск альбома его иллюстраций к Эдгару По, задуманного как приложению к собранию сочинений в переводе Бальмонта, не состоялся (6).

К моменту основания издательства у Брюсова были одни лишь замыслы. Единственная относительно готовая работа — «Собрание стихов» Александра Добролюбова, о выпуске которого он задумался осенью 1898 года, — обрекалась на коммерческий неуспех и насмешки критиков. Уход Добролюбова из литературы лишал фалангу одного из бойцов, однако Брюсов высоко ценил то, что Александр Михайлович успел написать, а обстоятельства его ухода могли привлечь внимание к книге. Он начал разыскивать рукописи, которыми «брат Александр» более не дорожил, и составил обширное собрание его стихов, прозы и статей, среди которых были «Диалог старого и нового Канта» и «Опровержение Шопенгауэра и всех других мыслителей». Второе по значению собрание рукописей Добролюбова, включавшее его ранние тексты и черновые наброски, находилось в Петербурге у друга автора — философа Якова Эрлиха. С ним Брюсов связался через Коневского, тоже собиравшего тексты Добролюбова и вызвавшегося помочь в работе. Поначалу «брат Александр» запретил публиковать свои произведения, но в начале апреля 1899 года передумал и написал Иоанне Брюсовой из Архангельска, что разрешает издание. Валерий Яковлевич известил об этом Коневского (почему-то лишь через два месяца), однако Эрлих и после этого отказывался показать свои сокровища, видимо, ожидая личного подтверждения автора. Только к концу лета все вопросы были улажены. 2 сентября Коневской закончил статью для будущего издания «К исследованию личности Александра Добролюбова» (под этим заглавием скрывалось общеполитическое эссе о природе познания и творчества) и собрался в Москву (7).

На какие средства Брюсов намеревался издавать книгу, неизвестно (рассматривался вариант предварительной подписки). Неизвестно и то, как он подвигнул на это Полякова, — возможно, ссылками на близость Добролюбова к французским символистам, ценным меценатом, «у которого библиотека полна книгами “*Mercure de France*”».

Именно так Брюсов отрекомендовал его Коневскому в письме 19 ноября 1899 года. Замысел был откровенно провокационным: «Собрание стихов» молодого (23 года) автора объемом в 72 страницы выпускалось так, как издавали покойных классиков, — с примечаниями, описанием рукописей, сводкой вариантов и двумя вступительными статьями: первая — Коневского, вторая — «О русском стихосложении» Брюсова. 1 декабря рукопись прошла цензуру — первой из «скорпионовских».

В самом начале 1900 года, когда книга уже была в печати, в дело вмешался Георгий Добролюбов. Он сообщил Коневскому, что намерен заняться выпуском полного собрания сочинений старшего брата в трех томах — не для продажи, так как не желает предавать фамилию «поруганию», — и предложил ему и Брюсову войти в число редакторов вместе с Эрлихом, Квашниным-Самариным, Гиппиусом и поэтом Борисом Бером. В январе Коневский приехал в Москву вместе со своим другом Иваном Билибиным для осмотра старинных церквей, по которым их водил Валерий Яковлевич, и известил его об этом. Брюсов не собирался менять свои планы, но написал брату поэта. Одно или два письма затерялись, поэтому пик эпистолярного общения пришелся на апрель, когда «Собрание стихов» уже вышло. Георгий Михайлович остался доволен изданием и ничего более не предпринимал (8).

Критика, как и ожидалось, оказалась беспощадной к стихам Добролюбова и к статье Коневского — за «неудобопонимаемость». Заслуживает внимания замечание Шестакова о том, что «изданы “стихи” прекрасно [...] что книжка заключена в благородно простую обложку, как-то неуловимо напоминающую старые, умные книги, и что обложка эта, по нашему искреннему убеждению, оказывается самой художественной частью книги» (9).

Первая книга нового издательства — пьеса Ибсена «Когда мы, мертвые, проснемся» — появилась на прилавках в конце февраля 1900 года и была распродана за три недели. «Сьеста» Гамсуна и драмы д'Аннунцио имелись на складе еще в конце 1907 года, но следует помнить о разнице тиражей: от трехсот экземпляров Добролюбова до 2400 экземпляров д'Аннунцио и 3025 экземпляров первой книги альманаха «Северные цветы», которая оставалась нераспроданной до конца даже в ноябре 1917 года (10). «Скорпион» также взялся продавать декадентские книги прошлых лет: «*Natura naturata, natura naturans*» Добролюбова, «*Chefs*

d'œuvre», «Me eum esse» и «О искусстве» Брюсова, «Книгу раздумий», а также выпущенные в конце 1899 года на средства авторов «Мечты и думы» Коневского и «Одинокий труд» А. Березина (новый псевдоним Ланга).

Поляков сознавал, что «Скорпион» будет убыточным предприятием, возможности которого строго ограничены его личными средствами, поскольку на понимание и, тем более, на участие семьи рассчитывать не мог. Гонорары он платил небольшие, а порой не платил вовсе*, за что ему задним числом досталось от Бунина, но в саркастических строках последнего, помимо нелюбви к декадентам вообще, видна личная неприязнь бедного дворянина к богатому «купчику» (11). В то же время Поляков понимал важность миссии «Скорпиона», поэтому не экономил ни на оформлении, считая художников полноправными соавторами, ни на полиграфии, найдя единомышленника в лице Василия Воронова, в типографии которого напечатана большая часть продукции издательства. Только первые книги были традиционными по оформлению и печати, что вызвало нарекания эстета Философова: «Шрифт и бумага по-прежнему оставляют желать лучшего. Видно, что в “Скорпионе” мало любят книгу и ее внешний вид» (12).

Вскоре «скорпионовские» издания приобрели отличительные черты, которые делали их легко узнаваемыми и стали объектом подражания со стороны других модернистских издательств: бумага верже, большой, порой почти квадратный формат, широкие поля, мелкий, но очень четкий шрифт, ложный шмуцтитул, авантаитул с названием книги или фамилией автора (здесь Брюсов делал инскрипты), аннотированный каталог (нередко с отдельной пагинацией). Элегантность оформления сочеталась со строгостью: большинство книг «Скорпиона» имело шрифтовые обложки в одну или две краски, что отличало их как от более ранних декадентских книг («Natura

* В начале февраля 1902 года Брюсов писал Курсинскому: «При распределении гонорара за “Северные цветы” Ты не имелся в виду вовсе. Тебе известно, что “Северные цветы” дают *убыток* до 2000 р. При таких условиях я не вижу причин выражать притязание на гонорар. “Северные цветы” платят лишь тем лицам, чье имя может иметь влияние на сбыт альманаха: Мережковскому, Розанову, за исторические материалы (издательство приобретало оригиналы в собственность. — В.М.) и т.д. Всё, что я могу Тебе предложить, это получить свой гонорар экземплярами “Северных цветов”» (ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 352).

naturata, natura naturans» Добролюбова с обложкой Микешина или «В безбрежности» Бальмонта с обложкой Дурнова), так и от более поздних (продукция издательства «Гриф»). Повышенное внимание уделялось эстетике набора, о чем свидетельствует письмо Брюсова Сологубу, который полностью доверил ему подготовку к печати и издание своих стихов, отказавшись от чтения корректур: «Я позволяю себе только переставлять некоторые стихотворения и иногда (очень редко) разбивать на строфы [...] для красоты страниц. Иначе, если на левой и на правой странице стихи неравной длины или не соответствующие одно другому, получается неприятная кривизна, “косота”; мы этого очень избегаем в книгах стихов» (13).

Среди изданий осени 1900 года особое место занял сборник стихов Брюсова «Tertia vigilia» («Третья стража»*), подготовленный им к печати во время летнего пребывания в Ревеле. Старинный, полный памяти прошлого и в то же время по-современному комфортабельный европейский город понравился Валерию Яковлевичу, о чем он писал приятелям, старой подруге Марии Ширяевой и новой подруге Анне Шестеркиной (они сблизились зимой 1899/1900 года), порой используя один и тот же исходный текст: в эпистолярной практике молодого Брюсова случай не единственный (14). «Первую половину этого времени жили одни (с женой. — В.М.), ни с кем не знакомы, тихо, по-немецки. Утром я переводил “Энеиду”, после обеда мы читали, сидя в парке, вечером я писал автобиографию («Моя юность». — В.М.) — и так изо дня в день» (июнь-июль). Июль прошел в общении с приехавшим на отдых Бартеневым, который «тотчас нашел нам работу» по подготовке к печати писем московского почт-директора пушкинских времен А.Я. Булгакова к его брату К.Я. Булгакову, занимавшему аналогичную должность в Петербурге.

Брюсов переживал творческий подъем, о чем торжественно писал Самыгину: «Чувствую и сознаю свои силы. Ныне я не могу написать ничтожной вещи. Все равно — будь то статья, драма или поэма. Я буду в них полновластным творцом и буду говорить как учитель. Я мог бы наполнить сотни томов, если б хотел сказать все. Мне теперь дела нет до формы — до формы в самом широком смысле. Те-

* В сторожевой службе римских войск ночь делилась на четыре стражи (смены караула); третья приходилась на первые три часа после полуночи — самое глухое время ночи.

перь я воистину достиг того, о чем твердил с детства. [...] Я нашел свою высоту» (15). Результаты оказались скромными. «Мою юность» автор довел до романа с Лёлей и оборвал раз навсегда. К переводу и изучению «Энеиды» он возвращался неоднократно, но так и не завершил работу. В «Третьей страже» «Моя юность» и «Энеида» объявлены среди «готовящихся» вместе со сборником стихов «Согопа», переводом «Стихов о современности» Верхарна, «Историей русской лирики» и книгой прозы «Истины. Мои письма». Переводы из Верхарна под таким заглавием вышли только в 1906 году. Остальные замыслы остались в тетрадах и ожили только в публикациях «из наследия».

2

14 июня 1900 года цензура дозволила «Третью стражу» за исключением пяти стихотворений («Антихрист», «Рождество Христово», «Ламия», «Я люблю в глазах оплывших...» и «Астарта Сидонская») и отдельных строф поэмы «Аганатис». С помощью Юрия Бартенева, только что поступившего на службу в цензуру, почти все вычеркнутое удалось отстоять, за исключением «Астарты Сидонской» («Антихрист» получил название «Брань народов»). 12 августа новый вариант рукописи был разрешен. Сборник с подзаголовком «книга новых стихов» — первый за почти четыре года — вышел тиражом 600 экземпляров между 16 и 21 октября.

«Третья стража» отличалась столь же продуманной композицией, как и ее предшественницы. Книгу открывала очередная декларация: «Конечная цель искусства — выразить полноту души художника. Я полагаю, что задачи “нового искусства”, для объяснения которого построено столько теорий, — даровать творчеству полную свободу. Художник самовластен и в форме своих произведений, начиная с размера стиха, и во всем объеме их содержания, кончая своим взглядом на мир, на добро и зло». Особенно чеканной выглядела заключительная фраза: «Кумир Красоты столь же бездушен, как кумир Пользы». Сборник состоял из пяти разделов. Все структурные единицы имели посвящения, подчеркивавшие принадлежность автора к фаланге: «Любимцы веков» — Дурнову, «Царю северного полюса» — Коневскому, «Аганатис» — Березину (Лангу), «Сказание о разбойнике» — Полякову, «Город» — Бальмонту, «Книжка для

детей» * — Бахману, «Картинки Крыма и моря» — Бунину, «Повторения» — Балтрушайтису.

Особенностью сборника было то, что с оригинальными стихотворениями в нем чередовались переводные, общим числом девять. Подбор авторов был столь же многозначителен, как и фаланга адресатов посвящений: Гюго, Верхарн, д'Аннунцио, Верлен, Эверс, Тристан Клингзор и Тютчев (французские стихи). Переводы не выделялись в особый раздел, как это обычно делалось, но были вкраплены в живую ткань книги среди тех оригинальных стихотворений, которым они соответствовали: «Соломон» и «Орфей» Гюго — в «Любимцах веков», «Красная шапочка» Клингзора — в «Книжке для детей». Брюсовская новация, восходящая к «Русским символистам», где так же чередовались оригинальные и переводные тексты ради достижения общего эффекта, никем не была оценена, и автор вскоре отказался от нее (исключение — один перевод из д'Аннунцио в следующем сборнике «Urbi et orbi»**).

Подробный, вдумчивый, местами остро критический, а потому, полагаю, наиболее интересный автору разбор книги дал Коневской в письмах от 27—28 октября и 20 ноября 1900 года (16). Особо поблагодарив за посвящение, он выделил поэму «Царю Северного полюса» — квинтэссенцию брюсовского нордизма (17) — как «лучший образец Вашей поэзии». «Вам не удастся, — суммировал он, — тютчевско-фетовская “пейзажная” живопись. Ваше искусство проявляется лучше всего в героических, эротических или вполне мыслительных “раздумных” мотивах, а также в тех темах отчасти бытовых, отчасти молитвенных, которые Вы называли детскими. [...] Вам наиболее свойственна, конечно, деятельность самобытного воображения, страсти или умозрения: воображение же у Вас — или историческое, или тайнозрительное».

Сетую на отсутствие в сборнике «Демонов пыли», Коневской «отверг» (его выражение) такие вещи, как «Ассаргадон», «Клеопатра», «Дон Жуан», «Брань народов», «В дни запустений», «Проблеск», без которых сейчас невозможно представить Брюсова, а также наименее декадентские «Картинки Крыма и моря» и «опыты в древне-русском вкусе», включая «Сказание о разбойнике». Последнее сти-

* Кроме нескольких стихотворений в разделе не было ничего «детского», поэтому Бартенев просил переменить заглавие, заметив: «Сами можете видеть, что за ребята». А. Коневской счел его выставленным «ради блажи и баловства».

** «Граду и миру» (лат.).

хотворение и включенное в «Книгу раздумий» «На новый колокол» (позднее «Сборщик» в цикле «Песни») понравился Максиму Горькому, который откликнулся в «Нижегородском листке» на «Третью стражу» и «Горящие здания» Бальмонта. В целом его оценка была суровой, но не издевательской, что с неудовольствием отметили гонители декадентства. «Относясь к задачам поэзии более серьезно, — писал Горький, — Брюсов все же и теперь является пред читателями в одеждах странных и эксцентричных. [...] Стихи Брюсова читать трудно, они шероховаты, подавлены претенциозностью и не остаются в памяти» (18).

Реакция критики на «Третью стражу» отличалась и от глумления над «Русскими символистами» и первым изданием «Шедевров», и от замалчивания их второго издания и «*Me eum esse*». Ожидаемой была брань Якубовича в «Русском богатстве». Вспомнив про «бледные ноги» и заявив по поводу новой книги, что «в содержании — чуши и дичи не оберешься», он снисходительно признал за автором «некоторое поэтическое дарование» и выделил «Сказание о разбойнике», но заключил, что «поэзия г. Брюсова лишена всякого человеческого содержания» (19). Ожидаемым был доброжелательный объективизм Саводника: «В произведениях Брюсова замечается явное преобладание мысли. В основе всех его стихотворений лежит какая-либо идея, иногда глубокая, иногда парадоксальная. Брюсов поэт рефлексивный, но рефлексия его выражается не в сухих рассуждениях. [...] По характеру творчества он из русских поэтов ближе всего напоминает Баратынского» (20).

Неожиданной радостью стал отзыв Ясинского — сначала в виде краткой рецензии, потом большой статьи — которому Брюсов послал книгу и ультрадекадентское письмо со странными, при неблизком и сугубо литературном знакомстве, признаниями: «Боже, как хороши безумства и как редко я обретаю их. О, размерность, размерность. Мне хочется чего-нибудь совсем глупого и совсем некрасивого (не безобразного, а некрасивого). [...] Хочу преступлений, отравы, хоть болезни смертельной; уйти на богомолье, уехать не с женой в Каир, хоть детскости, хоть тупости. [...] Я в день прихожу на три свидания. Я вьвяв и заочно беседую с дьяволами» (21). Ясинский писал о Брюсове: «Его поэтические настроения почти всегда прекрасны и почти всегда странны, потому что новы. В каждом стихотворении его чувствуется эта звездостремительность, эта задумчивость о чем-то далеком, нездешнем и таинственном. Под этим мистическим

углом зрения самые обыденные предметы могут получить прелесть высшей жизни, озариться светом поэзии и начать жить тем огнем вдохновения, который заронило в них чутко трепетное сердце поэта», — не забыв отметить следование традициям Тютчева и верность национальным идеалам (22).

Иероним Иеронимович имел свой журнал «Ежемесячные сочинения» и пригласил в него Брюсова, которого оценил не только как поэта, но как литературоведа и критика — по острым выступлениям против писателя Ивана Щеглова, заявившего, что Баратынский был прототипом пушкинского Сальери (23). В обращении к подписчикам на 1901 год Ясинский заявлял: «Наш журнал стоит за неограниченную свободу слова, за торжество красоты в жизни и искусстве над безобразием и уродством, за преобладание и развитие высших сторон человеческого гения, за торжество духа над материей. [...] [Мы] даем в своем журнале только место тому, что умно и талантливо, к какой бы школе автор не причислял себя. Где свобода, там нет рамок, нет замков, нет цепей. Жизнь духа меркнет и гаснет от стеснений, налагаемых на него во имя тех или иных условий и преходящих соображений. [...] Все роды литературы хороши, если они талантливы» (24). Сходство этой декларации с предисловием к «Третьей страже» налицо, но одно дело, если это говорит декадент, другое — писатель из мейнстрима. В 1901 году Ясинский напечатал всего одно стихотворение и две небольших статьи Брюсова, но прорыв состоялся.

«1900 год, — подводил итоги Эллис десятилетие спустя, — год новой фазы брюсовского творчества, новой стадии в развитии русского символизма. С этого узлового пункта можно говорить о “русском символизме” как о движении, прорывшем себе русло, о новом содержании, нашедшем себе прочную форму. До этого года русский символизм был только неясным мерцанием, только смутным предчувствием предчувствий. [...] Начинается период дружного, широкого и открытого боевого выступления, с этого момента отдельные вспышки превращаются в общий пожар, новая школа вступает на путь широких завоеваний» (25).

3

Материальным воплощением «дружного, широкого и открытого боевого выступления» явился альманах «Северные цветы», замысел которого оформился осенью 1900 го-

да. Организующей и направляющей силой стал Брюсов. «Скорпионы» решили сделать respectable альманах, но заглавие, знакомое каждому знатоку литературы, в данном случае звучало вызывающе: *«Возобновляя после семидесятилетнего перерыва альманах “Северные цветы”*» (последний раз он был издан в пользу семьи Дельвига в 1832 году), — академическим тоном сообщало предисловие, написанное если не лично Брюсовым, то при его непосредственном участии, — мы надеемся сохранить и его предания. Мы желали бы стать вне существующих литературных партий, принимая в свой сборник все, где есть поэзия» (курсив мой. — В.М.). Соответственно, был составлен список предполагаемых авторов. Во-первых, выдающиеся поэты старшего поколения, которых символисты считали предшественниками, — Случевский и Фофанов. Во-вторых, молодые реалисты, с которыми можно было объединиться на почве неприятия мейнстрима, — Бунин и Горький (с ними приятельствовал Бальмонт), Леонид Андреев, Евгений Чirikов и редактор марксистского журнала «Жизнь» Владимир Поссе. В-третьих, ближайшие попутчики символизма по борьбе за «новое искусство» — Волынский и Розанов. За ними шла вся символистская фаланга, которую замыкали приятели Брюсова — Ланг, Курсинский и Криницкий.

Как же удалось собрать под одной крышей — обложкой — столь пеструю компанию? Случевский симпатизировал символистам, а его положение на русском Парнасе после выхода в 1898 году шеститомного собрания сочинений стало непоколебимым. Фофанов, относившийся к символистам насмешливо, а во хмелю не стеснявшийся резких выражений в их адрес, в 1900 году выпустил том стихов «Иллюзии», открывавшийся призывом «Ищите новые пути!..», но его звезда начала закатываться. Брюсов и Поляков, навестившие поэта в начале ноября 1900 года, застали его трезвым, грустным и без денег. «По поводу платы за стихи осведомился: не благотворительный ли альманах. Узнав, что нет, охотно отдал, не спрашивая, что и кто. Цену назначил 50 коп. (за строку. — В.М.), но мы ему дали больше», — записал Брюсов в дневнике.

Бунин, подписавший 31 августа 1900 года со «Скорпионом» договор на издание сборника стихов «Листопад» (вышел в конце января 1901 года), переживал медовый месяц отношений с символистами, которые омрачились отсутствием его имени в анонсах альманаха. Некоторая напряженность между ним и «скорпионами» возникла из-за отно-

шения к стихам Бунина, чего Иван Алексеевич не прощал. В инскрипте на «*Tertia vigilia*», датированном декабрем 1900 года, Брюсов приносил Бунину «благодарность, как поэту, за его стихи, за его осень, и утро, и море» (собрание Государственной публичной исторической библиотеки), однако в то же самое время в дневнике резко высказался о его поэзии (26). «За что, Валерий Яковлевич? Почему я исключен из “Северных цветов”? — вопрошал Бунин 5 февраля. — Что-то произошло между мной и вами или, вернее, между вами и мной. Прекрасно — это ваше дело — относиться ко мне так или иначе. Но неужели между нами ничего не осталось как между художниками? Я, вникнув в вашу книгу («Третья стража». — *В.М.*), за последнее время отношусь к вам как к поэту с еще бóльшим уважением, чем прежде; вы знаете также, что ко всем вам я питаю очень большое расположение как к товарищам, к немногим товарищам дорогим мне по настроениям и единомыслию во многом». Недоразумение быстро разрешилось: деловитый Брюсов напомнил обидчивому Бунину, что его приглашали, а он ничего не ответил, и сообщил, что место в альманахе еще есть. Тот не стал важничать и послал рассказ «Поздней ночью» (27). Бунин не зря запрещал печатать свои письма — они опровергали те легенды, которые он слагал о себе и других, исключая возможность того, что их автор когда-то мог проситься в декадентский альманах.

Окончательный разрыв произошел осенью 1901 года: «Скорпион» не взял ничего из предложенных Буниным книг, включая сборник стихов, а Брюсов резко сказал, «что все его писания ни на что не нужны, главное скучны» (сентябрь 1901), занеся эти слова в дневник. Это окончательно толкнуло Бунина в лагерь реалистов-«знаньевцев», причем личные мотивы только усилили литературные разногласия. Брюсов несколько раз хлестко писал о бывшем приятеле, особенно в рецензии на «Новые стихотворения» (1902), предлагавшиеся «Скорпиону». В 1910 году формальные отношения были восстановлены, но обида осталась. Бунин не простил отсутствия Брюсова на праздновании 25-летия своей литературной деятельности 28 октября 1912 года, что не компенсировалось ни избранием юбиляра в почетные члены Литературно-художественного кружка, ни оглашением официального приветствия, написанного Брюсовым как председателем дирекции Кружка, ни его личной телеграммой, хотя в обоих текстах подчеркивался поэтический дар чествуемого (28).

Через две недели после юбилея Бунин сообщил Н.А. Котляревскому мнение московских академиков (П.Д. Боборыкина, А.Н. Веселовского и свое) о кандидатах на три вакантных места по Разряду изящной словесности Академии наук: единогласно поддержаны Мережковский, Андреев и Куприн (запасной вариант — Вересаев). Иван Алексеевич также предложил драматурга и театрального деятеля князя А.И. Сумбатова (Южина) и решительно высказался против Брюсова: «Несмотря на его работоспособность, против него выдвигают то возражение, что он “глава” так называемых модернистов, многим вредивших русской литературе. Избрание Брюсова было бы официальным признанием этого течения» (29). Бунин как будто забыл, что дверь в Академию ему приоткрыли именно модернисты, издавшие «Листопад», который Академия позже увенчала Пушкинской премией. Окончательным расчетом с декадентами должна была стать лекция или статья о Брюсове, над которой он работал в 1915–1916 годах (30). Это выступление не состоялось, но его мотивы видны в высказываниях Бунина периода эмиграции, где личная и литературная вражда дополнилась политической.

Горький, с которым Брюсова в конце сентября 1900 года познакомил Бунин, охотно откликнулся на приглашение в «Северные цветы». Первые впечатления друг о друге были положительными. По просьбе нового знакомого Валерий Яковлевич подарил ему «Третью стражу», написав: «Максиму Горькому, сильному и свободному, жадно любящий его творчество Валерий Брюсов» (31). Горький, знакомый с творчеством Брюсова, скорее всего, только по газетам, прочитал книгу и откликнулся на нее в «Нижегородском листке» (Брюсов был рад серьезному отклику знаменитого писателя), а затем, как бы извиняясь, писал автору: «Заметка — глупая, говоря по совести. А вы — лучше ваших стихов. [...] Вы производите чрезвычайно крепкое впечатление. Есть что-то в вас — уверенное, здоровое». Горький обещал «скорпионам» рассказ, но, увлеченный борьбой против отдачи в солдаты участников студенческих волнений, не выполнил обещания — к неудовольствию Брюсова как редактора и Полякова как издателя — о чем и сам жалел: «Ваш первый альманах выйдет без меня. Искренне говорю — мне это обидно. Почему? А — извините за откровенность — потому что вы в литературе — отверженные и выходить с вами мне приличествует. И публику это разозлило бы. А хорошо злить публику» (32).

Несостоявшееся участие Горького, Андреева (сослался на болезнь) и Чирикова (причины неизвестны) подвигло Бунина, бывшего посредником между реалистами и «скорпионами», на решительный шаг: он пригласил в альманах Чехова, на что издатели не надеялись. Антон Павлович дал рассказ «Ночью» (новая редакция раннего рассказа «В море»), что Брюсов в письме к Перцову 1 марта 1901 года назвал «важной и радостной новостью» (33). В результате Чехов остался недоволен использованием своего имени в рекламных целях и самим альманахом, особенно после язвительных замечаний критики о его участии в «компании юродивых и шарлатанов» в качестве «знаменитого писателя» (34). «Дал себе клятву больше уж никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами», — писал он Бунину 14 марта 1901 года (35) и отказался даже говорить с Брюсовым и Поляковым об участии во втором выпуске.

В отличие от Горького, Брюсов не имел намерения злить публику, хотя и позволил себе немного похулиганить. В начале октября 1900 года, после премьеры в Малом театре пьесы Петра Боборыкина «Накипь» — отчасти направленной против декадентов — писатель Лев Жданов собирал мнения декадентов о ней для газеты «Русский листок». «Я было принял его очень надменно и стал ломаться, *изображая “Валерия Брюсова”* (курсив мой. — В.М.), но оказалось, что он больше, нежели я думал. Показываю ему Верхарна — “а, знаю — говорит — бельгийский поэт”. Показываю Агриппу (Неттесгеймского. — В.М.) — начинает читать по-латыни. Увидел “*Parnaso italiano*”^{*} и заговорил со мной по-итальянски. Я был смущен» (октябрь 1900). Брюсов уже пять лет не давал интервью и воспользовался подвернувшейся возможностью, чтобы развить свои взгляды на искусство в целом, но Жданов направил беседу в нужное русло. Пришлось ответить на главный вопрос — о пьесе: «Не видал и не пойду смотреть. [...] Зная содержание и метод, бесполезно читать самую книгу. Я знаю боборыкинские писания, знаю, что он хотел изобразить в “Накипи”. После этого я мог бы написать эту “Накипь” по-боборыкински лучше самого автора. Зачем же я буду ее читать, а тем более тратить на нее целый вечер в театре?» Ответ образца 1895 года не помешал Брюсову начать сотрудничать в «Русском листке», а Жданову — дать стихи в «Северные цветы».

В начале ноября Брюсов и Поляков отправились в Пе-

^{*} «Итальянский Парнас» (ит.).

тербург собирать материал для альманаха. Один из первых визитов был к Мережковским. «Встретили нас, как скупщиков, любезно донельзя, — иронизировал Брюсов в сводной записи о поездке. — [...] Сергей Александрович запросил Зинаиду Николаевну о рассказах. Она протянула:

— А что альманах бла-а-творительный?

— Нет.

— И там го-но-ра-ры платят?

— Да, и хорошие.

— Слышишь, Дмитрий, там гонорары платят.

Зиночка дала две вещи». С Дмитрием Сергеевичем договориться не удалось.

Сологуб принял гостей «весело, но говорит, что печататься ему негде, а издать свои стихи — денег нет». Конечно, альманаху он обрадовался. Коневской кроме стихов отдал в «Северные цветы» памфлет «Об отпевании новой русской поэзии» по поводу статьи Гиппиус «Критика любви». В ней Зинаида Николаевна отрешивалась от «больного» «декадентства», противопоставляя ему «идеализм» и «символизм» как «здоровые» явления. Статья метила в Добролюбова как «самого неприятного, досадного, комичного стихотворца последнего десятилетия»; досталось и Коневскому за «мучительное» и «уродливое» предисловие к «Собранию стихов» (36). Против публикации ответа Коневского Гиппиус не возражала. Минский вручил альманашикам сонет, выброшенный цензурой из его новой книги, но «скорпионы» отвергли такое приношение. Вл. Гиппиус согласился появиться в печати лишь как «Владимир Г-ъ» и при условии, оглашенном Брюсову в письме от 5 января 1901 года, что «сборник не будет иметь ни в каком отношении никакого направления, кроме хорошего литературного тона». «Русская Сафо» Мирра Лохвицкая, не имевшая недостатка в предложениях от издателей, осталась равнодушной к «скупщикам», но стихи дала. Брюсов был представлен в альманахе циклом «Осенние стихи», отрывками из поэмы «Замкнутые» и статьями «Истины. (Начала и намеки)», продолжавшей «О искусстве» и развивавшей теорию о множественности истин.

Предметом особой заботы Брюсова стал исторический раздел альманаха. Работа в «Русском архиве» привила ему вкус не только к изучению и публикации документов, но и к их собиранию, когда позволяли средства. К сожалению, судьба его коллекции, в которой были автографы Пушкина и Гоголя, неизвестна (в 1930-е годы она еще находилась

у И.М. Брюсовой) (37). Весной 1900 года он сблизился с пушкинистом Владимиром Каллашем («у него прекрасная библиотека», отметил Брюсов в дневнике) и с антикваром Николем Черногубовым, почитателем Фета и владельцем части его архива. «Скорпион» купил у Черногубова — Брюсов отбирал, Поляков платил — много ценных документов, которые были напечатаны в «Северных цветах» и в книге «Письма Пушкина и к Пушкину» под редакцией Брюсова (1903). В их числе — неизданные стихи Фета, Полонского и Каролины Павловой, письма и записки Пушкина, Тютчева, Тургенева, Некрасова, Вл. Соловьева и Урусова. Добавлю, что в 1903 году «Скорпион» выпустил книгу Николая Лернера «А.С. Пушкин. Труды и дни», в которую Брюсов с согласия автора внес много дополнений. Лернер писал ему почтительные письма и одновременно публиковал против него грубые памфлеты. Отношения были разорваны в 1912 году после участия Брюсова в полемике Лернера и П.Е. Щеголева на стороне последнего, после чего Лернер публично бранил Брюсова уже без всякого стеснения (38).

Пятого апреля 1901 года альманах был представлен в цензуру уже отпечатанным — как издание объемом более 10 листов (правило распространялось на книги одного автора; для альманахов и сборников необходимый объем составлял 20 листов, но Брюсов добился послабления — видимо, с помощью Ю.П. Бартенева). Некоторые сомнения у Московского цензурного комитета возбудили драма Гиппиус «Святая кровь» (ранее отвергнутая «Жизнью» и «Миром искусства», как с неудовольствием отметил Брюсов), «Заметки на полях непрочитанной книги» Розанова (их не напечатал даже его друг Перцов), записные книжки Урусова (революционные «грехи молодости») и... «безнравственный» рассказ Чехова. Вопрос был передан на рассмотрение Главного управления по делам печати, но у того возражений не возникло. В середине апреля альманах поступил в продажу.

С каждым новым выпуском «Северных цветов» (всего их было пять — 1901, 1902, 1903, 1905 и 1911 годов; первые три переизданы в 1905 году в одной книге с общим указателем авторов) усиливалась тенденция к построению фаланги. Случайные авторы если и попадали в альманах, то из модернистского круга, вроде Дмитрия Фридберга, называвшего себя «Ландыш». Дружески откликаясь в «Мире искусства» на второй выпуск, в предисловии к которому редакция снова провозгласила «отсутствие всякой партийности в выборе материала», Философов недоумевал,

почему публикуемая там критика «нешадно разносит сотрудников альманаха», поскольку «помещение подобных самобичеваний [...] просто непрактично». «Издатели его должны, не вмешиваясь в борьбу партий, не отдавая особого предпочтения никому из своих сотрудников, спокойно, из году в год, давать публике образцы современного художественного творчества. Со временем все будет взвешено и смерено» (39).

Обложка работы Константина Сомова не понравилась Философову: «слишком сладка и манерна». К следующему выпуску был привлечен другой «мирискусник» Лев Бакст. В конце марта 1903 года он выслал Брюсову обложку с подробнейшими указаниями относительно печати, но ее не пропустила цензура, сочтя чересчур эротической (40). Не украсил рисунок Бакста и «Собрание стихов» Гиппиус, выпуску которого «Скорпион» придавал большое значение. «Маленький скандал вышел из-за обложки к стихотворениям Зиновки Мережковской, — объяснил художник. — Она и муж просили издателя, Брюсова, взглянуть на обложку до ее печати. Брюсов же им написал в грубых выражениях письмо (такое письмо неизвестно — В.М.), что он поручил обложку мне и что он меня считает таким художником, что может закрывши глаза доверять все, что мне вздумается нарисовать. Мережковский обиделся, сославшись на любопытство только, а не на поверку. А суть в том, что Зиновка просто хотела развести антимирию, разглядывать свой профиль, советовать мне всякий вздор и прочее. Я же решил ее, Зиновку, вовсе не рисовать, сделать просто голую девицу (античную), и ту не поспел к сроку, послал ему, Брюсову, телеграмму, что отказываюсь» (41). Дружескому общению редактора и художника это не помешало.

Сосуществование символистов и реалистов, объединившихся вокруг товарищества «Знание» и его сборников (издавались с 1904 года), оказалось недолгим и сменилось ожесточенной полемикой. Предисловие к третьей книге извещало: «Наш альманах иной, чем два первые. Он более “единогласен”, более однороден по внутреннему составу. В нем ряд новых имен и нет кое-кого из прежних спутников. Мы рады этим новым. В них новая молодость, новая бодрость, сила». Вышедшие в 1905 году «Северные цветы Ассирийские» в стилизованной обложке Николая Феофилактова были однородно символистским альманахом и воспринимались как парное издание к журналу «Весы»,

который на протяжении первых двух лет существования не публиковал художественных произведений.

Отклики на первую книгу «Северных цветов» были разнообразными, но предсказуемыми. Буренин не придумал ничего нового: «Все эти господа, кажется, заболели недавно, но очевидно “готовы” совершенно и едва ли даже излечимы — и кроткие, и буйные. Я сужу так по примеру Валерия Брюсова» (42). Эти «цветы» «хуже всякого репейника, всякого чертополоха», — просвещал читателей харьковский «Южный край», вопрошая: «Как вы думаете — если бы в обществе кто-нибудь заговорил вот такими словесами, упрятали бы его в сумасшедший дом или нет?» (43). «Бледные ноги» рецензент, между прочим, приписал Добролюбову, которого родственники в 1899 году, действительно, упрятали в сумасшедший дом, но не за стихи. Ясинский хвалил за освобождение от «шелухи напускного декадентства» (44). «Новый альманах [...] пытается воскресить лучшие традиции альманахов Пушкинской эпохи», — утверждал в консервативном «Русском вестнике» аноним, за которым можно предположить Саводника (45). Анонимную хвалебную рецензию поместила московская газета «Русский листок» (46). Здесь, вероятно, не обошлось без самого Валерия Яковлевича.

Долгое время сотрудничество Брюсова в «Русском листке» (1901–1904) оценивалось только негативно: «Газета, издававшаяся реакционным публицистом Н.Л. Казецким в монархическо-охранительном духе, была ориентирована на невзыскательного читателя, в основном из мещанских кругов» (47). Это суждение восходит к автобиографии Брюсова, назвавшего газету «правой» и «бульварной» и как бы извинявшегося за участие в ней: «Выбора у меня не было, я устал “публично молчать” в течение более чем пяти лет и рад был даже в бульварном листке высказать свои взгляды». Немаловажным было и то, что ни один из журналов не платил ему гонораров, кроме английского «The Athenaeum», для которого Брюсов с 1901 года в течение пяти лет писал ежегодные обзоры русской литературы (эту работу ему передал Бальмонт) (48). Как ни оценивать репутацию «Русского листка», публикации Брюсова в этой газете, особенно многочисленные в 1902–1903 годы, заслуживают внимания.

В чем важность этого эпизода для биографии Валерия Яковлевича? Он пользовался в газете большой степенью свободы: единомышленников у него в редакции не было,

но не было и идейных противников. Не претендуя на освещение политических и прочих принципиальных вопросов, но и не расходясь с генеральной линией, он свободно печатал здесь стихи, прозу и переводы, став, бесспорно, самой крупной литературной фигурой за всю историю газеты. Можно по-разному оценивать святочные и новогодние стихи и рассказы Брюсова, но переводы из Верлена, Метерлинка, Роденбаха, Мореаса, Ницше и информативные заметки о них вряд ли предназначались «невзыскательному читателю». Это же относится к статьям о восприятии русской литературы за границей («Немцы о наших писателях», «Француженка о русской интеллигенции»), о необходимости отечественной научно-популярной литературы («Переводная наука»), о возможности учебника поэзии («Школа и поэзия»), к отчетам об общественной и культурной жизни Петербурга. Немалый интерес представляют путевые заметки Брюсова об Италии (1902) и Франции (1903). В «Русском листке» он прошел хорошую школу практической журналистики, вплоть до хроники и скрытой рекламы (статья «П.И. Бартенев как издатель»). Именно этот опыт пригодился ему в «Весах», особенно в первые годы существования журнала.

Литературные дела занимали большую часть жизни Валерия Яковлевича, но лето 1901 года оказалось богато переживаниями личного характера. В начале июля он писал Бунину: «Моя жизнь за последние месяцы — безумие. Я вырываюсь из рук сумасшедших, чтобы бежать к бесноватым. Я прошел над всеми безднами духа, достигая до крайних пределов любви и страдания. Каждое чувство, каждая мысль мне мучительны теперь, но моему пути еще не конец». Неотправленный вариант письма звучит более исповедально и в то же время более «декадентски»: «Я на распутье и в жизни и в душе. О жизни не интересно. А о душе вы знаете. Мне дано искушение, которого я не ожидал. Передо мной открыта торная дорога, и я уже сделал по ней немало шагов. Еще чуть-чуть опустить голову, еще чуть-чуть подладиться под чужой голос, ах, как все станет тогда просто. Но менее всего я хочу быть сейчас самым собой. Мой облик мне сейчас самое ненавистное. Моя первая задача — убить себя и растоптать свое тело. Если мне осталась надежда, то только в смерти» (49).

О чем идет речь? Почему столь интимные признания адресованы человеку, который не близок и даже не слишком симпатичен автору? Почему ничего подобного нет в

почти ежедневных письмах возлюбленной Анне Александровне Шестеркиной, жене художника-декадента Михаила Шестеркина, или, по крайней мере, в их опубликованной части (50)? Что это — высшая мера доверия, приступ минутной откровенности или декадентский эпатаж?

Фоном было семейное пребывание на даче в Петровском-Разумовском, откуда Валерий Яковлевич ездил в Москву для занятий в «Русском архиве». Иоанна Матвеевна ждала первого ребенка, но в конце июля тот родился мертвым, и она долго болела*. Младшая сестра Евгения Яковлевна вышла замуж за Б.В. Калюжного, которого Брюсов в письме к Шестеркиной почему-то обозвал «негодяем, идиотом и павианом» (51). С самой Анной Александровной он летом не встречался; их отношения вошли в активную фазу осенью 1901 года, но постепенно охладились с рождением у Шестеркиной в следующем июне дочери Нины (52). Брюсов был ее отцом: этот факт никогда официально не признавался, но был известен многим, включая жену поэта. По словам Иоанны Матвеевны, Нина Шестеркина, которую она видела на елке в «Обществе свободной эстетики», выглядела как «Валерий Яковлевич, только маленький и в платице», а Маяковский назвал ее «полтинник чеканки императора Валерия» (53).

Некоторое время Брюсов присылал девочке подарки, но упорно не мог запомнить, как зовут старших детей Шестеркиной. «Вы посмотрите нашу Нину», — писала она ему 17 июня 1914 года, приглашая на день рождения дочери. Затем переписка оборвалась на восемь лет. В 1922 году Анна Александровна снова написала Валерию Яковлевичу, после чего следы матери и дочери окончательно теряются. Публикатор писем Брюсова отметил, что «поэт, как правило, избегает говорить в письмах о своем отношении к Анне Александровне, обращается к ней всегда на “вы”». Ее письма, наоборот — непрерывные признания в горячей, беззаветной любви, которая наполняет всю ее жизнь, не оставляя места ни для чего другого» (54). В начале 1910-х годов Шестеркина — едва ли осознанно — сыграла трагическую роль в жизни бывшего возлюбленного (об этом позже). В «Роковом ряду» он вспомнил ее под именем «Таня» — по

* Второй раз И.М. Брюсова родила мертвого ребенка 9 марта 1904 года, о чем Брюсов сообщил Волошину: «У нас дома маленькое и обыкновенное, но для близких всегда трагическое событие. Мне, как “Валерию Брюсову”, вероятно, не идет быть отцом, и вторично у нас родился ребенок — мертвым» (ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 324).

созвучию с «Аней».

Слова об «искушении» в письме к Бунину, видимо, относились к приезду в Петровское-Разумовское 24 июня младшей сестры Иоанны Матвеевны Марии Рунт, с которой Валерий Яковлевич «согрешил» («моя Мари» одного из «дон-жуанских списков»). «Жена ревновала меня к своей сестре», — кратко сообщил он Шестеркиной 18 июля (55), после второго приезда Марии. Связь была недолгой, течения жизни семьи Брюсовых не нарушила, но некая тайна между ними осталась. Валерий Яковлевич прибегал к помощи свояченицы для улаживания конфликтов с женой из-за его увлечений. «Жанна на меня что-то очень сердится, — писал он ей в конце 1902 года. — Подите к ней. Успокойте ее. Уверьте ее, что я ее очень люблю. Ведь оно так и есть. Она мне жена, самая настоящая, самая желанная, и иной я не хочу на всю жизнь. Вы мне брались быть другом. Будьте. [...] Я никогда, например, не сказал бы ей (и не говорил) о том вечере, на берегу озера в Петр[овско]-Раз[умовском], не сказал бы о том, как всегда, когда я вижу Вас, мне хочется Вас ласкать, — потому не сказал бы, что это из души, из сердца, что в этом есть обида ей, есть измена» (56). Память о случившемся — написанный тогда же, но опубликованный лишь через тринадцать лет цикл «Эпизод»:

Зачем твое имя Мария,
Любимое имя мое?
Любовь — огневая стихия,
Но ты увлекаешь в нее.

Только ли мне чудится двусмысленность в адресованном ей инскрипте Брюсова 1906 года на «Венке»: «воспоминание встречи / благодарность за любовь / к моему творчеству» (собрание В.Э. Молодякова)...

Подлинной трагедией для Брюсова стала гибель Коневского в возрасте двадцати трех лет: 8 июля 1901 года он утонул в реке Аа близ Риги. «Это хуже всех моих семейных бедствий, это жесточе всего, что я пережил за лето. [...] Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит. [...] Я без Ореуса уже половина меня самого» (57). Два столь разных, но близких Брюсову человека — сестра Надежда и возлюбленная Нина Петровская — утверждали, что после смерти Коневского настоящих друзей у него больше не было (58).

Глава восьмая
«ГРАДУ И МИРУ»

1

В «Скорпионе» Брюсов нашел достойное применение своим силам: «К редакторской работе и к типографским делам относился Валерий Яковлевич, как дети к самой любимой игре» (1), — но не переставал мечтать о журнале, как и его собратья. «Меня тревожил и манил, — вспоминал Перцов, — призрак “своего”, новаторского журнала. Тот же призрак реял, само собою разумеется, перед духовным взором Мережковского и других “литературных изгнанников”, к числу которых принадлежали тогда все крупные и мелкие будущие светила едва возникавшего символизма. Еще в 1895 году мы с Мережковским составили проект издания небольшого, ежемесячного, чисто литературного журнала, листов на десять в книжке, — по образцу “*Mercure de France*” и тому подобных заграничных изданий. Этот тип был тогда, да так и остался, чуждым русской журналистике: политические интересы и все возрастающая политическая борьба настолько захватывали общественное внимание, что его уже не оставалось в достаточной степени на долю литературно-художественных и философских тем. [...] Журнал предполагавшегося нами типа был заранее обречен на сравнительно узкий круг читателей, а следовательно, и материальную необеспеченность. Это последнее обстоятельство разрушало все наши планы» (2).

«Северный вестник» прекратился в 1898 году из-за цензурных и финансовых трудностей, но еще раньше его «диктатор» Волынский разошелся с символистами. «Знамя братьев Облеуховых оказалось эфемерным предприятием. В журналы «с направлением», печатавшие Мережковского («Начало») и Бальмонта («Жизнь»), путь декаденту Брюсову был закрыт. Надежду подал Николай Филиппов, сын знаменитого московского булочника: в декабре 1900 года он известил Валерия Яковлевича, что намерен издавать журнал «Вега», и предложил вести в нем художественный отдел. «Я, конечно, удивляюсь, но соглашаюсь, — сообщил Брюсов Перцову. — Начинаю посещать редакционные субботы. Люди всё какие-то неведомые, юные, но при внимательном всматривании любопытные. *Не декаденты*. [...] Дела начнутся с осени; пока беседуют и пьют, кто скочи ви-

ски, кто греческую мастику» (3). Видимо, к этому времени относится записка Филиппова Брюсову: «Мне кажется, что нечто роковое мешает нашим переговорам. Против ненависти высших сил едва ли мы будем в состоянии идти. Попробуйте последний раз! И если наше свидание сегодня не удастся, то придется покориться и считать наш союз с вами невозможным, как бы он ни был желателен для нас» (4). Журнал не состоялся, а сын булочника исчез из литературы, напомнив о себе лишь в 1918 году анонимно изданным томом причудливых стихов «Мой дар».

Первыми литературными журналами, приютившими Валерия Яковлевича, стали «Ежемесячные сочинения» и «Беседа» Ясинского. Права голоса он в них не имел — Ясинский делал журналы в одиночку — но дорожил своим сотрудничеством с ними и добрым отношением редактора к декадентским стихам. «Благодарю за память обо мне, — писал Брюсов Иерониму Иеронимовичу 24 сентября 1903 года. — “Образ” (перевод стихотворения Г. д’Аннунцио. — *В.М.*) не был напечатан нигде, но входит в книгу моих стихов, которая появится в октябре («Urbi et orbi». — *В.М.*). [...] Сейчас, сегодня, у меня нет стихов, чтобы предложить Вам: я все включил в свою книгу. Но первые рифмы и размеры, которые сложатся у меня, будут Ваши, обещаю их Вам» (5). Обещание он сдержал: новые стихи появились уже в январском номере «Беседы» за 1904 год.

Не стал своим для него и «Мир искусства» — «цвет тончайшей культуры — настоящая “Александрия” ума, вкуса и знаний — и, вместе, творческий порыв к общественному выражению этих данных», по характеристике Перцова, пояснившего: «Нужно признать, что литературная сторона была в сущности не нужна журналу, прямой задачей которого, весьма успешно им достигавшейся, было реформирование пластических искусств». «Мир искусства» печатал таких разных авторов, как Соловьев и Розанов, молодой философ Лев Шестов и признанный поэт и эссеист Сергей Андреевский, но осуждал крайности декадентства. Поворот наметился только в 1901 году, когда он открыл свои страницы Брюсову, поместив заказанный Дягилевым ответ на статью Андреевского «Вырождение рифмы» (№ 5) и «Мудрое дитя» (№ 8/9) — некролог Коневского, к которому при жизни редакция не благоволила. Дальнейшее сотрудничество не удалось из-за внутривредакционных разногласий, о которых Мережковский в декабре 1901 года говорил Брюсову: «...литературный отдел уже явно религиозный, а

Глубокоуважаемый
Иероним Иеронимович!

Благодарю за посылку обо мнѣ. "Образъ"
не был напечатанъ нигдѣ, но входитъ
в книгу моихъ стиховъ, которая выйдетъ
в октябрѣ. Не была напечатана и статья
"Оклеветанный стихъ". Я особенно радъ, что
Вы ее разпечатали, такъ какъ именно ее
яе хотѣлъ возстановить для Васъ, да ужъ
очень трудно дѣлать вторично одесную
оттѣлку. — Сейчас, сейчасъ, у меня нѣтъ
стиховъ, чтобы предложить Вамъ: я все
включилъ в свою книгу. Но первый рядъ
и разлѣты, которые находятся у меня, будутъ

Ваши, обычно изъ Васъ.

"Вестю" я получаю только, но вотъ
сентябрь Греческаго Союзника еще не пришелъ
до меня.

Средство уважающій и преданный
Валерій Брюсовъ.

24 сент. 903. Моск. Увѣтливый 24.

Письмо Валерія Брюсова Иерониму Ясинскому.
24 сентября 1903. Собрание В. Э. Молодякова

художественный еще чисто эстетический». Валерий Яковлевич опубликовал там несколько статей, принципиально важных как для него самого, так и для «нового искусства» в целом: «Ненужная правда. (По поводу Московского художественного театра)» (1902, № 4), «Искусство или жизнь (К 10-летию со дня смерти Фета)» (1903, № 1/2) (6) и «Бальмонт» (1903, № 7/8) — о книге «Будем как солнце».

Пятого декабря 1901 года Мережковские приехали в Москву. Формальной целью было выступление Дмитрия Сергеевича с докладом о Толстом в Психологическом обществе. Брюсов через Юрия Бартенева хлопотал о разрешении (7), поскольку цензура — после вынесенного в феврале 1901 года Святейшим Синодом определения об отпадении Толстого от церкви — стала запрещать публичное чтение ранее дозволенных к печати текстов. Петербуржцы хотели наладить контакт со «скорпионами» и взять реванш перед московской публикой после нашумевших лекций Акима Волинского, с которым находились в острой вражде. Валерию Яковлевичу пришлось проявить осторожность, поскольку он, не сообщив Мережковским, взял у критика для «Северных цветов» статью «Современная русская поэзия» и согласился стать московским обозревателем газеты «Ежедневник» под фактической редакцией Волинского (8).

Брюсов точно и выразительно описал эти события в дневнике, записи в котором делались теперь не чаще одного-двух раз в месяц. «Памятуя бывшие насмешки и поношения, с какими они встречали меня, я был осторожен, — но, напротив, гг. Мережковские были более чем любезны, наперерыв славил мои стихи, читали свои, спорили, просили советов». Прочитанный Мережковским 8 декабря под названием «Русская культура и религия» доклад успеха не имел: Москва не приняла и не поняла его религиозные идеи. Гостю возражали математик и философ Николай Бугаев (отец Андрея Белого), историк Владимир Герье и публицист-славянофил Сергей Шарапов. «Члены Психологического Общества были почти все. Доклада не понял никто. Во время антракта все жаловались, что в докладе нет складу. [...] Спор вышел совсем нелепым, ибо говорили на разных языках», — резюмировал Брюсов, назвав общий ужин собравшихся «нелепейшим». «Сочетание было единственное, которому, конечно, не суждено повториться никогда более во всемирной истории, — иронизировал он в письме Перцову. — Я как художник упивался зрелищем» (9).

Мережковские привыкли не столько слушать, сколько говорить. «С первых встреч “ошарашали” они нас своим христианством. [...] Надо признать, — записал Брюсов их слова, — что Христос есть высшая индивидуальность и высшая объективность. Все прошлое мира было для него, стало быть, он вместил все бывшее в себе, и вместе с тем он высшая личность. Надо или признать Христа мессией и тогда стать христианином, или не признать, но тотчас объявить себя самого мессией. [...] Дмитрий Сергеевич вопиял против красоты, против декадентов». Тем не менее «прощались трогательно, чуть ли не со слезами, уговорились издать их стихи».

Главным делом Мережковских стали Религиозно-философские собрания «лиц светского и духовного образования в целях живого обмена мыслей по вопросам веры в историческом, философском и общественном освещении» (10), иными словами — попытка диалога христианской интеллигенции с официальной церковью. В начале октября 1901 года они, при поддержке Розанова, Философова, издателя Виктора Миролюбова и синодального чиновника Валентина Тернавцева, добились от обер-прокурора Святейшего Синода Константина Победоносцева и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Антония (Вадковского) разрешения на проведение таких собраний. Председателем стал ректор Духовной академии епископ Финляндский Сергей (Страгородский), а среди участников выделялись Перцов, Минский, публицист Михаил Меньшиков и доцент Духовной академии Антон Карташев. Особое значение Мережковские придавали публикации протоколов собраний, а потому хлопотали о разрешении журнала «Новый путь», целью которого было «доказать, что “религия” и “реакция” еще не синонимы».

Собрания не слишком интересовали Брюсова, но журнал не мог оставить его равнодушным. В начале февраля 1902 года он отправился в Петербург, где встретился со Случевским, Дягилевым, Ясинским, Розановым, Сологубом, Ореусом-отцом («Скорпион» решил издать собрание сочинений Коневского). Наиболее важными были беседы с Мережковскими и Перцовым. Побывал он и на Религиозно-философском собрании: «Большинство пришло сюда как на спектакль. Спорили о богословских вопросах, как в Византии. Модно. Я постигаю смак этого». Мережковский спросил Брюсова в упор, верует ли тот во Христа. «Когда вопрос поставлен так резко, я отвечал — нет. Он пришел в отчаяние».

Вопрос был задан неспроста: ему предшествовала интенсивная переписка между Гиппиус и Брюсовым: письма последнего сохранились только в черновиках, а в них он был более откровенен, чем в отправленных текстах (11). Мережковские испытывали его: «Я говорила как с “сотанинником” с вами», — писала Зинаида Николаевна 24 декабря 1901 года, вопрошая: «Отчего у вас так много страха в душе? [...] Бойтесь “Спасителя мира”, потому что вдруг окажется, что Атлантида не для вас опустилась на дно, а для него». Это ответ на тезис Брюсова: «Если Христос — то спаситель мира, а не один из великих посвященных. [...] Христос как завершитель всех веков, что до него, и начало всего, что после. А я не могу принять, что и Атлантида, опустившаяся на дно океана, была для него же». «Мои слова не убедят вас, — сокрушалась Гиппиус 11 января 1902 года, — ничего не дадут вам теперь; но я надеюсь на вашу душу».

В начале марта Брюсов снова попытался объяснить Гиппиус разницу их позиций: «От моих взглядов гораздо ближе, чем от всяких других, к вашему: искусство должно стать религиозным. Я, пожалуй, мог бы даже принять эту формулу. Только это было бы “нечестно”, ибо я под *религиозным* разумел бы иное, чем вы. Вы не отличаете религии от христианства. [...] Я же не только не могу мыслить так, но даже не могу ясно вообразить, как *так* мыслить. То есть как свои убеждения считать непреложными, и последними, и по существу истинными». Мережковские требовали не просто ответа на вопрос «Како веруешь?», но полного согласия. Брюсов не только не разделял их убеждений, но и не собирался терпеть посягательства на свою духовную свободу. Об этом — стихотворение, написанное в декабре 1901 года и адресованное Зинаиде Николаевне:

Неколебимой истине
Не верю я давно,
И все моря, все пристани
Люблю, люблю равно.
Хочу, чтоб всюду плавала
Свободная ладья,
И Господа и Дьявола
Хочу прославить я.
Когда же в белом саване
Усну, пускай во сне
Все бездны и все гавани
Чредою снятся мне.

Что это? Проповедь теории множественности равноправных истин? Апология беспринципности? Признание в религиозной индифферентности? Требование уважать «безумную прихоть певца»? Об этом тексте много спорили, но лишь переписка с Гиппиус дает необходимый контекст для понимания его истинного смысла: автор отстаивал свою свободу, духовную и творческую. «Прославить для Брюсова — вылепить в слове», — афористически заметил Андрей Белый (12).

Можно увидеть здесь и портрет *адресата*. Конечно, в религиозном, духовном плане Зинаида Николаевна Господа с Дьяволом не путала, но в литературном и житейском отношении сказанное вполне применимо к ней. «Если скажут, что я декадентствующая христианка, что я в белом платье езжу на раут к Господу Богу — это будет правда, — говорила она Брюсову в феврале 1902 года. — Но если скажут, что я искренна, — это тоже будет правда». Пристрастие Гиппиус к белым платьям было общеизвестно: в них она появлялась на Религиозно-философских собраниях к смущению духовенства, недовольству синодальных персон и на радость публике.

Письма из Петербурга заставили Валерия Яковлевича глубже задуматься о христианстве. Критикуя догматизм своей корреспондентки, он признал: «Когда говорили о христианстве, я по утомительной привычке вспоминал о его морали — о кротости, милосердии, непротивлении, любви. [...] Но христианство как учение о судьбах вселенной, о тайнах мироустройства, о последних тайнах души, космическое христианство, — да, это не то, о чем я говорил. Если я и не верую еще, то хочу узнать и ищу узнать. Я понимаю теперь, что вы ищете и почему можете искать истины здесь. А прежде не понимал. Вижу теперь, что есть живое в христианстве, а прежде видел только окостенелость и прах» (начало марта 1902 года). 11 марта Гиппиус отметила сдвиг в его позиции: «Это отличное определение, ясное: именно космическое христианство, а не моральное. И привычка сейчас же говорить о моральном — воистину утомительна», — но продолжала настаивать: «Мораль христианства — самая загадочная вещь на свете. [...] Когда мы поймем космическое значение христианства, тогда сама откроется и “мораль”». Для Брюсова, находившегося под влиянием Шопенгауэра и Ницше, такой подход был непродуктивен, хотя он не отказывался от диалога: «Я всегда подходил к Христу только со стороны подставляемой ланиты, и мне он

был скучен. Я так привык, что умиляются в нем на человека, что забыл, что он — Бог. И теперь я увидел иную глубину христианства, в котором вся его мораль, вся эта прощающая любовь зыблется, как тростинка над пучиной. Тогда открывается прельстительность христианства, как всякой бездны, как всякой стремнины, над которой кружится голова» (13).

Гиппиус поняла, что «сотаинника» из Брюсова не выйдет. Это определило их дальнейшие отношения, в которых стали доминировать литературные интересы. Поэтому один из главных выводов ее злых воспоминаний верен: «Между нами никогда не было ни дружбы, в настоящем смысле слова, ни внутренней близости. Видимость, тень всего этого — была» (14).

2

Мережковские, между тем, нуждались не только в «сотаинниках», но и в сотрудниках. В конце января 1902 года Брюсов сообщал Бальмонту о выходе «с весны» «Нового пути»: «Мне поручено просить у Вас всего — много стихов, статей, переводов, заметок — всего, что есть и может стать сущим. И скоро. Ибо они хотят к Пасхе выпустить 1-ую книгу. Впрочем, в эту поспешность я не верю... Будут печататься там протоколы религиозно-философского общества (Вы о нем всё знаете?), статьи о католичестве, синоде, пресуществлении и т.д., много стихов, мало рассказов, очень много статей. Распоряжаться и деспотствовать будет Мережковский» (15).

Скепсис относительно скорого начала был оправдан: у журнала не было ни разрешения, ни спонсоров, кроме Перцова и московской меценатки Евгении Образцовой, которая по дружбе дала в долг Мережковскому три тысячи рублей (16), ни субсидий, несмотря на попытки заинтересовать проектом Синод. Надежды возлагались на подписку, но Брюсов резонно писал намеченному в редакторы Перцову: «Ни Вы, ни Мережковские, никто из нас не сумеет издавать журнала на 3000 подписчиков. В области чистой литературы, нам, ценителям стихов Зинаиды Николаевны, долго еще быть в великом меньшинстве. Стало быть, вся надежда на религиозное движение в обществе, но оно существенно *не журнально*. Нет привычки удовлетворять свой религиозный голод через журнал, и не нам создать эту

практику. [...] “Новый путь” должен быть аристократичен, долго, может быть, лет пять-шесть, пока в среде этой самой аристократии не наберется 3000 подписчиков. Это будет неизбежно. И надо, чтобы к тому времени у нас был журнал с надписью “издания год шестой”» (17). Сказанное интересно тем, что шесть лет просуществовали «аристократические», по определению Философова, «Весы», а не державшийся на провинциальной подписке «Новый путь»: он набрал две с половиной тысячи подписчиков, но выходил всего два года.

Из-за отсутствия определенности дело застопорилось. 5 мая Брюсов с женой и сестрой Надеждой уехал на два месяца в Италию, откуда периодически посылал корреспонденции в «Русский листок». «Вся прелесть Венеции в своеобразии самого города, в жизни его каналов, — писал он. — Правда, многое из того, что прежде имело смысл, стало теперь игрушкой, которой тешат приезжих. [...] Подлинная Венеция прячется в какие-то углы на время сезона. [...] Но больше нигде в мире нет города без шума городской езды, совсем без пыли, с площадями, подобными комнатам большого дома, с узкими улицами, на которых не могут разойтись два зонтика, с церквями, сплошь выложенными разноцветными мраморами, с крохотными магазинами, похожими на ящички. В Венеции прежде дорожили местом; всё в ней мелко, но отделано как миниатюра. Венецианцы славились как мозаисты, и весь их город — как большая мозаика: каждая подробность закончена с любовью. После нее даже Флоренция кажется грубой и тяжелой» (18). «Всего более по сердцу пришлась мне Венеция, — записывал он по возвращении. — [...] При всей своей базарности Венеция *не может* стать пошлой. И потом: это город ненужный более, бесполезный, и в этом прелесть. [...] Прекрасно в нем деление на две части: город для всего грязного, это город каналов; город для людей, — это улицы. Мечта Леонардо!».

По возвращении из Италии 11 июля Брюсов узнал, что «Новый путь» разрешен. Перцова принял министр внутренних дел Вячеслав Плеве, который «задал ряд хитрых вопросов, быстрых, как на следствии, дурно отозвался о “Мире искусства” и о Розанове, хорошо о Мережковском». Валерию Яковлевичу предложили пост секретаря редакции. Он охотно взялся за дело (переписка с Перцовым наполнилась техническими деталями оформления и верстки), отказался, как все ближайшие сотрудники, от гонораров, но в ок-

тябре с удивлением обнаружил отсутствие своего имени в рекламных объявлениях. Перцов объяснил это боязнью отпугнуть провинциальных подписчиков участием декадента. Брюсов, пребывавший в дурном настроении и временно разошедшийся с «Русским архивом» и «Русским листком», был раздражен и обижен: «Я просто не верю Вашей отговорке. У меня есть *свои* читатели. Если две сотни бюргеров откажутся от подписки ради страха моего имени, то другие сотни будут читать журнал только ради меня. [...] Неужели Вы хотите начинать “Новый путь” полухитростями и полужошью, хотя бы пред газетами? Чем же он будет отличаться от старых путей?» (19).

Соглашаясь работать в журнале, Брюсов предупредил, что из-за недостатка денег не сможет переселиться в Петербург, но готов часто ездить туда. Постепенно его энтузиазм убывал, хотя 12 ноября в столице Мережковские приняли его «как ни в чем не бывало, как старого друга», а Перцов представлял Валерия Яковлевича как секретаря редакции: «Видимо, хотят меня заставить согласиться с совершившимся фактом». В обычном вихре встреч кроме знакомых имен — Случевский, Сологуб, Философов, Лохвицкая — появляются новые: поэт Сергей Рафалович, социолог Владимир Святловский, переводчик Пшибышевского Михаил Семенов и, наконец, жена Минского — поэтесса Людмила Вилькина, коллекционировавшая знаменитых поклонников и их письма с пылкими признаниями.

Людмила Николаевна принялась соблазнять московского гостя. На один день они уединились в финском пансионе, «но только целовались», как сказано в дневнике Брюсова. Вилькина рассказала об этом мужу. Брюсов написал стихотворение «Лесная дева» и неосторожно сообщил об ухаживаниях оставшейся в Москве жене, чем встревожил ее. Именно тогда он обратился к ее сестре Марии с просьбой: «Уверьте ее, что я ее очень люблю. [...] Я неосторожно описывал ей, как ухаживал здесь за г-жой Минской. Только потому и описывал, что для меня это было забавой. [...] Во всех моих ухаживаниях за Минской и Образцовой ничего нет. [...] Если б даже я был возлюбленным г-жи Минской (чего вовсе нет и не будет), и тогда это не было бы изменой. Ах, почему для женщин это не ясно» (20).

Тем не менее, грехопадение произошло — во второй половине января 1903 года, когда Брюсов в очередной раз приехал в Петербург по делам «Нового пути» и встретился с Вилькиной. Этому предшествовал обмен письмами в духе

дружеской литературной болтовни, которая продолжалась и позже, порой перемежаясь двусмысленными намеками. Но, как отметили публикаторы переписки, «со стороны Брюсова это увлечение было непродолжительным, и он не раз пытался в письмах к Вилькиной указать на временную и психологическую дистанцию, отделившую бывшего рыцаря “лесной девы” от него же самого, находящегося уже во власти новых переживаний» (21). Остатки прежней дружбы исчезли после сухого отклика Брюсова на единственную книгу стихов Вилькиной «Мой сад» (1906) (написавший к ней предисловие Розанов шутя называл ее «Мой зад»), о котором Валерий Яковлевич писал Корнею Чуковскому: «Должен же был кто-нибудь откровенно заявить, что она как поэт — бездарность (и очень характерная, очень совершенная бездарность)» (22). В этом переплетении личного с литературным он выбрал второе, хотя и включил Вилькину под именем «Лиля» в «Роковой ряд».

Брюсов отказался от секретарства в «Новом пути», но и его литературное участие наталкивалось на противодействие Мережковских, которые в стремлении сделать издание массовым старались избегать крайностей. Поэтический раздел журнала, печатавшего стихи не «в подборку» и тем более не «на затычку», а в виде авторских циклов, в тогдашней России не имел равных, и обойтись в нем без Брюсова было невозможно. Ситуация с прозой оказалась много хуже. Несмотря на все уговоры и посулы, отказался Чехов. «Петр и Алексей» Мережковского стал гвоздем программы, но прочая беллетристика: Гиппиус, Вилькина, Поликсена Соловьева (под мужскими псевдонимами), начинающие Ремизов, Зайцев, Сергеев-Ценский и ряд забытых авторов — вызывала у Брюсова, и не у него одного, резкое отторжение.

«Очень уж многое в нем (журнале. — *В.М.*) прямо противоположно мне, — признавался он Гиппиус в июле 1903 года, — решительно отталкивает меня. [...] Пусть я люблю все “двери” и “сразу умею проникнуть во все я”*. Но все же милее прочих мне дверь поэзии, искусства. А в “Новом пути” она в таком виде, словно это “черный ход”, дверь на грязную лестницу». Бальмонт, активно печатавшийся в журнале, в письме Брюсову 26 июля 1903 года оценил издание еще резче: «Помойная яма, и не очень глубокая помойка, так что в ней нет даже очарования истинной отвратительно-

* Цитата из стихотворения Гиппиус «Валерий, Валерий, Валерий, Валерий...» (1903).

сти» (23). Прочитав эти слова в письмах Ремизову и Белому, Брюсов добавил во втором случае: «Он не неправ» (24). «Мои упреки, — продолжал он в том же письме к Гиппиус, — сводятся к тому, что “[Новый] Путь” не литературный журнал. Да! это то именно, чего вы искали: *делание* через журнал, работа им как лопатой. И ради целей пропаганды (скверное слово, но что делать, оно на месте) все хорошо: можно и пошлости печатать, если они привлекают читателей, можно и прожужжавшие уши повторения, — чтобы покрепче было». Вынужденный признать это, Философов постарался выразиться изящно: «Новый путь» «должен был — твердо веруя, что это только временно, — отодвинуть эстетику на второй план и заняться преимущественно интересами религиозными» (25). «Отодвинуть эстетику на второй план» Брюсов решительно не соглашался.

3

С началом выпуска «Нового пути» салон Мережковских стал центром символистского Петербурга. В Первопрестольной главенствовал Брюсов — «жрец дерзновенный московских мистерий» (как назвала его Гиппиус). Рядом восходила звезда Андрея Белого. Они познакомились 5 декабря 1901 года в доме Михаила и Ольги Соловьевых (26), но имя «студента-декадента» уже было известно Валерию Яковлевичу. В октябре он получил от Соловьева рукопись «Симфонии 2-й драматической» с предупреждением, что автор — сын декана физико-математического факультета Московского университета и что псевдоним ни в коем случае не должен быть раскрыт. «Симфония» Брюсову понравилась, но он объяснил, что «Скорпион» завален заказанными и оплаченными рукописями, а средства его не безграничны, поэтому книга может выйти только через год. Михаил Сергеевич оплатил немедленное печатание «симфонии» под маркой «Скорпиона», и она увидела свет уже в апреле 1902 года. Осенью авторство открылось и вызвало оживленные пересуды в профессорской и литературной Москве.

Первое впечатление Брюсова от знакомства было не лишено иронии: «Бугаев старался говорить вещи очень декадентские». Но разве не так поступал сам Валерий Яковлевич в юные годы? Летние встречи 1902 года вызвали иную реакцию: «Едва ли не интереснейший человек в России. Зрелость и дряхлость ума при странной молодости. Вот

очередной на место Коневского!». Высочайшая оценка — с учетом того, что значил для него Коневской. «Он очень настоящий человек, — писал Брюсов о Белом 19 октября 1902 года Перцову. — У меня душа успокаивается, когда я думаю, что он существует» (27).

Белый был моложе Брюсова на семь лет. К моменту знакомства он был житейски неискушенным юношей, но обладал разносторонним образованием и богатым опытом духовных исканий, испытал влияние Шопенгауэра, Ницше, Метерлинка, Соловьева. Он уже был символистом, но «символизм Белого вырастал в гораздо большей степени из внутреннего уединенного опыта, чем благодаря активному усвоению начавшего заявлять о себе в России “нового” искусства (к “декадентству” у юноши Белого поначалу было весьма настороженное отношение)» (28). В Брюсове он сразу почувствовал «желанье: меня привязать к “Скорпиону”, оказывая мне, начинающему литератору, крупную и бескорыстную помощь. [...] Я видел его Калитой, собирателем литературы. [...] Я обязан ему всей карьерой своей; я ни разу себя не почувствовал пешкой, не чувствовал “ига” его: только помощь, желанье помочь, облегчить» (29). За свою жизнь Борис Николаевич много чего написал и наговорил о Брюсове, в том числе прямо противоположного по содержанию и духу, но это суждение — итоговое.

Белый-поэт окончательно обрел собственный голос после знакомства с Брюсовым и не без его влияния. Мережковский только провозглашал:

Мы для новой красоты
Нарушаем все законы,
Преступаем все черты.

Брюсов в «Русских символистах» воплотил это в жизнь. Белый сделал то же самое — например, в стихотворении «На горах», где седовласый горбун

Голосил
низким басом.
В небеса запустил
ананасом.
И дугу описав,
озаря окрестность,
ананас ниспадал, просияв,
в неизвестность.

Для современников это были «бледные ноги» в новом исполнении.

Наряду с сочинением подобных произведений Борис Николаевич отличался экстравагантностью поведения. Осенью 1903 года Брюсов записал его рассказ, как тот «ходил искать кентавров за Девичий монастырь*», по ту сторону Москва-реки. Как единорог ходил по его комнате... Мои дамы (И.М. Брюсова, ее младшая сестра Б.М. Рунт и, возможно, Н.Я. Брюсова. — *В.М.*), слушая, как один это говорит серьезно, а другой серьезно слушает, думали, что мы рехнулись. Потом А. Белый разослал знакомым карточки (визитные), будто бы от единорогов, силенов etc. Иные смеялись, иные сердились. [...] Сам Белый смутился и стал уверять, что это “шутка”. Но прежде для него это не было шуткой, а желанием создать “атмосферу”, — делать все так, как если бы эти единороги существовали». Знакомые были всерьез обеспокоены душевным здоровьем человека, от которого получали такое:

Огыга Пеллевич
Кохтик-Ррогиков
Единоглаз

Вечные боязни. Серничихинский тупик, д. Омова.

И только Валерий Яковлевич 20 октября 1903 года вложил свои визитные карточки в три конверта, надписав их «Борису Николаевичу Бугаеву для передачи Огыге Пеллевичу Кохтик-Ррогикову», единорогу «Виндалаю Левуловичу Белорогу», обитавшему на «Беллендриковых полях», и «Полю Ледоуковичу Фавивве» из «Миусских козней» (30).

Принимая правила игры, Брюсов, вероятно, вспомнил тщательно продуманные декадентские выходки собственной юности, когда он интересничал и «ломался», изображая «Валерия Брюсова». Он мог догадываться, но не мог знать, что «безумие» Белого тоже было рассчитанным. В августе 1901 года Борис Бугаев размышлял в дневнике: «Если ты желаешь, безумец, чтобы люди почтили безумие твое, никогда не злоупотребляй им! Если ты желаешь, чтобы твое безумие стало величественным пожаром, тебе мало зажечь мир; требуется еще убедить окружающих, что и они охвачены огнем. Будь хитро-

* Новодевичий монастырь занимал особое место в личной мифологии Белого: там были похоронены его отец Н.В. Бугаев, любимый наставник Л.И. Поливанов, кумир юности Вл. Соловьев, старшие друзья М.С. и О.М. Соловьевы. В прогулках его часто сопровождал Сергей Соловьев — сын Михаила, племянник Владимира, троюродный брат Александра Блока и будущий ученик Брюсова.

умной лисой! Соединяй порыв с расчетом, так, чтобы расчет казался порывом и чтобы ни один порыв не пропал даром. Только при этом условии люди почтят твоё безумие, которое они увенчают неувядаемым лавром и назовут мудростью. [...] Озадачивай их блеском твоей диалектики, оглушай их своей начитанностью, опирайся, насколько это возможно, на точное знание!» (31). Сходство этих высказываний с дневниковыми записями молодого Брюсова очевидно.

Знакомство с Брюсовым стало одним из важнейших событий жизни Белого и, выйдя за пределы литературы, многие годы оказывало на него сильное влияние. Не менее значительным было для Бориса Николаевича знакомство с Мережковскими у Соловьевых днем позже, 6 декабря 1901 года. Между ним и Гиппиус сразу же завязалась переписка на идейные и духовные темы: Зинаида Николаевна обрела «сотаинника» (которого тщетно искала в Брюсове) и восхищалась его статьями, хотя и находила их «трудными» для «Нового пути». В свою очередь, Белый стал пламенным пропагандистом идей новых друзей. Озабоченный построением фаланги, Брюсов начал опасаться ухода перспективного автора на сторону: в ноябре 1902 года взял у Белого «Северную симфонию» для издания отдельной книгой, затем стихи (которые при разговоре с глазу на глаз жестко, но конструктивно раскритиковал) и драматический отрывок «Пришедший» для «Северных цветов», а в апреле 1903 года предложил ему подготовить поэтический сборник для «Скорпиона» — будущее «Золото в лазури» (32). «Через несколько лет о нем сеялись слухи: де лезет из кожи ходить императором, травит таланты-де; правда, травил — разгильдяйство и лень, — много позже признал Белый. — [...] Все сплетни о его гнете, давящем таланты, — пустейшая гиль, возведенная на него» (33). Возведенная отчасти самим Белым...

В апреле 1903 года Брюсовы впервые побывали в Париже, где провели 16 дней. «Париж мне пришлось очень по сердцу, — занес он в дневник. — Изумило меня отсутствие в нем декадентства. Было, прошло, исчезло. Нет даже “нового стиля”. Москва более декадентский город». С французскими литераторами пообщаться не удалось, зато встреч с соотечественниками оказалось в избытке. Валерий Яковлевич несколько раз посетил Русскую высшую школу общественных наук, которую обозвал «пародией на университет», и даже прочитал там лекцию «Ключи тайн». «Весело было слушать, — вспоминал присутствовавший на ней ли-

тератор Николай Поярков, — возражения, высказываемые всевозможными юношами, обвинявшими лектора в безнравственности, беспринципности и отсутствии общественных идеалов. Невозмутимо лектор парировал нападки, иногда остроумными замечаниями вызывая дружный хохот всей аудитории» (34). В круг преподавателей и слушателей Школы, оппозиционно настроенных по отношению к российским властям, Брюсовых ввел революционер и юрист Александр Ященко. Валерий Яковлевич познакомился с ним в конце 1900 года в салоне московской меценатки Варвары Морозовой, в котором 14 января 1901 года Георгий Чулков, товарищ Ященко по революционному кружку, прочитал доклад о его поэзии. Позднее Чулков утверждал, что Брюсов написал стихотворение «Кинжал» (которое сам датировал 1903 годом) в конце 1901 года для задуманного этим кружком нелегального сборника. В начале 1902 года Ященко и Чулкова арестовали и сослали в Восточную Сибирь; первый вскоре был освобожден и уехал в Париж, второй находился в ссылке до 1904 года, а по возвращении стал одной из ключевых фигур «раскола в символистах» (35).

В Париже Брюсов познакомился со многими примечательными людьми — давно жившей во Франции переводчицей Александрой Гольштейн, художницей Елизаветой Кругликовой, собирателем пушкинских реликвий Александром Онегиным-Отто, поэтом Вячеславом Ивановым и его женой Лидией Зиновьевой-Аннибал, которых знал заочно. В октябре 1900 года Иванов предлагал «Скорпиону» переводы Гольштейн из французских поэтов, а в «Северных цветах на 1903 год» появились его стихи и объявление о выходе сборника «Кормчие звезды», на который Брюсов успел благожелательно откликнуться в «Новом пути». В марте 1903 года «Скорпион» принял роман Зиновьевой-Аннибал «Пламенники», который по разным причинам так и не увидел света. Встречу с Ивановым Валерий Яковлевич назвал наиболее интересным из парижских впечатлений и сразу вступил с ним в переписку (36). Зиновьева-Аннибал понравилась ему много меньше. «Она — довольно-таки пустая особа, извне набитая чужими идеями, как чучело соломой. Иногда говорит она вещи глупые до поразительности. А ведь Вы на издание романа согласились?», — писал он Полякову 25 апреля (8 мая) (37). Импульсивная Зиновьева-Аннибал надеялась на издание «Пламенников», а потому так отозвалась о новом знакомом: «Брюсов (так! — В.М.) умный очень, и искатель, и крупный талант, и очень ин-

тересен лицом и манерами. Его муза родственна нашей и, быть может, мы будем дружны в будущем. Это глубоко радостно. Он на меня производит сильное впечатление» (38). Потом она будет не раз неистово проклинать его.

На осень 1903 года Брюсов наметил «что-то вроде генерального сражения», как писал он 31 июля Белому: «Ватерлоо или Аустерлиц?» — поясняя: «Вся русская поэзия будет в “Скорпионе”» (39). На выходе были книги стихов Мережковского, Гиппиус, Сологуба, самого Брюсова («Urbi et orbi»), «Северная симфония» Белого, посмертный однотомник Коневского, готовились сборники Белого, Бальмонта и Балтрушайтиса. Однако последний собрал свои стихи под одной обложкой только в 1911 году, а неверный Бальмонт отдал новую книгу «Только любовь» конкурентам — издательству «Гриф». Его владельцем был присяжный поверенный Сергей Соколов, в литературе — Кречетов, четко разграничивавший в себе ипостаси адвоката и декадента. На пропаганду «нового искусства» он пустил сорок тысяч рублей, полученных от продажи имения во Владимирской губернии, но главным капиталом «Грифа» стал плодовитый Бальмонт. С собой он привел Модеста Дурнова, рисунки которого определили фирменный стиль издательства: «Точно такие ж обложки он “ляпал” на книги: и марку придумал издательства своего: жирнейшую “грифину”, думая, что “Скорпиона” за пояс заткнул он; “Скорпион” — насекомое малое; “Гриф” — птица крупная» (40).

«Гриф» начался с выпуска альманаха — ответ на «Северные цветы». В нем не было ни историко-литературного отдела, ни живых классиков, ни серьезных статей. Зато было много стихов — в основном молодых и очень молодых поэтов, включая восторженные посвящения Брюсову — «Я в свисте временных потоков...» Белого и «В немую даль веков пытливо ты проник...» Александра Койранского. Брюсов дал три стихотворения. «Грифовская» молодежь: Виктор Гофман, Михаил Пантюхов, Александр Рославлев, братья Александр, Борис и Генрих Койранские — осенью и зимой 1902/03 года стайкой ходила за ним. «Образовалась целая порода молодых людей и девиц, — извещал Белый 9 апреля Метнера, — которых газетные репортеры уже окрестили позорным по их мнению прозвищем “подбрюсков”, “брюссенят”, “брюссиков”» (41). На периферии пестрой компании мелькали Владислав Ходасевич и Александр Брюсов, младший брат Валерия. «Зароились и совершенно безымянные мрачно-эстетизирующие гимназисты в

синих очках с пышными шевелюрами и разутюженные чистенькие юноши с орхидеями и туберозами» (42), — иронически вспоминала Нина Петровская, жена Соколова и «роковая женщина» Белого, а затем Брюсова.

Разобравшись, что «среди них нет никого истинно талантливому», Валерий Яковлевич быстро осознал опасность для символизма эпигонов и вульгаризаторов. В неотправленном письме Соколову от 6 ноября 1903 года он заявил, что «Гриф» «утратил всякую индивидуальность, стал повторением, копией, т.е. тем, что мне более всего нелюбозно в мире» (43). Соколов, в свою очередь, сделал ставку на обиженных: по словам Петровской, «оскорбленные самолюбия выплакивались в редакторскую жилетку». «Гриф» принимал все отвергнутое «Скорпионом», который не только высоко поднял планку, но печатал много переводов (чего в «Гриф» почти не было) и даже виднейших отечественных авторов стремился представить равномерно. 9 апреля 1903 года Белый жаловался Метнеру, что «Скорпион» «всегда переполнен и крайне медлителен» (44).

«Гриф» выпустил несколько книг Бальмонта, переиздал «Лестницу» Миропольского, принял рукописи у Белого (третья симфония «Возврат») и Сологуба (сказки), позже у Курсинского и Александра Блока. К стихам последнего, полученным через Соловьевых (Ольга Соловьева и мать Блока Александра Кублицкая-Пиоттух активно обсуждали Брюсова в переписке), Валерий Яковлевич поначалу отнесся без особого энтузиазма, но в конце 1902 года взял его цикл в «Северные цветы», придумав заголовок «Стихи о Прекрасной Даме» (книгу под этим заглавием два года спустя издал «Гриф»). Михаил Соловьев сообщил об этом Блоку, который 23 декабря не только сердечно поблагодарил его, но и поделился новостью с героиней стихов Любовью Менделеевой: «Я получил очень интересное и важное письмо, которое покажу Тебе, — от Михаила Сергеевича Соловьева, который спросил Брюсова, будет ли он печатать мои стихи в “Северных цветах”, на что Брюсов ответил: “О, да — и как можно больше”. Это приятно во многих отношениях» (45). Брюсов не сразу увидел в Блоке серьезную литературную величину и, тем более, перспективного союзника. Молодой Блок, напротив, высоко ценил поэзию Брюсова, особенно сборники «Urbi et Orbi» и «Венок», и одно время даже называл его своим учителем.

Валерий Яковлевич отказался участвовать в изданиях «Грифа», кроме первого альманаха, и попытался ограни-

чить присутствие там «скорпионов», хотя делал вид, что выступает за всеобщее примирение (46). Приезжавшие в Москву в конце октября 1903 года, Мережковские поддерживали его, хотя Гиппиус не удержалась от колкостей в адрес «варварской розы московского декадентства» в целом (47). Под их влиянием Белый обещал забрать рукописи у Соколова, но в начале декабря вдруг заявил, что уходит из «Скорпиона», стесняющего его свободу, и не будет участвовать в «Весах» (48). 5 декабря Брюсов написал ему большое откровенное письмо, в котором «возвышенное» переплелось с «земным»: «Дело не *только* во мне и в вас. Среди нас иная сила, пренебрегать которой мы не смеем. Маленькие чародеи, мы заклинали страшного духа; он предстал; и его не заставят исчезнуть наши бессильные заклинания. Мы уже не над “Скорпионом”, а в нем; мы управляем им не более, чем кормщик кораблем, крутимым бурей. И с вашим уходом “Скорпион” и “Весы”, конечно, не пропадут*. К нам примкнули еще многие, ибо вокруг уже образовался тот водоворот, который засасывает всех, плывущих мимо. Но с вашим уходом от “Скорпиона” будет отнято все присущее лично вам, *ваша* вера, *ваша* зоркость, *ваша* молодость».

Белый хорошо понимал этот язык, но Брюсов не обошелся без конкретики: «У Бальмонта есть *специальные* причины покровительствовать не “Грифу”, а Соколову, но вы, но вы? Не можете же вы не видеть, что Соколов — балаганый шут, неумело-бездарный шарлатан, в устах которого все самые истинные слова становятся фиглярством и пошлостью!» (49). В приступе гнева Валерий Яковлевич позволял себе неэтичные намеки на личные, интимные обстоятельства — в данном случае на связь Бальмонта с Петровской, которой ее муж не противодействовал ни как Соколов, ни как Кречетов. Сам Белый с весны 1903 года переживал мистическую влюбленность в Нину Ивановну, которая отвечала ему столь же мистической взаимностью, считая его «новым Христом». В конце года их отношения приняли более земной характер: Петровская влюбилась в Белого и соблазнила его, что тот воспринял как «падение». Судя по нескромным намекам в черновике письма, Брю-

* В черновике: «Уходя из “Скорпиона”, вы его не погубите: своих читателей, своей публики у вас еще нет. [...] Вы из-за личных счетов отказываете своим книгам, своим словам в том распространении, которое может им доставить теперь же “Скорпион” и которое во всяком случае станет доступным “Грифу” (если станет) еще очень в далеком будущем».

сов догадывался об этом. Однако инцидент был улажен, Белый не покинул фалангу, и в начале декабря поэты, согласно брюсовскому дневнику, «умилительно примирились».

4

«Скорпион» победил не интригами, но книгами. Особое место занял сборник Брюсова «*Urbi et orbi*», вышедший осенью 1903 года с посвящением «К.Д. Бальмонту, поэту и брату». Цензура, куда книга была представлена в отпечатанном виде, запретила только стихотворение «Свидание», которое пришлось вырезать из всего тиража и заменить другим под тем же заглавием; исходное стихотворение Брюсов вернул на место в трехтомнике «Пути и перепутья» (50). Название сборника обыгрывало формулу благословения римского папы, распространяемого на весь мир. «Я хотел сказать, — пояснял Брюсов в «Автобиографии», — что обращаюсь не только к тесному “граду” своих единомышленников, но и ко всему “миру” русских читателей». При переизданиях книга не менялась так радикально, как предшествующие. Самый тяжелый удар ей нанес Главлит, исключивший из семитомника половину знаменитых баллад. Именно на них В.М. Жирмунский построил исследование «Валерий Брюсов и наследие Пушкина», вышедшее еще при жизни Брюсова. По его утверждению, в этих стихотворениях «основная тенденция стиля Брюсова выражается особенно отчетливо», поэтому они «могут быть сделаны исходной точкой для более широкого исследования, определяющего место поэта в литературной традиции». Заслуживает внимания вывод автора: «Желая выразить яркость и напряженность страстного переживания, Брюсов подыскивает слова и образы самые яркие, изображающие высшую степень качеств, безусловное его существование, без оттенков, смягчений и переходов. [...] Если желание вызвать звуками неопределенное лирическое настроение, скорее чем зрительный образ или сознательную мысль, объединяет Брюсова с символистами как представителями нео-романтической лирики, то стремление к напряженности и яркости, к сгущению лирического переживания и аккумуляции художественных впечатлений дает право включить его в группу символистов индивидуалистического типа, представителей первого поколения русских символистов» (51).

С книгой «*Urbi et orbi*» связывают приход в поэзию

Брюсова темы Города, ставшей ее постоянным и узнаваемым признаком. Городские зарисовки есть уже в «Chefs d'œuvre», но декадентский колорит сборника помешал заметить и оценить их. Определение «поэт Города» применялось к Брюсову критикой чаще, чем к кому-либо из современников.

И я к тебе пришел, о город многоликий,
К просторам площадей, в открытые дворцы;
Я полюбил твой шум, все уличные крики:
Напев газетчиков, бичи и бубенцы...

Картина Парижа здесь становится картиной современного Города вообще. Говоря о брюсовском урбанизме, обычно вспоминают стихотворения 1900-х годов, например, «Конь блед»:

Улица была — как буря. Толпы проходили,
Словно их преследовал неотвратимый Рок.
Мчались омнибусы, кебы и автомобили,
Был неисчерпаем яростный людской поток.

В поздних стихах город не исчезает, хотя апокалиптические картины уступают место зарисовкам, напоминающим стихи из «Chefs d'œuvre»:

Где утром глумилось разгулье Трубной,
Мостовая спала, умыта дождем,
Ждал добычи город, зверь сластолюбный,
В окнах лица светились над большим куличом.

Однако за ними скрываются глубокие обобщения:

Новый мир старина, торжествуя, давила,
Выползала из щелей, плыла в синеве,
И московским царям дубовый Ярило
Протягивал руку в советской Москве...

«Urbi et orbi» стала первой книгой Брюсова, которую многие критики из чужого лагеря встретили без оговорок относительно личности и репутации автора — как книгу обычного поэта, который сам признался: «Желал бы я не быть “Валерий Брюсов”» — отречение не от себя, но лишь от некоей литературной репутации. В либеральных «Русских ведомостях» Илья Игнатов констатировал, что «автора интере-

сует все, что касается душевного мира человека: его искания, его муки, его отношения к людям и к непостижимым для него явлениям, его сомнения и победы» (52), — всего через три года после слов народнического оракула Якубовича о том, что поэзия Брюсова «лишена всякого человеческого содержания». Теперь критики вспоминали того же «П.Я.» в связи со стихотворением «Каменщик», которое вместе с «Кинжалом» позднее входило в «Революционные чтецы-декламаторы» и служило Валерию Яковлевичу посмертной «охранной грамотой» в самые антидекадентские годы советской эпохи. Амфитеатров и Владимир Боцяновский приветствовали «Каменщика» как новое слово в поэзии Брюсова (53), хотя сам автор считал его риторичным. Слава этого стихотворения вообще удивительна — особенно в сравнении с такими неожиданными для книгочия и декадента декларациями, как «Работа» в том же сборнике:

Здравствуй, тяжкая работа,
Плуг, лопата и кирка!
Освежают капли пота,
Ноет сладостно рука!
Прочь венки, дары царевны,
Упадай порфира с плеч!
Здравствуй, жизни повседневной
Грубо кованная речь!

Недостатка в хулителях по-прежнему не было. Ругань Буренина никого не задела, но рецензию Евгения Ляцкого в «Вестнике Европы»: «уродливое копанье в грязи», «жалкие потуги сказать нечто глубокомысленное», стремление «предавать и насиловать общественную мысль и совесть», — Бальмонт назвал «гнусным хамством», потребовал опубликовать в «Весах» свой ответ и заявил, что если встретит Ляцкого, «между нами будет особый разговор, какого еще ни с кем у меня не было» (54). Константин Дмитриевич по характеру был несдержан, а во хмелю буен (за это в середине ноября 1903 года Брюсов дал ему пощечину, и они несколько месяцев не разговаривали), но в случае с Ляцким обошлось без выяснения отношений. «Весы» (1904. № 3) напечатали протест Бальмонта. Брюсов там же высмеял книгу Ляцкого о Гончарове, но это не помешало им установить хорошие отношения после благожелательной рецензии критика на «Венок» (55). Зато рецензент «Биржевых ведомостей» Александр Измайлов, ранее писавший о «тяжелом, тошнотворном впечатлении» от первого выпу-

ска «Северных цветов» и язвительно сравнивший рассказ Брюсова «Теперь, когда я проснулся» с толками «замоскворецких купчих» о своих снах, теперь увидел в авторе «Urbī et orbī» «настоящего Божьей милостью поэта, то нежного, то глубокого», хотя с «чертой откровенного эротоманства» (стихотворение «В Дамаск» критик прямо назвал «гадостью») и «зачатками истинной мании величия» (56).

Собратья-символисты были в восторге от книги. Вяч. Иванов в письме из Женевы 1/14 ноября назвал ее «художественным подвигом», написал «импрессионистскую рецензию» для альманаха «Гриф» (не вышла), а два дня спустя переложил ее в стихи — в виде послания Брюсову «Твой правый стих, твой стих победный...» (57). «Прочел ее с радостью осуществляющейся надежды, — писал автору 9 ноября Сологуб. — Как все это хорошо, — и как все верно началу, тому, что было несколько лет перед этим, — и какое великолепное развитие! В той радости, с которою я Вас читаю, есть нечто эгоистичное — потому что с Ваших первых книжек я ждал от Вас многого — и дожждаться приятно» (58). «Весь под очарованием Вашей поэзии», — откликнулся 24 ноября Бакст (59). В те же дни Белый в письмах Метнеру и Блоку назвал Брюсова «единственным современным поэтом, держащим в руках судьбы будущей русской поэзии» и поставил его в один ряд с классиками (60). Метнер не разделял восторгов по поводу стихов «декадентского папы»: «Все это очень складно, тонко, умно, даже глубоко, но не захватывает меня. Полное отсутствие музыкальности, внутреннего ритмического живого цельного движения» (61). Напротив, Блок был в восторге. «Книга совсем тянет, жалит, ласкает, обвивает. Внешность, содержание — ряд небывалых откровений, прозрений почти гениальных», — отвечал он 20 ноября Белому (62).

«Брюсов теперь первый в России поэт. [...] Старого декадентства нет и следа. Есть преемничество от Пушкина — и по прямой линии», — писал Блок 23 февраля 1904 года Александру Гиппиусу, развив эти мысли в двух рецензиях на книгу (63). Речь шла не столько о формальном сходстве, сколько о месте Брюсова в русской поэзии. «Обнаруживается его кровная связь с Пушкиным: начало XIX века подает руку началу XX, — провозгласил Белый в программной статье «Апокалипсис в русской поэзии» (1905. № 4). — Благодаря Брюсову мы умеем теперь смотреть на пушкинскую поэзию сквозь призму тючевских глубин. Эта новая точка зрения открывает множество перспектив. Замыкается цикл развития пушкинской школы, открывается провиденци-

альность русской поэзии» (64). Сергей Соловьев, которому Блок в те же дни писал: «Я совершенно не могу надеяться вырасти до Брюсова» (65), — восторженно восклицал в стихах: «Ты, Валерий, Пушкина лиру поднял...»

Блок и Белый не могли не заметить в книге стихотворения «Младшим», адресованного как раз им — новому, «мистическому» поколению символистов (66). Получив в начале ноября 1904 года «Стихи о Прекрасной Даме» с дарственной надписью, звучавшей, как стихи:

Законодателю русского стиха,
Кормщику в темном плаще,
Путеводной зеленой звезде,
Глубокоуважаемому Валерию Яковлевичу Брюсову
В знак истинного преклонения —

Брюсов отвечал Блоку: «Не возлагайте на меня бремени, которое поднять я не в силах. Принимаю разве только первую строчку. Дайте мне быть только слагателем стихов, только художником в узком смысле слова — все большее довершите Вы, молодые, младшие» (67). Это не поза. Это — позиция, определившая дальнейшее развитие русского символизма.

Глава девятая

«ВЕСЫ»

1

Роль Брюсова в истории журнала «Весы» хорошо изучена (1). Но какую роль сыграли «Весы» в его жизни?

В июле 1903 года он писал Гиппиус, критикуя низкий художественный уровень «Нового пути»: «Лучше издавать журнал в 4 листа ежемесячно для 200 человек, чем в 15 листов для 20000». У него уже сложилась концепция журнала нового для России типа — литературно-критического и библиографического, не только без «вопросов социологических и политико-экономических», но даже без стихов и беллетристики. За образец брались европейские литературные обозрения — как модернистские «*Mercur de France*» и «*Das litterarische Echo*», так и традиционный «*The Athenaeum*». Брюсов убедил Полякова финансировать проект, несмотря на его заведомую убыточность: «У “Нового

пути», — писал он издателю 22 января 1903 года, — подписчиков 1217. [...] Сколько раз мы уговаривали Вас издавать журнал. Эти 1217 были бы наши!» (2). Впрочем, характер задуманного издания делал его не конкурентом, но соратником «Нового пути» и «Мира искусства». Философов приветствовал «Весы» — «предназначенные для любителей литературной роскоши и изысканности» — как «верного союзника в борьбе с варварами, с хулиганами», ибо настало «время великого гнева, время крестовых походов» (3).

Третьего июля 1903 года Поляков подал прошение о разрешении издания «Весов» и 4 ноября получил его. В печати появились первые анонсы. Название выбрали в пару к «Скорпиону». В качестве фронтисписа взяли соответствующую зодиакальную миниатюру из «Часослова» герцога де Берри XIV века, дав необходимое пояснение, которого, впрочем, не заметил никто из газетчиков, изошрявшихся насчет «нового ублюдка декадентской музыки» (4). На предложение Брюсова о сотрудничестве охотно откликнулся Бакст, оформивший первые три номера: «Название интересно и будит художественное воображение рисовальщика» (5). Феофилактов сделал бланк с реквизитами обоих изданий, на русском и французском языках: «издательство и журнал имели большой набор стильной почтовой бумаги разных форматов, с перфорацией и без нее, конвертов, открыток с этой маркой» (6).

Первоначальное ядро журнала составили — в алфавитном порядке — Балтрушайтис, Бальмонт, Белый, Брюсов, Поляков и Семенов, однако их вклад в общую копилку оказался не одинаков. Балтрушайтис в работе почти не участвовал. Бальмонт был готов много писать, но интересовался только своими рукописями и гонорами. Белый претендовал на роль идеолога, но не годился для регулярной работы и питал слабость к «грифам». Семенов, единственный, кто имел опыт самостоятельной журнальной работы (марксистское «Новое слово» в 1897 году), видел в «Весах» прежде всего подспорье для «Скорпиона», ссылаясь на пример журнала «Das litterarische Echo» и издательства «Fontane» в Германии. Его уговоры повлияли на решение Полякова выпускать журнал, хотя преувеличивать роль Семенова не стоит. Уехав за границу, он немало сделал для привлечения иностранных сотрудников, присылал списки зарубежных книжных новинок, давал советы, но реального влияния не имел. Официальный редактор Поляков ограничился финансовой стороной и — на пару с Феофилактовым — оформлением журнала, хотя периодически пытался напомнить, кто в доме хозяин.

Главной «рабочей лошадью» стал Брюсов. «Естественно было, чтобы в “Весы” всем распоряжался я. Но это устроилось не сразу. С.А. (Поляков. — В.М.) в первое время выказывал притязания на фактическое редакторство. Впрочем, он желал бы, чтобы все делал я, но под его руководством. Разумеется, я не мог согласиться на это. Мне было бы легко обманом, хитростью везде проводить свои решения. Но мне не хотелось хитрить. При выходе первого № у нас было несколько столкновений, и я решительно подумывал бросить все дело. Понемногу все обошлось, хотя и поныне есть у С.А. неприятный мне начальнический голос, из-за которого я часто готов бросить дело. Работников, конечно, не оказалось. Все делаю я один и, разумеется, не без ошибок. И мне делается обидно, если тот же С.А. находит возможным попрекать меня за ошибки» (7). Так продолжалось весь первый год, чем объясняется повышенная чувствительность Брюсова к любым упрекам в адрес «Весов» и обостренная реакция на них.

Задачи журнала были сформулированы в обращении «К читателям», написанном при ближайшем участии Брюсова, который считался в «Скорпионе» специалистом по воззваниям: «Весы», говорилось в нем, «желают быть беспристрастными, оценивать художественные создания независимо от своего согласия или несогласия с идеями автора. Но “Весы” не могут не уделять наибольшего внимания тому знаменательному движению, которое под именем “декадентства”, “символизма”, “нового искусства”, проникло во все области человеческой деятельности. “Весы” убеждены, что “новое искусство” — крайняя точка, которой пока достигло на своем пути человечество, что именно в “новом искусстве” сосредоточены все лучшие силы духовной жизни земли, что, минуя его, людям нет иного пути вперед, к новым, еще высшим, идеалам». Далее редакция извещала, что «каждый № “Весов” будет распадаться на два отдела. В первом будут помещаться общие статьи по вопросам искусства, науки и литературы. [...] Второй отдел “Весов” предоставлен хронике литературной и художественной жизни» (1904. № 1)*.

Перечень сотрудников первого отдела включал всех заметных представителей русского «нового искусства»; многие, правда, участием в списке и ограничились. Второй отдел был более пестрым: Поляков (как языковед), Брю-

* Ссылки на публикации «Весов» в тексте, с указанием года и номера.

совские приятели Каллаш, Саводник и Миропольский (как специалист по эзотеризму и спиритизму, однако значительную часть книг на эти темы Брюсов рецензировал сам), композиторы Ребиков и Рачинский, писавшие романсы на стихи Валерия Яковлевича, Блок и Ремизов на всякий случай. Завлекательно выглядел и список стран, где журнал имел корреспондентов: Франция, Германия, Англия, Италия, Испания, Дания, Норвегия и даже Индия. Подписная цена за двенадцать книжек объемом по 6-7 печатных листов составляла пять рублей, что было нормально для толстого журнала объемом в несколько раз больше, но без художественного оформления. Гонорар был назначен: для статей — пятьдесят рублей за печатный лист, для рецензий и заметок — десять копеек за строку.

Журнал был подчеркнуто просветительским, поэтому выпады против него как «одной из разновидностей того московского самодурства, которое бьет зеркала в отдельных кабинетах и устраивает “аквариумы”, наливая шампанское в рояль и напуская туда живых стерлядок» (8), — выглядели особенно недостойно. Этот перл принадлежал перу бульварного журналиста Семена Любошица. Впрочем, записные остроумцы уделили новинке мало внимания. «Во-первых, — указал А.В. Бурлешин, — содержание первого номера “Весов” не давало сатирикам ничего *принципиально нового* ни для сочинения пародий, ни для сатирических упоминаний. [...] Во-вторых [...] большая часть потребностей русского общества в сатирическом осмыслении действительности покрывалась еженедельной продукцией пяти столичных журналов — “Будильника”, “Осколков”, “Развлечения”, “Стрекозы” и “Шута”, и почти в каждом из них нашлось место для критики “Весов”. В-третьих [...] после начала русско-японской войны военная тема стала доминирующей, оттеснив на задний план все другие, “мирные” темы» (9).

Что дал Брюсов «Весам», видно из росписи содержания журнала. В течение первых двух лет, до появления беллетристического отдела, он написал множество рецензий и заметок, составлял хронику, делал переводы, редактировал присланные рукописи. Всего он использовал в «Весках» 22 псевдонима, не считая неподписанных текстов. «Не было в журнале ни одной строки, — констатировал он в «Автобиографии», — которую я не просмотрел бы как редактор и не прочитал бы в корректуре. Мало того, громадное число статей, особенно начинающих сотрудников, было мною самым тщательным образом переработано, и были случаи,

когда правильнее было бы поставить мое имя под статьей, подписанной кем-нибудь другим». В 1913 году, в момент написания приведенных строк, Брюсов мог гордиться сделанным, но в июле 1904 года горько жаловался Иванову:

«Вся работа оказалась на мне. “Весы” отнимают у меня всю жизнь; изо дня [в день] у меня остается свободного времени только, чтобы отдохнуть, не более. И через это самое дело идет хуже, чем могло бы. У меня не хватает ни времени, ни внимания, ни даже знаний — для многого. Я не успеваю писать нужнейшие редакционные письма. Я упускаю многое в хронике, еще больше в библиографии. Я не могу выправлять всех статей (а многие в этом нуждаются) и читать все корректуры. Не говорю уже о том, что будучи один, я не могу отлучиться из Москвы и в случае моей болезни “Весы” просто остановятся. Во-вторых, я не могу примириться с той беспорядочностью, какая царит в конторе. [...] Для распространения “Весов”, для рекламы не делается ничего. [...] Редакцию и контору “Весов” надо перестроить в основании или бросить все дело. Быть редактором нечитаемого журнала, журнала обреченного вечно иметь 500 подписчиков, я не хочу. Ведь не ради 100 рублей, получаемых мною за редактирование, хлопочу я о “Весах»» (10).

Что дали «Весы» Брюсову? Он реализовал себя. У него появился журнал, где он был, пусть не полномочным, но хозяином, где он мог воплотить свои мечты: знакомить русского читателя с шедеврами и последними достижениями «нового искусства», оперативно откликаться на значимые книги, выставки и спектакли, привлекать и воспитывать литературную молодежь, отсекал эпигонов, высмеивать неучей и хулиганов от литературы. Здесь Брюсов отточил мастерство рецензента, которым овладел в «Русском архиве»: в короткой заметке дать точное представление о книге, сберегая время потенциальному читателю. Здесь он стал блестящим полемистом. Здесь завершил построение символистской фаланги.

Брюсова за работой увековечил Андрей Белый:

«— Да, да... Книгоиздательство “Скорпион”! — раздастся металлический голос, четкий. [...] Это вы вошли в редакцию “Весов”. Полки, книги, картины, статуэтки. И вот первое, что вам бросилось в глаза: в наглухо застегнутом сюртуке высокий, стройный брюнет, словно упругий лук, изогнутый стрелой, или Мефистофель, переодетый в наши одежды, склонился над телефонной трубкой. Здоровое, насмешливо-холодное лицо с черной заостренной бород-

кой — лицо, могущее быть бледным, как смерть, — то подвижное, то изваянное из металла. Холодное лицо, таящее порывы мятежа и нежности. Красные губы стиснутые, точно углем подведенные ресницы и брови. Благородный высокий лоб, то ясный, то покрытый легкими морщинами, отчего лицо начинает казаться не то угрюмым, не то капризным. И вдруг детская улыбка обнажает зубы ослепительной белизны. [...] Из-под длинных-длинных, точно бархатных ресниц грустные вас обжигают, грустные глаза неприязненно. Вы немного смущены. Вы не знакомы с Валерием Брюсовым. Предлагаете ему вопрос. “Не знаю, право: это касается...”. Вы замолчали. Молчит и он. [...] Вас поразила деловитая серьезность поэта безумий Валерия Брюсова, чуть подчеркнутая, будто старомодная вежливость. [...]

— Я к вашим услугам: у меня в распоряжении пять минут.

Церемонно пружинным движением показал вам стул. Сам не сел. Руками держась за спинку стула, приготовился вас слушать. [...] Такой талант, такая яркая индивидуальность: мог бы оставить в стороне все посторонние хлопоты? А на нем бремя ответственности за целое движение, охватывающее Россию. Он один его организовал. [...] Часто он кажется властным: ну еще бы, спасибо ему, что он такой. Ведь эта властность вытекает из чувства ответственности. Он сознает ответственность за судьбы того течения, которое ему дороже жизни. [...]

Если вы пришли показать стихи, он холодно разберет каждое слово, разобьет в вас ваше горделивое самомнение. Не только укажет на недостатки, но и с математической точностью их докажет. Попутно сделает экскурсию в историю литературы, осыпет градом цитат, ухватится за одно слово хорошо вам известного стихотворного отрывка и этим словом стряхнет с вас ходячие взгляды поэтов и критиков на индивидуальность разбираемого поэта. Если вы пришли к нему, желая сообщить свои соображения о том или ином идейном течении, он с любознательностью необычайной выпьет у вас все ваши мысли, легко овладеет вашей терминологией, сам сделает вывод из ваших слов, вовсе необычайный, пунктуально доказав, что иного вывода сделать нельзя. [...] Такой он, когда создает свои дивные образы, такой он, когда разбирает перед начинающим поэтом художественные красоты Баратынского и Пушкина или латинских поэтов (руки летают по полкам, книги точно сами собой раскрываются в нужном месте). Таков он в “Скорпионе” у телефона, в типографии, на выставках» (11).

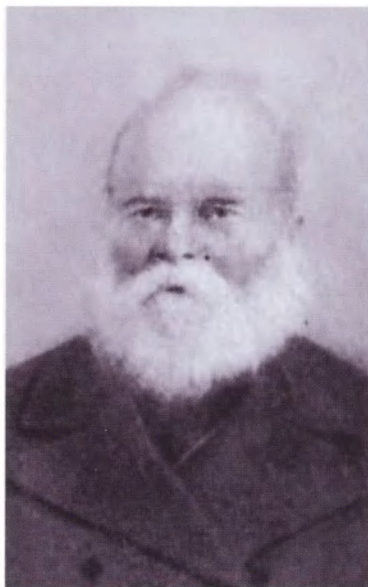
За 150 рублей в месяц редакция нанимала двухкомнатную квартиру, с туалетом, но без ванной, на четвертом этаже гостиницы «Метрополь», частично обращенной в доходный дом, в первом от ворот подъезде со стороны Третьяковского проезда; окна выходили на Китайгородскую стену (12). Внутреннее убранство описал Борис Садовской: «Две высокие комнаты в стиле “модерн”; синие обои, пол паркетный, огромные окна. В первой комнате направо от входа — телефон, слева — вешалка и полка для книг; за полкой — незаметная дверца в каморку Василия (Курникова, служащего конторы. — *В.М.*); стол перед окном. В простенке — большой портрет Ницше. [...] Тут же портрет-триптих З.Н. Гиппиус в белом со шлейфом платье. Направо дверь в кабинет редактора. Письменный стол завален бумагами и книгами. Типографские счета, пачки корректур, письма Рене Гиля и Реми де Гурмона, роскошно переплетенные экземпляры “Весов”, рукописи, конверты. В глубине комнаты, справа от входа, стол с книгами, присланными для отзыва; на краю стола, свесив ноги, сидит гипсовая нимфа; всюду статуэтки, безделушки, изящные вещицы. Над шифоньеркой между столами портреты Метерлинка, Пшибышевского с женой, Достоевского, Верлена, Верхарна, много рисунков. На стенах картины Борисова-Мусатова, Феофилактова, Сапунова. У задней стены турецкий большой диван. Здесь собирались мы по вторникам для дружеских бесед. Ни вина, ни чаю не полагалось; не было ни шуток, ни смеха; юмор целиком уходил в статьи. Но как весело было ходить сюда! Как мы любили нашу редакцию!» (13).

«Мальчишеством, в сущности, и был проникнут этот для многих серьезный и грозный журнал, — продолжал Садовской. — Мы беззаботно резвились на его страницах. Строгость Брюсова тоже была напускной: мальчик, изображающий редактора. Но мы его боялись и читали». «Он не держался “редактором”, — утверждал Белый, — не штамповал, не приказывал, — лишь добивался советом того или этого: он оберегал со-бойцов, чтобы в личной, порой упорной беседе добиться от нас — того, этого: мягкими просьбами» (14).

Брюсов определял стратегию и тактику «Весов» и велел разделением труда. Главными теоретиками стали Белый и Иванов, получившие полную свободу. Порой Валерий Яковлевич спорил с ними, демонстрируя открытость журнала для добросовестной полемики: пример — его статья «В защиту от одной похвалы» (1905. № 5), возражавшая на статью Белого «Апокалипсис в русской поэзии» (1905.



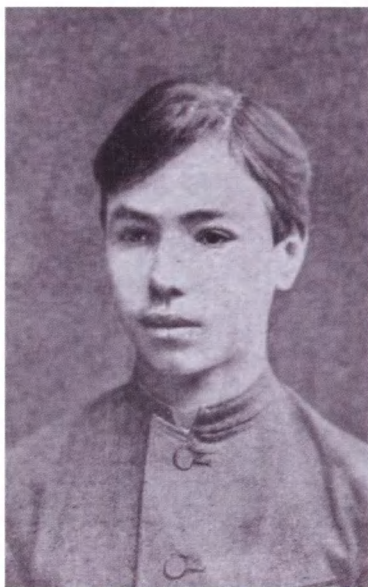
Василий Боровой



Кузьма Брюсов,
дед по отцовской
линии. 1870—1880-е гг.

Александр Бакулин,
дед по материнской
линии. 1880-е гг.

Отец поэта
Яков Брюсов
с дочерью Лидией.
Начало 1900-х гг.



Валерий Брюсов
в детстве. 1884 г.



Сестра поэта
Надежда Брюсова.
1890-е гг.



ПЕРЕПИСКА.

Москва.

Позвольте вамъ описатьъ, какъ мы провели лѣто въ селѣ Медвѣдковѣ, въ которомъ мы, въ 1883 году, жили на дачѣ. Расположено оно на гористой мѣстности, покрытой молодымъ лѣсомъ. Направо отъ нашей дачи былъ большой, запущенный паркъ. На лѣво склонъ къ рѣчкѣ Чермянкѣ; по другой сторонѣ этой рѣки густой лѣсъ. Позади насъ лугъ; тутъ стояла совершенно высохшая сосна, подъ которой, по преданью, зарить кладъ. Прямо передъ нами стояла церковь, позади ея склонъ къ рѣкѣ Яузѣ, въ которую впадаетъ Чермянка. На другой сторонѣ Яузы лѣсъ. Время проводили мы очень весело: гуляли, купались, играли, учились только 1 часть въ день. Часто во время прогулки мы видѣли зайца или лисичу, но они убѣгали при нашемъ приближеніи. Въ Москву ѣздили мы рѣдко, да мы не любили этого, въ Москвѣ намъ было скучно.

ВАСЯ БРЮСОВЪ, 10 лѣтъ.

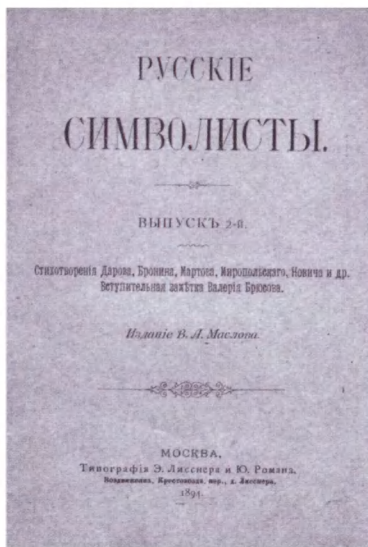
Первая публикация
Валерия Брюсова
(Задушевное слово.
1884. № 16)



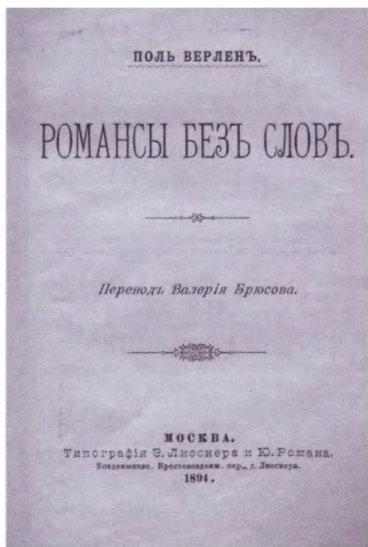
Валерий Брюсов
в юности. Фотогра-
фия, приложенная
к прошению о приеме
в Московский
университет. 1893 г.

Александр
Курсинский. 1895 г.

Александр Ланг
и его невеста
Авдотья Ширяева.
1895 г.

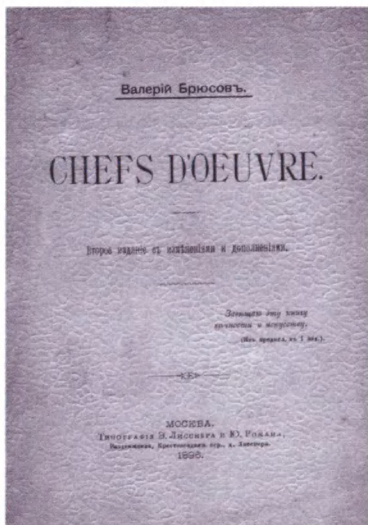
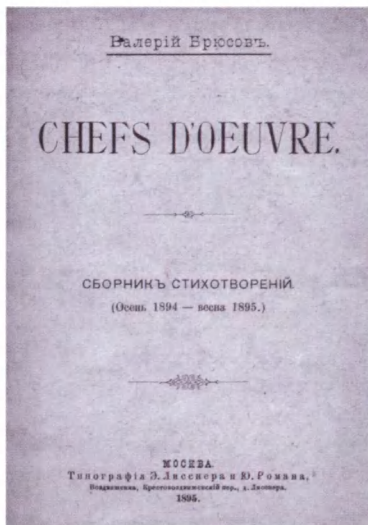


Сборник «Русские символисты». Вып. 2. 1894 г. Обложка



Книга Поля Верлена «Романсы без слов» в переводе Брюсова. 1894 г. Титульный лист

Книга Валерия Брюсова «Chefs d'œuvre». Первое издание. 1895 г. Обложка



Книга Валерия Брюсова «Chefs d'œuvre». Второе издание. 1896 г. Обложка

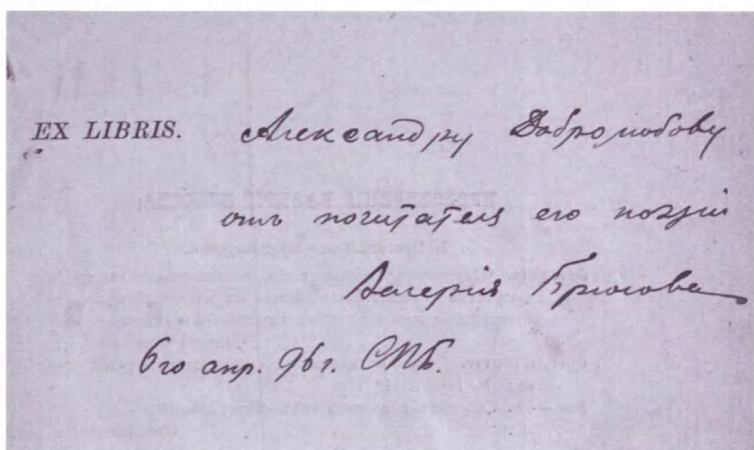


Книга Александра Добролюбова
«Natura naturata, natura naturans».
1894 г. Обложка М. О. Микешина.
Собрание А. Л. Соболева



Александр Добролюбов. 1895 г.

Дарственная надпись Валерия Брюсова Александру Добролюбову
на втором издании книги «Chefs d'œuvre». 6 апреля 1896 г.
Государственная публичная историческая библиотека. Публикуется впервые





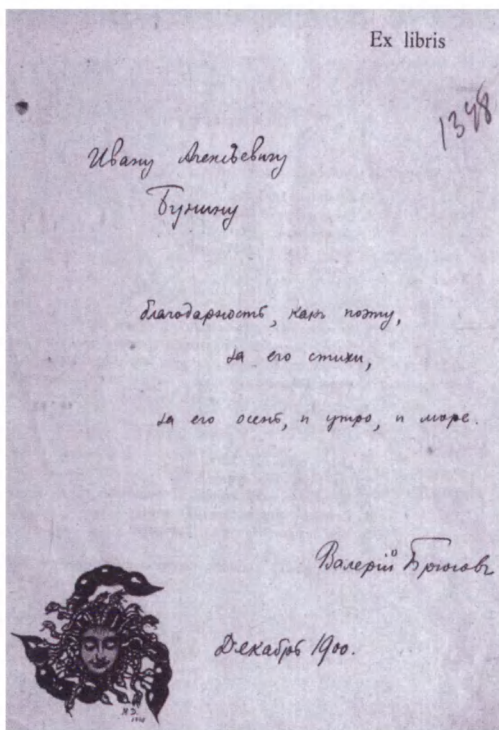
Иван Коневской
(Иван Ореус).
Середина 1890-х гг.



Владимир Гиппиус
Середина 1890-х гг.



Горячечный бред.
Поэт-декадент.
Карикатура М. Д.
(М. В. Добужинского)
(Стрекоза. 1896. № 49)



Константин
Бальмонт. 1900-е гг.

Михаил и Анна
Шестеркины. 1892 г.

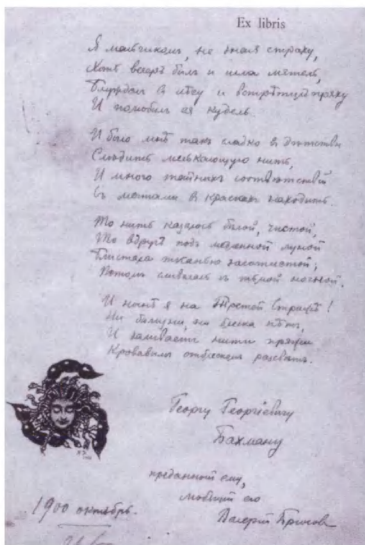
Дарственная
надпись Валерия
Брюсова Ивану
Бунину на книгу
«Tertia vigilia».
Декабрь 1900 г.
Государственная
публичная
историческая
библиотека.
Публикуется впервые

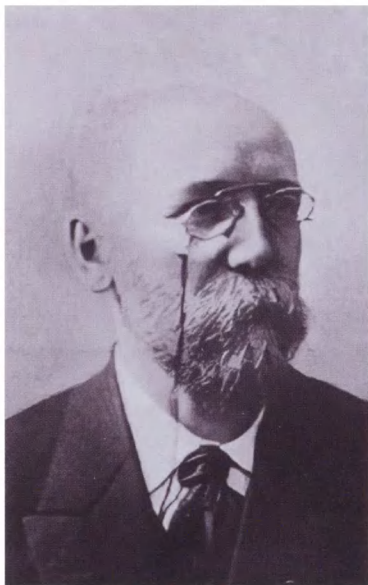


В кругу семьи. Слева направо: Матрена Брюсова (мать поэта), Валерий Брюсов, Иоанна Брюсова, Яков Брюсов. 1899 г.

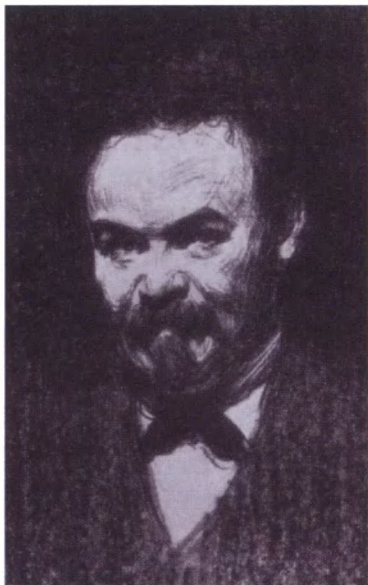
Стихотворная дарственная надпись Валерия Брюсова Георгу Бахману на книге «Tertia vigilia». 1900 г. Собрание В. Э. Молодякова

Жена поэта Иоанна Брюсова (урожд. Рунт). Начало 1900-х гг.





Федор Сологуб (Тетерников).
Начало 1900-х гг.

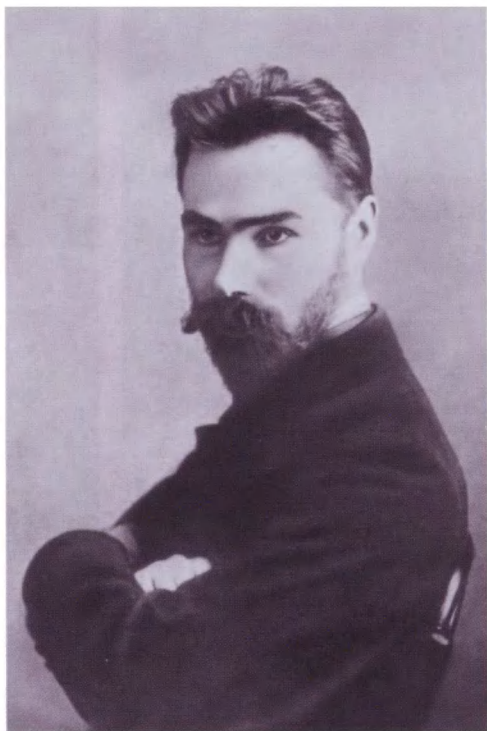


Николай Минский.
Офорт О. Э. Браза. 1906 г.

Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов
и Дмитрий Мережковский. 1900-е гг.



Валерий Брюсов.
Фотооткрытка.
1901 г. Собрание
В. Э. Молодякова



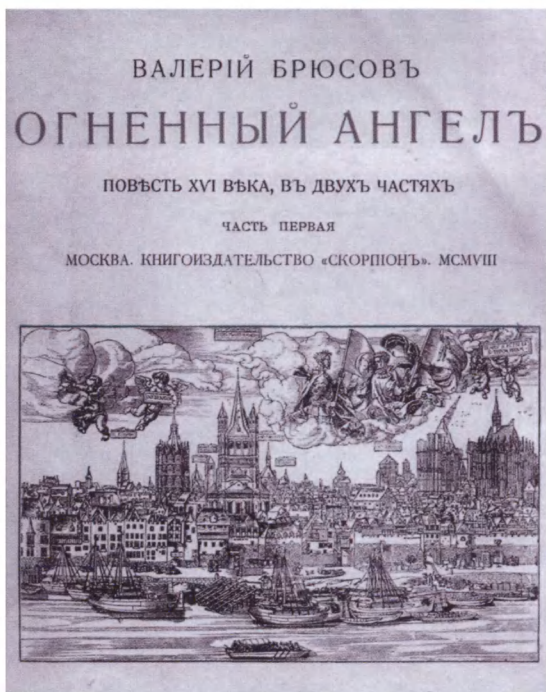
Комитет декадентского
книгоиздательства
«Скорпион».
Слева направо:
Юргис Балтрушайтис,
Михаил Семенов,
Валерий Брюсов,
Сергей Поляков. 1905 г.





Нина Петровская.
1900-е гг.

Борис Бугаев
(Андрей Белый).
1900—1901 гг.



Обложка
первого издания
первой части
романа Брюсова
«Огненный
ангел». 1908 г.



Марка издательства «Скорпион»
работы Н. Г. Филянского. 1900 г.



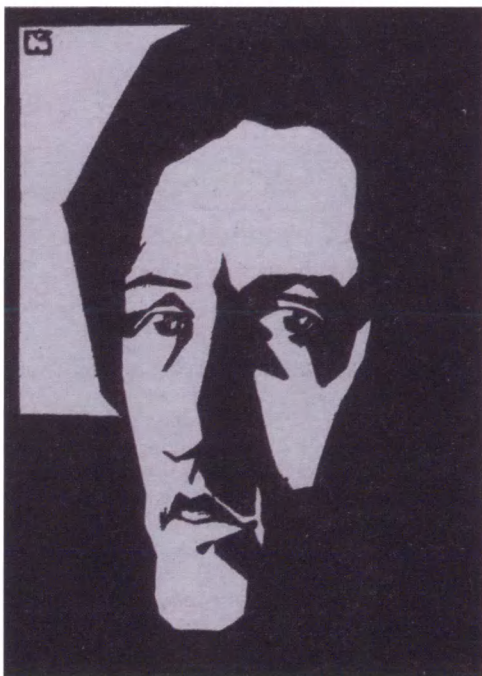
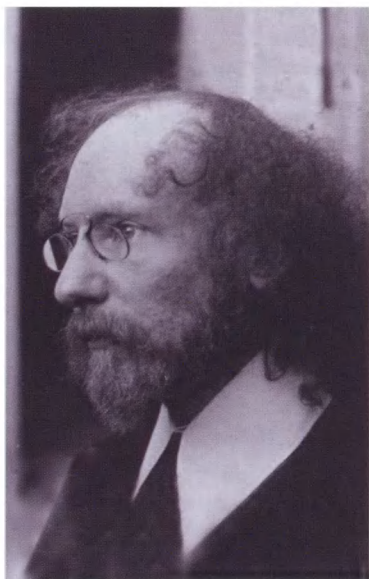
Марка издательства «Скорпион»
работы Н. П. Феофилактова. 1903 г.

«Японский» номер журнала
«Весы» (1904. № 11)



Обложка альманаха «Северные
цветы Ассирийские» работы
Н. П. Феофилактова. 1905 г.





Валерий Брюсов.
1904 г.

Вячеслав Иванов.
1900-е гг.

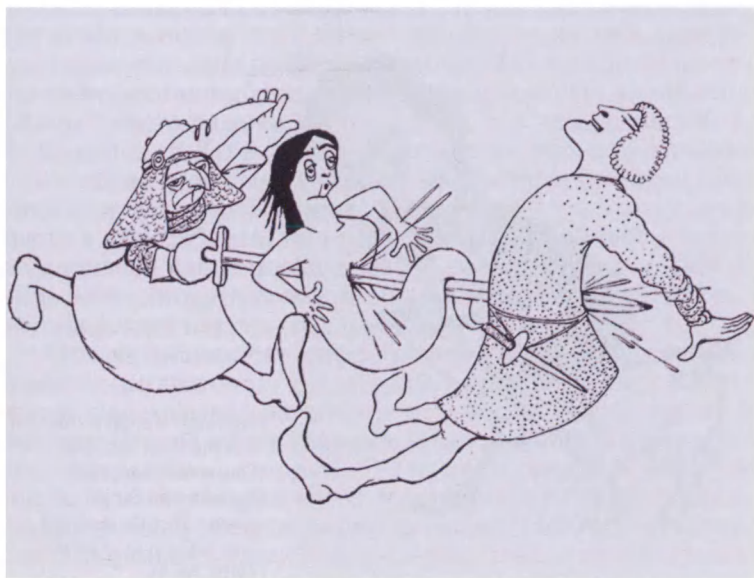
Александр Блок.
Рисунок С. Залюпина.
1922 г.



Вера Комиссаржевская. Фото-открытка с дарственной надписью. 1904 г. Собрание В. Э. Молодякова



Шаржи на Веру Комиссаржевскую в роли Франчески. Журнал «Рампа и жизнь» (1908. № 4)





Крючёк
(С. М. Городецкий).
Шарж на Валерия
Брюсова из серии
«Проект памятников
русским писателям».
Журнал «Серый волк»
(1907. № 3). Подпись
С. Горного (А. М. Оцуца):

Я памятник себе воздвиг
нерукотворный.

К нему не зарастет
звериная тропа.

Мной Скорпион рожден
и выращен проворный.

Мной весится
литературная крупа.



Николай Калабановский.
«Загадочная натура».
Шарж на Валерия
Брюсова из серии
«Герои Чехова в наши
дни». Журнал «Оса»
(1909. № 4)

№ 4), и новый ответ Белого «В защиту от одного нареkania» (1905. № 6). В этих статьях Брюсов и Белый обращались друг к другу по имени и на «ты», чего никогда не делали в жизни. Сам Валерий Яковлевич как теоретик выступал редко, но метко, открыв два первых года издания статьями «Ключи тайн» (1904. № 1) (15) и «Священная жертва» (1905. № 1), которые воспринимались как программа журнала: в них отстаивалась идея свободы творчества от ограничений нетворческого характера, будь то политических (против «общественников») или религиозных (против «идеалистов»). Бальмонт присылал в основном эссе: редактор не стеснял «брата Константина», зная привлекательность его имени для читателей. Однако не менее, чем теоретики, журналу были нужны рецензенты и обозреватели.

Лучшим рецензентом «Весов» был сам Брюсов, хотя, конечно, не все его отзывы были одинаково высокого уровня. Кроме книг русских и французских поэтов и критиков, он разбирал сочинения Кардека и дю Преля о спиритизме, «Историю японской литературы» В. Астона, «Морской сибирский путь на Дальний Восток» Л. Брейтфуса и «Латынь и проблема международного языка» Ш. Андре. Особо надо отметить его выступления по вопросам поэтического перевода. Нечасто, но качественно писал Иванов. Белый выступал активно, но нерегулярно, загораясь интересом к той или иной проблематике. Работой ученых-филологов Брюсов остался недоволен: «Надо выбрать одно: или *интересные* рецензии, или рецензии о *интересных* книгах. Я окончательно решил выбрать первое и раскаиваюсь, что давал в “Весех” место разным пустословиям В. Саводника (В.С.), В. Каллаша (В.К.) и других ради только того, что о таких-то изданиях надо было иметь отзыв. Рецензия сама по себе должна представлять ценность и интерес — только тогда ей место в “Весех”» (16). Он не поместил хвалебный — и малопонятный для непосвященных — отзыв Блока о «Urbi et orbi», объяснив это соображениями тактики: «и так “Русь” все попрекает нас, что мы друг друга славим» (17).

Продуктивным оказалось привлечение в журнал начинающих литераторов, которым редактор заказывал рецензии и подсказывал желаемые по соображениям тактики оценки. Первое время главным объектом атак были реалисты-«знаньевцы», которых «Весы» третировали за «бездарность» и «бескультурие» (идея привлечь в журнал Леонида Андреева была сразу же похоронена). «Принимая в расчет, что “Сборники Знания” расходятся в громадном количест-

ве экземпляров, — писал Брюсов в рецензии на четвертую и пятую книги этого издания (1905. № 4), — надо признать, что они развращают и принижают литературный вкус читателей. Все любящие русскую литературу и русскую речь должны бы бороться с влиянием этих Сборников». Садовской вспоминал: «Брюсов взял со стола брошюру Боцяновского о Вересаеве. “Вы, вероятно, не особенно любите Вересаева. Боцяновский же пишет прямо идиотские вещи. Так вы их...” Я с восторгом подхватил мысль Брюсова. [...] Перспектива “пробрать” Боцяновского показалась мне заманчивой» (18). Рецензия в печати не появилась (не хватило места в майской книжке 1904 года, потом пропала злободневность), но ее автор вскоре превратился в боевого полемиста, прозванного «цепной собакой» «Весов».

Валерий Яковлевич привлек в журнал молодого Корнея Чуковского, не смущаясь его репутацией «одесского репортера»: «Брюсов выволок меня из газетной трясины, затягивавшей меня с каждым днем все сильнее, приобщил меня к большой литературе и руководил мною в первые годы работы. При этом он ни разу не становился в позу учителя. Вся сила и прелесть его педагогики заключалась именно в том, что эта педагогика была незаметна» (19). Их первая встреча произошла в Петербурге в середине января 1906 года, в редакции журнала «Сигналы», который редактировал Чуковский. В письме к жене он описал «черного высокого господина. Стыдливового такого. Очень простого и все будто задумавшегося. — “Я, Корней Иванович, к вам”. — Я думаю, что это какой-нибудь художник, прошу его подождать, а сам выхожу в другую комнату. [...] Александр Ад[ольфович] мне говорит: отчего же вы Брюсова оставляете одного? — Какого Брюсова? — “А в той комнате”. Бегу, оказывается, что это настоящий Валерий Брюсов. Пришел просить моего постоянного сотрудничества в “Весы”. Сразу заговорил о литературе, о Свинберне, о Россетти, о Уитмане. [...] Я просто в него влюбился. Знаю, что он не так хорош, что простота у него деланная, — но все же мне приятно сохранять такой оазис — среди пошлых и скучных встреч последнего времени» (20).

Нескольких перспективных авторов Брюсов упустил: не проявил интереса к предложениям Блока, у которого сам просил рецензий; не настоял на участии в «Весы» и «Скорпионе» Алексея Ремизова, творчество которого не нравилось Полякову. Ремизов привлёк его внимание как человек из крайнего революционного лагеря и посланник от воло-

годских ссыльных, дебютировавших или собиравшихся дебютировать в литературе (Николай Бердяев, Павел Щеголев, Борис Савинков, Иван Каляев). Правда, впечатление от первой встречи 1 ноября 1902 года в Москве оказалось не лучшим: «Немного растерянный маньяк, если не сыщик» (21). В результате Блок и Ремизов стали постоянными авторами «Нового пути» и изданий Соколова. Всего по разу выступили в «Весах» Георгий Чулков и Владислав Ходасевич.

Гордостью «Весов» стали международные связи, каких тогда не было ни у одного русского журнала. Их установление потребовало больших усилий: несмотря на славу Толстого и Достоевского, Россия воспринималась Европой как культурная периферия, к тому же не участвовавшая в конвенциях об авторских правах, а о существовании там модернизма вообще мало кто знал. Надежд на то, что именитые литераторы согласятся специально писать для еще не выходящего русского журнала, почти не было, поэтому приходилось рассчитывать или на личные связи, или на второй-третий сорт. Меньше всего проблем было с Англией: именитый оксфордский профессор Уильям Морфилл, редактор «The Athenaeum», лично знал Бальмонта и заочно Брюсова как обозревателей своего журнала и согласился стать корреспондентом «Весов».

О Германии писали русские немцы Максимилиан Шик и Артур Лютер. Шик в детстве жил в Москве и окончил гимназию в Лейпциге; вернувшись в конце 1901 года в Первопрестольную для получения русского аттестата зрелости, он увлекся «новым искусством», исправно посещал театральные премьеры, лекции и диспуты, а в конце 1902 года познакомился с Брюсовым, став его частым собеседником. В 1903 году Шик уехал в Берлин и поступил в университет, но регулярно сообщал в Москву литературные и художественные новости, а годом позже стал официальным корреспондентом «Весов», писавшим обзоры, рецензии и хронику. Не довольствуясь ролью хроникера, он хотел стать мостом между двумя культурами и уже летом 1903 года задумал книгу «О современной русской поэзии» для немецкого читателя, оставшуюся ненаписанной (22); в 1907 году Шик вернулся в Москву, где прожил до конца жизни. Уроженец Орла Артур Лютер был однокурсником Брюсова по университету, преподавал немецкий язык в учебных заведениях Москвы и писал для русской и германской периодики: ему принадлежит первая серьезная статья о Брюсове на немецком языке, опубликованная в журнале «Das

litterarische Echo», который послужил одним из образцов для «Весов» (23). Шик и Лютер прославились переводами русской литературы на немецкий язык, но судьбы их сложились по-разному. Оказавшись летом 1914 года в Германии, Лютер так и не смог вернуться в Россию и даже был интернирован как вражеский подданный.

Семенов взял на себя итальянцев, обеспечив участие молодого, но уже известного Джованни Папини. С норвежской литературой читателей знакомила поэтесса Дагни Кристенсен, возлюбленная Бальмонта; с латышской — поэт Виктор Эглитис, в переводе которого в 1904 году вышел первый сборник стихов Брюсова на иностранном языке. Окном в датскую литературу намечался... экспортер масла из Вологды Оге (Аггей Андреевич) Маделунг. В 1903 году через своего приятеля Ремизова он передал Брюсову рассказ «Сансара» на русском языке. Адресат присланное не отверг, но подверг критике и заметил, что «“Северные цветы” очень строго предназначены именно для русских писателей. Не столько для “произведений”, сколько именно для писателей». «России я должен почти все в своем развитии, — ответил тот, — и для меня имело бы решающее значение видеть свое произведение принятым на русском языке среди писателей, которые оставили во мне неизгладимый след». Брюсова это не убедило, но вскоре он сам вспомнил о датчанине. «Можно спросить, почему Брюсов именно Маделунгу предложил сотрудничество в “Весях”, — отмечают публикаторы их переписки П.А. Енсен и П.У. Мёллер. — Почему он не обратился к признанному писателю или критику в Дании или к такой известной в России личности, как Тор Ланге? Ответы возможны разные. “Весы” были задуманы как орган *нового* поколения. Вологодские контакты Маделунга были известны Брюсову, а его письма и “Сансара” выдавали в нем восторженного приверженца модернизма. [...] Интерес Брюсова к Маделунгу ограничивается возможностью для “Весов” получать информацию о датской культурной жизни. Маделунг же расценивает эту работу как звено в своих стараниях быть замеченным в качестве писателя». В 1905 году «Северные цветы» поместили его рассказ «Цвет познания», но участие в «Весях», объявленное в первом номере, ограничилось несколькими рецензиями. Позже Маделунг получил известность как прозаик (24). А вот в Северо-Американских Соединенных Штатах корреспондентов не было, поэтому первый американский декадент Джордж Сильвестр Вирек остался неизвестным в России.

Наибольшее внимание привлекала Франция. Париж претендовал на звание литературной столицы Европы (а значит — мира), поэтому без новостей оттуда было не обойтись, и все уважающие себя русские журналы имели там более или менее постоянных корреспондентов. Замысел Брюсова требовал французских авторов, причем именитых. На помощь пришел поэт и художник Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин, с 1901 года живший в Париже и ставший своим в тамошних литературных и художественных кругах. В начале 1903 года он приехал в Россию, вооруженный рекомендательными письмами к Брюсову от Бальмонта и Яценко (25). Впервые Волошин увидел Валерия Яковлевича 23 января 1903 года на Религиозно-философском собрании в Петербурге: не зная, кто это, запомнил «лицо иступленного, изувера раскольника», — а днем позже познакомился с ним в редакции «Нового пути»: «“Как можно ошибаться в лицах”, — подумал я, когда увидал, что это лицо может быть красивым, нежным и грустным» (26).

Отношения Волошина с «Новым путем» не задались. Его стихи появились там в грубо искаженном Перцовым виде, а затем были изруганы Гиппиус, но среди московских символистов он имел большой успех. Заинтересовался им и Брюсов. В конце 1903 года Макс, как звали его друзья и как он сам подписывал письма и статьи, отправился в Париж, имея при себе удостоверение редактора отдела изящных искусств «Весов». На протяжении 1904 года Волошин был одним из ведущих сотрудников журнала (уже в первом номере появилась его статья «Скелет живописи»). По просьбе Брюсова он взял на себя контакты с местными литераторами и художниками, сумев привлечь к оформлению «Весов» Одилона Рэдона (апрельский и майский номера 1904 года целиком оформлены им). Правда, рассчитывать на мэтров вроде Анатоля Франса не приходилось, а визит к Метерлинку закончился неудачей. Реми де Гурмон разрешил объявить свое участие в журнале, но ограничился позволением переводить уже опубликованные статьи и советом привлечь к работе своего куда менее знаменитого брата Жана. Полезным сотрудником стал секретарь редакции «*Mercur de France*» Адольф Ван Бевер, однако у него не было литературного имени. Самой крупной рыбой в неводе «Весов» оказался Рене Гиль — известный в узких кругах, но непопулярный и малочитаемый теоретик «научной поэзии», давний знакомый Александры Гольштейн, дружески опекавшей Волошина.

В истории французского символизма Гиль без ложной скромности ставил свое имя вслед за Верленом и Малларме. Практически не имевший доступа в парижскую прессу, он охотно согласился писать для московского журнала, а тому выбирать не приходилось. Гиль был одним из активнейших авторов «Весов» на протяжении всех лет их существования, позднее продолжив сотрудничество с Брюсовым в «Русской мысли» и с Волошиным в «Аполлоне». Валерий Яковлевич с уважением писал о его «научной поэзии» и периодически ссылаясь на его авторитет (хотя почти не переводил стихи мэтра), в результате чего в России Гиль казался серьезной литературной величиной. Впрочем, так думали не все. 15 декабря 1904 года в письме Брюсову из Парижа Семенов назвал Гиля «иксом^{*}, да к тому же скучным», добавив, что «так же на него смотрят и все те французы, с которыми я здесь встречаюсь, а это все народ, так или иначе причастный к литературно-художественным кругам» (27). «Хвастливый француз пользуется страницами русского журнала для того, чтобы полемизировать со своими литературными врагами, главное же сочинять себе панегирики как реформатору», — отмечал Метнер в екатеринославской газете «Приднепровский край», которая, благодаря ему, оказалась не только хорошо информированной о «новом искусстве», но и превозносила его.

Насколько Валерий Яковлевич понимал это, судить трудно, но несомненно, что он дорожил сотрудничеством Гиля и интересовался его теориями. Могла привлекать его и поза непризнанного новатора — Брюсов тоже был новатором и тоже прошел через непризнание. Однако трудно поверить в то, что он, неплохо знавший французскую литературу и разбиравшийся в поэзии, соглашался с экстравагантными оценками мэтра и принимал на веру его рассказы о собственном величии и поголовном восхищении современников. Публикатор их переписки Р.М. Дубровкин попытался показать истинный масштаб творчества Гиля и характер его статей для русской аудитории в контексте современной ему французской литературы, а не через призму брюсовских похвал. «Чтобы убедиться в полноте забвения, достаточно просмотреть указатели к корреспонденции тогдашних писателей, отчеты о литературных событиях, мемуары и т.п. Имени Гиля там не обнаруживает-

^{*} То есть неизвестной величиной: так Брюсов в письме к нему назвал Ван Бевера.

ся даже в случайных перечислениях. [...] В чужой стране, на чужом языке Гиль, годами не печатавшийся у себя на родине, теперь вступал в спор с ведущими парижскими критиками. [...] Французский раздел “Весов” — журнала, претендующего на всемирность, — получился в результате не столько партийным (чего собственно и добивался Брюсов), сколько однобоким» (28).

2

Появление «Весов» совпало с началом русско-японской войны, поэтому в списках книжных новинок сразу же появился особый раздел изданий о Дальнем Востоке. Брюсов не сомневался в скорой победе России. Стихотворение «К Тихому океану», опубликованное в «Русском листке» 29 января 1904 года, на следующий день после объявления войны, вызвало восторженные отзывы Перцова: «Я порадовался: нужно продолжать Тютчева», — а позднее Петра Струве, марксиста, ставшего империалистом: «...поэтическая жемчужина патриотической мечты» (29). Главную идею: господство на Тихом океане есть историческое предназначение России — Брюсов повторил Волошину в начале февраля: «Япония будет раздавлена страшной тяжестью России, которая катится к Великому Океану по столь же непобедимым космическим законам, как лавина катится вниз, в долину» (30), — и развил в одной из «весовских» рецензий: «Русским людям всех направлений понятно, что ставка идущей теперь борьбы: будущее России. Ее мировое положение, вместе с тем судьба наших национальных идеалов, а с ними родного искусства и родного языка, зависит от того, будет ли она в XX веке владычицей Азии и Тихого океана. Каковы бы ни были личные симпатии того или другого из нас к даровитому народцу восточных островитян и их искусству, эти симпатии не могут не потонуть в нашей любви к России, в нашей вере в ее назначение на земле» (1904. № 4).

Девятнадцатого марта в письме Перцову Валерий Яковлевич выразился еще воинственнее: «Ах, война! Наше бездействие выводит меня из себя. Давно нам пора бомбардировать Токио. [...] Надо бросить на произвол судьбы Артур и Владивосток — пусть берут их японцы. А мы взамен возьмем Токио, Хакодате, Йокогаму! [...] Я люблю японское искусство. Я с детства мечтаю увидеть эти причудливейшие японские храмы, музеи с вещами Кионаги, Оутомара, Йей-

ши, Тойкуны*, Хирошимы (Хиросигэ? — В.М.), Хокусаи и всех, всех их, так странно звучащих для арийского уха. Но пусть русские ядра дробят эти храмы, эти музеи и самих художников, если они там еще существуют. Пусть вся Япония обратится в мертвую Элладу, в руины лучшего и великого прошлого, — а я за варваров, я за гуннов, я за русских! [...] Россия должна властвовать на Дальнем Востоке. Великий Океан — наше озеро, и ради этого “долга” ничто все Японии, будь их десяток! Будущее принадлежит нам, и что перед этим не то что всемирным, а космическим будущим — все Хокусаи и Оутомара вместе взятые» (31). «Дробить ядрами» храмы и музеи Валерий Яковлевич призвал, конечно, в запале, ибо потом сам же писал: «Мы (круг «Весов». — В.М.) тоже разрушаем — но оковы, мешающие нам свободно двигаться, и стены, закрывающие нам дороги. Но мы не имеем и не можем иметь ничего общего с теми “молодыми”, которым хочется сокрушить античные статуи за то, что это статуи, и поджечь дворцы за то, что это дворцы. Конечно, и в варварстве, *как во всем в мире*, есть своя прелесть, но я не колеблясь поставлю скорострельную пушку для защиты Эрмитажа от толпы революционеров» (32).

Перцов был настроен менее воинственно и более скептически. Он не успел ответить Брюсову, как произошло событие, моральные последствия которого оказались столь же тяжелыми, как и военно-политические: 31 марта, подорвавшись на mine, затонул флагман Тихоокеанской эскадры броненосец «Петропавловск», на котором погиб командующий эскадрой вице-адмирал С.О. Макаров. Брюсов посвятил этому статью «К несчастью с “Петропавловском”»: оказывается, декадент читал отчеты о результатах ходовых испытаний военных кораблей! — но не смог пристроить ее ни в одно издание. 3 апреля Перцов писал ему: «Теперь, после чудовищного 31 марта все другое заслонилося. Какие дни мы переживаем! Не хочется ни говорить, ни думать об “этом” — и только о том и думаешь. Как мог случиться этот ужас?». Затем последовал ответ на «выкладки» адресата: «А стратегия Ваша — та более эстетична, нежели практична. Конечно, красиво, как Хокусаи дробятся от бомб, — вопрос: как до них добраться? “По морю, аки по суху”? Сменить Порт-Артур на Токио, вероятно, никто бы не отказался, но отдать первый легче, чем получить второй».

* Имена японских художников в тогдашней транскрипции; ныне принято: Киёнага, Утамаро, Эйси, Тоёкуни.

В частных письмах Брюсов давал волю эмоциям, но стремился сделать политическую линию «Весов» — если вообще можно говорить об их линии — максимально нейтральной. Журнал цитировал японофобские филиппики Реми де Гурмона, а на соседних страницах давал статью о художнике Харунобу. Октябрьский и ноябрьский номера 1904 года были оформлены в японском стиле, причем часть воспроизведенных в них гравюр была заимствована из «собрания редакции»: «Помещая в этом номере ряд воспроизведений японских рисунков, мы хотим напомнить читателям о той Японии, которую все мы любим и ценим, о стране художников, а не солдат, о родине Утамаро, а не Ойамы*» (1904. № 10).

Апология культуры врага в дни, когда все связанное с Японией объявлялось «желтой опасностью», выглядела вызывающе, противореча не только официальному курсу, но и настроениям большей части общества. 23 ноября Семенов писал Брюсову из Парижа: «Обложка произвела самое удручающее впечатление, на одних (из которых первый есмь аз) из патриотических соображений, и решительно на всех из эстетических. [...] Тут уже ходит версия, что редакция “Весов” поместила этот рисунок из ненависти к японцам, из желания показать, насколько скверно их искусство». Брюсов решительно не согласился «Как только возникла у нас с Сергеем Александровичем мысль сделать “японский” №, мы спросили себя: не будет ли это бестактно. И, рассудив, решили, что нет. “Весы” должны среди двух партий японофильствующих либералов и японофобствующих консерваторов занять особое место. “Весы” должны во дни, когда разожглись политические страсти, с мужеством беспристрастия исповедать свое преклонение перед японским рисунком. Дело “Весов” руководить вкусом публики, а не потворствовать ее инстинктам. [...] Что касается художественного достоинства рисунка на обложке, то спор об этом мог бы стоять на твердой почве, если б мы с Вами изучали специально японское искусство; но оба мы в нем вовсе не знатоки. Вам рисунок не нравится, мне — нравится, и дело кончено». Брюсов болезненно переносил критику в адрес «Весов», принимая ее на свой счет, поэтому Семенов поспешил объяснить: «Если я Вам, может быть, и в резкой форме, указывал на недостатки “Весов”, то мною руководило лишь желание видеть “Весы” лучшими, и никакого намерения обидеть кого-либо у меня

* Маршал Ивао Ояма — главнокомандующий японской армией.

не было. Я имел в виду исключительно дело, а не лиц». Но рисунок на обложке «японского» номера все равно назвал «скверным», ссылаясь на мнение специалистов (33).

К концу лета 1904 года в письмах Брюсова появились скептические ноты. «Начинаю думать, — писал он 29 августа Вячеславу Иванову, — что всю войну с Японией мы проиграем. Мои бодрящие стихи [...] производят теперь чуть не комическое впечатление» (34). Перелом настроения выразился в статье «Метерлинк-утешитель. (О “желтой опасности”», тоже не нашедшей издателя. «Кажется мне, Русь со дня битвы на Калке не переживала ничего более тягостного. [...] Нельзя безнаказанно “попускать” столько поражений. Рок не прощает, если его вызываешь на состязание. Победа, настоящая победа нужна нам не столько по военным, даже не по психологическим, а по почти мистическим причинам», — писал он Перцову после сдачи Порт-Артура (35). Но никаких побед не было. Наоборот, новая серия неудач русской армии заставляла задуматься над извечным вопросом: кто виноват в случившемся? «Нет, пусть японцы — гении, — отвечал Перцов 24 февраля 1905 года, — пусть их вдвое против нас, пусть у них стосаженные пушки, — но нельзя, нельзя так! Тут что-то *не то*. Проигрываем *мы*, собственными руками. Если и после этого все еще останется Куропаткин* и это угрюмое убожество**, — я брошу вовсе газеты и буду только горланить, как либерал: до-лой войну, до-лой войну!».

Последние слова метили в адресата, которому досталось за появление в «Новом пути» (1904. № 10)*** тираноборческого стихотворения «Кинжал», напечатанного без даты и легко относимого к недавним событиям. «Досаден только его синхронизм с нынешней, слишком безопасной “бурей” в либеральных стаканах», — сетовал Перцов 14 ноября. «“Эсдечники” (социал-демократы. — В.М.) называют вас теперь из-за них “русским Беранже” и “своим”, и это слышать ужасно как-то огорчительно и за вас неприятно», — вторила ему 22 декабря Гиппиус, против публикации, однако, не возражавшая.

* Генерал А.Н. Куропаткин, военный министр, главнокомандующий сухопутными и морскими силами, действовавшими против Японии.

** Вероятно, адмирал Е.И. Алексеев, заместитель на Дальнем Востоке и предшественник Куропаткина на посту главнокомандующего.

*** С этого номера в журнале активно участвовали «идеалисты» — группа авторов сборника «Проблемы идеализма» (1903) во главе с Н.А. Бердяевым и С.Н. Булгаковым.

«Итак революция, дорогой Петр Петрович! — сообщал Брюсов 10 декабря 1904 года. — [...] Я был на обеих московских манифестациях, особенно удачно на первой. Я вошел в кофейню Филиппова, и нас там заперли. Радикалы не могли меня упрекать, что я не примкнул к манифестантам, а правительство не могло меня осуждать, что я присутствовал на манифестации: уйти было нельзя. [...] Потом писали какой-то адрес “к обществу” с выражением “омерзения” правительству. Я покорно, и не удивляясь более, подписал» (36). Иронический тон письма — по отношению к собственному участию в событиях, а не к самим событиям, включая разгон мирных демонстраций, — не избавил его от упреков бескомпромиссного друга. В ответ Валерий Яковлевич написал стихотворение «К согражданам», призвав отложить внутренние распри до победы над внешним врагом.

Теперь не время буйным спорам,
Как и веселым звонам струн.
Вы, ликторы, закройте форум!
Молчи, неистовый трибун!

Стараниями Перцова оно появилось в газете «Слово». «Очень спасибо за напечатание стихов к неистовому трибуну, — благодарил Брюсов. — Мне это очень важно и дорого» (37).

Петр Петрович понял, что погорячился: «Ну, не сердитесь. [...] Вас же мне особенно жаль отдавать “либералам” — даже с чисто художественной точки зрения: ибо Ваши “патриотические” стихи всегда лучше “возмутительных”. Конечно, никакой либеральный “Тиртей”* (ни даже П.Я.!) не напишет “Кинжала”, но таких стихов, как “К согражданам” и “Двенадцатый час” не всегда удавалось писать и Тютчеву. Это вне всякого сомнения, что Вы останетесь политическим поэтом новой России (помимо других Ваших чинов), как Тютчев, Майков, Хомяков и прочие постарше — были поэтами старой. Смотрите же, пишите так, как нужно писать такому поэту». Да и дневники Брюсова говорят о его, как минимум, неоднозначном отношении к происходившему: «Я не мог выносить той обnoxiousности восхитаться ею (революцией. — В.М.) и негодовать на правительство, с ка-

* Древнегреческий поэт (VII век до н.э.), восхвалял спартанскую старину и воспевал доблесть спартанских воинов; считался образцом «гражданского» поэта.

кой обращались ко мне мои сотоварищи (кроме очень немногих). Я вообще не выношу предрешенности суждений. И у меня выходили очень серьезные столкновения со многими. В конце концов, я прослыл правым, а у иных и “черносо-тенником”». Последнее относилось к р-р-революционным «грифам». Не их ли имел в виду Брюсов, когда в середине февраля 1905 года писал Перцову: «“Правовое государство” — “административный произвол”... Когда я еще раз слышу эти слова, я испытываю жадное желание спустить говорящего с ближайшей лестницы» (38)?

Окончание боевых действий на Дальнем Востоке совпало с первым серьезным кризисом в «Весах». Семенов уже с начала 1905 года настаивал на введении беллетристического отдела для оживления журнала и привлечения подписчиков. 21 июня Поляков подал соответствующее прошение и 7 октября получил разрешение на изменение программы издания. Неожиданно Брюсов объявил об уходе от редакторства: «“Весы” покидаю на заботы Брони* и Сергея Александровича», — сообщил он сестре Надежде 3 июля (39). Наряду с накопившейся усталостью и раздражением от работы в одиночку свою роль сыграли бурный роман с Ниной Петровской, который в тот момент был для него важнее любых редакционных дел, и начало писания «Огненного ангела». И все же собратья, прежде всего Иванов, объявивший его побег «дезертирством», уговорили Брюсова остаться: «“Весы” без тебя — невозможность, или уже не “Весы”» (40). Понимая, что «на заботах Брони и Сергея Александровича» журнал погибает, Валерий Яковлевич в сентябре вернулся к работе, а в декабре подготовил проект реформы редакции, принятие которого совпало с общей реорганизацией журнала.

До октября 1905 года цензура еще действовала, поэтому, говоря о революции, приходилось прибегать к аллегориям. Дело не только в эзоповом языке: Брюсов привык смотреть на вещи, как сам говорил, «в мировом масштабе», даже когда думал о текущей политике. Таково стихотворение «Юлий Цезарь» — одно из его наиболее ярких политических выступлений. По форме это обычный для Брюсова портрет «любимца веков», но в сборнике «Венок» оно вошло в раздел «Современность» с примечанием, что написано «до октябрьских событий», то есть до Всероссийской политической стачки и Ма-

* *Бронислава Матвеевна Рунт* — секретарь редакции «Весов», свояченица Брюсова.

нифеста 17 октября. Несмотря на римские реалии, ясно, что речь идет не о Юлии Цезаре. Или не только о нем:

Хотя б прикрыли гроб законов
Вы лаврами далеких стран!
Но что же! Римских легионов
Значки — во храмах у парфян!
Давно вас ждут в родном Эребе!
Вы — выродки былых времен!..

Ни либеральные, ни революционные Тиртеи таких стихов не сложили. Кроме того, «неистовые трибуны» жаждали свободы любой ценой, а для Брюсова главным оставались государственные интересы России, ради которых он был готов поступиться даже политической свободой:

Да! цепи могут быть прекрасны,
Но если лаврами обвиты...

Если же «значки римских легионов» оказались «во храмах у парфян»... «Бывают побитые собаки, — писал он Перцову 24 сентября, — зрелище невеселое. Но побитый все-российский император!» (41).

Осудив самодержавие, проигравшее «желтолицым макакам», Брюсов видел в революции разрушительную силу, стихию, которой мог любоваться, но не питал иллюзий относительно ее характера и возможных последствий. Еще в 1901 году в письме к Горькому он восклицал: «Лучшие мои мечты о днях, когда все это будет сокрушено. [...] Я не считаю себя вне борьбы. Разве мои стихи [...] не нанесли ни одного удара тому целому, которое и сильно своей цельностью? И если можно будет, о, как весело возьмусь я за молот, чтобы громить хоть свой собственный дом, буду жечь и свои книги. Да. Но не буду браться за молот лишь затем, чтобы разбили мне голову. Для этого я слишком многих презираю» (42). Конечно, в этих словах много декадентской поэмы, но сквозь нее видна позиция. В протестах и петициях, милых сердцу либералов со времен «великих реформ», максималист Брюсов видел полумеры, годные лишь для того чтобы тешить самолюбие участников, а потому с иронией относился к политическим экстраваганцам Бальмонта. Да и не верится, что он собирался «громить свой собственный дом». Одно дело мечтать о мистическом очистительном костре, в котором сгорит ветхая оболочка дряхлеющего мира. И совсем другое — сталкиваться с пораженчеством, привет-

ствиями в адрес «микадо», стачками, террором, со всем, что несла России революционная волна.

Но как же быть со стихотворением «Грядущие гунны», написанным осенью 1904 года и доработанным в начале августа 1905 года? Его заключительные строки: «Но вас, кто меня уничтожит, / Встречаю приветственным гимном», — так часто цитировались по поводу и без повода. Оно показывает, что Брюсов видел в революции *только* разрушительное начало, о чем писал еще в 1903 году в отвергнутой Мережковскими статье «Торжество социализма»: «Прежде чем строить новую, еще небывалую общественную жизнь, — должно сокрушить все современные устои. [...] Если бы социалисты договорили до конца, если бы они смели иногда сознаваться сами себе, — они должны были бы поставить на своем знамени первым словом вопль: “Спалим!”». В стихотворении «Близким», обращенном к радикальной оппозиции и одному из ее литературных воплощений — группе «Факелы», он заявил:

Где вы — как Рок, не знающий пошады,
Я — ваш трубач, ваш знаменосец я,
Зову на приступ, с боя брать преграды,
К святой земле, к свободе бытия!
Но там, где вы кричите мне: «Не боле!»,
Но там, где вы поете песнь побед,
Я вижу новый бой во имя новой воли!
Ломать — я буду с вами, строить — нет!

Не случайно на последнюю строчку — ради которой стихотворение и было написано — обратил внимание Ленин, назвавший автора «поэтом-анархистом» (43).

В разгулявшемся хаосе Брюсов не находил себе места. «Революцией интересуюсь лишь как зритель (хотя и попал под казачьи пули в Гнезниковском переулке)*. А живу своей жизнью, сгораю на вечном костре... — писал он Шестеркиной 1 ноября. — Останусь собой, хотя бы, как Андрэ Шенье, мне суждено было взойти на гильотину. Буду поэтом и при терроре, и в те дни, когда будут разбивать музеи и жечь книги, — это будет неизбежно. Революция красива и

* Девятнадцатого октября 1906 года И.М. Брюсова писала Н.Я. Брюсовой: «Валю совсем было убили, но “Бог миловал”, только остается сказать. Он, Валя, замешался в толпе, которая стала громить дом полицмейстера, по толпе дали залп. Как Валя рассказывает, совсем рядом стоявшего человека ранили» (ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 195). Эти ощущения Брюсов описал в рассказе «Последние мученики».

как историческое явление величественна, но плохо жить в ней бедным поэтам. Они — не нужны» (44). Что же делать? Покорно лечь на плаху или под молот? Ответ — в том же стихотворении.

А мы, мудрецы и поэты,
Хранители тайны и веры,
Унесем зажженные светы
В катакомбы, в пустыни, в пещеры.

Значит, «мудрецам и поэтам», «тепличным цветам человечества, которым погибнуть под ветром и пылью», как назвал их Брюсов в рассказе «Последние мученики», с революцией не по пути, и она несет им только гибель. Отвечая год спустя на анкету Корнея Чуковского о связи между революцией и литературой, Брюсов был краток: «Писатели разделяются на талантливых и бездарных. Первые заслуживают внимания, вторые — нет. Талант писателя ни в каком отношении к его политическим убеждениям не стоит. [...] Какая связь между революцией и литературой? Революция может дать несколько тем писателю, разработать которые он может или талантливо, или бездарно — вот и все» (45).

Ну а «приветственный гимн»? Что приветствовал в революции Брюсов? Ответ можно найти в стихотворении Волошина «Северовосток», написанном в 1920 году, «перед приходом советской власти в Крым» (примечание автора), точнее, в эпиграфе к нему: «"Да будет благословен приход твой — Бич Бога, которому я служу, и не мне останавливать тебя". Слова Св. Лу, архиепископа Труаского, обращенные к Атилле».

Нам ли весить замысел Господний?
Всё поймем, всё вынесем любя —
Жгучий ветер полярной Преисподней —
Божий Бич — приветствую тебя!

Летом 1905 года Валерий Яковлевич написал сердитую стихотворную отповедь «одному из братьев», навеянную спорами с радикально настроенным младшим братом Александром: тот осудил стихи о «неистовом трибуне» как призыв уйти от борьбы, хотя они были написаны в совершенно иной ситуации (46). Брюсов предоставил страницы «Весов» Белому для рецензий на анархистские и социал-демократические брошюры, а в другом стихотворении о революции «Знакомая песнь» заявил:

Я, быть может, богомольней,
Чем другие, внемлю ей,
Не хваля на колокольне
Неискусных звонарей.

Отправляя его 1 ноября в редакцию «Вопросов жизни»* — намного более радикального журнала, чем «Весы», — Брюсов просил непременно поставить под ним дату: «Август 1905 (показывающую, что стихи написаны до революционного октябрьского взрыва, когда “звонари” показали гораздо больше искусства)» (47). Сказанное проясняется письмом к Перцову от 24 сентября: «Революция... Плохо они делают эту революцию! Их деятели — сплошная бездарность! Не воспользоваться никак случаем с “Потемкиным”! Не использовать до конца волнений на Кавказе! Не дать за 16 месяцев ни одного оратора, ни одного трибуна!» (48). Адресат был шокирован, как был шокирован Иван Розанов, услышав в феврале 1901 года от Брюсова по поводу покушения на министра народного просвещения Боголепова следующие слова: «Люди, к сожалению, совершенно разучились убивать друг друга». «Брюсов был прав. Все, что делаешь, надо делать хорошо. Если необходимо убивать, надо бить без промаха. Но отчуждение от Брюсова у меня все-таки осталось», — констатировал Розанов, добавив, что оно продолжалось восемь лет (49). Брюсов позже вложил эти слова в уста художника-ницшеанца Модеста, героя повести «Последние страницы из дневника женщины»: «Современный человек должен всё уметь делать: писать стихи и управлять электрической машиной, играть на сцене и убивать».

Среди отзывов современников об отношении Брюсова как человека и поэта к революционным событиям заслуживает внимания мнение Чуковского: «Когда хлынула революция, Брюсов единственный из всех русских поэтов встретил ее, *не изменяя самому себе*. [...] Поэт-мудрец не отдал своей мудрости за чечевичную похлебку уличных похвал. Что же — он отвернулся от революции? Нет, напротив — встретил ее с объятьями. Но он взял ее в реторту своего творчества, там растворил ее, расплавил, подверг тысячам различных реакций, и когда из этой реторты она дошла до нас, она в каждом изгибе своим была брюсовской, мудрой и мраморной. [...] Прочтите (или лучше заучите на-

* Выходил с января по декабрь 1905 года вместо «Нового пути» под редакцией Булгакова, Бердяева и Д.Е. Жуковского, позже — Н.О. Лосского при фактическом руководстве Чулкова.

изусть) его “Грядущих гуннов”, его “Медузу” («Лик Медузы». — В.М.), его “Довольных”, “Знакомую песнь”, “Юлия Цезаря”, — и вы лучше всяких слов поймете, почему единственным русским революционным поэтом ныне должен считаться “декадент” и “символист” Валерий Брюсов. Он один перевоплотил революцию в личную *свою* лирику, в *свои* грезы, *свои* ощущения, в *свои* надежды, *свое* отчаяние» (50).

Так думали не все, даже в символистском лагере. 17 марта 1906 года Чуковский сообщал Брюсову из Петербурга: «Был на днях у Вячеслава Иванова. Вечер изобилов поэтами иудейского вероисповедания, воспевавшими баррикады и забастовки. Много говорили о Вас» (51). Что именно говорили, можно представить по истории ссоры Иоанны Брюсовой с Зиновьевой-Аннибал в январе того же года. Версия Лидии Димитриевны: «Пришла Брюсова и стала говорить, что она и прочие “обыватели” Москвы благодарны Дубасову (генерал-губернатору, подавившему Декабрьское вооруженное восстание. — В.М.) и что лучше ей слушать пристава, нежели еврея. Я ругалась, а В[ячеслав] сказал, что в своем доме не допустит больше ни одного слова, оправдывающего расстрелы (удалилась в слезах бедная злая дурочка)» (52).

«Бедная злая дурочка» зафиксировала несколько иную картину в письме к Надежде Брюсовой: «Лидия говорила о Дубасове всякие ужасы, о зверях-солдатах, я ей что-то возражала. Ничего ужасного я не говорила, а так, обычные слова, вроде что бы стали говорить революционеры про зверей-солдат, если бы они к ним присоединились и т.д. [...] Иванов [...] накинута на меня, что он не позволит, чтоб в его доме защищали убийц, так же, как и Валерий не позволяет, чтобы в его доме осуждали Толстого. Конечно, это была давно затаенная месть. Когда-то действительно Валя такие слова говорил Лидии. Но, видит Бог, я не виновата, что Валя может наговорить грубостей. [...] Я не сумела говорить, слезы выступили на глазах, и я ушла. Ив[анов], проводив меня вниз, уговаривал не обижаться, но я все-таки рассердилась очень. Пришла домой. Вале ничего не сказала и боялась, он бы их заел. [...] В воскресенье они (у Сологуба) сторонились меня. Тут Валя уже знал о моей ссоре. Он говорил удивительно противореволюционные вещи. Иванов только слегка защищался». Что касается «злости» в понимании Зиновьевой-Аннибал, то несколькими строками выше Иоанна Матвеевна написала: «Я почему-то спросила о Мте Блок. Лидия заявила, что она у них не бывает, что

вообще она (Зиновьева-Аннибал. — *В.М.*) причисляет ее к категории злюк, к которой причисляет еще вас (Н.Я. Брюсову. — *В.М.*), Зиночку (Гиппиус. — *В.М.*) и меня, после этого я решила, что г-жа Блок — хороший человек» (53). Заглазно Зиновьева-Аннибал называла Брюсова «гадиной», «гнилью купеческой» и «паскудной душонкой».

Под воздействием захвативших общество настроений Валерий Яковлевич снова стал переводить Эмиля Верхарна, стихи которого показались ему созвучными происходящим событиям. Готовые тексты он отдал в «Вопросы жизни», учитывая революционный характер журнала. К весне 1906 года переводов набралось на отдельную книгу, о которой Брюсов давно мечтал. 5 марта он впервые написал Верхарну, рассказал о себе и официально попросил разрешения на готовящееся издание. Знаменитый бельгиец незамедлительно ответил и дал требуемое разрешение. С этого началась их переписка, а затем и дружба, продолжавшаяся до самой гибели Верхарна в конце 1916 года (54). Выпущенные «Скорпионом» в июне 1906 года «Стихи о современности» открыли давно задуманную «Библиотеку новой поэзии». Один из первых экземпляров был подарен «моему сотоварищу и сопернику по переводам Э. Верхарна Георгию Ивановичу Чулкову в знак неизменного дружества» (55), но уже в следующем году автор и адресат стали литературными врагами.

Переводы высоко оценили Бальмонт и Блок. «Привет тебе за гордую победу, — писал «брат Константин» 2/15 июля 1906 года из Франции. — [...] В твоём воссоздании получился сильный, красивый, грозный, интересный поэт» (56). «Переводы Брюсова передают и силу, и грубость, и страстность, и нежность того “свободного стиха”, создателем которого считают Верхарна. Наш поэт во многом родственен знаменитому бельгийцу», — отметил Блок во второй из своих рецензий (57). С этим выводом солидаризовался знаток европейской литературы Федор Батюшков (58), но решительно не согласился Волошин, сделавший строгий разбор книги: «Верхарн отразился не в плоском, а в выпуклом зеркале, и настоящее лицо его исказилось, хоть и осталось внешне похожим. Это естественное следствие столкновения двух столь непохожих темпераментов. [...] Брюсову я ставлю тяжелое обвинение в том, что он при всей своей любви к Верхарну работал над стихом переводов далеко не с той великой требовательностью, с какой он работает над своими собственными стихами». Валерий Яковлевич, в свою очередь, ранее критиковал волошинские переводы из Верхарна на страницах тех

же «Весов», где теперь велась их корректная, но принципиальная полемика. Несмотря на настойчивые просьбы Кречетова, редактора враждебного Брюсову журнала «Перевал», Волошин не отдал ему свою статью, чтобы она не выглядела выпадом против «Весов» и их кормчего (59).

Манифест об усовершенствовании государственного порядка 17 октября 1905 года, дававший надежду на эволюцию самодержавной монархии в сторону конституционной, был восторженно встречен либералами. Крайне правые сочли его позорной капитуляцией; крайне левые призвали продолжать борьбу, удвоив силы. Отношение Брюсова к нему красноречиво и недвусмысленно выражено в стихотворении «Довольным»:

Довольство ваше — радость стада,
Нашедшего клочок травы.
Быть сытым — больше вам не надо,
Есть жвачка — и блаженны вы!
Прекрасен, в мощи грозной власти,
Восточный царь Ассаргадон,
И океан народной страсти,
В щепы дробящий утлый трон!
Но ненавистны полумеры...

Ноябрь 1905 года стал для Валерия Яковлевича временем особенно тяжких раздумий: что дальше? Приветствуя революционеров как «гуннов», которые сметут «всей этой жизни строй, позорно-мелочный, неправый, некрасивый» («Кинжал»), он никогда не сочувствовал их позитивной программе. Возможно, Брюсов не представлял себе со всей четкостью, что надо делать. Но он точно знал, чего делать не надо, чего надо бояться.

Тринадцатого ноября в петербургской «Новой жизни», первой легальной газете большевиков, была опубликована статья Ленина «Партийная организация и партийная литература». Валерий Яковлевич оказался среди ее первых читателей — видимо, потому что редактором газеты, к неудовольствию многих «эсдеков», числился Минский. Брюсов не просто внимательно прочитал статью, но через шесть дней написал полемический ответ «Свобода слова» и сразу же отдал его в «Весы» (1905. № 11; подпись: Аврелий). Ранее он только раз полемизировал с марксистами в печати — в краткой рецензии на «Очерки реалистического мировоззрения», среди авторов которых оказались его бывшие приятели Фриче и Шулятиков (1904. № 2). Теперь Брюсов ответил

подробно, стараясь как можно лучше аргументировать свою точку зрения. Ведь речь шла о том, о чем он размышлял в эти дни, — о месте писателя в условиях победившей революции, о его возможных отношениях с новой властью и о политике этой власти в области литературы и свободы слова.

Главный тезис Ленина: только победа большевиков принесет писателю свободу от «буржуазного издателя» и «буржуазной публики», «от денежного мешка, от подкупа, от содержания» (60). Однако рядом утверждалось, что «для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом». «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, — постулировал автор. — [...] Литераторы должны войти непременно в партийные организации. [...] За всей этой работой должен следить организованный социалистический пролетариат, всю ее контролировать». Брюсов правильно понял Ленина, несмотря на его оговорки: «Мы далеки от мысли проповедовать какую-нибудь единообразную систему или решение задачи несколькими постановлениями».

Трудно сказать, что именно автор «Свободы слова» к тому времени знал об авторе «Партийной литературы», но прочитанное он воспринял всерьез — чуть ли не единственный из «декадентов». «Вот по крайней мере откровенные признания! Г. Ленину нельзя отказать в смелости: он идет до крайних выводов из своей мысли; но меньше всего в его словах истинной любви к свободе». Большевики считали себя не только самой революционной частью оппозиционного движения, но и наиболее преданной идеалу свободы. Брюсов замахнулся на святая святых, показав, чем обернется их победа: «Многим ли отличается новый цензурный устав, вводимый в социал-демократической партии, от старого, царившего у нас до последнего времени?»

По-новому оценил он и отношения между социал-демократами и анархистами. Если в «Торжестве социализма» Брюсов утверждал, что «только “вопросы тактики” не позволяют социалистам признать в анархистах своих верных братьев», то теперь заявил: «Совершенно понятно, почему г. Ленину хочется опозорить анархизм, смешав его в одно с буржуазностью. У социал-демократической доктрины нет более опасного врага, как те, кто восстают против столь любимой ей идеи “архе”. Вот почему мы, искатели абсолютной свободы, считаемся у социал-демократов такими же врагами, как буржуазия». Понятно и то, почему Ленин назвал Ва-

лерия Яковлевича «поэтом-анархистом». На «Свободу слова» он не ответил и, видимо, даже не читал ее. Брюсов тоже вряд ли узнал о ленинской оценке своих стихов: содержащая ее статья «Услышишь суд глупца...» вышла брошюрой в небольшом партийном издательстве «Новая дума».

После разгрома декабрьского восстания Брюсов долгое время публично не высказывался о политике, хотя не переставал следить за ней. 22 марта 1906 года, оценивая в письме к Перцову победу кадетов на выборах в Государственную Думу: «Хочешь не хочешь, а изо дня в день будем слушать из Таврического дворца те же рассуждения, в которых с детства захлебывался на страницах “Русских ведомостей” и всего им подобного. Бррр...», — он признался: «Я бы уж предпочитал лучше Думу социал-демократическую» (61). Роспуск Второй думы 3 июня 1907 года произвел на Брюсова, как он писал отцу, «впечатление сильнейшее»: «Куда теперь кинуться: справа реакция дикая, слева бомбы и экспроприации, центр (твой*) лепечет умильные или громкие слова. [...] Вопрос теперь в том, как будет реагировать на роспуск вся Россия: если устроит нелепое “выступление”, ее избыют, если смолчит, ее скрутят, — что лучше? [...] Кажется мне, что нет для России выхода ни влево, ни вправо, ни вперед, — заключил он, — разве что назад попятиться, ко временам Ивана Васильевича Грозного!» (62).

Глава десятая

«ПАМЯТЬ ВРАЖДЫ И ЛЮБВИ»

1

Двадцать первого апреля 1907 года, в ночь под Пасху, Брюсов вернулся к дневнику, который забросил в конце 1903 года. «За 1904, 1905 и 1906 годы сохранилось лишь несколько отрывочных заметок. Жаль: то были годы очень интересные и очень остро пережитые мною. [...] Для меня это (1904/05 год. — *В.М.*) был год бури, водоворота. Никогда не переживал я таких страстей, таких мучительств, таких радостей. Большая часть переживаний воплощена в стихах моей книги “Stephanos”. Кое-что вошло и в роман “Огненный ангел”. Временами я вполне искренно готов был бросить все прежние пути моей жизни и перейти на новые,

* Яков Кузьмич в конце жизни симпатизировал кадетам.

начать всю жизнь сызнова». Прежде всего он имел в виду драматический «роман» с Ниной Петровской.

Долгое время эту историю знали из вторых рук. Первым о ней написал Владислав Ходасевич в очерках «Брюсов» (1925) и «Конец Ренаты» (1928). Затем свою версию изложил Андрей Белый в «Начале века» (1933), где Петровская выведена под литерой «Н.». Позиция Ходасевича была открыто антибрюсовской, позиция Белого — амбивалентной. Воспоминания Петровской полностью напечатаны только в 1990 году, хотя готовились к публикации в середине 1920-х и в конце 1930-х годов, но на сложившиеся представления не повлияли. Наконец, в 2004 году вышло отдельное издание переписки Брюсова и Петровской* (1). Теперь у нас есть почти все необходимые источники: почти, потому что письма Валерия Яковлевича сохранились не полностью.

Эти документы заставляют по-новому оценить свидетельства Ходасевича. Они не только создают отрицательный имидж Брюсова, но и считаются источником, заслуживающим доверия, хотя еще 18 апреля 1956 года Георгий Иванов писал литературоведу Владимиру Маркову: «Воспоминания его хороши, если не знать, что они определенно лживы. [...] Этакая грансеньерская, без страха и упрека, поза — и часто беззастенчивое вранье» (2). Главная причина — магия имени автора как классика русской поэзии XX века, подкрепленная тем, что он — символист, участник описываемых событий, и эмигрант, свободный от цензуры. Однако следует учитывать, что Ходасевич, даже будучи автором «Тяжелой лиры», не смог забыть, как четверть века назад его не приняли в «Весы» и «Скорпион», несмотря на дружбу с Александром Брюсовым и вхожесть в дом на Цветном бульваре. Помнил он и то, что Валерий Яковлевич долгое время не считал «Владю» серьезной литературной величи-

* Публикация переписки оправдана не только ее историко-литературным значением, но и тем, что сам Брюсов допускал такую возможность: 9 мая 1911 года он передал С.А. Соколову на хранение письма Петровской, а затем свои, с разрешением опубликовать их через десять лет после смерти того из корреспондентов, кто проживет дольше, и с условием, что этим будет заниматься комиссия в составе Соколова, Бальмонта, Полякова, Белого и С.М. Соловьева. Несмотря на неоднократные просьбы, Брюсов отказался вернуть Петровской ее письма, поскольку она намеревалась их уничтожить; письма Брюсова к ней после апреля 1909 года не сохранились и, вероятно, были ею уничтожены.

ной. Блока, Чулкова, Кречетова «Весы» критиковали или высмеивали, Ходасевича просто не замечали.

Дело не только в давних обидах литературского самолюбия. Как доказал П.Ф. Успенский, Ходасевич не только учился у Брюсова и подражал ему в стихах (кто из поэтов-модернистов его поколения не подражал?!), но и «делал жизнь» с него, стремясь «сдать экзамен» на настоящего символиста. Ранняя биография Ходасевича не рассматривалась через призму житнетворчества, о котором он писал в мемуарах, как бы отгораживаясь от него. Изучив историю его брака с Мариной Рындиной — на свадьбе Брюсов был посаженным отцом, — исследователь сделал вывод, что этот «союз с самого начала был неразрывно связан с социальным кругом модернистских поэтов и писателей» и «самим поэтом мыслился в теснейшей связи с символистским литературным процессом, становился его частью», «поставщиком лирических тем и эмоций, создавал зону поэтической рефлексии и осмысления происходящего», причем «неизбежный крах был инкорпорирован в саму модель этого союза» (3). Иными словами, «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов», в чем так часто упрекали Брюсова.

Экзамен на символиста полагалось сдавать не только житнетворчеством, но и творчеством. Здесь успехи Ходасевича оказались весьма скромными. Первая книга его стихов «Молодость», отмеченная «тотальным», по определению П.Ф. Успенского, влиянием Брюсова, вышла в 1908 году — позже, чем у большинства сверстников, и тогда, когда символизм как литературное движение шел на спад. Появись она двумя годами раньше или оказалась столь же яркой, как «Стихи о Прекрасной Даме» или «Золото в лазури», место Ходасевича в русском символизме было бы иным. Он же хотел быть не просто поэтом, но именно символистом, получить признание в кругу «Весов» и «Скорпиона». При жизни «великого мага» Ходасевич высказывался о нем в печати только положительно. В 1914 году он подарил Брюсову вторую книгу стихов «Счастливый домик» с надписью «моему учителю, с чувством неизменной любви к его творчеству» — и одновременно собирал «антибрюсовское ополчение» из Садовского, Чулкова и суворинского журнала «Лукоморье» (4). В эмиграции к обиде на «Скорпиона» добавилась возможность возводить на «большевика» любые обвинения — от юдофобии до анекдотического невежества» в отношении социализма. Воспоминания Ходасевича — свидетельство не символиста вообще, но «грифа», продик-

тованное личными обидами (он, кажется, единственный из мемуаристов описывал Брюсова «некрасивым» и «невзрачным», видимо, перенося на него собственные комплексы) и отягощенное пристрастием к сплетням*. Не случайно и то, что среди героев его мемуарной прозы много людей антибрюсовского лагеря: Кречетов, Садовской, Айхенвальд, Виктор Гофман, Софья Парнок.

Сложные отношения связывали Ходасевича и с другими участниками драмы. Петровская то дружила с «Владькой», то ссорилась с ним, посвящала его в перипетии романа с Брюсовым, но не воспринимала всерьез — ни как литератора, ни как мужчину. Белый в «весовские» годы видел в нем не более чем одного из «грифят». Пик их общения пришелся на 1922—1923 годы, когда оба поэта жили в Берлине. Белый опубликовал восторженные статьи «Рембрандтова правда в поэзии наших дней» (о «Путем зерна») и «"Тяжелая лира" и русская лирика», но перед окончательным отъездом в СССР поссорился с Ходасевичем.

Фотографий Петровской сохранилось мало. Ее внешность удачно зарисовал Белый, не прибегая к обычным гротескам: «Самый облик ее противоречивый и странный: худенькая, небольшого росточку, она производила впечатление угловатой; с узенькими плечами, она казалась тяжелой, с дефектом; какая-то квадратная и слишком для росточку большая, тяжелая голова, казавшаяся нелепо построенной; слишком длинная, слишком низкая талия; и слишком короткие для такой талии ноги; то казалась она мешковатой, застывшей; то — юркала, точно ящерка: с неестественной быстротой; она взбивала двумя пучками свои злоеющие черные волосы, отчего тяжелая ее голова казалась еще тяжелее и больше; но огромные карие, грустные, удивительные ее глаза проникали в душу сочувственно; и подмывали на откровенность даже и тогда, когда открывалось, что верить ей нельзя; бледное, зеленоватое лицо с огромными кругами под глазами она припудривала [...] в разгаре беседы вдруг сквозь эту пудру проступал нежный румянец; и лицо полнилось выражением; но огромные, чувственно вспученные губы, кровавые от перекара, кричали с лица неудачною кляксою; улыбнется, — и милое, детское что-то заставляло забыть эти губы; густые широкие ее брови точно грозили ко-

* Ходасевич послужил прототипом Владислава Феликсовича Грабовецкого в набросках романа Брюсова «Стеклянный столп», но не был упомянут в примечаниях к его публикации — видимо, по цензурным соображениям (ЛН. Т. 85. С. 114—164).

му-то; и черная морщина, перерезавшая лоб, придавали лицу вид спешащей преступницы: пустить себе пулю в лоб; наклонив вперед свою тяжелую, раздутую волосами голову, подтянув к ушам узкие, нервные плечи, в черном платье с небольшим треном и застежкой на спине, шуркая шелком, как ящерка, скользила она в толпе, перепудренная и накрашенная. [...] Никто б не сказал, что мрачная, напоминающая Эриннию, женщина, растерянной девочкой, под голову руку и голову склонив на подушку дивана, свернувшись комочком часами мечтает о таком о простом, о хорошем; и готова в такую минуту на подвиг, на жертву» (5).

Он же точно описал психологический облик Нины Ивановны, каким он предстает и из ее писем: «Она была и добра, и чутка, и сердечна; но она была слишком отзывчива: и до... преступности восприимчива; выходя из себя на чужих ей словах, она делалась кем угодно, в зависимости от того, что в ней вспыхивало; переживала припадки тоски до душевных корч, до навязчивых бредов, во время которых она готова была схватить револьвер и стрелять в себя, в других, мстя за фикцию ей нанесенного оскорбления; в припадке ужаснейшей истерики она наговаривала на себя, на других небылицы; по природе правдивая, она лгала, как всякая истеричка; и, возводя поклеп на себя и другого, она искренно верила в ложь; и выдавала в искаженном виде своему очередному confidentу слова всех предшествующих confidentов [...] она портила отношения; доводила людей до вызова их друг другом на дуэль; и ее же спасали перессоренные ею друзья, ставшие врагами; она покушалась на самоубийство под действием тяжелого угнетения совести; вокруг нее стояла атмосфера — опасности, гибели, рока. [...] Я бы назвал ее Настасьей Филипповной, если бы не было названия еще более подходящего к ней: тип средневековой истерички [...] таких, как она, называли ведьмами» (6).

Брюсов и Петровская впервые встретились в самом начале 1900-х годов (точной даты мы не знаем) в доме спиритки Александры Бобровой. Нина Ивановна «могла бы процитировать ему наизусть два его сборника целиком», а он на нее «взглянул мельком, как на стену» (7). Дальше беглого взгляда дело не пошло. Подлинное знакомство состоялось весной 1903 года при создании «Грифа», но еще полтора года оставалось исключительно светским. Петровская не интересовала Брюсова, высказывавшегося о ней весьма непочтительно: «Андрей Белый соблазнен Грифихой, т.е. Ниной Петровской, и услан матерью, спастись, в Нижний

Новгород», к Метнеру (8). Только осенью 1904 года «я однажды сказала В. Брюсову: Я хочу упасть в Вашу тьму, бесповоротно и навсегда... [...] Брюсов положил мне руки на плечи и посмотрел в глаза невыразимым взглядом: И поймете? Со мной? Куда я позову? [...] В эту осень В. Брюсов протянул мне бокал с темным вином, где, как жемчужина Клеопатры, была растворена его душа, и сказал: Пей! Я выпила и отравилась на семь лет» (9).

2

Прежде чем перейти к истории их любви, попробуем представить фон, на котором она развивалась. Его запечатлела Зиновьева-Аннибал, 16 марта 1904 года приехавшая с Ивановым в Москву и сразу же окунувшаяся в символистский водоворот. Впечатления свежего человека тем и интересны. «Что касается Брюсова (в оригинале везде с двумя «с». — *В.М.*), то пил он мало, но внезапно побледнел и исступился по-своему мрачно и трагично, неописуемо. Он сказал мне о себе такие страшные признания, до того безвыходно трагичные, что я не смею верить в их действительность, и пришел в экстатическое помешательство на идее поклона в грязную землю Раскольникова. [...] Брюсов пригласил Вячеслава стать на колени перед Бальмонтом. Вячеслав сказал, что не стыдится стать на колени перед Богом в Бальмонте, но Бог мгновенен, и уже Бальмонт не тот, что был за минуту, и поэтому теперь он не встанет, и что тот же Бог и в нем, и в Брюсове, и во всяком художнике, и никто не знает, кто высший, если я сегодня, ты завтра, может быть. Тогда Брюсов стал на колени, и Бальмонт тоже, и стали целоваться друг с другом» (10). В чем же признался Брюсов Зиновьевой-Аннибал? Говорил нечто ультрадекадентское, как раньше в письмах Ясинскому или Бунину? Вполне возможно...

Нина Ивановна присутствовала при этой сцене, кульминация которой разыгралась в доме Соколовых. Первое из сохранившихся писем Брюсова к ней датировано 15 октября 1904 года: он обращается на «вы» и вполне официально. Но уже 12 ноября он послал Шестеркиной стихотворение «Опять душа моя расколота...», которое «невозможно зачислить по ведомству привычной любовной лирики, однако в своей основной психологической тональности, в самозабвенном погружении в амбивалентный мир полярных,

доведенных до предельной остроты катастрофических переживаний оно, безусловно, было вдохновлено отношениями с Петровской и во многом предвосхищало последующие отражения этих отношений в брюсовских стихах и прозе» (11). Второе письмо к Нине Ивановне, от 13 декабря, звучит совсем по-другому: «И опять мне снится, как вчера ночью, что я тот юноша из моего ненаписанного романа. Медленно надеваю широкую испанскую шляпу. Вкладываю шпагу в ножны. Кланяюсь. Ухожу. Прощай. Твой Валерий». «Ненаписанный роман» — будущий «Огненный ангел». К письму прилагалось стихотворение «В застенке»:

Где же мы: на страстном ложе
Иль на смертном колесе?..
Сораспаятая на муку,
Давний враг мой и сестра!
Дай мне руку! дай мне руку!
Меч взнесен! Спеши! Пора!

Письмо предостерегает от наивного биографизма: «не вправе я Тебя назвать “сораспаятой”, потому что нет более в твоих глазах никакой муки». Тогда о чем речь? Скорее всего об Андрее Белом, бросившем Петровскую, которая хотела отомстить ему, «закрутив роман» с Брюсовым. «Отвергнутая Белым, но в глубине души преданная ему и желавшая сохранить верность его идеалам и заветам, она делилась своими переживаниями с Брюсовым; Белый тем самым становился постоянным объектом их интимных бесед. [...] Неудивительно, что в этих обстоятельствах у Брюсова разгоралось чувство соперничества, которым отчасти можно объяснить занятую им позицию: он хотел проверить крепость и стойкость жизненного кредо своего “антагониста”» (12).

В мемуарах Белый утверждал, что Петровскую преследовал демонический образ «мага» Брюсова. В первую очередь он преследовал самого Белого — тот стал видеть прямую угрозу в адресованном ему послании из «Urbi et orbi» (написанном в 1903 году, за год до начала романа с Петровской):

Я много верил, я проклял многое,
И мстил неверным в свой час кинжалом...

«Я Брюсова стал наблюдать: под личиною внешне составленных фраз можно было расслушивать отчетливые угрозы, которых смысл: я — тебя погублю» (13).

«Мага» придумал сам Белый в посвящении Брюсову того же 1903 года:

В венце огня над царством скуки,
Над временем вознесены —
Застывший маг, сложивший руки,
Пророк безвременной весны.

Придумал не как метафору или гиперболу, но всерьез. В ответ на скептические замечания Метнера об этом стихотворении он писал 25 июля: «Если бы Вы ближе узнали Брюсова, то Вы согласились бы, что он истинный маг в потенции — маг, как тип человека, стоящего ступенью ниже теурга. [...] Маг — это заклинатель, манипулирующий дозоны хаоса, перед ней, наконец, в самом хаосе» (14).

Образ зажил собственной жизнью, отдельно от автора и от героя. В «берлинской редакции» «Начала века» Белый утверждал, что уже весной 1904 года «в мире сознания Брюсова виделись щели, откуда тянул неприятный сквозняк *того мира*, запачканного отбросами дрянных бесенят», и что «Брюсов не знал, что он делается канализационной трубой (оттуда — сюда) нечистот *того мира*» (15).

Ретроспективная запись точно отражает тогдашнее состояние автора. В конце марта он послал Блоку стихотворный триптих «Одинокий» с подзаголовком «Учителю и врагу»; через два с половиной года цикл появился в «Весах» без подзаголовка, но с посвящением Брюсову — значит, тот не возражал. В начале мая Белый сообщил Метнеру: «Мы обменялись друг с другом несколькими сеансами мистических фехтований, при этом я продолжаю любить Брюсова как Валерия Яковлевича, а он меня как Б.Н., но проявляемое Брюсовым как медиумом диаметрально противоположно проявляемому мной. [...] Теперь знаю наверно: Брюсов черномаг и отдушник, из которого, как из печки, в дни ужасов кто-то выбрасывает столбы серных паров» (16). «Брюсов, встречаемый *там*, — всегда оборотень — злая собака, лающая из белоснежных росистых левкоев, или нетопырь, прилипающий к груди, чтобы пить кровь», — на своем особенном языке писал он Блоку (17).

«Маг» стал подыгрывать воображению Белого, уверовавшего, что Брюсов, «не брезгающий гипнотизмом и рыщущий по сомнительным оккультическим книжкам», выбрал его для своих «подозрительных опытов». Ему представлялся «уродливый образ Брюсова, рыскающего поло-

умно по бессознанию; вытягивалась безмерно его шерстяная рука, чтоб, схватив, сбросить в пропасти бреда». «Так это тогда отдавалось во мне, — пояснил Борис Николаевич в мемуарах. — Может быть, все — не так; ведь описываю я, о конечно, не внешнее: факты сознания моего того времени» (18). Тем не менее в начале августа он написал тоскующе-исповедальное послание именно Брюсову и получил от него письмо-раздумье о том, что «нет в нас достаточно воли для подвига», что «мы придумываем всякие оправдания своей несправедности» и «привычно лжем себе и другим». «Мне только и нужно было от вас этого знака — этих слов. Спасибо!» — ответил Белый открыткой (19).

Однако осенью 1904 года соперничество обострилось. Белый воспринимал его мистически, Брюсов — художественно, с элементом игры. Он «уже был готов к осуществлению долго вынашивавшегося замысла “Огненного ангела” (главные герои которого, Рупрехт, Рената и граф Генрих фон Оттергейм, как известно, “списаны” им с себя самого, Петровской и Белого), и его позиция по отношению к Белому отчасти объясняется и писательской заданностью — воплотить возможно точнее и полнее задуманные психологические типы, проверить “жизнью” сюжетные ходы. [...] Белый вовлекался в глубоко продуманный “жизнетворческий” эксперимент, инспирированный, однако, не им самим» (20).

По-человечески это было жестоко, но Петровская поняла Брюсова: «Он подставлял лицо и душу палящему зною пламенных языков и, сгорая, страдая, изнемогая всю жизнь, исчислял градусы температуры своих костров. Это было его сущностью, подвигом, жертвой на алтарь искусства, не оцененной не только далекими, но даже и близкими, ибо существование рядом с таким человеком тоже требовало неисчислимых и, хуже всего, не экстатических, а бытовых, серых, незаметных жертв. Для одной прекрасной линии своего будущего памятника он, не задумываясь, зачеркнул бы самую дорогую ему жизнь» (21). Нина Ивановна сама согласилась на это, так что жалость Ходасевича к ней задним числом выглядит неискренней. Ведь они оба читали статью Брюсова «Священная жертва», которая провозглашала: «Пусть поэт творит не свои книги, а свою жизнь. Пусть хранит он алтарный пламень неугасимым, как огонь Весты, пусть разожжет его в великий костер, не боясь, что на нем сгорит и его жизнь. На алтарь нашего божества мы бросаем самих себя». Это были не просто слова.

Конфликт достиг кульминации, когда Брюсов, отожде-

стив соперника со «светлым Бальдером» древнескандинавских мифов, демонстративно принял облик его антипода — темного бога Локи и начал увлеченно играть в него. «Раз я, приподнявши бокал, возгласил: “Пью за свет”. В.Я. Брюсов, усевшийся рядом со мною, вскочил, как ужаленный; он, поднимая бокал, прогортанил: “За тьму!”» (22). Во второй половине ноября (вскоре после написания «Опять душа моя расколота...») Брюсов передал Белому послание «Бальдеру Локи», свернув лист, на котором оно было написано, в виде стрелы. Это уже была настоящая угроза:

На тебя, о златокудрый,
Лук волшебный наведен...
Пусть в пещере яд змеиный
Жжет лицо мне, — я в бреду
Буду петь с моей Сигиной:
Бальдер! Бальдер! ты в аду!...
Но последний царь вселенной,
Сумрак! сумрак! — за меня.

Белый принял вызов и 9 декабря написал стихотворение «Старинному врагу» с подзаголовком «в знак любви и уважения». «Пока писал — чувствовал: через меня пробегает нездешняя сила; и — знал: на клочке посылаю заслуженный неотвратимый удар (прямо в грудь), отучающий Брюсова от черной магии, — раз навсегда: грохотала во мне сила света. Как схваченный Божьим вихрем, я карою несея на Брюсова по душевным пространствам» (23).

Моя броня горит пожаром.
Копье мне — молнья. Солнце — щит.
Не приближайся: в гнев яром
Тебя гроза испепелит.

Через пять дней послание дошло до адресата с приложением листа бумаги, на котором был нарисован крест и выписаны цитаты из Евангелия. В редакцию «Весов» его отнес Павел Флоренский. Юный мистик воспринимал происходящее всерьез и 5 декабря написал Брюсову письмо, оставшееся неотправленным:

«Магия не проходит даром. Она засасывает в себя, и в тот момент, когда маг торжественно кричит: “они в моих руках”, он сам бывает в руках их. [...] Не могу не улыбнуться жалостливо, когда вижу, что такая сильная личность, как Вы, является в руках темных сил простым аппаратом для

передачи воздействий. Только изредка, сквозь чужие слова прорываются струйки исстрадавшейся и измучившейся личности. [...] Вас эксплуатируют, над Вами издеваются, Вас гипнотизируют, Вас непрестанно днем и ночью мучают, шекотят и заставляют судорожно передергиваться (эти передергивания Вы принимаете за выражение удовольствия), — и Вы не замечаете или не хотите замечать всего этого, отдаетесь во власть истязателей. [...] На одну минуту проснитесь, скиньте власть гипноза и посмотрите, что *они* с Вами делают. Только на минуту очнитесь, и Вы — я уверен в этом, — закричите нечеловеческим голосом из той тьмы внешней, которую Вы, как полагаете (а на самом деле не Вы, а *они* в Вас), так любите» (24). Сведущий, по словам Белого, «в проблемах психизма», Флоренский 1 декабря сообщил ему: «Мы не дадим Вас. Хотя В.Б. и пристаёт, но я сознаю, что он надломился и теперь больше форсит, чем имеет подлинной силы» (25).

Получив послание «Старинному врагу», «в ту же ночь Брюсов видит: мы — боремся; происходит дуэль на рапирах-де; я-де ему протыкаю рапирою грудь; с очень сильною болью в груди он проснулся» (26). «Бальдеру» об этом рассказала Петровская, а ей сам Брюсов; был такой сон или нет, гадать бессмысленно. 18—19 декабря Белый написал большое письмо Блоку с рассказом об «адских кознях»: «Брюсов снял маску. Он объявил, что уже год *“творит морево”*. [...] Гипнотизер он сильный: стал ломиться извне и изнутри. [...] Все это сопровождалось рядом гипнотических и телепатических феноменов. Были медиумические явления: у нас в квартире мгновенно тухла лампа, когда ее никто не тушил, полная керосину, раздавались стуки. [...] Не будучи в состоянии напасть открыто, он стал тревожить ложными вылазками, не давая отдыха. [...] Мне предстоит выбор: или убить его, или самому быть убиту, или принять на себя подвиг крестных мук» (27).

Не берусь судить о «медиумических явлениях» в арбатской квартире Бугаевых и о причастности к ним Брюсова, но нервы у Белого были на пределе. 21 декабря он отправил истерическое письмо Полякову с заявлением об уходе из литературы и с упреками личного характера: «Мне чрезвычайно трудно поддерживать живую связь со “Скорпионом” благодаря тому, что пришлось бы иметь дело с Валерием Брюсовым, который держал себя по отношению ко мне более чем возмутительно». Через несколько дней он дезавуировал сказанное как неправду — но в столь же истерическом тоне: «Я исступленный, нервный, измученный

человек, мне самому больно, а я другим делаю больно. За что, за что я так отнесся к Бальмонту и Брюсову? Ведь я их люблю» (28). Это не помешало Борису Николаевичу 16 января 1905 года в Петербурге говорить о «Звере, выходящем из бездны в лице Бальмонта и Валерия Брюсова», о чем последнему днем позже сообщил Перцов (29).

Поездка Белого в столицу к Мережковским, ставшим для него опорой в борьбе с «тьмой», встревожила Брюсова перспективой отпадения ценного автора от «Весов». 19 февраля, занеся Белому корректуры, он принялся злословить по адресу Мережковского и отношений того с меценаткой Образцовой. В тот же день Борис Николаевич предупредил его письмом, что будет считать подобные слова «обидой себе», поскольку «Мережковские мне близки и дороги». Ответом стал вызов на дуэль за подписью «уважающий ваш литературный талант Валерий Брюсов». Белый был уверен, что «вся дуэль — провокация Брюсова; для провокации этой он имел причины; а у меня причин не было принимать этот вызов. И Брюсову написал я письмо; и просил В.Я. Брюсова взвесить: коль будет он твердо настаивать на дуэли, то буду я вынужден согласиться, но именно — вынужден». Драться с «Бальдером» и, тем более, убивать его «Локи» не собирался. «Взволнованный, мягкий и грустный» Брюсов 22 февраля пришел к Сергею Соловьеву и написал короткий ответ Белому, попросив лично передать его: «...рад, что вправе смотреть на недоразумение, возникшее между нами, как на улаженное» (30). «У меня с Брюсовым должна была быть *эмпирическая*, а не символическая дуэль, — сообщил Белый Метнеру, — или, лучше сказать, тут символизм наших отношений хотел *окончательно воплотиться*» (как черт в Ивана Карамазова)» (31).

Узнав о случившемся, Вяч. Иванов писал Брюсову 24 февраля/9 марта: «Благодарю силы, которые призываю на тебя за то, что преступление совершено тобою *только* в мире возможного. Ибо ты хотел убить Бальдера. [...] Я предвидел, что Бальдер все сделает, чтобы избежать этого кощунственного поединка; но считал возможным и принятие вызова, в каковом случае он, конечно, не поднял бы руки на тебя (твоя жизнь для него священна), но *ты* мог бы его убить, чтобы потом казнить самого себя. [...] Что бы ни случилось, мы не можем стать Каинами. [...] Исполни мое желание: помирись с Бальдером сполна и братски, ибо ведь и ты, себя не узнающий, — *светлый Бог*» (32). Иванов, похоже, не подумал, что Брюсов вряд ли стал бы подвергать себя

риску уголовного преследования... и лишать «Весы» одновременно редактора и одного из главнейших сотрудников.

Несостоявшаяся дуэль разрядила напряженность. 9 июня Белый писал из деревни «воистину дорогому мне Валерию Яковлевичу»: «Хочу сказать вам из тишины, где ближе душа к самому себе, что я вас всегда любил, а теперь еще более глубоко люблю, что бы между нами ни было в прошлом или в будущем» (33). На литературных отношениях конфликт не отразился: по словам Белого, «жела[я] примириться со мной в плане внешнем», Брюсов уже в марте пригласил его на чтение драмы «Земля», причем изъявил готовность перенести его на удобный для адресата день (34). И печатал в «Весах» фантазии Бориса Николаевича, в которых не мог не узнать себя: «профессор мрака» в «Химерах» и «маг, закрытый пледом» в «Сфинксе».

3

В марте 1905 года Валерий Яковлевич писал своей confidentке Марии Рунт: «На мою жизнь иногда находят смерчи. И тогда я не властен в себе. В таком смерче я сейчас» (35). По свидетельству Полякова — первого, кто был посвящен в роман с Петровской, — Брюсов примерно тогда же составил завещание и попросил его быть душеприказчиком, поскольку ждал близкой смерти и вроде бы даже подумывал о двойном самоубийстве с возлюбленной (36). «Я знаю, меч меня не минет», — восклицал он в январском стихотворении «Кубок». В апреле был написан «Антоний» — не только о древнеримском полководце:

Как нимб, Любовь, твое сиянье
Над всеми, кто погиб, любя!
Блажен, кто ведал посмеянье,
И стыд, и гибель — за тебя!
О, дай мне жребий тот же вынуть,
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть
Вслед за египетской кормой!*

* В первом издании «Венка» «Антоний» и парное к нему стихотворение «Клеопатра» входили в раздел «Из ада изведенные», который объединил тексты, связанные с Петровской; в собрании стихов «Пути и перепутья» они перенесены в «исторический» раздел «Правда вечная кумиров».

«С легкой руки едкого и остроумного В. Ходасевича г-жу Н. в нашем интимном кругу (то есть в «Гриффе» и вокруг него. — В.М.) прозвали “Египетской Кормой”, — вспоминала Бронислава Рунт. — [...] “Египетской Корме” (с которой, как было известно, муж собирался разводиться) явно хотелось, чтобы ее Антоний кинул, наконец, всерьез свой корабль за ней. Иными словами, требовала развода и женитьбы. Но, отдав должное в звучных стихах безумцу Антонию, которым уже сколько веков восхищаются эстеты, поэт В. Брюсов упорно не желал следовать его примеру. Он по-своему любил свой дом, налаженную семейную жизнь и тот порядок, при котором ему так хорошо работалось» (37). Однако ситуация была сложнее, чем казалось Броне, склонной относиться к знаменитому родственнику с иронией. Да и события нескольких лет она спрессовала в несколько фраз.

«Смерч» захватил Брюсова всерьез. В июне 1905 года влюбленные на месяц обрели покой в финском городке Иматра на озере Сайма. Написанный здесь цикл «На Сайме» заметно отличается от других стихов Брюсова того же времени, более всего напоминая «Картинки Крыма и моря». Подлинный смысл этой тихой пейзажной лирики становится понятен, только если знать контекст:

Меня, искавшего безумий,
Меня, просившего тревог,
Меня, вверявшего думе
Под гул колес, в столичном шуме,
На тихий берег бросил Рок.

«Я — упоен! мне ничего не надо!», — признание не только лирическое, но и личное.

По возвращении из Финляндии Брюсов отправился в Антоновку, имение своих родственников Калюжных на Оке близ Тарусы, заехав на день в Москву. Оттуда он написал Нине Ивановне письмо, каких в его богатой событийной жизни и в не менее богатой эпистолярной немногo. Их переписку хочется цитировать страницами, но объем делает это невозможным, а доступность ненужным. Сделаю исключение для этого послания — *такого* Брюсова мы не найдем ни в чужих мемуарах, ни в его собственных стихах.

«”Девочка, милая, хорошая, маленькая, я люблю Тебя”. Странно звучит эта формула здесь, сегодня, в моей забытой комнате, с завешанными книгами, под “шум

монотонный дождя”. Теперь я понял, зачем нам надо было ошибаться на целые сутки! Иначе мы попали бы на севастопольский поезд, и я проехал бы прямо на берег Оки. Теперь же меня бросили на Цветной бульвар (где случайно оказалась и И.М.) в разгар всех домашних, домовых и скорпионьих дел. Словно жесткий ветер повеял над моей душой. Та моя душа, которую я так лелеял за месяц жизни в Финляндии, которая раскрылась для меня, как редко цветущий цветок, — сжалась под этим ветром, сжалась, поникла, и лепестки стали опадать — быстро, быстро, жалко, жалко, один за другим.

Девочка, огонечек мой, маяк мой! но разве что может отнять у меня этот месяц, этот лучший месяц моей жизни, этот месяц, в который мне не стыдно было говорить слово “счастлив”? Я ехал в Финляндию на “новые пытки”, а надо мной просияло небо, встала радуга — залогом, что казни больше не будет, — открылось озеро, отныне любимое, боготворимое мною, озеро голубое, и палевое, и золотое, и пурпурное... Это ясное и яркое озеро — символ всех моих переживаний за месяц. Все то чудо, которое есть в небесном свете, в закатных красках, в их отражениях на земле, — повторилось и в моей жизни. Для меня этот месяц был днями чудес, я дышал атмосферой чудес, чудесное стало для меня повседневным. Разве не чудо, что я увидел Тебя, Тебя настоящую, с тихо расчесанными волосами, с “умным” лбом и большими, большими глазами, которые вдруг оказываются всевластными на Твоем лице. Но насколько же большее чудо, что я слышал те Твои слова, произносимые замедленно и поспешно, вспоминая которые, я пьянею и хочу опять упасть перед Тобой на колени, целовать Твои руки, плакать, — слова, бессмысленные для всех, но бывшие для меня последним счастьем, слова, которые я не доверю даже этому письму, которые сберегу только в воспоминании. Но и за этими пределами мыслимого, и за этими кругозорами, дальше которых, казалось бы, нет ничего, в самые последние дни вдруг осветились новые дали, страшно влекущие, но и действительно страшные, грозные. Безвольная, не думая, странно смотря мимо, Ты говоришь мне: “Милый Валерий, я тебя очень люблю”. Девочка! счастье мое! жизнь моя! вот я перед Тобой на коленях, клоню голову, прячу ее... А передо мной опять Ты, печальная, прислонясь к тусклой двери вокзала, и слезы

Твои тихо падают на безобразные плиты его лестницы. И у меня нет более слов, и чаша чуда исполнена до краев, и есть только горькое сожаление, почему тогда, при всех, при этой тупой толпе, я не поцеловал эти два темных пятнышка на пыльных камнях ступеней!..

Только не сердись, что я говорю громко, что повторяю, твержу о всем том, о чем, может быть, следовало бы лучше благоговейно молчать. Говорю, вспоминаю, потому что в этом мое счастье, потому что осталось мне сейчас одно — вспоминать и повторять. Да, мое сравнение верно. Кости, брошенные моей судьбой, выпали самыми большими очками, какие только были на них. Этот месяц был для меня не только счастьем в смысле блаженства, но и счастьем в смысле удачи, — ибо все, все сложилось единственно благоприятно для меня. Я радуюсь, что сознавал, понимал смысл этих дней. Как много раз я говорил, — да, то была вершина моей жизни, ее высший пик, с которого, как некогда Пизарро*, открылись мне оба океана — моей прошлой и моей будущей жизни. Ты вознесла меня к зениту моего неба. И Ты дала мне увидеть последние глубины, последние тайны моей души. Может быть, ради этого месяца прожил я все томительные тридцать лет моей жизни, и воспоминаниями об этом месяце будут озарены все следующие тридцать лет. Как символ этих дней, Твой образ стал для меня святыней. Раньше, смутно предчувствуя, я верил в Тебя грядущую, — ныне мне хочется молиться Тебе бывшей. Не знаю, был ли я нужен Тебе, Твоей судьбе, — но Ты дала мне ключ ко всей моей жизни, счастьем пережитых дней объяснила все мучительства прошлого, светлостью и ясностью новых моих настроений оправдала долгие ожидания, теми часами, которые казались, может быть, однообразными, утомительными, обогатила меня на годы и годы, так что не исчерпать мне, в своих мечтах и в своих стихах, этих сокровищ никогда, я знаю.

И прости мне, что в этом письме я говорю о себе, все о себе и только о себе. Мне непобедимо надо повторить, запечатлеть те слова, которые бессвязно я говорил Тебе в дни прощаний, в последние наши три

* Двадцать шестого сентября 1513 года отряд конквистадоров во главе с Франциско Пизарро впервые увидел одновременно Атлантический и Тихий океаны с вершины одной из гор на Панамском перешейке.

дня, которые, как огненный венец, завершают и месяц нашей жизни вместе, и все первые месяцы нашей близости, моей любви. Мне непобедимо надо хоть бегло, хоть в отрывках повторить все пережитое, провести перед глазами огненные лики мелькнувших часов, казавшихся медленными, но слившихся теперь в одну мгновенную вспышку молнии... Эти часы — отныне мой храм. Прости, что я не могу еще ничего иного, как медлить в нем, молиться у тех же икон, вглядываться во тьму, пока еще теплятся зажженные Тобою свечи. Они погаснут. Тени уже смеются в окна. Они протянутся сквозь решетки, вползут в двери. Кривляясь и хохоча, они обступят меня. Сомкнут пальцы над моей головой. И я упаду в их черный хоровод, во мрак, в ту ночь, которой не было для меня при бледном сиянии северного полуночного солнца.

Прощай.

Твой — да! еще совсем, совсем Твой Валерий».

В тот же день Петровская написала ему из Малаховки, подмосковного имения мужа: «Милый Валерий, я тебя очень люблю. Дорогой, не уходи, не отдавайся ни в чью власть, будь со мной, береги свою любовь». Первое же письмо Брюсова встревожило ее подчеркиванием прошедшего времени: «Не надо такой безнадежности! Ты говоришь, “спуск”, вершина миновала, впереди тебе как будто не видится ничего. [...] Это не спуск, *это начало*» (3 июля); «Будь со мной! Нам дали увидеть друг друга, не будем же вновь закрывать глаз» (4 июля).

Они условились пока не встречаться: «Страшно, страшно наложить хоть одну черту на прошлое. Это такая полная завершенная картина, что я не знаю, как продолжать ее» (Брюсов, 8 июля). Зато все лето обменивались страстными посланиями, соблюдая правила конспирации. Иоанна Матвеевна, видимо, не знала подробностей поездки мужа, но не могла не замечать нового увлечения, что видно из мартовского письма Брюсова к Марии Рунт: «Ничего дурного, злого Жанне я не желаю. Я просто поглощен чем-то иным, не ею. Она чувствует это и отчаивается. Проще: она ревнует. [...] Я прихожу поздно домой, — она что-то подозревает, рыдает, происходят мучительнейшие сцены, о которых не хочется рассказывать. [...] Я очень хочу жить с ней еще много, много лет, — до конца дней. Я очень рад, что моя жена — она, а не кто другой» (38). В Антоновке Брюсов, обложившись книгами и стремясь не упустить ничего из впечатлений, на-

чал «Огненного ангела» — «Твой роман», как он называл его в письмах к Нине Ивановне, — и злился, когда работа не шла. Соколов окончательно отдалился от жены*, которая стала опасаться, что Брюсов не последует примеру Антония:

«Ах, Валерий, я предчувствовала то, что с тобой сейчас. Едва коснувшись губами *края* чаши, ты уже испытываешь страх, смущение и тоску. Ты испугался счастья. Испугался его облика, который *на миг* мелькнул из разорванных туч. Ты был радостнее, когда я мучила тебя (зимой и весной 1905 года. — В.М.). Ты ведь тогда написал свои лучшие стихи!.. А теперь и в те дни — не мог ничего. И в этом слышится мне горько-незаслуженный упрек. Мне грустно и больно, Валерий. Ты заставляешь меня жалеть о многом. Но мной никогда не руководили никакие расчеты, ты знал все, что приходило мне в душу, и если в этом крылась гибель всего, что между нами, — пусть. Оставайся с призраком 30-и дней, если боишься, что можно нарушить эту “завершенную картину”, а я тихо и гордо отойду от тебя, но не хочу меняться, не хочу жить и чувствовать по выгодному плану. О, зачем у тебя такие мысли? Зачем ты губишь все так рано! [...] Милый, милый Валерий, ну вспомни все, разве не хотел бы ты опять быть со мной! Куда ты уйдешь? В одиночество, в работу? Но разве я мешаю тебе? Что сделать, чтобы опять ты стал опьяненным, радостным, безумным, как на Сайме?» (17 июля).

Это настроение тревожило и печалило Брюсова. Он пытался объяснить Нине Ивановне — как некогда Вилькиной, но гораздо серьезнее — что пережитый миг не может длиться вечно и что нельзя постоянно жить на пределе, «опьяненным и безумным»: «Надо не быть людьми, а как достичь этого? Надо жить вне жизни, а за ее пределами лишь смерть. Надо дышать только любовью, но еще нет страны, где вечно веет этот воздух» (20 июля). Она упрекала его. Он каялся. Потом они ободряли друг друга экстатическими клятвами в вечной любви. 28—30 июля, в ожидании близкого свидания в Москве, Брюсов написал стихотворение «Изда изведенные», проникнутое темой Любви-мучения, которая особенно остро звучала в письмах тех дней.

* В августе 1905 года он познакомился с Лидией Брылкиной, которая с весны 1906 года стала его гражданской женой и в том же году дебютировала на сцене под фамилией «Рындина». В ноябре 1907 года Соколов развелся с Петровской и тайно обвенчался с Брылкиной, поскольку на него была наложена епитимья (при расторжении брака он взял на себя вину в адюльтере). После развода Соколов и Брылкина поддерживали дружеские отношения с Петровской.

Астарта! Астарта! и ты посмеялась,
В аду нас отметила знаком своим,
И ужасы пыток забылись как малость,
И радость надежд расклубилась как дым...
Дай бледные руки, где язвы распяты!
Дай бледную грудь, где вонзалось копьё;
Края плащаницы хочу целовать я,
Из гроба восставшее тело твое!

В «Венке» он дал это название циклу стихов, связанных с Петровской, но не сводимых к отношениям с ней: тема была не нова для автора и только получила мощный творческий импульс.

В начале августа они провели несколько дней вместе в Москве. Казалось, сказка вернулась. «Ты вдруг открыла мне за последней ступенью безмерную лестницу, алмазную, сияющую, уходящую в пламенную высь, в блеск, и в последнее, в невозможное, в несбыточное счастье. Иду, всхожу, все выше, выше, и там, на высоте, надо мной, для меня, протягивая мне руки, говоря мне “люблю Тебя”, — там — Ты!» (Брюсов, 5 августа). «Я люблю тебя и ничего не знаю, и ничего не хочу говорить, кроме этих слов, в которых вся я, вся моя душа, вся моя безмерная нежность к тебе» (Петровская, 7 августа). «Ты — мое счастье, Ты — моя радость, Ты — мой свет» (Брюсов, 7 августа). «*Ничто* уж не властно, когда я *совсем с тобой*, держу твои руки, смотрю тебе в глаза» (Петровская, 10 августа). «Умираю, да! умираю в последнем, предельном, в несбыточном счастье» (Брюсов, 12 августа). Читать эти письма даже неловко — как будто подглядываешь в замочную скважину.

В конце лета наступил кризис: пора было возвращаться в город и как-то обустраивать отношения. «Я хочу *все*, тебя *всего* до конца, и это вовсе не искусство стоит сейчас между нами», — жестко заявила Петровская 24 августа, давая понять, что более не согласна довольствоваться тайными свиданиями. Следующие письма мягче, с жалобами на одиночество и неприкаянность. «Я так же неуместна, несвоевременна, не нужна в жизни, в мире», — сетовала она 28 августа и в том же письме просила посвятить ей готовящийся к изданию «Венок»: «Не посвящай мне отдел. Это невозможно. Подари мне *всю ее*. [...] Ты же говорил мне: “Все, все, что хочешь”... Я хочу твою книгу. Это мечта всего прошлого года. Я прошу тебя в первый раз. Неужели обида Вячеслава сильнее моей страстной мечты? Больше об этом

не попрошу тебя никогда. Или скажи мне одно “да”, или не будем говорить об этом. Я пойму без слов твое “нет”». Брюсов посвятил «Венок» Вячеславу Иванову, поэту, мыслителю, другу; имени Петровской в нем не было. Были новые нежные письма, новые страдания и заклинания: «Сбережем нашу светлую, милую радость» (Петровская, 30 сентября). И вопль отчаяния 14 декабря: «Валерий, куда ушло наше счастье?! Куда улетела твоя мечта быть со мной *всегда*? [...] Ты уж больше никогда не говоришь прежних слов о нашей жизни. [...] Мне нужна *вся твоя* любовь. Вот что значит мое *все*».

В следующие годы Нина Ивановна написала «милому зверочку» много писем, которые становились всё длиннее: обвиняла во всех смертных грехах, грозила немедленным разрывом — и тут же умоляла остаться и трогательно спрашивала о здоровье (Брюсов был подвержен легочным заболеваниям). Менялось содержание, менялся тон, с годами становясь все более требовательным и злым, но неизменным оставался максимализм. «И в доброте, и в злобе, и в правде, и во лжи — всегда, во всем хотела она доходить до конца, до предела, до полноты, и от других требовала того же, — вспоминал Ходасевич. — “Все или ничего” могло быть ее девизом». Не обладая значительным литературным талантом, Петровская всю энергию и темперамент бросила в житнетворчество — в этом солидарны все писавшие о ней.

«Брюсов ясно сознавал, что он неспособен к постоянной совместной жизни с Петровской — и не только потому, что таковая внесла бы нежелательные и даже разрушительные коррективы в определившиеся ритмы его литературной деятельности (которая для него в иерархии ценностей всегда оставалась на первом плане) и создала бы дискомфорт в налаженных обыденных житейских условиях» (39). «Чтобы стать безумным, нужны душевные силы, а у меня их нет, — писал он 2 июня 1906 года, в разгар очередного «самого» мучительного кризиса. — Чтобы стать безумным, нужна энергия и воля, а их у меня сейчас нет. Чтобы стать безумным, нужно, наконец, *безумие*, а во мне его теперь нет вовсе». «Для Тебя “любовь” и “безумие” одно и то же, а для меня не одно и то же. Любовь есть в моей душе, безумия — нет», — объяснял он три дня спустя, стучась в закрытую дверь. Нина Ивановна экстатически твердила о желании умереть, «чтобы смерть Ренаты списал ты с меня, чтобы быть моделью для последней прекрасной главы» (23 марта 1908 года), и не понимала, почему Брюсов — если любит ее — не разводится с женой, которую она ненави-

дела и проклинала: «У тебя есть *она*, которой ты, не задумываясь, приносишь в жертву меня с моей жизнью. [...] *Все* для нее, — для меня остатки, клочки. Нет, — спасибо!» (26 июня 1908 года), — самое мягкое из сказанного. Иоанна Матвеевна платила ей антипатией, прежде всего за приобщение мужа к морфию, от пристрастия к которому он так и не избавился. Но все это было позже...

4

«Венок» — на обложке название было напечатано по-гречески и по-русски, но в литературе его часто записывают латинскими буквами «Stephanos» — печатался в декабре 1905 года, в дни вооруженного восстания в Москве, и не сразу дошел до читателя. Автор охотно дарил его «далеким и близким»: Михаилу Врубелю «в знак восторженно-го преклонения пред его гением» и Петру Боборыкину как «скромную дань вассала», «старому другу» Курсинскому и психиатру Николаю Баженову, который бранил декадентов, не утруждая себя чтением их произведений (40). Это был первый сборник Брюсова, единодушно принятый серьезными критиками, — поэтому его стали считать вершиной творчества Валерия Яковлевича.

Блок, получивший книгу с инскриптом «Одному из немногих избранных наших дней», написал две рецензии: для первого номера декадентского журнала «Золотое руно» и для газеты. В первой — заявив, что новая книга не превзошла «*Urbi et orbi*», но «по-новому заострила и оттенила давно прекрасное, страшное и знакомое», — попытался импрессионистически описать характерно «брюсовское», определив его формулой «Любовь и Смерть». Во второй — учитывая характер аудитории — назвал поэзию Брюсова «примером быстрого и здорового перерождения литературных тканей», а его самого — поэтом «пушкинской плеяды» (41). «Я в восхищении от Вашего нового тома “*Stephanos*” и особенно приятны мне “*Медей*”, “*Орфей* и *Эвридика*”, хотя очень люблю и Ваши “*modernes*”» — писал 30 января 1906 года Бакст, пояснив: «В этом году я начал несколько вещей в роде для меня близком, но почему-то до сих пор неудававшемся — неантичном, если можно так назвать». Брюсов спохватился и послал ему книгу с инскриптом. 14 февраля художник благодарил за подарок: «Очень тронут Вашей подписью. Как часто сразу не оцениваешь ве-

ши — например, я нахожу “К Деметре” одним из лучших в “Stephanos”; изумительны “Гребцы [триремы]” — совсем античный сон наяву, даже жутко! [...] Увы, я свои античные сны откладываю до будущего года — туго подвигается» (42).

В неожиданных похвалах автору изруганного им «Urbī et orbī» рассыпался Ляцкий: «Пусть же он будет сам собою и таким войдет в немногочисленную семью истинных поэтов, чутко отдающихся обаянию дивного и вещего русского слова, — войдет простой, искренний, вдохновенно размеренный, умно-мечтательный, сдержанно свободный», — но с оговоркой, которую подхватят советские литературоведы: «Отошел, как нам кажется, г. Брюсов от прежних декадентов» (43). В «Весах» рецензии не было — видимо, чтобы избежать упрека в саморекламе, хотя Аделаида Герцык оценила на их страницах переводы Брюсова из Верхарна как «редкое чудо перевоплощения» (1906. № 8).

Готовя осенью 1906 года первую книгу прозы «Земная ось», Брюсов решил посвятить ее «Андрею Белому память вражды и любви», испросив его разрешение. Тот с радостью согласился: «Мне это чрезвычайно лестно и интимно дорого» (44), — понимая, что стоит за этими словами. Речь шла не только об их отношениях в прошлом, но и об их будущем отражении в романе, над которым работал Валерий Яковлевич. «Огненный ангел» — самое известное из крупных произведений Брюсова. Вместе с «Мелким бесом» Сологуба и «Петербургом» Белого он принадлежит к вершинам русской символистской прозы. Внешне это исторический роман о Германии 1530-х годов, написанный с большим знанием дела, что было оценено немецкими критиками после его выхода в 1910 году в переводе Рейнгольда фон Вальтера. Одновременно это психологически точная, хотя и художественно переосмысленная история отношений Брюсова, Петровской и Белого, на что в тексте есть ряд прямых намеков вроде упоминания Бальдера и Локи или сцены, где граф Генрих дарит Рупрехту молитвенник Ренаты с надписью «память вражды и любви» (в жизни было наоборот). Наконец, «Огненный ангел» был первым в России оккультным, эзотерическим романом, относившимся к высокой, а не к массовой литературе, вроде «Жар-Цвета» Амфитеатрова или книг Веры Крыжановской-Рочестера.

Все три уровня романа равноценны: их гармоническое единство делает его выдающимся произведением. В отличие от авторов исторических романов, ориентированных на юношескую аудиторию, Брюсов не считал главной це-

лью просвещать читателя относительно жизни описываемой эпохи, но щедро (по мнению некоторых критиков, *слишком* щедро) делился эрудицией и, во всяком случае, стремился избежать анахронизмов и фактических ошибок, находя их даже у такого эрудита, как Мережковский. С другой стороны, он не использовал образы и события прошлого для иллюстрации собственных философских концепций, как делал тот же Мережковский. Общим местом стало сравнение «Огненного ангела» с «Саламбо» Флобера — если не по воплощению, то по замыслу. Не обошлось и без влияния романтиков, среди которых критика называла Гофмана и Мэтьюрина.

В процессе написания и публикации романа в «Весях» (1907–1908) началось «культивирование в жизни запечатленных в романе отношений, воздействие художественной реальности на судьбы и духовный облик людей, ставших прототипами вымышленных героев» (45). Для автора работа над книгой превратилась в акт аутоэкскурсии: с ее помощью он пережил вражду с Белым и мучительную страсть к Петровской. Белый позже писал, что Брюсов «почтил» его изображением в романе, а Эллис в стихотворном послании к Белому использовал образы ангела Мадизеля и графа Генриха — небесного и земного воплощений списанного с него героя. Петровская отождествила себя с Ренатой, что видно из ее писем к Брюсову; для него же эта глава закончилась навсегда. Литературно — с завершением работы над романом. Биографически — с окончательным отъездом Нины Ивановны за границу из Москвы (Брюсов провожал ее) 9 ноября 1911 года (46). Но в «Роковом ряде» она заняла особое место:

Ты — слаще смерти, ты — желанней яда,
Околдовала мой свободный дух!
И взор померк, и воли огонь потух
Под чарой сатанинского обряда.
В коленях — дрожь; язык — горяч и сух;
В раздумьях — ужас веры и разлада;
Мы — на постели, как в провалах Ада,
И меч, как благо, призываем вслух!
Ты — ангел или дьяволица, Дина?
Сквозь пытки все ты провела меня,
Стыдом, блаженством, ревностью казня.
Ты помнишься проклятой, но единой!
Другие все проходят за тобой,
Как будто призраков туманный строй.

Отвечая в феврале 1925 года на упрек Ходасевича в том, что «объективная оценка В. Брюсова как поэта и человека» в ее воспоминаниях «чудовишно повышена», Петровская писала ему: «Валерия никто, наверно, не помянет добрым словом. Тем хуже... А может быть, тем лучше, что его никто, кроме меня, не понял. [...] Я просто поняла, что *иным* быть он не мог. Никто не может быть *иным*, а до конца пребывает тем, кто он есть. [...] Через годы, после его смерти я полюбила то *счастье*, что звала трагедией и горем по *недомыслию моему*. Поняв все это, *ничего* не ставлю ему в счет. Если это все-таки называется “простить”, — то да, — я *простила*, и образ его для меня сейчас лучезарен» (47) .

«Огненный ангел» понравился и тем, кто был далек от Брюсова. По прочтении первых глав в «Весах» Метнер в апреле 1907 года «в страшном восторге» делился с Белым: «Я начинаю понимать его и понимать свое прежнее непонимание его. [...] Интеллигидельный (или просто гибельный) характер Брюсова остается мне антипатичным, но как художника я уважаю его больше, нежели всех современных русских художников всех специальностей» (48). Николай Рёрих 5 июня 1908 года признался автору, что «Огненный ангел» «прямо потряс меня своею глубиною истинной проникновенности» (49). Дочитав роман, Ремизов 4 декабря 1908 года написал Валерию Яковлевичу: «“Огненный ангел” будет встряской для русских писателей, и я уверен, скоро по кусочкам его расташут для повестей и рассказов» (50). Сыграл он свою роль и в литературной борьбе, которую можно назвать «расколом в символистах».

Книга третья



ЧАША
ИСПЫТАНИЙ
(1906—1917)

И на голос мой восторженный
Откликаются бойцы.
Но настанет миг — я ведаю —
Победят мои друзья,
И над жалкой их победою
Засмеюсь первым — я.

Валерий Брюсов

Глава одиннадцатая
«РАСКОЛ В СИМВОЛИСТАХ»

1

В декабре 1905 года Брюсов составил проект «Предполагаемой организации “Весов”», который назвал «конституцией» журнала:

«§ 1. Редакция состоит из С.А. Полякова, М.Н. Семенова, В.И. Иванова, В.Я. Брюсова и, в случае их согласия, также из К.Д. Бальмонта и Б.Н. Бугаева.

§ 2. Члены редакции обязуются печатать все, ими написанное, подходящее к программе “Весов” исключительно в “Весех”, а “Весы” обязаны давать место всем таким их произведениям.

Примечание 1. Нарушением этого § не должно считаться напечатание членами редакции в других изданиях статей, к программе “Весов” не подходящих, а также и отдельные случаи помещения в других изданиях произведений, которые могли бы быть напечатаны в “Весех”, если только это помещение не имеет характера постоянного сотрудничества.

Примечание 2. К.Д. Бальмонт может быть принят в члены редакции, не давая обязательства, требуемого § 2.

§ 3. Произведения членов редакции никакому предварительному редактированию не подлежат и могут быть лишь опротестованы перед редакционным собранием С.А. Поляковым.

§ 4. Остальной поступающий в редакцию материал члены редакции распределяют между собой по отделам, причем каждый член редакции пользуется по отношению к произведениям своего отдела правом абсолютного veto.

§ 5. Предполагаемый состав книги журнала, согласно с предложениями редакторов отделов, обсу-

ждается на редакционном собрании, причем спорные вопросы решаются большинством голосов присутствующих.

§ 6. С.А. Полякову доставляются в сверстанном виде все листы №, причем ему предоставляется право опротестовывать те или другие места текста, но в случае, когда это будет касаться вопросов литературных, спор должен быть передан на редакционное собрание.

Схолия. Желательно, чтобы “Весы” были выразителем идей кружка, так что при обсуждении статей посторонних сотрудников могут быть принимаемы во внимание не только литературные достоинства статьи, но и руководящая ее идея.

Сия программа должна быть принята целиком (en bloc) или целиком отвергнута.

(Подписано рукой В.Я. Брюсова): М. Семенов, В. Иванов, В. Брюсов

(Подписано рукой подписавших): К. Бальмонт, С. Поляков, Б. Бугаев

Часть материальная (рукой М.Н. Семенова — В.М.).

Все счета с типографиями и бумажными фабрикантами ведутся непосредственно С.А. Поляковым.

На редакционные расходы С.А. Поляковым должно быть ассигновано ежемесячно 300 рублей (на уплату гонораров редакции и сотрудникам), а кроме того ежегодно по 1000 р. на рекламу» (1).

Чего хотел Брюсов? Во-первых, избавить себя от работы в одиночку и одновременно от возможного вмешательства Полякова в редакционные дела. Во-вторых, добиться стабильного финансирования работы редакции. В-третьих, не допустить утечки к конкурентам произведений Иванова и Белого (требовать этого от плодовитого Бальмонта было бессмысленно, а Поляков и Семенов занимались только переводами).

Бальмонт на все согласился: январский номер 1906 года открывался его большим циклом «Над вечным морем». Иванов отверг второй параграф: «4 сотрудника-поэта делят между собой 300 рублей и не смеют ничего более зарабатывать (разве случайно — слабейшими из своих писаний), притом они подвергаются чьей-то верховной цензуре! Курьезный аппарат для снятия сливок с подоишников Музы!» (2). Положение не исправили ни посвящение ему

«Венка», ни публикация в февральском номере его цикла «Северное солнце»: сохраняя дружеские отношения с Брюсовым, Вячеслав Иванович отдалился от «Весов», предпочтя им альманах Чулкова «Факелы» и журнал «Золотое руно». Белый говорил, что «подмахнул» документ, не читая, а в декабре 1905 года «написал два тождественных письма — нам, в “Весы”, и в “Золотое руно”. Просил обеспечить себе 60 р. в месяц (в “З.Р.” 80)*. Писал: “Я продащик — вы покупатели. Я продаю кровь своего сердца”. “Во сколько оценят «Весы» («З.Р.») крик души Андрея Белого”. Гриф ответил первым. Согласился. Белый взял отданные нам стихи, под предлогом поправки их, и передал в “З.Р.”» (3).

Брюсов остался главной «рабочей лошадью» и арбитром вкусов (с этим словом часто рифмовали его фамилию), теперь и в отношении художественных произведений, которые «Весы» начали публиковать с 1906 года. Он повторил приглашения мэтрам символизма и занялся отбором перспективных начинающих. «Обращаюсь к Вам еще раз с просьбой и с предложением — сотрудничать в “Весах”, — писал он 3 февраля Юрию Верховскому. — От Вас мы ждем не только стихов, но и прозы: статей, заметок, рецензий. [...] Передайте, прошу, мой привет Михаилу Алексеевичу (Кузмину. — В.М.). От него мы ждем, для одного из №№ “Весов” — Александрийских стихов, ибо прозы он, кажется, не пишет. (А что если бы он попытался написать что-либо о музыке?)» (4). Ровно через месяц Кузмин, с которым Брюсов познакомился 18 января 1906 года на «Башне» Иванова, выслал ему «Александрийские песни», «чтобы Вы сами могли сделать выбор годного, что, равно как и перестановку их, предоставляю на полнейшее Ваше усмотрение» (5). Стихи появились в июльской книжке, а ноябрьская была полностью отдана под повесть Кузмина «Крылья», для чего потребовалась известная смелость, а не только вера в талант автора.

Стихов было много, но Брюсов решил придерживаться «новопутейского» принципа публикации больших авторских подборок-циклов (как правило, одна в номере), периодически делая общую для молодых. «Вы понимаете

* 12 мая 1906 года Брюсов сообщил Ю.Н. Верховскому гонорарные ставки: «За прозу статей и рецензий — 3 р. со страницы; за художественную прозу — 95 р. с *полного* листа; перевод — 25 р. с листа; стихи — отдельное стихотворение 30 коп. со стиха; стихи — серия стихотворений 80 р. с листа, т.е. 5 р. со страницы, *полной и неполной*» (НЖ. Кн. 220. С. 195).

преимущества этого, скажу, “метода”, — писал он в конце апреля Верховскому. — 10–12 стихотворений, собранных в одной книжке, могут более или менее полно охарактеризовать поэта или известный период его творчества, тогда как стихотворение, стоящее одиноко, особенно автора еще малоизвестного, не говорит читателю почти ничего. Но благодаря такому решению, мы можем предоставить страницы “Весов” лишь очень небольшому числу поэтов. Книжки 1–4, как Вы видите, были посвящены К. Бальмонту, Вяч. Иванову и З. Гиппиус (сдвоенный № 3/4 — В.М.). Дальнейшие обещаны: А. Блоку, А. Белому, Ф. Сологубу, Ю. Балтрушайтису, М. Волошину, М. Кузмину и мне. Одна книжка будет “сборная”, но, во-первых, в ней предполагается приютить лишь совсем начинающих поэтов (как В. Пяст, Городецкий), а во-вторых, каждый из них будет представлен не более как двумя, много тремя стихотворениями». Однако «наше желание предоставлять каждый № лишь одному поэту вызвало множество нареканий, — говорилось в следующем письме. — Никто не хотел ждать очереди, как у театральной кассы». С 1907 года «мы уничтожаем, — извещал Брюсов Верховского 12 октября, — столь стеснительный (хотя и имеющий различные преимущества) обычай — печатать стихи целыми циклами, и это даст нам возможность гораздо чаще предоставлять страницы “Весов” различным поэтам» (6).

«Он вел полемику, — вспоминал Ходасевич, — заключал союзы, объявлял войны, соединял и разъединял, мирил и ссорил. Управляя многими явными и тайными нитями, чувствовал себя капитаном некоего литературного корабля и дело свое делал с великой бдительностью. К властвованию, кроме природной склонности, толкало его и сознание ответственности за судьбу судна». Не Белый ли подсказал ему это сравнение? В «берлинской редакции» «Начала века» читаем: «Шесть лет представляли собою “Весы” миноносец, с неудержимой отвагой и злостью нападавший на броненосцы тяжелого “Мира Божьего”, “Вестника Европы”, “Образования”, “Русской мысли”, “[Русского] богатства”, на крейсера — иль газеты. [...] Конечно же, капитан — В.Я. Брюсов, С.А. Поляков — ну, конечно же, старший механик; М.Ф. Ликиардопуло — рулевой; Ю.К. Балтрушайтис — стоящий на вахте; я, Эллис, С.М. Соловьев, Садовской — артиллерийская часть». Сравнение понравилось автору, который повторил его еще в двух книгах (7).

Вскоре у «Весов» появились потенциальные соперни-

ки. В январе 1905 года художник Николай Тароватый начал выпускать журнал «Искусство», задуманный ни много ни мало как продолжение «Мира искусства». Он делался силами молодых модернистов без имени и репутации: Ходасевича, Пантюхова, Гофмана (Брюсов выругал в «Весах» его дебютный сборник «Книга вступлений») — и продержался меньше года. Гибнущий журнал подхватил энергичный Соколов, но спасти не смог. Зато сумел убедить миллионера Николая Рябушинского, баловавшегося живописью и литературой, выпускать с января 1906 года ежемесячник «Золотое руно». «Рябушинский сделал все, чтобы привлечь в свой журнал лучшие символистские и околосимволистские литературные силы. [...] В издание были вложены огромные средства. Оформление отличалось вызывающей дороговизной исполнения. Ориентация изначально была задана на самые громкие, самые престижные в своем роде имена. [...] По объему и уровню литературного отдела номера “Золотого руна” не уступали выпускам “Весов”» (8).

В декабре 1905 года Соколов познакомил Брюсова с Рябушинским. Какое впечатление произвел на него меценат, мы не знаем, но отзывы петербуржцев о нем были единодушно презрительными — при согласии работать за высокие гонорары. «Казалось, точно он *нарочно* представляется до карикатуры типичным купчиком-голубчиком из пьес Островского», — вспоминал Александр Бенуа, которого Рябушинский, вознамерившийся «продолжать дело Дягилева», хотел привлечь к руководству «Золотым руном» в качестве аутентичного «мирискусника». Бенуа отказался (9). Брюсов поначалу согласился и 31 января на банкете в честь выхода первого номера журнала произнес примечательную речь:

«Тринадцать лет тому назад, осенью 1893 года я работал над изданием тоненькой, крохотной книжки, носившей бессильное и дерзкое название “Русские символисты”. Бессильным это заглавие назвал я потому, что оно бескрасочно, ничего не говорит само по себе, ссылается на что-то чужое. Но оно было и дерзким, потому что открыто выставляло своих авторов защитниками того движения в литературе, которое у нас до того времени подвергалось только самым ожесточенным нападкам и насмешкам, если не считать очень двусмысленной защиты его на страницах “Северного вестника”. Началась борьба, сначала незаметная, потом замеченная лишь для того, чтобы тоже подвергнуться всякого рода нападкам. И длилась она 13 лет, все

разрастаясь, захватывая все более обширные пространства, привлекая все более значительное число сторонников. Сегодня, наконец, я присутствую при спуске в воду только что оснащенного, богато убранного, роскошного корабля Арго, который Язон вручает именно нам, столь разным по своим убеждениям политическим, философским и религиозным, но объединенным именно под знаменем нового искусства. И видя перед собой это чудо строительного искусства, его золотые паруса, его красивые флаги, я сознаю, наконец, что борьба, в которой я имел честь участвовать вместе со своими сотоварищами, была не бесплодной, была не безнадежной. Но, вступая на борт этого корабля, я задаю себе вопрос: куда же поведет нас наш кормщик. За каким Золотым Руном едем мы. Если за тем, за которым 13 лет назад выехали мы в утлой лодочке, — то оно уже вырвано в Колхиде у злого дракона, уже стало достоянием родной страны. Неужели же задача нового Арго только развезить по гаваням и пристаням пряди золотого руна и распределять его по рукам. Неужели дело нового издания только распространять идеи, высказанные раньше другими? О, тогда ваш Арго будет не крылатым кораблем — а громадным склепом, мраморным саркофагом, которому, как пергамским гробницам, будут удивляться в музеях, но в котором будет пышно погребена новая поэзия. Я поднимаю бокал за то, чтобы этого не было, я подымаю бокал против всех, кто хочет отдыхать, торжествуя победу, и за всех, кто хочет новой борьбы, во имя новых идеалов в искусстве, кто ждет новых неудач и новых посмеяний» (10).

Формулы ритуальной вежливости еле-еле прикрыли напоминание о своем первенстве и вызов на «бой во имя новой воли» — подобный стихотворению «Близким», отданному в «Факелы». Новый Арго нес на борту ведущих писателей и художников модернизма, но Брюсов сомневался в талантах кормщиков и их способности к оригинальному творчеству. Концовку речи он использовал в первой же своей статье о «Золотом руне», а в февральском номере «Весов» поместил язвительный фельетон Гиппиус за подписью «Товарищ Герман» (подлинное имя автора хранилось в тайне), обвинявший новый журнал в неоригинальности и бескультуре.

Что касается второго конкурента — «Факелов», то в них Брюсова отталкивали политическая ангажированность и литературная всеядность: Чулков ставил идейность выше художественности, а в погоне за именами привлек в альма-

нах Андреева и Бунина. Критике первой книги «Факелов», вышедшей в апреле 1906 года, Валерий Яковлевич посвятил обстоятельную статью в «Весах» (1906. № 5) под прозрачным псевдонимом «Аврелий». Главный упрек заключался в том, что доктрина «мистического анархизма», провозглашенная как альтернатива «символизму, выращенному в оранжереях мещанской культуры» и «жалкому декадентству», нежизнеспособна: «Формула “Я мира не приемлю” выбрасывает за борт весь материал художественного творчества: весь мир», — и не поддержана никакими творческими достижениями. 24 апреля Брюсов писал Блоку, у которого, наконец-то, оценивший его «Скорпион» купил новую книгу стихов «Нечаянная радость»: «Перечел Ваш “Балаганчик”. Прекрасно, хорошо совсем. [...] Все остальное в “Факелах” (в том числе стихи мои и Б.Н.) — дрянь, вещи, которые к искусству причислить нельзя никак. И никакого “мистического” анархизма не оказалось, а — просто тенденциозная беллетристика, во вкусе “Русского богатства”. И эту старую, пережеванную муку нам выдают за истинный хлеб, которым должно будто бы заменить очерствелый символизм! И эти “факельщики”, подлинные реакционеры в искусстве, воображают себя прогрессистами и новаторами! Стыдно» (11). В том же духе он написал Чулкову, но на их отношениях это пока не сказалось.

За «Факелы» вступился Иванов (1906. № 6). «Аврелий» ответил личным письмом, разъяснив причины своего участия в критикуемом альманахе (12), но дальнейшее сотрудничество с ним оказалось под вопросом. Назвав присутствие Чулкова в «Весах» «очень желательным», Брюсов отверг его рецензию на X сборник «Знания» с похвалами пьесе Андреева «К звездам»: «Эти сцены — мертворожденные, ходульные, шаблонные, доказывающие — повидимому однажды навсегда, что Андрееву не следует братья за писание драм, как и стихов», — и фактически отказался от участия в альманахе: «В “Факелах” помещались создания искусства или нет? Если да, то там не место вещам, оскорбляющим художественное чувство. [...] Если нет, если “Факелы” хотят только под флагом искусства вести проповедь революции, там не место “декадентам”, которые прежде всего отстаивали и будут отстаивать *свободу* творчества. [...] Если редакция “Факелов” возводит эстетическую неразборчивость в принцип, мое сотрудничество невозможно. Если же помещение произведений антихудожественных произошло случайно или в силу того, что редакция иначе,

чем я, оценивала их художественное значение, — я, конечно, готов и рад появиться на одних страницах с Вяч. Ивановым, с Вами, с Ф. Сологубом» (13).

Летом 1906 года Брюсов с Иоанной Матвеевной отдыхал в Швеции: изучал шведский язык и писал стихи, среди которых особое место занимает «Карл XII. Памятник в Стокгольме»:

Ты в древних сагах был предсказан,
Последний викинг, вождь-герой!
Мечтой веков миропомазан
За Север на смертельный бой!
Ты принял беспощадный вызов,
Поверив в помощь тайных сил,
Свой подвиг, сана не унизив,
Как Рыцарь Полюса свершил.
И пусть, обманут зовом славы,
Ты дерзко жребии метал,
Пусть на пустых полях Полтавы
Судьбу столетий проиграл, —
Но сны заветные народа
В тебе свой образ обрели,
Сны духовидца, морехода,
Завоевателя земли!
Стоишь ты, призрак древней саги,
В своей столице над толпой
И вдохновенным взмахом шпаги,
Как прежде, манишь за собой.
Мне, гостю с вражьего Востока,
Склониться пред тобой дозволь,
Игрок безумный в кости Рока,
Венчанный Полюсом король!

При первой публикации в «Весах» оно входило в пейзажный цикл «В Швеции», но в сборнике «Все напевы» переместилось в раздел «Приветствия», заняв место рядом со стихотворением «Медному всаднику». Брюсов не просто отдал дань политическому врагу России, не просто дал новую оценку тому, кого принято считать авантюристом и неудачником. Он создал мифологический образ Рыцаря Полюса, вневременной облик человека Традиции.

В это время Чулков выпустил брошюру «О мистическом анархизме» с предисловием Иванова «О неприятии мира» и прислал ее Брюсову. Новый отзыв «Аврелия» (1906. № 8) был гораздо более резким: «На страницах г. Георгия Чулкова неопределенные ценности, о сокровенном существовании

которых заявлял г. Вяч. Иванов, разменены на медные пятачки газетных фельетонов, и после этого гг. “мистические анархисты” не могут не признать себя банкротами». Публикации предшествовало откровенное письмо Чулкову: «Я люблю Вас, очень люблю. Этим я хочу сказать, что как человек, как личность Вы мне очень нравитесь. [...] Но — странное дело: все, что Вы пишете, мне большей частью бывает не по сердцу. И как писателя я Вас скорее *не люблю*. Из этого возникает моя “несправедливость” как критика. [...] Боясь быть лицеприятным, я впадаю в другую крайность — я отношусь к Вашим вещам строже, враждебнее, чем отнесся бы, будь Вы моим личным врагом. [...] Постараюсь всячески избежать этого, разбирая Вашу последнюю книгу. Но в моих отношениях к ней есть все то же непобедимое противоречие. Совершенно определенная дружественность к Вам как к Георгию Чулкову, которого я знаю, как к цельной личности и в этом смысле как “к зачинателю «Факелов»” борется во мне со столь же определенной враждебностью и к высказываемым Вами идеям, и к той форме, в которой Вы их высказываете. [...] Лично мне хочется быть вместе с Вами и вместе с Вяч. Ивановым. Но я решительно не разделяю взглядов, высказанных в книге о неприятии мира и о мистическом анархизме. С этими взглядами, поскольку я критик, я буду бороться» (14). 17 октября Брюсов писал Иванову: «В проповеди, затеянной тобой с Георгием Ивановичем, мне видится нечто глубоко гибельное для того движения в литературе, которому я служу. [...] Я прямо вменяю себе в долг всеми средствами, вплоть до насмешки, бороться с “мистическим анархизмом” и твоим “неприятием мира”» (15).

Отношения Брюсова с Чулковым стали натянутыми, но порвались только в апреле 1907 года после резкой рецензии на «Земную ось». Объяснения автора: «Надеюсь, что мой отзыв о Вас как о писателе Вы не истолкуете как акт, враждебный Вам как человеку. Наоборот: невысоко ценя Ваши рассказы, я очень люблю Вас как человека» (16), — не удовлетворили Брюсова, хотя Георгий Иванович только вернул ему — всерьез или иронически — его собственные слова.

2

Одновременно у «Весов» разгорелась полемика с «Золотым руном» (17). «Товарищ Герман» взбесил Соколова, ополчившегося на «не совсем приличные намеки» («купе-

чество» издателя) и «ноту оскорбленного монополизма» (18). Новый злой фельетон под той же маской написал Брюсов, продолжавший, тем не менее, сотрудничать в «Руне» до конца 1906 года и периодически читавший там похвалы себе как поэту. «Г. Сергей Кречетов, — говорилось в фельетоне, — наговаривает столько забавных нелепостей, что его патетический ответ не может возбудить ничего, кроме взрывов здорового смеха. [...] Обидно, однако, что в журнале, считающем в числе своих сотрудников наших лучших стилистов, редакционные ответы пишутся языком г. Сергея Кречетова!» (1906. № 5). Добил противника памфлет Брюсова «Вопросы» — на сей раз без подписи — где «Золотое руно» было названо «судном без капитана и кормчего» (1906. № 6). Особенно неприятно прозвучали утверждения, что журнал Рябушинского экономит на иллюстрациях.

Соколов снова дал отповедь «товарищу Герману», но она осталась в архиве: дни его как редактора литературного отдела были сочтены. Если Брюсова раздражал «начальственный голос» «тишайшего», по общему мнению, Полякова, то Рябушинский, как он сам говорил, «привык командовать служащими». Ради возможности редактировать журнал богаче, чем у ненавистного Брюсова, Соколов терпел, хотя его хватило лишь на полгода. 4 июля он направил издателю пространное заявление об уходе, разослав копии многим литераторам: «Авторитет знания, опыта и утонченного вкуса Вы подменили грубым авторитетом денежной силы, которой подчинить Вы считали возможным все. [...] Не любя Искусства истинной любовью, смотря на него, как на забаву, как на свою личную прихоть, Вы *и не уважали Искусства*» (19). Расчет на уход именитых сотрудников не оправдался: литературная братия посмеивалась над Рябушинским, однако и Кречетов мало у кого вызывал симпатию. «Купчик» не растерялся и уже на следующий день обратился за советом к Брюсову.

Валерий Яковлевич не торопился в Москву из Швеции, но не отказался от заманчивого предложения. Зная «ндрав» Рябушинского, он ограничился советами, а на постоянную работу порекомендовал своего приятеля Курсинского. На полгода «Золотое руно» стало союзником «Весов». Правда, уже в марте 1907 года Курсинский со скандалом ушел оттуда, не выдержав обращения издателя, который «сначала прекратил со мною всякие совещания о делах, касающихся журнала, затем прекратил всякие разговоры вообще, словно совершенно не замечал моего присутствия в редак-

ции, и, наконец, довел свою невнимательность ко мне до явно оскорбительного отношения, выражавшегося в том, что 15 марта, уходя из редакции и прощаясь с присутствующими, обошел меня и не подал мне руки» (20). Редакция «Весов» откликнулась на его просьбу об организации третейского суда и вынудила Рябушинского принести извинения. Тем не менее суд не состоялся, и причитавшихся ему денег Курсинский не получил. «Купчик» цинично заявил: «Неужели я не могу *отказать* своей *кухарке* без того, чтобы в это дело не вмешались “Весы”?» (21). Он пригласил Белого возглавить литературный отдел, но тот решительно отказался. Брюсов дал несколько прощальных залпов по «Руну», которое отныне для него было потеряно навсегда. Новый секретарь редакции Генрих Тастевен и приглашенный на роль ведущего критика Блок в союзе с Ивановым и Чулковым решили придать «Золотому руну» собственное лицо. Это лицо было антивесовским и антибрюсовским, хотя Блок прислал Валерию Яковлевичу «Нечаянную радость» с надписью: «Венценосному певцу безмерных глубин и снежных высот [...] внимательный и всегда преданный ученик» (22).

На другом фланге в бой вступил «Перевал» (Брюсов немедленно окрестил его «Провалом») — «журнал свободной мысли», издававшийся с ноября 1906 года Соколовым на деньги мецената Владимира Линденбаума (23). Соколов бравировал радикализмом (сборник его стихов «Алая книга» был изъят из продажи по приказу московского генерал-губернатора) и решил придать журналу «направление». Задуманный как орган «Грифа», «Перевал» собрал всех отвергнутых «Весами», включая Криницкого, Ходасевича и Петровскую, но первым делом издатель хотел поquitаться с Рябушинским и его «зловонной лавочкой». Особое место в журнале занял Белый, привлеченный возможностью публиковать большие теоретические и публицистические работы. В то же время он выступал как представитель «весовской» группы, по мере сил уравнивая и смягчая враждебность «перевальцев» к ней (24).

Брюсов тоже получил приглашение в новый журнал, но уклонился от сотрудничества, ссылаясь на занятость в «Весах» и в «Руне», «в которое между прочим я был введен лично Вами», как он не без иронии напомнил Соколову. Надежды на дипломатические отношения были похоронены рецензией Чулкова («перевальцы» критиковали «мистических анархистов», но «враг моего врага — мой друг»)

на сборник рассказов Брюсова «Земная ось»: «Несмотря на художественное бессилие этой книги, она представляет значительный интерес. [...] Подобно тому, как кассовая книга разорившегося банкирского дома своими мертвыми цифрами говорит сердцу о тайной драме, о крушении какой-то большой нелепой постройке, созидавшейся годами, так и «Земная ось» напоминает нам о крушении некоторого мирозерцания. [...] Это мирозерцание определяется как ложный индивидуализм, т.е. такой «индивидуализм», который по своей религиозно-философской слепоте мечтает утвердить себя вне общественности. Отсюда — бескровность, бездушие и реакционность того «искусства», которое связывает себя с этим внешнепонятым индивидуализмом» (25).

Редакция оговорила, что оставляет за собой право вернуться к оценке книги, но Соколов с радостью принял памфлет Чулкова и подбивал его, как и Волошина, разгромить брюсовские переводы из Верхарна (26). Идеиные упреки не удивили Брюсова, который уже обсуждал с Чулковым «реакционность» «Весов» и наличие у них «врагов слева» (27). Под впечатлением услышанного и прочитанного он в тот же день признался далекому от символизма Ляцкому: «Хотя извне я и кажусь главарем тех, кого по старой памяти называют нашими декадентами, но в действительности среди них я — как заложник в неприятельском лагере. Давно уже все, что я пишу, и все, что я говорю, решительно не по душе литературным моим сотоварищам, а мне, признаться, не очень нравится то, что пишут и говорят они» (28). Выхваченные из контекста фразы цитировались как доказательство отхода Брюсова от якобы чуждого ему символизма, но он как раз имел в виду защиту символизма от чуждых воздействий религиозно-философского и общественно-политического характера.

Рецензия Чулкова стала первым публичным выпадом против Брюсова *как художника* со стороны своих: ругать его как поэта было неудобно, но рассказы давали повод и для принципиальных высказываний, и для сведения счетов. Эллис разорвал отношения с Блоком, когда тот не согласился с ним, что «заметка Чулкова о «Земной оси» противоречит всем элементарным условиям чести, логики, приличия и честности!» (29). Гиппиус написала отзыв для «Весов», корректный по форме, кисло-сладкий по содержанию: «У хорошего поэта не может быть совершенно плохой прозы. [...] Так как он-то сам, Брюсов, — целиком —

поэт (только потому и настоящий поэт), — то его *самого* для прозы и не остается. [...] Пленительности, непереносимой пленительности истинного искусства — нет в искусственной прозе Брюсова» (30). Замечания можно применить к ней самой: ценивший поэтическое дарование Гиппиус, Брюсов холодно отзывался о ее беллетристике, например, о сборнике «Алый меч», появившемся незадолго до «Земной оси». «Когда я писал о вашей книге, — признавался он в письме к ней 27 декабря 1906 года, — я больше думал о своей. Все упреки, какие я делал вам, я относил и к себе. Все недостатки, какие находил у вас, знал и у себя». Блок называл «Земную ось» «странной, поразительной, магической книгой» (31); это его последняя рецензия на Брюсова. Эллис восторженно отметил в ней сочетание «глубокого философского содержания» и «свободной, утонченной и ритмически-строгой формы» (32).

Исследователи малой прозы Брюсова уделяли основное внимание именно «Земной оси» (в 1910 году вышло второе, дополненное издание). Что примечательно в этой книге? Автор следовал не русским традициям, но образцам европейской и американской остросюжетной прозы, популярной в России, но не нашедшей здесь последователей. Это отметил Сергей Ауслендер в рецензии на второе издание: «Возрождение рассказа фабулистического, возрождение ясности и стройности в повествовании должно стать боевым лозунгом современной литературы, раздираемой смятением импрессионизма. Брюсов-прозаик один из передовых бойцов этого движения» (33). Как повествователь он примерял различные маски (репортера, психопата, женщины, средневекового хрониста), но не тяготел к вошедшей в моду стилизации. К его рассказам применимо пушкинское определение «драматические *изучения*» (вариант названия «Маленьких трагедий»): автор не просто показывает, но изучает необычные психологические явления, уклоняясь от морализирования по поводу их ненормальности. Наконец, проза Брюсова очень кинематографична. Его тексты легко преобразовать в сценарии, а жанровое разнообразие позволяет снять по ним любой фильм: мистический триллер («В зеркале», «Огненный ангел»), исторический блокбастер («Алтарь Победы»), антиутопию («Республика Южного Креста», «Последние мученики»), хоррор («Теперь, когда я проснулся», «Элули, сын Элули»), психологическую драму (рассказы сборника «Ночи и дни»), историко-бытовую панораму («Обручение Даши») и даже «крутую эротику» («Се-

стры»). Удивительно, что этот богатейший материал остается практически невостребованным (34).

Особое место в сборнике занимает драма «Земля» (вариант заглавия «Гибель Земли», использованный в авторизованном немецком переводе): она завершает «Земную ось» как концентрированное выражение идей, содержащихся в рассказах. Это наиболее значительное и наиболее известное из драматических произведений Брюсова, опубликованных при его жизни. Автор сам назвал ее «написанной скорее для чтения, чем для театра», пояснив 5 августа 1905 года Ремизову, который предлагал Театру-студии Мейерхольда поставить «Землю»: «Считаю постановку ее на сцене недостижимой. Я, когда писал, имел в виду читателя» (35). Опыт ее постановки Большим драматическим театром в Петрограде в 1922 году (режиссер Николай Петров, композитор Михаил Кузмин) привел критику к решительному выводу: «Конечно, это не пьеса. В лучшем случае, она — сцены или, вернее, инсценированные диалоги, монологи, философские концепции, алгебраические формулы и т.д. Тут нет живого духа театра, как нет в ней театра вообще. “Земля” абсолютно лишена действия, движения, динамики» (36). В 1907 году, уже после публикации драмы, Всеволод Мейерхольд, высоко ценивший Брюсова как поэта и теоретика «условного театра», писал ему: «Да посетит Вас вдохновение *задумать* пьесу» (курсив мой. — В.М.) (37).

Автор посвятил эти антиутопические «сцены будущих времен» «ясной осени 1890 года, когда их образы предстали мне впервые», так что корни замысла надо искать в юношеских тетрадах. В пьесе переплелись две темы, давно волновавшие Брюсова: обреченность техногенной цивилизации в противоборстве с природой и ответственность личности, облеченной неограниченной властью, за свои поступки, от которых зависит судьба человечества. «Фантастика здесь играет роль аллегории», — отметил Л.К. Долгополов, добавив: «Идею будущего города-государства под стеклянной крышей, куда собрались остатки вымирающего человеческого рода Брюсов, заимствовал, как видно из романа К. Фламариона “Конец мира” (впервые на русском языке под заглавием “Светопреставление” опубликован в 1893 году)» (38). Имена героев — Тлакатель, Теотль, Неватель — взяты, как сообщил Брюсов 26 мая 1907 года немецкому переводчику Александру Элиасбергу, «из одного древнеамериканского наречия (и все имеют в этом языке *свой смысл*)» (39). «Найти возможные имена для последних

людей на земле было очень трудною задачею, и он разрешил ее остроумно и логично, взяв древнейшие имена, дошедшие до нас, — имена племени майев», — утверждал Волошин (40).

Первую публикацию трагедии в «Северных цветах Ассирийских» (1905), еще до раскола в символистах, положительно оценили Белый в «Весах» (1905. № 6) и Чулков в «Вопросах жизни», а также Сологуб в письме к автору: «Эта тема занимала и меня. Я думал развязать ее иначе. Мне мечтался народ, сознательно решившийся придти к своему концу» (41). Восторженный отзыв оставил Эллис: «"Земля" является самым значительным из всего, когда-либо им созданного, соединяя в себе, как в одном магическом фокусе, все самые существенные черты его поэтической личности, всю совокупность приемов его художественного творчества. Мы скажем более: кто не оценил и не полюбил этой мировой драмы, пережитой душой одного человека, тот вообще не способен понять, принять и полюбить поэта Брюсова. [...] В титанической постановке вопроса Брюсов почти не имеет предшественников; по силе основного душевного движения, создавшего эту драму, мы можем сравнить его лишь с первоклассными художниками-гигантами, с великим автором "Фауста". [...] Конечно, наша так называемая "критика" сочтет бредом мои слова по поводу этой драмы; такова несвоевременность и великая несовременность этой драмы» (42). Среди позднейших оценок выделяется мнение Лелевича о том, что автор «Земли» «безусловно, наделил каждого героя какой-нибудь чертой *своего* мировоззрения или мировосприятия. [...] Всё это лишь *различные лики самого Брюсова*. Правда, эти лики враждебны друг другу и противоречивы, но ведь и сам Брюсов состоял из враждебных друг другу противоречий» (43). Велико искушение предположить, что не слишком сведущий в символизме напостовец услышал эту мысль от Иоанны Матвеевны или Перцова, помогавших ему в работе.

В условиях разгоревшейся на многих фронтах полемики Брюсов объявил тотальную мобилизацию. «В "Весах" продолжал ощущаться недостаток бойкого и острого пера, пригодного к стремительным литературным атакам и маневрированию» (44). «Цепные собаки» Садовской и Чуковский, далекие от символизма по мировоззрению, годились для высмеивания реалистов из «Знания» и малограмотных газетчиков, но не для внутримодернистской полемики. Этим искусством отлично владела Гиппиус, а сотрудниче-

ство такого тяжеловеса, как Мережковский, могло заметно укрепить позиции журнала. Поэтому 31 июля 1906 года Брюсов в письме предложил им и сложившейся вокруг них группе «Меч» (Д.В. Философов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков) формальный союз: «Соединив свои силы, мы могли бы завоевать этому журналу и внешний “успех”, и настоящее “влияние”. [...] Нам не довольно того, что в “Весех” будет печататься большее число статей Д.С., Ваших (Гиппиус. — В.М.), Д.В. и Бердяева: мы мечтаем на самом деле о слиянии “Весов” и “Меча”, о том, чтобы этот “меч” мог естественно вплестись в эмблему “весов”». Конкретные условия были такими: из семи печатных листов каждой книжки три отводятся под стихи и беллетристику, четыре под статьи, рецензии и хронику, которые делятся пополам между «Весами» и «Мечом»; стороны распоряжаются этим объемом по своему усмотрению, с единственной оговоркой, что редакция имеет право отказаться от материала, который может грозить закрытием журнала (жившие во Франции Мережковские опубликовали там ряд работ, запрещенных в России); «все более значительное из своих произведений» Мережковские отдают в «Весы».

12/25 августа Гиппиус отвергла эти расчеты: они не оставляют места для «громоздких статей Дм. С.», которые и есть «все более значительное», а значит, «Весы» «для него не будут “своим” журналом». Запросив четыре листа ежемесячно, она предложила увеличить объем номера до десяти или двенадцати листов, что не устраивало издателя. 17/30 августа Брюсов разъяснил Философовой, что отводившиеся «Мечу» «два листа предполагались для чисто журнального материала», а крупные работы могут помещаться «в первом отделе, который я не совсем правильно назвал “беллетристикой”. [...] В этом отделе мы помещаем не только стихи и рассказы, но все, имеющее не преходящее, не временное значение. Во всяком случае о том, что в “Весех” не окажется места для страниц Д. Мережковского и З. Гиппиус, не может быть и речи». Вместе с тем гарантировать им фиксированный объем в первом отделе он не брался. Не имевшие в России постоянной трибуны, Мережковские поняли, что «хватали лишку», и согласились на два листа «постоянного отдела». Однако Брюсов узнал, что они вели аналогичные переговоры с Рябушинским, и жестко отреагировал на «закрытый аукцион», так что Дмитрию Сергеевичу пришлось оправдываться. В итоге его сотрудничество в «Весех» ограничилось осенью 1905-го — весной 1906 года,

зато Гиппиус охотно отдала им свое перо: «ее бойкие остроумно-язвительные фельетоны и рецензии [...] были именно тем ферментом, которого заметно не хватало “Весам” в их полемике» (45). Самые злые филиппики против эпигонов и вульгаризаторов символизма («Трихины», «Засоборились», «Братская могила») написаны именно ей. В то же время фельетон Философова «Дела домашние» с резкой оценкой внутрисимволистской полемики: «вынесли на улицу свои домашние дразги» (46), — привел к немедленному исключению из «Весов». «Я полагаю, — известил его Брюсов 29 сентября 1907 года, — что самым фактом напечатания этой статьи Вы сами отказались от сотрудничества по крайней мере в “Весакх”. В “Весакх” место лишь тем, кто их любит и уважает. [...] Позвольте в следующем списке сотрудников “Весов” Вашего имени уже не упоминать».

В конце февраля 1907 года в Москву из-за границы вернулся Андрей Белый, тяжело переживавший влюбленность в Любовь Дмитриевну Блок и запутавшийся в отношениях с «братом Сашей». Он с радостью взялся за работу в «Весакх» как теоретик, критик и полемист: «Моя жизнь два года исчерпывалась тактикой: всё для “Весов”; это значило: всё — для Брюсова. [...] Смелость Брюсову импонировала; и он не перечил мне» (47). Если до того «Весы» можно было с оговорками называть «журналом Брюсова», то теперь это был «журнал Брюсова и Белого». Последний разошелся не хуже «товарища Германа», пустив по адресу эпигонов символизма знаменитое выражение «обозная сволочь» (в статье «Вольноотпущенники»). В идейной полемике был и личный момент: главными мишенями его инвектив стали Блок и Чулков, особенно после того, как Белый узнал о кощунственной в его глазах любовной связи жены Блока с Чулковым (48), а также Иванов и Сергей Городецкий.

В августе 1907 года Белый окончательно порвал с «Золотым руном», после чего оттуда официально ушел Брюсов, уведя с собой Мережковских, Кузмина, Балтрушайтиса и секретаря редакции «Весов» Михаила Ликиардопуло. «Руну» они, за исключением Кузмина, давно ничего не давали, но демонстративный уход с оповещением через газеты подорвал репутацию журнала. Причиной стала публикация «Золотым руном» статьи Вольфинга (Э.К. Метнера) «Борис Бугаев против музыки» и отказ в публикации ответа. Метнер увидел сложную интригу, о чем писал Белому: «Получилось то, чего я боялся: и я, и Вы, оба превратились в орудия двух враждующих литературных фирм. Все учас-

тие в этом деле Брюсова, его советы мне *крайне антипатично*; тут чувствуется такой эгоизм, такое равнодушие к интересам лиц близких и далеких, ему надо похерить “Руно”, и он пользуется всем для этого; он страшно умен и с большой выдержкой человек. [...] Дай Бог, чтобы я был не прав, думая так о Брюсове! Чем-то слишком литературским веет ото всей “идейной” борьбы» (49).

Особого упоминания достоин инцидент, случившийся 14 апреля 1907 года на лекции Белого «Символизм в современном русском искусстве» в московском Политехническом музее. «Подошла ко мне одна дама (имени ее не хочу называть), — сообщал Брюсов Гиппиус несколько дней спустя, — вынула вдруг из муфты браунинг, приставила мне к груди и *спустила курок*. Было это во время антракта, публики кругом было мало, все разошлись по коридорам, но все же Гриф, Эллис и Сережа Соловьев успели схватить руку с револьвером и обезоружить. Я, правду сказать, особого волнения не испытал: слишком все произошло быстро. Но вот что интересно. Когда позже, уже в другом месте, сделали попытку стрелять из того же револьвера, он выстрелил совершенно исправно — совсем как в Лермонтовском “Фаталисте”. И, следовательно, без благодетельной случайности или воли Божией, вы совершенно просто могли получить, вместо этого письма, от “Скорпиона” конверт с траурной каймой». «Дамой» была Петровская.

Видели сцену многие, но путаница в их показаниях невероятная. Евгения Ланг, сестра Ланга-Миропольского, утверждала, что лекцию читал Брюсов, что Петровская прицелилась ему в лоб, а затем «точным, спокойным движением, не дрогнув, Брюсов поддел Нинину руку снизу, раздался выстрел. Пуля вонзилась в невысокий потолок над дверью. Валерий таким же точным движением, как выбивал револьвер, взял под руку спокойную Жанночку и спокойным шагом пошел с ней к выходу» (50). Она же сообщила, что Петровская получила револьвер от Ланга. Белый утверждал: «Пришла ей фантазия, иль рецидив, в меня выстрелить; но, побежденная лекцией, вдруг свой гнев обещала на... Брюсова (!) (вновь рецидив); в перерыве, став рядом с ним (он же доказывал Эллису что-то*), закрытая, к счастью, своими друзьями от публики, она выхватила револьвер, целясь в Брюсова; не растерялся он, тотчас твер-

* Ланг запомнила «профессорского типа осанистого старика», перепутать с которым Эллиса было невозможно.

до схватил ее за руку, чтобы эту “игрушку опасную”, вырвавши, спрятать себе в карман» (51). Новая жена «Грифа» Лидия Рындина утверждала — видимо, со слов мужа — что браунинг Петровской подарил Брюсов, что инцидент произошел в «передней литературного кружка» и что Соколов забрал револьвер, а затем отдал ей (52). 31 декабря 1908 года Брюсов писал Петровской: «Ты еще долго будешь возить с собой по разным странам браунинг, подаренный Тебе в наши знаменательные дни С.А. (Соколовым. — В.М.)». Перед такой разноголосицей свидетельских показаний, хорошо знакомой любому историку, биографу в пору стать агностиком...

Множить число литературных врагов Брюсов не собирался, поэтому счел необходимым объясниться с Ивановым, который 23 июля 1907 года прямо спросил его, «до какой степени простирается их («Весов» — В.М.) враждебность к литературным зачинам, с которыми связано мое имя», имея в виду уничтожающие отзывы Белого, Гиппиус и Эллиса о второй книге «Факелов» и об альманахе «Цветник Ор», выпущенном домашним издательством Иванова «Оры» (Брюсов дал туда одно стихотворение). «Ты просишь меня определить отношения “Весов” к тебе, — отвечал Валерий Яковлевич. — Но отношения эти *никогда* не менялись. “Весы”, если можно говорить об этом отвлеченном или собирательном понятии, *всегда* чттили в тебе большого поэта и большого писателя и потому всегда дорожили твоим участием. [...] Ты сам сделал ошибку, связав свое имя столь тесно с именем Георгия Чулкова. [...] Это не только бездарность (как я всегда утверждал), но еще шарлатан, рекламист и аферист. [...] Против мистического анархизма есть только одно оружие: насмешка». 4 августа Иванов ответил резким письмом, обвинив корреспондента в том, что «Весы» для него — «средство и орудие внешних воздействий и влияний на литературу и особенно на биржу литературных ценностей дня» и что он, «умертвив журнал в смысле органа идейного движения», пытается сделать его приемлемым для широкой публики. Реакция Брюсова нам неизвестна, но можно догадаться, насколько задело его это обвинение — ранее брошенное им самим «Золотому руну». В следующем письме от 27 сентября Иванов, заявив: «Я считаю *тебя* ответственным за *все*, что читаю в “Весых”», — дал понять, что компромисса не будет (53).

Удачнее получилось с Блоком, ставшим признанной литературной величиной, хотя бы только в модернистском

лагере, и активно участвовавшим во внутрисимволистской полемике. Брюсов 5 октября просил у него стихов, заметив, «"Весы", хотя и давали место нападкам на Вас отдельных своих сотрудников, всегда Вас ценили очень высоко и очень дорожили Вашим сотрудничеством. Я лично уже давно считаю Вас в числе наших замечательнейших писателей». Блок дал стихи, и поэты несколько месяцев интенсивно переписывались (54). Среди редких личных встреч отмечу визит Брюсова к Блоку, о котором он, приехав в начале марта 1909 года в Петербург, попросил «согласно со всеми добрыми традициями прошлого». «Вчера очень хорошее впечатление оставил у нас Валерий Брюсов, — писал Блок 13 марта матери. — Я чувствую к нему какую-то особенную благодарность за его любовь к стихам, он умеет говорить о них, как никто. И я с ним говорил, как давно уже не говорил ни с кем, на языке, понятном, вероятно, только поэтам». Разговор шел не только о стихах. Блок собирался в Италию, и Брюсов посоветовал посетить Равенну. Благодаря его по возвращении за совет, Александр Александрович заметил: «В Равенну, может, и не поехал бы, если бы Вы не соблазняли» (55). А мы бы остались без «Равенны» — украшения «Итальянских стихов» и одной из жемчужин третьего тома лирики Блока.

3

Осень 1907 года стала временем очередной перегруппировки сил. В ноябре из-за недостатка средств закрылся «Перевал». Укрепив свои позиции в «Руне», Блок попытался привлечь к редактированию Иванова, желая сделать журнал более цивилизованным и смягчить личные моменты в полемике, чему препятствовали Тастевен и Чулков. «Почти в каждом номере "Золотого руна" методично появлялись выпады по адресу "Весов", журнал Брюсова и Белого не оставался в долгу, и полемические пикировки по самым разнообразным поводам уже не воспринимались в "Золотом руне" как нечто экстраординарное, а стали своеобразной нормой существования, чуть ли не особым отделом в журнале» (56). В свою очередь «Весы» декларировали, что «считают своим долгом восставать как против всех явлений, враждебных свободному развитию духовной жизни, так и против всякого варварства, посягающего на культурные ценности. [...] Внимание, проявленное обществом

к “новому искусству”, привлекло в ряды его деятелей немало лиц, к тому совершенно не призванных. “Весы” ставят себе как прямую цель — провести разграничительную черту между истинным искусством и лже-искусством, между творчеством настоящих художников наших дней и художников-самозванцев» (57). Фамилий и названий не было, но и писатели, и читатели понимали, в кого метит манифест.

Сам Брюсов почти не участвовал в «журнальной драке», ограничиваясь обзорами поэтических новинок (разумеется, не свободными от полемики), но умело направлял ее ход. От литературных боев его отвлекала тяжелая болезнь отца: Яков Кузьмич в январе—июле 1907 года лечился во Франции и скончался 7 января 1908 года в Москве. Наряду с Белым активное участие в дискуссии приняли его друзья — Лев Львович Кобылинский, выступавший под заимствованным из тургеневских «Призраков» псевдонимом «Эллис», и Сергей Михайлович Соловьев.

Отношение Эллиса к Брюсову точно описывает эпиграмма последнего:

Им руган я немилосердно,
Потом хвалим усердно им,
А после — руган был усердно
И милосердно был хвалим...

«Этот странный человек с остро-зелеными глазами, белым мраморным лицом, неестественно черной, как будто лакированной, бородкой, ярко красными, “вампириными” губами, превращавший ночь в день, а день в ночь, живший в комнате всегда темной с опущенными шторами и свечами перед портретом Бодлера, а потом бюстом Данте, обладал темпераментом бешеного агитатора, создавал необычайные мифы, вымыслы, был творцом всяких пародий и изумительным мимом» (58). Личное знакомство Брюсова с Эллисом в конце апреля 1903 года дома у Белого закончилось скандалом, за что Валерий Яковлевич на следующий день письменно извинился перед хозяином, добавив, что братья Кобылинские — «одни из самых пустых, вздорных и несносных болтунов в Москве» (59). Неприязнь была и литературной, и личной: Брюсов резко критиковал стихи и переводы Эллиса, а вызывая Белого на дуэль в феврале 1905 года, просил об одолжении не приглашать Льва Львовича в секунданты.

Обладавший бешеным темпераментом Эллис ненави-

дел Брюсова, но в апреле 1907 года поговорил с ним по душам... и пришел в восторг. По словам Белого, хорошо знавшего характер друга, «проклинаящийся уже два года Брюсов в 24 часа взлетел на недосягаемый пьедестал»: «Эллис готов был бросаться вполне бескорыстно на всех, кто считал, что В.Я. не есть первый поэт среди нас. [...] Есть лишь один символизм: и пророк его — Брюсов» (60). Спорщик от природы, не склонный считаться с условностями, Эллис стал самым яростным полемистом «Весов», которые хотел превратить в боевой теоретический и критический журнал. Оппонентов он не щадил и слов в их адрес не выбирал: его письма к Брюсову пестрят выражениями вроде «Монблан навоза и пошлости», «разлагающийся труп», «гнилые мухоморы и проституты», «идиотизм вприсядку» (61). К социальным и эстетическим теориям Эллиса Брюсов относился без энтузиазма, но ценил его как журнального бойца.

Отношения Сергея Соловьева с Брюсовым знали не меньшие крайности. «На заре моей жизни, — вспоминал он в 1924 году, — я был совершенно раздавлен могучим гением Брюсова» (62). В октябре 1904 года мистически настроенный юноша, как и его друг Боря Бугаев, «вдруг увидел, что Брюсов следит за всем» и пытался постичь «план кампании мага Валерия». Но уже в феврале следующего года признался Блоку: «Брюсов растет не по дням, а по часам. Хочется говорить: Эсхил, Гёте, Брюсов. В моей и Бориной борьбе с ним было много недоразумения, в котором и он был виноват, ибо надевал страшную маску» (63). «Весовские» годы — время их наибольшей близости: в «Весах» в 1905 году Соловьев дебютировал как критик, а в «Северных цветах Ассирийских» как поэт. В первом сборнике «Цветы и ладан» он прославил учителя:

Ты, Брюсов, не был бы унижен
Среди поэзии царей,
И к ямбу Пушкина приближен
Твой новоявленный хорей...
То вещим магом, то ученым,
Ты встал: безжалостно греметь.
В твоём стихе озолоченном
Звонит Вергилиева медь.

Наряду с молодым Николаем Гумилевым Соловьев был самым последовательным учеником Брюсова, за что его упрекали в эпигонстве. Однако духовной близости с учителем у него, как и у Эллиса, не возникло.

Белый, Эллис и Соловьев стали творцами культа Брюсова. Хотя многих в литературной среде это раздражало, такую линию диктовали стратегия и тактика: «Брюсов обладал не только высокими качествами редактора-организатора, не только являлся крупнейшим и наиболее признанным поэтом-символистом, но он был среди своих друзей по журналу самым цельным человеком, имевшим самое законченное и твердое, наиболее отвечающее общей “фракционной” тактике мировоззрение» (64). Недоброжелатели говорили о том же другими словами: «Если ему посвящается столько беззастенчиво-льстивых фельетонов, если Брюсова выдвигают как знамя, то не потому, что хоровод декаданса действительно считает его пророком и гением, а потому что Брюсов, как ни скромны его художественные силы, нужен и удобен именно как знамя... Здесь вопрос просто в необходимости сбиться в кучку, в стадо и иметь впереди вожакого, толкового, трезвого и настойчивого» (65).

«Застывший, серьезный, строгий, стоит одиноко Валерий Брюсов среди современной пляски декаданса, — писал Белый в рецензии на первый том «Путей и перепутий». — Он, вынесший на себе всю тяжесть проповеди символизма среди непосвященных, он выносит теперь и весь позор эпигонства, чтобы спокойно пронести свой огонь в лучшее будущее» (66). «Если теперь Брюсов стал поэтом достижений и ваятелем слов, то недалеко то время, когда он был поэтом предчувствий, душой, до боли пронизанной предрассветным холодом новых откровений и дрожью новых дерзаний, — вторил ему Эллис. — [...] Уже в этих книгах предчувствий Валерий Брюсов является тем тройственным слиянием Демона мысли, Гения страсти и Ангела печали, каким мы знаем и любим его во всех его позднейших, зрелых и совершенных творениях» (1908. № 1).

Панегирик вызвал к жизни статью Философова под красноречивым заглавием «Опаснее врага». Выразив Брюсову уважение, критик недоумевал, почему «тайновидец меры, спокойный и величавый поэт» допустил в свой журнал такой «фейерверочный апофеоз». «Неужели же мания величия нашего поэта дошла до того, что он не видит вопиющего уродства подобных похвал, — заключил автор. — Неужели у него волосы не становятся дыбом от одного сознания того, что он *рычаг вечности*, что его творчество *детализированная стилизация*, что он сливает в себе *Демона, Гения и Ангела?*» (67). Рецензируя «Все напевы», Измайлов

отметил, что в своих посланиях Брюсов «так же щедро раздает патены величия, как его юнейшие и неизмеримо слабейшие коллеги подносят ему дипломы титана, гения, пророка, демона искусства и т.д.» (68).

Несмотря на насмешки, Эллис немедленно откликнулся восторженной рецензией на вышедшую в июле 1909 года брюсовскую антологию «Французские лирики XIX века», оценив ее как «редкий (особенно в наше теперешнее безвременье) образец подлинной художественной ценности; среди чрезмерных, неполноценных и прямо фальшивых ценностей, переполнивших всю область литературы, снова появляется огромная ценность, абсолютно чуждая каким бы то ни было современным приемам книгоделания» (1909. № 7). Соловьев увидел в сборнике Брюсова «Все напевы» «все дорогие нам черты его поэзии», подытожив: «Поэт идет к Вифлеему, неся в дар неведомому богу золото своей поэзии. Оно — чисто и нетленно» (1909. № 5).

Хроника «Весов» прилежно фиксировала упоминания Брюсова в печати и зарубежные публикации его произведений, отметив вышедшие в Германии сборник рассказов «Республика Южного Креста» в переводе Иоганнеса (Ганса) фон Гюнтера, познакомившегося с Брюсовым в апреле 1906 года, и антологию «Современная русская лирика» в переводе Александра Элиасберга, который с 1907 года стал в «Весах» ведущим обозревателем немецкой литературы. Элиасберг перевел ряд произведений Брюсова, включая трагедию «Земля», с которой произошел неприятный для обоих инцидент. В 1907 году автор дал устное разрешение Гюнтеру, Элиасбергу и Лютеру переводить «Землю», полагая рассмотреть вопрос об авторизации перевода после его завершения. Гюнтер первым закончил перевод и нашел издателя, когда об этом узнал Элиасберг. Между германскими издательствами существовала неписаная договоренность не выпускать одно и то же произведение, даже в разных переводах, одновременно. Мюнхенский издатель Вебер предпочел перевод Гюнтера и выпустил его в 1909 году как авторизованный. Брюсов извинился перед Элиасбергом за «неосторожный, а может быть, и легкомысленный поступок», и инцидент был исчерпан (69).

Новую волну полемики вызвало отдельное издание «Огненного ангела» в ноябре 1908 года (второе, дополненное примечаниями, появилось в конце августа 1909 года). Восторженный отзыв Белого: «"Огненный ангел" останется навсегда образцом высокой литературы для небольшого

круга истинных ценителей изящного; «Огненный ангел» — избранная книга для людей, умеющих мыслить образами истории», — почти весь состоял из инвектив против «модернистических перьев» и «псевдо-символических зубовных скрежетов» с эффектной концовкой: «Впрочем, не будем распространяться: все это демимонду останется до конца непонятным; демимонд увлекается тяжелогрохотным грохотом символических эпигонов» (1909. № 9) (70). Белый метил в статью Чулкова «Фауст и Мелкий бес», который, назвав роман «роковой неудачей», упрекал его в стилизации, растянутости и отсутствии занимательности, а автора в «бедности фантазии» и «сухости дарования», выводя эти черты из «душевных особенностей» Брюсова (71).

Эллис назвал «Огненный ангел» «гениальным психологическим романом», в котором впервые в России «индивидуальная трагедия нечеловеческой любви и жажда высочайшего знания облечены в форму исторического, реально-объективного, местами даже бытового повествования» (72). Соловьев заявил, что «наконец, русская литература имеет образец классической прозы, столь сжатой и точной, что ее трудно читать. [...] Хочется изучать каждую строку, вновь и вновь открывая заключенные в ней стилистические сокровища» (73). Это прямая перекличка с цитированной выше рецензией Белого: «Теперь язык его присвоили все; десятки новоявленных брюсовцев черпают свой словарь из его словаря».

Не-символистская пресса встретила роман разноречиво. Коган, бывший приятель, а ныне беспощадный критик Брюсова во всех ипостасях его творчества, писал: «Научное исследование, испорченное приемами романиста; роман, испорченный приемами исследователя. Он слишком скучен для того, кто хотел бы найти в нем художественное воссоздание эпохи. Он неубедителен для того, кто стал бы искать в нем научных выводов. Самое ценное в нем — примечания» (74). Однако немецкий рецензент, прочитав перевод, усомнился, что произведение мог написать иностранец. 31 марта 1910 года Брюсов сообщил Измайлову отзыв газеты «*Berliner Lokal-Anzeiger*» от 9 января 1910 года: «Я не верю в русское происхождение автора романа, ибо такое знание этой части нашей истории едва ли допустимо у иностранца» (75).

Отношение критики можно суммировать двумя цитатами. Скорее отрицательное: «Брюсов — мозаист, а не творец, составитель, а не поэт. [...] Вдохновение не осенило кни-

ги. Ярko выдающийся поэт современности написал обыкновенный роман», который «никакого реального психологического интереса [...] не представляет» (76). Скорее положительное: «Нельзя без особого уважения относиться к этому огромному и неустанному труду, вдохновляемому научной и художественной любознательностью. [...] Он добился, он воскресил для себя то, что жило около четырех веков тому назад, он *видит* эту Германию XVI столетия. [...] Какое сочетание фантастики с психологическим и бытовым реализмом! Но в том-то и дело, что не творческая фантазия, а трезвый, ясный, изощренный наукою ум берет верх в Брюсове» (77). Речь почти об одном и том же...

4

Стороннему наблюдателю «Весы» могли казаться монолитом, однако в их ядре назрели серьезные проблемы, причиной которых оказался Белый. В феврале 1908 года он написал Эллису большое письмо с обвинениями: «Брюсов относится ко мне варварски; постоянно меня игнорирует, не считается с моими мнениями; извлекая *для себя* всю пользу моей тактики, он всеми способами вредит проявлению моей индивидуальности. Ему нужно закабалить меня, изолировать от всех и потом перегрызть горло. [...] Я считаю, что в теории искусства в настоящее время в России я единственный теоретик, но мне негде печатать свои взгляды, мне отводится роль — подтирать рот Брюсову. [...] Может быть, Вам с Брюсовым только это и нужно: низвести А. Белого до газетного фельетониста, чтобы лицемерно сокрушаться: “А. Белый стал фельетонистом”, *как это делал Брюсов*, забывая, что для тактики или для него же я писал чаще, чем следует, в газетах. [...] Я не прекращу сотрудничества в “Весах”. Но при малейшем нажиме со стороны Брюсова, в котором усмотрю нежелание видеть меня в числе сотрудников, я *покидаю “Весы”*. [...] Не доводите меня до необходимости выпрямиться во весь рост, до необходимости возвысить голос, как подобает это мне по данному мне от Бога праву» (78).

Толчком для написания этого «странного письма, в духе тех, которые должны были писать герои Достоевского» (79), послужили личные недоразумения между Белым и Эллисом. Борис Николаевич чувствовал, что в «Весах», которым он отдает все силы, ему не позволяют высказаться в полной мере и что за этим стоят козни Брюсова. Полное личных оскорбле-

ний: «Как человека Валерия Брюсова за некоторые нюансы отношения ко мне я способен минутами презирать», — послание давало обоим обвиненным идеальный повод для дуэли. Эллис проявил несвойственные ему благоразумие и выдержку — утихомирил Белого и, видимо, не показал письмо Брюсову. Валерий Яковлевич имел все основания для тяжелой обиды: насчет притеснений можно было поспорить, но сотрудничать в газетах он никого не заставлял.

Белого особенно уязвили подозрения в измене общей тактике. Он клялся в верности «Весам» и расписывал, на какие жертвы пошел ради них. При этом в апреле 1908 года, то есть всего через полтора-два месяца, он сам передал в «Золотое руно» цикл стихотворений, который был немедленно принят, оплачен и отдан в печать. Брюсов открыто возмущился — и получил очередное послание Белого, на сей раз покаянное. Подробно описав свое тяжелое материальное положение, тот изъявил готовность забрать стихи из «Руна» (оказалось, что уже поздно) и отказаться от гонорара, временно прекратить сотрудничество в «Весках», «пока вы не формально, а искренне снимете с меня ужасное подозрение, что я в ваших глазах черт знает кто», и даже разорвать отношения с Блоком и Ивановым (до этого не дошло). Брюсов сумел успокоить и поддержать Белого. Как именно, мы не знаем (его ответ не сохранился), но результат виден из второго письма Бориса Николаевича, заключавшегося словами: «Спасибо вам еще раз за доверие ко мне и за ваше *хорошее* обо мне мнение» (80).

Из-за него же у «Весов» возникла новая проблема. Сологуб обиделся на статью Белого о его творчестве «Далай-лама из Сапожка» (1908. № 3), где комплименты «громадному художнику» соседствовали с отождествлением писателя и его героев, а также с фразами вроде: «Колдовство Сологуба — блоший укус... сам-то он... немногим больше блохи». Федор Кузьмич отправил сердитое письмо Брюсову, завершив его фразой: «От более же распространенных комментариев воздержусь, помня, что писачке “немногим больше блохи” подобает скромность». Из «партийных» соображений Валерий Яковлевич защищал Белого: «Самый факт появления этой статьи, изучающей Ваше творчество медленно, подробно, старающейся вникнуть в его глубину, — свидетельствует о том, что и автор ее, и журнал, поместивший ее, придает Вашим произведениям значение исключительное». Сологуб настаивал: «Сравнение меня с блохою — может быть, и очень верно, но недопустимо на

страницах журнала, где я участвую». Стремясь сохранить для «Весов» обоих писателей, Брюсов оправдывал Белого: «несколько шуточный, если хотите шутовской, тон ее (статьи. — В.М.) — это *метод* автора, а существо статьи — любовь и уважение к Вам и Вашему творчеству». Сологуб был непреклонен: «О великом колдуне, по-моему, можно говорить лишь в шутку. Но если это серьезно, то я с удовольствием предоставляю это шутовское звание другому». Брюсов пересказал его письма Белому, предоставив тому объяснить с «далай-ламой» напрямую. На сумбурное послание Белого от 30 апреля Сологуб ответил сухо и иронично, прося больше не сравнивать его с «ёлкичем» и другими подобными персонажами. Конфликт разрешился миром (81).

Брюсов устал. «Только теперь, после того, как месяц я проблуждал по Италии и месяц провел на берегу океана, — писал он Гиппиус 13/26 сентября из окрестностей Биаррица, — начинаю я понимать вполне, до чего я устал от двух лет московской “литературной” жизни. Понемногу начинаю обретать себя самого — таким, каким был я в дни “Нового пути”, а, может быть, раньше. “Весы”, “Золотое руно”, газеты, письма в редакцию, обиды всех на всех и интриги всех против всех, вечная истерика Андрея Белого и вечный савонаролизм Элліса, ядовитая придурковатость Городецкого и бычачье себе на уме Макса Волошина — все это, и многое другое, образует такую систему зубчатых колес, после которой от души остаются лишь кровавые клочья».

Белый тоже считал себя пострадавшей стороной: «Шесть лет изо дня в день я был с Брюсовым в *журнале* при обостренных личных отношениях, последние же годы мы были там втроем: я, Элліс, Брюсов. Элліс был — партия Брюсова (против меня). Холодное интриганство + истерическое безумие — вот что было для меня работа в “Весых”. [...] Внутренняя жизнь “Весов” был сплошной, непрекращающийся кризис: а “Весы” продолжали, *несмотря ни на что*, быть культурным явлением». Однако признавал, что в последние два года существования журнала он и Элліс «реально делали политику “Весов”, хотя и не были во всем согласны с Брюсовым» (82).

«Здесь, в Москве, нашел я страшный разгром всего того дела, которое привык считать своим, — сообщил Брюсов 8 ноября Петровской. — “Весы” медленно погибали и должны были прекратиться к январю». Что же произошло? Летом 1908 года Поляков говорил, что намерен прекратить выпуск «Весов»: он потерял к ним интерес, видя, что энтузиазм

Брюсова убывает, а другие используют журнал для сведения счетов. Издатель заявил, что не сможет финансировать «Весы» в полном объеме, поэтому их судьба зависит от подписки*. «Я много раз говорил Тебе, что “Весы” мне надоели, что я хотел бы отказаться от заботы о них, — пояснял Брюсов Петровской. — Но видя такое неожиданное и стремительное крушение всего, что я делал в течение пятнадцати лет; видя, как внезапно все значение, вся руководящая роль переходит в литературные течения, мне и моим идеалам враждебные; видя, как торжествуют те, кто, в сущности, обокрал меня и моих сотоварищей, — я не мог не изменить решения. [...] Я решил бороться во что бы то ни стало. Я решил в 1909 году так или иначе, но издавать “Весы” или другой журнал и удержать за своими идеями в литературе то место, какое им надлежит. Ты понимаешь, что такое положение требует с моей стороны величайшего напряжения энергии. С.А. Поляков — за границей и продолжать “Весов” не хочет. Другого издателя нет. Все друзья и союзники готовы продать и “Весы”, и меня за 30 серебряников или и дешевле. Чтобы снова всё сплотить, всё устроить, всё повести — надо не выпускать возжей и нитей всяких интриг ни на минуту. И вот я в самом разгаре всяких неизменнейших дел и отношений, в которых снова задыхаюсь, как в душной тюрьме, но бросить которые *не могу, не хочу, не должен*» (курсив мой. — В.М.).

В качестве первого шага Брюсов предложил Полякову, который оставался редактором-издателем, передать журнал в руки редакции. Тот согласился, но выставил условием нахождение другого издателя или со-издателя, который примет на себя основные затраты. Поиски окончились неудачей: узнав о переговорах с Соколовым, Поляков пришел в ярость и заявил, что лучше сам будет выпускать «Весы» в уменьшенном виде, сообразно имеющимся средствам. Тогда Брюсов попросил передать журнал лично ему. Находившийся в Италии издатель согласился: «Это была бы первая попытка поставить дело ведения журнала на твердый и правильный путь», — писал он 11/24 декабря. Однако он имел в виду только 1909 год, пока не заглядывая дальше, а Брюсов затребовал «Весы» в собственность будущей компании из числа сотрудников редакции. На это Сергей Александро-

* Количество подписчиков: 670 в 1904 году, около 800 в 1905 году, 845 в 1906 году, 1095 в 1907 году, 1691 в 1908 году, 1190 в 1909 году; средние тиражи, разные для каждого номера: 1270 в 1904 году, 1120 в 1905 году, 960 в 1906 году, 1120 в 1907 году, 1850 в 1908 году (ЛН. Т. 85. С. 299–300, 322).

вич, взвинченный двухмесячными переговорами по переписке, ответил решительным отказом и отложил решение до своего возвращения в Москву.

«Дела мои в “Весы” крайне плохи», — извещал Брюсов Петровскую 4 января 1909 года, хотя двумя неделями ранее писал ей: «С 1909 года я беру на себя *издание* “Весов”» (курсив мой. — В.М.), — и даже строил на этом финансовые расчеты. По возвращении Поляков объявил, что будет руководить журналом при помощи редакционного комитета («сведется это, конечно, к тому, что будут “Весы” выходить под редакцией М.Ф. Ликиардопуло», — саркастически заметил Брюсов Петровской 25 января), и предложил Валерию Яковлевичу возглавить литературный отдел (83).

Брюсов отказался, оповестив читателей официальным письмом на имя Полякова от 1 марта, что «с января 1909 года обстоятельства личной моей жизни и разные предпринятые мною работы заставляют меня несколько видоизменить мои отношения к “Весам”. Надеюсь быть, по-прежнему, деятельным сотрудником “Весов”, я, вероятно, не буду иметь возможности содействовать журналу как-либо иначе. Поэтому, с тем большей настойчивостью, я прошу гг. критиков не возлагать на меня, с января 1909 года, ответственности за статьи, напечатанные не за моей подписью». Конечно, свою роль сыграли обстоятельства, на которые он только намекнул (Жанна Матвеевна, катаясь на лыжах, сломала руку и долго болела, а сам Валерий Яковлевич был занят издательскими делами и статьями о Пушкине), но в литературных кругах поняли, что «Весам» предстоят большие перемены. Они перестали быть «журналом Брюсова», как раньше, пусть даже он заявил: «Я решительно не могу принять на себя ответственность за “Весы” в их целом, как, с другой стороны, должен отклонить от себя честь — считаться их создателем и руководителем» (1909. № 2). Эпоха завершилась.

Глава двенадцатая

«ТОРЖЕСТВО ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

1

В 1906—1907 годах символистов признало большинство вчерашних противников. «Некоторые журналы, когда-то насквозь пропитанные безобидным либерализмом и

народолюбием, — писал Блок в рецензии на брюсовский «Венок», — теперь переполняются той самой истинно “упадочнической”, или просто недозрелой, литературой, которую некогда поносили. “Декадентство” в моде; интересен тот факт, всякой моде сопутствующий, что теперь бросаются без различия на дурное и на хорошее» (1). «Из гонимых и осмеиваемых они превратились — по-видимому, неожиданно для самих себя — во всеми чтимых, признанных, для всех желанных. Широко распахнули для них объятия почти все толстые журналы, те самые (по крайней мере, по названиям), которые 10-15 лет назад так единодушно отрицали декадентство, — журналы самые передовые, начиная с кадетской “Русской мысли” и кончая социал-демократическими изданиями», — писал Якубович, откликаясь на выход «Путей и перепутий» в народническом «Русском богатстве», едва ли не единственном идейном журнале, чуждом «заразе декадентства». «Что же это? — вопрошал он. — Изменилась так радикально русская публика, а с нею и критика?» (2). «Декаденты победили, потому что изменились мы», — отвечал ему Ардов, добавив: «*Понятый и признанный* Брюсов — *тот же* Брюсов, которого побивали каменьями» (3).

Выразительным проявлением признания стали статьи в энциклопедиях. В 1905 году дополнительный том энциклопедического словаря издательства Брокгауз-Ефрон отвел «талантливому поэту» Брюсову почти шесть столбцов с большим количеством цитат (4). Статью написал историк литературы Семен Венгеров, который уже в конце 1904 года предложил Валерию Яковлевичу принять участие в переводе «Божественной комедии» Данте для «Библиотеки великих писателей» и в дальнейшем не раз привлекал его к своим литературным проектам. В новом издании той же энциклопедии статья Венгерова о Брюсове занимала десять столбцов, давая обстоятельный очерк творчества «известного поэта, одного из создателей русского модернизма» (5). Зато в «левом» словаре братьев Гранат «один из главарей “новой” поэзии» удостоился лишь неполных двух столбцов, написанных его бывшим приятелем Фриче (6).

Первыми символистов признали на левом фланге — за их позицию во время революции. Ведущий журнал этого направления «Современный мир», руководимый Ляцким и Богдановичем, в 1907 году пригласил к сотрудничеству Брюсова и Бальмонта. Народнический критик Аркадий Горнфельд в статье «Торжество победителей» признал, что

«левиафаны прессы начинают заигрывать с символистами», но назвал это «легкой и поверхностной победой», по поводу которой «жрецам» не следует слишком радоваться (7). Брюсов согласился с констатацией факта, но в статье под тем же — восходящим к Шиллеру — заглавием (1907. № 9) заявил: «Публика, презрительно бросавшая лучшие книги “декадентских” поэтов, теперь охотно раскупает их новые сборники, где многие — увы! — только слабо повторяют себя... Настало время тем из них, кто сохранил смелость взгляда и готовность на новую борьбу, — горько смеяться!». Марксист Каменев назвал Брюсова «величайшим из поэтов современности в России»: «Поэтическая история такого вождя школы, каковым был и остался Брюсов, — есть история поэзии как социального явления данной эпохи. [...] В Валерии Брюсове русская буржуазия пережила свою идеологическую молодость и нашла певца своего реального трепета и фатального Рока» (8).

До 1907 года из не-символистских изданий стихи Брюсова печатали только «Русский листок», журналы Ясинского, газета «Слово», к которой был близок Перцов, и «Журнал для всех» Виктора Миролюбова (9). В 1907 году ему открыли свои страницы «Образование» и «Современный мир», что отметили даже в провинции: «Символистские стихи уже печатаются в большинстве журналов, т.е. стали известны огромному большинству публики» (10). Толстые журналы читались по всей стране, обзоры их содержания печатались в столичных и провинциальных газетах, — так через них литературные произведения доходили до массового читателя.

С 1908 года перепечатки произведений Брюсова замечали в провинциальных газетах вроде харьковского «Южного края», ранее глумившегося над декадентами, «Смоленского вестника», оренбургского «Нашего пути», владивостокской «Далекой окраины» и «Ташкентского курьера». Стихотворение «Дар поэта», написанное 11 января 1908 года (позднее озаглавлено «Близкой»), было, согласно помете автора на рукописи, разослано в газеты через Бюро провинциальной прессы, которое в том же месяце основали в Москве Кречетов и критик Сергей Глаголь (С.С. Голоушев) (11).

Трехтомник «Пути и перепутья»*, в котором знакомые

* Том 1, включавший разделы «Юношеские стихотворения» (1892–1896) (из «Juvenilia» и «Шедевров»), «Это — я» (1896–1898) и

сборники были дополнены значительным количеством стихотворений, извлеченных из стола, получил хорошие отзывы (12). Ходасевич лукаво заметил: «Эта книга что-то дорогое кончает, очеркивает, и обстоятельная библиография в конце ее звучит как некролог. Словно несут за гробом на бархатных подушках ордена». Отрицательно отозвались о «Путях и перепутьях» только «литературные окаменелости» вроде Буренина и Якубовича, который назвал Брюсова «талантом, рано загубленным нелепою, прямо дикою литературною “школою”» (13). Но их мнения уже никого не волновали, а остроу — никого не смешили.

Новый сборник «Все напевы» (часть тиража вышла в особой обложке, без обозначения принадлежности к «Путям и перепутьям») был воспринят не как шаг вперед, но как подведение итогов (14). На это настраивало и предисловие автора: «В стихотворениях этого тома — те же приемы работы, может быть, несколько усовершенствованные, тот же круг внимания, может быть, несколько расширенный, как и в стихах двух предыдущих томов. [...] Во многом этот сборник завершает мои прежние начинания или, вернее, он лучше разрешает те же задачи, за которые, без достаточной подготовки, я брался и раньше».

Показателем широкого признания Брюсова стало обилие пародий и перепевов, карикатур и шаржей на него в журналах и газетах, заметное с 1908 года, а также его включение в юмористические обозрения текущей литературы в стихах и карикатурах. Его стихи перепевали все ведущие пародисты эпохи: Измайлов, Сергей Горный (Александр Оцуп), Фрицхен (Федор Благов), Авель (Лев Василевский) и штатный «смехач» «Голоса Москвы» Wega, он же Владимир Голиков, некогда чуть не попавший в «Русские символисты». Получается отличный «крапивный венок»! Образ Брюсова в массовой печати, оперировавшей набором легко узнаваемых признаков, определялся «бледными ногами» и «козой» из стихотворения «In hac lacrimarum valle» (1902)*:

Мы натешимся с козой,
Где лужайку сжали стены.

«Третья стража» (1898–1901), вышел 7–14 декабря 1907 года с датой: 1908; Том 2, включавший «Риму и миру» (1902–1903) и «Венок» (1904–1905), вышел 10–17 апреля 1908 года; Том 3 «Все напевы» (1906–1909) вышел 4–11 марта 1909 года.

* «В этой долине слез» (*лат.*).

«Брюсов с козой, Сологуб с лозой, Кузмин с “баньщиком”, Вербицкая с ключами да Каменский с жеребцами», — удачно охарактеризовал этот набор стереотипов А.В. Бурлешин в беседе с пишущим эти строки. По его подсчетам, Брюсов в компании с козой был замечен на девяти картинках и в двадцати семи сатирических текстах. Для сравнения, бледные, красные, желторусые и прочие цветные ноги попали в 18 текстов о Брюсове. Картинок же с «бледными ногами» Валерия Яковлевича найти не удалось ни одной.

Пожалуй, лучшую пародию — похожую на оригинал и отметившую его характерные особенности — написал Горный (15):

Дрожи, бесславный Иловайский,
Чеканной песней побежден.
Малайский — рифма для Бискайский.
Поэт идет дорогой райской
В леса исчезнувших времен.
Я в кликах Римского разгула.
Мне близок твой, Петроний, бред.
На что мне Тула?.. Марий, Сулла?
Я друг эдильного курула,
О, Ганимед!.. О, Архимед!..
Мне близки Фивские равнины,
До самых нежных дальних фибр.
Мои прадеды Антонины,
Друзья — Теоны и Эсины,
И вместо Волги блещет Тибр.
В Понтиде сослан был Овидий.
Под всплески весел у трирем
Мою статую делал Фидий!..
Пишу на память об Эвклиде
В стихах собрание теорем.
Я вижу каменные лики.
Копьем блестит легионер,
И плачет стих об Андронике,
К тебе иду, Катон Великий,
Сульпиций Гракхович Север!

Зимой 1908/09 года, когда решалась судьба «Весов», Брюсов вел переговоры о сотрудничестве с редакцией «Русской мысли», куда постепенно перенеслась его критическая деятельность. После смерти в конце 1906 года многолетнего редактора Виктора Гольцева журнал перешел к Петру Струве, который главное внимание уделял публицистике. Литературный отдел, переданный в руки Мережков-

ского, Юлия Айхенвальда и Семена Лурье, существовал по принципу «у семи нянек дитя без глаза».

Вероятно, именно с «Русской мыслью» связан не до конца проясненный конфликт Айхенвальда с Брюсовым, хотя десятилетием раньше они дружески общались. В памфлете «Валерий Брюсов. (Опыт литературной характеристики)», выпущенном отдельной брошюрой и вошедшем в сборник «Силуэты русских писателей» (1910), критик перечеркнул все творчество Валерия Яковлевича, назвав его «Сальери», «илотом искусства» и «преодоленной бездарностью» и добавив, что тот пишет на «дурном русском языке» (со ссылкой на анекдотическую книгу А.А. Шемшурина «Стихи В. Брюсова и русский язык»). «С Брюсовым у него верно личное, — не поладили в “Русской Мысли”», — делился Александр Измайлов 11 февраля 1909 года с Иваном Леонтьевым-Щегловым, добавив: «Айхенвальд по-моему (знаю поверхностно) фразер вопиющий и жидовского оттенка, — т. е. со спиралью мозговой. Это для меня хуже хины» (16).

В «Русской мысли» Мережковские получили трибуну для пропаганды своих взглядов — более политических, нежели литературных. Одновременно Струве и Лурье начали не только печатать Брюсова, но и оказывать ему знаки внимания, что вызвало ревность Гиппиус. «Ваше описание “редакционного” совета у Лурье (письмо не сохранилось. — В.М.) доставило нам всем глубокое наслаждение, — писала она 22 апреля 1909 года. — И немножко позлорадствовали, — нежно. Ага, мол, повозись-ка и ты с ними! Попался... если не как кур во щи, то как цукат — в пломбир. Вместо литературного дела и сребреников — жидовский пломбир и возможность поласкать лурьиного младенца, если очень захочется. Или не поухаживать ли вам за m-me Лурье? Или за mesdemoisel'ями? Широкое поле деятельности! В следующем № “Русской мысли” будут тогда напечатаны не две, а три рецензии Вал. Брюсова... Нет, нет, не сердитесь, я шучу, ей Богу, очень нежно».

Через несколько дней после «нежного» письма Брюсов оказался в центре скандала, вызванного его выступлением на праздновании столетия Гоголя, которое 27 апреля устроило в Москве Общество любителей российской словесности. Речь, озаглавленная «Испепеленный», прозвучала диссонансом к юбилейным славословиям, в которых классик привычно подавался как реалист и обличитель. Брюсов показал его прежде всего фантастом, склонным — и в ли-

тературе, и в жизни — к гиперболам, и позволил себе несколько непривычных для публики замечаний о сочетании религиозной экзальтации с бытовой мнительностью и любовью хорошо поесть. «Моя речь не была сплошным панегириком, мне приходилось указывать и на слабые стороны Гоголя, — разъяснял автор. — Но разве возможна правдивая оценка человека и писателя, если закрывать глаза на его слабые стороны?». Хороший завет для биографа.

«Раздалось резкое шиканье и крики по адресу оратора: “Стыдно! Довольно!”», — передавал по телефону с места происшествия в петербургские «Биржевые ведомости» Измайлов, именно тогда лично познакомившийся с Брюсовым. — Многие поднялись и стали покидать зал. Двое демонстрантов вышли, намеренно опрокинув свои стулья. Кое-кто поднялся даже с эстрады. Словом, произошел настоящий скандал» (17). Настроения толпы с пафосом выразил Анатолий Бурнакин, призванный в «Новое время» на помощь Буренину: «Нашелся смельчак и содрал кожу с Гоголя и трижды перевернул ее шиворот-навыворот: в прологе усмотрел Хлестакова, идеалиста-аскета представил Маниловым и поэта перекроил в литературного Чичикова. [...] Мы “не по плечу” г. Брюсову — где же уж нам? — мы толпа; ну, а Гоголь — тоже не по плечу? или Декадентскому Величеству дозволено плевать в кого угодно?». Но даже он признал, что освиставшие доклад «сводили старые счета, посрамляли неучитового, заносчивого декадента» (18).

«Со стороны Брюсова не было ни преступления, ни оскорбления, — пояснил Измайлов. — [...] Он — только жертва недоразумения, певец, затянувший великопостный канон в светлую Пасху, спевший вечную память на молебне». При этом критик высоко оценил содержание речи: «Пусть в ней много парадоксального, но это — новое, не вошедшее в учебники, не старая жвачка» (19). Бальмонт осудил «Испепеленного»: «Его опровергнуть — и как юбилейное чтение, и как литературный анализ — так же легко, как бросать по ветру соломинки», — но аргументов не привел (20). Сологуб выразил «искреннее сочувствие», на что благодарный Брюсов ответил: «Считаю нападки на него («Испепеленного». — *В.М.*), с одной стороны, смешными и несправедливыми, с другой — незаслуженными. Статья *средняя* и только среди юбилейных пошлостей и благоглупостей показавшаяся “чем-то”» (21).

«Самый лучший венок, какой можно было возложить на памятник Гоголю, — считал Вересаев, — самая лучшая

речь, какою можно было почтить его память, — был независимый, интересный подход к нему, свое, не банальное слово о нем. [...] Я подошел и выразил горячее одобрение за его речь и сочувствие по поводу нелепых на него нападок. [...] Брюсов был очень тронут, крепко пожал мне руку». Инцидент имел неожиданные последствия: вскоре после него в Московском литературно-художественном кружке состоялись перевыборы председателя дирекции, поскольку беспрерывно занимавший этот пост с 1899 года князь Александр Сумбатов (по сцене Южин) запросился на покой. Брюсов с 1902 года был членом Кружка, а с 1907 года одним из директоров и проявил себя как отличный администратор. «Любо было слушать, как толково и деловито говорил он на общих собраниях Кружка о балансе, амортизации и т.п.», — вспоминал Вересаев, выдвинувший его кандидатуру. «Южин поморщился.

— Я очень люблю и уважаю Валерия Яковлевича. Но знаете, выбирать его в председатели сейчас же после его бестактной речи о Гоголе — неудобно.

— Как?! Единственная блестящая, стоящая речь. [...] Нам тем паче еще следует выбрать именно Брюсова.

И еще горячее я стал агитировать за его избрание» (22).

Большинством голосов Брюсов был избран и возглавлял Кружок до его закрытия большевиками (действовал до лета 1918 года, официально ликвидирован в 1920 году), которые реквизировали для Московского комитета партии его здание (ул. Малая Дмитровка, дом 15а; ныне Генеральная прокуратура РФ). Занимаясь хозяйственными делами, он хлопотал не только о кухне и картах, привлекавших посетителей-спонсоров, но о библиотеке и докладах. В 1913 году по инициативе и под редакцией Брюсова Кружок начал выпускать «Известия», ставшие интересным историко-литературным и библиографическим журналом.

Другим предметом забот Валерия Яковлевича было Общество свободной эстетики, созданное осенью 1906 года и располагавшееся в одной из комнат здания Кружка. «Если Кружок был витриною новой литературы, то Общество свободной эстетики было скорее ее лабораторией», — пояснил участвовавший в обоих философ Федор Степун (23). «Здесь аудитория, тщательно профильтрованная в смысле причастности к искусству, принимала и оценивала еще неопубликованные произведения молодых литераторов, музыкантов, теоретиков искусства. Здесь собирались наиболее радикальные новаторы, — вспоминал Асеев. — [...] Над всеми главен-

ВѢСЫ



СКОРПИОНЪ

Каталог «Весы-Скорпион» № 7. Обложка работы С. Ю. Судейкина

ствовал В.Я. Брюсов. Это была его, им созданная аудитория, подготавливаемая им тщательно, как землепашцем целина, к прозябанию и всходам непризнанного тогда еще в полной мере символизма» (24). Изменить характер Кружка, при приеме в который несколько декадентов были забаллотированы, не мог даже председатель дирекции, но в игнорируемой реалистами «Эстетике», как ее обычно называли, такого не случалось. Согласно спискам, к 1 мая 1910 года Общество насчитывало 120 членов (в 1914 году — 196), а в его Комитет входили: Брюсов, Белый, Валентин Серов, Константин Игумнов, фабрикат Владимир Гиришман и врач Иван Трояновский (два последних — известные коллекционеры).

Кружком Брюсов руководил, в «Эстетике» — царил.

2

Отношения с Южиным — важная страница «театрального романа» Брюсова (25). Первыми опытами его профессиональной работы для сцены стали переводы пьес «Пеллеас и Мелизанда» Метерлинка и «Франческа да Римини» д'Аннунцио. Вдохновительницей была Вера Комиссаржевская, с которой он познакомился 28 октября 1906 года в Петербурге на очередной «субботе» Драматического театра на Офицерской. В июле 1907 года она попросила Брюсова прочитать в театре лекцию о Франке Ведекинде, пьесу которого «Пробуждение весны» собиралась ставить (26).

В начале осени Брюсов отдал ей перевод «Пеллеаса и Мелизанды». Совместная работа над пьесой стала началом любви актрисы и поэта. Вера Федоровна так вжилась в роль Мелизанды, что не только подписывала этим именем письма к Брюсову, но как будто говорила ее голосом и писала без знаков препинания (восстановленных публикаторами), прихотливо обрывая фразы: «Мне кажется, что я схожу с ума. Пусть будет, что было. Пусть будет, что будет. Пусть не будет то, что есть». «Острые дни и часы», как скупом сказано в дневнике, вдохновили Брюсова на стихи, составившие цикл «Обреченный» во «Всех напевах»:

Ты позовешь, — я отвечу,
Скажешь, — приму приговор.

Премьера пьесы 10 октября 1907 года в постановке Мейерхольда, которую критика назвала «сценическим са-

дизмом», окончилась провалом и для режиссера-экспериментатора (он же исполнитель одной из главных ролей) с его «пошленькими и дешевенькими фокус-покусами», и для актрисы (27). Приехавший на премьеру, Брюсов отметил в дневнике «замечательную ночь», а днем позже написал два стихотворения: «Себастьян», в котором сравнил себя со святым, пронзенным стрелами, и «Голос» — от имени возлюбленной. В статье о спектакле он решительно защищал игру Комиссаржевской (критики указали на несоответствие возраста актрисы и ее юной героини) и резко высказался о работе Мейерхольда (28).

Еще не порвав с Мейерхольдом, Вера Федоровна обратилась к Брюсову: «Я хочу, чтоб в эту, какую-то, я знаю, большую минуту Вы пришли ко мне на помощь весь со всей полнотой желания». Она решила найти яркую и неизвестную в России пьесу, постановка которой дала бы театру новую жизнь. Остановив выбор на «Франческе да Римини», Комиссаржевская 3 ноября послала Брюсову текст, умоляя перевести его за десять дней. «Раньше Вас я услышу приближение часа, когда Вы мучительно-радостно положите на мои протянутые руки создание обреченного мной. Раньше меня Вы услышите приближение часа, когда песню, рожденную Вами — по-новому прекрасную — принесет Вам мой голос. Как хочу я запрокинуть Вашу голову так, чтобы показать Вам бездну, какой Вы не видели ее никогда».

Брюсов согласился, но понимал, что один не справится, и обратился к Балтрушайтису — лучшему русскому переводчику д'Аннунцио. Отказ того поверг актрису в отчаяние: «Как Вы свершите подвиг, я не знаю, — заклинала она Брюсова 8 ноября, в день, когда объявила Мейерхольду о разрыве (позже дело дошло до третейского суда), — но Вы должны его свершить, потому что если не сделаете Вы — не сделает никто». Выручил Вячеслав Иванов, хотя и он затянул работу, «начатую так страстно, конченную так вяло», как позже заметил Брюсов в письме к нему (29). Вера Федоровна благодарила Валерия Яковлевича за первые сцены уже 14 ноября: «Я не послала Вам благодарности в телеграмме. [...] Я не хочу лишить Вас радости взять ее из моих глаз, улыбки, руки, из всей меня. [...] Через музыку Ваших слов я так слышу огонь души Франчески». С лирическими признаниями чередуются деловые письма. Комиссаржевская стремилась вовлечь Брюсова в работу театра. Брюсов желал поскорее увидеть свой труд в печати, тем более как

раз в это время Зиновий Гржебин, сам и через посредничество Блока, пригласил его в новое издательство «Пантеон», заявившее обширную программу переводов иностранной литературы (30).

Постановка откладывалась, что бросило тень и на их личные отношения. 5 января 1908 года актриса приехала в Москву — попрощаться с Брюсовым перед отъездом на гастроль в Америку. Через пять дней он получил от нее записку: «Милый, милый, бедный, я зову, я жду, я верна. Я». Днем позже было написано стихотворение «Близкой», открывавшее «Все напевы» вместе с программным стихотворением «Поэту»:

Как страстно ты ждала ответа!
И я тебе свой дар принес:
Свой дар святой, свой дар поэта, —
Венок из темно-красных роз.

Коммиссаржевская получила его уже в дороге. Во время гастрелей она не раз писала Брюсову: «Милый, милый, здесь (в Варшаве. — В.М.) почти весна. Здесь много солнца, много неба, цветов, радостных, красивых лиц, здесь особенно любят меня и совсем восторженно встречают меня — бедную Беатрису» (роль Беатрисы в пьесе Метерлинка «Сестра Беатриса» считалась одной из лучших в репертуаре Коммиссаржевской); «Хочется послать какие-нибудь слова через океан. Через этот совсем огромный, беспокойно-спокойный океан. Какой-то нежеланный в своей бесконечности. Пусть идут слова без слов».

Американские гастроли Коммиссаржевской оказались неудачными. Дополнительным ударом для нее стало решение Брюсова напечатать перевод до премьеры, причем он не только не заявил в Союзе драматических писателей, что право первой постановки принадлежит театру Коммиссаржевской, но и отдал его в московский Малый театр. Со стороны Валерия Яковлевича это было не только не по-дружески, но просто неприлично.

«Неужели это правда? Неужели Вы это сделали? — негодовала и недоумевала «Беатриса». — Вы перевели для меня “Франческу”, театр в лице режиссера, художника и меня затрачивал радостно все силы, работая над ней, и вдруг Вы лишаете возможности театр показать эту работу Москве. Ведь по правилам казенных театров, принятый ими перевод не разрешается другому театру в том же городе. Я не

могу посягать на Ваше желание отдать перевод Малому театру, как бы ни был тяжел ущерб, наносимый этим материально моему театру. Но неужели, отдавая “Франческу”, Вы не сказали, что перевод в Петербурге принадлежит моему театру и что я буду играть его в Москве? Я еду в Москву на один месяц и везу только две новые пьесы, одна из которых “Франческа”. Не играть ее в Москве я уже не могу, во-первых, ввиду потраченного на нее труда режиссера и художника, а, во-вторых, у меня нет другой пьесы, а если бы и была — приготовить ее нет времени, нет ни духовной, ни физической, ни моральной возможностей. Мне в голову не могло прийти что-либо подобное. Это такой неожиданный удар и именно теперь, когда для театра этот месяц в Москве более чем важен в материальном отношении. Когда я думаю о всей борьбе, о всех, минутах кажется, непреодолимых трудностях, через которые я несу свой театр, когда я вижу себя в эту минуту, когда мои руки с этой ношей протягивались к Вам, мне кажется смешным даже предположение о том, что Ваша рука хотя бы невольно, хотя бы на миг сделает эту ношу нежеланно тяжелой. Я жду ответа, мне он нужен как можно скорей».

«Стремясь к гарантированному успеху — успеха и только успеха ждал он от императорской сцены, — он (Брюсов. — *В.М.*) примерял пьесу д’Аннунцио к академическим, заслуженным, выродившимся в консервативные традициям Малого театра, против которых пытался бороться Ленский. “Вот, рассуждал я, пьеса по-оперному красивая, не очень глубокая, но очень пышная и романтическая — совсем для Малого театра”, — писал Брюсов Н.Е. Эфросу (9 октября 1908 года. — *В.М.*), оправдывая свой союз с образцовой казенной сценой» (31). Премьера постановки Александра Ленского с Верой Пашенной в главной роли 1 сентября 1908 года закончилась провалом. «Неприятное впечатление унылой, серой скуки» признали даже дружественные критики (32), поэтому пьесу сняли после пяти представлений. «Правду сказать, я этого не ждал, — писал Брюсов 13/26 сентября Иванову из Франции, получив известия о провале. — Пьеса не хитрая, драма полуоперная, совсем под силу казенному театру. Но видно наша образцовая сцена одряхла совершенно, и никакие Ленские ее не спасут от гибели» (33). Скоропостижную кончину Ленского 13 октября 1908 года молва связывала именно с провалом «Франчески».

«Воздушную и красивую» постановку «Франчески» театром Комиссаржевской (режиссер Николай Евреинов),

впервые показанную во время московских гастролей 4 сентября того же года в театре «Эрмитаж», напротив, ждал успех. Веру Федоровну в Москве любили, хотя этот спектакль дал скромные сборы. Общее мнение выразил критик «Голоса Москвы»: «О возможности победы г-жи Пашенной над г-жой Комиссаржевской, если и могла быть речь, то только в конторе Малого театра, между чиновниками, приставленными к театру на гибель русского искусства». Показали в Первопрестольной и «Пеллеаса и Мелизанду» в постановке Федора Комиссаржевского, которую поругали за рецидивы «мейерхольдии» (34). Вышедший в том же месяце в «Пантеоне» перевод пьесы вызвал единственный отклик в печати (35).

Наступило и личное охлаждение со стороны Брюсова, которое актриса, судя по ее письмам, тяжело переживала: «Нежно прошу твою память не отнимать у тебя ничего» (15 января 1909 года); «Сейчас во всем мире один мне нужен — ты. Не ты — твои глаза, которые выслушают меня, пусть молча. Ты придешь, услышишь слово и уйдешь. Ты — поэт почувешь большое этой минуты для меня, для главного во мне. Я жду» (17 января); «Ты должен дать новую боль моим ранам. Ты должен взять себе мою улыбку» (18 января). На свидание Брюсов пришел, но возврата к прежним отношениям не было. «Волны безумия, плеснувшие было в берег души, почти мгновенно откатились вспять», — известил он Петровскую 8 ноября 1908 года. Отношения порвались, однако трагическая смерть Комиссаржевской 10 февраля 1910 года от черной оспы в Ташкенте больно ударила по нему. Он простился стихами с великой актрисой:

Рыцарь суровый, над телом погибшей и руки ломай, и рыдай!
Верим мы все, что открыт Мелизанде желанный и радостный рай.

И с бывшей возлюбленной:

На краткий миг, но были мы слиты,
Твой поцелуй был трижды драгоценен...

Театр был связан для Брюсова не только с Комиссаржевской. Осенью 1908 года он опубликовал в «Весах» еще один драматический опыт — перевод трагедии Верхарна «Елена Спартанская», сделанный с рукописи; в конце января 1909 года появилось отдельное издание (36). На сей раз Валерия Яковлевича больше волновала литературная, а

не театральная, сторона дела. «В подлиннике, — отметил он в предисловии, — “Елена Спартанская” написана рифмованными стихами. [...] Для передачи трагедии на русский язык я выбрал белый стих, преимущественно пятистопный ямб. На это я решился прежде всего из желания дать перевод более точный, чем то возможно при рифмованных стихах». Не вдаваясь в оценку работы Брюсова-переводчика, укажу, что в 1920 году он перевел драму Ромена Роллана «Лилюли», написанную ритмизованной прозой, белым пятистопным ямбом, объяснив Иоанне Матвеевне, что «стихами переводить легче и интереснее» (37).

Неудачи «Мелизанды» и «Франчески» на время отвратили Брюсова от сцены, но в конце апреля 1911 года Южин предложил ему перевести для Малого театра «шекспировскую» трагедию Оскара Уайльда «Герцогиня Падуанская». Валерий Яковлевич согласился, договорившись о ее издании в популярной серии «Универсальная библиотека» Владимира Антика. В 1911–1918 годах там же вышли три издания «Избранных стихов» Брюсова, по два издания повестей «Обручение Даши» и «Рея Сильвия» (вместе с рассказом «Элули, сын Элули»), переводов из Верхарна, «Герцогини Падуанской» и «Баллады Редингской тюрьмы» Уайльда. 15 сентября 1911 года перевод пьесы был послан Южину в рукописи, а 8 октября, уже в корректуре, влиятельному чиновнику Главного управления по делам печати Николаю Дризену, чтобы облегчить его прохождение через драматическую цензуру. В течение недели трагедия была дозволена к представлению «за выпуском двух стихов, вернее — одного стиха и одной ремарки», как сообщил Брюсов Южину 14 октября. «Сознаюсь, что я ожидал большего количества красных чернил», — писал он в тот же день Дризену (38). В конце октября пьеса вышла отдельной книгой и 15 февраля 1912 года была поставлена на сцене Малого театра учеником Ленского Сергеем Айдаровым с Екатериной Рошиной-Инсаровой в главной роли. Успех спектакля критика оценила как «средний» (в течение года пьеса выдержала 17 представлений). Рошину-Инсарову, мастерски воплощавшую «изломанные» и «надрывные» образы современных женщин, упрекали в «опрошении» трагической героини, не соответствовавшей ее амплуа, а Брюсова — в небрежности перевода, хотя позднее его работа получила высокую оценку (39).

Впервые за много лет Валерий Яковлевич сам вышел на сцену 8 апреля 1912 года, когда в Литературно-художествен-

ственном кружке по инициативе журнала «Рампа и жизнь» в пользу голодающих силами литераторов был представлен «Ревизор». К эпизодической роли Коробкина Брюсов отнесся ответственно и, по воспоминаниям Сергея Карамурзы, «до начала репетиции все волновался по поводу редакции комедии, спрашивал по какому же тексту будем играть, по первому варианту или по щепкинской рукописи», то есть с «Развязкой Ревизора» или без нее. «Бремя участия в спектакле, — заметил Эфрос, — никого так не давило, как московского поэта. На лице явственно читалось: “И кой черт понес меня на эту галерею!”». Зал был полон лишь наполовину, но деньги собрали. На банкете после спектакля чествовали актера Малого театра Николая Падарина — Городничего, единственного профессионала среди участников: Брюсов поднес ему венок и поблагодарил за руководство «труппой» Кружка (40).

3

Устранившись с началом 1909 года от работы в «Весах», которые перешли в руки Белого, Эллиса и Ликиардопуло, Брюсов не порывал с ними связи и осенью намеревался предложить журналу первые фрагменты задуманного романа «Семь земных соблазнов». Готовясь к новой работе, он в середине июля вместе с женой поехал отдыхать в Швейцарию, по дороге посетив Ригу, несколько немецких городов и Прагу, где встретился с чешскими писателями. 15 сентября Иоанна Матвеевна, узнав о скоропостижной смерти своего брата, срочно вернулась в Москву. Валерий Яковлевич отправился в Париж, где оставался до 23 октября, а на обратном пути провел сутки в гостях у Верхарна, описав их в одноименном очерке. Почти все подробности мы знаем из его ежедневных писем жене, которые «представляют собой своего рода дневник в эпистолярной форме, с обычным для Брюсова хроникальным лаконизмом, неизменно окрашенным иронией» (41). *Почти* — потому что домой он не писал о встречах с Петровской.

Чем занимался Брюсов? Во-первых (хотя трудно сказать, что для него было «во-первых», а что «во-вторых» и «в-третьих»), возобновил знакомство с Рене Гилем и общался с молодыми поэтами из группы «Аббатство» — Александром Мерсеро, Рене Аркосом, Шарлем Вильдраком, Жоржем Дюамелем и Жюлем Ромэном. Впечатления ока-

зались не столь восторженными, как раньше: «Скучно. Все они “оперились”, получили доступ в журналы, стали банальнее и менее интересны». Гийом Аполлинер, слава которого была еще впереди, заинтересовал гостя как библиофил и знаток французской литературы XVIII века, в том числе эротической. Это подводит нас ко второй теме приезда Брюсова в Париж — изучению «соблазнов» для задуманного романа. «Для многих его сцен, — писал он жене, — я нахожу здесь как бы модели, чего мне будет весьма не доставать в Москве».

Спутником его блужданий оказался Бальмонт:

Как прежде, мы вдвоем, в ночном кафе. За входом
Кружит огни Париж, своим весельем пьян...

Однако поэты не только развлекались. Константин Дмитриевич познакомил друга с французскими славистами Полем Буайе и Андре Лиронделем. «Я видел тебя, — писал он «брату Валерию» 27 октября / 9 ноября, вскоре после расставания. — Видел глаза твои, слышал голос твой, я рад, мне хорошо, я снова верю в тебя невозмутимо и целиком» (42). «Он очень изменился. Поумнел, — сообщил Брюсов жене. — Говорит о себе и своих стихах трезво. Видит и понимает свои недостатки, чего прежде не было никогда».

Хождение с Бальмонтом по «соблазнам» встревожило Иоанну Матвеевну, и муж поспешил ее успокоить: «Во всех моих писаниях, в стихах и прозе, я часто подходил к вопросам о всем *темном* в жизни и в душе. И это *темное* до сих пор знал я почти только по догадке, да по жалким его отражениям у нас в Москве. Здесь представляется мне случай в самом, так сказать, горниле “зла” посмотреть на него, лицом к лицу. [...] *За меня не бойся*. Силы воли у меня хватит для каких угодно соблазнов. Да и во всем том, что я здесь вижу, я не встречаю никакого соблазна». Он сравнил себя с Данте, сходящим в Ад — ад притонов морфинистов и гомосексуалистов. «Данте помог ему найти адекватный угол зрения при восприятии “ночной” стороны парижской жизни. Явно парижскими впечатлениями вдохновлена поэма Брюсова “Подземное жилище”: описываемое в ней движение из одного потаенного зала в другой, каждый из которых предназначен для удовлетворения определенных страстей или пороков, проецируется на иерархическую структуру дантовского Ада» (43). И.С. Поступальский обратил внимание «на тот, не совсем пустой, факт, что в “Подземное

жилище” автор проникает не как соучастник, а... с полицией» (44). Советскую цензуру довод не убедил — поэма не вошла даже в семитомник.

О парижских встречах с Петровской и вызванных ей чувствах можно судить по длинному стихотворению «Видение во сне», которое Брюсов так и не напечатал:

И, как дух небесной сферы,
Тихо веющий из мглы,
Та, ушедшая когда-то,
Та, любимая без меры,
Стала молча у скалы.
Все, что сердцу было свято,
Все вернул мне этот лик,
Нежность губ, печальность взора...
И душа была объята
Прежним пламенем в тот миг!..
Полон страсти неизвестной,
Руки к тени я простер,
И меня объятья скрыли,
Унося в простор небесный,
Бросив в пламенный костер.

Брюсов был в числе первых, кого пригласил к сотрудничеству новый петербургский журнал «Аполлон», издававшийся меценатом Михаилом Ушковым под редакцией художественного критика Сергея Маковского. 24 августа 1909 года редактор писал ему: «Позвольте мне напомнить Вам о нашей беседе, еще весною, относительно возможностей Вашего сотрудничества в “Аполлоне”. Вы отнеслись тогда с сочувствием к нашему начинанию, но не захотели ничего *обещать* для первых номеров журнала... Тем не менее мне очень хочется еще раз просить Вас дать “Аполлону” не только право упомянуть Ваше имя в числе сотрудников, но хоть что-нибудь более реальное. [...] Из всех современных поэтов Вы, конечно, наиболее дороги нам (пишу от имени редакции) — вот почему моя просьба, обращенная к Вам, приобретает совсем исключительный смысл» (45). В литературных кругах возникли слухи, что Валерий Яковлевич даже переедет в столицу. Начавший выходить в октябре 1909 года, «Аполлон» воскрешал традиции «Мира искусства» и подхватил эстафету закрывающихся «Весов».

Похожий план был у Метнера, который настраивал потенциального спонсора Сергея Кусевицкого против Брюсова: «Я виделся с Эллисом, который сообщил мне кон-

фиденциально, что Брюсов, предчувствуя неминуемое падение “Весов” и свое от этого изолированное положение, хлопочет об учреждении нового журнала и, подавляя *пока* свой деспотизм, готов идти на уступки, лишь бы Эллис и Бугаев согласились работать *всецело* в его журнале. Важно и для нас (в особенности для Бугаева) и для всего культурно-эстетического течения русской литературы, чтобы *брюсовского* журнала не было, а действовал бы *наш* журнал, в котором, однако, поэзия Брюсова (а не его идеология, не его личная воля) была бы всегда желанной гостьей» (46). Похвальная откровенность, тем более, что «брюсовского журнала», да еще с Белым и Эллисом, Валерий Яковлевич не затевал.

Журнальный план Метнера не реализовался, зато «Аполлон» объединил почти всех видных литераторов-модернистов, художников, искусствоведов и театральных деятелей. Брюсова привлекла четко заявленная ориентация на художественность в противовес религиозности или общест-венности, но уже в следующем году сотрудничество ом-рачилось несколькими инцидентами.

Решив почтить память «Весов» (последний номер за 1909 год вышел весной 1910 года; одновременно прекра-тилось и издание «Золотого руна»), «Аполлон» выбрал для этого странного автора — Чулкова, назвавшего свою ста-тью «некрологом» (47). 19 мая Брюсов отправил Маковс-кому и секретарю редакции Евгению Зноско-Боровскому коллективный протест против статьи Чулкова, «авори-тет которого никак не может считаться непрерываемым в литературных кругах и беспристрастие которого в оценке “Весов” может быть заподозрено», пояснив: «Мы (Брю-сов, Белый, Ликиардопуло, Садовской, Эллис. — *В.М.*) [...] обсудили в нем (протесте. — *В.М.*) каждое слово, счита-ем его составленным в выражениях весьма сдержанных и не можем согласиться ни на какие в нем изменения. [...] Добрые литературные обычаи (и даже закон) указывают, чтобы протест был напечатан в том же отделе и тем же шрифтом, как та статья, которая его вызвала. Но если это неудобно по техническим соображениям, мы на том не настаиваем. Само собой разумеется, что отказ редакции “Аполлона” напечатать наше письмо — повлечет за собою отказ всех, подписавшихся под письмом, от дальнейшего участия в “Аполлоне”». Назвав в письме к Иванову статью Чулкова «шутовской и оскорбительной», Брюсов попы-тался привлечь к протесту и его. Вячеслав Иванович отка-

зался, заключив письмо словами: «В мою личную дружбу и крепкую к тебе привязанность верь, прошу тебя, вопреки всяческой возможной агитации. Если бы мы поссорились, совершилась бы не личная только, но общая роковая неправда. Как брат-поэт, обнимаю тебя старинным, неизменным, нежным объятием» (48). Извинившись перед Брюсовым в частном письме, Маковский отказался печатать протест или дезавуировать некролог, не испугавшись возможного ухода москвичей. В качестве примирительного жеста «Аполлон» поместил доброжелательные статьи Гумилева и Кузмина о поэзии и художественной прозе «Весов».

Брюсову пришлось смириться, однако появившиеся на тех же страницах несколько месяцев спустя статьи Иванова «Заветы символизма» и Блока «О современном состоянии русского символизма» вызвали его резкое неприятие. Многим Вячеслав Иванович казался ведущим теоретиком «Аполлона», поэтому его «теургические» речи были восприняты не только как новый раскол в символистах, но и как перемена фронта журналом. Брюсов быстро отправил туда едкую статью «О “речи рабской”, в защиту поэзии» — по мнению Белого, «наивно и грубо отругнулся» (49). «Как большинству людей, и мне кажется полезным, чтобы каждая вещь служила определенной цели, — писал Валерий Яковлевич. — Молотком следует вбивать гвозди, а не писать картины. Из ружья лучше стрелять, чем пить ликеры. [...] От поэтов я прежде всего жду, чтобы они были поэтами. [...] Неужели после того как искусство заставляли служить науке и общественности, теперь его будут заставлять служить религии! Дайте же ему наконец свободу!». Это давний «символ веры». За несколько лет до дискуссии Брюсов говорил революционеру Николаю Валентинову: «Искусство должно быть освобождено от всяких пут, только тогда оно может быть большим» (50).

«С твоей полемикой я не согласен, — отвечал Иванов 13 ноября, — не вижу в ней желания понять меня и досадую на ее — как мне показалось — не вполне дружелюбный и не вполне серьезный тон». «Свою статью я писал безо всякой враждебности к тебе или к Блоку, — разъяснил Брюсов через две недели. — Но, разумеется, я писал ее с решительной враждебностью к вашим идеям. С этими идеями я враждовать и бороться должен и буду» (51). «В последнем № “Аполлона” довелось мне с Вами поспорить, — писал он Блоку еще 23 августа, — Надеюсь, это не изменит наших с

Вами добрых отношений. Я по крайней мере по-прежнему люблю Вас и Ваши стихи» (52).

Сторону «теургов» приняли Белый и Эллис, в том же году разошедшийся с Ивановым и выпустивший книгу «Русские символисты» с восторгами по адресу Брюсова, которому подарил свой труд «на добрую память о совместном плавании — в незабываемом» (собрание Л.М. Турчинского). Валерия Яковлевича поддержали Мережковские. «Вашу отповедь “теургам” прочитала, — писала Гиппиус 28 августа, — и хотя, как вам известно, я не рыцарь искусства “для искусства” — однако, от теургических статей поперхнулась и рада, что вы прочли проповедь трезвости». Маковский и «молодая редакция» «Аполлона»: Кузмин, Гумилев, Зноско-Боровский и Валериан Чудовский (название возникло по аналогии с «молодой редакцией» журнала «Москвитянин» во главе с Ап.А. Григорьевым и А.Н. Островским), — тоже были на стороне Брюсова. «Когда Вы прислали нам свою статью, нельзя представить, какая бодрость и почти ликование настали в “молодой” редакции», — известил его Кузмин 27 августа (53). И все же сотрудничество с «Аполлоном» не сложилось, хотя отзывы журнала о произведениях Брюсова были почтительными или, как минимум, корректными.

4

Основной точкой приложения сил Валерия Яковлевича стал литературный отдел «Русской мысли», который он возглавил с конца августа 1910 года (жалованье 200 рублей в месяц), вскоре забрав в свое ведение критику и библиографию. Первым делом он обратился к старым и новым сотрудникам: Мережковским, Бальмонту, Сологубу, Белому, Иванову, Блоку, Кузмину, Ремизову, Гумилеву, Садовскому, Алексею Толстому, Вересаеву, а также многим критикам, историкам литературы и иностранцам, включая Гиля, Верхарна и Стефана Цвейга. Брюсов просил не только о согласии сотрудничать, но и о скорейшей присылке материалов, наличие которых «облегчит мне возможность отвергнуть ту или иную рукопись разных “постоянных” сотрудников и, увы! сотрудниц “Р.М.” (имена их Ты, Господи, веси), которые, конечно, будут меня удручать своими домогательствами» (54).

Мережковский и Гиппиус немедленно ответили, бла-

го у них «на подходе» были новые романы «Александр I» и «Чертова кукла». «Вы взяли эту тяжелую обузу как служение самым объективным ценностям русской литературы, — писал ему 31 августа Философов. — В Вас есть, помимо личного таланта и неисчерпаемых знаний, хорошая уравновешенность, которая, как мне кажется, прямо предназначает Вас на взятую Вами роль». «Привлечение их к более близкому участию в журнале считаю чрезвычайно важным, — писал Брюсов издателю. — Это кружок исключительно культурных и весьма даровитых людей, которых в России заменить нечем». «Ваше любезное внимание ко мне меня очень тронуло», — откликнулся Сологуб, осведомившись о гонораре с вежливой оговоркой: «Само собою разумеется, что вопрос этот в данном случае для меня не на первом плане, т.к. мне прежде всего приятно печататься там, где Вы работаете» (55). Несмотря на скромные гонорары, почти все согласились, а единичные отказы (Вересаев) объяснялись политическими причинами. Об успехах Брюсов рапортовал уже 2 сентября, в первом из многочисленных деловых писем к Струве (56).

Затем он начал разгребать авгиевы конюшни рукописей, принятых предшественниками и частично оплаченных хозяином, который в беллетристике ориентировался на «глупого читателя». Особенную тоску на него нагнали два отменно длинных романа: «Андрей Щербина» толстовца Петра Сергеевского, намекавшего, что он может завлечь в журнал «самого» Льва Николаевича, и «Тень века сего» Дмитрия Абеляева, который Брюсов согласился печатать только в радикально сокращенном виде (автор благодарил и посвятил ему трогательное стихотворение).

Брюсов и Струве сработались, хотя редакция находилась в Москве, а хозяин жил в Петербурге. Валерий Яковлевич, не пытаясь влиять на генеральную линию, демонстрировал властному и честолюбивому Струве почтение и в то же время нередко отвергал предложенные через него рукописи. Петр Бернгардович не вмешивался в литературную часть, хотя не обошлось без проблем. Декабрьский номер 1910 года был арестован цензурой за повесть Брюсова «Последние страницы из дневника женщины», охарактеризованную автором как «верх скромности и целомудренности» в сравнении с сочинениями Михаила Арцыбашева и Анатолия Каменского. Запрет вскоре был снят, журнал почти не потерпел убытков, Брюсов обещал «быть еще осторожнее в выборе материала», поскольку ополчившаяся на мо-

дернистов пресса задела и Струве: «Человек, который стоял в гордой позе Герцена, и вдруг... главный распорядитель на сцене кафе-шантана» (57).

Повышенное внимание публики к «Последним страницам» было вызвано не столько художественными достоинствами повести, но тем, что в ее сюжете видели отражение слушавшегося в 1910 году в Венеции громкого дела красавицы-авантюристки Марии Тарновской и ее подельников*, хотя сам автор отрицал это. Разумеется, его интересовали не уголовно-сенсационная сторона, а психология современной женщины и «все темное в жизни и в душе», что здесь причудливо переплелось. Венгеров нашел в «Последних страницах» «реализм в лучшем смысле слова», обратив внимание на «совершенство формы, на ее чрезвычайно отчетливый рисунок, обилие подробностей, строго подобранных для того, чтобы сосредоточить внимание читателя на одном пункте» (58). Елена Колтоновская похвалила «благородный, красивый язык» повести: «Наивная простота и ясность лучших из старых стилистов как будто сами собой сочетались у Брюсова с нежной благозвучностью, цветистостью и гибкостью новой речи», — но отказала автору в психологизме: «Многие черты женщины-модернистки, женщины, стоящей на высшей ступени интеллектуального развития и безвозвратно утратившей свою непосредственную, стихийную природу, схвачены автором верно. Но творчески обобщить эти черты, создать живое лицо ему не удалось. Героиня его ходульна и неубедительна, как почти все лица в повести» (59).

С этой оценкой перекликаются слова Гиппиус из письма к Брюсову 15 декабря 1910 года: «Ваша женщина чувствует и действует совершенно так, как она в жизни действует и чувствует. Но написать, сказать об этом она бы не могла — и в этом ложь. Она потому только может быть такой, что не может себе этого рассказать. [...] *Поэтому* — дневник ее *подложный*, это то, что мужчина умеет рассказать о женщине, а не она о себе». Видимо, Зинаида Николаевна имела в виду такие признания героини: «Я хочу свободы в любви, той свободы, о которой вы все говорите и которой не даете ни-

* Влюбленный в Тарновскую, граф Павел Комаровский застраховал свою жизнь в ее пользу на полмиллиона франков и был убит ее любовником Николаем Наумовым; вдохновителями убийства были Тарновская и другой ее любовник адвокат Донат Прилуков. Тарновская, Наумов и Прилуков были признаны виновными и приговорены к тюремному заключению.

кому. Я хочу любить, или не любить, или разлюбить по своей воле или пусть по своей прихоти, а не по вашей. Всем, всем я готова предоставить то же право, какое спрашиваю себе. Мне говорят, что я красива и что красота обязывает. Но я и не таю своей красоты, как скупец, как скряга. Любуйтесь мною, берите мою красоту! Кому я отказывала из тех, кто искренно добивался обладать мною? Но зачем же вы хотите сделать меня своей собственностью и мою красоту присвоить себе? Когда же я вырываюсь из цепей, вы называете меня проституткой и, как последний довод, стреляете себе в сердце!»

Молодому критику Александру Закржевскому повесть — автор которой «проник в то святое святых, о котором знает только женщина» и создал «такой законченный, такой яркий и живой образ женщины» вампирического типа — дала повод для общих оценок: «Брюсов — это музыка бесконечной ночи сладострастья, извращенности и восторгов пола. Это — драгоценный, порфиноносный плащ, наброшенный на иступленность *звериного*. [...] Его творчество, его музу, его вдохновение дерзко и жадно ужалила женщина, — и вот вспыхнуло, загорелось, разнеслось какое-то необычайное пламя, какой-то дикий экстаз, какая-то зловещая и садическая молитва, повергнутая у той завесы, за которой таинственно и тихо мерцает непознанное и чудесное, первопричина всего, основа вселенной, корень земного — пол. В муках вдохновения, когда возникают провалы, граничащие с безумием, поэт интуицией своей проникает за эту завесу, и сладостно сливается сознание с миром запредельной тайны, и мысль, ослепленная новыми искрами, — брызжет светом прозрения во тьме» (60).

Годом позже, откликаясь на выход первого тома *ПССП*, Виктор Чернов резко отозвался о том, что восхищало Закржевского: «Любить в любви яростную вспышку первобытной страсти — это значит не идти вперед, к любви будущего, истинно-человеческой, *очеловеченной*, — нет, это значит возвращаться к атавистическим пережиткам в натуре человека-полузверя, удовлетворявшего властную стихию своего полового инстинкта в атмосфере борьбы и насилия, это значит будить роковые ассоциации любви и ненависти, наслаждения и мук — те роковые ассоциации, из которых вытекает столько отвратительных явлений половой патологии. [...] Страшно за человека, когда видишь его возвратившимся к первобытному полузверю» (61).

Пристальный интерес к психологии женщины, особен-

но в экстремальных ситуациях, и стремление проникнуть в нее, вплоть до самых интимных деталей, отличали Брюсова с юности: с одной стороны, можно вспомнить рассказ «С Божьей помощью» (1899), натуралистически описывающий муки роженицы (62), с другой — баллады из «*Urbi et orbi*», в которых любовная страсть неразрывна с физической мукой. Брюсов-прозаик обычно описывал экстремальные ситуации со стороны: «рассказов врача» у него больше, чем «рассказов психопата», — за что Абрамович назвал его «почти фотографом души в моменты плотского экстаза, широко и рельефно снимаемого» (63). Около 1910 года Брюсов задумал сборник рассказов «Дыба», о характере которого говорят заглавия намеченных для него произведений: «Рассказ акушера», «Добрый Альд» и «Дворец крови». Судя по проекту титульного листа с выходными данными: «Женева. 1910. Hors commerce*», — автор думал выпустить книгу за границей (в России это неизбежно привело бы к запрету и конфискации тиража, к судебному процессу с осуждением автора и издателя), но отказался и от такого варианта (64).

Тематику второго сборника рассказов Брюсова «Ночи и дни», появившегося в середине апреля 1913 года, определило, как сказано в предисловии, желание «всмотреться в особенности психологии женской души». Книга прошла не то чтобы незамеченной, но непонятой. Рецензент «Нового времени» Николай Вентцель утверждал: «Жизненной правды в изображении выведенных в “Ночах и днях” отечественных Мессалин и доморощенных нищееанок было бы напрасно искать. Но если смотреть на них как на поэтический вымысел, то и тогда радости от них мало: несмотря на попытки автора сделать их интересными, все его яростные и исступленные героини попросту скучны» (65). Союзником консервативного критика оказался марксист Лев Войтоволский: «Брюсова занимает не любовь сама по себе, а бьющие в нос эротические яды, все болезненные расстройства любви — крикливые, шумные, безобразно-отталкивающие. [...] Брюсов не загрязняет воображения, а холодно копается в им же придуманных уродствах. Его опьяненные вакхическим сладострастием женщины имеют слишком трезвый и скучный вид. В душе их гораздо больше дурной логики, чем пороков и страсти» (66). С ними солидаризовался Бальмонт: «Имея лишь внешнюю способность повествования, Брюсов бессилён изобразить в своих расска-

* Не для продажи (*фр.*).

зах какое-либо живое лицо. [...] Женщина — обманщица. Эта столь глубокая и оригинальная мысль, известная всему человечеству с тех самых пор, как оно существует, в особенности обуревают художественный ум Брюсова, и он в каждом из своих рассказов дает иллюстрацию этой безнадежно-банальной и неверной мысли» (67). Интересное наблюдение сделал Ходасевич, уклонившись от разбора книги по существу: «Лаконизм брюсовской прозы заимствован у стихов, как и лаконизм прозы пушкинской».

Вернемся к «Русской мысли». «Вы сделали чудеса: весь номер можно читать», — писал Брюсову 17 февраля 1911 года Блок, печатавшийся здесь редко, но значимо: достаточно назвать «Раздумье» и «Шаги командора». «Сознаюсь, что “мотор” Дон-Жуана меня несколько смущает, и я не вполне уверен, хорошо ли это», — делился Брюсов 29 сентября 1912 года сомнениями по поводу стихотворения. «Относительно “мотора” Вы, кажется, правы, — ответил автор, — но строфе этой уже около двух лет, а я все не сумел исправить, ничего лучшего пока не нашел» (68). «Мотор» остался в стихотворении и попал в пародию Буренина, насмешившую Блока: «Дон Жуан летит в автомобиле, / На моторе мчится Командор».

Добрые литературные обычаи не позволяли без разрешения автора править художественные тексты, хотя порой такая необходимость возникала. 7 августа 1912 года в Петербурге Брюсов встретился с Кузминым, который читал ему свои новые стихи и стихи Всеволода Князева, а через неделю послал и те и другие в «Русскую мысль». Брюсов ответил только 7 сентября, когда корреспондент уже начал волноваться, но зато ответил четко и обстоятельно:

«Вы, вероятно, стали делать выбор со слишком большой осторожностью, и в результате прислали мне далеко не лучшие стихи. Само собою разумеется (как это я Вам говорил) плохих стихов Вы написать, просто, не можете: это, вероятно, выше Ваших сил. Но то, что Вы мне читали в Петербурге, право, острее и тоньше, чем то, что Вы прислали, — Вы это сами знаете. Было бы мне несколько грустно печатать эти Ваши стихи, зная, что у Вас есть другие, лучшие. Но если бы Вы остались скупы, и другого “Русской мысли” дать не захотели, я из присланного прежде всего остановился бы на стихотворении “Пуститься бы по белу свету”. В этом стихотворении (которое очаровательно по началу и по концу, и по отдельным стихам) меня все же останавливают следующие частности: Хорошо ли “стесненные мер”? не слишком ли это отвлеченно? Уместна ли в со-

вершенно современном стихотворении “трирэма”? Не лучше ли всю строфу, где встречается это слово, выпустить? (Ее два первых стиха очень хороши, два последних, простите мне мою смелость, — условность). Наконец, стих 3-ий с конца в “Русской мысли” (подчеркиваю) лучше бы заменить как-нибудь, например:

На океанском пароходе,
Все тот же я, все так же твой...

Наконец, в пятой строфе один стих у Вас не дописан:

И будет ясно...

Не так ли:

И ни на миг мы не забудем...

Все мое оправдание, когда я позволяю себе делать эти замечания, только в том, что я рассчитываю на Ваше *дружеское* ко мне расположение, потому что лично я, хотя мы и встречаемся редко, никогда не переставал относиться к Вам, восхищаясь как читатель Вашими страницами, именно *дружески*. Это дает мне надежду, что Вы поймете чувство, продиктовавшее эти строки: желание, чтобы в Ваших стихах не оставалось ничего “менее совершенного”. [...] Стихи Вс. Князева, как и те, что Вы мне читали, очень милы. Бесспорно, он станет значительным поэтом, и я этому весьма радуюсь. Из присланных стихотворений наиболее подошли бы для журнала “Всегда вас видеть” и “Сколько раз проходил”... Окончательно о том, удастся ли мне в близком будущем воспользоваться этими стихотворениями, я сообщу Вам в ближайшие дни. Еще раз прошу извинить мне смелость моей критики некоторых Ваших стихов» (69).

11 сентября Кузмин благодарил Брюсова за «обстоятельное и дружеское письмо» и принял все предложенные исправления, кроме «стеснения мер». «Если позволите, я воспользуюсь Вашим стихом

“И ни на миг не позабудем”.

[...] Последний фиговый листок, если он необходим, конечно, возможен, и я благодарен Вам за подсказанный так удачно временный стих:

Все тот же я, все так же твой» (70).

В сборник «Глиняные голубки» стихотворение вошло с посвящением «В.» (В.Г. Князеву) и с восстановлением первоначального варианта. Стихи самого Князева, несмотря на напоминания, в журнале не появились. Брюсов также напечатал всего одно стихотворение старого товарища по декадентству Владимира Гиппиуса, вернувшегося в литературу под именами «Вл. Бестужев» и «Вл. Нелединский», хотя в 1909 году его родственница Зинаида Гиппиус расщедрилась на целую подборку в том же издании.

В «Русской мысли» печатался отсидевший четверть века в Шлиссельбурге народоволец Николай Морозов, который некогда качал на коленях Валю Брюсова. «Взрослое» знакомство состоялось в марте 1910 года. Морозов «с великим удовольствием» читал «Пути и перепутья», отдав жене второе издание «Огненного ангела», которое получил с надписью «поэту, мыслителю, математiku». Брюсов «с большим волнением» прочитал «Письма из Шлиссельбургской крепости», которые высоко оценил в письме автору и на страницах журнала. Общих интересов у них было много: Валерий Яковлевич подарил оттиск статьи «Научная поэзия» «одному из истинных пионеров “научной поэзии” Николаю Александровичу Морозову на память о беседах», а в одном из писем обещал при встрече поспорить с ним о «четвертом измерении».

Новый импульс их отношениям придало судебное преследование собрания стихов Морозова «Звездных песен», выпущенного «Скорпионом». 18 июня 1910 года Комитет по делам печати наложил арест на книгу, в которой содержалось несколько революционных стихотворений более чем тридцатилетней давности, и привлек издателя Полякова к ответственности. Морозов официально попросил перевести обвинение на него. Надуманный характер дела был очевиден для всех, но Брюсов оказался среди немногих, кто практически помог автору в организации публикаций и лекций, в контактах с издателями и в попытках освободить напечатанную книгу от ареста путем замены запрещенных стихотворений на приемлемые для цензуры. Юридическая баталия длилась около двух лет. 24 ноября 1911 года Московская судебная палата приговорила Морозова к году тюремного заключения, а в начале марта 1912 года Сенат отверг его кассационную жалобу. Узнав об этом, Брюсов не ограничился выражением сочувствия («вся Россия — ска-

жу с уверенностью — будет душой с Вами»), но предложил конкретную помощь: «Располагайте мною, как хотите. Все Ваши поручения, касающиеся Москвы, давайте самым широким образом мне. Посылайте меня к каким угодно издателям, в любые типографии, а если надо, и в официальные места: я буду рад для Вас принять на себя все эти маленькие хлопоты. Одним словом, считайте меня, на время своего заключения, Вашим поверенным в Москве, которому можно поручить *все* и который, — обещаю Вам это, — все будет исполнять аккуратно и скоро, как только может. И очень Вас прошу принять это мое предложение *прямо*, не смотреть на него как на простую вежливость, а действительно им воспользоваться». В начале июля Морозов был заключен в Двинскую крепость и уже через несколько дней просил Брюсова побудить Полякова к более решительным действиям для вызволения книги или ее переиздания в исправленном виде. Ответ Брюсова неизвестен, но «Звездные песни» даже с вырезанными и замененными страницами продавались только из-под полы. После освобождения Морозова 21 февраля 1913 года по амнистии к трехсотлетию дома Романовых они виделись еще несколько раз, но подробностей встречи мы не знаем (71).

Несмотря на отдельные разногласия, сотрудничество Брюсова со Струве шло гладко, пока не случился инцидент с Андреем Белым (72). Воодушевленный высокой оценкой «Серебряного голубя» в кругу «веховцев», издатель весной 1911 года предложил Белому написать роман для «Русской мысли», выставив жесткие условия: 15 авторских листов к 15 декабря (позднее срок был продлен на месяц), без аванса, с получением гонорара по одобрении рукописи, причем гонорар был назначен всего в 100 рублей за авторский лист, хотя известные писатели получали в «Русской мысли» от 150 до 250 рублей (Бунин требовал и во многих изданиях получал 500 рублей за авторский лист, гонорары Андреева доходили до тысячи). Нуждаясь в деньгах, Борис Николаевич согласился, хотя не стеснялся писать Блоку, что «Брюсов меня обмерил и обвесил» и «Брюсов продолжает со мной говорить не по-человечески, а по-скотски» (73), как будто не знал, кто определяет гонорар. Он быстро написал большую часть романа «Злые тени» (первый вариант «Петербурга»), 10 января 1912 года известил Брюсова, что готов передать 12,5 листов через несколько дней, а остальное напишет к апрелю-маю, и попросил выплатить ему хотя бы треть обещанного гонорара (74).

Брюсов, безотлагательно прочитав рукопись, одобрил ее и переслал Струве, который — к изумлению Валерия Яковлевича — категорически отверг роман: «Вещь эта абсолютно неприемлема, написана претенциозно и небрежно до последней степени. [...] Мне лично жаль огорчать Белого, но я считаю, что из расположения к нему следует отговорить его от напечатания подобной вещи, в которой проблески крупного таланта утоплены в море настоящей белиберды, невообразимо плохо написанной». Петр Бернгардович вознегодовал всерьез, ибо раньше не позволял себе вмешиваться в дела литературного отдела и ни об одном произведении, тем более крупного писателя (в таланте Белого он не сомневался, даже прочитав «Злые тени»), в таком тоне не высказывался.

Брюсов, чувствуя ответственность перед Белым, пытался убедить хозяина сменить гнев на милость: «Достоинства у романа есть бесспорные. Все же *новый роман Белого* есть некоторое событие в литературе, даже независимо от его абсолютных достоинств. Отдельные сцены нарисованы очень хорошо, и некоторые выведенные типы очень интересны. Наконец, самая оригинальная манера письма, конечно, возбudit любопытство, наряду с хулителями найдет и страстных защитников и вызовет подражания». Струве оказался непреклонен, решительно отказавшись и печатать, и платить (официально заказ и обязательства редакции оформлены не были). Впавший в отчаяние Белый, счел виноватым не только издателя, но и Брюсова, заявил, что тот «очень уж мне перегрыз горло» (75), и прекратил с ним общаться.

Почему терпимый к модернизму Струве был столь резок? Вспоминая эти события, Белый не отказался от обвинений в адрес Брюсова, но усмотрел в реакции Петра Бернгардовича личный мотив: болезненно воспринимавший любые намеки на свое «ренегатство», он посчитал фигуру либерального профессора статистики (главка «Бал») карикатурой на себя (76). Слова о том, что «некоторые выведенные типы очень интересны», могли только разозлить его. Так что грех «обмера и обвеса» с души Брюсова можно снять.

В апреле 1912 года Струве решил с осени перевести редакцию «Русской мысли» в Петербург и предложил Брюсову пост ее московского представителя с сохранением за ним беллетристического отдела. Тот согласился, хотя понимал — по опыту заочного секретарства в «Новом пути» — что

это ненадолго; тем более, хозяин по разным поводам и даже без повода стал демонстрировать ему свое недовольство. Наметив в преемники более покладистую Любовь Гуревич, Струве не хотел терять Валерия Яковлевича как автора, а потому 22 ноября предложил ему на выбор две комбинации за право преимущественного приобретения новых произведений: 100 рублей в месяц при прежних гонорарах или повышенный гонорар. Брюсов выбрал первое, но резонно предпочел другие издания, когда с началом войны Струве отказал ему в ежемесячном «фиксе».

5

Всеобщее признание Брюсова-поэта закрепил сборник «Зеркало теней», вышедший в первой декаде марта 1912 года (77). Его привычно обругал Буренин, снабдив отзыв дубовыми пародиями на «идиота-поэта» (78). Впервые новую книгу Валерия Яковлевича не рецензировали символисты, хотя Иванов тепло отозвался о ней в письме: «лирика выздоровления», «очаровательные свежесть и простота» (79). Владимир Гиппиус и Блок откликнулись посланиями: первое осталось в архиве, второе, вскоре опубликованное, прозвучало лирическим шедевром.

И вновь, и вновь твой дух таинственный
В глухой ночи, в ночи пустой
Велит к твоей мечте единственной
Прильнуть и пить напиток твой.
Вновь причастись души неистойвой,
И яд, и боль, и сладость пей,
И тихо книгу перелистывай,
Впиваясь в зеркало теней...

Блоку понравилась книга, но к ее автору он относился без прежнего пиетета — возможно, под влиянием рассказов Белого об истории с «Петербургом». «Блок никогда не подвержен был склонности: переоценивать Брюсова. [...] Брюсов немного был маг для меня. [...] Для А.А. же он был только помесью позера с мечтателем», — утверждал Борис Николаевич, хотя признавал, что Блок «в пору нападков на Брюсова отмечал в нем действительность поэта и, все-таки, очень незаурядного, крупного человека» (80). Эти противоречивые слова, относящиеся к 1922 году, когда Белый, не помирившись с Брюсовым, писал «блокоцентричные» ме-

муары, опровергаются ранними восторженными высказываниями самого Блока. Но в 1910-е годы пути поэтов окончательно разошлись, а отношения стали исключительно литературными. Брюсов дорожил сотрудничеством Блока в «Русской мысли» и пригласил его к участию в «Поэзии Армении», но переписку с ним вела Иоанна Матвеевна (Иванову он всегда писал сам).

Брюсова венчало лаврами следующее поколение. Его лидер Гумилев, верный ученик, посвятил книге две рецензии. В «Аполлоне» он дал обобщающую оценку: «Слова “брюсовская школа” звучат так же естественно и понятно, как школа парнасская или романтическая. [...] Может быть, это нечто есть основание новой, идущей на смену символизму, школы. [...] “Зеркало теней” ярче, чем другие книги, отражает это новое и, следовательно, принадлежащее завтрашнему дню слово» (81). В журнале Цеха поэтов «Гиперборей» внимание было сосредоточено на мастерстве: «Его можно не любить, но читать и даже изучать его должно. [...] Его прелесть в зрелости мысли, точности выражений и уверенности, с какой поэт подходит к своим образам» (82). Особого внимания заслуживают слова о «новой, идущей на смену символизму, школе»: через полгода в «Аполлоне» появились манифесты акмеизма — «Наследие символизма и акмеизм» Гумилева и «Некоторые течения современной русской поэзии» Городецкого. Отметив, что «Зеркало теней» «волнует, увлекает, очаровывает», Городецкий заявил: «В простоте, в художественной решительности, в прямоте подхода к миру вещей и миру чувств Валерий Брюсов достигает небывалой высоты» (83). Можно поспорить о применимости этих оценок к «Зеркалу теней» — самой декадентской по тематике (эротика, самоубийства, садомазохизм, наркотики) книге Брюсова после «Шедевров» — но ключевые слова акмеизма здесь налицо.

Александр Булдеев отметил «неожиданный поворот Брюсова в сторону жизни, и если точнее выразиться, то даже не поворот, а стремительное метание к жизни» (84). «Из признанных поэтов — первенство Брюсову, — констатировал Измайлов. — [...] Его спокойный, мудрый и трезвый полдень перевалил на вторую половину. Еще нет бледных и мертвенных сумеречных теней, но минули радостные и буйные вспышки утра. Стих мужественен, упруг, как сталь, и точно чудится в нем холодноватый и темный блеск стали» (85). Отдали должное книге стоявшие в стороне от «нового

искусства» историк Александр Малеин и старый приятель филолог Владимир Каллаш (86).

Особенно красноречив был Ходасевич: «Враждебная критика любит упрекать Брюсова в том, что он всегда и везде остается литератором. Какой вздор! Почему поэту разрешается писать стихи, работать над ними всю жизнь, но воспрещается любить их? Точнее: почему эта любовь не может служить такою же темой стихов, как любовь к женщине или к природе? Поэзия сама по себе есть источник глубочайших и чистейших переживаний». Не знаю, есть ли в этих словах скрытая ирония, но позднейшие писания Ходасевича о Брюсове во многом соответствуют той «враждебной критике», которую он сам назвал «вздором».

Аналогичный прием был оказан и другим произведениям. В начале октября 1910 года вышло второе издание «Земной оси» с иллюстрациями Альберто Мартини. «Хорошо издаете вы свои книги, — писал Брюсову 1 ноября, получив книгу в подарок, Павел Щеголев, — завидно смотреть. Рисунки интересные и страшные» (87). Ауслендер отметил, что автор «возрождает несколько забытое благородное мастерство рассказчика, взвешивающего каждое слово, искусно строящего свое повествование» (88). Рецензент «Голоса Москвы» подчеркнул, что «не в пример другим писателям русской модернистской школы, Брюсов сумел выработать свой собственный прозаический язык, точный и изящный. Этот язык достаточно гибок, чтобы передать иногда запутанную психологию брюсовских героев, и достаточно прост, чтобы быть понятным для читателя», хотя отметил, что «темы рассказов [...] и трактовка их — мало дают и сердцу и уму» (89). «Изящный и строгий стиль рассказов, простой и точный, словно выкованный, язык Брюсова — делают чтение его книги истинным наслаждением», — отметил «Новый журнал для всех» (90).

Бранные отзывы стали редкостью и диктовались, как правило, личными мотивами. Чулков обрушился на брюсовские переводы из Верлена, увидевшие свет в начале апреля 1911 года: отказался признать за ними какое бы то ни было значение, кроме... педагогического, и издевательски заметил, что они могут быть рекомендованы для библиотек казенных учебных заведений (91). Измайлов, хоть и отдал предпочтение некоторым переводам Сологуба как «изумительны[м] по превосходному постижению верленовского духа», похвалил книгу, заключив: «В том, что русский поэт положил свою любовь к ногам великана новой

французской поэзии, отдал ему всю силу своего выработанного стиха, поделился с читателем своим о нем знанием — несомненная заслуга Брюсова» (92). Вячеслав Иванов 28 мая писал переводчику, что его труд «во многом блистателен, но неровен и не всегда убедителен» (93). По мнению Петровской, «Брюсов, насколько было возможно, приблизился к тому совершенству работы, которое доступно поэту-переводчику вообще» (94). Гумилев отметил точность переводов, Чуковский назвал их «великим литературным подвигом» (95). Загадкой остается корректурный экземпляр книги с правкой Сологуба, обозначенной как «редакция»: маловероятно, что он мог исправлять переводы Брюсова для «Скорпиона», тем более что поправки остались неучтенными (96).

О книге очерков и воспоминаний «За моим окном», появившейся в начале июня 1913 года, пренебрежительно отозвался Александр Тиняков, некогда поддержанный Брюсовым и подражавший ему (97). Рецензент заявил, что эти фельетоны хуже Боборыкина и вровень с Измайловым: «Он становится скучен, и чувствуется, что будничную жизнь Брюсов изображать не умеет. Это, по нашему мнению, указывает на ограниченность таланта Брюсова вообще» (98). Однако Лернер, находившийся в ссоре с автором, признал, что его «суховатая, сжатая, деловая, но не лишенная изящества проза [...] читается легко и с интересом» (99). В той же тональности выдержаны отзывы «Московских ведомостей»: «Рассказы г. Брюсова написаны очень живо, умно, талантливо и читаются с большим интересом», — и «Вестника Европы»: «За своим окном автор видел не очень-то много, но рассказал об этом без скуки, хотя и с свойственной ему четкою сухостью письма» (100). Изданный в конце октября 1911 года сборник «Далекие и близкие. Статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней» был воспринят критиками — будь то народник Горнфельд, марксист Войтоловский или либерал Чехихин-Ветринский — исторически, вне полемики (101). Торжество победителей можно было считать окончательным, когда Венгеров пригласил Брюсова и Иванова к участию в трехтомнике «Русская литература XX века. 1890—1910», где итоги эпохи подводили в основном либеральные и неонароднические критики. Валерий Яковлевич дал статьи о Коневском, Гиппиус и Блоке. О нем самом академично и благожелательно написал Федор Батюшков (102).

История жизни Брюсова становится похожей на «за-

писку об ученых трудах», что признавал он сам: «Моя биография сливается с библиографией моих книг». Для завершения картины следует сказать о его признании как историка литературы. Достижениями и репутацией в этой сфере Брюсов дорожил и подавал пример Блоку, Чулкову, Садовскому, чьи работы сохраняют научную ценность. Публикации в «Русском архиве» способствовали реабилитации в глазах публики: оказывается, певец «бледных ног» знает и любит «наше все». Однако утверждения Брюсова о принадлежности Пушкину «Гавриилиады» (в начале XX века название писалось с одним «и»), от которой тот отрекся перед императором, были восприняты как выходка декадента, «избравшего себе специальность грязнить память» (103). Исследование «Лицейские стихи Пушкина» (1907), подвергнувшее аргументированной критике первый том академического издания полного собрания его сочинений, показалось слишком неожиданным для автора без филологического «мандата» и оказалось слишком специальным для присяжных критиков. Неутомимый Лернер, получив от Брюсова книгу с инскриптом «другу Пушкина и моему другу», написал как минимум шесть отзывов на нее: хвалебные общего характера для литературных изданий и критические, с подробным разбором и указанием на недостатки, для специальных (104). Венгеров привлек Валерия Яковлевича к работе над новым полным собранием сочинений Пушкина не только для написания статей по конкретным проблемам («Пушкин в Крыму») или об отдельных произведениях («Гавриилиада», «Медный всадник»), но как текстолога и комментатора. Высоко ценил его работы Щеголев. В 1910 году Брюсову предложили редактировать сразу два собрания сочинений Пушкина: малое академическое (совместно с Лернером) и для «Библиотеки русских писателей» издательства «Деятель» — но оба не состоялись по независящим от него причинам (105). Не увидела свет и подготовленная им для издательства «Альциона» книга «А.С. Пушкин. Суждения о всемирной литературе, собранные систематически под редакцией и с предисловием Валерия Брюсова».

В 1910 году Брюсов задумал книгу «Околдованный поэт» — максимально полный свод фактических данных о Тютчеве. «Довольствуясь скромной ролью летописца, я не принимаю на себя притязательных и ответственных обязанностей биографа», — заявил он в предисловии (106), дальше которого дело не продвинулось. Каролина Павло-

ва, автор слов о «святом ремесле» поэта, умерла в полном забвении, немного не дожив до первого выпуска «Русских символистов». Первую работу о ней Брюсов напечатал в 1903 году, а через двенадцать лет выпустил двухтомное собрание ее сочинений, замеченное в основном специалистами. Владимир Княжнин увидел в нем «и ряд не исполненных редактором обещаний, и невероятное изобилие опечаток, и хаос, царящий в текстах, и неполноту, и комизм примечаний, предисловий и послесловий» (107), хотя в позднейших изданиях Павловой брюсовская работа оценивается выше. Исключение составил отзыв Ходасевича, развенчавшего саму поэтессу: «Муза Павловой умна — и необаятельна. К тому же бывает она скучновата. Холодная и рассудочная, она не из тех, с кем хочется побыть с глазу на глаз, чтобы “отвести душу”. [...] Не от сердца, но от сухого разума эти стихи». В кого на самом деле метил рецензент, догадаться нетрудно.

Глава тринадцатая

«ЛЮБУЮСЬ ВАМИ, ВАШ ОГОНЬ ДЕЛЯ...»

1

23 января 1914 года, оправляясь после тяжелой душевной травмы, Брюсов писал в стихотворении «Юношам»:

Мне всё равно, друзья ль вы мне, враги ли,
И вам я мил иль ненавистен вам,
Но знаю, — вы томились и любили,
Вы душу предавали тайным снам...
И вы за то мне близки и мне милы,
Как стеблю тонкому мила земля:
В вас, в вашей воле черпаю я силы,
Любуюсь вами, ваш огонь деля...
Таким живу, таким пребуду вечно, —
В моих, быть может, чуждых вам стихах,
Всегда любуюсь дерзостью беспечной
В неугасимых молодых зрачках!

Валерия Яковлевича всегда окружали молодые — в двадцать, тридцать, сорок и пятьдесят лет. Они шли к ровеснику, старшему товарищу, мэтру, учителю, поэтому воспоминаний о разговорах с ним про стихи так много и они похожи друг на друга: Брюсов вежлив, внимателен и дело-

вит, просит читать стихи вслух, оставляет рукопись у себя и назначает новую встречу, во время которой разбирает стихотворение за стихотворением, указывает на формальные недостатки и дает советы. Он не отвечал на вопрос «Стоит ли мне писать стихи?», но давал «путевку в жизнь» тем, кого считал достойными, даже если они не могли прийти в себя после, казалось бы, разгромного разбора их творений. Или, напротив, осторожно советовал заняться чем-либо другим — переводами, критикой, философией.

Из множества свидетельств я выбрал одно, хотя оно может показаться наиболее уязвимым с исторической точки зрения, поскольку взято не из дневника или мемуаров, а из художественного произведения. Сделаем исключение для романа Константина Большакова «Маршал сто пятого дня», первая книга которого «Построение фаланги» вышла в 1936 году. Итак, начинающий поэт Глеб Елисов в 1912 году принес стихи в редакцию «Русской мысли» в Ваганьковском переулке (ныне Староваганьковский; дом не сохранился, на его месте книгохранилище РГБ).

«Брюсов заглянул сюда, словно он пробежал мимо, хотя передняя была тут же за дверью, и было слышно, как он раздевался. Вытирая платком усы и бороду, он неуверенно поклонился с порога.

— Кто, господа, первый?

Поднялась худая, в тени сидевшая дама. Лицо у нее было скрыто густой вуалеткой. Брюсов шире приоткрыл дверь, пропуская ее вперед, и опять с тем же неуверенным поклоном оставил переднюю.

Очередь Глеба была последней.

Ну да, конечно, это был педагог, — его не обмануло первое впечатление, — сухой, нелюбимый классом и очень строгий преподаватель латинского или греческого. Он без улыбки, не перебивая, учтиво выслушал довольно несвязное бормотание, почему и зачем попал в его кабинет этот посетитель.

— Вы принесли мне что-нибудь? — спросил он, когда Глеб замолк.

— Да... Собственно, я хотел бы... У меня есть с собой несколько стихотворений. Если позволите... — растерянно, не находя нужных слов, бормотал Глеб.

— Очень хорошо, — гортанно и отрывисто, как будто пролаял, а не проговорил мэтр. — Вы мне их оставите? Благодарю вас. В следующий вторник, если вы только пожелаете, я смогу побеседовать с вами о них.

Он задал еще несколько вопросов, но каких-то неживых, словно расспрашивал иностранец, совершенно не представляющий, как живут люди в этой стране. Ответы не могли завязать беседы. Потом с поклоном пожал руку и учтиво проводил до самой передней.

Второй визит был значительно продолжительней. Мэтр предложил Глебу вслух прочесть все его вещи, которые он оставил у него в первый раз. После каждого прочитанного стихотворения отрывистыми, быстрыми фразами делал он свои замечания. Он совершенно не касался содержания, он ничего не говорил о том, удалось ли или не удалось молодому поэту выразить, что его занимало или привлекало, и когда Глеб сам решился спросить об этом, улыбнулся. Улыбка была сухой и какой-то неживой. Еще не согнав ее с лица, Брюсов сказал:

— Ну, что ж! Очевидно, вы то и выразили, что вам хотелось.

Замечания его относились почти исключительно к строфике, он много говорил о метрике, отметил какафоничность некоторых столкнувшихся в строчке слов. Больше всего все-таки он распространялся по поводу рифмы, и у Глеба осталось впечатление, что мэтр больше всего обращает внимание именно на рифму. В голове все время вертелся наивный и смешной вопрос: «А скажите, Валерий Яковлевич: вообще-то, стоит мне писать дальше?»

Глеб понимал всю бессмысленность и наивность вопроса и тем не менее не удержался — спросил.

Опять такая же неживая улыбка.

— Я думаю, что стоит заниматься всем, к чему только чувствуется влечение. Важно желание и терпение научиться делать это хорошо.

Дальше последовали пространные и обстоятельные советы, как и чем можно достигнуть мастерства. Указания подкреплялись примерами из многих биографий. Преподано было фетовское наставление: поэзию, как творог, нужно оставлять на время под прессом, чтобы из нее отжалась вся вода. Уже поднявшись с кресла, только не протянув еще руки, Брюсов преподает последний заключительный совет:

— Вы знаете иностранные языки? Тогда переводите. Это лучшая школа. Старайтесь передать фактуру и внутренний строй оригинала. Если вам удастся это, можно сказать, что вы владеете стихом.

Кажется, Глеб добился этого скоро. Исправно раз в неделю ходил он на приемы, и каждый раз выслушивалось

Брюсов 21/III - 21

Дорогой
Константину Аристархову
Большакову
на память

ЗЕРКАЛО ТѢНЕЙ.
в лбтннх и днннх втрблах
дружески

Валерій Брюсов
1912, март.

Дарственная надпись Валерия Брюсова Константину Большакову на книге «Зеркало теней». Март 1912. Собрание В. Э. Молодякова

и подвергалось замечаниям каждое новое его произведение. [...] Книжка “Русской мысли” с напечатанными стихами, за полной его, Глеба Елистова, подписью, была настоящим триумфом и в гимназии, и дома. [...] Поступая в университет, Елистов считал себя уже признанным поэтом. Гумилев похвалил его в “Аполлоне”. Книжка стихов, неизвестно почему называвшаяся “Возвращение Энея”, завоевала ему очень достойное, как расценивал он сам, место среди московских поэтов. Брюсов предложил ему принять участие в переводах для “Антологии французских поэтов XVIII века”*. Он был своим человеком и постоянным посетителем и “Свободной эстетики”, и “Кружка”. Его приглашали на все литературные вечера, он свыкался уже с мыслью, что принадлежит к этому кругу» (1).

Это в романе. В жизни Брюсов подарил один из первых экземпляров «Зеркала теней» «дорогому Константину Аристарховичу Большакову на память о летних и зимних встречах дружески Валерий Брюсов. 1912, март» (собрание В.Э. Молодякова) и писал в «Русской мысли»: «Природным даром музыкального стиха обладает Константин Большаков». «Валерий Яковлевич, — вспоминал Шервинский, — стремился помочь молодым поэтам, научить их. [...] Брюсов вручил мне мою машинопись со своими карандашными пометками. Они были резковаты и лаконичны. Без уступок, но и без придилок. Терпимость сочеталась с четкостью. Замечания касались более всего банальностей, штампов. [...] Я возвратился домой не только не подавленный железной рукой Брюсова, а наоборот. [...] Он совершенно не насиловал волю своего ученика. [...] Он не выносил только плохой поэзии» (2)

Еще больше стихов приходило по почте или приносилось с посылными. Александр Булдеев, выпустивший в конце 1909 года сборник «Потерянный Эдем», писал Брюсову: «Около месяца тому назад я занес Вам недавно вышедшую книгу моих стихов. Не желая Вас беспокоить, я эту книгу вручил прислуге с просьбой передать ее Вам. Делая это дело, я думал только о том, что мне будет очень лестно иметь Вас моим читателем, а равно и то, что у меня — читателя Ваших изумительных созданий — нет других средств выражения признательности и поклонения со стороны не-

* В антологии «Французские лирики XVIII века», составленной И.М. Брюсовой под редакцией и с предисловием Брюсова (1914), Большаков не участвовал. Из поэтов его поколения переводы в ней поместили С.П. Бобров и В.Г. Шершеневич.

известного Вам человека. Но постепенно после долгих колебаний я пришел к глубокому желанию узнать Ваше мнение о моих стихах. Валерий Яковлевич! Мне нечего бояться сказать Вам, что я Вас считаю единственным в современной русской поэзии. [...] Судите же сами, насколько для меня, начинающего, важно и ценно знать Ваше мнение. [...] Если у Вас есть хоть *minimum* времени для меня, то очень прошу Вас указать день и час, когда я смогу Вас видеть» (3). Состоялась ли встреча, неизвестно. Брюсов откликнулся на сборник отдельной рецензией в «Русской мысли», не поместив автора в «братскую могилу» обзоров, — хотя само упоминание в них многого стоило, особенно для дебютанта, — а два года спустя перепечатал отзыв в «Далеких и близких», куда включил только наиболее важные статьи.

Обзоры и рецензии Брюсова в «Весах» и «Русской мысли» были полезными уроками для молодых поэтов — по крайней мере, для тех, кто хотел и был готов учиться. Их отличительные черты — объективность (изменившая автору только в начале 1920-х годов) и установка на полезность, прежде всего в области стихотворной техники. В них мало похвал, но это не от критиканства, а от природной строгости в сочетании со стремлением больше сказать по делу в ограниченном объеме. В них нет «импрессионизма». В них встречаются резкие выражения, но нет оскорблений и грубости, свойственных многим рецензентам и до, и после революции. «Письма о русской поэзии» Гумилева с их установкой на мастерство — производное от рецензий Брюсова, который в журнале «Печать и революция» высоко оценил посмертный сборник статей своего ученика даже через два года после его расстрела. Брюсовское влияние очевидно в рецензентской практике и других поэтов, включая Ходасевича и Георгия Иванова.

«Напомнил мне меня 1895 года», — записал Валерий Яковлевич 15 мая 1907 года о первой встрече с Николаем Гумилевым, пояснив: «Видимо, он находится в своем декадентском периоде». Их переписка — ценный источник и увлекательное чтение; если бы письма Брюсова сохранились полностью, это был бы идеальный мастер-класс. Николай Степанович присылал учителю почти все, что писал (некоторые тексты сохранились только в архиве Брюсова), а тот открыл ему страницы «Весов», поддерживал и защищал — например, от Гиппиус, оказавшей молодому поэту издевательский прием. Суть своего ученичества Гумилев подытожил в письме из-за границы 2/15 августа 1907 года —

почтительном и веселом, серьезном и ироничном, скромном и самонадеянном:

«Ваше молчанье — совершенно справедливое возмездие для меня, но неужели оно продолжится вечно. Подумайте, что это может повергнуть меня в такое мрачное отчаяние, что я начну писать революционные стихи для “Перевала” и плагиаты-компиляции для “Золотого Руна”. И на Вашу совесть ляжет гибель юноши. Теперь я хочу привести основания, по которым Вы могли бы меня простить: во-первых, Вы сами писали мне два года назад, что я поэт, и я не настолько слеп, чтобы не видеть, что я делаю успехи с каждым годом. А ведь Вы переписываетесь со мной не как с человеком, который по несчастной случайности оказался невежливым по отношению к Вам, а как с молодым поэтом, который еще не имеет установившихся взглядов на искусство и каждую минуту может потерять веру в себя. Неужели за невольный грех человека Вы допустите погибнуть поэту? Второе мое оправдание в том, что я люблю Вас. Если бы мы писали до Р.Х., я сказал бы Вам: Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников. В средние века я сказал бы: Maître*, научи меня дивному искусству песнопения, которым ты владеешь в таком совершенстве. Теперь я могу сказать только: Валерий Яковлевич, не прекращайте переписки со мной, мне тяжело думать, что Вы на меня сердитесь» (4). Первый зрелый сборник Гумилева «Жемчуга» (1910) был посвящен «моему учителю Валерию Брюсову». По воспоминаниям Шершеневича, Брюсов показывал ему экземпляр книги с опечаткой «Моему учителю Балерию Врюсову» (5).

Брюсов редко писал предисловия к книгам поэтов-современников, особенно в виде напутствия начинающему. Таких всего четыре: «Сосен перезвон» Николая Клюева (1912), «Старая сказка» Надежды Львовой (1913), «Эра славы» пролетарского поэта Ивана Филипченко (1918), еще в 1912 году присылавшего стихи ему, «декаденту» а не в «идейный» журнал (6), и поэма Сергея Аргашева (С.П. Семенова) «Парида» (1924) (7). Переписка с Брюсовым, как можно судить по письмам инициировавшего ее Клюева (8), была для олонецкого поэта не так значительна и важна в духовном плане, как переписка с «кающимся дворянином» Блоком, но именно Брюсов содействовал признанию Ключе-

* Мастер; учитель (*фр.*).

ева как *поэта*. «Клюев — поэт. Клюев из народа. Но Клюев — не “поэт из народа”, — писал Ходасевич в отзыве на «Сосен перезвон», — не один из тех, которые пишут плохие стихи и гордятся своей безграмотностью, чем несказанно радуют иных писателей из господ».

Брюсова и Клюева познакомил идеолог секты «голгофских христиан» Иона Брихничев, издававший журнал «Новая земля», куда старался привлечь известных литераторов*. Валерий Яковлевич изредка давал стихи и прозу в журнал, один из номеров которого (1911. № 11) вышел с его портретом на обложке, а в других появились посвященные ему стихи издателя и хвалебный отзыв о «Путях и перепутьях». Конечно, привлекало его не это, а близость Брихничева и Клюева к среде, в которую ушел Александр Добролюбов, а память о нем продолжала волновать Валерия Яковлевича и особенно Надежду Яковлевну. Брихничев хотел устроить первый сборник Клюева в «Скорпион». Брюсов не отреагировал на его намеки, но написал предисловие к книге, которую выпустил сочувствовавший «голгофским христианам» В.И. Знаменский. Автор остался недоволен качеством издания и годом позже переиздал «Сосен перезвон» в Ярославле у Константина Некрасова, выпустившего также несколько книг самого Брюсова.

Отметив в предисловии, что «огонь, одушевляющий поэзию Клюева, есть огонь религиозного сознания», Брюсов напутствовал и оценивал его как поэт поэта, что видно из инскрипта на фотографии: «Любимому поэту Николаю Алексеевичу Клюеву в знак дружбы, “Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует”». Москва. 4 декабря 1912». Отношения распались только после революции, когда Брюсов отрицательно отозвался о собрании стихов Клюева «Песнослов» (1919), напомнив, что приветствовал его дебют. Тот ответил стихотворением «Меня хоронят, хоронят...»: «Песнослову грозитя Брюсов изнасилованным пером». Эти строки в сборнике «Львиный хлеб» (1922) адресат прочитал (книга сохранилась в его библиотеке) и коротко отметил в одном из обзоров, что Клюев сохранил «долю той свежести, которая пленяла в его ранних книгах».

* В рекламных объявлениях журнала сотрудниками названы В. Бестужев (Вл.В. Гиппиус), Блок, Городецкий, Клычков, Нарбут, Ходасевич и поэтесса Любовь Столица, с которой у Брюсова был роман в 1906–1907 годах; судя по посвященному ей девятому сонету «Рокового ряда», это была попытка освободиться от «демонского» влияния Петровской.

Относясь к делу с исключительной серьезностью, Брюсов не уподоблялся Стефану Малларме, который ни о ком не отзывался плохо даже в частных письмах. Вот лишь один пример. Получив в начале 1912 года для «Русской мысли» рассказы Леонида Кропивницкого, он подробно ответил автору: «Нахожу их неудачными. Изображенные Вами характеры не оригинальны и не интересны. Если Вы не сумели подметить в душах людей ничего иного, кроме того, что уже давно было подмечено и описано разными писателями, — не стоило и писать рассказы. Психология действующих лиц в Ваших рассказах — крайне примитивна и не разработана. Кроме того, оба рассказа написаны очень плохим языком. “Оскандалившийся май”, “целовать с азартом”, “флиртовать”, “поцелуй обожателя”, — всё это выражения не литературные. Постоянное повторение союза “И”, которым Вы иногда начинаете все фразы на 2-3 страницах, крайне неприятно, так же как и упорное повторение “уж”, “уж”, “уж”, или противоположение предложению, начинающемуся с “но”, — другого, тоже начинающегося с “но”. Есть у Вас и прямо неправильности языка, например, в употреблении местоимений “он”, “ея”, которые часто неизвестно к кому относятся. Наконец, все действующие лица в Ваших рассказах говорят удивительно бесцветным и пошлым языком. [...] Я позволил себе написать Вам все это только потому, что Вы сами, в своем письме, просили меня высказать Вам мое мнение, признавая его “авторитетным”. Разумеется, как все люди, я могу ошибаться, но свое мнение высказываю Вам вполне искренно». Кропивницкий ответил возмущенным письмом с типичными для авторов отвергнутых рукописей аргументами: мои произведения ничуть не хуже тех, что печатает ваш журнал, их хвалил признанный литератор имярек (в данном случае Телешов), но кругом кумовство, честным путем в литературу не пробиться (9). Спорить Брюсов не стал. А его корреспондент остался в истории как отец Евгения Кропивницкого, основателя «лианозовской династии» поэтов и художников.

2

Те, кто считал себя недооцененным, упрекали Брюсова в... зависти. Первой это сделала Марина Цветаева, в гимназические годы любившая его стихи, по собственному определению, «страстной и краткой любовью» и напи-

савшая восторженное эссе «Волшебство в стихах Брюсова» (10). Обнаружив в рецензии на свой первый сборник «Вечерний альбом» (1910), который сама подарила «Валерию Яковлевичу Брюсову с просьбой просмотреть»*, такие слова: «Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую квартиру. [...] Мы будем также ждать, что поэт найдет в своей душе чувства более острые [...] и мысли более нужные», — в следующем сборнике «Волшебный фонарь» (1912) она с вызовом ответила:

Улыбнись в мое «окно»,
Иль к шутам меня причисли, —
Не изменишь, все равно!
«Острых чувств» и «нужных мыслей»
Мне от Бога не дано.

Брюсов снова откликнулся: «Невозможно примириться с этой небрежностью стиха, которой все более и более начинает щеголять г-жа Цветаева. Пять-шесть истинно поэтических красивых стихотворений тонут в ее книге в волнах чисто “альбомных” стишков, которые если кому интересны, то только ее добрым знакомым». И получил очередную отповедь:

Я забыла, что сердце в вас — только ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти — критика...

Проявление зависти Цветаева увидела в том, что на поэтическом конкурсе Общества свободной эстетики (председатель жюри — Брюсов) ей дали не первый приз, а лишь первый из двух вторых; первый решено было не присуждать вовсе. В ее широко известных «записях о Валерии Брюсове» о нем сказано мало. Больше всего — как обычно — о самой себе (11).

Осенью 1913 года в ответ на упрек Цветаевой Брюсов

* Обличая Брюсова, Ходасевич сослался на своего антагониста — Цветаеву: «Молодой поэт, *не пошедший к Брюсову за оценкой и одобрением* (курсив мой. — В.М.), мог быть уверен, что Брюсов никогда ему этого не простит. Пример — Марина Цветаева». Добавлю, что Ходасевич дал более резкий отзыв о «Волшебном фонаре», чем Брюсов: «Есть что-то неприятно-слащавое в ее описаниях полудетского мира, в ее умилении перед всем, что попадает под руку».

писал: «Оценивая стихи, я предъявляю поэту требования *высокие* и считаю, что это — долг критика. Право на существование имеют лишь те поэты, которые вносят что-то новое в область поэзии. Перепеватели чужого, хотя бы и искренние, не нужны». Далее он привел список тех, кого поддерживал и защищал от критики: Добролюбов, Коневской, Белый, Блок, Городецкий, Кузмин, Верховский, Северянин. «Я не помню, чтобы я резко отрицательно высказался о поэте, который позднее выказал подлинное дарование, и, наоборот, я не помню, чтобы я настойчиво рекомендовал стихи поэта, который позднее обнаружил свое творческое убожество» (12). В его рецензиях много резких выражений: «автор как поэт — безнадежно бездарен», «рифмованные упражнения не очень грамотного и далеко не образованного человека», «безобразные стихотворные опыты» — но они относятся к авторам, безнадежно канувшим в Лету.

При этом Брюсов замечал то, чего не видели другие. «Маленькая брошюрка г. Ж., — писал он в 1905 года в «Весах» о поэме «Владимира Ж.» «Бедная Шарлотта», — [...] из числа тех, которые можно увидеть лишь в редакциях, куда их присылают авторы “для отзыва”, и которые обычно попадают, непрочитанными, в корзины для ненужной бумаги. Но анонимная поэма о Шарлотте Кордэ заслуживает лучшей участи. Она написана с большим умением, какой-то уверенной рукой, в ней есть хорошие стихи и много интересных рифм». Под криптонимом скрывался 24-летний Владимир (Зеев) Жаботинский, будущий трибун сионизма. Брюсов также заметил и оценил его переводы (под псевдонимом Altalena) из Эдгара По. «В “Одесских новостях” я нашел удивительные переводы стихов По, — писал он Бальмонту в конце января 1902 года, — много лучше Ваших». «Стихи Альталены очень плохи, и как стихи, и как перевод», — раздраженно ответил Константин Дмитриевич, считавший лучшим переводчиком По самого себя (13). Выпуская в 1924 году итоговое собрание своих переводов из По, Брюсов признал выполненный Жаботинским перевод «Ворона» лучшим из существовавших к тому времени на русском языке (14), хотя сам долго бился над этим стихотворением, оставив семь вариантов перевода (15).

Одновременно с наброском о зависти Брюсов написал «Открытое письмо молодым поэтам»:

«Как бы вы ни писали стихи, кого бы вы ни избирали своим ближайшим учителем и образцом — Бальмонта или меня, Надсона ли, Игоря Северянина — все равно, вы

все близки мне уже потому, что пишете стихи. [...] Но при всем том я никак не могу признать, что эта моя принадлежность к “семье поэтов” налагает на меня обязанность всю мою жизнь посвятить служению ей. [...] Между тем вы, милостивые государи и дорогие друзья, последнее время вот уже несколько лет решительно требуете, чтобы я был занят исключительно вами и выражаете иногда крайнюю обиду, если я позволяю себе от этого уклоняться. Почти ежедневно (не преувеличиваю) я получаю по почте или иным путем тетради начинающих стихосочинителей. Конечно, бывают исключительные счастливые дни, когда не приходит ни одной новой тетради, но зато нередко в один день на моем письменном столе их появляется две, три и даже больше. Авторы этих стихов в приложенном письме большею частью извиняются в том, что не будучи со мною знакомы, отнимают у меня время, просят прочитать присланную тетрадь и дать об ней отзыв, а также указать, следует ли им продолжать писание стихов.

Последний вопрос всегда вызывает во мне чувство досады и обиды, обиды за поставившего его. Сколько мне известно, никогда ни Пушкин, ни Лермонтов, ни Тютчев не спрашивали ни у кого, следует ли им продолжать писать стихи. [...] Я сам тоже в своей юности никогда и никого не спрашивал, надо ли мне писать стихи и, напротив, когда без моего вопроса мне говорили, что стихи писать мне не следует, не обращал никакого внимания на суждение добровольных советчиков.

Но вы, мои молодые собраты по перу, не только просите дать вам такой совет, но вы желаете получить мой “отзыв” о написанном вами. Подумайте, что должен был бы я сделать, чтобы добросовестно исполнить ваше желание! Мне пришлось бы, прочтя внимательно присланную мне тетрадочку стихов (иной раз рукопись в 100 и более страниц), подумать над ней хорошенько и написать ее подробный критический разбор. Если бы я захотел быть действительно полезным каждому из вас, я должен был бы указать при этом каждому его промахи, художественные и чисто технические, объяснить подробности русского стихосложения, не изложенные ни в каких учебниках, дать советы, каких поэтов и как следует изучать и тому подобное, то есть написать не только статью, но и целый маленький трактат. Ведь если бы я написал в ответ автору, приславшему мне свою тетрадь, просто: “Ваши стихи, по-моему, не хороши”, это никакой пользы ему бы не принесло, да он и не поверил

бы мне. Но чтобы писать трактаты и критические разборы ежедневно, я должен был бы отдать на это дело весь свой день и уже ничем другим не заниматься.

В этом моем “открытом письме” я хочу раз и навсегда заявить следующее. Все присылаемые мне тетради стихов я читаю. (Присылаемые мне неизвестными мне лицами рукописи прозаических произведений — не читаю.) Но читаю я эти тетради, сообразно со своими занятиями, тогда, когда у меня бывает свободное время. Иногда присланную мне тетрадь я прочитываю в тот же день, иногда через неделю, иногда только через несколько месяцев. Ставить мне какие-либо обязательные сроки для прочтения присланных рукописей, я никого не считаю вправе. Прочтя рукопись, я, в том случае, если нахожу ее неинтересной, поступаю с ней “по своему усмотрению”: так, например, я могу ее уничтожить и вовсе не обязываюсь все рукописи сберечь и хранить. Если рукопись кажется мне интересной, я тогда пишу ее автору письмо, но опять-таки не принимаю на себя обязательства непременно писать ответ, только потому, что автору пришло на мысль послать свою тетрадку мне и приложить к письму почтовую марку. Наконец, вовсе не обязуюсь я авторов всех этих рукописей и принимать у себя и вести с ними беседы. [...]

Иные мне говорили прямо, что я обязан, по своему положению, читать стихи начинающих поэтов и давать им советы, что, отказываясь от этого, я поступаю неправильно (говорившие, вероятно, только из вежливости не сказали “нечестно”). Другие в письмах выражали свое крайнее негодование на то, что я еще не дал желаемого ответа, тогда как посланная ими тетрадка лежит у меня уже “целых две недели!”. Третьи авторы рукописей, которые я счел нужным просто бросить в корзину, угрожали мне, то потребуют с меня судом стоимость ее (каковую они высчитывали в несколько сот рублей). Четвертые, когда я, столь же добросовестно прочитав рукопись, столь же добросовестно извещал ее автора, что, по моему крайнему разумению, его стихи очень плохи, писали мне ответ, в котором рядом с весьма отборными ругательствами содержалось указание, что я сам поэт не то что плохой, но вообще никуда негодный, последняя бездарность, возмнившая себя поэтом. [...] Продолжая получать сотни тетрадок со стихами в год (хотя ныне я не состою членом ни одной редакции), я отныне ставлю себе правилом отвечать лишь тем авторам, которые покажутся мне людьми талантливыми. Будет ли

таких тетрадок в год десять или одна или ни одной, все равно остальных “дорогих друзей”, связанных со мною “сладостным союзом”, я вынужден оставить без своего ответа» (16).

Почему Брюсов не опубликовал его? Побоялся насмешек фельетонистов? Побоялись этого редакторы? Или потому, что все литературные дела заслонила личная трагедия — самоубийство 24 ноября 1913 года его 22-летней возлюбленной, поэтессы Надежды Львовой. Это один из самых шумевших эпизодов жизни Брюсова — и самых превратно истолкованных.

3

Надежда Григорьевна Львова была дочерью служащего московского Почтамта, имевшего небольшой дом в Подольске. В гимназические годы состояла в подпольной большевистской организации «Союз учащихся средних учебных заведений» вместе с Ильей Эренбургом, которого приобщила к стихам Брюсова и о котором позже рассказывала Брюсову (17). В 1908 году окончила Екатерининскую гимназию в Москве с золотой медалью... и сразу же оказалась под арестом. «Ее судили, но тогда ей было 16 лет, и, когда она предстала в гимназической форме, скромной, застенчивой перед Судебной Палатой и ей по обвинению в революционной деятельности угрожала, по крайней мере, ссылка на поселение в Восточную Сибирь, ее защитник, один из лучших адвокатов по политическим процессам [Петр] Лидов, обосновал защиту на ее внешнем виде, инфантильности: мол, самое высшее судебное учреждение в Москве и судит... девочку. Судьи оправдали ее якобы за недостатком улик». После освобождения дочери на поруки отец отправил ее в Подольск под надзор старших братьев (18). В 1910 году Надежда начала писать стихи и весной 1911 года принесла их в «Русскую мысль» — по рекомендации Анны Шестеркиной (той самой!), с которой была знакома. «Я не обратил на них внимание, — вспоминал Брюсов 15 декабря 1913 года в записке «Правда о смерти Н.Г. Львовой. (Моя исповедь)». — Она возобновила посещение осенью того же года. Тогда ее стихи заинтересовали меня. Началось знакомство, сначала чисто “литературное”» (19). Брюсов напечатал стихи Львовой в «Русской мысли» и рекомендовал их разным журналам. Отношение учителя к ученице закрепило «Посвящение» в «Зеркале теней»:

Мой факел старый, просмоленный,
Окрепший с ветрами в борьбе,
Когда-то молнией зажженный,
Любовно подаю тебе...

Знающие люди угадывали ее же за стихами, над которыми не было формального посвящения:

Я снова, с радостным мучением,
Готов, как в годы первых встреч,
Следить покорно за движением
Ее стыдливо-робких плеч.

«Я читал стихи Н., поправлял их, давал ей советы; давал ей книги для чтения, преимущественно стихи. Незаметно знакомство перешло во “флирт”. [...] К весне 1912 года я заметил, что увлекаюсь серьезно и что чувства Н. ко мне также серьезнее, чем я ожидал. Тогда я постарался прервать наши отношения. Я перестал бывать у Н., хотя она усердно звала меня. [...] Осенью 1912 года я еще настойчивее избегал встреч с Н., сознательно желая подавить в ней ее чувство ко мне. Я постарался занять себя другой женщиной (Е.), чтобы только отдалиться от Н.».

Новая героиня — Елена Александровна Сырейщикова, о которой известно мало: писала стихи, кое-что переводила и публиковала с помощью Брюсова, отношения с которым продолжались до 1917 года, скончалась, очевидно, в 1918 году в Балашове, о чем ее брат два года спустя сообщил Валерию Яковлевичу (20). «Мне было нужно — позабыть, уснуть», — признался он в сонете «Елена» из «Рокового ряда». Письма к возлюбленному Сырейщикова подписывала «Нелли», видимо, считая настоящее имя прозаическим («Нелли» встречается в сюжете «Измена» цикла «Сны» (1911), который, по утверждению Брюсова, является точной записью реальных снов). Добавлю, что героиня его неоконченной повести «Шара» (1913) Евдокия называет себя «Дина», а двойник дразнит ее «Авдотьей».

В начале лета 1913 года издательство «Альциона» выпустило книгу стихов Львовой «Старая сказка». Несмотря на хвалебное предисловие Брюсова, за полгода было продано не более пятидесяти экземпляров, а единичные отклики в печати принадлежали знакомым. В середине лета «Скорпион» издал сборник «Стихи Нелли. С посвящением Валерия Брюсова», который открывался посвящением

Львовой от автора и сонетом Брюсова «Нелли», игравшим роль предисловия. Несклоняемое имя создавало намеренную двусмысленность: стихи то ли написаны самой Нелли, то ли посвящены ей (21). В литературных кругах авторство Брюсова было секретом Полишинеля, хотя он старательно скрывал его: подарил книгу в библиотеку Литературно-художественного кружка с надписью «от автора *посвящения*», подчеркнув последнее слово, и послал протест в редакцию газеты «Речь», на страницах которой Городецкий раскрыл его инкогнито со словами: «Вся книга кажется ненужной шалостью мастера» (22).

«“Стихи Нелли” вызывают одобрительные споры, — вспоминал Асеев об одном из брюсовских «четвергов» 1913 года (у него ошибочно: 1914 года). — Брюсов как будто не слышит. Наконец, на обращенный к нему вопрос о достоинстве их — бросает два-три критических замечания. Поднимается спор. Брюсов не настаивает на утверждениях, уступая напору двадцати хвалебных отзывов» (23). Лукавую рецензию написал Ходасевич: «Имя Нелли и то, что стихи написаны от женского лица, позволяют нам считать неизвестного автора женщиной. [...] Каюсь, не зная я настоящего автора, я не задумался бы приписать эти строки Брюсову». Оригинальная точка зрения на них позже высказана Е.Н. Коншиной: «Для Брюсова это — сочиненный им дневник женщины в форме лирических стихотворений. Вот почему, на мой взгляд, этот сборник следует причислить к поэмам, а не к чистой лирике» (24).

Несмотря на то, что тайна давно перестала быть тайной, «Стихи Нелли» не включались в посмертные издания Брюсова и не рассматривались в контексте его творчества. Историю книги, «автора» которой первоначально звали «Мария Райская» или «Ира Ялтинская», и ее неоконченного продолжения «Новые стихи Нелли» восстановил А.В. Лавров (25). Работа над «Стихами Нелли» — не только над текстом, но и над маской — шла параллельно с развитием романов с Львовой и Сырейшиковой. 9 сентября 1912 года Надежда Григорьевна объявила: «В любви хочу быть “первой” и — единственной. А Вы хотели, чтобы я была одной из многих? Этого я не могу. И что Вы делали с моей любовью? Вы экспериментировали с ней». «В глазах девушки была одна любовь, — вспоминал знавший ее Вадим Шершеневич, — и в зрачках был отражен один человек с ломаными калмыцкими линиями лица, с тем обрезанным затылком, каким изобразил Брюсова портрет сходявшего с ума

Врубеля. Девушка была одинока. Она много писала и сильно любила. [...] Любовь редко укрепляет. Любовь помогает только сильным, слабых она расслабляет. Самая страшная любовь — первая. Еще страшнее единственная» (26).

Письма Львовой напоминают письма Петровской: знавшая и об этом романе мужа, Иоанна Матвеевна сохранила их. Похоже, знала о нем и Гиппиус, писавшая жене Брюсова 23 ноября 1912 года из Петербурга: «В последний свой приезд (в конце октября. — *В.М.*) он мне сначала показался успокоенным и горизонт прояснившимся, но затем опять как будто показались тучки. Я лично думаю, что когда-нибудь, не теперь — так потом, тучки эти фатально соберутся в одну большую, кажется, и Вы держитесь того же мнения» (27).

«Н. написала мне, что, если я не буду ее любить, она убьет себя. Тогда же она сделала попытку самоубийства: пыталась отравиться цианистым кали. [...] Н. желала, чтобы я стал ее мужем. Она требовала, чтобы я бросил свою жену. С первого раза я отказал. Она настаивала. [...] Мне казалось нечестно бросить женщину (мою жену), с которой я прожил 17 лет, которая делила со мною все невзгоды жизни, которая меня любила и которую я любил. Кроме того, если б я ее бросил, это легло бы тяжелым камнем на мою совесть, и я все равно не мог бы быть счастлив. Вероятно даже, что жена не перенесла бы этого моего поступка и убила бы себя. Все это я объяснил Н. Она все поняла и согласилась, что я не могу и не должен сделать этот шаг».

Для современников «Стихи Нелли» связывались с Львовой, но в них не менее ошутимо присутствие Сырейшиковой, больше похожей на модную, кокетливую и соблазнительную героиню-автора:

Скинув тонкое боа,
Из-под шляпы черно-бархатной,
Я в бокале ирруа
Вижу перлы, вижу яхонты...
Будет счастье или нет,
Ах, теперь не все равно ли мне!
Легкой жизни силуэт
Встал еще обороленной.

«Вы совсем не хотите видеть, — восклицала Львова, — что перед Вами не женщина, для которой любовь — спорт, а девочка, для которой она — все». Не берусь утверждать, что для Сырейшиковой любовь была «спортом», зато к «Нел-

ли» эта характеристика подходит отлично. Другой важный компонент «Нелли» — уже не маски, а текстов — влияние Северянина, которого Брюсов заметил еще в 1911 году, и Шершеневича, который учился у Валерия Яковлевича технологии славы.

Июнь 1913 года Брюсов провел с Львовой на озере Сайма — как семь лет назад с Петровской. «Дай верить, что я тоже прежний», — написал он в эти дни. «А сердце смеялось почти успокоенно, забыв о пройденной дороге Голгофы», — уверяла подруга, но успокоения не было. Равнодушие критики и публики к ее книге, затем отъезд Валерия Яковлевича с женой в Нидерланды повергли поэтессу в депрессию. В стихах появились эгофутуристические ноты. 27 октября Ходасевич в письме к Садовскому иронизировал: «Бедная Надя потолстела и стала футуристкой. А стишки плохонькие» (28), — хотя после ее смерти уверял читателей, что «в последние месяцы своей жизни Львова как поэтесса сделала огромный шаг вперед. В стихах ее стало звучать нечто совершенно самостоятельное, не присущее никому другому». Последние слова метили в Брюсова.

Летом 1913 года Львова сблизилась с Шершеневичем, вместе с которым под руководством Брюсова переводила стихи Жюль Лафорга. Не берусь судить, как далеко зашла их близость, но можно говорить о литературной и личной дружбе и о взаимном доверии. Шершеневич узнается в ее стихотворении, датированном 7 августа и опубликованном в футуристическом альманахе «Пир во время чумы»:

Мне нравятся Ваши длинные ресницы
И девически нежные щеки...
Кто меня целовал у старого дивана —
Вы или он?

На отношения двух мужчин роман не повлиял, но в поведении Надежды Григорьевны нетрудно увидеть желание поступать назло Брюсову.

Наступил кризис. У Львовой снова появился яд. Потом она стала требовать у Брюсова револьвер: «Я спрашиваю только то, что мне уже обещано. А обещания свои исполнять должно (твои вчерашние слова). Пришли мне свой револьвер. Все те “возможности” уйти, которые у меня есть, — очень мучительны. [...] Я не хочу больше мучений. И не хочу, чтобы у меня было искаженное, синее лицо. Пусть оно останется спокойным и красивым. Это моя последняя

просьба, а в них, кажется, отказывать не принято. Встань на ту точку зрения, что если у меня хватит сил нажать курок, у меня хватит сил и выпить порошок».

Брюсов не верил в серьезность намерений и дал ей какой-то револьвер, но взял слово «не пользоваться им против себя». Александр Львов, брат Надежды, отобрал его, а после смерти сестры требовал от Брюсова ответа на вопрос: «Считаете ли Вы себя виновным морально в самоубийстве Нади и физически в снабжении человека, уже находившегося под властью известного настроения, [...] удобным, нестрашным, автоматически действующим средством вызвать смерть?» — «Да, считаю, — ответил Брюсов, — но в той же мере, в какой должны считать себя “морально виновными” и Вы лично, и все другие, бывшие с ней близкими. [...] Человек, решившийся на самоубийство, всегда найдет для этого средства. Вам, может быть, неизвестно, что я, *в самом начале моего знакомства с Н.Г.* (курсив мой. — В.М.), дважды удерживал ее от сходного поступка в самые последние минуты. В те дни, когда Вами был отнят у Н.Г. тот револьвер, у нее в руках уже был другой, который она мне показывала*. [...] Мне казалось, что с таким настроением должно бороться не внешними мерами, которые должны были оказаться бесплодными, а иным путем: стараниями вызвать в Н.Г. любовь к жизни, желание жить». «Иным путем» стала литературная работа, спасавшая самого Валерия Яковлевича. Львовой она не помогла. Во всяком случае утверждение Ходасевича о том, что «Брюсов *систематически приучал ее* (курсив мой. — В.М.) к мысли о смерти, о самоубийстве», — злонамеренная ложь.

Первого ноября Львова написала жестокое и откровенное стихотворение, которым завершается посмертное переиздание «Старой сказки»:

Мне заранее весело, что я тебе солгу,
Сама расскажу о не бывшей измене,
Рассмеюсь в лицо, как врагу, —
С брезгливым презрением.
А когда ты съежишься, как побитая собака,
Гладя твои седеющие виски,
Я не признаюсь, как ночью я плакала,
Обдумывая месть под шприцем тоски.

* Полагаю, его дал Львовой кто-то из бывших товарищей по революционному подполью.

«Мотив жестокости вообще почти неизменно сопровождал последним стихам Львовой», — отметил Ходасевич в отклике на переиздание. В этот же день ее навеситил приятель Алексей Родин, впоследствии известный педагог и краевед: «Она сказала мне, что не спала всю ночь. “Видно, скоро конец”, и подарила мне четыре листка с переписанными ею стихами. Одно из них начиналось словами:

Лежу бессильно и безвольно...
В дыму кадильном надо мной
Напев трепещет богомольный,
Напев прощанья с жизнью дольной —
С неверной радостью земной» (29).

Двадцать четвертого ноября Надежда Григорьевна покончила с собой в наемной квартире в доме 4 по Крапивенскому переулку. Было воскресенье. Львова звала к себе по телефону друзей, включая Брюсова и Шершеневича, «по очень важному делу», но никто ее не навеситил. В начале десятого она выстрелила себе в сердце, успев попросить соседа по квартире позвонить Брюсову. Тот немедленно приехал, но застал ее уже без сознания, умирающей. По словам репортера «Русского слова», «Брюсов был страшно потрясен. Он даже не взял письма, оставленного покойной на его имя» (30). В нем говорилось: «Хочу я быть с тобой. Как хочешь, “знакомой, другом, любовницей, слугой” — какие страшные слова ты нашел. Люблю тебя — и кем хочешь — тем и буду. Но не буду “*ничем*”, не хочу и не могу быть». Вместе с бумагами покойной оно оказалось в полиции и попало к адресату только в середине декабря. Прочитав его, он писал Шестеркиной: «Это и жестокое, и прекрасное письмо. Конечно, я плакал, читая его. [...] Я должен был все разбить, все уничтожить и все же радостным прийти к ней. Этого я *не мог* сделать, и в этом я виноват».

В ночь с 24 на 25 ноября Брюсов уехал с курьерским поездом в Петербург и остановился в «Северной гостинице», откуда послал Шестеркиной записку — «почерк, которым написан этот текст, лишь отдаленно напоминает брюсовский» (31):

Напишите мне
Русская Мысль
Нюстаттская 6
Петербург

Напишите *все*
Пишите *жестоко*
Я хочу жестокости
Простите бред
Я брежу
Напишите *все*
Ваш В.

Собравшись с силами, он в тот же день написал ей более связно: «Быть *там*, видеть, это слишком страшно. Быть дома, видеть тех, кто со мной, — это еще страшнее. Вы поймете, Анечка, что я эти дни *не мог быть дома*. Мне надо быть одному, мне надо одному пережить свое отчаянье. Ибо это — отчаянье. В ней для меня было *все* (теперь можно сознаться). Без нее нет ничего. Поступать иначе, чем я поступал в жизни, я не мог: это был мой долг (говорю это и теперь)».

«Кажется, вчера я наделал много глупостей, — писал он жене днем позже. — Послал два очень глупых истерических письма Шестеркиной. [...] Не думай также, что я писал их под влиянием морфия. Нет. Все это так на меня повлияло, что я его почти не касаюсь. Вероятно, здесь же и брошу, сразу. Но я *очень* подавлен случившимся. Полагаю, что ты понимаешь мое состояние. Отчасти ведь и *на Тебе* лежит ответственность. Не будь Тебя, не было бы и этого. Ты *не виновата*, никто не станет спорить, но Ты — среди причин, это бесспорно. Пытаюсь успокоиться и овладеть собой. Может быть, удастся. Пока оставь меня *одного*, мне это так нужно, очень. Во всяком случае, если жить дальше, то *совершенно по-другому*. Со вчерашнего дня я прежний исчез: будет ли “я” другой, еще не знаю. Но “Валерий Брюсов”, тот, что был 40 лет, умер».

Недоброжелателей и просто сплетников хватало. «Москве слухи достаешь иностранный паспорт мне что делать», — телеграфировала Иоанна Матвеевна. «Слухи о загранице, о чем Ты мне телеграфируешь, конечно, вздор, — ответил Валерий Яковлевич. — Ни им, ни всяким слухам *не верь*. Ничего я не сделаю, не посоветовавшись с Тобой. Живу в Петербурге потому 1) что мне необходимо одиночество; 2) чтобы избегнуть всех этих “слухов”; 3) что мне нестерпимо было бы видеть знакомых и слышать их лицемерные соболезнования или самодовольные укоры. [...] Ты мне должна помочь во многом, делая все, чего я делать не могу» (32). Едва ли не единственные, с кем он виделся, были Мережковские. «Брюсов так вошел, так взглянул, — вспоминала Гиппиус, — такое у него лицо бы-

ло, что мы сразу поняли: это совсем другой Брюсов. Это настоящий, живой человек. И человек — в последнем отчаянии. [...] Был ли Брюсов так виноват, как это ощущал? Нет, конечно. Но он был *пронзен* своей виной» (33). «Валерий Яковлевич, милый, Вы нам стали близки, — писала Зинаида Николаевна 14 декабря. — Мы все помним все это время, думаем о вас глубоко и нежно. [...] Через страдание видишь человеческие глаза. И уж потом никогда не забываешь».

Двадцать седьмого ноября Львову похоронили на Миусском кладбище (могила не сохранилась); похороны, по просьбе брата покойной, частично оплатил Брюсов. От его имени был возложен венок с надписью: «Вы, безнадежные, умрите без боли: где-то есть нежные просторы воли» (34). Позже на памятнике выбили строку из Данте «Любовь, которая ведет нас к смерти» (35). В день ее похорон в Москву из Петербурга приехал Верхарн. Брюсов нашел силы переговорить с ним в столице и объяснить, почему не сможет встретить друга в Первопрестольной. Дела звали домой, не считаясь с душевным состоянием. «С Верхарном не очень тут знают, что делать, особенно в Кружке. [...] Я посоветовала тебе уехать, теперь советую вернуться», — торопила Иоанна Матвеевна, которой пришлось встречать гостя на вокзале.

4

Брюсов вернулся в Москву 1 декабря и через две недели уехал в санаторий доктора Михаила Максимовича, специалиста по нервным болезням, в Эдинбурге (ныне Дзинтари) под Ригой. Оттуда он 7 января 1914 года написал Иванову: «Судьба не захотела, чтобы я воспользовался вполне твоей жизнью в Москве. Сначала она не позволила мне видеть тебя так часто, как я того желал бы. Теперь она увела меня на берег полузамерзшего Рижского залива. И верь мне, что то была судьба, а не мое небрежение. Все время я порывался чаще бывать у тебя, но не мог, — теперь это можно сказать. Когда выберусь отсюда, еще не знаю». Через восемь дней Вячеслав Иванович ответил: «Меня и тронули и обрадовали твои строки, память твоя и весть ответная на думы о тебе. Мне хотелось увидаться с тобой до твоего отъезда, но я понял, что это невозможно. Рад, что ты стихи пишешь, но хочется посоветовать тебе не возвращаться скоро к очередным занятиям в привычном тебе темпе и не сокращать так сроков необходимого тебе отдыха вдаль от здешней суеты» (36).

К письму Иванов приложил только что написанные стихотворения «Лира» и «Ось». «Пленен, обрадован, тронут твоими стихами», — откликнулся Брюсов 20 января, посылая ему стихотворный ответ. Десять дней спустя Иванов известил его, что отдал свои стихи в альманах «Сирин» и «хотел бы надписать посвящение “Валерию Брюсову”, но в этом случае, ввиду того интимного, что содержат стихи, без твоего согласия и одобрения не смею и надписываю “другому поэту”». Но если бы ты был согласен на упоминание твоего имени, тогда уж печатай подряд “*Ответ*” — Вяч. Иванову. Твои стихи великолепны, и дуэт мне кажется и красивым и символически ярким» (37). Брюсов согласился: стихи появились в альманахе под общим названием «Carmina aтоебаеа»*, то есть песни, исполняемые поочередно двумя певцами. О Львовой ни слова, но указание Иванова на «то интимное, что содержат стихи» не оставляет сомнений. Посылая ответ, Брюсов сообщил: «О себе не пишу: трудно. [...] Кое-что узнаешь все же из стихов».

Общий тон послания Иванова — ободрительно-утешающий. Это голос старшего друга и советчика. Впервые за всю историю их знакомства Вячеслав Иванович заявил о себе как о старшем, а не о равном (хотя был старше на семь лет), напоминая Брюсову о грехе и о Боге:

Есть Зевс над твердью — и в Эребе.
Отвес греха в пучину брось —
От Бога в сердце к Богу в небе
Струной протянутая Ось
Поет «да будет» Отчей воле
В кромешной тьме и в небеси...

Не только наставлял, но и как бы судил друга, указуя ему путь ко спасению:

Ристатель! Коль у нижней меты
Квадриги звучной дрогнет ось,
Твори спасения обеты,
Бразды руби и пути сбрось.

Он застиг Брюсова врасплох, в минуту слабости, особенно тяжелую для сильного человека. Валерий Яковлевич — при всем уважении и любви к Иванову — не считал его моральным авторитетом для себя и, усмотрев в посла-

* «Чередующиеся песни» (лат.).

нии вызов, принял его. Он скромно писал о своем ответе: «смотри на него лишь как на письмо, хотя и в стихах, ибо соперничать с твоими они не смеют», — но это самоуничтожение не кажется искренним. Безупречный по форме, ответ Брюсова таил не менее глубокое содержание — поэтическое и биографическое. Это сознание своего поражения:

Да, так! Моя у нижней меты
Квадрига рухнула во прах...
(ранняя редакция)

Это решимость выстоять:

Нет, я не выбуду из строя,
Но, силы ярые утруя,
Вновь вожжи туго закручу:
Уже на колеснице новой,
Длить состязание готовый,
Стою, склоняю грудь, лечу!

Это вежливое неприятие ивановского учительства и снисхождения старшего к младшему:

Всем суждены крушения,
Кто поднял парус белый,
Кто в море вышел, смелый,
Искать земли иной!
Благих богов решения
Да славят эти песни:
Опасней и чудесней
Да будет жребий твой!

Литература и жизнь неразделимы. «Как хлопья белого снега, на другой же день после смерти полетели из книжных магазинов экземпляры “Старой сказки”, — с горечью писал Шершеневич. — В издательство звонили ежеминутно, прося пополнения. Издание разошлось в три-четыре дня. Спешно было выпущено второе издание*. [...] Критики исписали столбцы газет отзывами о “Старой сказке” и о трагической судьбе. Винили смутное время и получали гонорар. Если бы при жизни Львовой была написана хоть сотая часть похвал, которые прозвучали после смерти, может, оборвавшаяся любовь была бы заменена работой» (38). Ле-

* С «жестокими» стихами о Брюсове и без его предисловия. Кто его готовил?

генда о погибшем даровании преувеличила скромный талант. Кое-кто прямо метил в Брюсова. Софья Парнок, которая вскоре будет громить его под маской «Андрея Полянина», восклицала:

Какой неистовый покойник!
Как часто ваш пустеет гроб.
В тоскливом ужасе поклонник
Глядит на островерхий лоб.
Я слышу запах подземелий,
Лопат могильных жуткий стук, —
Вот вы вошли. Как на дуэли,
Застегнут наглухо сюртук.
Я слышу — смерть стоит у двери,
Я слышу — призыв в звоне чаш...
Кого вы ищете, Сальери?
Кто среди юных Моцарт ваш?

Затем Брюсова проклял Садовской в сборнике статей «Озимь» (1915) — с той же страстью, с какой ранее славил: «Сальери», «старший брат» ненавистных автору футуристов, «апоэт», которому не доступны чувство природы и любовь, а только «постельно-простыночная» «поэзия» в кавычках. «В истории литературы Брюсов со временем займет место подле Сумарокова, Бенедиктова, Минаева и подобных им писателей, воплотивших отрицательные стороны своих эпох». «Не решаюсь оспаривать Ваше мнение о том, поэт ли я, — сухо ответил Брюсов. — Выражаясь высоким слогом, об этом будет судить потомство. Вы отвели мне место подле Бенедиктова и Минаева — поэтов, владевших стихом лучше всех своих современников. Высшей похвалы нельзя пожелать. Но ведь для Вас мы все только стихотворцы». Ответ Брюсов заключил словами: «Вы написали откровенно все, что думали. [...] “Озимь” создаст Вам много врагов. Я не из их числа» (39). Однако в письме к жене из Варшавы назвал Садовского «мерзавцем» и потребовал прервать с ним отношения, поскольку тот «затрагивает меня как человека» (40). Он имел в виду фразу: «Уже на наших глазах погибли в легионе безыменных нежные души В. Гофмана и Н. Львовой» (41), — о которой писал Чуковскому 12 августа: «В его книжке есть места, цель которых “обидеть” лично меня, т.е. намеки на обстоятельства “интимные”, которые читателям абсолютно не могут быть понятны» (42). Чуковскому «книжонка Садовского», которого он в письме Брюсову назвал «бескрылым импотентом», «внушила омерзение» (43).

Книга была настолько несправедливой, злой и местами неприличной, что понравилась даже не всем врагам Валерия Яковлевича. «Рад я, что в своих взглядах на поэзию Брюсова, — писал Садовскому Айхенвальд, — нашел я в Вас единомышленника, и ярко Вы пишете, красочно, по-русски, — только надо бы спокойнее, не задевая личностей; говорить надо бы исключительно о литературе, а не о литераторах» (44). Критику особенно возмутил пассаж: «Как Вильгельм, создал Брюсов по образу и подобию своему целую армию лейтенантов и фельдфебелей поэзии, от Волошина до Лифшица (Бенедикта Лившица. — *В.М.*), с кронпринцем-Гумилевым во главе» (45), — который во время войны с Германией звучал особенно оскорбительно. Позже Садовской оправдывался: «Как писателю, ему (Брюсову — *В.М.*) обязан я действительно очень многим, и, не краснея, могу заявить, что любовь моя к нему граничила с обожанием. Однако ничего стыдного не вижу я также в том, что с течением времени, охладев к Брюсову как к поэту, я нашел влияние его на литературу вредным» (46). И сочинил новый пасквиль: в поэме «Наденька», вошедшей в сборник «Морозные узоры» (1922), был выведен «замоскворецкий де Гурмон» Иоанн Аскетов, он же Иван Егорыч Отшвыренков. Брюсов поквитался с ним, не упомянув «Морозные узоры» ни в одном из обзоров послереволюционной поэзии, хотя отметил множество безвестных стихотворцев. Ответом мог стать и начатый им примерно в то же время иронический рассказ об эстете Лучио Семипиано, который на самом деле звался Лукьян Лупыч Семипьяных (47).

Брюсову надо было объясниться не только перед родственниками Львовой и знакомыми, но и перед читателями. 8 января 1914 года он написал стихотворение «Я не был на твоей могиле...», уверяя, что «храню я целой всю нашу светлую любовь», и заклиная: «Не осуждай и не ревнуй!». Основания для ревности у Львовой были и при жизни. Теперь к ним прибавилось новое увлечение — Мария Вульфарт, которая помогла Валерию Яковлевичу выйти из психологического кризиса. Об этом он написал слишком откровенно:

Умершим мир! Пусть спят в покое
В немой и черной тишине...
Умершим мир! Но мы, мы дышим.
Пока по жилам бьется кровь,
Мы все призывы жизни слышим
И твой священный зов, Любовь!

Когда Брюсов читал эти стихи в «Эстетике», Ходасевич, по его утверждению, «прослушав строфы две, встал из-за стола и пошел к дверям. Брюсов приостановил чтение. На меня зашикали: все понимали, о чем идет речь, и требовали, чтобы я не мешал удовольствию».

Ходасевич сделал вид, что «Умершим мир!» было последним словом Брюсова о Львовой, проигнорировав покаянный сонет в «Роковом ряде»:

Зачем, зачем к святому изголовью
Я поникал в своем неправом сне?
И вот — вечерний выстрел в тишине, —
И грудь ребенка освятилась кровью.
О, мой недолгий, невозможный рай!
Смирись, душа, казни себя, рыдай!
Ты приговор прочла в последнем взгляде...

и не менее горькое стихотворение «Памяти другой» (1920):

Твое обиженное тело
Землей и травами прикрыто,
Но здесь, со мной, твоя любовь;
Смотри ж из темного предела
На всё, что в смерти не забыто,
Что, жив, я изживаю вновь, —

хотя не мог не знать их. В августе 1917 года Эренбург после первой личной встречи с Брюсовым записал: «О Наде. Жалкий седой» (48), — а позже вспоминал: «Брюсов заговорил о Наде Львовой — рана оказалась незажившей. Может быть, я при этом вспомнил предсмертное стихотворение Нади о седом виске Брюсова, но только Валерий Яковлевич (в 43 года. — В.М.) показался мне глубоким стариком» (49).

Глава четырнадцатая **«ВЫСОКИХ ЗРЕЛИЩ ЗРИТЕЛЬ»**

1

1913 год занял особое место в жизни Брюсова не только из-за трагедии Львовой: начало выходить полное собрание его сочинений (ЛССП). После успеха «Путей и

перепутий» он задумался об издании нового, четырехтомного собрания стихов «Цепь», с вариантами и библиографическими примечаниями, пояснив в наброске предисловия: «Часто бывает интересно знать не только ту форму, какую автор впоследствии придал своим созданиям, но и его первоначальные очертания» (1). Реальная возможность осуществить план представилась через полтора года. 16 октября 1912 года Ремизов сообщил Брюсову, что в Петербурге создано издательство «Сирин» — «солидное, просвещенное, литературное и русское». Последнее слово подчеркивало отличие от «Шиповника» — предприятия Соломона Копельмана и Зиновия Гржебина, которое за глаза называли «жидовником»: Гржебин покупал рукописи и авторские права оптом, платил мало, но издавал быстро и неплохо. «Сирин» не преследовал коммерческие цели: за ним стояли миллионы сахарозаводчика-мецената Михаила Терещенко. По рекомендации Ремизова основную работу в издательстве взял на себя критик и публицист Иванов-Разумник, 20 октября выехавший в Москву для делового разговора с Брюсовым.

Предложение звучало заманчиво, но Валерий Яковлевич был связан со «Скорпионом», поэтому 25 октября подробно написал Полякову: «Издавая свои книги у Вас, в привычном и бесконечно дорогом мне (Вы этому поверите) “Скорпионе”, я никогда не стал бы вести переговоров с другим издательством, если бы передо мной, с каждым годом все настойчивее, не вставал вопрос чисто материальный. Дело в том (говорю вполне откровенно), что разные полученные мною “наследства” (после деда и после отца) подходят у меня к своему прискорбному концу, и близко время, когда я буду принужден довольствоваться своим литературным гонораром, которого мне никогда не хватало. С другой стороны, подходят сроки уплаты некоторых моих долгов. [...] “Сирин”, который безусловно *может* выполнить свои обязательства, предлагает мне: издать в течение нескольких лет (соответственно срокам, когда были выпущены предыдущие издания моих книг) собрание в 27—30 томов (в том числе несколько новых), в 3000 экземпляров (с сохранением матриц для дальнейших изданий), ценою по 1 р. 50 к. за том, и согласен уплатить мне 25 % с номинальной цены издания, т.е. приблизительно 30.000 р., из коих авансом, в день подписания договора, готов выдать мне

сумму от 7 до 10 тысяч р.* [...] Для меня могут иметь значение не только самые эти “условия”, сколько возможность одновременно получить некоторую, — для меня значительную, — сумму денег, которая мне весьма нужна и которую все равно, если не в этом году, то в следующем, я был бы принужден искать. [...] Вопрос в сущности идет о том, может ли “Скорпион” в какой-либо степени компенсировать мне предложения “Сирина”. Иначе говоря, — пожелали бы Вы (если бы предложения Сирина оказались вполне обоснованными) и имели ли бы возможность выдать мне одновременно сумму, приближающуюся к авансу, предлагаемому мне “Сирином”, т.е. 7 или хотя бы 6 тысяч рублей, сохраняя за мною при этом дальнейший гонорар в 150—200 р. в месяц**, так чтобы в течение лет 5 я мог бы получить если не 30.000 р., о которых говорит “Сирин”, то хотя бы 18-20 т. р.*** Если бы у Вас была охота и возможность предложить мне что-либо подобное, я, конечно, немедленно прервал бы все дальнейшие переговоры с “Сирином” и был бы от души рад такому исходу дела» (2).

«Скорпиону» это было не по силам. В конце октября Брюсов отправился в Петербург для официальных переговоров, завершившихся договором об издании *ПССП* в двадцати пяти томах, с вариантами и примечаниями, на которые Иванов-Разумник с готовностью согласился. Тираж издания был определен в 2100 экземпляров, цена в 1 руб. 75 коп. за том объемом в 16—20 листов. Для книг в издательских картонажных переплетах с золотым тиснением это было недорого: «скорпионовские» книги Брю-

* В черновике письма названы несколько иные условия: 25—27 томов, 2000 экземпляров, 1 руб. 50 коп. за том, гонорар 25 % с номинальной стоимости, то есть 20—21 тыс. руб. в сумме, 8—10 тыс. руб. авансом. «Скорпион» тогда платил Брюсову 15 % с номинальной стоимости книги.

** После заключения договора «Сирин» платил Брюсову 300 руб. в месяц в счет гонорара.

*** Бунин, ведя в 1910 году переговоры с издательством «Просвещение» об издании полного собрания сочинений, требовал 35 тыс. руб. (первоначально 70 тыс. руб.) за право переиздания ранее вышедших книг сроком на 10 лет и по 20 % с номинальной стоимости каждого нового тома при тираже в 20 тыс. экземпляров; «Просвещение» предлагало 40 тыс. руб. за приобретение «навек» прав на эти книги (с выкупом их за счет автора у прежнего владельца — издательства «Знание») и по 500 руб. за авторский лист будущих книг; переговоры закончились неудачей (Бунин И.А. Письма 1905—1919 годов. С. 137—138, 153—157).

сова в бумажных обложках при сопоставимом и меньшем объеме стоили по два рубля. Издание сочетало простоту и строгость оформления с высоким качеством полиграфии, что стало фирменным знаком «Сирина». «На мертвенно-сером фоне холодно и жутко горят золотые буквы титула — такова обложка Полного собрания сочинений В. Брюсова. И в этом сочетании есть действительно что-то подлинно брюсовское. Сквозь серую, сумеречную “повседневность” странно, болезненно и немного жутко вспыхивают золотые “мгновения” снов и мечтаний», — писал Борис Эйхенбаум в рецензии на третий и четвертый тома (3). Не знаю, видел ли Брюсов в сочетании цветов глубокий смысл, но оформлением остался доволен.

Выпуск собрания сочинений был обычной практикой для тогдашних русских писателей, молодых и ветеранов, реалистов и модернистов. Зачастую такие издания механически воспроизводили ранее вышедшие книги, а новые выпускались как очередные тома собрания. Брюсов придерживался иной точки зрения, что видно из предисловия к первому тому: «Я никак не могу разделить взгляда, распространенного в наши дни, что “Собрание сочинений” — лишь случайный агломерат разных сочинений данного автора. [...] Мы видим также печальные примеры, что писатели, которые должны были бы относиться более строго к написанному ими за их уже долгую жизнь, решаются выпускать в свет свои “Собрания сочинений” в виде простой перепечатки разных своих книг, соединенных в совершенно случайном порядке. Мне всегда казалось, что в таком отношении к своей работе есть значительная доля неуважения к самому себе и к своему делу. Вот почему, решившись впервые соединить все, написанное мною, в форме “Собрания сочинений”, я счел своим долгом обдумать и план, и состав издания. Я постарался расположить написанное мною в определенном порядке, который облегчил бы читателю, — когда собрание сочинений будет закончено, — возможность понять то, что мне хотелось сказать ему».

Первоначальный план был таков. Тома с I по IV — переиздание книг стихов до «Зеркала теней» включительно; V, VI и VII — новые сборники стихов «*Sed non satiat*»*, «Девятая Камена» и «Сны человечества»; VIII, IX и X — книги рассказов «Земная ось», «Ночи и дни» и незаглавленная

* Авторский перевод: «Но не утоленный» или «Все же еще не пресыщенный» (*лат.*).

третья (4); XI и XII — «Огненный ангел»; XIII и XIV — новый роман «Алтарь Победы»; XV — пьесы; XVI — «Далекие и близкие»; XVII — «Статьи биографические. Статьи по иностранной литературе»; XVIII — «Звенья. Статьи теоретические. Статьи о театре»; XIX — «Мой Пушкин. Исследования и заметки о Пушкине, биографические, критические и библиографические»; XX — «За моим окном. Встречи, впечатления, мысли»; XXI — «Французские лирики XIX века»; XXII, XXIII и XXIV — переводы из Верлена, Верхарна и По; XXV — «Разные переводы в стихах». Ранее опубликованные книги предполагалось переиздать в «значительно дополненном» виде. Датированный апрелем 1914 года, новый проспект издания вносил коррективы: из плана исчезли «Сны человечества», третья книга рассказов и «Статьи биографические»; на переиздание книг стихов отводилось пять томов, «Далеких и близких» — два тома; появился новый роман «Юпитер поверженный». Свет увидели только восемь томов: I—IV (стихи до первой части «Всех напевов» включительно), XII, XIII, XV и XXI*. Не всё из указанного в проспекте было подготовлено к печати, а «Юпитер поверженный» остался неоконченным.

Включение извлеченных из стола ранних стихотворений, варианты и примечания, непривычные в издании здравствующего автора, требовали объяснений. «Я прошу не видеть в этом излишнего авторского самолюбия, придающего цену каждой написанной строчке. [...] Иная вещь, слабая сама по себе, не удавшаяся автору или представляющая простое подражание другому, — на своем месте, в “Собрании сочинений”, получает смысл и значение**». [...] Теперь, в годы, когда уже наступает время критически отнестись к своему прошлому, перечитывая, после длинного промежутка времени, различные редакции одного и того же стихотворения, я не всегда нахожу наиболее удачной

* Даты выхода: Т. I (13–20 мая 1913), II (26 февраля–6 марта 1914), III (19–26 июня 1914), IV (21–28 января 1915; дата: 1914), XII (6–13 августа 1913), XIII (17–24 сентября 1913), XV (19–26 июня 1914), XXI (5–12 февраля 1914; дата: 1913).

** Ср. предисловие Блока к первому тому «Собрания стихотворений» в издательстве «Мусaget» (1911): «Тем, кто сочувствует моей поэзии, не покажется лишним включение в эту и следующие книги полудетских или слабых по форме стихотворений; многие из них, взятые отдельно, не имеют цены; но каждое *стихотворение* необходимо для образования *главы*; из нескольких *глав* составляется *книга*; каждая *книга* есть часть *трилогии*» (Блок—ПСС. Т. 1. С. 179).

последнюю. Правда, мне удавалось исправлять явные промахи неопытной руки начинающего стихотворца, но случалось также, незаметно для самого себя, уничтожать этим характерное одушевление юного поэта. Теперь эти разные обработки одной и той же темы я отдаю на суд читателей».

Трудно сказать, кого *персонально* имел в виду Брюсов, говоря о писателях, переиздающих свои произведения «в виде простой перепечатки разных своих книг, соединенных в совершенно случайном порядке». Бальмонт обиделся и поднял перчатку: «Брюсов полагает, что он академик и что он уже помер. Он издает поэтому академическое посмертное собрание своих сочинений, с примечаниями, вариантами, точными датами и трогательно-подробным сборником библиографических указаний. [...] Брюсов глубоко заблуждается. Он еще не помер, хотя его способ прощаться с живыми свидетелями своих истинных переживаний, — с лирическими стихами юных своих дней, — его способ, переиздавая их, забивать их в гроб и добивать их вариантами и примечаниями, может заставить опасаться, — хочу думать, опасаться напрасно, — что как лирический поэт он близок к смерти. [...] Лирика по существу своему не терпит переделок и не допускает вариантов. [...] Лирическое стихотворение есть молитва, или боевой возглас, или признание в любви. Но кто же в молитве меняет слова? Неверующий» (5).

Брюсов ответил «брату Константину» не потому, что его отзыв был резким, а потому что тот затронул принципиальный вопрос: вправе ли поэт исправлять и перерабатывать свои стихи или нет. В статье с программным названием «Право на работу» он заявил: «И вовсе не для защиты своих стихов, но ради интересов всей русской поэзии и ради молодых поэтов, которые могут поверить Бальмонту на слово, я считаю своим долгом против его категорического утверждения столь же категорически протестовать. [...] На исчерканные черновые тетради Пушкина, где одно и то же стихотворение встречается переписанным и переделанным три, четыре, пять раз, мне хочется обратить внимание молодых поэтов, чтобы не соблазнило их предложение Бальмонта отказаться от работы и импровизировать, причем он еще добавляет: “И если пережитое мгновение будет неполным в выражении — пусть”. Нет, ни в коем случае не “пусть”: поэты не только вправе, но обязаны работать над своими стихами, добиваясь последнего совершенства выражения».

«Спора никакого здесь быть не может, ибо тут догмат,

у меня один, у тебя другой», — ответил Бальмонт, но продолжал спорить: «Мы знаем в истории литературы целый ряд примеров, что и талантливые и гениальные поэты, переделывая, портили свои произведения. [...] Если достойнейшие люди этим занимались в минуту прихоти или оскудения, или повинувшись неверному методу, зачем бы и я стал делать то же» (6). В письме он был более резок: «Я воистину огорчен формой твоих, изданных вновь, прежних книг. Они теряют так всякую власть надо мной, и это мне прискорбно. И такие стихотворения, которые мы пережили вместе, — “Моя любовь палящий полдень Явы”, — отняты у меня, как бы лично у меня» (7). Адресат счел дальнейшую полемику бессмысленной.

Отклики на первые тома *ПССП* даже в антимодернистском лагере отличались подчеркнутым объективизмом (8). «Каково бы ни было влияние Брюсова на русскую поэзию [...] для каждого беспристрастного читателя давно уже ясно, что имя Брюсова никогда не будет забыто историей», — констатировал Ходасевич. «Неужели же Брюсов признал себя “историей” и хочет, воздвигнув себе памятник нерукотворный, при жизни еще и памятник рукотворный!» — недоумевал Философов, добавив: «И насколько было бы приятнее, если бы Брюсов издал дешевенький томик избранных своих стихотворений» (9).

Однотомный «изборник» отмечал следующую после собрания сочинений стадию известности и расширение читательской аудитории поэта. «Спрос на поэзию на русском книжном рынке рос стремительно, особенно с начала 1910-х годов. Перед литераторами и издателями встал вопрос об удовлетворении не только обычного покупателя поэтических книг, как правило, сравнительно дорогих, но и читателя “широкого”, даже массового. Громоздких собраний сочинений, создававших репутацию, было недостаточно. [...] Книгу избранных стихотворений ждала встреча с двумя типами читателей. Одни были уже знакомы с творчеством поэта по всем или почти всем предыдущим публикациям. На другом полюсе находились читатели, которые должны были бы впервые познакомиться с поэтом именно по “изборнику”. [...] Для читателей первого типа значимым оказывается прежде всего авторский выбор, отказ от тех или иных произведений, циклов, тем. Для читателей второго типа важнейшей данностью оказывается заложенный в конкретную книгу [...] образ “лирического героя” или “автора”» (10).

Брюсов впервые задумался об «изборнике» в 1915 году — возможно, в связи с прекращением *ЛССП*. Сохранился проект титульного листа: «Валерий Брюсов. Избранные стихотворения. XXV. 1891—1915», — и перечень разделов: «Любовь. Природа. Предания. Герои. Раздумья. Поэмы». Замысел осуществился в виде восьмидесятистраничной книжки «Избранные стихи. 1897—1915» (60 стихотворений) в серии «Универсальная библиотека» (1915; 1916; 1918). Это первая поэтическая книга Брюсова, предназначенная широкой публике (тираж 10 000 экз.; цена 10 коп.) (11). Ходасевич приветствовал ее выход как «первую попытку ознакомить читательскую массу с современной нашей поэзией» для борьбы с «непонятым и глубоко некультурным, но все же несомненным предубеждением рядового читателя против стихов».

2

Современность волновала Брюсова больше, чем история, потому что у него обострилось предчувствие нового, глобального конфликта. В 1911 году он написал стихотворение «Проснувшийся Восток», включенное в «Зеркало теней», а в 1913 году развил его идеи в статье «Новая эпоха во всемирной истории», основу которой составила давняя рукопись «Метерлинка-утешителя». Несмотря на повторы, это самостоятельные статьи, вызванные к жизни разными событиями: неудачной для России войной с Японией и победоносной Балканской войной славянских государств против Турции, — но их основные положения совпадают.

Во-первых, это географическая и геополитическая завершенность мира, освоенность всего земного шара: «Железные дороги, транс-океанские стимеры, телеграфы, телефоны, автомобили и, наконец, аэропланы связали между собою страны и народы. То, что прежде было разделено многими днями или даже неделями пути, теперь приблизилось на расстояние одной или двух ночей переезда или по телеграфу на расстояние нескольких минут». Во-вторых, взаимосвязанность происходящего на планете — политическая, экономическая, информационная, культурная: «Четверть века назад европейские газеты довольствовались телеграммами из одних европейских центров. В наши дни нам уже необходимо знать, что вчера случилось в Нью-Йорке и в Пекине». В-третьих, критика европоцентризма: «Гордая

своими успехами, открытиями, изобретениями, завоеваниями, Европа давно употребляет слова “культура”, “цивилизация” в смысле “европейская культура”, “европейская цивилизация”. Она забыла, что были другие культуры, ставившие себе иные задачи, оживленные иным духом, отличавшиеся внешними формами, в которые отливалось их содержание». Брюсов выступал как защитник европейско-христианской цивилизации и культуры, но предостерегал от недооценки других: «Какие же причины воображать, что европейская культура окажется, не говоря, бессмертной, но более долговечной, чем многие другие, восставшие на земле во всем сиянии знания, религиозно-философского мышления, художественного творчества и после нескольких столетий жизни исчезающие из истории навсегда?».

Объединяет статьи и тема борьбы европейско-христианской цивилизации со своими врагами. В «Метерлинке-утешителе» Брюсов утверждал: «Разве теперь культуры Европы и Дальнего Востока не противоположны друг другу по самой своей сущности: это именно два мира, в которых все разное — самый способ мышления, красота и безобразия, добро и зло, Бог и Дьявол». Он четко охарактеризовал «пробуждение Азии»: «Гул японских побед пронесся далеко по Азии, всколыхнул не только Китай, но даже, казалось бы, чуждую Индию, нашел свой отголосок и в странах Ислама, почувствовавших, что борьба идет с общим врагом. Первая, в новое время, открытая победа не-европейцев над европейцами, быть может, самое замечательное событие последних веков. [...] Будущему предстоит видеть вместо отходящих в прошлое войн между народами столкновения рас, культур, миров».

Переходя от рассуждений к анализу текущей ситуации, он предсказывал: «Панмонголизм и панисламизм — вот две вполне реальные силы, с которыми Европе скоро придется считаться. Третья такая сила должна зародиться в черной Африке». Эта фраза особенно интересна, поскольку в то время не было никаких конкретных оснований для пророчеств о «пробуждении Африки». Брюсов отказывался верить в возможность внутриевропейской войны: «Европе предстоит сплотиться перед лицом общих врагов всей европейской культуры. Важно ли, кому будет принадлежать клочок земли, вроде Эльзаса-Лотарингии, Шлезвига-Гольштинии, Скутари, когда под угрозой окажется все, добытое двумя или даже тремя тысячелетиями культурной жизни. [...] В опасности окажется весь строй нашей жизни, весь

ее дух, а перед такой угрозой все европейцы не могут не почувствовать себя гражданами единой страны, детьми единой семьи».

За все, что нам вешала лира,
Чем глаз был в красках умилен,
За лики гордые Шекспира,
За Рафаэлевых мадонн, —
Должны мы стать на страже мира,
Заветного для всех времен.

Поэтому германско-турецкий союз казался Брюсову предательством Европы со стороны кайзера. Антитурецкому стихотворению 1915 года «Отрывок» («Там, где Геллеспонта воды...») он демонстративно предпослал эпиграф из баллады Шиллера «Геро и Леандр», хотя недостатка в цитатах из «невражеских» поэтов не было.

На выступление Брюсова отозвался Виктор Чернов, но империалист и социалист говорили на разных языках: «Вместо “угрозы европейской культуре” налицо скромная попытка освобождения от ига разбойников колониальной политики, от опеки интриганов иноземной дипломатии, от назойливости привозных миссионеров да еще от чудовищной эксплуатации воротил европейской биржи, банков и мануфактур. Правда, это люди, принадлежащие к одной с нами расе. [...] Разглагольствования о новой эре всемирной истории кончаются весьма “практичным” призывом к буржуазным государствам Европы сплотиться в прочный политический и экономический трест для увековечения нынешнего порабощения “желтых” и “черных” собратьев». Выводы тоже были разные: «На деле эта система двух, друг против друга стоящих союзов*, — писал идеолог эсеров, — не консолидировала Европу, а разорвала ее надвое и, под громким именем “европейского равновесия”, парализовала ее взаимным соперничеством. [...] Вся Европа может превратиться в арену таких же ужасов и гнусностей, какими только что, на глазах у нас, были полны Балканы. Для всего мира может наступить такая же зловещая полоса дней огня и крови» (12).

Время показало правоту Чернова, причем очень скоро — в июле 1914 года в Европе вспыхнула война. Брюсов

* Тройственный союз Германии, Австро-Венгрии и Италии и Тройственное согласие (Антанта) Великобритании, Франции и России.

воспринял ее как глобальную трагедию, что видно из цикла стихов «Современность» и статьи «Война вне Европы». Он сразу осознал масштаб конфликта (гибельный, по его мнению, для Германии), но обольщался, что война станет последней в истории человечества, избавив его от всех несправедливостей:

Началом мира и свободы
Да будет страшный год борьбы!

Инвективы Брюсова отличались сдержанным тоном (самые резкие — «надменный германец» и «тевтон»), не содержали шапкозакидательских заявлений и оскорблений в адрес противника, даже в письмах и частных разговорах, хотя взрыв ненависти ко всему немецкому был в России бурным. В хоре проклятий Германии тон задавали не только бульварные журналисты, но и такие люди, как Бальмонт, Сологуб, Городецкий, Северянин, ранее не отличавшиеся шовинизмом. Печать наполнилась «страшилками» о жестокости немцев на фронте, особенно в Бельгии, шпионаже и опасности диверсий в тылу, сея подозрительность и разжигая темные инстинкты. Своим авторитетом кампанию поддержал Верхарн в книге «Окровавленная Бельгия». Именно в отклике на ее русский перевод, Брюсов допустил наиболее резкие выпады против Германии: «Она всегда была страной безжалостных маркграфов и кровавых ландскнехтов. Тысячелетия она бросала свои орды на Европу. В этом ее роковое и страшное предназначение» (13).

Валерий Яковлевич четко выразил свою позицию: «Если бы обстоятельства момента сложились так, что пришлось бы выбирать между поэзией и родиной, то пусть погибнет поэт и поэзия, а торжествует великая Россия, после чего наступит грядущее торжество родины, и тогда явится поэт, достойный великого момента» (14).

Из-за начала войны незамеченным прошел первый и, насколько известно, единственный фильм, поставленный по сценарию Брюсова при его жизни. Это драма популярного режиссера Евгения Бауэра «Жизнь в смерти» со звездой немого кино Иваном Мозжухиным в главной роли, выпущенная кинофабрикой Александра Ханжонкова: премьера в провинции 6 августа, в Москве 24 октября 1914 года (15). «Вестник кинематографии» изложил содержание не дошедшей до нас ленты: «Страшная катастрофа — смерть молодой невесты — навсегда перевернула жизнь доктора

Ренэ, изменила весь смысл и значение ее. Одинокó живет он, всецело отдаваясь своим странным, никому не нужным опытам. Он задался целью сохранить от тления красоту. Это ему до некоторой степени удается — в его лаборатории хранятся никогда не увядающие цветы. Однажды к нему приходит привлеченный его репутацией врача и ученого некий адвокат Покровский и умоляет спасти его жену. Неохотно следует за ним Ренэ, но остается, пораженный совершенной красотой больной. Знакомство их продолжается, и по выздоровлении молодую женщину не удовлетворяют серые будни жизни, она ищет красоту, ищет и в жизни, в искусстве, в любви. Встреча с доктором Ренэ произвела на нее огромное впечатление — ее тянет к нему какая-то таинственная, непонятная ей сила, и мучает ее что-то странное, жуткое в нем. По совету врачей Покровский решает отправить жену на юг и просит доктора сопровождать ее. И тут Ренэ выполняет свою заветную мечту: он убивает молодую женщину, чтобы сохранить красоту ее. Красота должна быть нетленной. Проходит 15 лет. В то время как женившийся вторично Покровский наслаждается настоящим мещанским семейным счастьем, уже дряхлый, разбитый доктор Ренэ спускается в помещение, где хранится его сокровище — нетленная красота любимой женщины» (16). Заинтересовавшись кино, Брюсов и до «Жизни в смерти» набросал несколько сценариев, а после революции некоторое время служил в Московском кинокомитете. По договору от 29 июня 1918 года комитет купил у него сценарий «Карма», но фильм по нему так и не был поставлен (17).

3

С началом войны Брюсов стал корреспондентом «Русских ведомостей» в прифронтовой зоне, но не добился статуса военного корреспондента. Ярославская газета «Голос», которую издавал К.Ф. Некрасов, получила право перепечатывать его статьи с изменениями и называть его собственным корреспондентом. 13 августа он выехал из Москвы и через два дня был в Вильно. Там он встретился с «милым юношей» Вацлавом Ледницким — сыном польского общественного деятеля Александра Ледницкого, давшего ему рекомендательные письма к местной интеллигенции. Старинный город произвел на Валерия Яковлевича впечатление не только своей архитектурой, но и тем, что здесь он

попал «в круг белорусов, фанатиков своей идеи, убежденных, что белорусы — истинные подлинные славяне». Это были поэт Янка Купала, знаток белорусской старины этнограф Иван Луцкевич и его младший брат Антон, критик и публицист. Первое впечатление гостя было не лучшим: «Продолжаю думать, что никакого белорусского языка *нет*, а есть местный говор и скверное фонетическое правописание», — однако он сразу начал переводить стихи Купалы (четыре перевода появились в виленской «Вечерней газете» уже 22 и 25 августа) (18).

Двадцатого августа Брюсов приехал в столицу Царства Польского; в тот же день в «Русских ведомостях» появилась его первая корреспонденция «Путь на Запад». Гостя взял под опеку старший Ледницкий, которому посвящено стихотворение «В Варшаве»:

В первый раз по улицам Варшавы
С легким сердцем прохожу один.
Не гнетет меня кошмар кровавый
Темной славы роковых годин.

«Я побывал во всех редакциях, — сообщал Брюсов жене 23 августа, — у всех знаменитых писателей и у всех видных польских общественных деятелей, особенно у последних. Пришлось научиться если не говорить, то понимать по-польски. Все говорят по-польски, а я отвечаю по-русски. И, представь себе, — ничего, так или иначе разбирают». Днем позже его чествовало Общество литераторов и журналистов: «Было много народа. Произносились речи по-польски, по-русски и по-французски. Говорили, что сегодня — великий день, когда пала стена между польским и русским обществом. Что еще два месяца назад они не могли думать, что будут в своей среде приветствовать *русского* поэта, хотя бы столь великого, как я (это — их слова, извиняюсь). Что с этого дня, со дня моего чествования, наступает новая эра русско-польских отношений и т.д.» (19).

Война обострила «польский вопрос» и для России, и для ее противников: аристократия, политическая и интеллектуальная элита, желавшие создания независимой или хотя бы автономной Польши, не любили династию Романовых, но мало кто предпочитал им Гогенцоллернов и Габсбургов. Вопрос был в том, какая из сторон даст больше гарантий. 1 августа от имени верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича появилось «Воззвание к

полякам», где говорилось о грядущем возрождении Польши «свободной в своей вере, в языке, в самоуправлении» «под скипетром русского царя». Полное широких, хотя и неконкретных обещаний, воззвание было с воодушевлением встречено большинством поляков. «Многие, может быть, не ожидали того энтузиазма, с каким отнеслась Польша к войне с Германией, — отмечал Брюсов в статье «Варшава в дни войны». — [...] Народная память не позабыла, что для поляков, более чем для всех других славянских племен, немцы — враг исконный, заклятый. Народная масса приняла войну как великое родное дело, и, можно сказать, увлекла за собой вожakov различных партий» (20).

В Варшаве Брюсов жил в гостиницах «Франция» и «Брюль», а с 22 ноября снял комнату в квартире по адресу: Мазовецкая улица 7. На месте не сиделось, и 11 сентября он писал жене: «Начинаю входить во вкус работы “корреспондента” и понимать это ремесло: до сих пор только учился» (21). В пометах под стихами и статьями мы видим Ярослав, Пултуск, Люблин, Лодзь, Цеханов, Радом, Белосток, Лович (точная хронология и география его разъездов до сих пор не воссозданы). Местное военное начальство не сразу допустило Брюсова в зону боевых действий, но уже в середине сентября он увидел если не самые бои, то поля недавних сражений, на которых собирал письма, найденные при убитых немцах («В бою под Красником», «Поле битвы», «Письма врагов и к врагам»). Особый интерес вызвали его корреспонденции из Лодзи, несколько раз переходившей из рук в руки.

В Польше у «Русских ведомостей» было несколько корреспондентов. Брюсов писал в основном о социально-бытовой стороне событий: снабжении армии и помощи из тыла («На питательном пункте», «Неделя о подарках»), уходе за ранеными («В варшавских госпиталях», «Походный госпиталь»), положении местного населения («Варшава в дни войны», «Безработица в Польше»), отношении поляков к русским, немцам и австрийцам — последние проявили себя с худшей стороны («Война и население», «В разоренной стране», «По Галиции»). «Побеждающие побеждают, — иронизировал Ходасевич в письме к Садовскому, — побежденных побеждают; человек, в которого попала пуля, здесь, в Вильне, называется раненым. Раненые очень храбры» (22). Подобные банальности можно найти во многих газетах тех лет, однако военные корреспонденции Брюсова привлекали внимание не только в России, но и за ее пределами.

Сопровождавший Валерия Яковлевича в разъездах журналист Михаил Суганов вспоминал: «Под светом ручного фонаря писал часами, выкуривая по сотне папирос. [...] Две-три любимые книги, чернильница и свечи в бутылках были всегда у него под руками. Часто пробуждался ночью, нервничая, подходил к двери, пока я не спрашивал о причине бессонницы. Тугими пальцами крутил табачную гильзу и с одинаковым вниманием, порою с утомляющей, черствой методичностью, подбирая отточенные мысли, по неуловимым сцеплениям и поводам говорил о Верхарне, о влиянии Тамерлана в архитектуре, об античной эротике, о национализме Данте, о манере Скрябина» (23). В Варшаву он возвращался чтобы отдохнуть, подготовить корреспонденции, обработать написанные по дороге стихи, ответить на письма, не оставляя литературных трудов (роман «Юпитер поверженный» и повесть «Моцарт», переводы из Вергилия и Эдгара По, «учебник стихосложения», двухтомник Каролины Павловой) и даже руководства Кружком, о чем подробно писал Иоанне Матвеевне (ныне эти письма опубликованы).

4

Вне писем осталась юная уроженка Риги Мария Владимировна (Вульфовна) Вульфарт. Посвященный ей заключительный сонет «Рокового ряда» единственный не озаглавлен именем героини: «Пребудешь ты неназванной, безвестной». История ее жизни и отношений с Брюсовым воссоздана А.Л. Соболевым и А.В. Лавровым, разысканиями которых мы воспользуемся (24).

Личное знакомство Брюсова и Вульфарт состоялось в декабре 1913 года в санатории Максимовича, откуда Иоанна Матвеевна в канун нового года сообщала Надежде Брюсовой: «Валя надел личину “милого Вали”, держит себя как все. [...] “Любовное заболевание” Валино успело и здесь, однако, наделать беду. В нашей санатории живут нервные больные, почти все девицы, частью молодые женщины. Среди девиц есть одна 19-летняя (на самом деле 15-летняя. — В.М.) еврейка, похожая на Львову, до такой степени, что редко сестры так напоминают друг друга. Валя, конечно, начал по своему обыкновению ухаживать. Кончилось ужасной нервной истерикой. С этой Манечкой, оказывается, нельзя серьезно разговаривать. На этот раз обошлось

все. И как мне не сделаться Ксантиппой!» По свидетельству неизвестного лица со слов жены поэта, Мария «была старшей из 7-ми детей в семье, брошенной отцом» и «страдала эротическим помешательством».

У Максимовича также отдыхала петербургская учительница Елена Павловна Шапот. Все вместе они гуляли, катались на санках и лыжах, играли в винт и фотографировались вчетвером. Уехав из санатория 13 января, Шапот завела переписку с Брюсовыми. Затем уехала Вульфарт и сразу начала писать Валерию Яковлевичу до востребования на фамилию «Бакулин». Первая открытка отправлена из Тальсена Курляндской губернии (ныне Талсы) в Майоренгоф (ныне Майори) — ближайшее к санаторию почтовое отделение, но Брюсовы уже вернулись в Москву. Сюда одно за другим следовали письма «моему глупому и гадкому мальчику» от «глупой девочки» (общим числом 39 за 1914 год) с жалобами на «несчастную хандру» и требовательными просьбами о письмах и свиданиях.

В середине февраля 1914 года Брюсов ненадолго ездил в Петербург под предлогом литературных дел и встречался с «Манечкой», которая остановилась у Шапот. Узнав об этом, Иоанна Матвеевна заявила ей, что та «стала посредницей» между мужем и любовницей. 13 марта Елена Павловна оправдывалась: «Хлопотали мы в консерватории (о поступлении Вульфарт, которая играла на скрипке, — В.М.) и т.д. Втроем мы бывали в театре, смотрели Петербург. Бывали в ресторане. В чем же Вы видите мое посредничество. Я теперь, например, абсолютно не знаю — что и как обстоит дело, не знала ничего и до приезда Манечки. Я очень хорошо отношусь к Манечке. Так я относилась к ней еще до Вашего приезда. Предана я дружески Валерию Яковлевичу и Вам, Иоанна Матвеевна. [...] Может, Вы считаете недопустимым, что я, зная многое, не отвернулась от Манечки и В.Я. и не разыграла комедию, которую разыгрывали все санаторские гусыни. Я не могу, я не умею оценивать то, что не подлежит суду людей. Не в моем характере вообще осуждать». Одновременно Шапот сообщила Брюсову о письме от его жены, которая «жестоко обвиняет» ее. «Письмо И.М. я считаю совершенно “недопустимым”, — ответил тот четыре дня спустя. — [...] Вернувшись из Петербурга, я рассказал, что виделся там, часто, с Вами и с Манечкой, — только это. Рассказывать подробно о себе [...] у меня не в обычае; умалчивать же о чем-либо считаю ненужным, да и бесплодным. И.М. приняла мои слова

очень остро, и были у нас печальные разговоры, описание которых я пропускаю. Вывод этих разговоров был, конечно, тот, что каждый остался при своих взглядах, как должно жить».

Письма продолжались: минимум одно попало на глаза жене и в очередной раз испортило ей настроение. В конце апреля Брюсов уехал в Ригу — очевидно, используя для предлога поездку в Петербург на переговоры с Гржебиным — где проводил время с Вульфарт. 2 мая они прислали Шапот открытку из Зегевольда (ныне Сигулда), где похоронен Коневской: «Неизбежно и неизменно образ Ваш с нами, ибо мы двое — всегда неразлучны с Вами. Жалеем очень, что Вас нет с нами в эту минуту расплавленного солнца на закате и свежего изумруда весны. Вечер, веранда, вино, вдвоем, — ах, есть много хороших слов на *в*, напр. “Ваши”. Маня. Валерий Брюсов». Днем раньше написано стихотворение «В старинной Риге», заканчивавшееся словами: «Иль влюблен я снова? Иль я снова молод?».

Возможность новых встреч дала им война. В Вильно Брюсов написал стихотворение «Еврейским девушкам», упомянув Тальсен, где жила Вульфарт. Он заехал сюда в конце августа 1914 года и увез ее в Варшаву, где помог поступить в консерваторию. Когда Валерий Яковлевич снял комнату на Мазовецкой, Мария стала его спутницей, но с возвращением поэта в Москву они расстались.

В апреле 1915 года из Варшавы начали высылать лиц, приехавших туда после начала войны. Вульфарт попала в эту категорию, но не хотела уезжать вслед за родственниками, перебравшимися в Воронеж и вскоре потерявшими с ней связь. 8 июля Мария известила Брюсова: «Валюся, я решила остаться. Совершенно невозможно мне уехать». Затем ее следы исчезают на несколько лет. 17 июля 1917 года Вульфарт послала Брюсову через «Общество польских евреев» просьбу о присылке денег; судя по приложенной расписке, 8 августа он отправил ей 100 рублей. Следующая весточка пришла летом 1918 года из Варшавы: «Уже минуло 3 1/2 года с тех пор, как не имею известий от моих родителей, а также от родных и знакомых. Это очень печально и очень больно. Неужели Вы никак не могли мне несколько слов написать. [...] Сейчас нахожусь в больнице, ибо нервы мои ужасно сдают. [...] Умоляю Вас, Валерий Яковлевич, немедленно, если возможно телеграммой сообщить, где все находятся, а также о себе. [...] Поймите, больше 4 лет (так! — *В.М.*) быть совершенно одной. Это не так легко и просто, да

еще не имея денег». С помощью Брюсова или без нее, Мария списалась с родственниками и сообщила, что служит и занимается музыкой. На этом достоверные данные о ней обрываются. По разысканиям А.Л. Соболева, она осталась в Варшаве, вышла замуж за некоего Августа Шротера, получила немецкое гражданство, после 1933 года была лишена его из-за антиеврейской политики Третьего рейха. Пока это все, что мы знаем.

5

Оторванный от привычного уклада, Брюсов, по собственному признанию, получил «столько одиночества, чтобы обдумать все» и в результате «многое понял и представил себе иначе». 7 октября, подробно описав жене свою жизнь, он заметил, что смотрит на нее «как на некое искупление», добавив: «И самому мне еще не хочется отрываться от нее и возвращаться в Москву». «Ты мне все пишешь о возвращении, — продолжал он неделей позже. — Знаю и сам, что следовало бы вернуться. Но обидно покинуть войну еще в самом ее начале! Столько еще можно увидеть, столько узнать!» 17 октября он обмолвился, что коллега «манит меня поехать в Закавказье — на фронт новой турецкой войны. Колеблюсь. Но, если соглашусь, путь туда лежит через Москву». Иоанна Матвеевна немедленно ответила: «Если ты на самом деле хочешь поехать на турецкую границу [...] то я, в таком случае, уеду куда-нибудь сестрой милосердия». Встревоженный «яростным посланием», Брюсов 1 ноября перечислил ей «много причин, меня удерживающих здесь. Во-первых, материальная. [...] Разве мог бы я теперь своими стихами, романами, статьями зарабатывать то, что зарабатываю корреспонденциями? [...] Во-вторых, нравственная. Я уже писал Тебе, что мне просто стыдно вернуться, когда война далеко не кончена и дела еще много. Все скажут или хотя бы подумают, что у меня не хватило энергии, взялся и не исполнил, устал, позабавился и бросил. [...] В-третьих, психологическая, и это — самая важная и в сущности важная. Дело в том, что мне самому *страшно* возвращаться и *хочется* еще остаться здесь. [...] Пойми это мое чувство, прими во внимание эти мои соображения и не упрекай меня, что я медлю здесь». Иоанна Матвеевна, согласно ее ответу, вздохнула с облегчением (25).

«Как мне будет тяжело в Москве заниматься “Энеидой”

и другими вещами, не имеющими связи с войной!» — писал Брюсов 1 ноября в том же письме, но к концу месяца настроение изменилось. 30 ноября он сообщил жене: «Итак, на Рождество я приезжаю: это решено. По всем соображениям, лучше мне приехать в Москву, чем Тебе в Варшаву. Да мне и *крайне необходимо* быть в Москве. Надо сделать много дел, доперевести VI книгу Энеиды, посетить разных лиц и ликвидировать отношения к Кружку». Продолжение звучало многозначительно: «Я планирую “ликвидировать” все свои прежние отношения (я уже делаю это постепенно), дабы после войны начать ту самую “новую жизнь”, может быть, и вероятно, *не* в Москве». «Я *твердо решил одно*, — продолжал он 13 декабря. — Когда война кончится (а она все же когда-нибудь кончится), мы уедем надолго, на год или больше, из Москвы, во Францию или еще куда. [...] У меня десятки больших вещей (повестей, романов, драм, поэм) в голове. Их надо писать вне всякой суеты. Я убедился, что могу прекрасно жить без Москвы» (26).

Днем раньше Брюсов написал стихотворение, опубликованное лишь посмертно и мало кем замеченное (благодарю Ю.Д. Кузнецова за указание на него):

Когда смотрю в декабрьский сумрак ночи,
Все кажется, — под дальний гул пальбы:
Дрожит земля до самых средоточий
И падают огромные столбы.
Все кажется, под страшный ропот боя,
Что старый мир разрушиться готов.
Не волны ли, неукротимо воя,
Ломают стены древних берегов?
Не жаль сознанию новой Атлантиды!
Пусть покрывает ясность глубины
Всю ложь веков, предвечные обиды
И тщетные, не явленные сны!
Пусть новый мир встает из бездн безвестных,
Не знающий, что в прошлом были мы:
О нем мечтаю, в свете звезд небесных,
Под гул пальбы смотря в провалы тьмы!

«На побывку» в Москву Брюсов приехал вечером 6 или утром 7 января. 13 января на «Польском вечере» в Кружке он читал перевод из Юлиуша Словацкого и новые стихи. 18 января там же был устроен товарищеский ужин, превратившийся в празднование 25-летия литературной деятельности, которую юбиляр исчислял с... заметки о тоталитаризме» (27).

лизаторе в «Русском спорте». Годовщина приходилась на сентябрь 1914 года, но, как язвительно заметил Садовской, «гром австро-немецких пушек вышиб из сознания русской интеллигенции не только двадцатипятилетие спортивной статьи В. Брюсова, но и лермонтовскую столетнюю годовщину» (27). Сумбатов-Южин и Милюков говорили о значении военных корреспонденций Брюсова, Ледницкий — о его роли в достижении взаимопонимания между русскими и поляками, польский поэт Лео Бельмонт прочитал приветственные стихи. Вячеслав Иванов «высказал пожелание, чтобы В.Я. скорее вернулся к своей музе и всецело отдался служению поэзии». «В.Я. Брюсов в ответной речи указал, что не время говорить о “лицах”, о поэтах и поэзии, об юбилеях, когда совершаются великие события, когда помыслы всех и каждого обращены к будущему, к судьбам народа, богатством языка и образов которого питается поэт и живет литература. [...] После речи г. Брюсова о поэзии и родине оратору была устроена шумная овация» (28). 22 января он выступил с новыми стихами в «Эстетике», а 25 января выехал в Варшаву.

Из польской столицы Брюсов отправился к месту боев под Праснышом, где был пять месяцев назад. В середине марта одним из первых среди корреспондентов он въехал в занятый русскими войсками Перемышль, когда на окраинах города еще стреляли. «Шесть дней мы почти не выходили из автомобиля, — сообщил он жене 19 марта. — Последний день ехали непрерывно 23 часа, от 5 утра до 4 ночи (или утра) следующего дня!» (29).

В письмах все чаще мелькали жалобы не только на усталость, но и на цензуру. «Мою статью “Тревожные дни” («Тревожные дни в Варшаве». — В.М.) не то, что поцарапали, как Ты пишешь, а прямо истребили, — возмущался он 14 октября. — Вычеркнули весь смысл и оставили связующие частицы — “и”, “но”, “а”, “однако”... Получилась статья столь глупая, что глупее не выдумаешь. А ведь иные читатели подумали, что я так писал! Не следовало таких отрывков печатать вовсе. Да и “Немцы над Варшавой” пощипали довольно». 5 декабря Брюсов спрашивал о давно отправленной в редакцию статье «Письма врагов и к врагам», назвав ее одной из лучших своих корреспонденций, — но та увидела свет лишь через девять дней после напоминания. «Две моих статьи, посланные в “Русские ведомости”, погибли, — сетовал он 18 февраля 1915 года. — Одна — безвозвратно, от другой уцелел отрывок, которому дали заглавие

“Старая и новая крепость” *, подписали Л.А. Что означают сии инициалы, не знаю. Ты, вероятно, никак не догадалась, что это — я?» (30). Оригиналы военных корреспонденций Брюсова почти не сохранились (он отправлял в Москву рукописи, не имея возможности переписывать их на машинке), так что многие тексты утрачены. Лишь в единичных случаях купюры возможно восстановить, как это сделал сам автор с печатным текстом статьи «В обстреливаемом городе», опубликованной 4 марта (31).

«Хочется работать “литературно” и корреспондентская деятельность, сказать по правде — надоела», — признался Брюсов жене 2 февраля, продолжив через неделю: «Писал много другого (драму, повесть, Энеиду, метрику). Хочу привезти в Москву большой запас готовых рукописей, с которыми и обращаюсь к издателям» (32). В январе Измайлов просил для «Биржевых ведомостей» рассказ и стихи, пояснив позднее: «если даже они не будут иметь никакого, даже психологического отношения к текущим событиям». Брюсов охотно откликнулся, добавив: «Если стихи Вам нужны “военные”, сообщите: могу прислать и такие, потому что последнее время, за недосугом, печатал стихов мало, а писал довольно много». В следующих письмах Измайлов постоянно напоминал: «Редакция была бы очень вам благодарна, если бы Вы ее и далее не забывали, и одинаково — стихами и прозой»; «Слезная просьба редакции — дать нам Вашу статью или фельетон о Константинополе» («О Константинополе написать ничего не могу, ибо там *не был*», — ответил Брюсов); «Стихов, пожалуйста, стихов — военных и не военных»; «Чем скорее Вы пришлете нам новых стихов, а может быть, и прозы — тем доставите нам больше удовольствия» (33). «Биржевка» быстро печатала все присылаемое, даже отвергнутую «Русскими ведомостями» статью о предсказаниях Нострадамуса и новый перевод «Ворона» (которым Брюсов очень гордился), исправно платила гонорары, так что Валерий Яковлевич охотно сотрудничал с ней и по возвращении в Москву.

Медлительность редакции «Русских ведомостей», цензура, отсутствие статуса военного корреспондента и дороговизна поездок, за которые приходилось доплачивать из своего кармана, подталкивали к мысли о возвращении. От окончательного решения удерживали уговоры главного редактора Александра Мануйлова: «Ваше присутствие в

* Точное заглавие: «Современная и старая крепость».

Польше нам *абсолютно* необходимо. Ваши корреспонденции читаются с неослабевающим интересом. Они составляют основу всей нашей корреспондентской части в связи с войной. Поэтому лишиться их теперь было бы для газеты крайне тяжело» (34). «"Начав войну", мне хотелось бы довести ее до конца, — писал Брюсов 27 апреля Измайлову, который предложил ему в случае ухода из «Русских ведомостей» стать корреспондентом «Биржевых ведомостей», — и было бы досадно бросить дело на половине, видеть первые акты великой трагедии, а потом уйти из театра и быть вынужденным довольствоваться чужими рецензиями» (35). «Словно не дописать до конца романа или драмы, — пояснил он Иоанне Матвеевне 1 апреля. — Обидно будет потом издать свои корреспонденции под заглавием "*Первые месяцы войны*". [...] И бросил бы все, и страшно бросить» (36).

«Может быть, еще вступлю с нашими войсками, если не в Берлин, то в Буда-Пешт», — мечтал Брюсов 21 марта, отсылая очередную статью о взятии Перемышля (37). В апреле Мануйлов предложил ему ехать на Карпаты, где началось наступление, поскольку «о Польше, кажется, написано все, что можно» (38). Беспокоясь за мужа (прежде всего, из-за морфия — эта тема часто возникает в письмах), Иоанна Матвеевна потребовала от него вернуться к 1 мая, пообещав в противном случае приехать в Варшаву и добавив: «Постарайся устроиться так, чтобы мне не выселять никого зонтиком» (39). 1 мая никто никуда не приехал, но корреспондентская эпопея подходила к концу, несмотря на уговоры газеты. «Русские ведомости» «упорно *не* печатают ничего из того, что я посылаю им, — жаловался Брюсов жене 10 мая. — Недавно мне вернули 6 статей» (40). Побывав на местах боев в Шавлях (ныне Шауляй), он отправил оттуда последние корреспонденции и через Вильно отправился домой. 21 мая из Минска он сообщил Иоанне Матвеевне телеграммой время приезда, добавив: «Обрадовала бы встречей» (41).

6

Пока Брюсов находился в Варшаве, из Петрограда и Москвы шли дурные литературные вести. В ноябре Терещенко решил ликвидировать издательство и прекратить все начатые издания, о чем официально объявил в начале января 1915 года. «Известие о "катастрофе", постигшей

“Сирин”, признаюсь, поразило меня, что называется, “как громом”, — писал Брюсов 14 января Иванову-Разумнику. — [...] Собрание моих сочинений было единственным моим достоянием, теперь это достояние у меня отнято. В самом деле, иметь 8 разрозненных томов из 25-ти в сто, в тысячу раз хуже, чем не иметь ни одного или иметь все 25. Эти 8 томов на много лет будут препятствием для нового издания, т.к. никто покупать их не станет, и они постоянно будут находиться на книжном рынке. Думать же, что найдется издательство, которое возьмется продолжать издание “Сирина”, — совершенно нельзя: издание “Сирина” было предпринято крайне не экономично, цена тома почти не покрывала его стоимости (Вы это знаете лучше меня), и никто не захочет продолжать такое издание в такой его форме». «Сирин» «лишил меня возможности издать полное собрание моих сочинений едва ли не *навсегда*», — жаловался он совладелице издательства Пелагее Терещенко 30 января, поясняя: «К ущербу материальному присоединяется потеря, так сказать, идейная. Собрать все свои сочинения в одном издании всегда составляет заветную мечту писателя. Пока “Сирин” не предпринимал своего издания, я не сомневался, что раньше или позже осуществлю это свое намерение» (42).

Брюсов думал продолжать издание за свой счет, если «Сирин» передаст ему экземпляры выпущенных томов в кредит («потому что денег у меня нет», — признался он) со скидкой 50 процентов с номинальной цены. Пелагея Терещенко ответила согласием. «Это еще немного, — писал Валерий Яковлевич жене, — и на таком основании начать издание не легко» (43), но быстро убедился в «неподъемности» проекта. Тем временем к Иоанне Матвеевне обратился с расспросами фактический глава издательства «Муссагет» Викентий Пашуканис, но предложение «получать гонорар от проданных книг» не удовлетворило Брюсова: «Я не могу издавать свои сочинения из одной чести быть изданным, а платить они не хотят» (44).

При участии Чуковского Брюсов попытался продать собрание сочинений издательству А.Ф. Маркса в качестве приложения к «Ниве» (что означало гораздо более скромное издание): 24 тома, «при чем в том числе будут вещи неизданные, 3-4 тома», по 600 рублей за каждый «с условием — в течение 5 лет после того не издавать другого собрания сочинений». «Впрочем, *все* эти условия подлежат всяческим пересмотрам и изменениям», — добавил он (45). «У

Вас серьезный противник — война, — сообщил Чуковский Брюсову 21 сентября после совещания в издательстве. — [...] К тому же они хотят в этом году дать писателей, *которые похуже*, ибо во время войны центр тяжести не в писателях, а в картинках и батальных рассказах» (46).

Неприятностью иного характера стало возбуждение против Брюсова уголовного дела по «порнографической» статье 1001 за рассказ «После детского бала», из-за которого был арестован цензурой первый (и единственный) выпуск альманаха издательства «Альциона» (1914). 3 марта 1915 года товарищ по Кружку Николай Давыдов сообщил ему, что судебный следователь хотел закрыть дело, но прокуратура настояла и подготовила обвинительный акт, хотя шансы на оправдание велики. Явка ответчика не требовалась, только адвокат для представительства в суде. Интересы Брюсова представлял Абрам Вайнштейн, член Общества свободной эстетики, однако хранившиеся в архиве документы по данному делу утрачены (47). На этом фоне скандал, устроенный в «Эстетике» Ходасевичем в феврале из-за выступления Маяковского, может показаться бурей в стакане воды, но Брюсов отнесся к нему со всей серьезностью и подготовил два варианта ответа от имени Комитета общества. Иоанна Матвеевна, устраивавшая собрания «Эстетики» в отсутствие мужа, обронила в одном из писем примечательную фразу: «Читал Владя, до смешного подражая тебе, как дети подражают старшим, даже бумагу так же перелистывал» (48).

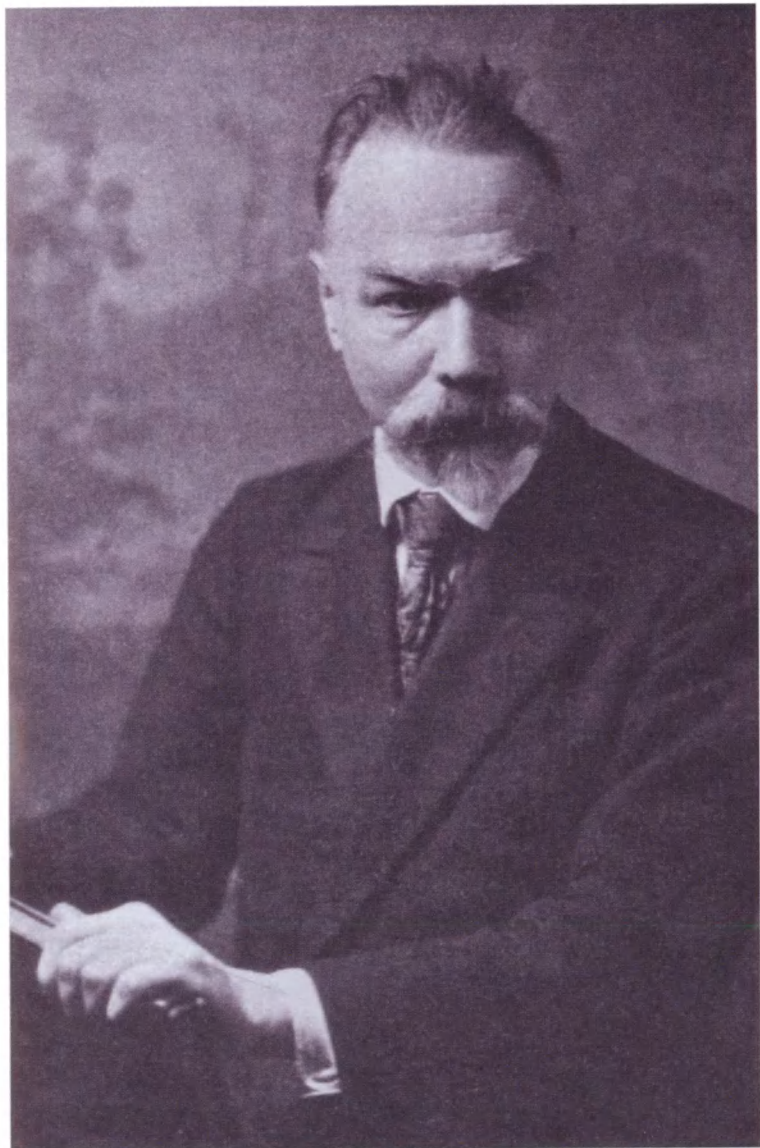
По возвращении в Москву Брюсов занялся подготовкой сборника стихов «Семь цветов радуги», изданного в начале февраля 1916 года. Цензура задержала книгу за стихотворение «Запах любимого тела...» и разрешила ее после замены во всем тираже листа с ним (экземпляр первого варианта не сохранился даже в архиве Брюсова). Замысел возник еще при работе над «Зеркалом теней»: дополнить декадентскую книгу жизнеутверждающей под названием «Sed non satiat». «Автор полагал, что своевременно и нужно создать ряд поэм, которые еще раз указали бы читателям на радости земного бытия, — писал он в ноябре 1915 года в предисловии к сборнику. — [...] Пусть же новое название книги говорит о том же: все семь цветов радуги одинаково прекрасны, прекрасны и все земные переживания, не только счастье, но и печаль, не только восторг, но и боль».

Композиция сборника была сложной: семь разделов, названных по цветам радуги, каждый из которых включал

по три цикла. Тематика отличалась разнообразием: военные, любовные, пейзажные, исторические, детские циклы, примеры редких форм, рифм (но рядом «любовь — кровь»!) и размеров. И все же в «Семи цветах радуги» заметны самоповторы и упадок творческой энергии. Сказанное можно отнести и к следующей книге «Девятая Камена» — единственной, не увидевшей свет при жизни Брюсова. Предназначенное для девятого сборника стихов, название присутствует в проспекте *ПССП* в 1913 году, хотя работа над книгой началась лишь в 1917 году. В следующем году она была набрана в некоей петроградской типографии, однако ни рукопись, ни наборный оттиск не сохранились. В 1919 году, готовя собрание сочинений для Гржебина, автор включил «Девятую Камену» в четвертый том. Этот вариант впервые опубликован только в 1973 году, но ранее почти все стихотворения сборника по отдельности уже появились в периодике, в книгах «Опыты» и «Последние мечты», в посмертных изданиях.

Первые отклики на «Семь цветов радуги», исходившие от знакомых, были осторожными и вежливо-критичными. «Хотя новый сборник В. Брюсова, — писал Константин Липскеров, — и не достигает большой высоты его лучших сборников — “Венка” и “Urbi et orbi”, все же его появление должно быть принято с интересом каждым любителем его строгой музыки. Для историка Брюсова по этой книге любопытно будет проследить духовный путь ее автора, все более отдаляющегося от острых “высей”, и рассмотреть, как бывалое чувство мастерства, утрачивая в своем напряжении, открывает место переживаниям простым и житейским» (49). Ходасевич, повторив высказанную в рецензии на «Зеркало теней» мысль о том, что «моменты творчества для него самые острые, самые достопамятные в жизни», подытожил: «Если и нет в ней большой внешней новизны (хотя некоторые новые в творчестве Брюсова приемы можно бы указать и здесь), то все же значительным этапом в его поэтической и личной жизни она является. Заметить этот этап — дело читательской зоркости».

Огорчили отзывы незнакомых молодых критиков. Марк Слоним признал, что «Семь цветов радуги» «не особенно порадуют любителей поэзии Брюсова»: в них «не находишь прежней силы брюсовских стихов, их резкой тяжести и того боевого настроения, которые сообщали им особый чеканно-строгий стиль» (50). Маргарите Тумповской, обстоятельно разобравшей книгу в «Аполлоне», «Семь цветов



Валерий Брюсов. 1923 г.
Портрет, выпущенный к пятидесятилетию поэта.
Собрание В. Э. Молодякова



Дом Херодиновых, где родился Валерий Брюсов
(Москва, Милютинский переулок, 14). *Фото О. В. Андреевой*

Дом Бари, где Валерий Брюсов жил в 1875—1877 годах
(Москва, Яузский бульвар, 10). *Фото О. В. Андреевой*





Новодел на месте собственного дома Брюсовых,
где Валерий Брюсов жил в 1877—1910 годах. *Фото О. В. Андреевой*

Гостиница «Метрополь» со стороны Китайгородской стены, где
на четвертом этаже размещались издательство «Скорпион» и редакция жур-
нала «Весы» (Москва, Театральный проезд, дом 1/4). *Фото О. В. Андреевой*





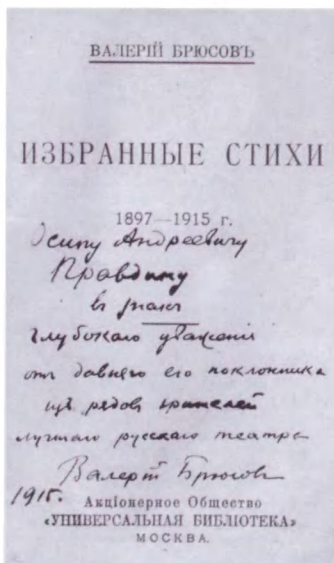
Дом Баева, где Валерий Брюсов жил в 1910—1924 годах (Москва, проспект Мира, 30). Ныне — Музей литературы Серебряного века. *Фото О. В. Андреевой*

Кабинет Валерия Брюсова в доме Баева. *Фото О. В. Андреевой*



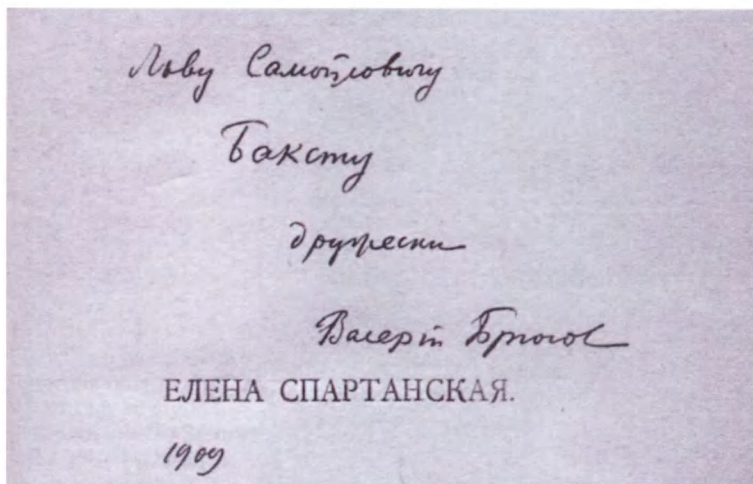


Книга Валерия Брюсова
«Зеркало теней». Обложка по рисунку
Д. И. Митрохина. 1912 г.



Дарственная надпись Валерия
Брюсова Осипу Правдину
на книгу «Избранные стихи
(1897—1915)». 1915 г. Собрание
В. Э. Молодякова

Дарственная надпись Валерия Брюсова Льву Баксту на переведенной им
пьесе Э. Верхарна «Елена Спартанская». 1909 г. Собрание В. Э. Молодякова





Иллюстрации
Альберто Мартини
ко второму изданию
книги Брюсова
«Земная ось». 1910 г.

К рассказу
«В подземной
тюрьме»



К рассказу
«В зеркале»

К пьесе «Земля»



Павлу Елизбеву

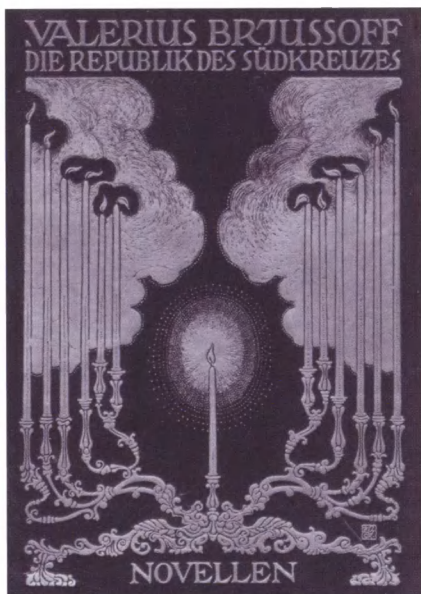
Щеголеву

в мою дарственную

Валерій Брюсовъ

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.

Дарственная надпись
Валерия Брюсова Павлу
Щеголеву на втором
издании книги «Земная
ось». 1910 г. Собрание
В. Э. Молодякова



Сборник рассказов
Валерия Брюсова
«Республика Южного Креста»
в переводе на немецкий язык.
1908 г. Экземпляр № 27
из 50 особых, в цельно-
кожаном переплете
по рисунку О. цу Гюттенеге.
Собрание В. Э. Молодякова



Повесть Брюсова
«Последние страницы
из дневника женщины»
в переводе на немецкий язык.
1911 г.

Роман Валерия Брюсова
«Алтарь Победы» в переводе
на немецкий язык. 1913 г.
Переплет по рисунку М. Шварера

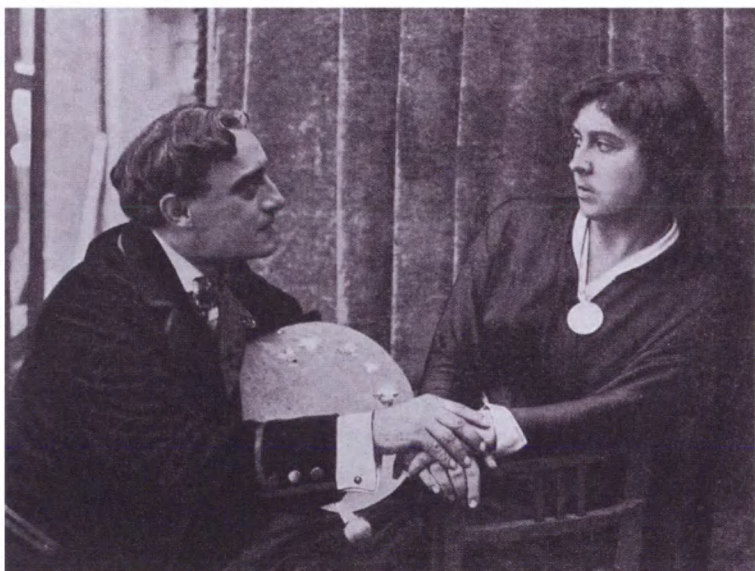


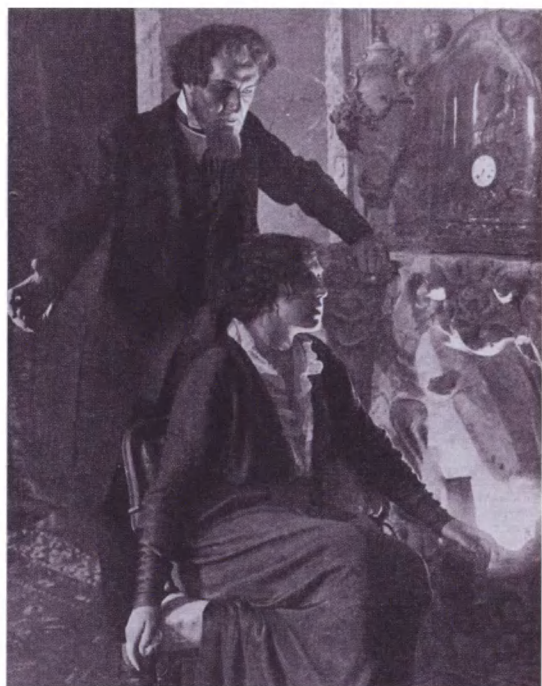
Роман Валерия Брюсова
«Огненный ангел»
в переводе
на испанский язык.
1922 г.





Сцены из кинофильма «Жизнь в смерти» режиссера Евгения Бауэра по сценарию Валерия Брюсова (кинофабрика А. А. Ханжонкова).
Фотографии из «Кине-журнала» (1914. № 13) и «Вестника кинематографии» (1914. № 93/13)





Писатель Валерий Брюсов у себя дома.

Со стихами, по поручению «Огонька» С. Г. Смирнова.

ние) «Французских авторов XIX века», редактирует сочинения Каролин Павловой и т. д. В. Я. успевает писать и статьи, — много стихов, — успевает читать их в собрании общества «Свободной волегии». Докладывает Брюсову начинающие поэты.

— Грустно, — говорит В. Я., — но книг никогда читать не успеваю.

У В. Я. большая библиотека. Одна этажерка для книг отдали Пушкину: Первые издания «Истории Овнина», «Кавказского Штатника», различные выпуски Пушкина и о Пушкине. Великолепный справочный отдел, отдел писателей-классиков, произведений современных поэтов русских и иностранных, для полка, занятая «железница» футуристами.

Валерий Иванович Брюсов живет в Москве, на Первой Миланской. Звезда города почти не проникает в уютную квартиру на нижнем этаже отдаленного под алмазский коттедж особняка, отгороженного от улицы палисадником. В «домик» Брюсов, как называют его москвичи, хотя дом этот В. Я. и не принадлежит, В. Я. живет почти безвылазно уже несколько лет.

— Я люблю город, — говорит он, — и жизни вне Москвы, вне того городского шума и суеты, которая меня раздражает, мне не дано.

В деревню В. Я. никогда не ездит. Была одна печальная поездка. В деревни ему стало так тоскливо,

Квартира В. Я. удивительно просторная — в одной комнате, большей из зала и гостиной. Большой письменный стол, выложенный книгами и корректурами, другой — с пишущей машинкой, третий — для работы, не требующей сложнейших материалов. Бюсты на шкафу, на стенах портреты Пушкина, И. Соловьева, копии с знаменитого портрета самого В. Я. отдаленного Врубелева.

В маленькой уютной гостиной — анализ с литературой по искусству, — большой частью иностранной, собранной поэтом во время зарубежных поездок. На стенах картины: Радимов, Феофилактов, Вальс, а рядом с ними... Ларионов и г-жа Гончарова. Это все произведения признанных поэтов авторов. В

что он с трудом дождался возможности уехать... Весною или летом Брюсов уезжал за границу — куда-нибудь к морю. Здесь — в Швейцарии или в Голландии — он делает ту работу, которая не нуждается ни в материале, ни в словарях, пишет стихи и рассказы. Дома работа шла. Утро у В. Я. веселого посвящено до полудня почти исключительно редактированию литературно-художественного журнала, наступает очень поздно. С большими порывами для себя, так и т. п. работа идет до самого вечера изо дня в день, изо года в год, изо уже 25 лет... Работа самая разнообразная. Он успевает почти одновременно писать романы, повести, стихи, переводить, редактировать. Сейчас почти закончен роман поэма. Он пишет большую повесть из римской жизни — «Юлианер поверженный» (сокращенно «Алтарь любви»), повесть из русской жизни «Обручение Павла», статью об Ахиллесе, переводит «Восток» Вурмлера, работает второй том своего собрания сочинений, небольшую книжку молодых поэтов о современной литературе, — «Miscellanea», четыре книги (второе изд-

1) В. Я. Брюсов пишет на машинке. 2) На отдых в гостиной 3) За рабочим столом. 4) За завтраком.

этой маленькой гостиной В. Я. проводит в кругу близких и любимых людей, которые от уходят своему отцу.

Г. Н.

Писатель Валерий Брюсов у себя дома.
Репортаж из журнала «Огонек» (1914. № 1)

Афиша устного
журнала «Московский
разговор»
под редакцией
Валерия Брюсова.
Политехнический
музей, Москва.
2 декабря 1920 г.
Собрание
В. Э. Молодякова

**БОЛЬШ. АУДИТОРИЯ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ**
(Дубинский пр. 4)

**В Четверг, 2-го Декабря, в 7 ч. веч.,
ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОЭТОВ УСТРАИВАЕТ**
чтение второго номера устного журнала

**МОСКОВСКИЙ
РАЗГОВОР**
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА

ЧИТАЮТ АВТОРЫ:

СТИХИ: Адалис, Валерий Брюсов, Рюрик
Иванов и Вадим Шершеневич.

ПРОЗА: М. А. Ансенов — „Отрывок из трагедии“;
Сергей Буданцов — „Воронье гнездо“, рассказ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОТДЕЛ: Литературная жизнь Армении и Грузии —
статья Рюрика Иванова.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ: „Виды на сезон“ — статья Вадима
Шершеневича.

Викеты продаются в кассе Политехнич. Музея (Дубинский пр. 4) с 5 до 8 ч.,
в кассе Р. Т. О. (Петровка, 5), в день чтения с 5 час. и до окончания в кассе Музея.

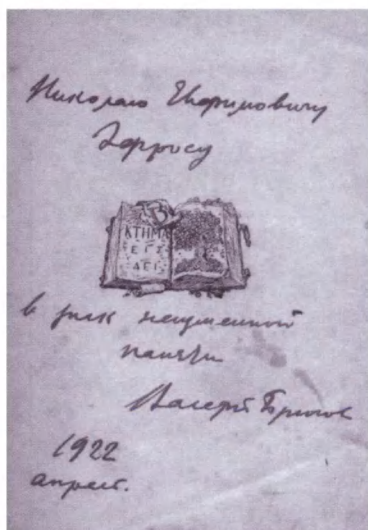


Вадим Шершеневич.
1924 г. Собрание
В. А. Дроздова



Сборник «Валерию Брюсову». 1924 г.
Обложка по рисунку К. Ф. Юона

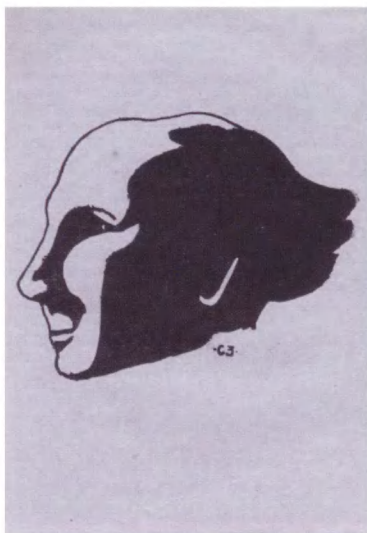
Дарственная надпись
Валерия Брюсова Николаю Эфросу
на книге «Миг». Апрель 1922 г.
Собрание В. Э. Молодякова



Кантата «На смерть Ленина»
на слова Валерия Брюсова.
1924 г.

Книга Валерия Брюсова
«Меа». 1924 г.





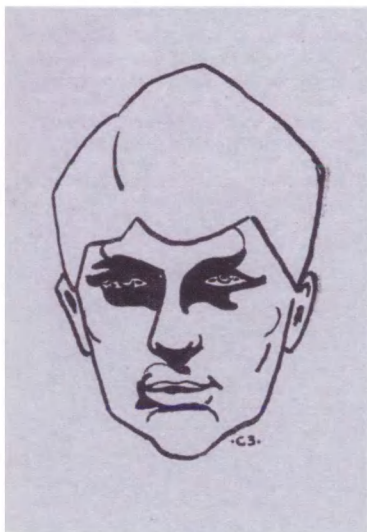
Андрей Белый



Илья Эренбург

Рисунки Сергея Залшупина из книги Федора Иванова
«Красный Парнас». Берлин, 1922 г.

Сергей Есенин



Александр Кусиков





Валерий Брюсов на смертном одре. Рисунок Т. А. Мавриной.
Октябрь 1924 г. Собрание Б. Н. Романова

Надгробие Валерия Брюсова на Новодевичьем кладбище.
Скульптор Н. А. Андреев. Открыто 9 октября 1926 г.



радуги» показались «нескончаемой цепью строф, странно схожих и странно не зацепляющихся за память»: «Не слитый с миром событий, поэт бессилен приобщиться к миру чувств. Какой принужденностью, какой неинтересной риторикой веет от его описания любовных чувств. [...] Воображение Брюсова перестало рисовать образы; оно их мыслит наскоро, оно по ним пробегает, как по таблице с выкладками, и находит в них только средство для воссоздания очередной схемы» (51).

Диссонансом прозвучала статья Вячеслава Иванова «О творчестве Валерия Брюсова», содержащая помимо высоких оценок интересные, хотя и спорные утверждения: «Брюсов-лирик — фаталист в своем восприятии земной жизни и жизни загробной, в переживаниях любви и страсти, в воспоминаниях о прошлом человечества и в гаданиях о временах грядущих. [...] Глубочайшая и сокровенная стихия этого лиризма — лунная, как будто женская одержимая душа обитает в мужском, юношеском теле этих чеканных словесных форм. [...] Брюсов-романтик даже в самые трезвые минуты своего поэтического созерцания и в самых кристаллически-прозрачных, безусловно классических по манере и по завершенности созданиях, — романтик и при случае, по прихоти или склонности, чернокнижник, но никогда не мистик и даже по своему мирозерцанию не символист, — если символизм понимается не как прием образительности, а как внутренний принцип поэтического творчества» (52). Не берусь судить о «женском» или «мужском» характере брюсовского лиризма (Бальмонт и Чуковский считали его «мужским»), но утверждение о «лунной стихии» оспаривают стихи самого Брюсова. Луну он всегда воспринимал негативно: вспомним хотя бы стихотворение «Лунный дьявол» во «Всех напевах» и цикл «Под мертвою Луной» в «Зеркале теней».

«Вячеслав Великолепный» послал другу корректуру, пояснив: «Желанна ли тебе эта статья или нет, я лично не смею решать, но ни за что не хотел бы, чтобы она увидела свет, если она тебе не желанна», — и попросил отметить на полях «частные определения, которые тебе не по душе в этой попытке беглой синтетической характеристики». «Кое с чем ты просто не согласишься — и знать это для меня лично и любопытно и важно». Брюсов ничего не возразил, понимая, что дело не в определениях, а в разности мировоззрений: «Какое же может быть сомнение, что мне *дорого все*, что Ты найдешь нужным сказать обо мне! [...]

Твою статью я прочел, со спокойной уверенностью, что все сказанное Тобою должно быть сказано (по крайней мере в данный день). И теперь могу только еще раз и очень благодарить Тебя за написанные строки и за всю Твою речь на «том» вечере. Знаю, что Ты мог бы сделать мне много укоров, которых нет в статье, но верю, что их сегодня не следовало делать. А за всё сказанное опять и опять благодарю дружески» (53).

Пожалуй, самый восторженный отзыв о «Семи цветах радуги» оставил Ваан Терьян, ведущая фигура армянской символистской поэзии, чьи юношеские опыты Брюсов отметил десятилетием раньше. Благодаря автору за присылку книги, «которая, наконец, после стольких скитаний дошла до меня»*, Терьян писал: «Новая книга уже издавна любимого поэта вызывает чувства, напоминающие те, которые овладевают человеком при встрече с издавна любимой женщиной после долгой разлуки. В ней со всем тем, что было тебе дорого и мило, находишь и новое, и она уже по-новому тебе мила, точно вся она новая, и та и не та, и любовь так глубоко освежена! Вот так я и встретил Вашу прекрасную книгу, где вместе со всем тем, что было мне мило в Вашей поэзии, так много освежающего!» (54). Терьян переводил Брюсова (как и Брюсов — Терьяна) и вдохновлялся его творчеством, о чем свидетельствуют стихотворные записи армянского поэта в четвертом томе *ПССП* (собрание В.Э. Молодякова).

Предсказать реакцию врагов было нетрудно. В выпадах Айхенвальда звучали знакомые мотивы: «Истинная поэзия — неопалимая купина, зажженная рукою не человеческой; между тем у Брюсова — только искусственная, электрическая свеча, слишком явное порождение новейшей техники» (55). Над книгой поглумился Лернер, ранее издевательски откликнувшийся на прекращение *ПССП* (56). Брюсов даже хотел предать гласности свои отношения с критиком, некогда писавшим ему льстивые письма, но передумал (57). Парнок опубликовала в «Северных записках», где Брюсова не любили, памфлет против «Семи цветов радуги», «созданных последними усилиями ослабевающей воли», и написанного Брюсовым в 1914–1916 годах окончания «Египетских ночей» Пушкина, в котором видна «несомненная ловкость фальсификатора» (58). «Есть опре-

* Известны два экземпляра этого сборника с инскриптами Брюсова Терьяну; видимо, один не дошел до адресата.

деленная группа литераторов, зарабатывающих хлеб насущный регулярным руганием Брюсова», — констатировал Сергей Бобров (59)... который сам через несколько лет окажется в их числе.

Результаты этого эксперимента однозначно понравились только Горькому: «Читал и радостно улыбался. Вы — смелый, и Вы — поэт божией милостью, чтобы ни говорили и ни писали люди “умственные”» (60). Последние слова относились к Парнок, писавшей: «Может быть, Брюсов, сам столь скупой одаренный вдохновением, станет вдохновительным образом для чьего-нибудь творческого воображения. Кто знает, — может быть, будет написан новый Сальери, не тот великий Сальери, у которого был свой Моцарт, а Сальери — вечный жид, для которого Моцарт — опасность гения — скрыт даже в футуристе». Историки литературы отметили влияние этого текста на мемуары Цветаевой.

Ходасевич дал корректный отзыв о «Египетских ночах»: «Многие стихи звучат воистину по-пушкински», — хотя лукаво заметил: «Одной из очаровательных черт “Египетских ночей” (Пушкина. — В.М.) было то, что они не кончены» (61). Жирмунский детально разобрал опыт Брюсова с филологической точки зрения, придя к выводу, что он «представляет любопытный факт своеобразного истолкования одним поэтом органически ему непонятного замысла другого поэта. Брюсов старается освоить Пушкинский отрывок с помощью привычных ему эстетических категорий, превратить поэму Пушкина в новую эротическую балладу Брюсова» (62). Самый неутешительный вердикт вынес Константин Мочульский, которому было посвящено первое издание книги Жирмунского: «Законченные им “Египетские ночи” производят впечатление античного торса с приделанными к нему восковыми руками и ногами. Но влечение его — безнадежное и упорное — к Пушкинскому мастерству — крайне показательное» (63).

Глава пятнадцатая **«СНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»**

1

Брюсова всегда привлекал Древний Рим: избрав его изучением профессией, он мог бы стать выдающимся ученым. «Даже Греция близка мне лишь постольку, поскольку она

отразилась в Риме, — признался он Волошину. — [...] Антонины* для меня золотой век человечества и латинской литературы» (1). Однако его интерес не ограничивался эпохой Антонинов и переводом «Энеиды»: «Я пленен не авторами золотого века, не многословным Овидием и не Вергилием, который, конечно, великолепен, а позднейшими писателями IV века. По-моему, они не только не уступают тем, но восходят даже на ступень большего совершенства» (2).

Дебютом Брюсова в этой области стали очерки о римских поэтах IV века Пентадии и Авсонии (принятое тогда написание: Авзоний) — первые серьезные исследования о них в России — и переводы их стихотворений (Русская мысль. 1910. № 1; 1911. № 3) (3). Оттиск статьи об Авсонии «Великий ритор» автор послал в журнал «Гермес», посвященный античной истории и филологии. Редактировавший его профессор Александр Малеин первым из специалистов оценил работу Брюсова, одновременно указав на некоторые ошибки (4), и пригласил его к сотрудничеству. Валерий Яковлевич с радостью согласился, даже не попросив гонорара. В восторг пришел Бартенев: «Уж как я Вам благодарен за Авзония! Прочел его с истинным удовольствием и с радостью за Вас, что Вы одарены таким биографическим талантом. Я думаю, никто у нас лучше Вас не знает IV век, и какое у Вас мастерство не утомлять читателя избытком того, что Вы знаете, а художественно пользоваться оным для изображения избранного Вами лица. Усердно призываю Вас продолжать Ваши труды на этом поприще. Вот как следует написать биографию Тютчева» (5). Иного мнения был Лернер, назвавший Авсония графоманом, а Брюсова компилятором, выразительно добавив: «Автор знаменитого стихотворения “О, закрой свои бледные ноги!” (это все стихотворение) сочувственно переводит из Авсония “Рим”: “Рим золотой, обитель богов, меж градами первый” (это тоже все стихотворение)» (6).

Брюсов не просто изучал Авсония, но «облюбовал именно эту эпоху потому, что она до известной степени гармонировала с развитием его собственной литературной деятельности. Автор, стремившийся проложить новые пути в поэзии и избиравший для этой цели иногда довольно необычные приемы, естественно, должен был остановиться на том времени, когда в римскую поэзию вошли, по его

* Династия римских императоров, правившая в 96—192 годах. Ср. «Мои прадеды Антонины...» в пародии С. Горного.

собственным словам, “новые веянья, новые идеи и новые приемы творчества”» (7). Разделенных шестнадцатью веками поэтов сближало и отношение к религии: возвышенный христианским императором Грацианом, Авсоний старался казаться христианином, оставаясь язычником в душе и в творчестве (кроме заказных произведений), хотя «некоторые христианские мотивы и, пожалуй, идеи просочились в его сознание, не вытесняя старых языческих верований и мирно уживаясь с ними. [...] Глубокое подчинение античности — первый пункт, который отличает его от христианства в собственном смысле слова» (8). Этот вывод сделал историк Юрий Иванов — переводчик Авсония (под псевдонимом «Юрий Дьяков» в журнале «Гермес»), автор стихов, отмеченных влиянием Брюсова («Augea Roma» в «Сборнике студенческого литературного кружка при Казанском университете»), и внучатый племянник Достоевского. Получив от Иванова в мае 1916 года оттиск его статьи о религиозном миросозерцании Авсония, Валерий Яковлевич, судя по пометам, внимательно прочитал ее.

«Сейчас я весь предался Риму, — сообщал Брюсов Измайлову 2 мая 1911 года, — именно IV веку, с времен Константина Великого до времен Феодосия Великого. Мой “Авзоний” только одна из длинного ряда задуманных статей. Ближайшая будет называться “Рим и мир” и будет говорить о *международных* отношениях империи (с Персией, Индией, Китаем и т.д.). В то же время пишу *роман* из той же эпохи (времена императора Грациана) — “Алтарь Победы”» (9). Книга «Augea Roma. Золотой Рим. Очерки жизни и литературы IV века по Р.Х.» анонсировалась в 1911–1913 годах как «печатающаяся», но так и не была написана: романист взял верх над историком.

Какую книгу задумал Брюсов? В одном из вариантов предисловия он пояснил: «Я не имею претензий открыть что-либо новое ученому миру. В моем распоряжении нет данных, которые не были бы ранее использованы в исторической литературе. Но я полагаю, что за пределами круга ученых специалистов, которые посвятили себя изучению последних веков Рима, есть еще достаточно обширный круг читателей, которые интересуются жизнью прошлых веков. [...] Я постоянно имел в виду читателя не-специалиста, но, конечно, подготовленного к чтению исторических сочинений» (10). «“Золотой Рим” должен быть рабочей компилятивной», — отметил М.Л. Гаспаров, уточнив: «Компилятивность не исключает, конечно, наличия объе-

диняющей концепции. Концепция у Брюсова есть, и она — апологетическая. [...] *“IV век был веком высшего расцвета римской идеи, когда римский мир пожинал плоды посеянного; то была эпоха, когда не надо было ни завоевывать, ни организовывать, ни искать, но удерживать завоеванное, сохранять сделанное, углублять найденное в искусстве и литературе”**; и только с V века началось падение. Что это была за “римская идея”, которая достигла полного развития в IV веке и которая определяет своеобразие и самоценность римской культуры в смене мировых культур? Это — идея власти, идея организации. Такая мысль не нова, но редко она утверждалась с таким пафосом, с каким прославляет ее Брюсов, вечный поклонник власти и организации. Для него привлекательна не империя Антонинов с ее дробным муниципальным строем, а именно империя IV века с ее сквозной иерархической бюрократией. *“Административный строй IV века надо признать высокооригинальным созданием своей эпохи. В этом строе, в котором бюрократизм достиг высшего своего развития, Рим доказал свою способность к творчеству новых форм. [...] Строй, созданный IV веком, стоит перед нами как создание цельное, законченное, строго логическое”*. [...] Этот редкостный апофеоз бюрократического строя с эстетической точки зрения крайне характерен для брюсовского подхода к истории» (11).

Римские штудии, как и остальные работы Валерия Яковлевича, связанные с исторической проблематикой, были формой познания современности. Для историографии их значение, возможно, невелико, но как опыт историсофии они представляют интерес. «Римская идея» не случайно присутствует в политических статьях и стихах Брюсова о современности. Выходя за пределы дозволенного биографу, замечу, что ему было бы о чем поговорить с Юлиусом Эволой, главным трибуном римской идеи и «языческого империализма» в XX веке: последняя формула звучит настолько по-брюсовски, что удивительно не встретить ее в набросках к «Золотому Риму». Сошлись бы они и во взглядах на христианство, хотя Эвола был его радикальным отрицателем. М.Л. Гаспаров писал о Брюсове: «Христианство ему не импонирует, оно неприятно ему тем, что оно в лице Амвросия и других энергичных епископов вмешивается в дела власти и подрывает ту монолитную цель-

* Для удобства чтения текст Брюсова внутри цитаты Гаспарова выделен курсивом.

ность монархического строя, которая так пленяет Брюсова в IV веке. Только когда христианство само переймет у языческого Рима его идею власти и организации, тогда Брюсов переменит свое к нему отношение». Отношение, можно добавить, политическое и эстетическое: в душе он предпочитал иных богов. Как Авсоний...

План книги был таков: «Предисловие. Перечень источников: а) Античные писатели; в) Писатели нашего времени. Глава I. Империя в IV веке. 1. Пределы империи. 2. Международные сношения. 3. Внутренняя торговля. 4. Блеск городов. 5. Рим. Глава II. Администрация. 1. Священная иерархия. 2. *Non ossine labore**. 3. Стро[й?] общ[ественный?]. 4. Организация армии. 5. Налоги и доходы. Глава III. Быт и жизнь. 1. Общество. 2. Одежда. 3. Повседневная жизнь в высших классах. 4. Любовь. 5. Семья. 6. Увеселения. Глава IV. Борьба за религию. 1. Исторический очерк успехов христианства в IV в. 2. Религия отцов. 3. Разрушение храмов. 4. Пережитки политеизма в IV и V веках. 5. Влияние язычества на христианство, на литературу, искусство etc. 6. Победенный Юпитер победил. Глава V. Наука и искусства. 1. Наука. Математика, естествознание, география. 2. Архитектура. 3. Живопись и скульптура. 4. Музыка и др. Глава VI. Литература. 1а. Интерес к литературе. 1в. Вкус того века. 2. Писатели и их круги (в Риме). 3. Стихотворные сборники, романы. 4. Письмо. 5. История. Глава VII. Формы поэзии. 1. Вкус того века. 2. (пропуск — В.М.). Глава VIII. [Правительство и общество. 1. Священная иерархия. 2. *Nonos sine labore*. 3. Строй общества. Классы. 4. Организация армии]. Глава IX. Причины падения» (12).

Материалы к «Золотому Риму» вводят нас в творческую лабораторию Брюсова: «разрозненные выписки и заметки, систематизированные и разложенные по бумажным обложкам с наименованием глав. Можно различить три типа этих заметок: а) карандашные записи по ходу чтения той или иной книги на разные темы, в последовательности страниц книги; б) чернильные записи, систематизирующие эти выписки по темам: листы с заглавиями “Города”, “Дороги и акведуки”, “Гражданское управление империей”, “Налоги”, “Костюм”, “Пороки”, “Суеверия” и т. п., и на каждом — выписки из разных книг; в) наброски связного изложения, обычно в начале глав: текст их идет легко, но недолго и скоро опять рассыпается на разрозненные заметки».

* Честь без труда (*лат.*).

Замысел книги вырос из материалов к роману «Алтарь Победы», а от «Золотого Рима», в свою очередь, отделились замыслы антологии «Осенние цветы римской поэзии» и перевода «Эвхаристикона Богу» Павлина из Пеллы (считавшегося внуком Авсония), которому Брюсов хотел дать подзаголовок «Исповедь неудачника IV века». Оба труда не продвинулись дальше набросков, но в 1916–1917 годах Валерий Яковлевич вместе с Сергеем Шервинским начал готовить книгу статей и переводов из поэзии Рима, уделив особое внимание «младшим богам». «Почему привлекло Брюсова это хрестоматийное предприятие? — писал М.Л. Гаспаров. — Во-первых, потому что интерес к забытому и малоизвестному был в духе эстетизма того времени: восторгаться Авсонием и Кальвом было изысканней, чем восторгаться школьным классиком Вергилием. Во-вторых, потому что брюсовская концепция самоценных культур особенно ярко демонстрировалась не на творчестве великих классиков, уже ассимилированных новым временем, а на творчестве малых поэтов, более доступным свежему восприятию». Сказанное применимо и к Каролине Павловой, изучением и изданием наследия которой он занимался несколько ранее. «Венка» из «римских цветов» Брюсов не сплел, но отдельные переводы появились в журналах, другие составили сборник эротических стихов «*Erotopaegnia*»*, вышедший в 1917 году, после отмены царской цензуры и до введения советской. Кроме «Алтаря Победы», материалы «Золотого Рима» легли в основу курса лекций «Рим и мир (падение Римской империи)» для народного университета им. А.Л. Шанявского.

Если применительно к «Огненному ангелу» слова Когана о «научном исследовании, испорченном приемами романиста» и «романе, испорченном приемами исследователя» были несправедливы, то к «Алтарю Победы» они подходят больше. «Его мечта — отметил Измайлов в отклике на первые главы, — действительно написать свой рассказ возможно ближе к тем тонам, в каких написал бы его римский писатель четвертого столетия. Не ищите поэтому легкости современного рассказа, живого, быстрого темпа в повести Брюсова. Ее язык почти намеренно тяжело-ват**.

[...] Для него почти главное — историческая точность

* «Любовные игры» (лат.).

** Брюсов латинизировал даже принятые в русском языке слова: «ретор» вместо «ритор», «таберна» вместо «таверна».

описаний, верность цитаты из какого-нибудь поэта, правильность понимания древних порядков и обыкновений. И в этой стороне он безупречен» (13). Все же рецензенты сочли роман сложным и скучноватым (14). Возможно, холодный прием помешал Валерию Яковлевичу закончить второй роман о Риме «Юпитер поверженный», впервые опубликованный в 1934 году.

Заметным событием литературной жизни стало чтение Брюсовым 19 января 1912 года в Обществе свободной эстетики перевода четвертой песни «Энеиды». «Чтение 700 с лишним стихов — перевод сделан стих в стих — заняло больше часу, и, несмотря на такую продолжительность, слушатели, наполнившие залу, следили за ним с неослабным вниманием, так ярки краски перевода» (15). Как одну из примет времени его описал Константин Липскеров в поэме «Другой», интересном опыте московской гофманианы, созданном зимой 1916/17 года:

Блестит над сумрачным сукном
Лоб острый Брюсова. Кругом
Маячат призрачные лица,
Недвижной бабочкой лучится
Взор Белого. Среди седин
Классиковедающих, шорох
Усталых юношей, которых
Воспел насмешливо Кузмин.
И в черном, в желтом и в лиловом,
Превознесенные Серовым, —
В строках упорных и тугих,
Москвы отобранные жены
Внимают ропоту Дидоны,
Из мглы доплывшему до них.

Перевод «Энеиды» был для Брюсова делом жизни. Готовя первые книги для издательства Сабашниковых, он поставил на титульном листе: «Иоанне Матвеевне Брюсовой, доброй помощнице, этот труд многих лет посвящает Валерий Брюсов» (16). Опыты предшественников он отверг как «вольные и часто неверные пересказы», опрощающие оригинал, и задался целью передать Вергилия с максимальной точностью, сохранив все многообразие его поэтических приемов и словесной инструментовки, включая непривычные для русского слуха ударения вроде «Гéкуба» и «Пáллада». Несмотря на упорную многолетнюю работу, он перевел лишь половину текста. Посмертно пере-

вод был ославлен как образчик буквализма. Не считая себя компетентным для оценки этой работы, ограничусь указанием на необходимость ее переиздания и внимательного изучения, которое критики подменяли выхватыванием отдельных неудачных строк (17).

2

Незавершенные работы Брюсова могут быть не менее значимы, чем завершенные. Пример — рассчитанное на несколько томов собрание стихов «Сны человечества», целью которого было «представить *все* формы, какие прошла лирика у *всех* народов во *все* времена (курсив мой. — В.М.)». Книгу (поначалу называвшуюся «Зеркало теней») он задумал в 1909 году, но только через два года начал писать ее и нашел окончательное заглавие, которое внес в проспект ПССП. 14 ноября 1913 года в «Эстетике» Брюсов рассказал о проекте, признав: «Здание, воздвигаемое мною, так велико, что я не знаю, успею ли я его достроить», — и прочитал подборку стихотворений «от примитивных песенок дикарей [...] до баллад романтизма» (18).

Сначала Валерий Яковлевич думал создать антологию переводов типичных произведений всех эпох и народов, однако вскоре отказался от этого. Уже в первом варианте предисловия говорилось: «Моей задачей было именно дать собрание произведений *художественных*, которые представляли бы не только исторический интерес, но и чисто художественный интерес. Я хотел не только дать книгу для изучения, но и для чтения. Хотел, чтобы читатель не только мог ознакомиться с поэзией прошлых эпох, но и почувствовать ее непосредственно» (19). Брюсов выработал план книги и знал, чего хотел, но колебался в отношении метода: «Мне хотелось бы перенять не столько внешности различных образов лирики, сколько их дух». Единая схема, единый метод тут были невозможны. Даже если бы он написал все задуманные тексты, они не могли быть в равной степени удачны. Что удалось ему? Не берусь судить, но стилизации японской поэзии понравились уже первым слушателям:

Устремил я взгляд,
Чуть зашелкал соловей,
На вечерний сад;

Там, средь сумрачных ветвей,
Месяц — мертвого бледней.

По волнам реки
Неустанный ветер с гор
Гонит лепестки.
Если твой я видел взор,
Жить мне как же с этих пор?

Это первые оригинальные *танка* на русском языке, увидевшие свет.

Брюсов осуществил примерно десятую часть своего плана — невольно вспоминается его стихотворение «Десятая часть»:

Что ж пряжу мгновений, теперь, как вначале,
Еще мы упорно стараемся прясть?
Совьется желаемой нити — едва ли
Десятая часть!

25 стихотворений из задуманной книги вошли во второй сборник «Сирин», вышедший в декабре 1913 года. Весной 1914 года автор, исключив «Сны человечества» из ПССП, отослал готовые тексты «Сирину» как «выпуск первый» для отдельного издания, но оно не состоялось. Готовя в 1916—1917 годах собрание сочинений, он составил новый вариант книги, увидевший свет только в 1973 году, хотя еще в начале 1930-х годов Иоанна Матвеевна передала «Сны человечества» Издательству писателей в Ленинграде и заключила с ним договор. Добавлю, что после революции Брюсов задумал книгу рассказов, основанных на подлинных фактах из жизни разных эпох и народов, — прозаический аналог «Снов человечества». Он написал предисловие и перебирал варианты заглавия: «Кинематограф столетий», «В подозрную трубу веков», «Отражения времен» — но этим дело и ограничилось (20).

Просветительская деятельность Брюсова привлекла внимание Горького, вернувшегося в 1914 году из эмиграции и годом позже основавшего в Петрограде издательство «Парус». Для властей «буревестник» оставался неблагонадежным, поэтому владельцем «Паруса» числился литератор Александр Тихонов, известный под псевдонимом «Серебров». Горький внес первоначальный капитал (25 тысяч рублей), но старался не афишировать свое участие в делах издательства и созданного при нем в конце 1915 года журнала

«Летопись». С началом войны он занял «пораженческую» позицию, которую не мог высказывать публично, хотя секрета из нее не делал, что породило толки о финансировании его изданий немцами (архив «Летописи» не сохранился). Среди сотрудников обоих предприятий преобладали меньшевики-интернационалисты и большевики, а также друзья и знакомые самого Горького.

Горький привлек Брюсова к работе над «сборниками по литературам племен, входящих в состав империи». Алексей Максимович думал об их издании с 1901 года, когда был одним из пайщиков, затем главным идеологом и совладельцем издательства «Знание». Через полтора десятилетия он вернулся к оставленному проекту, который в условиях мировой войны смотрелся по-иному. С одной стороны, издание «инородческих» сборников подчеркивало духовную и культурную близость народов Российской империи. С другой, оно объективно способствовало усилению сепаратистских настроений на национальных окраинах, в чем были заинтересованы Германия и Австро-Венгрия. Горький не мог не учитывать это обстоятельство. Брюсов тоже — однако согласился участвовать в деле, имевшем несомненное культурное значение. Вместе с Горьким он редактировал сборники латышской и финской литературы, увидевшие свет в июне и октябре 1917 года (21), участвовал в подготовке так и не вышедших украинского и еврейского сборников, для которых сделал ряд переводов, и вел переговоры об эстонском сборнике. Переводы Брюсова также появились в «Еврейской антологии» под редакцией Ходасевича и видного сиониста Льва Яффе (22), но, несмотря на уговоры Горького, он отказался сотрудничать с Русским обществом для изучения жизни евреев, деятельность которого вызывала неприятие многих литераторов (23).

Горький дорожил сотрудничеством Брюсова — именитого литератора, хотя и из противоположного политического лагеря. 3 октября 1916 года Тихонов писал Валерию Яковлевичу: «До сих пор от более близких отношений с Вами [...] нас удерживала — чтобы быть вполне откровенным — Ваша близость к “Русской мысли” — журналу, с которым мы находимся в коренном принципиальном несогласии, — конечно это обстоятельство остается, по-видимому, в силе и по сие время, — но тем не менее год совместной с Вами работы дал мне смелость думать, что и у “Летописи” найдется с Вами также немало общего, особенно в области ли-

тературы и критики, и что союз наш в этой области был бы возможен и плодотворен» (24).

В начале 1917 года Горький послал к Брюсову своего помощника по издательским делам Зиновия Гржебина для переговоров о выпуске собрания сочинений в десяти томах. В мае договор был подписан, и Валерий Яковлевич взялся за подготовку рукописей, не упустив случая заново выправить тексты. Тогда же он согласился принять на себя редактирование собрания сочинений Верхарна в восьми томах. Не прошло и года, как издательство «Парус» из-за финансовых и типографских трудностей свернуло работы, а принадлежавшие ему авторские права выкупил Гржебин. Пользуясь бедственным положением писателей, он скупал их рукописи за стремительно обесценивавшиеся бумажные деньги, не издавал сам и не давал издавать в других местах. Летом 1919 года Гиппиус назвала его «прирожденным паразитом и мародером интеллигентской среды», пояснив: «У него есть как бы свое (полулегальное, под крылом Горького) издательство. Он скупает всех писателей с именами, — скупает “впрок”, — ведь теперь нельзя издавать. На случай переворота — вся русская литература в его руках, по договорам, на многие лета, — и как выгодно приобретенная! Буквально, *буквально* за несколько кусков хлеба» (25). Брюсова это не коснулось — обязательств перед Гржебиным у него не было. Несколько лет тот уверял, что выпустит собрание сочинений Валерия Яковлевича, но сотрудничество ограничилось изданием сборника «Миг» в 1922 году.

3

Общение с Горьким принесло неожиданные плоды. Весной 1915 года к Алексею Максимовичу обратились представители созданного в начале войны Московского армянского комитета («Парус» готовил «Сборник армянской литературы») с просьбой указать подходящего редактора для большой антологии армянской поэзии, перевод и издание которой они были готовы финансировать. Горький назвал Бунина и Брюсова, особо рекомендовав второго. 26 июня Карен (Герасим) Микаэлян, Александр Цатурян и Погос (Павел) Макинцян обратились к Валерию Яковлевичу. Искренне удивленный, тот ответил отказом, сославшись на полное незнание предмета — и, в глубине души, не понимая, зачем это ему нужно. Гости настаивали, и он согла-

сил ся просмотреть приготовленные материалы (переводы на русский и французский языки, подстрочники, книги по истории и литературе Армении), попросив не торопить его с ответом.

При следующей встрече Брюсов буквально заключил гостей в объятия, объявив, что согласен. 2 июля он начал заниматься с Макинцяном армянским языком и вскоре приступил к отбору текстов и переводчиков для задуманной антологии. Итогом стала «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» под его редакцией, увидевшая свет в конце августа 1916 года (26). В предисловии редактор объяснил, почему взялся за работу: «Побудить к этому могло лишь одно: то, что в изучении Армении я нашел неиссякаемый источник высших, духовных радостей, что как историк, как человек науки я увидел в истории Армении — целый, самобытный мир, в котором тысячи интереснейших, сложнейших вопросов будили научное любопытство, а как поэт, как художник я увидел в поэзии Армении — такой же самобытный мир красоты». История книги подробнейшим образом исследована армянскими учеными (27), вклад которых в изучение жизни и творчества Брюсова и особенно в сохранение памяти о нем можно оценить только в превосходной степени, а перечисление их работ заняло бы много страниц. Суммируем главное.

В этом проекте Брюсов в полной мере проявил себя как организатор, переводчик, редактор, составитель, исследователь и популяризатор. Критически пересмотрев имевшиеся переводы, он пришел к выводу, что практически все надо делать заново, и привлек к работе лучших русских переводчиков: Балтрушайтиса, Бальмонта, Блока, Бунина, Верховского, Вяч. Иванова, Сологуба, Ходасевича — а также молодых литераторов: Ашукина, Сырейщикову, Шервинского. Он просил, уговаривал, подсказывал, ободрял, торопил. Все работали с подстрочниками, и только Брюсов за несколько месяцев интенсивных занятий овладел армянским настолько, что мог читать, писать и вести несложный разговор, а для перевода требовал не только подстрочник, но и оригинал. Знание языка и постоянные консультации с Микаэляном и Макинцяном позволили тщательно отредактировать переводы и добиться общего высокого уровня, хотя отдельные неудачи были неизбежны. Книгу Брюсов выстроил как единое целое, создав эталон антологии национальной поэзии, а его собственные переводы были признаны образцовыми, прежде всего самими армянами. Всту-

питательную статью он тоже взял на себя и создал первый в России концептуальный, сжатый и в то же время информативный очерк истории армянской поэзии, переведенный в 1923 году на армянский язык. Хорошая работа была хорошо вознаграждена — в общей сложности он получил более трех тысяч рублей.

Не ограничившись поэзией, Брюсов изучал историю Армении. Увидев в ней точку соприкосновения цивилизаций Запада и Востока, он считал примирение, а затем синтез двух культурных миров исторической миссией армянского народа:

Да! Вы поставлены на грани
Двух разных спорящих миров...
... Вновь твоя живая лира,
Над камнями истлевших плит,
Два чуждых, два враждебных мира
В напеве высшем съединит!

Это важный момент в эволюции брюсовской историософии. Итогом стала «Летопись исторических судеб армянского народа» — первая обобщающая работа на данную тему на русском языке — законченная осенью 1916 года и выпущенная Московским армянским комитетом в 1918 году (28).

Брюсов понимал, что предпринятый под его руководством труд «впервые открывает русским читателям целый мир — мир древней армянской поэзии, представляющий, на мой взгляд, огромный художественный интерес», как он писал Измайлову 18 октября 1916 года, прося о рецензии (29). Никакая «инородческая» антология, включая издания Горького, не получила такого резонанса и не имела такого научного и культурного значения, как «Поэзия Армении». Геноцид армян в Османской империи в апреле 1915 года вызвал сочувствие в России, но там слишком мало знали об Армении, чтобы в полной мере понять и оценить трагедию. Обращение Московского армянского комитета к Горькому и Брюсову диктовалось стремлением не только донести до русского общества правду о случившемся, но и рассказать ему об армянах и их древней, богатой традициями христианской культуре. Эта цель была достигнута в полной мере.

Пятнадцатого октября 1915 года Брюсов читал в «Эстетике» лекцию об армянской поэзии: «Сегодня перед нами открываются доселе закрытые для нас двери прекрасного

цветущего сада». Кроме него переводы читали Балтрушайтис, Бальмонт, Верховский и Вяч. Иванов. Кавказское общество армянских писателей пригласило повторить лекцию в Закавказье. 8 января 1916 года Валерий Яковлевич выступал в Баку, 13 и 22 января в Тифлисе, 18 января в Эривани (дважды в один день) — везде с исключительным успехом (за ним даже следила полиция) — «читал лекции армянам, поучая их красотам и богатствам их родной поэзии» (30). 17 января в Эчмиадзине его принял и благословил католикос всех армян Кеворк V. Брюсов познакомился и подружился с ведущими армянскими поэтами, которых знал по стихам, — Иоаннесом Иоаннисяном, Ованесом Туманяном, Вааном Терьяном. Поездка дала ему новый творческий импульс: он написал цикл стихов «В Армении» (символично, что туда попали впечатления от Тифлиса и Баку) и с удвоенной энергией принялся за окончание работы над антологией.

«Поэзия Армении» была встречена единодушным одобрением и признана большим вкладом в *русскую* литературу. Ученый-арабист Игнатий Крачковский писал Брюсову: «Ни в России, ни в Европе (насколько я знаю) ни одна восточная поэзия не представлена в таком образцовом издании, литературно-изящном и в то же время научно-добросовестном». Однако строгий редактор не останавливался на достигнутом. «Многое в нем, — писал он о сборнике 20 ноября 1916 года Иоаннисяну, — не так хорошо, как того хотелось бы; многого недостает, кое-что и неверно, но силы человеческие ограничены. С чистой совестью могу сказать, что я сделал, что мог. Постараюсь позже сделать лучше и более достойное Вашей прекрасной родины, с которой сживаюсь все теснее». Брюсов не бросал слов на ветер. Через несколько месяцев после выхода книги он задумал второе издание: пересмотрел композицию и внес правку в свой очерк, уточнил факты и оценки (исправления учтены во втором издании, вышедшем в Ереване в 1966 году). 15 февраля 1917 года составил записку об издании прозаической антологии «Айастан» и подал ее в Московский армянский комитет. Из-за начавшейся революции оба проекта не осуществились (31).

Семнадцатого января 1917 года Брюсов приехал в Баку для чтения лекций «Эмиль Верхарн и героическая Бельгия», «Учители учителей» и «Общественные воззрения в поэзии Пушкина». В газетах много писалось о «Поэзии Армении», которую закавказская интеллигенция уже читала. Здесь же состоялось его примирение с Игорем Северянином.

Брюсова упрекали в заигрывании с футуристами. Читавший субординацию, но не делавший из нее культа, он весной 1911 года послал Северянину, с которым не был знаком, письмо и свои книги с дарственными надписями. «Не знаю, любите ли Вы мои стихи, — писал Валерий Яковлевич, — но Ваши мне положительно нравятся. Все мы подражаем друг другу; молодые старикам, а старики — молодежи, и это вполне естественно». «В письме ко мне Брюсова и в посылке им своих книг таилось для меня нечто чудесное, сказочному сну подобное, — вспоминал Северянин, приведя эту цитату, — юному, начинающему, почти никому не известному поэту пишет совершенно исключительное по любезности письмо и шлет свои книги поэт, достигший вершины славы» (32). Брюсов посвятил молодому собрату несколько стихотворений, похвалил его первую большую книгу «Громокипящий кубок» и пригласил выступить в «Эстетике».

Поэты оставались добрыми знакомыми, пока не появился критический отзыв Брюсова о «Златолире», составленной из старых стихов, которые Северянин не включил в первую книгу. Игорь Васильевич обиделся и обвинил критика в... зависти:

Вы, чьи стихи как бронзолывы,
Вы поступаете бесславно.
Валерий Яковлевич! Вы —
Завистник, выраженный явно.

«В ту пору я не мог поступить иначе, — оправдывался позже Северянин, — больше всего опасаясь, что мое молчание могло бы быть истолковано как боязнь перед “авторитетом”». Брюсов рассердился и ответил, но не в статье о поэзии Северянина — выдержанной и объективной, хотя и строгой, — а в примечании к ней: «Любопытно, в чем бы я мог “завидовать” Игорю Северянину. Мне было бы стыдно, если бы я оказался автором “Ананасов [в шампанском]”, и мне было бы обидно, если бы я сделался объектом эстрадных успехов, выпавших на долю Игоря Северянина». Статья вошла в выпущенный с рекламными целями сборник «Критика о творчестве Игоря Северянина», но личные отношения между поэтами порвались.

В январе 1917 года Северянин и его друг Георгий Шенгели выступали в Баку и остановились в той же гостинице, что и Брюсов. «Северянин, — вспоминал Шенгели, — по-

желал помириться с Брюсовым. Но, будучи болезненно-гордым и самолюбивым человеком, больше всего опасаясь подозрений в робости или заискивании, он боялся сделать первый шаг — и возложил на меня дипломатическое поручение: пойти к Брюсову, разведать его нынешнее отношение к Игорю и постараться устроить “случайную встречу”, при которой они могли бы объясниться. [...] Брюсов был слишком крупным человеком, чтобы его можно было оскорбить экивоками и намеками. Я сказал просто:

— Северянин хочет с вами объясниться и помириться, но ему страшно, что вы превратно поймете его решение. Я должен вас заманить куда-нибудь, где вы с ним встретитесь.

Брюсов улыбнулся своей доброй улыбкой и сказал:

— Какие глупости! Я охотно сам к нему пойду. Идемте.

Он пружинно поднялся, аккуратно убрал свою работу и, предводимый мною, прошел в номер к Северянину. Северянин не ожидал столь быстрого успеха моей миссии. Побледнев, он встал навстречу Брюсову. Они обнялись. Я ретировался в свой номер, не желая мешать объяснению.

Через час ко мне постучался официант и сказал, что меня просят в ресторан при гостинице. Я спустился. В особой ложе ресторанный зал за накрытым столом сидели, оживленно и дружелюбно беседуя, Брюсов и Северянин» (33). Рассказав этот случай в стихах:

Нежны берсеус'ные рессоры —
Путь к дорожному «кабаку».
В нем наша встреча, — после ссоры, —
Меж наших вечеров в Баку...
Походкой быстрой и скользящей,
Мне улыбаясь, в кабинет
Вошли Вы, тот же все блестящий
Стилист, философ и поэт.
И вдохновенно Вам навстречу
Я встал, взволнованный, и вот —
Мы обнялись: для новой речи,
Для новых красок, новых нот! —

а затем и в прозе, Северянин не назвал имени Шенгели («до сих пор не знаю, как это произошло»). Мир был восстановлен, хотя значимых встреч больше не было. В марте 1918 года Северянин уехал в Эстонию и оказался отрезан от России. Через два года, после восстановления почтового сообщения с Москвой, он написал «светлому Валерию Яковлевичу» (34), но общение поэтов не возобновилось.

Изучение Армении в широком контексте древней истории положило начало другой работе Брюсова — исследованию взаимоотношений древнейших цивилизаций, опубликованному в 1917 году в горьковской «Летописи» под заглавием «Учители учителей». Затронутая в нем тема Атлантиды волновала автора с юности: в середине 1890-х годов он начал поэму «Гибель Атлантиды» и не раз обсуждал эту проблему с Бальмонтом. «Валерий Яковлевич был убежденный “атлантолог”, не допускавший даже возможности сомнений в существовании Атлантиды, — вспоминал Николай Рихтер. — Сомневаться в существовании Атлантиды, по его мнению, мог только человек, недостаточно в этом вопросе эрудированный или совершенно не разбирающийся в истории древнего мира. [...] Доказательства существования Атлантиды Брюсов приводил с необычайной логикой и страстностью; чувствовалось, так говорить мог только человек, который долго и упорно думал, работал над этим вопросом, мучился и страдал, когда проблемы касались люди мало осведомленные» (35).

«Атлантида», как первоначально назывались «Учители учителей», должна была стать одним из исследований «неизвестного автора», публикацию которых Брюсов обдумывал в середине 1910-х годов. Об этом грандиозном плане — и о широте его научных интересов — можно судить по перечню тем:

«1) Чистая математика. Геометрия многих измерений. Панарифметика. 2) Астрономия, геология, естественные науки, медицина. 3) Механика. Техника. 4) История I. Общие статьи. Древность. Древний Восток. Средиземноморские культуры. Классическая история. История Римской империи. 5) История II. Археология, палеография, антропология, историческая география. 6) Филология. Сравнительное языкознание. Практические вопросы различных языков. 7) История литературы. 8) История искусств. 9) Метрика и ритмика. Теория музыки. Теория пластических искусств. 10) Религия. Философия. Логика. 11) Оккультизм, магия, теософия, спиритизм. 12) Политика. Злоба дня».

Из этого списка в печати появилась только «Метрика и ритмика». Наметив более реалистический план, Брюсов разъяснял в предисловии: «Большинство читателей, прочтя подзаголовок “из бумаг неизвестного”, несомненно увидят в этом именовании не что иное, как псевдоним автора этих

строк. [...] Не надеясь окончательно переубедить таких читателей, автор этих строк считает, однако, необходимым категорически заявить, что он и “неизвестный” — две раздельные личности. Автор этих строк выступает в литературе, вот уже свыше четверти века, как художник: поэт, романист, драматург, литературный критик; “неизвестный” в течение приблизительно того же периода посвящал свои силы и внимание исключительно науке: чистой математике, естествознанию, истории, гносеологии, эстетике, а также кругу “герметических знаний”. В течение 25 лет “неизвестный” уклонялся от выступлений в печати, считая себя недостаточно подготовленным, и лишь недавно предоставил автору этих строк, как своему лучшему другу, издать некоторые из своих работ» (36).

Цикл должны были открыть «Учители учителей», за которыми предполагались «Основные положения геометрии четырех измерений», «Касание мирам иным в физике и химии», «Математические основы эстетики», «Панарифметика», «Место христианства в космосе». Кроме оставшихся в рукописи работ по математике ничего из перечисленного так и не было написано.

«Учители учителей» — образец научно-популярной литературы в лучшем смысле слова: подробное и адекватное изложение достижений науки и гипотез автора, рассчитанное на подготовленного неспециалиста. По этой книге даже больше, чем по сухой «Летописи исторических судеб армянского народа», можно представить, как выглядел бы «Золотой Рим». Загадка Атлантиды не разгадана до сих пор, поэтому судить о правоте Брюсова не берусь, но атлантологи высоко ценят его труд. Однако содержание работы, как следует из подзаголовка «древнейшие культуры человечества и их взаимоотношение», много шире. Ее основная идея воплотилась и в стихах:

Но смутно душа человека
Хранит в глубине до сих пор,
Что знали — Орфей, Пифагор,
Христос, Моисей, Заратустра, Друзиды
И мы, Пирамиды!..
Мы бросили вам семена.
Когда ж всколосится посев Атлантиды?

«Учители учителей» интересны и тем, что Брюсов первым в России приблизился к пониманию Интегральной Традиции: «Существовала традиция, шедшая из отдален-

ного прошлого, которая утверждала гораздо бóльшую древность человеческой цивилизации. [...] Опиралось такое историческое учение только на значение *предания*, на некоторые общие соображения и на доводы аналогии. [...] Можно сказать, что в начале XIX века для мыслящего человека предоставлялся выбор между двумя концепциями мировой истории. Первая концепция, быть может, преувеличивая и увлекаясь, считала сотнями тысячелетий. Она учила о четырех «расах», поочередно принимавших скипетр культурного владычества на земле: желтой, красной, черной и белой. Белая раса, господствующая ныне, признавалась поздним цветком на древе человечества, перед которым расцветали три других. Расцвет наиболее пышного из них — культуры красной расы, культуры атлантов, заложивших первоосновы всего, чем и поныне живет человечество в области духовной, — падал, согласно с традицией, на отдаленнейшие эпохи от 800—200 тысячелетий до нашей эры... Эта историческая концепция была не только объектом веры, но и предметом изучения и исследований в тех кругах ученых, которым обычно дается название оккультистов». Среди перечисленных далее имен — Фабр д'Оливе, Сент-Ив д'Альвейдр и Станислав де Гуайта, которых сегодня едва ли назовут «учеными». На их труды во многом опирался классик традиционализма Рене Генон — еще одна не встреча Брюсова — писавший и об Атлантиде.

Валерий Яковлевич не только принимал работы оккультистов всерьез, но констатировал на основании данных археологии: «То, что раньше представлялось всей “историей человечества”, оказалось лишь ее эпилогом, заключительными главами к длинному ряду предшествующих глав, о существовании которых наука долгое время не подозревала или не хотела подозревать. [...] Наука вплотную подходит ко “второй”, отвергнутой ею, концепции мировой истории, и уже принуждена логикой событий поставить перед собою проблему о существовании некоего древнейшего культурного мира, аналогичного традиционной Атлантиде». Атлантиду, существование которой обсуждалось академической наукой, он поместил в один ряд с теми цивилизациями, которые наукой не признавались: «Были лемуры, атланты и прочие». Для советского читателя своей «научной поэзии» он позже пояснил: «Лемуры — по оккультной традиции, первая раса, достигшая на земле сравнительно высокой культуры (на исчезнувшем материке в Тихом океане)».

Стремясь донести результаты своих разысканий до широкой публики, Брюсов начал сотрудничать с Московским городским народным университетом, основанным в 1908 году на средства генерал-майора в отставке Альфонса Шанявского и носившим его имя. Это необычное учебное заведение имело два отделения: научно-популярное (4 года обучения по программам среднего образования) и академическое (3 года по университетским программам). Принимались лица обоего пола не моложе 16 лет, независимо от национальной и религиозной принадлежности; документы о среднем образовании не требовались, поэтому слушателями были служащие, учителя, ремесленники, рабочие, стремившиеся к знаниям; дипломов и соответствующих прав народный университет не давал. В 1912—1913 годах на Мусской площади (дом 6) для него было выстроено здание, где по вечерам проводились лекции и семинары. В отличие от казенных высших учебных заведений сюда допускались преподаватели без ученой степени. Из знакомых Брюсова здесь читали Матвей Розанов и Айхенвальд, в попечительский совет входил издатель Михаил Сабашников, а из слушателей достаточно упомянуть Сергея Есенина, Янку Купалу и Николая Вавилова.

В феврале—апреле 1917 года Брюсов прочитал «шанявцам» курс лекций «Учители учителей», а зимой 1917/18 года «Рим и мир», оставшийся неопубликованным. Сопоставив эти лекции с набросками «Золотого Рима», М.Л. Гаспаров отметил несколько важных различий: «Во-первых — расширение исторического кругозора. [...] Во-вторых — внимание к социально-экономическим явлениям. [...] В-третьих — изменение оценки императорского абсолютизма. Брюсов больше не восторгается великолепием безраздельной императорской власти и сквозной бюрократической иерархии: он осуждает их за то, что они отстраняются этим от народа и тем лишают силы собственную цивилизацию. [...] Эта перемена оценки — тоже, разумеется, результат разочарования Брюсова не в римском, а в русском самодержавии». Русская революция — сначала Февральская, потом Октябрьская — давала много поводов к историческим аналогиям.

Книга четвертая



В ТАКИЕ ДНИ (1917—1924)

Но глаза! глаза в полстолетие
партдисциплине не обучены:
От книг, из музеев, со сцены —
осколки (как ни голосуй!),
Словно от зеркала Г.-Х. Андерсена
засели в глазу.

Валерий Брюсов

Глава шестнадцатая
«ПОВЕЯЛ ВИХРЬ И РАЗМЕТАЛ РОССИЮ...»

1

Революцию в России ждали давно, но случилась она все равно неожиданно. Как и большинство русских интеллигентов, Брюсов приветствовал случившееся. «Только духовные слепцы, — писал он в брошюре «Как прекратить войну», — могут не видеть, как величественно-прекрасен был охвативший всю Россию порыв; только враги родины могут отрицать всемирно-историческое значение недавних событий, в корне изменивших государственный строй в России». И посвятил революции несколько стихотворений того типа, о котором иронически писал пять лет спустя в статье «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии»: «Февраль 1917 года был по плечу большинству наших поэтов, побудил “певцов” быстро настроить свои лиры на лад “свобода-народа”»:

Свобода! Свобода! Восторженным кликом
Встревожены дали холодной страны:
Он властно звучит на раздольи великом
Созвучно с ручьями встающей весны.

Иногда это звучало как пародия — на самого себя:

На улицах красные флаги,
И красные банты в петлице,
И праздник ликующих толп;
И кажется: властные маги
Простерли над сонной столицей
Туман из таинственных колб.

Иногда как пародия на Игоря Северянина:

И втайне жаль, что нынче мне не пятнадцать лет,
Чтоб славить безрассудно, как юноша-поэт,
Мельканье красных флагов и красный, красный цвет!

С революцией Брюсов связывал надежды на переустройство России, которое устранил пороки прежней системы, но сохранит целостность государственного организма. Об этом его статья «О новом русском гимне», содержание и значение которой гораздо шире вызвавшего ее частного повода: речь в ней о том, на кого должна опираться новая власть, кого представлять и кого защищать. Брюсов последовательно выступал против любой ограниченности — национальной, религиозной, классовой: «Русский национальный гимн должен быть не гимном “русских”; свой пафос должен почерпнуть не в одном определенном вероучении и не в идеологии одного определенного класса населения; свое основное содержание должен искать не в военной славе нашей истории и не в огромности русской территории. Мы ждем гимна, который объединял бы все многомиллионное, разнообразное население русской державы, в его лучших, возвышеннейших идеалах. [...] Братство народов, населяющих Россию, их содружественный труд на общее благо, память о лучших людях родной истории, те благородные начала, которые отныне должны открыть нам путь к истинному величию, может быть, призыв, к “миру всего мира”, что не покажется пустым словом, когда прозвучит в гимне могучей державы,— вот некоторые из идей, встающих невольно в мыслях при многозначительном слове: Россия».

Другим важнейшим вопросом — наряду с реформой государственного устройства — был вопрос войны и мира. Брюсов занял позицию «революционного оборончества» — правда, с оговорками. Большинство «оборонцев» призывало к продолжению войны до победного конца ради реализации ее декларативных целей, включая разгром тевтонского милитаризма. Валерия Яковлевича заботили прежде всего государственные интересы России, но он думал и об освобождении порабожденных народов, включая бельгийцев — «народ Верхарна».

«Обращение Временного правительства к российским гражданам» от 27 марта подтверждало верность обязательствам перед союзниками. Одновременно в нем говорилось об отсутствии у новой России экспансионистских стремлений, что было сделано под давлением Петроградского совета. Написанный Брюсовым в марте проект воззвания московского Союза писателей, в создании которого он принял деятельное участие, декларировал: «Война всегда — величайшее зло; война — проклятие и ужас истории;

война — пережиток варварства, недостойный, позорный для просвещенного человечества. Но в наши дни для России война — зло двойное, тройное. Нам нужен мир, чтобы укрепить не вполне еще прочное основание нашей свободы, чтобы пересоздать весь строй нашей жизни на новых, свободных началах, чтобы наверстать потерянное царским режимом за несколько столетий на всех поприщах. Нам нужен мир, чтобы спокойно предаться созидательной работе, огромной, почти безмерной: коренной перестройке везде подгнившего здания нашей государственности и общест-венности».

Бесперспективность и бессмысленность продолжения войны были для Брюсова очевидны. В то же время он резонно опасался, что поиски сепаратного мира любой ценой оттолкнут союзников от России и вынудят ее вести переговоры с центральными державами в одиночку, а это, в сложившихся условиях, означало бы сдачу на милость победителя. Поэтому Валерий Яковлевич считал необходимым последнее, решительное напряжение усилий ради достижения военного успеха, который, улучшив стратегическое и тактическое положение России, дал бы ей возможность вести мирные переговоры на равных. Эти идеи он обобщил в брошюре «Как прекратить войну».

Учитывая усиление антивоенных настроений в стране, союзники потребовали гарантий того, что Россия не заключит сепаратный мир. 18 апреля министр иностранных дел Павел Милюков специальной нотой подтвердил решимость Временного правительства вести войну до победного конца, что вызвало волнения в Петрограде и перестановки в кабинете, который возглавил эсер Александр Керенский. Брошюра Брюсова была написана до кризиса: автор отметил это в примечании к отдельному изданию, вышедшему в конце лета, когда ситуация радикально переменялась. Наступление на Юго-Западном фронте, предпринятое с 18 июня по 15 июля 1917 года под давлением Антанты, закончилось поражением русской армии. Оно несколько облегчило положение союзников на других фронтах, но саму Россию приблизило не к заключению мира, а к большевистскому перевороту. Позднее брошюра привлекла внимание Ленина, хотя его оценка по существу нам неизвестна: «Неожиданное выступление Брюсова в роли политика, который со своей стороны давал рецепт, как прекратить войну, заинтересовало Владимира Ильича, и он отметил книжку Брюсова для прочтения» (1).

Горький и его окружение, с которыми Валерий Яковлевич продолжал общаться по литературным делам, начали агитировать за скорейший мир с Германией сразу после Февральской революции. 4 июня в газете «Новая жизнь» появилось стихотворение Брюсова «Тридцатый месяц», написанное в январе 1917 года (тридцатый месяц войны) и переработанное в апреле. Это уже полный отказ от «революционного оборончества»:

Борьба за право стала бойней;
Унижен, Идеал поник...
И все нелепей, все нестройней
Крик о победе, дикий крик!...
Пора отвергнуть призрак мнимый,
Понять, что подменили цель...

Стихотворение было сразу же принято газетой, но автор, колебался, стоит ли вообще печатать его, а если печатать, то не лучше ли сделать это под псевдонимом. Ослабление позиций Временного правительства вызвало новую, искусственную вспышку «оборончества» и «охоты на ведьм», одной из жертв которой оказался Горький. Брюсов провозгласил солидарность с ним в сонете «Максиму Горькому в июле 1917 года», напечатанном в 1920 году, но сразу сообщенном адресату:

Не в первый раз мы наблюдаем это:
В толпе опять безумный крик возник,
И вот она, подъемля буйный крик,
Заносит руку на кумир поэта....

Горький благодарил: «Вы очень тронули меня за сердце, Валерий Яковлевич, — редко случалось, чтоб я был так глубоко взволнован, как взволновало меня ваше дружеское письмо и милый ваш сонет. Спасибо вам. Вы — первый литератор, почтивший меня выражением сочувствия и — совершенно искренно говорю вам — я хотел бы, чтобы вы остались и единственным. [...] Давно и пристально слежу я за вашей подвижнической жизнью, за вашей культурной работой и я всегда говорю о вас: это самый культурный писатель на Руси! Лучшей похвалы не знаю; это — искренно» (2). «Оборонческая» пресса обвиняла Брюсова в измене прежним убеждениям, но выбор был сделан, хотя он и намеревался заявить на страницах «Новой жизни» о несогласии с «некоторыми из позиций, занятых газетой» (3).

Революция не отвлекла Брюсова от общественных дел. 24 марта в Литературно-художественном кружке собрались представители научных и литературных организаций Первопрестольной, которым он прочитал доклад, предложив избрать «Совет из десяти лиц, каковые могли бы взять под свое наблюдение и руководство все операции по надзору за печатью в Москве при помощи уже существующих при градоначальстве учреждений [...] Совет должен будет содействовать их работе: а) по регистрации произведений печати; б) по наблюдению за правонарушениями, совершаемыми при посредстве печати». Поясняя свое предложение, Брюсов сказал: «Свобода печати, как известно, есть сила не только могущественная, но даже страшная. Ее нельзя сравнить с ломким цветком, требующим защиты: скорее она — отточенное обоюдоострое лезвие, защищать от которого приходится других, так как оно способно наносить раны глубочайшие и смертельные. Примеры истории учат нас, что пользование свободой печати, особенно в первое время по ее возникновении в стране, нередко ведет к некоторым эксцессам, которые могут рассматриваться как действия, законом караемые. На нашем Совете будет лежать тяжкая обязанность участвовать [...] в определении пределов, за которыми свобода печати переходит в правонарушение» (4).

Градоначальник Петр Лидов — адвокат, некогда защищавший Надежду Львову — поддержал идею. Вместо упраздненного Московского комитета по делам печати как цензурного органа появился Комиссариат по регистрации произведений печати в Москве (с января 1918 года — московское отделение Книжной палаты). 27 марта по предложению заведующего Книжной палатой Семена Венгерова Брюсов стал председателем комиссариата и заведующим регистрацией неповременных изданий. Комиссарами стали Владимир Каллаш (заведующий регистрацией повременных изданий), Григорий Рачинский (заведующий делопроизводством и канцелярией), Алексей Толстой (заведующий инспектированием заведений печатного дела). Технический персонал состоял из бывших сотрудников комитета по делам печати, профессионалов своего дела. Через полтора месяца Комиссариат подал первый — по мнению специалистов, образцово составленный — отчет о работе. К службе Брюсов относился не просто добросовестно, высиживая на заседаниях и подписывая многочисленные бумаги с просьбой «отпустить дополнительно под отчет

(столько-то) рублей», но и инициативно, призывал распространить систему регистрации печатных изданий, включая листовки, афиши и повестки, на всю страну (5).

«Мы переживаем эпоху оживленной деятельности во всех областях: государственной, общественной, научной, — писал Валерий Яковлевич 18 июля брату Александру, томившемуся в немецком плену. — [...] Перспективы будущего — самые блестящие, самые радостные. Ты попадешь в Россию в полный разгар жизни» (6). Однако Эренбургу во время первой встречи Брюсов прочитал стихотворение «Жалоба Фессея». «Мы поспорили, — вспоминал Илья Григорьевич. — Если сформулировать эту часть беседы, то она будет выглядеть достаточно неожиданно для августа 1917 года:

1. Правда ли, что Тезей испытывал угрызения совести, оставив Ариадну на безлюдном острове?

2. Как правильнее писать — “Тезей” или “Фессей”? (Валерий Яковлевич настаивал на последней транскрипции).

3. Нужно ли современному поэту писать о Тезее? (Я говорил, что не нужно)» (7).

Думаю, для Брюсова речь шла не только о вечном, но и о личном. Образ брошенной Ариадны может быть связан с Петровской, как и в стихотворениях «Ариадна» (12 февраля 1918 года) и «Ариадне» (8 июля 1923 года). Героиня последнего находится в Германии, где тогда жила Петровская (Брюсов знал это). Оно же перекликается с пятой записью цикла «Сны» (1 июля 1911 года), где имеется в виду Петровская (8). Заключительные строки: «Ты, с кем ник я, там, на Висле, / К лику лик с Земной Войной», — формально могут быть отнесены к Вульфарт, но Брюсов давно потерял ее из виду, в то время как забыть Петровскую не мог. В любом случае стихотворение относится не к мифологической героине, а к личным переживаниям автора — как и другие в том же разделе «Наедине с собой» сборника «Меа».

В начале 1917 года относится еще один интересный эпизод. Давно не общавшийся с Блоком Брюсов послал ему свои новые издания из «Универсальной библиотеки». Удивляет не факт посылки, но надписи на книгах. Это не трафаретное «Александру Блоку / дружески / Валерий Брюсов»: известно восемь таких надписей, а всего инскриптов типа «дружески» выявлено около сорока. Приведу их, опускаю подписи и даты (по брюсовскому обыкновению, указан только год — 1917-й): «Поэту А.А. Блоку, / зоркому свидетелю» («Обручение Даши»); «Александру Блоку, / готу

в Риме» («Рея Сильвия»); «А.А. Блоку – узнику, как и все мы» («Баллада Редингской тюрьмы»). Самая необычная украсила «Избранные стихи»:

Александру Александровичу
Блоку,
поэту предзакатного ужаса
в знак
сердечного содружества.
Валерий Брюсов.
1917.
...ужас предзакатный...
А. Блок (из ненаписанного
стихотворения)

Таких инскриптов Брюсов за тридцать лет литературной жизни не делал, пожалуй, никогда, надписывая книги кратко и однообразно даже близким людям (9). Адресат, видимо, тоже удивился... или не понял, ибо ответил бегло: «Нашел у себя Ваши книги с милыми надписями, сердечное спасибо Вам за память» (10).

Больше они не общались, если не считать одного делового письма Блока. В последний приезд Александра Александровича в Москву в мае 1921 года поэты не встречались и не искали встречи. Брюсов воспринимал весь символизм как прошлое, а потому судил строго: «Блок всегда с одного клише воспроизводил десятки стихотворений, еле различных одно от другого. Пять-шесть тем, три-четыре приема он разводил на сотни пьес, неплохих, но одноликих. [...] Самым сильным произведением Блока за революционный период осталась поэма “Двенадцать”, конечно, антиреволюционная по духу, но где поэт все же соприкоснулся со стихией революции». О пафосе литературных оценок позднего Брюсова поговорим позже, а пока приведу концовку стихотворения «Ночь с привидениями» (24 июня 1922), на которую мало кто обращал внимание:

И горестно смотрит, в руке цилиндр, Пушкин,
Как в амбразуре окна, дряхл, спит Фет-Шеншин.
Ночь, зодчий упорный, спешит, взводит купол;
Бьет молот; скрипит перекинутый блок...
А в полоске зари, как на сцене для кукол,
На тоненькой ниточке Александр Блок.

«Подлинным поэтом Феврала Брюсов не сделался», — писал в 1932 году И.С. Поступальский, добавив, что «брюсовские стихи в промежуток между Февралем и Октябрем, да и в первые месяцы после пролетарской революции, отмечены каким-то выжидательным характером» (11). Чего он ждал? В воспоминаниях Иоанны Матвеевны приведена любопытная сцена, относящаяся к весне 1917 года: «По заведенному обычаю, у нас по средам собирались молодые поэты. Беседа велась исключительно на литературные темы, о поэзии, о стихосложении; политики касались мало. Но помню, однажды в разговоре с одним поэтом В.Я. сказал: “Скоро все переменится, ведь приехал Ленин!” — “А кто такой Ленин?” — спросил молодой поэт. Валерий Яковлевич встал и, слегка дотронувшись до плеча своего собеседника, удивленно спросил: “Как, вы не знаете, кто такой Ленин? Погодите, скоро все узнают Ленина”» (12). К сожалению, мы не знаем ни имени молодого поэта, ни — главное — того, с какой интонацией произнес Брюсов последнюю фразу... Он-то уже в ноябре 1905 года знал, «кто такой Ленин» и что может принести его появление на политической арене в качестве одного из главных действующих лиц.

Факт принятия Брюсовым большевистской власти неоспорим. Однако, возникают вопросы. Когда он это сделал? По каким причинам? В какой форме? Как сложились его отношения с новыми хозяевами страны? Что он сам говорил и писал об этом, и можно ли этому верить? С брюсовскими признаниями на политические темы, сделанными задним числом, приходится быть осторожным. В нескольких вариантах краткой автобиографии, написанных в конце 1923 года, он утверждал, что «после Октябрьской революции еще в конце 1917 года начал работать с Советским правительством» или даже «предложил свои силы Советскому правительству». Если речь о службе в Книжной палате, то к новой власти это относилось не более, чем лекции в Народном университете Шанявского или председательствование в Литературно-художественном кружке. Правда, Ходасевич и здесь не удержался от сплетен:

«Национализирував типографии и взяв на учет бумажные запасы, советское правительство присвоило себе право распоряжаться всеми типографскими средствами. Для издания книги, журнала, газеты отныне требовалось полу-

чить особый “наряд” на типографию и бумагу. Без наряда ни одна типография не могла приступить к набору, ни одна фабрика, ни один склад не могли выдать бумаги. Выдача этих нарядов была сосредоточена в руках новоиспеченного учреждения. Во главе его с лета 1918 года стал Валерий Брюсов. Ввести прямую цензуру большевики еще не решались. [...] Но, прикрываясь бумажным и топливным голодом, они тотчас получили возможность прекратить выдачу нарядов неудобным изданиям. [...] Отказы в выдаче нарядов подписывал Брюсов, но, разумеется, директивы получались им свыше. Не будучи советским цензором “де-юре”, он им все-таки очутился на деле*. Ходили слухи, что его служебное рвение порой простиралось до того, что он позволял себе давать начальству советы и указания, кого и что следует пощадить, а что прекратить. Должен, однако, заметить, что я не знаю, насколько такие слухи были справедливы и на чем основывались. Несколько забегаю вперед, скажу, что впоследствии, просматривая делопроизводство подотдела, никаких *письменных* следов такой деятельности Брюсова я не нашел». Знакомство с историей советской цензуры и контроля над издательским делом показывает, что такими правами Валерий Яковлевич не обладал. Пикантность ситуации в том, что его преемником в Книжной палате был товарищ Ходасевич.

Так что версия о «начале работы с Советским правительством» в конце 1917 года отпадает сразу. Иоанна Матвеевна вспоминала: «В дни октябрьского переворота Валерий Яковлевич лежал больной. В эти дни, — должно быть, под влиянием болезни, — был сумрачен, крайне неразговорчив и мало реагировал на события, несмотря на то, что стрельба шла почти под окнами» (13). «Вы почувствовали революцию, — сказал Брюсов Волошину в марте 1924 года, — для вас это было событие, для нас, в Москве — случай: мы сидели в своих кабинетах и работали, как обычно, если не считать того, что однажды, например, у меня не оказалось керосина для лампы (электричество, как вам известно, бездействовало), и я работал за этим же столом при свете лучины [...] разрабатывая обычные свои темы» (14)

Двадцать шестого февраля 1918 года Валерий Яковлевич сдержанно, но откровенно писал брату Александру: «Ты говоришь, что избегаешь слушать всякие нелепые слу-

* Отсылка к очерку Гиппиус «Одержимый» (1923), в котором Брюсов был назван «большевистским цензором».

хи. Увы! Всё нелепейшее из нелепого оказалось истиной и действительностью. Нельзя выдумать ничего такого невероятного, что не было бы полной правдой в наши дни, у нас. Поэтому веселого мог бы сообщить мало: пока мы все живы, и это — уже много; с голоду не умерли, и это — уже чудесно. [...] Я почти исключительно читаю по-латыни, чтобы и в руках не держать газет» (15).

Что же читал Брюсов? М.Л. Гаспаров заключил, что это «Писатели истории Августов» — собрание биографий римских императоров от Адриана до Нумериана, составленное в IV веке. Историки низко оценивают этот источник, указывая, что все приводимые в нем письма императоров — подложные. Но Брюсова волновала не критика источников, а сходство прочитанного с тем, что происходило за окнами его дома: «Жители принуждены были ходить по улицам города вооруженными, чтобы защищать свою жизнь, и самим принимать меры для охраны своих домов и своего достояния. Законы бездействовали, справедливость была утеснена, кротости и милосердия не оставалось и следа, нравы огрубели, люди не имели надежды ни сохранить свою жизнь, ни законным образом наследовать по умершим. Всем своевольно распоряжались солдаты, судя не по писаным законам, а по своему неписанному уставу. Город был полон бунтами и мятежниками, которые ежедневно делали все, что хотели; честных и порядочных людей изгоняли и имущество их отнимали; а своих врагов убийцы преследовали даже во храмах и наносили удар у алтарей. Государственная казна была опустошена; никто не хотел принимать новые деньги, выпускаемые правительством; потому на рынках стояла страшная дороговизна; притом ощущался крайний недостаток в съестных припасах. Республика распалась; почти каждая область объявила себя самостоятельной. Поселяне избивали помещиков, грабили и сжигали усадьбы, захватывали нивы и пастбища и сами выбирали себе государя. [...] К какой же эпохе относятся эти исторические факты? Написано ли это вчера или это — пророчества, когда-то выставленные каким-то прозорливцем? Ни то, ни другое. [...] Это — черты жизни в Римской империи второй половины III века, отмеченные современниками, и если читатель наших дней видит здесь что-то ему знакомое, то лишь потому, что «история повторяется». Сходные причины приводят и к сходным следствиям» (16).

Увлекаясь аналогиями, Брюсов, по замечанию М.Л. Гаспарова, «когда-то столь враждебный модерниза-

ции прошлого, отважно идет теперь на самую смелую модернизацию. Если Максимин порывает с сенатом, преследует знатных и богатых, конфискует средства храмов, раздает конфискованное солдатам, вводит военное положение и в письмах апеллирует не к сенату, а к народу, то для Брюсова это — осуществление программы социального переворота, программы связной и обдуманной — не Максиминим, конечно, а какой-то таинственной, широко разветвленной подпольной организацией социальных реформаторов, которую Брюсов явно представляет себе по образцу своей современности» (17). Правление в 235—238 годах «солдатского императора» Гая Юлия Вера Максимиана, прозванного Фракийцем (первый варвар на римском престоле!), он трактовал как попытку социальной революции, «ускользнувшую от внимания всех историков Рима». Действительно, историки, вслед за античными хронистами, рисовали Максимиана жестоким и алчным диктатором из низов, грабившим страну ради военных нужд (враги уверяли, что ради собственных), ненавидевшим аристократию и самый Рим, где он ни разу не побывал за годы правления, но отдавали должное его мужеству и полководческим талантам. Какой простор для аналогий!

Двенадцатого марта 1918 года Брюсов прочитал в Политехническом музее лекцию «Урок истории: кризис Римской империи в III веке по Р.Х. и современность». Судя по черновым записям, он оценил положение России, до которого довел ее царизм, как трудное, но не безнадежное и призвал новую власть не повторить ошибки римских императоров, отказавшихся от пути социального компромисса.

Отношение Брюсова к новой власти проясняют стихи 1918—1921 годов, опубликованные только в 1990-е годы. На новый 1918 год он написал стихотворение (известное в нескольких вариантах) о том, как в будущем очевидцы революционных событий будут вспоминать о случившемся:

Канут годы в вечность. Наше время
Станет сказкой, бредом страшных дней.
Сгинет, словно призрачное племя,
Наше поколение в мгле теней.
И, быть может, лик склоня в печали,
Вдруг окликнет старика старик:
«Так ли мы осмьнадцатый встречали?
Тяжек был тогда урочный миг!
Завтра нам тогда казалось грозно,
Новый год — всех наших благ концом!..»



МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОКЪ

Милостивый Государь
Александр Космичъ!

Дирекция М. Литературно-Художественнаго
Кружка, въ заседании 18(5) мая сего 1918 года,
постановила: Выразить администраціи "Театра,
возникшаго подъ знаменем романтизма" глубокую
благодарность, за пожертвование, въ распоряженіе
Комисіи писемъ Л. Н. Толстого, безъ помощи упоминаемыхъ
артистовъ, писателей и художниковъ, сборовъ и 1-го
спектакля, въ разсчетъ — четырехсотъ пятидесяти двухъ
(452) рублей 50 коп. Слѣдуетъ довести объ этомъ постановленіи
до Вашего свѣдѣнія, такъ какъ пожертвование непосред-
ственно было черезъ Ваше посредство, и потому повторно —
передать благодарность Дирекціи Л. Н. Толстого
администраціи названнаго Театра.

Примите увереніе
въ совершенномъ уваженіи и готовности къ услугамъ,
Председатель Дирекціи: Валерій Брюсовъ

18(5) мая 1918 года.

Письмо Валерия Брюсова неустановленному лицу (Александру Космичу) на бланке Московскаго литературно-художественнаго кружка. 18 мая 1918 года. Собрание В. Э. Молодякова

Второго января 1918 года появилось стихотворение «За что?», историческая аналогия на библейскую тему, столь же прозрачная, как некогда «Юлий Цезарь»:

«За что?» — стенали в Мицраиме
Евреи, руки ввысь воздев...
Но с каждым днем неумолимей
Поработал их Божий гнев...
«За что? — За то, что вы терпели,
Дрожа, насилие и гнет;
Не научили — к высшей цели
Стремиться свой родной народ...
За ужас долгого позора,
За дни презренья к малым сим,
За грех безволя и раздора —
Сегодня целый край казним!

Оно было сразу опубликовано и несколько раз перепечатывалось в советское время, но во всех случаях, кроме одного, с датой «1915», проставленной Иоанной Матвеевной по цензурным соображениям. «Каюсь, — писала она 22 января 1952 года Д.Е. Максимову, — отнесла я к 1915 году, когда оно 1918 года. Я думаю, Вы согласитесь со мной, что так лучше» (18).

Откликом на известие о разгоне Учредительного собрания «уставшим караулом» стали стихи, уже не попавшие в печать:

Страшных зрелищ зрителями мы
В буре дней поставлены; безвольно
Никнут ныне гордые умы,
Для борьбы нет сил, и сердцу больно.
Черным клубом ужас родился
Из надежд великих, — спрут огромный;
Щупальцами жизнь зажата вся,
Впереди — провал, бездонно-темный.
Где давно ль на алых знаменах
Мы читали светлый клич свободы,
Против брата брат, вздымая прах,
Рать ведет, и эта рать — народы.
Встать и грудью смертный путь закрыть,
Что-то прокричать, чтоб все сознали...
Шепчет мысль, что тщетно говорить,
Умер слух, и все сердца — из стали!
Падаешь бессильно; грозный спрут
Восемь лап неимоверных тянет...
Гибель жизни кто переживут?

Для кого счастливый день настанет?
Все равно! Вам, будущим, привет!
Вспомните, что мы, дрожа во мраке,
Ждали, скоро ль брызнет первый свет...
Голос умер... Этот стих — лишь знаки.

Брюсов не возлагал на «учредилку» никаких надежд, но после ее разгона окончательно убедился в диктаторском характере большевистского режима и в его стремлении разрешать политические проблемы исключительно насильственным путем. Его отношение к происходящему окончательно выясняет статья «Наше будущее» с подзаголовком «Литературно-художественный кружок и русская интеллигенция». Здесь он выступил как представитель интеллигенции, вынужденной сосуществовать с новой властью: «События, и события огромного исторического значения, сменяются с быстротой, которую называют головокружительной. Ни в частной жизни, ни в судьбах нашей родины не обеспечен следующий день, и никто не возьмется пророчествовать, что будет с нами через год, через месяц, через неделю. [...] Не весело быть зловещим пророком и предрекать дурное, но и не должно закрывать глаза на то, что видишь ясно и явно. Если вообще мрачен сумрак, окружающий настоящее, то черты будущего, выступающие из него, может быть, еще чернее и суровее. Можно с полной уверенностью сказать одно: как бы отчетливо ни повернулся дальнейший ход событий, какие бы неожиданные удачи ни ожидали нас на пути, пусть даже исполнятся все самые заветные надежды наших оптимистов, все равно — нам предстоит еще годы и годы переживать тяжелую эпоху. Если даже страшные потрясения нашего времени выведут нас на светлый путь свободы и демократизма, благополучия и преуспеваний, всё равно — последствия пережитых потрясений будут чувствоваться долго и остро». В черновом варианте он выразился еще определеннее, говоря про «безумное ослепление крайних партий», то есть большевиков и левых эсеров.

Коротко, но решительно Брюсов набросал картину тотального кризиса, в котором оказалась Россия, выделяя как ее единственное неуничтожимое достояние — русскую культуру. Что может грозить ей в случае «торжества социализма», он понял давно («Спалим!»), а пролеткультовские призывы «во имя Грядущего сжечь Рафаэля» лишь подтверждали худшие опасения. Дело было не только в призывах: если музеи новая власть взяла под охрану, то частные

собрания, библиотеки, усадьбы зачастую оказывались брошенными, обреченными на уничтожение. Брюсов пошел служить в советские учреждения не только ради пайка, но и для того чтобы защитить культурные ценности от хаоса и произвола. Ключ к пониманию его решения можно найти в статье Сергея Чахотина в сборнике «Смена вех»:

«Кроме той части интеллигенции, которая оказалась не в силах оставаться в России и бежала в стан антибольшевистских сил, другой части, вынужденной против воли работать в неприемлемых для нее условиях, и третьей части — идейно примкнувшей к вождям революционного экстремизма, есть еще одна группа русской интеллигенции, не принявшая большевизм, но поборовшая себя и оставшаяся в России из особых жертвенных побуждений. Заслуга этой группы перед Россией и человечеством огромна. Эта группа, которая считала своим долгом остаться сторожем возле угрожаемых пожаром сокровищ русского духа, русской культуры. Эти люди считали необходимым, чтобы вблизи русских музеев, библиотек, лабораторий, театров остался кто-нибудь, кто бы прикрыл их своим телом в случае опасности, кто бы сохранил нам преемственность русской культурной работы, кто бы, несмотря ни на какие бури, тянул золотые нити русской мысли, русского чувства. И они остались, несмотря ни на что, и они работали среди голода, холода, принуждений, глумлений. Это та единственная часть русской интеллигенции, что не ошиблась, та, что пошла верной дорогой» (19).

Так думали не все. Немногочисленные писатели, принявшие сторону новой власти, подвергались остракизму со стороны собратьев по перу. Брюсов мостов не сжигал, но зимой 1917/18 года распались многие литературные связи, прежде всего с Петроградом: единичные послереволюционные письма к нему Блока, Сологуба и Мережковского имеют исключительно деловой характер. Примечательно последнее письмо Мережковского от 25 мая 1919 года, после пятилетнего перерыва: «Я слышал, что вы участвуете в Литературной коллегии или комиссии (не знаю точно названия), которая заведует изданием русских книг. Не сочтете ли возможным взять одну из моих книг, а также З.Н.? [...] Я заранее согласен на все условия» (далее подробный список, включая «Грядущего Хама»). Ответ Брюсова до нас не дошел. Сама собой оборвалась дружба с Бальмонтом, хотя в 1919 году они обменялись стихотворными посланиями — совсем как раньше. Вячеслав Иванов не сочувствовал

большевикам, но работал в Наркомпросе и нашел общий язык с заведующей Театральным отделом Ольгой Каменевой. В эти годы он редко встречался с Брюсовым, однако их отношения остались неизменными. Как сказано в одном из брюсовских набросков этих лет,

Повеял вихрь и разметал Россию.
Где вы, друзья, чье имя легион?

3

Пять лет спустя Валерий Яковлевич признался: «Октябрь был для многих, и очень многих, как бы ударом обуха по голове». «Не сразу после Октября это произошло, — писал Павел Антокольский о принятии Брюсовым новой власти. — Понадобились *долгие месяцы* (курсив мой. — В.М.), понадобилась череда размышлений и колебаний, чтобы этот серьезный, ответственный и требовательный человек и писатель нашел себя в эпохе, ориентировался во времени» (20).

Тем не менее «это произошло». Известно, что на государственную службу Брюсова привлек народный комиссар по просвещению Анатолий Луначарский. Но когда и при каких обстоятельствах? В речи памяти Павла Сакулина 1 февраля 1931 года Луначарский вспоминал: «Когда революция переменяла все в нашей стране [...] были относительно редки случаи, когда представители интеллигенции предлагали свое сотрудничество нам и первыми входили в определенный контакт с Советской властью. Одним из таких визитов, которые оставили у меня глубокое воспоминание, было специальное посещение меня в Москве В.Я. Брюсовым и П.Н. Сакулиным. Они пришли вместе и сказали, что, по их мнению, никакого разрыва между интеллигенцией и ее традициями, как они это понимают, и совершившейся революцией нет, что затруднения, которые на этой почве возникли, представляют собою горькое историческое недоразумение и что они со своей стороны охотно взяли бы на себя вести переговоры о том, чтобы устранить дальнейшую отчужденность» (21).

Даты встречи Луначарский не назвал. Н.А. Трифонов установил, что она могла произойти или в первой половине апреля, или в конце мая 1918 года, когда нарком был в Москве (после переезда Совнаркома в Москву Анатолий Ва-

сильевич еще почти год оставался в Петрограде), и склонялся к первой дате (22). Иоанна Матвеевна, не называя дат, вспоминала о двух встречах мужа с Луначарским, после которых он получил приглашение работать в Наркомпросе (23). Поскольку Брюсов начал служить не ранее июня 1918 года, наиболее вероятной датой встречи можно считать конец мая, через семь месяцев после переворота. В списке «продавшихся», который с начала года вела Гиппиус, имя Брюсова появляется только 2 июня (24).

О чем шел разговор? Луначарский сообщил, что Сакулин и Брюсов, по их словам, «охотно взяли бы на себя вести переговоры» о разрешении конфликтов между интеллигенцией (писателями, журналистами и издателями) и властью. Они хотели уладить «горькие исторические недоразумения», выражавшиеся в арестах, обысках, реквизициях, закрытиях газет, журналов, издательств, литературных обществ.

Деятельность Брюсова с момента переворота до встречи с Луначарским отмечена подчеркнутой аполитичностью. Не вступая в прямой контакт с новой властью, он не принимал участия и в направленных против нее демаршах, вроде однодневной газеты «Слову — свобода!», выпущенной 10 декабря 1917 года с участием почти всех известных московских писателей — от Бальмонта и Иванова до Бунина и Вересаева. Еще продолжалась издательская деятельность и выплачивались гонорары, но цены стремительно росли, а деньги столь же стремительно обесценивались (из национализированных большевиками банков сначала выдавали крохи, потом — и вовсе ничего). В конце 1917 года издательство «Альциона» выпустило роскошным изданием не для продажи (100 экземпляров) сборник переведенных Брюсовым — но без указания его имени — эротических стихотворений римских поэтов «Ероtopaegnia», в начале 1918 года — первое в России полное издание «Гавриилиады» под его редакцией (550 нумерованных экземпляров), повторенное для свободной продажи с изъятием шести строк. Тогда же «Альциона» заключила с Валерием Яковлевичем договор на книгу о метрике и ритмике русского стиха — первую часть давно задуманного учебника стиховедения, которая увидела свет в конце лета 1919 года под названием «Краткий курс науки о стихе» (25). В августе 1918 года в издательстве «Геликон» вышел экспериментальный сборник Брюсова «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам», а Московский армян-

ский комитет опубликовал «Летопись исторических судеб армянского народа» (26).

Планов было больше, чем возможностей. Издательство Л.А. Слонимского не смогло выпустить третью книгу альманаха «Стремнины» (в первой появились «Египетские ночи», во второй — симфония в стихах «Воспоминанье») под редакцией Валерия Язвицкого, в которую Брюсов отдал поэму в терцинах «Страсть и смерть. Исповедь раба» (27). Не увидел свет и сборник «Поэмы», доведенный в 1919 году «Альционой» до верстки (28). 8 апреля 1918 года Валерий Яковлевич заключил договор с издательством «Творчество» о переиздании переводов из Верлена, 30 мая — с издательством Сабашниковых на книгу стихов для серии «изборников» русских поэтов. Михаил Сабашников также планировал выпустить в серии «Памятники мировой литературы» сочинения Тацита, предложив Брюсову сделать перевод, а тот интересовался перспективами издания «Энеиды» (29). Всем этим замыслам не суждено было осуществиться. Не состоялось и сотрудничество в возобновленном утреннем выпуске «Биржевых ведомостей», куда Брюсова в конце мая 1918 года пригласил новый заведующий литературно-критическим отделом Аким Волинский (30): остатки буржуазной прессы доживали последние месяцы.

Весной 1921 года Валерий Яковлевич завершил перевод «Фауста» и рассчитывал на его скорую публикацию. 20 апреля Госиздат «принял издание на себя» (31), однако первая часть вышла в свет стараниями Луначарского лишь в 1928 году, а вторая не напечатана до сих пор. Несмотря на положительные оценки, «Фауст» Брюсова не смог конкурировать с версией Николая Холодковского: «Рядовой читатель [...] отдаст предпочтение переводам старым, которые, в общем, читаются гораздо легче. [...] Легкость прежних переводов в значительной степени — результат пользования привычным, трафаретным речевым материалом. Глаз читателя легко скользит по строчкам. Брюсовский перевод требует более внимательного и медленного чтения» (32). Время для такого чтения пока не наступило.

Постепенное замирание издательской деятельности, вызванное как репрессивной политикой властей, так и воцарившимся экономическим и хозяйственным хаосом, вызвало к жизни новую форму общения писателей и читателей — чтения в кафе, претендовавших на звание литературно-артистических клубов. Уже 21 ноября 1917 года футуристы открыли «Кафе поэтов» на углу Настасьинского

переулка и Тверской (33). 23 февраля 1918 года в помещении бывшего кафе «Кадэ» на углу Петровки и Кузнецкого моста начало работу кафе-кабаре «Музыкальная табакерка», объявившее о проведении «Живых альманахов». «Художественными руководителями» были объявлены Бальмонт и Брюсов, но дело взял в свои руки энергичный Вадим Шершеневич, вспоминая: «Бумаги не было. Книги не выходили. Люди, чтобы не разучиться азбуке, читали надписи на вывесках и ходили слушать живых поэтов» (34).

Выступление Валерия Яковлевича в «Табакерке» вечером 20 марта описал в дневнике начинающий поэт Тарас Мачтет (35).

«Я никогда не слышал его раньше, видел только на карточках и потому с интересом воззрел на эстраду, когда, наконец, Шершеневич, исполняющий роль конферансье, возгласил весьма торжественно:

— Господа, сейчас выступит поэт, произведениями которого отражается эпоха, стихотворения которого вам всем известны. Валерий Брюсов!

Публика заплодировала, а я встал со своего места за печкой и даже захопал в ладоши. Брюсов не замедлил появиться. Публика встретила его хлопками, криками “браво”. Брюсов быстро поклонился и, протиснувшись сквозь ряд столиков, взошел на эстраду и встал за приготовленный для него столик. Не помню уже, что он выбрал для своего чтения. Я не ожидал, что у Брюсова такой глухой, едва слышимый голос, плохие манеры и почти стариковское уже лицо, поседевшая борода. Вид у него, во всяком случае, не поэта, отразившего произведениями эпоху, и в толпе я не отличил бы его из ряда других. Читал он не особенно хорошо, но и не плохо. За выход взял 100 рублей. Он прочитал несколько своих вещей по книжке, лежавшей перед ним на столике. После своего чтения он скоро ушел».

Двадцать седьмого марта Мачтет занес в дневник очередную новость: «Э. Бескин в своем журнале “Театральная газета” в последнем номере здорово отчитал Валерия Брюсова за его выступление в Табакерке в “Живых альманахах”. Пусть лучше, пишет он, Брюсов выйдет со своими стихами на площадь или идет с ними в народ, пусть читает в каком угодно собрании, даже бесплатно, или просто для рекламы, но в Табакерке на угоду богатой буржуазии, за стаканом кофе или изысканной закуской восседающей за столиком там, читать он не имеет право, свой талант разменивать на мелочи в угоду буржуазии из богатых поляков и немцев он не должен. В

ответ же Бескину самым спокойным образом не позже как вчера вечером он опять выступил в Табакерке и даже прочел посвященное ей стихотворение. [...] Стихи вышли довольно звучные, публика много и долго аплодировала ему, как и в прошлый раз, Брюсов имел успех и, наверное, вполне довольный и собой и гонораром, полученным за выступление свое, покинул наше собрание» (36).

Из затей «Табакерки» наибольшую известность получил «Вечер эротики» 2 апреля 1918 года. «Читали мы все сравнительно невинные вещи, — вспоминал Шершеневич*. — На эстраду вышел Брюсов и начал читать переводы латинских поэтов. Атмосфера быстро накалялась. Сначала уткнулись носом в стаканы дамы, потом мужчины начали усиленно закуривать. Не смутился один Брюсов.

Издатель альманахов, он же владелец кафе (К.А. Коротков. — *В.М.*), подозвал меня и грозно спросил:

— Он только читать будет или и наглядно показывать?

Я успокоил встревожившегося коммерсанта, что Брюсов обойдется только читкой.

Коммерсант требовал, чтоб я прекратил “похабщину”.

Я указал, что Брюсов достаточно аккредитованный поэт.

— Что мне до его кредитов, если мне комиссар кафе закроет!

Брюсов кончил читать и совершенно наивно поглядел на зал, удивляясь, что не аплодируют» (37).

Четырнадцатого апреля в «Табакерке» произошел публичный скандал между Маяковским и Шершеневичем, который заявил, что слагает с себя обязанности редактора «Живых альманахов». Участвовавшие в них поэты во главе с Брюсовым поддержали Шершеневича и известили о намерении покинуть кафе, куда «проникал нежелательный элемент с улицы, приходил для очередных скандальных “выступлений” Маяковский и комп.», а «дирекцией не было принято должных мер к устранению этих препятствий» (38). Прощальное выступление Брюсова в «Табакерке» состоялось 11 июня. В поисках заработка он также выступал в кафе «Десятая муза» и «Домино» (с ноября 1918 года — эстрада Профессионального союза поэтов, созданного в том же месяце) с импровизациями на заданные публикой темы.

* Кроме Брюсова и Шершеневича в вечере участвовали: Любовь Столица, Семен Рубанович, Константин Липскеров и Владимир Королевич.

«Дело доходит до Брюсова, — вспоминал поэт Сергей Спасский. — Он на сцене. Разворачивает записку. Тема — что-то вроде “любви и смерти” — слишком отвлеченна и обща. Брюсов подходит к рампе. Произносит первую фразу. Медленно, строка за строкой, не запинаясь, не поправляясь на ходу, он работает. Тема ветвится и развивается. Строфа примыкает к строфе. Исторические образы, сравнения, обобщения, куски лирических размышлений. Вдобавок он импровизирует октавами, усложнив себе рифмовку и умышленно ограничив возможности композиции. Нельзя сказать, чтобы это ему давалось легко. [...] Запавшие глаза сухи и сосредоточены. Зал примолк, люди боятся двинуться, чтобы не нарушить напряженную собранность поэта. Брюсов продолжает. Удивление переходит в восхищение. И вот облегченный жест рукой: — Я дал вам девять правильных октав, — бросает он гортанным, картавым голосом все закругляющие последние строки. Смолк. Резко дернулась голова. Мгновенная улыбка и обычная серьезность в ответ на бешеные аплодисменты» (39). Валерий Яковлевич не обольщался относительно творений подобного рода. Одна из импровизаций, написанных октавами, начиналась:

Вот я опять поставлен на эстраде
Как автомат для выделки стихов.

Брюсов был готов импровизировать даже научные доклады: «Я представлю список дисциплин и на любую заданную тему сделаю доклад. [...] После получасовой подготовки берусь сорок пять минут говорить на эту тему, популярно изложить основные ее проблемы и указать не меньше пяти книг, посвященных ее истории, развитию и современному состоянию» (40). Сообщая 6 октября 1919 года брату Юрию московские новости, фольклорист Борис Соколов упомянул лекции Брюсова, посвященные книге в древнем мире: «Читал превосходно: доступно, просто, ясно, на широком историко-культурном фоне и с большим запасом знаний» (41).

В начале апреля 1918 года по инициативе Брюсова и Иванова при Литературной секции Московского союза учащихся искусству была создана Студия стиховедения. Занятия начались 15 апреля лекцией Брюсова «Ремесло поэта», открывавшей курс «Введение в теорию стиха» и перепечатанной в качестве вступительной статьи к «Опытам». «Вдохновение может прийти и не прийти, а уметь писать вы обязаны, — говорил он студийцам, приступающим к ос-

воению стихотворной техники. — Вот чернильница. Я не спрашиваю с вас вдохновения, а написать грамотное стихотворение о чернильнице вы можете! [...] Вы не стихи пишете сейчас — вы решаете задачу на стихосложение. Техника нужна для того, чтобы владеть всеми своими силами, когда придут к вам настоящие стихи» (42).

«Опыты» смотрелись как хрестоматия, дополняющая лекции, хотя там было немало стихотворений из прежних или готовых к печати сборников. Брюсов разъяснял в предисловии: «Здесь нет ни одного стихотворения, которое не было бы в то же время подлинным выражением моих внутренних переживаний. [...] В идеале я стремился к тому, чтобы включить в эту книгу лишь те стихи, которые являются подлинной поэзией. Я мог ошибиться в своем выборе, мог слишком снисходительно отнестись к своему произведению, но ни в коем случае не считал, что одно техническое исхищрение превращает стихи в создание искусства. Знаю, что среди помещенных далее стихотворений есть более слабые и менее удачные, но в каждом из них непременно есть “частица моей души”, и мне самому каждое из них, помимо особенностей их техники, напоминает те или другие чувства, глубоко пережитые мною, то или другое раздумье, живо и остро волновавшее меня когда-то».

Именно эти слова вызвали негативную реакцию критики. «Чем больше вникаешь в эту книгу, тем более охватывает тебя страх, что эти “опыты” до ужаса полно отражают все переживания Брюсова, что не осталось у него других переживаний, кроме переживаний технических» (43). Ученые нового поколения отвергли «Краткий курс науки о стихе». Борис Томашевский назвал книгу «научообразной», Роман Якобсон — «образчиком научного шарлатанства», что вызвало протест Вячеслава Иванова (44). Признавая «ее научные бесспорные недостатки», Юрий Соколов несколько неожиданно увидел в ней «комментарий к поэтическому творчеству Брюсова», пояснив в письме к брату: «Я доволен, что знакомство с Брюсовым дало мне ряд наблюдений над психологией поэтического творчества вообще» (45).

4

Как жили Брюсовы? Рассказов о квартире № 2 в первом этаже дома № 32 по Первой Мещанской улице... много или мало? Много описаний кабинета хозяина, где соби-

рались литераторы, но в остальные комнаты допускались лишь домашние. В 1960-е годы племянник Иоанны Матвеевны Николай Рихтер составил описание квартиры, какой он запомнил ее в середине 1910-х годов (46).

«Квартира Брюсовых была обставлена скромно, без всякой помпы и претензий на роскошь. [...] Совершенно отсутствовали пушистые, громадные ковры, медвежьи шкуры и всякого сорта горки хрусталя и фарфора, как это было принято в большинстве буржуазных семейств. Оштукатуренные потолки и стены в комнатах сопрягались тянутыми карнизами несложных профилей [...] лепных украшений не было. Во всех комнатах были паркетные полы, в уборной и ванной плиточные, в кухне деревянные штукатурованные, окрашенные масляной краской. Но вот картин, эскизов, ценных художественных копий было много. [...] Мебель была жесткой или полужесткой: отсутствовали пуфы, мягкой мебели было мало и была она приобретена, как мне кажется, уже в 1916 году. До этого времени единственное мягкое кресло предназначалось для Матрены Александровны, матери поэта. [...]

[В кабинете] особо надлежит отметить место около кафельной печи. Все дети очень любили сидеть здесь. [...] Ближайший от кафельной печи стеллаж был посвящен легкой литературе. Этот стеллаж тетка разрешала нам буквально “грабить”, т.е. брать отсюда книги без спроса. Здесь были Майн Рид, Купер, Жюль Верн и другие книги с пометками и рисунками гимназиста Брюсова, а также и без пометок. [...]

[В столовой] посередине комнаты стоял обеденный стол, у восточной стены буфет из дубового дерева, у окна другой стол вспомогательного назначения. Вдоль западной стены располагался диван. В комнате находилось не менее полдюжины полужестких стульев. На подоконнике стояли комнатные цветы. [...]

Восточные углы [гостиной] были срезаны, что создавало комнате уют. Это была самая красивая и самая парадная комната в квартире. Хотя комната отаплилась кафельной печью, которая топилась со стороны прихожей, в самой комнате находился красивый, декоративный камин, отделанный кофейно-молочной облицовочной плиткой. Этот камин при мне никогда не разжигался и был ликвидирован в 1920-х годах. В комнате стоял рояль. На подоконнике стояли цветущие цветы. В комнате была мягкая мебель: четыре стула стояли вдоль северной стены. В северо-восточ-

ном углу стояла софа (диван) и ломберный столик. У рояля стоял круглый табурет на винту, у камина стояли два мягких кресла. [...]

В спальне стояли рядом две железные кровати с никелированными шариками и решетками перпендикулярно к восточной стене. Кровати были покрыты вязаными белыми одеялами, подушки покрывали накидками. [...]

Тетя Жанна, как мы, родственники, называли ее, любила свое жилье, уделяла ему большое внимание, но квартира для нее не была фетишем, самоцелью. Она всегда и охотно шла навстречу просьбам и желаниям знакомых и родных: у тети Жанны часто останавливались знакомые, а родственники жили неделями и даже месяцами. Так очень часто у тети Жанны жила сестра Броня (особенно, если у нее было плохо с финансами)».

Важнейшим событием в жизни семьи стало появление в доме маленького ребенка. Иоанна Матвеевна вспоминала: «Я, любительница детворы, затащу к себе то маленьких сестер, то племянников, племянниц, или детей кого-нибудь из знакомых, или соседских детей и подыму с ними шум и возню. Если случайно Валерий Яковлевич застанет у меня ребят, то он, войдя к нам, холодно поздоровается, как со взрослыми на “вы”, с каждым малышом, не узнавая в большинстве случаев никого из них, и с грустным беспокойством пройдет к себе в кабинет. [...]

В 1917 году у младшей моей сестры Лены [...] был уже годовалый сын. Вызванная к раненому мужу куда-то на фронт, она оставила сынишку на попечение своей матери, моей мачехи, и просила меня навещать его. К этому времени моя страсть к ребятишкам как-то остыла, было некогда. [...] Но все же ребенка я навестила. Играя с ним, я заметила, что он болен. Я поняла, что старенькой, хворой бабке не совладать с таким богатырем, каким был Коля, что самой мне с Мещанской улицы нельзя будет ездить на Пречистенку следить за лечением, и я упросила бабушку отпустить его ко мне. Так как положение было серьезное, я ни на минуту не задумалась над тем, что скажет Валерий Яковлевич. [...]

По обыкновению Валерий Яковлевич ничего не сказал, не рассердился, но, посмотрев на мою затею с явной укоризной, прошел к себе в кабинет, тщательней обычного закрывая свою дверь. Здоровье Коли было довольно скоро восстановлено, он привык ко мне и постоянно врывался в комнату “дяди Ва”. К моему величайшему удивлению оба

они друг другу очень понравились. Коля, как все дети в его возрасте, был очень забавен, большой взяточник шоколадок, а Валерий Яковлевич неожиданно сделался одним из самых щедрых дядей. Я минутами не узнавала его и никогда не поверила бы, что он может проявлять столько внимания и забот к ребенку. [...] Когда, после трехмесячного пребывания Коли у нас, сестра Лена, вернувшись в Москву, приехала за ним, Валерий Яковлевич упросил Лену не совсем его отнимать, а отпускать иногда к нам гостить. Таким образом Коля стал жить то дома, то у нас, до ноября 1917 года, а затем родители уехали с ним на юг, откуда через пять месяцев вернулись. [...] Жизнь в Москве сильно осложнилась, особенно для Колиных родителей, поэтому ребенок был отпущен к нам с меньшим сожалением. [...] Трогательное и исключительное проявление любви и внимания к Коле не ослабевало за все восемь лет, прожитых Колей у нас, а, я бы сказала, усиливалось с каждым днем» (47).

Бронислава Рунт, после революции жившая у Брюсовых и делившая с ними трудности, вспоминала: «Однажды захожу я в кабинет Валерия Яковлевича и вижу, что Коля в каком-то бумажном колпаке, вооруженный большим ножом для разрезания книг, изображает дикого охотника.

— Колечка, а где дядя Валя?

Мальчуган разводит ручонками.

— Его нету...

А потом, хитро подмигнув, показывает под стол. К неопишуемому изумлению вижу: там, скорчившись, на четвереньках стоит Валерий Яковлевич. А Коля заговорщицким шопотом поясняет:

— Это тигр. Я его подкарауливаю.

Целыми часами просиживали вдвоем престарелый поэт и краснощекий бутуз. Валерий Яковлевич читал ему Пушкина, рассказывал сказки, а то, склонившись над толстой книгой Брэма, они вдвоем любовались зверями. Иногда Валерий Яковлевич отбирал из своей богатой библиотеки две-три книги в изящных переплетах и отправлялся на Сухаревку. Оттуда, продав за бесценок книги, возвращался с сахаром, белыми булочками или яблоками для Коли» (48). Так было продано почти все собрание книг по оккультизму и эзотерике.

Вместе они увлеклись филателией: к сожалению, «собрание марок Коли Филипенко и Вали Брюсова» до нас не дошло (49). Валерий Яковлевич мечтал дать Коле прекрасное образование, но не успел. Участник Великой Отече-

ственной войны, инженер-подполковник Николай Николаевич Филипенко скоропостижно скончался в 1955 году в возрасте тридцати девяти лет в брюсовском доме, на глазах у любимой тети Жанны.

Глава семнадцатая
«ТОВАРИЩ БРЮСОВ»

1

Сотрудничество Брюсова с большевистской властью объясняли просто. «Признал историческую правоту марксизма и неизбежность революции», — гласила официальная советская версия. «Продался», — коротко и решительно вынесли вердикт эмигранты. Первое подкреплялось фактом вступления в партию и цитатами из поздних стихов. Второе мотивировалось психологически, ибо ради пайков служили почти все. «Брюсову представлялось возможным, — утверждал Ходасевич, — прямое влияние на литературные дела; он мечтал, что большевики откроют ему долгожданную возможность “направлять” литературу твердыми административными мерами. Если бы это удалось, он мог бы командовать писателями, без интриг, без вынужденных союзов с ними — единым окриком». Эти утверждения порой повторяются до сих пор, со ссылками на занимавшиеся Брюсовым должности и на его критические отзывы о писателях и поэтах, которые посмертно — и не по своей воле — превратились в объект культа.

Утверждения Ходасевича о диктаторских амбициях Валерия Яковлевича восходят к борьбе «Весов» с «Золотым руном» и «Перевалом». Власть ради власти как таковой его не привлекала — по крайней мере, достоверных свидетельств об этом нет. Он хотел быть вождем декадентства, считая, что только оно может обновить русскую литературу. Он стал вождем декадентства и обновил литературу — разумеется, не единолично, а во главе фаланги. Руководил защитой символизма от эпигонов и вульгаризаторов — никто лучше него не справился бы с этим. Символизм как движение кончился и стал историей литературы. Декадент Брюсов тоже стал историей, что закрепили тома полного собрания сочинений. Но поэт Брюсов продолжал писать, переводчик Брюсов — переводить «Энеиду» и Эдга-

ра По, ученый Брюсов — исследовать русский стих и древние цивилизации, общественный деятель Брюсов — выступать против геноцида армян и за прекращение войны. Царский режим позволял не служить. Новая Россия позвала на государственное дело — в Комиссариат по регистрации произведений печати. Большевики не оставили выбора в отношении службы: Брюсов был немолод, слаб здоровьем и обременен многочисленными родственниками.

Никакой власти он не получил, что признал и Ходасевич: «Поскольку подчинение литературы оказалось возможным — коммунисты предпочли сохранить диктатуру за собой, а не передать ее Брюсову, который, в сущности, остался для них чужим и которому они, несмотря ни на что, не верили». Литературой и издательским делом командовали проверенные партийцы Воровский и Лебедев-Полянский с помощью литераторов-«эсдеков» Серафимовича, Когана и Фриче. Даже Луначарский не смог «пробить» в печать пьесу Брюсова «Диктатор», завершённую в день четвертой годовщины переворота (начата 23 июля 1921 года).

«Диктатор», имеющий подзаголовок «трагедия в пяти действиях и семи сценах из будущих времен», — самое крупное драматическое произведение Брюсова после «Земли» и, пожалуй, самое значительное. Персонажи носят условные имена (Орм, Эрм, Кро), но общественный строй Земли прямо назван социалистическим, планетой руководит Центр-Совет, а официальным обращением является «товарищ». Земля больше не может прокормить людей, и председатель Центр-Совета Орм предлагает колонизовать Венеру, населённую хищными полуживотными-полулюдьми. Оппозиция объявляет план Орма гибельным, а он, действуя по принципу «разделяй и властвуй», добивается единоличной диктатуры и требует беспощадного уничтожения противников. Орм — человек-машина, человек-идея, которому не знакомы обычные чувства. Когда правительство населённого разумными существами Марса грозит Земле войной в случае нападения на Венеру, народ и армия встают против диктатора. Покинутый всеми, Орм оказывается на маленьком острове в Тихом океане, ему угрожают плен и возможная казнь, но бывшая возлюбленная Лэр убивает его со словами: «Я любила тебя, Орм. Я не позволю тебе узнать позор казни через палачей. Ты должен умереть от моей руки».

«Диктатора» Брюсов сразу по завершении отправил в журнал «Красная новь», созданный для привлечения «по-

путчиков» на сторону революции. Уже 21 ноября главный редактор Александр Воронский отверг трагедию, заявив автору, что она «направлена против современной пролетарской диктатуры» и «будет истолкована и понята в духе, нежелательном для Советской России» (1). Обсуждение пьесы 2 декабря 1921 года в Доме печати вылилось в осуждение: «Главные нападки шли по линии идеологической неприемлемости пьесы. Говорили о том, что пьеса по существу пессимистическая, что совершенно невероятен самый факт того переворота, который изображается в пьесе, что в грядущем социалистическом государстве не будет почвы для возникновения диктатора. На все это Брюсов возражал, что необязательно писать пьесы на тему “Гром победы раздавайся”, что художник вправе замечать темные стороны жизни, вправе указывать на грядущие опасности, если они ему кажутся реальными» (2). Автор лишь смог объявить трагедию «готовящейся к изданию» в эфемерном издательстве «Созвездие»; она увидела свет только в 1986 году.

Облик будущего обрисован Брюсовым схематично, но упомяну две детали: «телефоны с экранами кинематографа», то есть видеотелефоны, и «милиционеры», которыми являются... обученные шимпанзе. Возможно, это ирония: неразумные существа — лучшие слуги режима. Возможно, отражение модных в те годы теорий об использовании человекообразных обезьян в мирных и военных целях.

Осмысляя отношение Брюсова к большевистскому режиму, следует вспомнить сборник «Смена вех» (1921) — манифест интеллигенции, которая боролась с «красными» во время гражданской войны, но признала свое поражение и призвала к сотрудничеству с большевиками — во имя России, а не диктатуры пролетариата, мировой революции или Третьего Интернационала. «Смену вех», переизданную в Советской России большим тиражом и ставшую предметом жарких дискуссий, в том числе на самом высоком уровне — на партийных съездах, Брюсов не мог не читать. «Вам нужно понять, что революция совершилась, и вам нужно принять революцию», — обращался к «товарищам интеллигентам» бывший врангелевский министр иностранных дел Юрий Ключников, вскоре вернувшийся в Москву и поступивший на службу в Наркомат по иностранным делам. Диалог Брюсова с новой властью свидетельствовал, что он понял и принял изменение ситуации, произошедшее помимо и даже против его воли, но бесповоротно. В 1905 году еще можно было мечтать о том, что «мудрецам и поэтам» доста-

точно «унести зажженные светы в катакомбы, пустыни, пещеры», чтобы спасти их от «грядущих гуннов». В 1918 году, когда «гунны» пришли и завладели всем, надо было или бросить все на произвол судьбы и спастись самим, или попытаться сберечь хоть что-то из общенационального достоинства.

Брюсов выбрал второе. Об эмиграции он не думал, хотя в мае 1922 года прошел слух, что «Вал. Як. Брюсов, по газетным сообщениям, выезжает из Москвы за границу» (3). Свою позицию он четко выразил в письме к журналисту Михаилу Суганову, которого знал по военным годам. В конце декабря 1923 года у них состоялась откровенная беседа. Суганов жаловался на трудности московской жизни и признался, что мечтает об эмиграции. Брюсов отговаривал его, а днем позже написал письмо, опубликованное адресатом в 1932 году за границей, куда тот все-таки перебрался: «Уехать Вам — безумие. В эмиграции с Вашим мироощущением и мышцами впадете в нищету духовную и физическую. Здесь провалы и горизонты, там падения... и ничего. Эмиграция изнашивается, как и мы, но наши смены на славянской земле, а у них на чужой. Еще десятилетие — и у нас не будет общего. Вы говорите: много могил. Но много и легенд. Грядущее перепашет и травой покроет могилы, а легенды перепишет и развеет по свету. Бывает тяжело, но запад... В современности запада мясники и торговцы подтяжками пользуются плодами науки и искусства. Нет, я приемлю эту Россию, даже в достижении никогда не достижимых целей. И Вам говорю: не уезжайте. Предвижу только Вашу гибель» (4).

Другой сменовеховец Николай Устрялов, идеолог колчаковского режима, затем трибун национал-большевизма, оперировал геополитическими категориями: «Россия должна остаться великой державой, великим государством. [...] И так как власть революции — и теперь только она одна — способна восстановить русское великодержавие, международный престиж России, — наш долг во имя русской культуры признать ее политический авторитет. [...] Советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению окраин с центром — во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут бороться за то же — во имя великой и единой России. При всем бесконечном различии идеологии, практический путь — один». Параллели к сказанному нетрудно обнаружить в стихах Брюсова, написанных как до появления «Смены вех» («России», «К рус-

ской революции», «К Варшаве!»), так и после нее («СССР», «ЗСФСР», «Магистраль»).

Послеоктябрьские революционные стихи Брюсова — немногочисленные и тщательно отобранные — входили в антологии советской поэзии даже самого антисимволистского времени. Однако официальные толкователи испытывали в их отношении явное неудобство: по идеологической выдержанности они заметно уступали Демьяну Бедному и Маяковскому, по художественной выразительности — «Двенадцати» и «Скифам». Посмотрим на них глазами историка.

Во-первых, среди них мало откликов на конкретные события, потому что Брюсов предпочитал анализировать происходящее в общеисторическом контексте и в мировом масштабе. Во-вторых, он подчеркивал национальный характер русской революции, сходясь в этом со многими современниками и расходясь с большевиками. Рапповский критик Георгий Горбачев с неудовольствием отметил: «Брюсов говорит о революции словами националистическими, воспринимая Коминтерн как национальное торжество России» (5). В-третьих, он не написал ни одной агитки к политическим кампаниям новой власти, не говоря о красном терроре. В-четвертых, он не боялся критиковать плоды политики большевиков. Подобно большинству русских поэтов — от Кириллова и Багрицкого до Волошина и Клюева — Брюсов не принял НЭП, увидев в нем отступление от идеалов революции и торжество ненавистного «торгового строя»:

...Витрины горят этажами,
В кафе румынский концерт.
Миллионы за булки сдобные,
Миллиарды на стол в шмен-де-фер*...
Вороти в колеи удобные
Взнузданный Ресефесер!..

Каждый притон был доволен, подведя свои счета;
Отдувались, набиты живностью, погреба;
Изнемогли за сутки от непосильной работы,
Вновь фыркала вольно водопроводная труба...
Лишь кое-где на лентах атели девизы:
«Праздник труда», «Пролетарии...» и т. д...

* Ш м е н - д е - ф е р (*фр.* «chemin de fer» — «железная дорога») — карточная игра, именовавшаяся в просторечии «железкой».

И, кровь на тени, пятнались карнизы
Красным клочком, увы, не везде.

Отрицательное отношение прижизненной критики к политическим стихам Брюсова послереволюционных лет объяснялось не только их художественным несовершенством. Эмигранты не могли простить ему переход на сторону «красных», не задумываясь о причинах и мотивах. Ортодоксальная марксистская критика, напротив, не уставала преследовать поэта за «пережитки прошлого». Это сказалось и на оценке его позднего творчества в целом.

2

Первым официальным контактом Брюсова с новой властью стало присутствие 20 мая 1918 года на совещании при Литературно-издательском отделе Наркомпроса под председательством его комиссара Павла Лебедева-Полянского, которого Ходасевич метко назвал «литературным неудачником, ущемленным собственной бездарностью и задыхающимся от зависти к настоящим писателям». Среди участников — Вересаев, Гершензон, Сакулин. В повестке дня национализация сочинений русских классиков, провозглашенная декретом ВЦИК «О Государственном издательстве» (29 декабря 1917 года), и их выпуск специальной комиссией при Наркомпросе. Писатели приветствовали эту меру в принципе, но внесли много предложений и поправок, стремясь не допустить монополии Госиздата и превращения литературы в инструмент пропаганды. 1 и 18 июня совещание продолжалось, но диалога не получилось: выслушивать аргументы и, тем более, возражения писателей комиссары не собирались.

На совещании Брюсов молчал, но согласился войти в реорганизованную 4 июля Литературно-художественную комиссию по изданию классиков (создана 12 января в Петрограде). 26 июня он заключил с Литературно-издательским отделом Наркомпроса договор на подготовку собрания сочинений Пушкина в шести книгах (три тома в двух книгах каждый) и в течение 1919 года сдал в Госиздат первые пять (6). Из-за царившего там хаоса весной 1920 года (не позднее 7 апреля) свет увидела только первая книга; еще несколько осталось в гранках, а часть рукописей просто потеряли. По воспоминаниям Петра Зайцева, пы-

тавшегося возобновить издание в 1921 году, после смены руководства Государственного издательства, которое литераторы прозвали «государственным издевательством», Валерий Яковлевич воспринял утрату стоически и согласился приняться за подготовку нового полного собрания сочинений Пушкина, однако дальше заключения договора дело не двинулось (7). Возможно, сказался холодный прием, оказанный первому тому пушкинистами; наиболее резким был аргументированный отзыв Бориса Томашевского (8). Побочным продуктом работы над собранием сочинений стали пять брошюр со стихотворениями Пушкина под редакцией и с предисловиями Брюсова, выпущенные Наркомпросом массовым тиражом в конце 1919 года, а также аналогичные издания Жуковского и Тютчева (9). Валерий Яковлевич изучал «наше все» до самой смерти и опубликовал ряд интересных работ о его стихотворной технике, хотя упоминания о революционных настроениях Пушкина навлекали на автора упреки в том, что он, как тогда выражались, «подкоммунивает».

Первой советской службой Брюсова стали должности заведующего Библиотечным отделом (позднее Отдел научных библиотек) Наркомпроса и Московским библиотечным отделением (подчинявшимся Моссовету), которые он занял в июле 1918 года в дополнение к руководству Московским отделением Книжной палаты. Советская власть видела в библиотеках мощное орудие пропаганды, и Брюсов составил несколько записок об организации библиотек для рабочих, крестьян, учащихся. Сегодня из всей его деятельности на этом поприще вспоминают лишь инструкцию «О реквизиции частных библиотек», утвержденную коллегией Наркомпроса 27 декабря 1918 года. Второй целью в ней было названо «справедливое распределение книжных сокровищ, поступивших в ведение Библиотечного отделения, между государственными и академическими библиотеками», но первой — «спасение и охрана библиотечных собраний, коим грозила опасность погибнуть в стихийном революционном движении»! Валерий Яковлевич разработал проекты декретов не только «О порядке реквизиции книжных собраний», но и «О порядке охраны библиотек» — последний служил средством борьбы со стихийными реквизициями, жертвой которых чуть не стал и он сам. Книг в революцию погибло много. Есть ли в этом вина Брюсова? Если бы библиотечное дело возглавил революционный матрос (эпоха знала и не такие назначения) или, напротив,

фрондирующий интеллигент, книг погибло бы больше. Надо упомянуть и такие инициативы Брюсова, как организация межбиблиотечного абонементов, создание государственного собрания рукописей и автографов и отмена частной собственности на архивы умерших деятелей науки и искусства, переданные на хранение в библиотеки и музеи, что делало их доступными для исследователей (декрет Совнаркома от 29 июля 1919 года) (10).

Валерий Яковлевич относился к библиотечной службе ответственно и добросовестно, но совмещать ее с работой в Книжной палате на другом конце города оказалось не по силам. Уже в июле 1918 года, то есть сразу после назначения, он просил освободить его от обязанностей заведующего Московским библиотечным отделением, а 30 октября написал Венгерову как главе Книжной палаты прошение об отставке с поста заведующего ее отделением. 2 апреля 1919 года такое же прошение было направлено на имя заведующего Отделом печати Моссовета Николая Ангарского, в подчинение которого отделение Книжной палаты перешло в конце 1918 года (11). Избавиться от этой службы удалось только к концу 1919 года.

Нашлась более приемлемая и интересная работа. 13–14 декабря 1918 года в Наркомпросе состоялось совещание Луначарского и Лебедева-Полянского с московскими литераторами: нарком предложил обсудить идею создания в его ведомстве Литературного отдела — во главе с Горьким — для помощи писателям. Налаживание отношений Луначарский хотел возложить на беспартийных, но лояльных к советской власти людей вроде Белого, Чулкова, Шершеневича и своего бывшего помощника Рюрика Ивнева. Писатели настороженно отнеслись к инициативе, усмотрев в ней попытку официально поставить их под контроль государства с помощью «кнута и пряника». Шершеневич выдвинул кандидатуру Белого в заместители Горького, а Ивнев — сразу в заведующие отделом. Выступление Брюсова не отличалось конкретностью: «Существует новый читатель и спрос на новую книгу. Можно только приветствовать создание Литературного отдела, который учтет эту потребность. Главная задача Литературного отдела — это создание чего-то нового» (12). Не встретив безусловного одобрения своих идей, нарком отказался от их реализации на целый год.

Седьмого августа 1919 года Брюсов был избран членом Литературно-художественной подкомиссии Госиздата. По-

благодарив за сообщение об этом, он известил, что «к сожалению, в настоящее время длительная болезнь, требующая постоянного хирургического вмешательства (фурункулез. — В.М.), не позволяет мне принять участие в работе подколлегии. Но как только позволит мне мое здоровье, почту долгом деятельно участвовать в этих работах» (13). С 1 октября Валерий Яковлевич участвовал в заседаниях и рецензировал рукописи: одобрил рукописи Бориса Пильняка и Владимира Кириллова, призвал поощрить Пимена Карпова и Сергея Обрадовича, отверг роман Алексея Чапыгина «На лебяжьих озерах» и опыты нескольких безвестных авторов (14). В ряде случаев рекомендовал книгу пока не издавать, но оплатить. Политических мотивировок и предложений о запрете в отзывах нет. Кто только не писал тогда внутренних рецензий, однако «цензором» поспешили обозвать именно Брюсова.

Необходимость выживания объединяла вчерашних врагов. 4—5 ноября в Госиздат поступило ходатайство учрежденной 10 мая 1918 года Трудовой артели литераторов, членами которой были Брюсов с женой и Айхенвальд. Среди выпущенных книг указан сборник ранних произведений Флобера «Ноябрь» в переводе Иоанны Матвеевны под редакцией Валерия Яковлевича; среди планов заявлены брошюра Брюсова «Пушкин» (два печатных листа) для серии биографий «Сеятели правды» и «книга стихов Виктора Гюго (приблизительно в 12 печатных листов) в переводе и под редакцией В. Брюсова». Ни один из проектов не был осуществлен, хотя Артель просила лишь «разрешение на выпуск названных изданий» и бралась купить бумагу за свой счет (15).

Наконец, 11 декабря 1919 года коллегия Наркомпроса утвердила положение о Литературном отделе (Лито) во главе с Луначарским. Брюсов стал его заместителем. В коллегия Лито вошли Блок, Горький, Иванов, Балтрушайтис, Серафимович, поэт-пролеткультовец Кириллов и Давид Марьянов из аппарата Наркомпроса; Айхенвальд, Гершензон, Иван Рукавишников и Осип Брик стали кандидатами в члены коллегии. Против категорически выступила Крупская, заявив, что нарком «дает громадную власть в руки кучки людей, власть укреплять свое литературное направление, навязывать его массам и подавлять всякое новое направление, порождаемое новой жизнью» (16). Постановление Центральной коллегии Наркомпроса от 26 июля 1920 года признало Брюсова «высококвалифицированным специалистом и незаменимым сотрудником» (17).

Сработаться столь разным людям было сложно, поэтому фактическое руководство взял на себя Брюсов. «Он работал, не покладая рук, — вспоминал Кириллов. — С аккуратностью и любовью, достойной лучшего советского работника, он неумоимо руководил деятельностью этого учреждения. [...] Он часто приходил раньше всех и усаживался за разборку вороха бумажных дел, которых тогда было изобилие. От гонорарных ведомостей, счетов до ордеров на выдачу селенок, — все это проходило через его руки, рассматривалось и утверждалось им» (18). Ироническое описание работы Лито как «невиданной поэтической канцелярии» оставил Эренбург: «На стенках висели сложные схемы организации российской поэзии — квадратики, исходящие из кругов и передающие свои токи мелким пирамидам. Стучали машинки, множа “исходящие”, списки, отчеты, сметы и, наконец-то, систематизированные стихи» (19). Отдел должен был «регулировать все отношения государства к литературно-художественной деятельности страны», «оказывать поддержку живым литературным силам», «выявить скрытые в народе литературные дарования и содействовать их росту в духе мировой революции», а также нормировать ставки гонораров, регистрировать литературные общества и организации.

Отдел покупал рукописи, которые не брал Госиздат. На это Брюсов в конце июля 1920 года смог получить 20 миллионов рублей (20). Покупал не все подряд: требовательность Валерия Яковлевича как рецензента вызывала недовольство отвергнутых, хотя он руководствовался художественными критериями (21). Оценивая сборник «От Рюрика Рока чтения» он писал: «”Чтенья” Р. Рока принадлежат к тем произведениям, в которых молодые поэты ищут нового стили и новых средств изобразительности. С этой точки зрения, в “чтеньях” есть интересное и даже ценное. Но, конечно, это интересно и ценно лишь для очень ограниченного круга. [...] Возникает принципиальный вопрос, как поступать с таким произведением. Государственное Издательство не может и не должно покрывать их своим авторитетом, но как лабораторный опыт в области поэзии они заслуживают внимания» (22). После выхода книги в частном издательстве Брюсов отметил в печати, что это «единственное запоминающееся имя» в группе «ничевоков» и позже призывал «ждать дальнейшей работы Р. Рока над самим собой». Другим направлением работы Лито стала Литературная студия, которую 1 марта 1920 года предложил учредить

Вячеслав Иванов при поддержке Брюсова и Луначарского. Уже 24 мая в студии начались занятия. Брюсов вел курсы «вольной композиции», латинского языка и истории литературы (23).

В начале октября 1920 года вышел первый выпуск «временника» Лито «Художественное слово» под редакцией Брюсова, на страницах которого Бальмонт соседствовал с Маяковским, Иванов с Пастернаком, Пильняк с Фриче, а сам Брюсов с Герасимовым. Это был если не самый интересный литературный журнал тогдашней Советской России, то самый разнообразный и представительный, а потому — несмотря на официальный статус и участие наркома — вызвал брань ортодоксов. Неприязненно относившийся к Луначарскому, Лебедев-Полянский заявил (правда, под псевдонимом), что «одним ненужным и скучным журналом стало больше», съязвив: «А злые языки утверждают еще, что В. Брюсов — коммунист» (24). Второй выпуск «временника», вышедший в начале марта 1921 года, оказался последним из-за реорганизации Лито.

Двадцать второго ноября 1920 года вместо Луначарского заведующим Литературным отделом был назначен Брюсов (заместителем стал партийный журналист Вячеслав Полонский), который уже через два дня пригласил к себе московских поэтов, чтобы выслушать их пожелания. Затем он выступил с докладом на Первой Всероссийской конференции заведующих подотделами искусств Наркомпроса (19–25 декабря), призвав к сохранению и изучению классического наследия — пусть даже с пересмотром «под углом коммунистической точки зрения» — и к «всемерной поддержке и развитию современной литературы, причем должно быть обращено главное внимание на новые искания в области словесного творчества» (25).

Пролетарские писатели добились отстранения Брюсова от руководства Лито. 25 января 1921 года он был смещен Серафимовичем и назначен заведующим литературной секцией Отдела художественного образования Главного управления профессионального образования (Главпрофобр) Наркомпроса, позднее возглавил весь отдел, а после реформы Главпрофобра в конце 1923 года и до конца жизни заведовал Методическим отделом художественного образования. 9 февраля Серафимович распустил старую коллегию Лито и попросил утвердить новую, в которой чужих, включая Брюсова, больше не было. Луначарский смирился, хотя недолюбливал Серафимовича и стоявших за ним

агрессивных и малокультурных деятелей. В том же году Литто был реорганизован в Институт художественной литературы и критики, а в марте 1922 года вошел в Литературную секцию Государственной академии художественных наук (ГАХН). Академию, целью которой было наведение мостов между властью и лояльной интеллигенцией, возглавил Коган; Брюсов стал одним из ее членов-учредителей.

3

Гиппиус иронизировала по поводу «обязательной дружбы» Валерия Яковлевича с наркомом. Несомненная взаимная симпатия между ними была. В большевистской среде Луначарский казался энциклопедистом и аристократом духа, эмигранты сочиняли про него злые и во многом справедливые памфлеты. До революции Брюсов едва ли стал бы дискутировать с ним. После революции прежних собеседников почти не осталось, большинство новых не радовало, а во власти вообще не с кем было поговорить — не с Лебедевым-Полянским же, которого в литературных кругах прозвали «Лебедев-Подлянский»? Троцкий и Каменев держались с писателями по-барски, а с Луначарским можно было общаться на равных. Трудно сказать, насколько искренними были похвалы Брюсова стихам и пьесам наркома (литературного таланта он, как минимум, не был лишен), но он подарил «Поэту Анатолию Васильевичу Луначарскому» сборник «В такие дни» (26), в котором ему были адресованы многозначительные строки:

В ослеплении поднятый молот
Ты любовной рукой удержал,
И кумир Бельведерский, расколот,
Не повергнут на свой пьедестал.

Несомненно под влиянием Луначарского Брюсов в первой половине февраля 1919 года стал кандидатом в члены РКП(б), а 21 мая 1920 года был принят в члены партии решением исполнительной комиссии Хамовнического района г. Москвы (27). Номер партийного билета Брюсова: 211 831 — известен по заполненной им анкете (28).

Этот шаг он незадолго до смерти объяснял Волошину: «Я однажды в одной беседе с Анатолием Васильевичем высказал ему, что я вообще принимаю доктрину Маркса, так

же как принимаю дарвинизм, конечно, со всеми поправками к нему. Этот чисто теоретический разговор Анатолий Васильевич считал нужным понять как мое желание вступить в партию и сделал туда соответствующее заявление. Об этом я узнал только получивши из партии официальное согласие на принятие меня в ее члены. Вы понимаете, что при таких обстоятельствах отказаться было для меня равносильно стать в активно враждебные отношения. Это в мои расчеты не входило. И в то же время не было ничего, что бы меня сильно удерживало от входа в партию. Таким образом я оказался записанным в члены Коммунистической партии. Но я исполнял лишь минимум того, что от меня требовалось, и бывал только на необходимейших собраниях». Нет оснований утверждать, что Валерий Яковлевич стремился в партийные ряды, но «записать» его туда не могли — заявление о вступлении он написал собственноручно. Партийные документы Брюсова никогда не публиковались; их местонахождение неизвестно, за исключением билета члена фракции РКП(б) Моссовета, выданного 30 декабря 1922 года (29). А они прояснили бы, например, отношения с органами партийного контроля, о которых он говорил Волошину: «Три раза я уже подвергался чистке и три раза меня восстанавливали снова в правах без всяких ходатайств с моей стороны. В настоящее время партийный билет у меня снова отобран, и я вовсе не уверен, буду ли я восстановлен на этот раз» (30). Посмертно Брюсов все же остался членом РКП(б), что зафиксировано на мемориальной доске, висящей с октября 1939 года на стене его последнего московского дома.

Вступление в партию окончательно оттолкнуло от Валерия Яковлевича многих бывших друзей и соратников. Гиппиус придумала его несуществующую книжку «Почему я стал коммунистом». «Только читал лекции на эту тему», — поправил ее Ходасевич, но и такие лекции нам неизвестны. 24 марта 1919 года он сообщил Садовскому: «Валерий записался в партию коммунистов, ибо это весьма своевременно. Ведь при Николае II-м он был монархистом. Бальмонт аттестует его кратко и выразительно: подлец. Это не верно: он не подлец, а первый ученик. Впрочем, у нас в гимназии таких били без различия оттенков» (31).

Как складывались отношения Брюсова с новой властью? Как власть относилась к Брюсову? Он был знаком со многими вождями, но отношения с ними, за исключением Луначарского, не задались.

Двенадцатого марта 1923 года Валерий Яковлевич написал стихотворение «Диадохи»:

Искали царств, дробили грады,
Бросая здесь, там зиждя трон;
Битв смена — путь их; им награды —
Груз диадем, цепь из корон.
Народ? он — ставка. На кон брошен,
Да ждет, чья кость решит игру!
Как сметь судить? кто в споре спрошен?
Рок тысяч — у царя в шатру!..

О чем оно? Только ли об исторических диадохах — двенадцати сподвижниках Александра Македонского, разделивших между собой империю после его смерти? Или здесь скрыт какой-то иной смысл?

Есть основания думать, что «Диадохи» — непосредственный отклик на резкое — точнее, как показали события, роковое — ухудшение состояния здоровья Ленина, наступившее 6 марта 1923 года и закончившееся параличом правой части тела и потерей речи 10 марта, а также раздумья о том, что последует за уходом вождя. Чем мотивировано такое предположение?

Брюсов и раньше не раз откликался на актуальные события в форме исторических аналогий, особенно когда говорить прямо было опасно, а то и невозможно. Случай с болезнью Ленина именно таков. В пользу нашего вывода говорит и брюсовское восприятие большевистской революции в масштабе «от Перикла до Ленина», а самого Владимира Ильича, в послереволюционные годы, как одного из творцов мировой истории, одного из «любимцев веков», которых Брюсов не оценивал в этических категориях. Саму ситуацию — император умирает в окружении наследников — он уже описал в стихотворении «Смерть Александра» (1911). В «Диадохах» появился новый важный мотив: «“Достойнейший” не встал». В примечании автор пояснил: «“Достойнейшему”, по преданию, завещал Александр свою империю». Одного «достойнейшего» не нашлось, и империю пришлось разделить. Это похоже на положение, сложившееся в высшем советском руководстве осенью 1922 года, с началом болезни Ленина. Только большевистские «диадохи», ведя борьбу за звание «достойнейшего» преемника вождя, делили не саму империю, а власть в ней.

Имена «диадохов» были у всех на слуху. Ленин сам назвал их: Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин,

Пятаков — в «Письме к съезду», посвященном определению «достойнейшего», которого вождь так и не нашел. Знал ли об этом Брюсов? Как член партии и ответственный работник он был обязан или, по крайней мере, имел возможность читать все партийные документы, в том числе распространявшиеся под грифом «только для членов РКП(б)». К партийной рутине он относился серьезно, но без догматизма. «Однажды я зашел к нему в кабинет в Наркомпросе, — вспоминал Шершеневич. — Он, сдвинув брови, внимательно штудировал постановление последнего партийного съезда. Ему нужно было делать доклад. Я принес в подарок последний сборник имажинистов. Брюсов немедленно отложил в сторону брошюру и начал читать стихи» (32). У него не было недостатка в информации о происходящем, — хотя бы через Луначарского, человека не столь влиятельного, но осведомленного.

Итак, «диадохи».

Председатель Реввоенсовета и народный комиссар по военным и морским делам Лев Троцкий был известен как человек, не чуждый литературе, много писавший о ней и водивший дружбу с писателями, причем не только пролетарскими. О личном знакомстве свидетельствует дарственная надпись: «Т. Брюсову от автора. Л. Троцкий. 4/IV 1922» на книге «Между империализмом и революцией. Основные вопросы революции на частном примере Грузии» (1922). Титульный лист с инскриптом был сохранен Иоанной Матвеевной, видимо, уничтожившей опасную книгу, однако до 1992 года находился на специальном хранении (33).

Днем позже наркомвоенмор писал поэту: «Прочитал только что Ваши стихи о голоде и сказал себе снова: как хорошо, что Брюсов — с рабочей революцией! Могуущественная стихия буржуазного общественного мнения. Поэты нуждаются в “эстетической” среде. А этой среды пока еще не дает им наша голодная, ободранная — кости да кожа — революция. “Нэп”, породив пока что жалкий суррогат буржуазно-эстетической среды, уже оживил кой-кого из поэтов и беллетристов. Как хорошо, что есть стойкие, чувствующие большую эпоху под ее вшивой корой. И вдвойне хорошо, что Брюсов, поэт отчетливой формы — из закаленной стали — не испугался бесформенности, сырой грубости, хаотической неустойчивости нашей эпохи. Из этой эпохи вырастет большая — величайшая поэзия. Для этого нужны два условия: 1) в головах, в художественном сознании должен

завершиться (т.е. дойти до известной зрелости) происходящий там глубокий молекулярный процесс; 2) Россия должна стать богаче, ибо искусство — также и в обществе, основанном на трудовой солидарности, — требует избытка» (34).

Двадцать третьего июня 1922 года Троцкий пригласил Брюсова «поговорить о нынешней нашей художественной литературе и вообще», предложив «назначить место и время» (35). Темой беседы, вероятно, предполагался проект восстановления «Нивы» — самого популярного журнала дореволюционной России — как «средства могучей пропаганды советских идей в гуще обывателей» при участии Ключникова, редактировавшего в Берлине «сменовеховскую» газету «Накануне» (в ней печаталась Нина Петровская). 25 июня Троцкий инструктировал заведующего Политотделом Госиздата Николая Мещерякова: «Чуть не ежедневно выходят книжки стихов и литературной критики. 99% этих изданий пропитаны антипролетарскими настроениями и антисоветскими по существу тенденциями. [...] Нужно выпускать в большем количестве и скорее те художественные произведения, которые проникнуты нашим духом. В связи с этим, я думаю, следовало бы использовать для литературно-художественной пропаганды в нашем духе будущую “Ниву”. Полагаю, что наилучшим редактором литературно-художественного отдела был бы Брюсов. Большое имя, большая школа и в то же время Брюсов совершенно искренно предан делу рабочего класса. Полагаю, что можно было бы Ключникову подсказать эту мысль в том смысле, что можно было бы завоевать для этого предприятия Брюсова, что сразу подняло бы художественный авторитет издания». «Красная нива» появилась позже, без Брюсова и Ключникова.

Троцкий продолжал держать Валерия Яковлевича в поле зрения. 17 июля 1922 года он попросил заведующего Госиздатом прислать ему корректуру сборника «Дали», а 21 августа ответил Городецкому на записку о литературных группах: «Почему Брюсов, коммунист и, если не ошибаюсь, член партии, отнесен к одной группе с Бальмонтом и Соллогубом (так! — *В.М.*)? Стало быть, у Вас допускается отвод по прошлой деятельности. Сомнительная постановка вопроса. Указание на то, будто Брюсов отразил преимущественно бунтарско-анархические силы первых дней революции, кажется мне сомнительным. [...] Брюсов с его алгебраическим складом ума вряд ли может быть причислен к революционным “стихийникам”. Я останавливаюсь так подробно на вопросе о Брюсове ради принципиальной

стороны дела. Немотивированное ограничение, имеющее место в отношении такого выдающегося лица, как Брюсов, может сказаться в отношении менее известных писателей» (36). Однако давая в книге «Литература и революция» (1923) подробный обзор послеоктябрьской поэзии и прозы, Троцкий проигнорировал Брюсова, за исключением нескольких случайных упоминаний. Столь же случайно беглое упоминание Троцкого — антитеза Деникину — в брюсовском стихотворении «Прибой поколений» (1923), которое стало причиной его последующего запрета советской цензурой. Последнюю рецензию, над которой он работал во время предсмертной болезни, Брюсов посвятил критике сборника стихов Александра Безыменского «Как пахнет жизнь» с хвалебным предисловием Троцкого. Отзыв увидел свет только в 1988 г. — именно по этой причине (37).

Как меценат и друг писателей был известен председатель Моссовета Лев Каменев, возглавлявший в конце жизни Институт мировой литературы и издательство «Academia». Леонид Гроссман вспоминал, как зимой 1923 года он «встретился с Брюсовым на заседании “Комиссии по изданию критиков и публицистов” под председательством общего редактора серии Л.Б. Каменева. Обсуждался общий план издания, в состав которого должны были войти представители передовой общественной мысли, преимущественно социалистического уклона. Вырабатывался список авторов, в который входили наряду с корифеями русской критики такие имена, как Пнин, Ткачев, Серно-Соловьевич. Брюсов молча следил за прениями и вдруг совершенно неожиданно, в явном разрыве с общим характером плана и дебатов, внес предложение:

— Следует издать литературно-критические статьи В.В. Розанова тем более, что имеются еще неизданные рукописи его.

Председатель с улыбкой указал на полное несоответствие названного автора с основной идеей серии и составом ее участников. Предложение само собой отпало. Помнится, вскоре Брюсов встал из-за стола и стал быстро и нервно шагать по большому залу, многократно чертя прямоугольники в различных направлениях. В нем было нечто, напоминающее быстро шагающего по клетке тигра с равнодушным и неподвижным взглядом. Как всегда, он производил впечатление замкнутого, изолированного, непримиримого одинокого сознания» (38). Инцидент стал известен в литературных кругах. По свидетельству Шершеневича, Брюсов

«очень обиделся, когда это предложение было отвергнуто. Писатель Брюсов не понимал, как это можно не перепечатать талантливого черносотенца и юдофоба. Партбилет не разъяснял» (39).

С «любимцем партии» и ее ведущим теоретиком, главным редактором «Правды» Николаем Бухариным Брюсов схлестнулся 7 июля 1920 года на диспуте «О мистике» в Доме печати. Согласно газетному отчету, Валерий Яковлевич «взял на себя задачу реабилитировать мистику... История мистики показывает, что мистический опыт вовсе не обязательно связан с религиозным, что мистика сама по себе — арелигиозна. Мистицизм — это просто другой, второй, нерационалистический, не “научный” метод познания мира и истины» (40). Луначарский вспоминал, что Бухарин «выступил очень резко, с обычной для него острой насмешливостью. Мне тоже пришлось прибавить к возражениям Бухарина кое-какие замечания насчет крайней неточности определения мистики. Брюсов был очень взволнован. В эту минуту он, несомненно, чувствовал себя несчастным. Ему казалось, что он нашел какое-то довольно ладное сочетание того, к чему влекла его натура, и той абсолютной трезвости, которой он требовал от себя как коммуниста» (41). Однако Бухарину принадлежит и такая оценка: «Он сумел прощупать пульс мировой истории. Эта гениальная голова, которая постоянно пылала холодным голубым жаром познания, с высочайшей вышки, глазами мудреца, следила за геологическими социальными катастрофами современности» (42).

Что касается прочих «диадохов», то Брюсов вряд ли нашел бы общий язык с «петроградским диктатором» Григорием Зиновьевым, гонителем интеллигенции и главным врагом «сменовеховства» в партийной верхушке, или с Иосифом Сталиным, еще не проявлявшим особого интереса к литературе. Среди большевистских вождей Валерий Яковлевич выделял Ленина — точнее, отделял его от них, как Александра — от исторических диадохов.

Приветствуя Владимира Ильича по случаю его пятидесятилетия от имени московских писателей на собрании в Доме печати 28 апреля 1920 года, он говорил: «Мы все считали социалистическую революцию делом далекого будущего. [...] Предугадать, что революция не так далека, что нужно вести к ней теперь же, — это доступно лишь человеку колоссальной мудрости. И это в Ленине поражает меня больше всего». Кроме этого они встречались, по край-

ней мере, один раз, когда Брюсов посетил Ленина в Кремле вместе с группой литераторов и издательских работников и вручил ему только что вышедшую массовым тиражом книжку стихов Ивана Сурикова (43). 3 января 1919 года Владимир Ильич дал распоряжение исполкому города Родники, близ Иванова, по письму Брюсова о судьбе библиотеки бывшего члена Государственной Думы от социал-демократов Петра Суркова, которую реквизируют свои же товарищи (44). Конечно, этого недостаточно, чтобы говорить о каких-то отношениях между ними. Однако в стихотворении Василия Дембовецкого на смерть Брюсова есть примечательные строки:

В Москве, в полуночном Кремле,
Он пребывал, как внимлющий оракул.
И вместе с Лениным к земле
И припадал, и слушал он, и плакал.

Не чувствовал ли себя Брюсов подобием крипто-язычника Авсония при дворе благоволившего к нему христианского императора Грациана?.. «Помню, Валерий Яковлевич любил в позднейшие годы говорить, — вскользь обронила Иоанна Матвеевна, — что свой дневник он стал вести полатыни. Была ли то шутка или неосуществленная мечта, не знаю, только я такого дневника среди бумаг не нашла и не видала его никогда при жизни Валерия Яковлевича» (45).

Смерть Ленина произвела на Брюсова тяжелое впечатление (46):

Кто был он? — Вождь, земной Вожатый
Народных воль, кем изменен
Путь человечества, кем сжаты
В один поток волны времен.

Потому «сотням тысяч — страшны, страшны дни без вождя!»:

В тревоге ждут, что будет впредь,
И, может быть, иной — отчаян:
Кто поведет?..

Нетрудно увидеть здесь тревогу за судьбу страны, оказавшейся в руках «диадохов»:

Народ? он — ставка. На кон брошен,
Да ждет, чья кость решит игру!..

В конце концов «достойнейший» определился. Брюсов до этого не дожид, но оказался прав, говоря: «Рок тысяч — у царя в шатру!».

Недоброжелатели посмеивались над сочиненной им кантатой «На смерть Ленина» на музыку Михаила Багриновского и над текстом к «Реквиему» Моцарта. Их историю проясняет письмо Брюсова редактору «Известий» Юрию Стеклову от 28 января 1924 года: «Трагические дни смерти и похорон Владимира Ильича Ленина были для меня крайне неудачны. Я был болен, должен был оставаться в комнате, не мог быть среди товарищей. [...] В самый день кончины В.И. к мне обратились представители Моссовета — с просьбой написать “кантату”, которая будет немедленно положена на музыку и, может быть, будет исполняться на похоронах. Несмотря на болезнь, я тотчас принялся за работу, написал эту “кантату”, в которую постарался ввести мотивы “похоронного марша” и “Интернационала”. Моссовет издал мои стихи с музыкой т. Багриновского, но... но присоединил к брошюре нелепейшее предисловие, не знаю, кем написанное. В результате Главлит арестовал эту брошюру и запретил ее распространение» (47). Первем цитату, ибо здесь необходимы пояснения.

Изданная Комиссией помощи детям при Президиуме Моссовета и не содержащая более никаких выходных данных, кроме адреса склада издательства, «Кантата» является, пожалуй, самым редким отдельным изданием Брюсова. Впервые она была упомянута в печати в 1967 году при публикации письма к Стеклову с пояснением, что «перед текстом кантаты — краткая и в высшей степени неточная биография В.И. Ленина без подписи автора». Неточностей на полутора страницах биографии нет, а истинной причиной запрета стало содержащееся в первых строках упоминание о том, что вождь мирового пролетариата — «по рождению потомственный дворянин, сын действительного статского советника». Написал злополучный текст председатель Моссовета Каменев (48).

Судьба слов к «Реквиему», заказанных Большим театром, оказалась столь же несчастливой. «Я проработал над этим без перерыва целые сутки, — жаловался автор Стеклову. — Когда работа была окончена, мне объявили, что Реквием отменен». Уважением к интеллигентам партийцы не отличалось, что видно из рассказа Валентинова о последней встрече с Брюсовым: «К нему подошла какая-то партийная баба (другого выражения не нахожу) с наглым, коман-

дующим лицом, грязными, сальными волосами, во френче, уродски толстозадая, в брюках галифе. Грубо хлопнув Брюсова по колену, она рявкнула: “Ты, Брюсов, мое дело все-таки не двинул. Обещаешь, а кроме брехни ничего не получается”. Брюсов с страдальческим видом зажмурил глаза: “Делаю, что могу. Решение не от меня зависит”. Недовольная его ответом, партийная баба продолжала за что-то его шпынять. Дважды повторив, что делает все ему доступное, он замолчал. Сидел, не глядя на бабу, опустив глаза. Мне стало его жалко. Уходя, я сказал: “Вот, Валерий Яковлевич, мое преимущество перед вами, я, беспартийный, этой бабе не позволю говорить мне ‘ты’. Вы же, став партийным, такое обращение принуждены выносить. А между тем вас всего от ее хамства коробит”. Брюсов не промолвил ни слова» (49).

«Мы все в Наркомпросе проникнуты глубочайшим уважением и самой глубочайшей симпатией к Валерию Яковлевичу Брюсову, — сказал Луначарский в юбилейной речи. — Мы поручали ему неоднократно весьма ответственные для судеб России посты, для судеб русской культуры, по крайней мере» (50). «Брюсов совмещал какое-то высокое назначение по Наркомпросу — с не менее важной должностью в Гуконе, то есть... в Главном управлении по коннозаводству», — иронизировал Ходасевич. О самой необычной из служб Валерия Яковлевича «для особых поручений при отделе коневодства» рассказал его сослуживец по Гукону Владимир Фефер:

«“Особые поручения” были Брюсову, любителю и знатоку лошадей, по сердцу. Он среди своей разнообразной литературной и служебной работы всегда находил время аккуратно выполнять задания. Особенно его интересовала организация коневодческих школ. [...] Брюсов выступил тогда в специальном журнале “Вестник коннозаводства и коневодства” с обстоятельной, исчерпывающей статьей об организации таких школ и своим авторитетом сдвинул вопрос с мертвой точки. В его статье по коневодческим вопросам впервые была изложена разработанная Брюсовым четкая схема — структура школ, для аргументации его положений были совершены убедительные экскурсии в прошлое. [...] Брюсов, в своем классическом черном сюртуке, сажился немного поодаль от общего стола, держался замкнуто, серьезно, почти не реагировал на начальнические шутки. Высказывался весомо, но мало. [...] Можно себе представить, какой благодарный материал для насмешек давал своей службой Брюсов. Но он не стыдился — это был один из участков, где работа его была нужна» (51).

Глава восемнадцатая
«ДОМ ВИДЕНИЙ»

1

Послереволюционное творчество Брюсова принято выделять в отдельный период, ссылаясь на его слова: «Октябрь лег в жизни новой эрой». Биографически 1917—1918 годы действительно стали для него рубежом, но поэтическое лицо Валерия Яковлевича изменилось лишь два-три года спустя. Первый послереволюционный сборник, знаменательно озаглавленный «Последние мечты», появился только в начале сентября 1920 года, хотя был подготовлен к печати годом раньше. В него вошли 12 стихотворений из «Девятой камены», так и не увидевшей света, но о принадлежности новой книги к старой манере говорило не только это. В предисловии автор отметил, что «стихи по вопросам общественным, отзывы на современность» в сборник не включены. Однако в новейших энциклопедиях книга отнесена к числу тех, в которых Брюсов «воспел революцию» и «предпринимал попытки создать новую поэтику, соответствующую духу времени и использующую достижения авангардизма» (1).

«Последние мечты» вышли в издательстве «Творчество» одновременно с «Перстнем» Бальмонта и «Путем зерна» Ходасевича. «Бальмонт и Брюсов, — писал Давид Выгодский. — [...] Хоть и чужие друг другу, почти не узнают, но все же под одной крышей. В один день в одном издательстве, на одинаковой бумаге, с одинаковыми обложками, даже шрифт, число страниц — все одинаково. [...] Но как посмотришь в середину — совсем не то. Как две капли: одна воды, а другая водки. Вода — это Бальмонт. Водича — ни холодная, ни горячая, так себе. [...] Правда, и в книге Брюсова есть много уже давно знакомого читателю его прошлых книг. [...] Однако все же то здесь, то там пробиваются результаты неумирающего творческого духа и вечных исканий мастера, вечной устремленности художника. [...] Такой торжественной завершенности, такого классического ямба Брюсов достигал редко и в старых своих книгах. Брюсов всегда ищет, всегда учится и у других, и у себя самого, всегда ставит перед собой новые и новые задачи, вот почему каждая его книга какой-то шаг, какое-то движение; вот почему голос Брюсова не может не

интересовать читателя, которого интересуют судьбы и настроения русской поэзии, а не только успех той или иной школы» (2).

Отзыв Выгодского существует в двух вариантах. В первом, для журнала «Печать и революция», есть такие слова: «Даже перепевая самого себя неоднократно, Брюсов пытается каждый раз найти новые ритмы, новые слова, новые созвучия, и стих его “последней мечты” звучит более сильно, более уверенно, чем предпоследней. [...] Вопль моторов, рев толп людских — говорит о том, что мастер еще не перестал быть учеником» (3). В редакции дорожили сотрудничеством Валерия Яковлевича и показали ему текст рецензии. Брюсов расстроился. Известие дошло до Выгодского, который 15 ноября 1921 года написал ему следующее письмо:

«Валерий Яковлевич, я обойду все полагающиеся извинения и буду говорить прямо. Случайно вчера я узнал, что Вы читали присланные мной в “Печать и революцию” рецензии о Вашей книге и о книге Бальмонта и по их поводу говорили о жестокости молодежи к старикам. Мне жаль, что Ваши слова дошли до меня не непосредственно, и мне трудно судить, что в них принадлежит Вам. И при всем этом слова эти облили меня такой горечью, что не могу удержаться не написать Вам. [...] Если мне приходилось дурно говорить о ком-либо, в моих словах — так мне казалось — было больше скорби, чем злорадства или пренебрежения. И тем больше бывала эта скорбь, когда приходилось говорить о “стариках”, о людях и поэтах, имевших за собой долгий путь. Вот почему Ваши слова о жестокости, отнесенные ко мне, не только больно ударили по моему человеческому сердцу, но и задели мое литературное я. Мне стыдно, если та боль, о которой я говорю, оставалась заметной только для меня. [...]

Вас обидело слово ученичество? Но ведь это лучшее, что может быть в поэте. За это Ваше ученичество (простите, Валерий Яковлевич, но я не только не отрекись от этого слова, но буду настаивать на нем), за вечное искание новых путей, за то, что Вы не застыли на вершине, — за это вечное мое уважение к Вам — как критика, вечная любовь — как читателя. Я о Вашем творчестве писал неоднократно, делал это всегда с радостью и, право же, никогда не бывал не только жесток, но и вообще недоброжелательно настроен. С таким же уважением к Вам как к поэту я писал и последнюю рецензию. И снова — мне обидно,

если это оказывается недостаточно заметным для читателя рецензии.

Валерий Яковлевич, эти мои косноязычные слова — не извинение, не формальное оправдание моей рецензии. Это — слова от сердца, и я был бы счастлив, если бы они дошли до сердца. Валерий Яковлевич, напишите мне, что Вы поняли меня, что Вы не будете причислять меня к жестокой молодежи, травящей стариков. Это нужно для моего душевного спокойствия» (4).

Отзыв Выгодского нельзя считать отрицательным (во втором варианте он даже снял слова об «ученичестве») ни сам по себе, ни в контексте эпохи. Перемена литературных нравов при большевиках сделала допустимой такую публичную ругань, что позавидовал бы Буренин, доживавший свой век в Петрограде. Неизвестно, что Брюсов ответил Выгодскому и ответил ли вообще. Но это одна из лучших рецензий на книгу, которая не была ни творческой удачей для поэта такого масштаба, ни, тем более, шагом вперед.

Сборник вышел, когда Брюсов был ответственным работником и членом партии. Между тем это не просто «несоветская» книга, но «идеологически невыдержанная»:

Весенней ночью встречу звон пасхальный
Я сорок пятый раз...
Вновь вижу ночь семнадцатого года.
Прекрасна и светла;
Толпу пасхальную ведет Свобода,
Раскинув два крыла...
Что ж принесет мне праздник сорок пятый?
О если б глубь небес
Родному краю крикнула трикратно:
«Воистину воскрес!»

Брюсов давно не вспоминал церковных праздников — похоже, для этого потребовалась революция. Как и для стихотворения «Библия»:

Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя:
Еврей, христианин, безбожник,
Все, все учились у тебя!..
Ты — правда тайны сокровенной,
Ты — откровенье, ты — завет
Всевышним данный всей вселенной
Для прошлых и грядущих лет!

Под новый 1918 год

Капусты поди в огороде. Наше время
Станет сказкой, бредом страшных дней.
Снимет, словно призрачное плетя,
Наше покоянье в милой тишине.

Но ~~куда~~ ~~ж~~ с насурн будут звонки твое
Сидит декартовский светлый осязат;
Ты же звонки рождай в воздухе свирей,
Храмово посылая благодать.

И оплот запынута в докатох,
Соз мери, впитное вино;
Вз скривленнх комнатах и пыльных залах
Прозвучит приветствие одно:

"С новым годом! с новым счастьем!" Дружно
Греметь хором веселых голосов.
Будет жизнь, как птица вить, желтушкой,
Году грядущий — как готовый ювв!

И, быть может, лишь склоня в печали,
Вдруг окликнет старика старик:
"Так ли ты обманутой вступил?
"Так ли ты тогда уротный мил?"

"Савтра как тогда казался грозно,
"Новый год — все же наших дней конец!"
"И гаси стужам в помощи: поздно!"
Эту рбв превратит приветственный гом.

"С новым годом! с новым счастьем!" греметь
Хором веселых голосов, — пока
Грустит ропот в вопианье не кончат,
Как ~~и~~ ~~и~~ ~~и~~ старик не держит старика.

Наше прощанье ищущее, много
Утром твое, вливающего ввие...
Помог! помог! Божья уротня!
День, когда забудут нас, пришло!

31 декабря 1917
6 января 1918

Валерий Брюсов

«Последние мечты» — еще и декадентская книга:

Есть в мире демон, с женственным лицом,
С когтями львицы, с телом сухопарым;
Садится к спящим он, согнут кольцом,
На грудь, и мы — зовем его Кошмаром...
Нельзя бороться и бежать нет сил:
Оковы на ногах и руки в путах,
Повсюду вскрыты пропасти могил,
Блещат из мглы орудья пыток лютых...

На этом фоне уже не так бросались в глаза эзотерические признания

Вникая в смысл тысячелетий,
В заветы прѣзренных наук,
Я словно слышу, в горнем свете,
Планетных сфер певучий звук.

Луначарский наверняка прочитал книгу, но промолчал о ней — по крайней мере, публично. Можно порадоваться, что до нее не добрались партийные «рудокопы». Зато белогвардеец (без кавычек) Роман Гуль написал: «В небольшой книжке есть нечто совсем новое Брюсову и новое нам в нем, и об этом хочется сказать несколько слов. Молодой талант, актуальный, борющийся с традициями старого, всегда пьянит своей напряженностью. Прелесть — в его силе. В поэте уходящем, чувствующем свой склон, прелесть — в примиренной успокоенности души. [...] И вот в “Последних мечтах” Вал. Брюсова — эти нежные, тютчевские отзвуки. Если они и не согревают обычной холодности строф строгого ваятеля, то все же озаряют их необычно ласковым огнем. [...] Но “истаиванье” не мертвит души, оно лишь — стирает остроту желаний, заостренность дум, рождая радостную, легкокрылую мудрость. Осознавший смерть, почувствовавший ее “главным” в жизни — всегда живет радостней и легче; правда, он никогда не будет громко смеяться, но улыбается тихо и ласково. Это чувство теперь у Вал. Брюсова» (5).

«Последние мечты» стали прощанием со старой манерой. После них поменялось все. Теперь тематика — отражение современности, стилистика — влияние Пастернака, эмоциональный настрой — новая любовь, вызвавшая всплеск творческой энергии.

Общаться с молодежью стало труднее — она не признавала ни авторитетов, ни прежних заслуг. В Союзе поэтов — официально: Всероссийский профессиональный союз поэтов; сокращенно, по моде того времени: Сопо — созданном в середине ноября 1918 года (устав утвержден коллегией Наркомпроса 16 декабря) (6), верховодили футуристы, но недолго. «Беспорядки и неурядицы в Союзе поэтов, — вспоминал Иван Грузинов, — росли с каждым днем и к 1920 году достигли, наконец, таких размеров, что на одном из общих собраний было решено “призвать варягов”. Впрочем, множественное число, употребляемое мною, в данном случае ни к чему; решено было призвать одного крупного “варяга”: выбор пал на Валерия Яковлевича Брюсова. Общим собранием Союза поэтов была послана к Валерию Брюсову делегация, состоящая из пяти человек. [...] Через день или два Брюсов явился в СОПО и начал председательствовать» (7). Как писал в поэме «Союзиада» Абрам Арго:

Тут много минусов и плюсов,
И были «против», были «за».
Но только пронеслась гроза —
Валерий Яковлевич Брюсов,
Давниший выкормленник муз
Собою возглавил союз (8).

В рассказе Грузинова почти нет дат, поэтому нужны уточнения. Первым председателем Союза стал Василий Каменский. 23 января 1919 года Луначарский подписал мандат, выданный Брюсову как председателю президиума Союза поэтов, но уже в мае этого года Союз возглавил Шершеневич, а Валерий Яковлевич даже не вошел в состав президиума, избранного 24 августа. «Призвание» состоялось не позднее 27 мая 1920 года, когда был избран новый президиум Союза. Брюсов возглавлял Сопо до начала февраля 1921 года, когда после длительной склоки был свергнут усилиями поэтов из группы «Литературный особняк» *

* В эту группу, обособившуюся от Союза поэтов, входили О.Л. Леонидов, М.П. Гальперин, Е.Д. Волчанецкая, Н.Н. Захаров-Мэнский, М.Э. Нетропов, Т.Г. Мачет и др. При регистрации «Литературного особняка» в Отделе юстиции Моссовета в ноябре—декабре 1919 года Брюсов был включен в его состав, однако не принимал никакого участия в деятельности группы и не раз отрицательно высказывался о творчестве ее участников.

под предлогом упущений в работе. «Брюсов довел его (Союз поэтов. — В.М.) до полного краха, — записал Мачтет разговоры на собрании «Особняка» 4 октября 1920 года. — [...] За его спиной шла полная вакханалия, спекуляции в буфетах, неправильное ведение протоколов и под тем, чего не было и не обсуждалось, подписи и санкции председателя Союза Брюсова». Вместе с ним на перевыборах президиума забаллотировали Аделину Адалис, Александра Кусикова и Сергея Буданцева, считавшихся его ставленниками.

Однако когда в ноябре 1923 года отмечалось пятилетие Союза, именно Валерия Яковлевича попросили председательствовать на торжественном заседании и произнести вступительное слово. «Никакой идеологической связи между членами Союза нет, — заявил он, — никакого общего мировоззрения Союз не отражает. В его составе есть истинные пролетарии и по происхождению и по мировоззрению, но в нем могут участвовать и поэты с ярко-буржуазной психологией — теоретически даже и монархисты; в нем могут объединяться писатели с материалистическими предпосылками и идеалисты самой чистой воды, мистики, религиозные писатели» (9). Брюсов был прав: лояльный к советской власти, Союз поэтов так и не был «коммунизирован», по мере сил защищал свободу творчества и давал возможность печататься поэтам, далеким от генеральной линии. За что и был ликвидирован в 1930 году.

«Варяг» сосредоточил усилия на текущей работе, в чем ему помогала секретарь Сопо (по совместительству секретарь студии Лито) поэтесса Екатерина Волчанецкая. «При близком знакомстве Валерий очень прост, — писала она в Петроград Измайлову, у которого общение с Брюсовым оборвалось, — интересен, может быть очаровательным, со мной он мил и приветлив, как с человеком, а не как с поэтом, — в поэзии — он придиричив и ругается, а так говорит растроганным голосом, что я очень хороша. [...] Валерий Яковлевич говорит, что в “Союзе” он — у себя дома, влюблен, помолодел, чувствует себя начинающим поэтом, стоящим “с робкой дерзостью” на “первой ступени”, пишет целую книгу любовной лирики». Вечер Брюсова «Стихи последних лет и дней» 17 августа 1920 года в клубе Союза поэтов она оценила словами «было интересно» (10).

Наладить печатание книг пока не получалось, поэтому Брюсов взялся за организацию литературных чтений. 20 сентября в Политехническом музее под его председательством состоялся вечер «О современной поэзии». Там

же днем раньше он прочитал лекцию «Задачи современной литературы», переросшую в острый диспут. 25 октября в Большом зале Московской консерватории прошел первый выпуск «Устного журнала» Союза поэтов «Московский разговор» под его редакцией. 4 ноября там же состоялся литературный «суд над имажинистами»: Брюсов обвинял — «присяжные» оправдали. 16 ноября в Политехническом имажинисты устроили ответный суд, на котором Валерий Яковлевич защищал современную поэзию от «прокурора» Шершеневича. Разумеется, это не помешало обоим выступить во втором выпуске «Московского разговора» 2 декабря в той же аудитории, полюбившейся и поэтам, и слушателям.

На имажинистском «суде» оправдали только пролетарских поэтов, но они отказались придти 7 и 10 декабря в Политехнический на «турнир поэтов». На сей раз у участников появился материальный интерес. Брюсов обеспечил от Лито три премии — пятьдесят, тридцать и двадцать тысяч рублей — за лучшие стихи, которые, по итогам голосования слушателей, получили поэтессы Адалис, Надежда де Гурно и Наталья Бенар. 11 декабря там же под председательством Брюсова прошел «вечер поэтесс», шаржировано и с неверной датой описанный Цветаевой в «Герое труда».

Вечера стали неотъемлемой частью литературной жизни Москвы, а Брюсов — их неизменным председателем, даже когда перестал руководить Союзом поэтов. «Народу уйма, — вспоминал Павел Антокольский, — гораздо больше, чем вмещает аудитория, — полинялые гимнастерки, потрепанные шинели, костыли и бинты, кожаные куртки, старые пальто. [...] Зато председатель — в самом что ни на есть чопорном, длинном, черном сюртуке и крахмале, напряженно подпирающем великолепно посаженную голову. [...] Отрывистым, высоким, чуть лающим, но хорошо натренированным для выступлений голосом он приглашает одного за другим на трибуну. Его приглашения звучат как морская команда с капитанского мостика:

Вячеслав Ковалевский — рубить канаты!

Сергей Буданцев — на abordаж!

Вадим Шершеневич — огонь с левого борта!» (11).

«Вот он стоит на эстраде Музея, — записал 2 декабря Мачтет, — в переполненной и ярко освещенной зале, просто, даже скромно одетый и читает свои стихи, анонсирует выступающих. Читая, он увлекается, вот даже вскочил на стул и читает что-то новое. Одна нога откинута немного назад, руки все время в движении, всем корпусом он нале-

гает на столик, приставленный к эстраде. Я привык видеть и слышать шумный, зычный голос, произвольные движения, лохматую шевелюру своих друзей, а тут мягкий, даже вкрадчивый, но громкий, немного картавящий, словно шепелявящий голос, интеллигентная наружность, седеющие волосы, уже вся в седирах борода, немного худощавая фигура, небольшой покатый лоб. Что-то сухое чувствуется, педантичное, уже словно стариковское во всем лице Брюсова. [...] Все это он делает просто, без аффектации, с эстрады читает не Бог весть хорошо как, председательствует неважно, но что-то есть в нем, что заставляет держаться от поэта на почтительном расстоянии».

Шершеневич вспоминал, как 16 ноября в конце имажинистского «суда над современной поэзией» Есенин читал поэму «Сорокоуст». «В первой же строфе слово “задница” и предложение “пососать у мерина” вызывает в публике совершенно недвусмысленное намерение не дать Есенину читать дальше. [...] [Мой] Крепко поставленный голос и тут перекрывает аудиторию. Но мало перекрыть, надо еще убедить. Тогда спокойно поднимается Брюсов и протягивает руку в знак того, что он просит тишины и слова. Мы поворачиваемся к нему, потому что понимаем, что это слово будет иметь решающее значение. Авторитет Брюсова огромен. Свист стихает. [...] Брюсов заговорил. Тихо и убедительно:

— Я надеюсь, что вы мне верите. Я эти стихи знаю. Это лучшие стихи из всех, что были написаны за последнее время!

Аудитория осеклась. Сергей прочел поэму. Овации. Брюсов улыбается. Может быть, он вспоминает скандал, случившийся с ним во время его речи на юбилее Гоголя» (12).

И другой, «парный» эпизод из тех же мемуаров.

Некий «молодой поэт [...] начал читать что-то неслышанное по похабности. [...] Публика потребовала, чтобы Брюсов остановил чтение. Брюсов привстал и сказал:

— В стихах можно писать о чем угодно...

“Державший” ободрился.

— ...но, конечно, талантливо. Я прошу вас прекратить читку не потому, что тема непристойна, а потому, что стихи бездарны.

Зал аплодировал Брюсову» (13).

«С Брюсовым произошла в это время метаморфоза, — вспоминал Грузинов, — подобная метаморфозе, происшед-

шей с гётевским Фаустом. Среди молодых поэтов и поэтесс Брюсов ожил и помолодел. Он сбросил с себя бремя лет, равнявшееся по меньшей мере половине его возраста. Брюсов превратился в юношу. Он проводил бессонные ночи в (кафе. — В.М.) “Домино”. Он совершал, сопровождаемый ватагой молодых поэтов, ночные прогулки по улицам Москвы» (14). Одну из таких прогулок описал Шершеневич:

«Брюсов вдруг вспоминает:

— Мне вчера Семен Яковлевич Рубанович говорил, что он достал чудесное вино. Пойдем к нему!

Время: три часа ночи. Мы у Арбатских ворот. Рубанович спит на Покровке, в Лобковском переулке. Брюсов храбро зашагал через всю Москву. [...] Брюсов молодцевато идет, поднимая камушки и бросая их в стекла вторых этажей.

— Почему именно второй?

— В третий не доброшу, а в первом можно расколоть стекла. [...]

Тихий Лобковский переулок. Подъезд. Заспанный швейцар. Брюсов деловито объясняет сквозь стекло:

— По срочному делу из Петрограда к товарищу Рубановичу!

Швейцар волей-неволей верит серьезному виду Брюсова и еще более серьезной руке Кусикова с кредитной бумажкой.

Звонок. За дверьми испуганный голос. Далеко не вполне одетый Рубанович открывает дверь. По коридору по направлению к черному ходу шуршит шелк чьей-то юбки.

После двух-трех стаканов действительно хорошего вина Брюсов на пари читает любое стихотворение Пушкина и Тютчева. Кусиков завистливо смотрит в рот Брюсова и в книгу, проверяя Валерия Яковлевича и его память. [...]

Ровно в полдесятого утра Брюсов торопливо умывается.

— Сидите, все равно поздно, — приветливо говорит мрачный хозяин, у которого пропала ночь и у которого мы спугнули заночевавшие шелка, убежавшие черным ходом и не отведавшие вина.

— Нельзя. В десять мне надо быть на заседании в Наркомпросе, — отвечает уже совершенно дневной Брюсов» (15).

Описанные события происходили в ночь с 5 на 6 августа 1920 года, после «вечера импровизаций» в Клубе Союза поэтов. Шершеневич уверял, что именно тогда Брюсов впервые встретил свою последнюю любовь — молодую поэтессу из Одессы Аделину Адалис. Это неверно. Другой участник

событий Буданцев, «подручный у Брюсова», как аттестовал его Антокольский, еще 30 июля писал своей жене Вере Ильиной: «Этот мужчина бальзаковских лет влюбился наглухо и неприлично. Адалис ошарашена. [...] Каждое утро гуляем до 6 часов по улицам». Рассказ о ночи у Рубановича он дополнил пикантными подробностями: «В.Я. остался с Адалис у Сени, откуда их изгнали квартиранты. Удалось ли Валерию склонить одесскую поэтессу к любви — неизвестно, хотя целовались они усиленно» (16). Вскоре Арго острил:

Мне чужд критический анализ
Прекрасных брюсовских поэм...
Читатель рифмы ждет Адалис.
На вот! возьми ее совсем!

Уже 8 сентября 1920 года влюбленные вместе читали стихи в Союзе поэтов. Брюсов продвигал ее в печать и на эстраду, что вызвало неприязнь собратьев по перу, объявивших войну «временщице». Однако их пересуды, записанные Мачтетом в конце декабря, имели «кухонный» характер: «она уже Брюсовым завладела»; «она теперь настоящая жена Брюсова»; «удивляюсь, что он в ней нашел»; «говорят, она очень хорошо сложена, хотя и некрасива». О литературе тоже вспомнили: «Она совсем не талантлива, в стихах ничего особенного». Однако ранние стихи Адалис, сохранившиеся в архиве Брюсова, говорят о несомненном даровании:

В глухом краю нечаянных сияний,
Непобедимые в добре и зле,
Живем на воле и не платим дани,
А наши тени бродят по земле.
Там плавится в огне тысячелетий
Крутая жизнь, а здесь — пахучий дым.
Живем недолго, ветру ставим сети,
Не верим снам и славы не хотим.
Ах, не утеха вереск у цистерны,
Ни Кремль в Москве, ни в Риме Яникул!
Но иногда двойник высокомерный
Поет в ночи земному двойнику.

Р.Л. Щербаков записал рассказ Иоанны Матвеевны: «В поздний зимний вечер Валерий Яковлевич решил куда-то отправиться*. Я встала в дверях кабинета, раскрыла ру-

* «На свидание к Адалис», — пояснил Р.Л. Щербаков автору книги.

ки и говорю: “Валя! Уже темно, в Москве где-то стреляют, на Сухаревке промышляют воры и дезертиры... Посидел бы дома! В такие дни...” Валерий Яковлевич остановился посреди комнаты, внимательно посмотрел на меня, снял меховую шапку, поставил палку, расстегнул шубу, присел к письменному столу, макнул ручку в чернильницу, перечеркнул на титуле сборника “*Sed non satiat*” и аккуратно вписал новое заглавие: “В такие дни”. Поднялся, взял шапку и палку, отстранил меня и ушел в ночь” (17). Сэ нон э веро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее...

3

Сборник «В такие дни», вышедший в Госиздате в ноябре 1921 года, стал первой «советской» книгой Брюсова, стихи из которой — точнее, из первого раздела «В зареве пожара» — обычно представляли его в антологиях и служили материалом для рассуждений об «идейности» и «мастерстве». Закрываю оба слова в кавычки, потому что «идейность» означала зарифмованные лозунги, а «мастерство» — следование «лучшему и талантливейшему поэту советской эпохи». Разумеется, речь не о критике тех лет, а о посмертной канонизации «агитатора, горлана, главаря», под которого стали подгонять остальных.

Революционные стихи сборника — шаг навстречу новой власти. Об их политическом содержании мы уже говорили. В литературном отношении они традиционны, хотя автор осторожно пытался расшатать строгие формы. В остальных разделах он верен своим вечным темам: любовь, страсть, античные мотивы, историософские раздумья:

Когда во тьме закинут твой,
Подобный снам Египта, профиль —
Что мне, куда влекусь за тьмой,
К слепительности, к катастрофе ль!
Разрез чуть-чуть прикрытых глаз,
Уклоны губ чуть-чуть надменных —
Не так же ль пил, в такой же час
Ваятель сфинксов довременных?

«В такие дни» — переходная и потому неровная книга. Но в ней очевиден творческий подъем, прилив вдохновения и энергии.

Не я ль, смеясь над жизнью старшей,
Хранил всех юных сил разбег,
Когда сребрил виски товарищей,
Губя их пыл, предсмертный снег?
Ах, много в прошлом, листья спадшие,
Друзей, любовниц, книг и снов!
Но вновь в пути мне братья младшие
Плели венки живых цветов.

«За глаза [...] это говорится у нас так: молодец Валерий! — писал автору 12 января 1922 года Борис Пастернак. — Это — про “В такие дни”, как и про Верхарна. Так говорится у моих друзей лишь еще про Белого, которого Вы не любите, и про Маяковского. Это — когда взят на всю жизнь тон идеального возраста: роста» (18). Он ни разу не высказывался о Брюсове в печати, кроме юбилейного стихотворения 1923 года, и не упомянул его имени в «Охранной грамоте», что выглядело странно, если не демонстративно. Брюсов же с начала 1920-х годов много и хвалебно писал о Пастернаке и даже испытал его влияние.

В марте 1922 года Валерий Яковлевич выпустил в издательстве Гржебина новый сборник «Миг». Он похож на «В такие дни» и по тематике, и по пропорциям, в которых там присутствуют революция, современность, история и любовь. Однако позднейшая судьба двух книг оказалась разной: не жалевшие похвал для первой, литературоведы обошли вторую вниманием.

Реакция современников была неоднозначной. Бывший футурист, а ныне «красный военспец» Иван Аксенов писал, откликаясь на «В такие дни»: «Нам интересен настоящий Брюсов в период настоящей революции, и сборник отвечает нашему интересу не только в тех его отделах, где автор прямо говорит о политике (это для него новости не составляет: он и в самых ранних своих книгах писал стихи этого рода), но и там, где он говорит о “вечной правде кумиров”, о мелькающих “ночах и днях”, которые до сих пор не могут ему примелькаться» (19). Эмигрант Константин Мочульский иронизировал в рецензии на «Миг»: «У Брюсова есть любовь к комбинациям, к композиционным трюкам, но самый материал ему безразличен. Он играет словами, как кубиками, складывает из них башни, домики, земли. Все ловко подогнано, но не построено. [...] У Брюсова — вся механика наружу. Мы заранее знаем, какие готовятся “эффекты”; они не всегда удаются, но иногда, право,

неплохи. Жаль только, что эффект никогда не может подняться на высоту художественного приема. Поэзия Брюсова — красноречие; стихи его — упражнения на заданные темы по классу риторики. [...] Немного мифологии, немного истории с географией, немного точных наук — поэт может поклясться, что на любую тему он способен сочинить красивые стихи» (20).

В тексте Мочульский не упоминает название книги, а в заглавии рецензии она именуется... «Мне» («...и египетской царице Клеопатре», вправе добавить читатель). Понятно, что здесь опечатка, небрежность наборщика, но неужели это никого не удивило и не насторожило? В записях Брюсова приведен такой случай:

«Борис Садовской спросил меня однажды:

— В.Я., что значит “вопинсоманий”?

— Как? что?

— Что значит “вопинсоманий”?

— Откуда вы взяли такое слово?

— Из ваших стихов.

— Что вы говорите! В моих стихах нет ничего подобного.

Оказалось, что в первом издании “Urbi et orbi” в стихотворении “Лесная дева” есть опечатка. Набор случайно рассыпался уже после того, как листы были “подписаны к печати”; наборщик вставил буквы кое-как и получился стих:

Дыша в бреду огнем вопинсоманий.

В следующем издании книги — в собрании “Пути и перепутья”, я, разумеется, исправил этот стих, и в нем стоит как должно: “огнем воспоминаний”, но до сих пор я со стыдом и горем вспоминаю эту опечатку. Неужели меня считали таким “декадентом”, который способен сочинять какие-то безобразные “вопинсомании”? Неужели до сих пор какие-либо мои читатели искренне думают, что я когда-нибудь говорил об “огне вопинсоманий”.

Одним из самых яростных гонителей Брюсова оказался «Аннибал»: под этим псевдонимом выступал молодой критик Борис Масаинов. Он считал, что в сборнике «В такие дни» «уже нет прежнего мастера, когда-то почти безукоризненно делавшего свои стихи. Зрение и слух автора притупились, бессильные срывы говорят о начале тусклого умирания его мастерства. [...] Он пытается говорить по-новому, но из этих попыток ничего хорошего не выходит» (21). «Мигу» Аннибал вынес уничтожающий приговор: «От

Валерия Брюсова осталось только одно имя, как поэт он уже умер. [...] “Миг” — только ненужная реплика бывшего премьера» (22). Досталось и «Последним мечтам»: «Автор, судя по названию книги, очевидно, считает, что его деятельность уже приходит к концу». За этим, со ссылкой на авторитет Айхенвальда, последовал окончательный вердикт: «До сих пор непонятно, почему Брюсова считали и считают самым крупным поэтом нашего времени. [...] При ближайшем рассмотрении бросается в глаза вся его арифметика и высиженная мозаика слов» (23). Через четыре года Аннибал, даже не сменивший псевдонима, умильно вспоминал о том, как слушал Брюсова, и заявил, что именно тот написал «первые, по-настоящему хорошие, стихи о революции» (24).

В травлю — здесь это слово уместно — включились бывший сионист, а ныне пролеткультивец Семен Родов, интегрировавшийся в советскую литературу мстительный Лернер и пытавшаяся сделать то же самое не менее мстительная Парнок (25). Рекорды неприличия побил экс-футурист Борис Лавренев в ташкентском журнале «Новый мир»: «На меня поэзия Валерия Брюсова всегда производила острое впечатление встреч с ужасным, полуразложившимся покойником, сгнившим от духовного сифилиса, но вылезшим из неплотно закрытого гроба. [...] Коммунистический Брюсов — это самый веселый анекдот российской революции, веселый и скабресный. [...] Каждое новое выступление побежденного звуком и эротическим бредом поэта только забивает лишний гвоздь в крышку его гроба. Брюсов умер. Почтим его память вставанием» (26). Десятью годами ранее Лавренев, еще под настоящей фамилией Сергеев, написал «Благоговейное посвящение Валерию Брюсову» (публикуется впервые по автографу из собрания автора книги):

Я душу скверную и мелкую
В глухой сюртук запаковал,
И с «Русской мыслью» в ловкой сделке я
Свои дела облюбовал.
Стихи слагаю — истерически
Выдавливая каждый звук,
Доходы числю методически,
И счетов мне приятен стук,
К продаже пробки предназначены,
Карманы золотом полны,
И цел мой дом и не растрачены
Сокровища моей жены.

Правы оказались те, кто еще перед революцией грозил «гг. Брюсовым»: «За нами следуют свои Писаревы из народа, и они, не шутя, сведут с вами счеты» (27).

Особое место в хоре хулителей занял лефовский теоретик Борис Арватов, статья которого «Контрреволюция формы» звучала как донос: «Основная черта буржуазной поэзии заключается в том, что она резко противопоставляет себя действительности. Единственным средством для такого противопоставления оказывается формальный уход в прошлое — архаизм. [...] Ахилл для нее “эстетичнее” Архипа, Киферы звучат “красивее”, чем Конотоп. [...] Брюсов всеми силами тащит сознание назад, в прошлое; он переделывает революцию на манер греческих и других стилей — приспосабливает ее к вкусам наиболее консервативных социальных слоев современности» (28). Об упадке творчества Брюсова Арватов не писал. Он просто объявил его врагом. После этого напостовская пародия «Египетский профиль» (29) выглядела почти дружеской:

Я зачерпнул из Иппокрены
Ложноклассическую муть.
Читатель, огонь морей влей в вены,
Вдвинь сталь пружин, как сердце в грудь.
С душой совсем не стариковской
Ареем мчусь на красный фронт.
Се я, — советский Тредьяковский,
Мчу в пристань коммунизм чрез понт.

Валерий Яковлевич редко отвечал на подобные выпады, но здесь нельзя было промолчать. «Тов. Арватов строит удивительный силлогизм: “Содержание равно словам; слова у Брюсова не новые; следовательно, содержание стихов антиреволюционное”. [...] Если бы тов. Арватов взял на себя труд немного подумать, он увидел бы, что Ахилл в самом деле “эстетичнее” Архипа, то есть пригоднее для поэзии. “Ахилл” имеет огромное содержание, “Архип” — никакого: это только собственное “крестильное” имя и ничего больше. [...] Конечно, это относится к тем, кто знает, кто такой “Ахилл”» (30). Ответ был напечатан и получил поддержку Луначарского, который позже язвительно заметил: «Только мелкой хулиганской наглостью можно объяснить то, что кое-кто из левых и молодых, часто, несмотря на свою новизну и молодость, абсолютно импотентных человечков, бормотал что-то такое об устарелости и одряхлении Брюсова» (31).

В защиту Брюсова выступил лефовец Асеев, хотя его статья «Советская поэзия за шесть лет», написанная в феврале 1924 года, увидела свет лишь много десятилетий спустя: «За последнее время установилась мода скопом набрасываться на “классичность” форм Брюсова, упрекать во всех поэтических грехах вплоть до контрреволюционности. [...] Когда это академическое, в конце концов, предположение подхватывается борзыми перьями, в свое время выщипанными тем же Брюсовым из общего хвоста критики, — становится противно. Противно, так как это начинает походить на травлю матерого зверя, случайно оставшегося одиноким. На травлю скопом, гуртом, без какого-либо риска А что Брюсов остался одинок и почему он остался одинок — над этим стоит призадуматься» (32). Асеев писал об идейных, социальных причинах его одиночества. Но были и сугубо литературные.

4

«Миг» завершился поэмой «Дом видений», которая редко включалась в посмертные «изборники» (ее нет ни в одном из четырех изданий Брюсова в «Библиотеке поэта») и никем не изучалась. Однако это не только одна из вершин брюсовской поэзии, но и автобиографический документ.

Душа моя — Элизиум теней.
Ф. Тютчев

Видениями заселенный дом,
Моя, растущая, как башня, память!
В ее саду, над тинистым прудом,
Застыв, стоит вечеровое пламя;
В ее аллеях прежние мечты
На цоколях недвижны, меди статуи,
И старых тигров чуткие четы
Сквозь дрему лижут мрамор Апостату.

Как же ты
Вошла в мой сад и бродишь среди статуй?
Суровы ярусы многоэтажной башни, —
Стекло, сталь и порфир.
Где, в зале округленной, прежде пир
Пьянел, что день отважней, бесшабашней,
Вливая скрипки в хмель античных лир, —
В померкшей зале темной башни
Тишь теперь.

На бархатном престоле зоркий зверь,
Привычный председатель оргий,
Глаза прищуря, дремлет, пресыщен:
Окончив спор, лишь тень — Сократ и Горгий;
Вдоль стен, у шелковых завес, еще
На ложах никнут голые гетеры,
Но — призраки, навек сомкнувшие уста;
И лишь часы в тиши бьют ровно, не устав
Качаньем маятника двигать эры.

Зачем же ты,
Как сон и новый и всегдашний,
Вошла в мой сад и бродишь возле башни?

Там выше,
По этажам, к недовершенной крыше,
В заветных кельях — облики: глаза
Целованные, милых губ рубины,
Спавшие мне плечи волоса, —
И комнат замкнутых глубины
Дрожат под крыльями произнесенных слов...
Их, вещих птиц, в года не унесло!
Их пепел фениксов, как радуги,
Вычерчивая веера дуги,
Слепит меня опять, опять
И, волю воском растопя,
Невозвратимостью минут тревожит.

Чего же
Тебе искать в незавершенной башне,
Где слишком жуток сон вчерашний!

В саду,
Где памятники с тиграми в ладу,
Где вечности и влажности венчанье, —
В саду — молчанье,
Свой мед кадят нарциссы Апостату,
Над бронзой Данте черен кипарис,
И, в меди неизменных риз,
Недвижим строй в века идущих статуй.
Но все же роз кричащий запах,
Но все ж в огне зальденном запад —
Пьяны разгромом грозовым,
Страшись, чтоб, на росе ночуя,
Но шаг непризнанный почуя,
Тигр пробужденный не завыл!

Видениями заселенный мир, —
Сад и растущая, как башня, память!

На меди торсов, сталь, стекло, порфир
Льет воск и кровь вечеровое пламя;
Горят венцы, волна к волне, в пруду;
Пылая, к статуям деревья льнут в бреду;
По травам блекнувшим раскиданы статеры
Вовек не умирающей росы,
И лишь из башни ровно бьют часы,
Не уставая двигать эры.

Зачем же ты,
Как сон и новый и всегдашний,
Вошла в мой сад и бродишь возле башни,
Где слишком жутки чуткие мечты?
Иль ночь напрасно краски отымала?
Иль цоколям свободным статуй мало
И может с медью спорить парос,
Чтоб кровь по мрамору текла?
Иль должно к башне из стекла
Прибавить куполоподобный ярус,
Где все сиянья старины,
Умножены, повторены,
Над жизнью, как пустым провалом,
Зажгутся солнцем небывалым,
Во все, сквозь временный ущерб,
Вжигая свой победный герб!

Продуманность видна во всем, начиная с эпитафия. Тютчев кажется здесь наиболее естественным, а выбранный стих задает тему поэмы: подведение итогов жизни. Центральный образ — башня — может быть прочитан в нескольких контекстах. Известно, какое значение он имеет для многих эзотерических традиций. Следом на ум приходит Вавилонская Башня. В качестве возможного варианта просматривается «башня из слоновой кости», обитателем которой пытались представить Брюсова пролеткультивские и лефовские критики. Наконец, это «Башня» Вячеслава Иванова. Кажется, разгадка близка.

«Дом видений» отмечен необычным — даже для Брюсова — обилием реминисценций. «Вечеровое пламя» — воспоминание о «Вечеровых песнях» из «Венка» и «Всех напевов»; в противном случае появилось бы обычное «вечерний». В письме к редактору Виктору Миролюбову 9 марта 1904 года Брюсов писал: «Предлагаю Вам три *Вечеровых песни* (мне хотелось бы, чтобы они не были *Вечерние*: это не совсем одно и то же)». В комментарии публикатор А.Б. Муратов отметил: «В подавляющем числе стихотворений, вошедших

в цикл, присутствуют образы вечера, ночи, заката. Однако для автора гораздо существеннее не эта общность, а то, что все песни, как подчеркнуто самим заглавием, — песни вчерашнего дня, песни *прошлого*» (33). Старославянское «вечор» означает «вчера». «Прежние мечты» — «Последние мечты», которым теперь место лишь в саду памяти. Юлиан Апостат — исторический герой, символ воскресающего язычества в борьбе с христианством (важная для автора тема), и в то же время воспоминание о романе Мережковского «Отступник», который произвел сильное впечатление на молодого Брюсова и оказал влияние на его историософские взгляды.

Рядом с ним в «Доме видений» оказывается Вячеслав Иванов — мистик и оккультист, влюбленный в античность дионисиец, остающийся христианином. Иванов — эллин (отсюда в поэме Сократ и Горгий), Брюсов — римлянин, как верно определила его Цветаева, хоть и в несколько ином смысле. «Башня» Иванова — инициатический (или псевдоинициатический) центр, а сам он — «зоркий зверь, привычный председатель оргий». В то же время «Башня» — звено, соединяющее античность и символизм: «вливая скрипки в хмель античных лир». «Скрипки» — опознавательный знак символизма: вспомним «Смычок и струны» Анненского, цикл Блока «Арфы и скрипки» и обращенное к Иванову его же стихотворение «Был скрипок вой в разгаре бала...». «В померкшей зале темной башни тишь теперь», — это написано в 1921 году, когда судьба разметала по свету «башенных жителей»: теперь они лишь «призраки, навек сомкнувшие уста». С начала 1921 года Иванов жил в Баку, откуда за три с половиной года прислал другу всего два письма (34).

Особого внимания достойна тема «мрамора» и «меди». Это автоцитата, причем значимая. В сборнике «В такие дни» есть стихотворение «Будь мрамором» с эпиграфом из Адалис «Ты говоришь, ограда меди ратной...». «Дом видений», вероятно, обращен к ней, но лирическая героиня поэмы — образ собирательный. Медь и мрамор — символы последней твердости, последней верности и мужества, которые останутся с поэтом, даже если кровь потечет по мрамору.

Являй смелей, являй победней
Свою стообразную суть,
Но где-то, в глубине последней,
Будь мрамором и медью будь!

По тексту «Дома видений» разбросано много реминисценций и намеков, но не все возможно понять и истолковать. Известно, какое значение для Брюсова имел Данте — поэт и духовидец, но эта тема нуждается в исследовании, к которому сделаны лишь первые подступы (35). Запад в огне как предчувствие «разгрома грозового» — не только поэтическая метафора, но и сакрально-географическое указание. «Старых тигров чуткие четы», «строй в века идущих статуй», часы, не устающие «двигать эры», — всему этому можно и должно искать объяснения.

Форма «Дома видений» напоминает о Верхарне, а образный строй как будто указывает на такие его стихотворения, как «Звонарь», «Гора», «Смерть» и «Забытая любовь»; Брюсов перевел только последнее, хотя остальные, конечно, знал. Удивительно то, что самое явное сходство с «Домом видений» имеет «Забытая любовь» (объем не позволяет цитировать целиком, приводить фрагменты нет смысла) в переводе не Брюсова, но Георгия Шенгели, опубликованном в 1922 году (под заглавием «Древняя любовь»), — его переводы я разумел и применительно к остальным стихотворениям. Перевод книги Верхарна «Черные факелы», куда вошла «Древняя любовь», Шенгели закончил в Харькове в 1921 году, не зная «Дома видений». Работая над поэмой, Брюсов не знал переводы Шенгели. Разгадать загадку их сходства не могу.

5

Двадцать четвертого ноября 1922 года в Доме печати Брюсов прочитал доклад «Вчера, сегодня и завтра русской поэзии», вскоре появившийся в журнале «Печать и революция». Пятилетие новой власти настраивало на подведение итогов и в области поэзии, с чем кто-либо вряд ли мог справиться лучше Валерия Яковлевича. Отличавшийся исключительной широтой охвата обзор оказался очень прост методологически. Вчерашним днем были объявлены символисты и акмеисты: «поэты, не ощутившие требования времени, оставшиеся чуждыми новаторскому, обновительному движению в области техники поэзии»; сегодняшним — футуристы: «поэты, прежде всего увлеченные ковкой новых форм, новых средств и приемов изобразительности, нового поэтического языка»; завтрашним — пролетарские поэты, «которые сразу ставили перед собою основную цель — выразить

новое мирозерцание, пытаюсь использовать для этого как новые, так и традиционные формы». «Истинно современной поэзией будет та поэзия, которая выразит то новое, чем мы живем сегодня, — постулировал автор. — Но подобная задача, перенесенная в область искусства, таит в себе другую, распадается на две. Надобно не только *выразить новое*, но и *найти формы* для его выражения».

Ошибочно думать, что отречение Брюсова от символизма мотивировалось только идеологией. Он объяснил изменение своей позиции: «Если в конце XIX и начале XX века издания символистов были литературным событием, то за последние десять лет они являлись лишь книжной новинкой, порой — увы! — весьма напоминавшей нечто уже прочитанное раньше. Поступательное движение символизма как литературной школы прекратилось еще в самом начале 10-х годов, когда наметилось и явное вырождение тех основных принципов, которые прежде давали силу символической поэзии. [...] Постепенно выработался шаблон символического стихотворения*: бралось историческое событие, народное сказание, философский парадокс или что-либо подобное, излагалось строфами с “богатыми” рифмами (чаще всего: иностранного слова с русским), в конце присоединялся вывод в форме отвлеченной мысли или патетического восклицания — и все. Такие стихотворения изготовлялись сотнями, находя хороший сбыт во всех тогдашних журналах, вплоть до самых толстых (за исключением “Русского богатства”), и это машинное производство почиталось самой подлинной поэзией». С этим трудно не согласиться. Труднее принять категорический вывод, что «символисты за пятилетие 1917–1922 гг. писали стихи, одни совсем плохо, другие — лучше, не хуже прежнего, третьи — даже стихи превосходные сами по себе, но движения вперед в этом не было». «Выше ординара» Брюсов оценил новые стихи Иванова, Волошина и Гумилева, ниже — Сологуба, Белого и Кузмина. На общей оценке символизма это не сказалось.

С юности Валерий Яковлевич привык мыслить школами, сменяющими друг друга в литературе. Это было на пользу при построении фаланги, но теперь сослужило дурную службу — за школами он перестал видеть поэтов. Мно-

* Брюсов относил это и к акмеистам, указав в той же статье, что «их новаторские теории не вязались с практикой, а практика ранних акмеистов была чисто символическая».

гие его поздние отзывы поражают несправедливостью и глухотой: «бессильные натуги [...] изложенные стихами, которых постыдился бы ученик любой дельной “студии”» (об Ахматовой); «автор все учился по классикам и до того заучился, что уже ничего не может, как только передразнивать внешность» (о Ходасевиче); «такая поэзия, чтобы прикрыть свою скудость, нуждается в каких-то внешних прикрасах» (о Мандельштаме). Добро бы так говорилось о сборниках Бальмонта и Сологуба, перепевавших себя. Увы, это сказано о «Подорожнике» и «Anno Domini MCMXXI», о «Путем зерна» и «Тяжелой лире», о «Tristia»...

С этим соседствовали восторги по адресу футуристов и надежды на пролетарских поэтов, которые в советское время было положено выделять в качестве генеральной линии послереволюционной критики Брюсова. Он был не единственным символистом, кто принял футуристов всерьез и отзывался о них с похвалой: Сологуб ценил Северянина, Белый восторгался Маяковским. Категорически не принимали футуристов как раз молодые модернисты вроде Садовского и Ходасевича. Маяковский и Пастернак стали казаться Брюсову наиболее адекватными выразителями новой эпохи. С пролетарскими поэтами было сложнее. Шенгели вспоминал, как «состряпал» эпиграмму, «вспомнив купчиху Писемского, которая любила мужа по закону, офицера для чувств и кучера для удовольствия»:

Валерий Яковлевич, в столице москворецкой,
Не изменяючи традиции купецкой,
Любвеобилен был, свои статьи вая:
Любил он Пушкина, конечно, — по закону,
Любил он Казина — для нежных чувств (до стону!)
И Маяковского для удовольствия.

«К вашей эпиграмме, — парировал Брюсов, — требуется эпиграф и комментарий, без этого она непонятна. Значит, она плоха» (36). По форме эпиграмма действительно неудачна. Зато по содержанию она попала «в яблочко».

Приняв диктатуру пролетариата как социально-политический факт, Валерий Яковлевич считал, что ее естественным следствием станет пролетарская культура, которая «будет отличаться от капиталистической столь же сильно, как христианский Рим от Рима Августа» (37). Звучит двусмысленно: он признавал историческую неизбежность смены языческого Рима христианским, но лично симпатизи-

ровал первому. Допустим, что симпатии Брюсова были на стороне новой культуры, соответствовавшей общественным реалиям. Но тут начинались вопросы. «Под “пролетарской поэзией”, — писал он в статье «Смена культур», — например, одни разумеют — произведения, посвященные быту и идеологии пролетариата, другие — все, что пишется авторами-рабочими, третьи — нечто, по форме и содержанию непременно противоположное прежней “буржуазной” поэзии. Так в число пролетарских поэтов то зачисляют Верхарна, то нет; то включают любого рабочего, скропавшего стишки, то мечтают о какой-то совершенно новой, еще небывалой литературе».

Новые поэты заявили о себе в 1917 году «Сборником пролетарских писателей» под редакцией Горького, Серебров и Чапыгина. «Чтобы стихи можно было назвать “пролетарскими”, — заметил в рецензии Ходасевич, — мало того, чтобы авторы их принадлежали к пролетарскому классу: надо, чтобы самые стихи имели специфически пролетарский характер. [...] Если редакторы сборника выделяют данные произведения в особую группу по некоторому классовому признаку, то в чем-нибудь должен же этот классовый признак выразиться. Должны же эти поэты чем-нибудь отличаться от прочих поэтов русских. Но тут-то и оказывается, что ни у кого из поэтов сборника никакого отличия от прочих поэтов нет. И темы, и настроения, и система образов, и структура стиха их давно известны по созданиям поэтов “не пролетарских”».

В течение следующих пяти лет качественных изменений пролетарская поэзия не претерпела, но, пользуясь поддержкой партии, стала претендовать на главенство в литературе. В первом выпуске «Художественного слова» Брюсов поместил статью «Пролетарская поэзия», в которой не смог четко объяснить, что это такое, даже используя работы своего старого приятеля Фриче — ведущего «красного» эстетика, считавшегося продолжателем Плеханова. Принципиально значим здесь лишь вывод о том, что мировоззрение важнее происхождения. В статье «Смысл современной поэзии» он признал пролетарских поэтов «определенным литературным течением, с определенными художественными и техническими принципами», но не назвал ни одного из них. В обзоре «вчера, сегодня и завтра» он заявил, что среди пролетарских поэтов «уже означились поэты значительно-го размаха мысли и мастера стиха», приведя в пример Садовьева, Гастева, Кириллова, Герасимова и Казина. Но в сло-

ве «завтра» звучало не только признание того, что будущее за ними. Это была надежда, которую предстояло оправдать.

Оправдалась ли она? Пришло ли в литературу поколение талантливых пролетариев по рождению, обладавших особым, пролетарским менталитетом? Создали ли они самостоятельную и творчески значимую школу? Мы знаем, что — нет. Понимал ли это Брюсов? Рецензии на книги пролетарских поэтов показывают, что зоркость изменила ему не до конца. Среди них он выделил группу «Кузница», пояснив: «Может быть, в стихах поэтов других пролетарских групп и гораздо правильнее пересказаны партийные и иные директивы, но стихи-то эти — пока бледны и по прочтении как-то безнадежно забываются». Сделав реверанс в сторону «кузнецов», перешел к делу. «Своей, новой формы поэты “Кузницы” не создали». «С годами “Кузница”, застыв в традициях школы, оторвалась от жизни». «Нельзя безнаказанно желать быть поэтом и разрушать самое существо поэзии как словесного искусства, которое одно и то же и для буржуазных поэтов, и для пролетарских». Филиппченко, «один из даровитейших поэтов “Кузницы”», «рабски повторяет приемы Уитмена». Стихам Герасимова «вредит пренебрежение поэта к фактуре отдельных стихов». Обрадович «пользуется старой техникой символистов и в этой манере пишет стихи на пролетарские темы». Неудивительно, что «кузницы» остались недовольны (38). Кириллов вспоминал, как Брюсов, показав ему банальные любовные стихи одного из них, спросил: «Что же здесь пролетарского? Я сам крестьянского происхождения — дед мой был крепостным мужиком, почему же я не могу назваться пролетарским поэтом? Ведь такие стихи ничем не отличаются от стихов, которые в свое время писали мы, символисты. Пролетарским поэтом я могу назвать только такого поэта, который дает новое пролетарское содержание и по-новому его воплощает» (39).

В рецензии на книгу Безыменского «Как пахнет жизнь» Брюсов оспорил хвалебное предисловие Троцкого: «Чтобы человек с “октябрьскими” мыслями и настроениями стал “октябрьским поэтом”, надо чтобы он и то, и другое умел претворить в поэзию. Просто переключивать в стихи марксистские положения для этого недостаточно. [...] Я боюсь, что Л. Троцкий поторопился, выдавая такую ответственную рекомендацию А. Безыменскому».

На что же оставалось надеяться? На молодежь, которая пока ничему не научилась и которую еще можно было чему-то научить.

Глава девятнадцатая
«С ПИФАГОРОМ СЛУШАЙ СФЕР СОНАТЫ»

1

Мечтой Брюсова было создать «консерваторию слова» — государственное высшее учебное заведение для подготовки разносторонне образованных литературных работников: не только поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков, но редакторов, журналистов, фольклористов и библиографов. Он участвовал в работе различных студий и курсов (1), но понимал, что этого мало. Большевицкая власть была падка на новое и небывалое — подобных учебных заведений не было нигде в мире — но ее требовалось убедить в необходимости такого учреждения, если не для мировой революции, то хотя бы для пропагандистских нужд. Идею активно поддержал Луначарский. Осенью 1921 года между ними состоялся разговор, который запомнила жена наркома:

«— Валерий Яковлевич, наконец, вас можно поздравить, теперь вы победили всех врагов и супостатов.

— Только с вашей поддержкой, Анатолий Васильевич. Без вас все бы провалилось... Надеюсь, вам не придется раскаиваться в том, что так энергично помогали нам; ведь это, в сущности, ваша идея.

— Безусловно. Ну, я уже поздравил вас, можете и вы поздравить меня» (2). Насчет авторства идеи Брюсов, конечно, польстил собеседнику, но без помощи наркома успех был бы невозможен.

Высший литературно-художественный институт (ВЛХИ), как называли «консерваторию слова», возник из слияния студии Лито Наркомпроса, курсов Дворца искусств, созданного в 1919 году по инициативе Луначарского, и Государственного института слова, влившегося в его состав в начале 1922 года. ВЛХИ получил помещение Дворца искусств — особняк графов Соллогубов на Поварской (дом 52), известный как «дом Ростовых» из «Войны и мира». Однако институту предшествовало еще одно учебное заведение, недолгая история которого заслуживает упоминания.

Первая государственная профессионально-техническая школа поэтики была создана осенью 1921 года и находилась в коммунальной квартире в доме 24/27 на углу Спиридоновки и Садово-Кудринской улиц (3). Ее ректором была Адалис, среди лекторов значились Брюсов и Сергей

Соловьев. Расклеенные по Москве афиши заинтриговали начинающего литератора Владимира Фефера именем ректора: «Мне казалось, что это бородатый символист с горящими, как костер, глазами». Вступительный экзамен свелся к разговору о поэзии, а затем «в течение последующих месяцев учились мы многим заманчивым наукам у людей удивительных». 15 октября начались занятия. «Ни твердо-го, ни нетвердого расписания занятий сначала не было. [...] Части преподавателей, объявленных в афише, мы так и не видели. [...] Педантично аккуратным был Брюсов. Лишь один-единственный раз, в жгучую метель, он пришел запорошенный снегом с опозданием на 7 минут». Просуществовавшая полгода (4), школа стала пробным вариантом «консерватории слова», хлопоты о создании которой в то время вошли в заключительную стадию.

Брюсов вместе с Адалис вел занятия по вольной композиции и читал лекции по русской литературе, однако их содержание оказалось гораздо шире. Он «учел особенности нашей, в большинстве не очень грамотной, аудитории и умел находить такую форму лекций и бесед, что они незаметно, исподволь делали из нас культурных людей. Сжатость, конкретность, умение отобрать необходимую предельную дозу излагаемого материала были характерными чертами его сообщений. Он понимал все трудности для многих из нас занятий по специальным дисциплинам, когда элементарные приемы не были еще полностью освоены. [...] Общеизвестно, что простота и ясность при популяризации предмета являются следствием глубокого его знания. Этим качеством Брюсов владел в совершенстве. [...] Брюсов был деликатен, он не обрывал, не высмеивал, шутки его были добродушны и не обидны» (5). Ученикам просто повезло, а для учителя это была тренировка перед главной работой.

Шестнадцатого ноября 1921 года ВЛХИ был официально открыт. Вступительное слово произнес Луначарский: «Несомненно, что литературное творчество может быть поставлено как предмет преподавания. Этот опыт и взял на себя Наркомпрос, создавая Высший литературно-художественный институт. Опыт крайне тяжелый, ибо это первый опыт во всем мире» (6). Затем выступил Брюсов, назначенный ректором: «Гениев — писателей и поэтов из вас здесь, может быть, и не сделают, но литературно образованными людьми, культурными работниками вы будете» (7).

В особняке на Поварской «многое еще продолжало на-

поминать о временах Тургенева и даже Пушкина: и штофные обои, и потемневшие картины, и изящная ампирная мебель, и зеркала в золоченых рамах. Но в тихий уютный особняк ворвалась новая жизнь. Пестрая, говорливая толпа студентов наполнила барские хоромы. Здесь были представители различных социальных прослоек, люди разных возрастов и эстетических склонностей». «Тут и вылинявшая красноармейская гимнастерка, и соседствующий с ней серый мундирчик недавнего гимназиста, и затасканная куртка рабочего, и матросский бушлат, и пиджаки, и телогрейки. Тут же, вперемежку, лихо надвинутая буденновка или красная косынка, или глубокая — не по голове — огромная кепка» (8). Одним словом, ничего буржуазного. Одна из студенток, приехавшая в Москву осенью 1923 года, вспоминала о своей попытке поступить в МГУ: «Девушки непролетарского происхождения повязывали голову красной косынкой, надевали старенькое платье, тапочки на босу ногу и шли держать экзамен в вуз. Я же приехала с юга, где мы не знали никакой мимики, где люди всегда стремились хорошо одеваться. И я вырядилась во все лучшее, что у меня было [...] и в таком виде предстала перед приемной комиссией. Ей было достаточно одного взгляда, чтобы определить: “Такие, как вы, нам не нужны!” Я совершенно растерялась, впервые в жизни столкнувшись с таким наивным и поверхностным “классовым подходом”» (9). Во ВЛХИ, ректор которого всегда ходил в старорежимном черном сюртуке, ее приняли без проблем.

«Брюсов стойко делил с нами многие невзгоды, — вспоминал бывший студент, историк литературы Борис Пуришев. — Мы это хорошо понимали и еще больше уважали его за это. [...] Из-за нехватки дров институт отапливался не каждый день. Мы одевались по возможности теплее. Сидели на белых с золотом стульях в полушубках, тяжелых зимних пальто. [...] Брюсов, одетый в шубу, рассказывает нам об античной литературе. Холодно. Вдруг открывается дверь, и заместитель ректора по хозяйственной части торжественно вносит в аудиторию охапку дров. Не мешкая, начинаем разжигать камин. Но дрова шипят, дымят и не хотят гореть как следует. Постепенно комната наполняется едким густым дымом. Сидеть на стульях уже нет никакой возможности. И вот мы садимся на пол, внизу не так дымно, садится с нами и Брюсов, и лекция продолжается» (10).

Ректор привлек во ВЛХИ, включавший творческое и инструкторское отделения, лучших специалистов по исто-

рии и теории литературы. О советизации института Брюсов заботился лишь настолько, насколько это требовалось для его функционирования. Заместителем ректора стал бывший председатель московского Религиозно-философского общества Григорий Рачинский, известный златоуст. «В Москве искони было два типа заседаний: под лозунгом “караул” и под лозунгом “Ай-люли”, — писал Белый. — на “караульных” собраниях председательствовал Брюсов, на “ай-люлийных” — Рачинский» (11). Священнику Сергею Соловьеву Брюсов передал свой курс «Латинский язык в связи со сравнительным языкознанием». В 1922 году они встретились после долгого перерыва: Соловьев подарил Брюсову издание шуточных пьес своего знаменитого дяди с инскриптом «от старого почитателя и принципиального противника», получив в ответ «В такие дни» как «память давней дружбы» (собрание В.Э. Молодякова). Лекции по литературе XIX века читали Мстислав Цявловский, Валериан Переверзев и мастер на все руки Петр Коган (он же вел обязательный исторический материализм). Античную литературу преподавал сам ректор, западноевропейскую (вводный курс) — Коган, немецкую — Рачинский, итальянскую — Шервинский, французскую — Марк Эйхенгольц, языкознание — Алексей Пешковский, русский язык — Дмитрий Ушаков. Юрий Соколов читал курс по народному творчеству: заметив сначала, что «учреждение не внушает особого доверия», позже он констатировал, что лекции «прошли с огромным успехом» и «сопровождались аплодисментами» (12). Основное внимание уделялось теории литературы и творческим классам, которыми руководили Брюсов (поэзия и курс «Энциклопедия стиха»), Константин Локс (проза и курс «Теоретическая поэтика»), Леонид Гроссман (критика), Волькенштейн (драматургия) и Рачинский (художественный перевод). Программа не замыкалась на словесности: проректор Михаил Григорьев читал лекции по логике и психологии, Алексей Сидоров — введение в искусствознание, а сам Валерий Яковлевич факультативно преподавал... историю математики (13).

Многим запомнились лекции Брюсова по античной литературе, которые он также читал в 1-м МГУ (2-м МГУ назывался будущий МГПИ, ныне МПГУ) (14). Они «поражали нас своей удивительной простотой и ясностью. [...] Брюсов как бы брал нас за руку и вводил в мир нетленной древней красоты. И мы словно видели собственными глазами то, о чем он нам рассказывал. Его словам была прису-

ща рельефность и весомость. Были они сродни благородным античным мраморам. [...] Он говорил о древнем Риме так, как будто провел там много лет» (15). Наибольший интерес вызывал класс поэзии. От руководства им Валерия Яковлевича отвлекали многочисленные служебные дела, и его заменяла Адалис, не имевшая педагогического таланта и необходимого авторитета, несмотря на открытое покровительство ректора. В 1923/24 учебном году, по воспоминаниям Евгении Рафальской, дело дошло до открытого конфликта, когда студенты заявили: «Мы хотим учиться у Брюсова, а не у Адалис». Тогда Валерий Яковлевич вроде бы отказался вести класс стиха (другие мемуаристы это не подтверждают) и передал его Шенгели (16). Георгий Аркадьевич изложил эту историю несколько иначе. «Мы с вами будем чередоваться, как классные дамы, — сказал ему Брюсов летом 1923 года, приглашая на работу в институт. — В этом году вы будете на первом курсе читать энциклопедию стиха, а я вести “класс стиха” на втором и третьем курсах. В будущем году вы будете вести “класс” на втором курсе, а я начну энциклопедию на первом и буду заканчивать “класс” на третьем; в следующем году — наоборот. У вас будут постоянные ученики, у меня — свои» (17).

Как поэта Брюсова любили уже немногие, но уважали как мастера, у которого можно научиться. Стоя выше групп и направлений, он не навязывал студентам свои предпочтения, но разбирал их творения аргументированно, доброжелательно — и почти всегда с формальной стороны, хотя ратовал за отображение современности. Например, он «решительно осудил одного из студентов, прочитавшего стихотворение об Арлекине “тоскующем по ритмам”». По словам Брюсова, прошло то время, когда существовала в нашей поэзии мода на Арлекинов и Пьеро. Жизнь стала иной и поэзия стала иной. Ему гораздо больше понравилось стихотворение Степана Злобина о голоде в Поволжье. [...] У стихотворения были свои недостатки [...] и Брюсов не прошел мимо них, но в стихотворении слышался голос самой жизни, и Брюсов указал на это как на большое достоинство» (18). Такой подход не исключал требовательности и строгости. «Однажды, во время чтения стихов, когда один из студентов читал свое стихотворение — в духе Надсона — и в одном месте употребил выражение “факел просвещения”, Брюсов даже подскочил, всплеснул руками и сказал: “Ну, это уж слишком”» (19).

Хорошим дополнением к классным занятиям были

практические — общение с Есениным (он первым прозвал студентов ВЛХИ «брюсовцами») или Маяковским, которые приходили в неурочное время и без предупреждения. «Все убегали (с занятий. — *В.М.*) слушать Есенина. Профессура относилась к таким побегам либерально, не мирился только П.С. Коган. У него чаще других бывали первые часы (занятия во ВЛХИ шли по вечерам — *В.М.*). Коган возмущался, разыскивал ректора и почему-то никогда не мог его найти. Знал ли об этих импровизированных вечерах поэзии, срывавших занятия по расписанию, Брюсов-ректор? Я думаю да, знал. И сознательно попустительствовал как поэт» (20).

Руководство институтом отнимало много времени. Брюсов относился к своим обязанностям с обычной серьезностью и аккуратностью, стараясь ничего не упустить. Мелочей для него не существовало, о чем говорит следующий пример. 5 августа 1922 года «Известия» сообщили об учреждении при ВЛХИ, по инициативе преподавателя института Ивана Рукавишникова, группы «Орден триолета», целью которой является «изучение строфики и твердых форм, в частности триолета». Через три дня Брюсов послал в газету заявление, что «названный “орден” ни в коем случае не может считать себя существующим “при” Литературно-Художественном Институте, так как ни его Правление, ни я, состоящий его ректором, на такую организацию разрешения не давали и даже не были об ней своевременно уведомлены. Среди любителей триолета, устроивших вечер, действительно, есть слушатели Института, но действовали они по своему личному почину и связывать свой “орден” с Институтом не имели никакого права». В личном письме главному редактору он пояснял: «Дело в том, что о руководимом мною Литературно-Художественном Институте уже не в первый раз появляются в печати сообщения, безусловно противоречащие фактам. Обходить их все молчанием мне не представляется возможным, — тем более когда неточные сообщения даются даже читателям “Известий”!» (21). Опровержение в печати не появилось: видимо, Брюсов договорился с Рукавишниковым, что деятельность «Ордена триолета» будет протекать вне стен ВЛХИ. Впрочем, она так и ограничилась несколькими литературными вечерами.

«Он не только руководил институтом, — вспоминал бывший заместитель ректора (по выбору от студентов) Александр Корчагин. — Не раз бывал он вынужден во всеоружии отстаивать в кругу работников Наркомпроса право

на существование этого института, ибо в то время самый принцип основания литературного вуза многим казался сомнительным» (22). Ставший после смерти Брюсова ректором Вячеслав Полонский даже при поддержке Луначарского не смог спасти ВЛХИ: после первого выпуска в конце марта 1925 года было объявлено, что институт переводится в Ленинград, а уже в июне он был закрыт. С 1925 по 1930 год существовали Высшие государственные литературные курсы (там учились Даниил Андреев и Арсений Тарковский), но заменить ВЛХИ они не могли.

Отличительной особенностью института было активное участие студентов во всех сферах жизни: они «входили в состав академического совета, предметных комиссий, приемных комиссий, с их мнением считалась администрация» (23). Одни, как поэт и стиховед Михаил Малишевский, привлекались к преподаванию, другие к хозяйственной работе, требовавшей, в условиях вечной нехватки всего, энергии и физической силы. Известны случаи принятия во ВЛХИ без экзаменов: осенью 1921 года Брюсов, по рекомендации Фриче, зачислил в институт (точнее, сначала в школу поэтики) будущего члена-корреспондента АН СССР Леонида Тимофеева (24), год спустя — армянских поэтов Егише Чаренца и Геворга Абова (национальным кадрам уделялось особое внимание) (25).

Знавшая Брюсова лишь в последний год его жизни Рафальская утверждала, что ректор «к большинству студентов относился с какой-то неодобрительной иронией», признавшись, однако, что «время моего учения в институте было временем развенчания в моей душе Брюсова» (26). Видимо, все дело в этом, потому что другим запомнилась совершенно иная картина. «Меня всегда поражала забота Валерия Яковлевича о студентах, — говорил через тридцать лет после его смерти бывший парторг института Иван Козлов. — И неизменно поражала его редкостная деликатность и даже какая-то стеснительность со студентами. [...] Авторитет Брюсова был велик, а доступен он был для всех» (27). «При всяком обращении нас, студентов, к Валерию Яковлевичу лицо его из сурового, сосредоточенного, порой как будто сердитого — делалось ласковым, излучающим скрытую нежность. Казалось, он готов сделать для нас все, что может. И он действительно делал все и для самого института [...] и для каждого из нас в отдельности», — вспоминал выпускник ВЛХИ Павел Лазовский. В доказательство — два эпизода из его воспоминаний.

«При поступлении в институт мы сдавали коллоквиум по некоторым общеобразовательным предметам. В это время в аудиторию вошел Валерий Яковлевич. Мой сосед что-то замялся при решении алгебраической задачи. Заметив угрожающую молодому поэту заминку, Брюсов подошел к себе листок с условием задачи, решил ее и, передавая решение соседу, тоном извинения тихо проговорил:

— Вот как нужно решать, видите: ничего трудного нет. Почему вы замялись — не пойму».

«Не помню уж по какому случаю у нас была организована скромная вечеринка. Участников было мало — не все знали о ней. В разгар веселья, когда между танцами и песнями затеяли какую-то игру, чуть ли не детскую, вроде “кошки-мышки”, в аудитории незаметно появился Валерий Яковлевич. Он остановился у двери, с любопытством наблюдая за игрой. Одна из студенток втянула его в эту игру. И Валерий Яковлевич, забыв свое положение, отбросив всякую официальность, принял самое деятельное участие в нашем веселье. Он бегал, ловил, увертывался, приседал и заразительно смеялся при всякой удаче. По всему было видно, что он чувствует себя с нами хорошо, проявляя непринужденную простоту» (28). Неудивительно, что после празднования его пятидесятилетия в Большом театре, уже в час ночи, он приехал во ВЛХИ на студенческий банкет. «Все обрадовались и несколько удивились, что он так быстро покинул общество “больших людей”».

— А мой отчий дом как раз здесь, среди вас! — объяснил Валерий Яковлевич. Как же весел, обаятелен, остроумен и чистосердечен, ясен и молод душой почти до детской наивности был Брюсов в ту юбилейную ночь!» (29). Днем раньше, выступая с ответной речью на своем юбилее в ГАХН, он вспомнил книгу «одного из молодых символистов» «Возвращение в дом отчий», сказав, что переживает сейчас нечто подобное. Автором этой книги был Сергей Соловьев.

За четыре года ВЛХИ подготовил около девяноста выпускников, а многие студенты младших курсов продолжили образование в МГУ. Гениев среди них не оказалось, но было немало известных, талантливых и очень разных литераторов: прозаики Сергей Бородин, Степан Злобин, Иван Катаев, Лев Шейнин; поэты Елена Благинина, Николай Дементьев, Василий Наседкин, Иван Приблудный, Михаил Светлов; литературоведы Николай Вильям-Вильмонт, Сергей Макашин, Борис Пуришев, Леонид Тимофеев.

ев; очеркисты Борис Агапов, Иван Козлов и Иван Рахилло; переводчики Иван Кашкин и Рита Райт-Ковалева.

В 1921 году Брюсов стал профессором литературно-художественного отделения факультета общественных наук (бывшего историко-филологического) 1-го МГУ, где читал лекции по истории древнегреческой литературы (1921/22 учебный год), римской литературы (1923/24 учебный год) и новейшей русской литературы (1922/23 и 1923/24 учебные годы). Последний курс поначалу ограничивался дореволюционным периодом, а в список пособий входили книги не только Луначарского, Плеханова и Когана, но также Анненского, Белого, Венгерова и самого лектора («Далекое и близкое»). В следующем году курс пришлось распространить на послереволюционные годы, а место Анненского занял Фриче. «Поэзия в курсе значительно преобладала над прозой. Символизм рассматривается как начало новейшей литературы и ее “период” — не одно из направлений, а целый период, когда все остальное мыслится не важным. [...] Относя символизм к прошлому, Брюсов, судя по списку “пособий”, все-таки отводил ему в лекциях львиную долю времени. Это ведь был уже курс истории литературы, пусть новейшей, и Валерий Яковлевич свое прошлое, прошлое своих литературных товарищей не предавал. Вряд ли такие содержание и структура курса вполне устраивали большевистские власти. [...] Брюсов, даже вступив в большевистскую партию, избегал называть себя марксистом, хотя марксистскую теорию освоить старался. Его статьи 1920-х годов свидетельствуют о масштабном историзме и своеобразном социологизме брюсовского мышления, но все же весьма далеких от марксизма и особенно от вульгарного социологизма, захватывавшего тогда литературоведение» (30).

Не чуждался Валерий Яковлевич и организационной работы, из которой вспоминают лишь согласие с увольнением из МГУ психолога Георгия Челпанова за «идеализм». Он выступал за рационализацию бюрократизированных (бич советского государственного аппарата всех уровней!) структур и учебных программ, интересовался проблемами не только высшего, но и среднего образования — ведь с 1923 года в университет «принимались почти исключительно окончившие рабфаки», то есть люди без нормального среднего образования, но «желательные в составе студенчества». Не возражая против этого в принципе, Брюсов призывал заняться подготовкой «профессоров-марксистов

по таким важным отраслям знания, как история литературы, языковедение, археология, искусствоведение» (31). Он действительно заботился о профессиональных кадрах и едва ли предвидел массовый приход на кафедры полутрамотных начетчиков, как это произошло вскоре после его смерти.

2

Занятость преподавательской, научной и административной работой, рецензиями и обзорами для «Печати и революции» (32) не означала отхода от поэзии. Именно в это время Брюсов предпринял масштабный эксперимент — создание «научной поэзии» в сборниках «Дали»* (июнь 1922), «Меа»** (ноябрь 1924) и задуманном «Planetaria. Стихи о нашей планете» (33). «Поздний Брюсов старался разрабатывать — в одиночку — ни много, ни мало, как новую систему образного строя, которая могла бы лечь в основу всей поэтики новой эпохи человеческой культуры, начавшейся мировой войной и русской революцией. Эту поэтику он представлял себе по образцу античной поэтики, а в основе образного строя античной поэтики лежал мифологический пласт, мифологическая картина мира, на которую всякий раз достаточно было мгновенной отсылки через упоминание какого-нибудь имени или названия. Мифологическую картину мира Брюсов заменил научной картиной мира, т.е. составленной из терминов точных наук, из исторических имен и географических названий. (Отсюда его термин “научная поэзия”» (34).

«Дали» — возможно, самая цельная книга Брюсова, подчиненная одной задаче. Понимая непривычность своей новой манеры для читателя, автор разъяснял в предисловии: «Стихам, собранным в этом сборнике, может быть сделан упрек, что в них слишком часто встречаются слова, не всем известные: термины из математики, астрономии, биологии, истории и других наук, а также намеки на разные науч-

* Адалис утверждала, что Брюсов посвятил ей сборник стихов. Книги с таким формальным посвящением не существует, но, по предположению Р.Л. Щербакова, это сборник «Дали», поскольку Брюсов дал возлюбленной имя «Даль» и звал ее так в узком кругу (Щербаков Р.Л. Текстологические победы и поражения // *Чтения-1996*. С. 74–75).

** Авторский перевод: спешу (*лат.*). Однако это слово можно перевести как «мое» или «по-моему» (*лат.*).

ные теории и исторические события. Автор, конечно, должен признать этот факт, но не может согласиться, чтобы все это было запретным для поэзии. Ему думается, что поэт должен, по возможности, стоять на уровне современного научного знания и вправе мечтать о читателе с таким же мирозерцанием. [...] Как ученый должен отдавать свои силы исследованиям, назначенным для специалистов, так художник может работать над темами, обращенными к более узким кругам. Вообще можно и должно проводить полную параллель между наукой и искусством. Цели и задачи у них одни и те же; различны лишь методы».

С конца 1921 года Брюсов много общался с физиками и математиками, расспрашивая их о последних достижениях науки и обсуждая ее философские аспекты. Племянник Иоанны Матвеевны Андрей Рихтер сообщил, что «летом 1922 года, отдыхая в Буркове*, Брюсов часто беседовал с проф. [Николаем] Богоявленским — руководителем находившейся там биостанции МГУ. Круг вопросов, которые затрагивали при этом поэт и ученый, был очень широк. [...] Брюсов [...] рассказывал Богоявленскому, как он стремился, изучая работы ученых и консультируясь с московской профессурой, создать себе ясное представление о микромире и, в первую очередь, о строении атома, с какими трудностями столкнулся он при этом. [...] Теперь у него создалось определенное понятие о строении атома, и он мечтает посвятить этой теме стихи» (35). 13 августа 1922 года появилось стихотворение «Мир электрона»:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знания, войны, троны
И память сорока веков!
Еще, быть может, каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там всё, что здесь, в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет...

Полтора года спустя написано стихотворение «Мир N измерений»:

Вось, ширь, глубь. Лишь три координаты.
Мимо них где путь? Засов закрыт.

* Деревня под Москвой, где Брюсовы снимали дачу еще в 1915 и 1916 годах.

С Пифагором слушай сфер сонаты,
Атомам дли счет, как Демокрит.
Путь по числам? — Приведет нас в Рим он
(Все пути ума ведут туда!).
То же в новом — Лобачевский, Риман,
Та же в зубы узкая узда!
Но живут, живут в N измереньях
Вихри воли, циклоны мыслей, те,
Кем смешны мы с нашим детским зреньем,
С нашим шагом по одной черте!
Наши солнца, звезды, все в пространстве,
Вся безгранность, где и свет бескрыл, —
Лишь фестон в том праздничном убранстве,
Чем их мир свой гордый облик скрыл.
Наше время — им чертеж на плане.
Вкось глядя, как мы скользим во тьме,
Боги те тешут земных желаний
Метят снисходительно в уме.

Ни «сфер сонаты», ни «боги» в рамки советской литературы не помещались, да и Пифагор присутствует здесь не как автор известной теоремы. «Пифагор учил о “музыке сфер”», — академически сообщил Брюсов в примечании. В стихотворении «Мы и те» (17 февраля 1922) речь тоже идет не только об истинности гелиоцентрической системы Пифагора в сравнении с геоцентрической системой Птолемея:

Велика ли корысть, что из двух соперников древности
Пифагором в веках побежден Птоломей...

Здесь говорится о победе Посвященного над непосвященным, сакральной науки над профанической. О том же годом позже писал Бенедикт Лившиц:

И все-таки системы Птолемея
Не признаю ни в жизни, ни в стихе!

О «научной поэзии» Брюсова говорили много, особенно после его смерти. То провозглашали ее продолжением традиций Лукреция, Джордано Бруно и Ломоносова, то сводили к попыткам реализовать путанные построения Рене Гюйса, который сам не преуспел в практическом воплощении своих теорий. Спорили, есть ли у «научной поэзии» принципиальные отличия от всякой другой, могут ли проблемы и достижения науки быть полноправным источником поэтического вдохновения наряду с более традицион-

ными, достаточно ли коснуться этих тем в стихах или надо обладать особым мировоззрением. Более узко вопрос ставился так: удалось ли Брюсову создать «научную поэзию» и можно ли считать эти опыты творческим достижением?

«Увы! Новые мои стихи во всех возбуждают недоумение — писал Брюсов 3 февраля 1924 года Кусикову. — А я знаю, что они в сто раз лучше и значительнее, чем прежние» (36). Отзывы современников о «Далях» были неутешительными. «Спиралей пляску, друг, давно понять пора нам...», — гаерствовал в «Правде» Демьян Бедный, войдя в роль Буренина. «В книге есть все, — иронизировал Шершеневич, — отзвук правильных мыслей (в предисловии), отзвук достижений футуризма (ритм и созвучия), имажинизма (грамматика), нет только одного — понимания, зачем это делается» (37). «Мало вводить научные термины в поэтический лексикон, нужно еще научное мировосприятие, что как раз и отсутствует у автора, несмотря на всю его начитанность и эрудицию» (38). Лишь немногие считали, что поэт «нашел и новые мысли, и новые формы для своих новых стихов» и что «он стоял на пороге какой-то новой дороги» (39). Мочульский назвал «научную поэзию» «убийственной затеей»: «Из сочетания “научности” с “конструктивностью” вырастают самые чудовищные из его произведений» (40). Один из наиболее образованных комсомольских поэтов Виссарион Саянов, сетуя на обилие непонятных слов в поздних стихах Валерия Яковлевича, честно признался, что они «подорвали уважение к поэзии Брюсова у людей нашего поколения» (41).

Говорить от имени целого поколения ему не стоило. Очень высокую оценку позднему творчеству Брюсова дал молодой поэт и критик Игорь Поступальский, считавший «научную поэзию» особенно созвучной эпохе. Назвав «Да-ли» «книгой творческого подъема», он поставил в заслугу автору интерес к теории относительности и к космической тематике, включая проблему контактов с внеземными цивилизациями. Поступальский утверждал, что, несмотря на «срывы», то есть отступления от канона, определявшегося в то время «Диалектикой природы» Энгельса, «заслуги Брюсова не могут быть умалены никакими неудачами» и что он «уже вплотную подходил к пролетарской философии» (42). В смягченной форме эта трактовка пережила второе рождение в 1960—1970-е годы, когда вера в научно-технический прогресс приняла в СССР почти религиозный характер: «Мы вправе назвать Брюсова [...] Циолковским

русской поэзии» (43). Критикуя выпущенный в 1957 году в серии «Библиотека советской поэзии» томик Брюсова (по составу действительно очень неудачный), К.С. Герасимов писал: «В сборнике, составлявшемся в то время, когда наши ученые ставили на службу миру и прогрессу энергию атома, именно в тот 1957 год, когда они осуществили беспримерный в истории научный подвиг — запуск первого в мире искусственного спутника Земли, — не нашлось места ни поэтическому провидению Брюсовым “архимедова рычага” “расщепленного атома”, ни его пророческим стихам о завоевании космоса — первым в нашей поэзии» (44). Такой Брюсов нашел отклик у новых поколений поэтов, даже у тех, кому остались чужды его релятивистские «срывы» и новаторские приемы.

Авторы, далекие от техницистских настроений, относились к его исканиям более строго. Отметив, что «идея включения в сферу поэзии научного материала должна быть признана плодотворной» и что «поворот внимания к поэтической стороне науки, попытка воссоздания на современной основе синкретического поэтически-научного мышления [...] — неоспоримая заслуга Брюсова», Д.Е. Максимов вынес суровый приговор его поздним стихам: «Поэзия в них мелькает от случая к случаю, скрываясь за горами научной номенклатуры и вздыбленным синтаксисом. [...] Он намеренно строил свои стихи 1922—1924 годов на принципе стилистической какофонии, ритмических переборах, синтаксических разрывах, тяжелых скоплениях согласных» (45).

Действительно, порой получались неудобопроизносимые головоломки:

Так растопчем, растопчем гордость неоправдываемую!
Пусть как молния снидет из тьмы ночи ловец —
Брать наш воздух, наш фосфор, наш радий, радуя и мою
Скорбь, что в мире смирил умы не человек!

Художественная неудача отдельных стихотворений «Далей» — книги поисков, но еще не обретений — могла поставить под сомнение искания Брюсова в целом. Однако «Меа» реабилитирует их, хотя и здесь не обошлось без невыговариваемых строк. «Всего в сборнике 7 разделов, различающихся постепенным расширением поля зрения: душа (“Наедине с собой”); пространство — окрестность (“В деревне”), земной шар (“Мысленно”); время — советская сов-

ременность (“В наши дни”), мировая история (“Из книг”); пространство и время как общие категории бытия (“В мировом масштабе”); и “Бреды”. Логика этих семи разделов затемнена их перетасовкой, отчасти в заботах о контрастной резкости, отчасти в ответ на идеологические требования (советскую современность в начало, душу — в конец)» (46). В книге немало творческих удач, в том числе из области «научной поэзии». «Восхождение вечно, воля неугасима, дух несокрушим, — признал даже Мочульский. — [...] На этой высокой ноте голос его обрывается» (47). Но о том, что «глаза в полстолетие партдисциплине не обучены», можно было написать лишь в «Бредах».

Отклики на сборник определялись тем, что он оказался *последним*: «Меа» рассматривали или в духе формальной школы, или в рамках «научной поэзии» (48). Поэтому немалый интерес представляют пометы Вадима Шершеневича на 20 из 57 стихотворений в принадлежавшем ему экземпляре книги (49). Он не пришел на чествование Брюсова 17 декабря 1923 года, но написал ему «не поздравительное, а искреннее письмо»: «Мне очень грустно, что уже долгое время мы в силу литературных условий оказываемся как бы по две стороны баррикад искусства. Но даже при этом положении я ни одной секунды не забываю, что только Вы и Ваше искусство помогли мне выучиться писать стихи. Мне очень горько, что среди целого ряда Ваших учеников я оказался в положении одного из наиболее Вами нелюбимых» (50). Видимо, поэт написал это в грустную минуту, поскольку говорить о нелюбви Брюсова к нему нет оснований. Более того, услышав в 1919 году стихотворение Шершеневича «Есть страшный миг...», Валерий Яковлевич сказал ему: «По-настоящему хорошо! Завидно, что не я написал!» И добавил с улыбкой: «Может, поменяемся? Отдайте мне это, а я вам в обмен дам пяток моих новых» (51). За шуткой видно несомненное уважение — Вадим Габриэлевич знал, каким строгим критиком был его собеседник.

Разбирая чужие стихи, Брюсов обращал особое внимание на рифмы. Так же поступил и Шершеневич: исправно подчеркивал «атлантидины — неиденный», «млечности — меч нести», «изодранным — хорда нам», написав на полях «прекрасные, хотя и вычурные рифмы» («СССР»). В книге заметно влияние футуристов, поэтому в маргиналиях встречаются «кто-то из футуристов — не Третьяков ли?» («Эры») и... «бедный Хлебников» («Тетрадь»). Против строк из стихотворения «Явь»:

Колбы, тигли, рефракторы, скальпели
Режут, лижут, свежат жизнь... а [вот]
Явь — лишь эти за окнами капли и
Поцелуй в час полночных свобод... —

полемиическое замечание: «А сам критиковал за это футуристов. См. статьи Брюсова о предложениях в конце строк»*. Против концовки стихотворения «Мировые спазмы» он написал «перепев Бальмонта по сути», а над «Песней девушки в тайге» — «хорошо, как молодой Брюсов».

3

Тринадцатого декабря 1923 года Валерию Яковлевичу исполнилось пятьдесят. Через два дня он закончил стихотворение «Пятьдесят лет», полное ощущением прожитого и страстно устремленное в будущее:

Где я? — высоко ль? —
 полвека — что цоколь;
 что бархат — осока
 низинных болот.
Что здесь? — не пьяны ль
 молчаньем поляны,
 куда и бипланы
 не взрежут полет?...
Беден мой след!
 ношу лет
 знать — охоты нет!
 ветер, непрошен ты!
Пусть бы путь достигнуть
 мог до больших границ,
 прежде чем ниц
 ринусь я, сброшенный!
Пятьдесят лет —
 пятьдесят вех;
 пятьдесят лет —
 пятьдесят лестниц...
Еще б этот счет! всход вперед!
и пусть на дне —
 суд обо мне
 мировых сплетниц!

* В «Меа» опечатка: пропущено «вот». Шершеневич имел в виду статью «Новые течения в русской поэзии. Футуристы» (1913), где Брюсов критиковал подобные рифмы у Маяковского.

В день рождения Брюсова Луначарский от имени коллегии Наркомпроса подал в Президиум ЦИК СССР официальное ходатайство о награждении поэта орденом Трудового Красного Знамени, упомянув, во-первых, «его выдающиеся поэтические произведения, представляющие собою несомненно бессмертный вклад в русскую поэзию» и только в-четвертых его членство в партии: «самое наличие его в наших рядах при его европейской известности является, конечно, для нас значительным политическим плюсом» (52). Днем раньше новость попала в газеты. «Вечерняя Москва» опросила «видных представителей советской литературы и общественности», заслуживает ли Брюсов ордена. «Видные» единодушно ответили, что не заслуживает, и с ними пришлось считаться. Кто же эти судьи? Единственный литератор-орденоносец Демьян Бедный, партийный журналист Лев Сосновский, будущий глава РАПП Леопольд Авербах, бывший акмеист, а ныне партиец и издательский работник Владимир Нарбут (53). Альтернативной кандидатурой называли Серафимовича: в начале года ему исполнилось 60 лет, но хлопотать за него нарком не стал.

Не берусь судить, насколько тяжело переживал Брюсов отказ в ордене, но развязные выпады были ему, конечно, неприятны. Почувствовавший себя лично уязвленным, Луначарский добился награждения юбиляра грамотой ВЦИК РСФСР с объявлением ему «благодарности Рабоче-Крестьянского Правительства» и сам составил ее текст (54). Он же стал почетным председателем юбилейного комитета из пятидесяти четырех человек, где Белый и Поляков-«скорпион» соседствовали с Каменевым и секретарем ЦИК СССР Енукидзе, Есенин с Немировичем-Данченко, Фриче с Пильняком (55).

Первое чествование устроила 16 декабря ГАХН в виде совместного заседания с ВЛХИ, Обществом любителей российской словесности, Всероссийским союзом писателей и Союзом поэтов. Луначарский председательствовал и сказал вступительное слово. Сакулин прочитал доклад «Классик символизма», Цявловский «Брюсов-пушкинист», Гроссман «Брюсов и французские символисты», Рачинский «Брюсов и ВЛХИ» (институту было официально присвоено имя основателя), Шервинский «Брюсов и Рим» (56). Ответную речь юбиляр начал со... спора с докладчиками, говорившими о нем, как ему показалось, в прошедшем времени: «Очень лестно и почетно быть объектом таких от-

певаний, но играть роль немой тени* все-таки очень тяжело, особенно когда чувствуешь себя способным говорить, а не совсем еще онемелым». Это необычное для юбилея заявление несколько оживило собравшихся. А случайно проходившему в тот вечер мимо здания ГАХН, уже после заседания, Петру Зайцеву запомнилась одинокая фигура юбиляра, тщетно пытавшегося найти в холодной и сырой ночи извозчика: об этом устроители не позаботились (57).

Главное торжество было на следующий день в Большом театре: доклад Луначарского, акт из переведенной Брюсовым «Федры» Расина в постановке Таирова, ставшей событием послереволюционного театра (58), и две сцены из «Земли» в постановке Театра Мейерхольда — специально для этого случая. Из-за грамоты ВЦИКа и речи наркома, в которой не было ничего официального (59), чествование принято считать казенным и печальным. Лиля Брик вспоминала, что в ответ на дружеское поздравление Маяковского Брюсов ответил: «Спасибо, но не желаю вам такого юбилея» (60).

«Юбилей сумели превратить в пытку, — утверждал Асеев. — Никто из бывших соратников не “удостоил” чествовать действительно же большого поэта и крупнейшую культурно-поэтическую фигуру начала столетия. Швырявшие стулья в начале его поэтической деятельности не посмели этого сделать, конечно, теперь. Но они оставили пустыми эти стулья как знак своей мести, как символ проклятия “отступнику” от их традиций» (61). «Футуристы не приветствовали из принципиально отрицательного отношения к юбилеям, — писал он в другой статье. — Буржуазия — из ненависти к его партийному билету. Интеллигенция... но ведь интеллигенция это та же критика, а как та, так и другая давно ждут случая свести счеты с не раз заушавшим ее “бесстрастным свидетелем” ее промахов и ляпсусов. А мне в этот вечер Брюсов был дороже других» (62).

Говоря об отсутствующих, уместно вспомнить слова «иных уж нет, а те далече»: Горький, участие которого официально объявлялось, находился в Германии, Иванов в Баку, Волошин в Коктебеле, Сологуб и Кузмин в Петрограде, Бальмонт в эмиграции, Блок и Гумилев в мире ином. Не было Белого, недавно вернувшегося из Берлина, но был

* Реминисценция стихотворения Фета «На пятидесятилетие музыки» (1889), которое он перед этим процитировал.

Чулков. В ложе сидел литовский посланник Балтрушайтис. Фриче заболел, Чуковский не смог приехать, Шершеневич не явился «совершенно сознательно», хотя все трое тепло поздравили Брюсова в письмах. «Как и в дни моей молодости, имя Валерий Брюсов — для меня прекрасное имя, которым все мы, пишущие, вправе гордиться», — заключил свое послание Корней Иванович (63).

Поздравлений было много, опубликованных и неопубликованных, официальных и личных, в стихах и прозе, из Москвы и Петрограда, Минска и Казани, Киева и Баку, Лондона (Ликиардопуло) и Исфагана (Тардов) — список занял пять печатных страниц (64). В Берлине сменовеховская газета «Накануне» целиком посвятила Брюсову выпуск литературного приложения, на страницах которого сошлись Петровская, Гуль и Кусиков. «Очень просили меня написать, — делилась Нина Ивановна с подругой, — и нельзя было уклониться, осталось бы пустое место, именно мое. Написала, и вот затосковало сердце... Портрет его повесила, смотрю... Стал он старый, старый, уже не на “мага”, а на “шамана” похож. Смотрю и понять не могу, как и зачем эти годы мои прошли!» (65).

Надеясь привлечь Брюсова в «Накануне», Кусиков прислал ему юбилейный номер и восторженное письмо, начинавшееся: «Валерий, милый, любимый, нежный... самый, самый... Впрочем, как-то неловко теперь, дедушка ведь, юбилей был, 50 лет, а я: Валерий». Письмо Брюсова от 25 апреля 1923 года с московскими литературными новостями догнало Кусикова в Париже*, откуда он отвечал: «Мы с Бальмонтом Костечкой (такая была у Сандро манера общения с поэтом на тридцать лет старше. — В.М.) перечитали его два или три раза. Он умилился, вспомнил все старое, тем более, что Ты спрашиваешь там о нем, и тут же, “в четыре руки” написали Тебе большущее письмо». Увы, до адресата «большущее письмо» не дошло (66).

Среди участников чествования особенно запомнились Пастернак и делегация Армении. Борис Леонидович прочитал стихотворение «Я поздравляю вас, как я отца поздравил бы при той же обстановке...», написанное в нарочито неюбилейном тоне интимной откровенности, которая не вязалась с привычным обликом Брюсова и казалась неожиданной с учетом неблизких отношений между поэтами:

* Фрагмент письма факсимильно воспроизведен: Резец. 1934. № 19 (сентябрь). С. 18. Объяснить, как из Парижа оно попало в ленинградский журнал, не берусь.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут,
И золото судьбы посеребрят,
И, может, серебрить в ответ обяжут.
Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?..
Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?
Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Понимая, что верные «с точки зрения вечности» стихи прозвучат на празднике диссонансом, автор оговорился в последней, позднее отброшенной строфе:

От сердца вам желаю дальше блюсть
Ответственности и призванья горечь.
Простите, если в строчки вкралась грусть,
Их смоем радость юбилейных сборищ.

Это была не только дань уважения старшему товарищу, не только выражение солидарности с ним перед лицом новой кампании ортодоксов, но и одна из первых деклараций самого Пастернака на гражданскую тему, близкую юбилею. Л. Флейшман назвал стихотворение «Брюсову» «замечательной параллелью» к опубликованной журналом «Леф» в начале 1924 года поэме «Высокая болезнь», хотя и отметил: «Если для Пастернака исторические “ассоциации” возвеличивают революцию, то с точки зрения лефовской платформы они ее компрометируют» (67). Брюсов подвергся нападкам лефовца Арватова именно за то, что «возвеличивал революцию» с помощью «исторических ассоциаций». «Высокая болезнь» Брюсову не понравилась, но на общей высокой оценке им стихов Пастернака это не сказалось (68). Более того, свое выступление на юбилее Валерий Яковлевич завершил стихотворением «Вариации на тему «Медного всадника»», «почтительно посвященным» Пастернаку как при чтении, так и в сборнике «Меа».

Оригинальное приветствие армянской делегации описал ее участник — композитор Аро Степанян. «На сцену

вышли трое — с таром, кяманчой и дафом*. [...] Внимание зала сосредоточилось на них. [...] Звучит, звенит песня, сладостная, такая проникновенная... Гехарик**, кажется, сам превзошел себя — поет он свободно и взволнованно. [...] Кончили. Поднялись с мест, и под хлопки тысяч людей гехарик берет кяманчу и направляется со сцены к залу. На какое-то мгновение аплодисменты затихают, зал недоуменно смотрит: гехарик спускается, подходит к юбиляру, опускается на колени, не проронив ни слова, молча склоняется перед ним и кладет к его ногам свою кяманчу... Ведь по старинной традиции саз, кяманча ашуга, потерпевшего поражение в состязании, принадлежит победителю! Брюсов встает: ему известны все детали этой старинной ашугской традиции. Он встает и поднимает гехарика. Они обнимаются... От волнения на глазах поэта показались слезы... Неожиданной и необычной оказалась эта дань уважения и любви к поэту» (69). Символическим жестом дело не ограничилось: юбиляру было присвоено звание Народного поэта Армении, чему он был искренне рад.

4

Последний год своей жизни Брюсов начал, как и все остальные, в трудах. Готовил к печати «Меа», трехтомное собрание стихов для Госиздата (в конце 1922 года там вышел «Кругозор» — «изборник», построенный по тематическому принципу), переводы из Эдгара По для «Всемирной литературы», где годом раньше появилось итоговое издание Верхарна (70), учебник «Основы стиховедения», сборник трудов ВЛХИ «Проблемы поэтики», открывавшийся его статьей «Синтетика поэзии» о поэзии как способе познания. 10 марта Совнарком, «признавая необходимым обеспечить ему возможность сосредоточиться на творческой научной и литературной работе», назначил поэту персональную пенсию «в размере полуторной высшей ставки тарифа ответственных работников» (71). Жить пенсионеру оставалось семь месяцев.

В конце января член правления Всероссийского союза поэтов Николай Захаров-Мэнский начал закулисную кампанию с целью «продвинуть» Брюсова в председатели

* Армянские народные музыкальные инструменты.

** Исполнитель армянских народных песен.

З.С.Ф.С.Р.

Планеты и солнце. Союз и республики строим;
Войды правят реди, он их двоит, их троит.
Вот на дальней орбите вьираются в круг сателлиты:
Не малые ль зерна в могучий шар слиты?
Бже уже притягиванье иных, там поэты гурдики сгнано,
Новый мир загорелся; З.С.Ф.С.Р.

Как много в немоном! От отшельей плоских, где Кастий
Вьискал с нестрогием поет стародавние сказки,
За скалы Дарьяла, где, в вихре беднячьих истерик,
О старой Панагре ридальствует Перек,
Во стени, где преданьями давними мешинется рад,
Глядит к Алагуз седи Арарат.

Как много! И сколько видений! От днел Атлантиды
Несут откровенья до нас являтиды;
Здесь — тени днадох! там — русские провинции границы
Там длань Панамерлана и бже его снител!
И снова тут сплосен, в проломе всемирных вьорот,
К труду и надеждам свободной народ.

Привет племенам, что века и века враждовали,
Но вьизвали к жизни в великом развале
Империй и царств! Вы звезды загорелись на сфере!
Вы — сила земли! вы — кровь мови! И, верим,
Путь один держат к свету из древних пещер и трескит
Авказаец и торк, армянит и грузин!

1924.

Валерий Брюсов.

ВСП — вероятно, рассчитывая укрепить этим и свое положение. 4 марта он писал Валерию Яковлевичу: «Группа, насчитывающая 100 московских поэтов, обратилась ко мне с просьбой переговорить с Вами относительно возвращения Вашего на пост председателя центрального правления союза. Это место и по праву и по закону принадлежит Вам — крупнейшему и уважаемейшему из русских поэтов». Однако 28 марта надежды Захарова-Мэнского рухнули: «Меня редко охватывало такое отчаяние, какое охватило, наполнило меня после получения Вашего письма с отказом. [...] Вы — то имя, вокруг которого соединились все. Вы — и крупнейший русский поэт, и литератор, равного которому или хотя бы близкого по значению — нет в Москве. Вы должны быть председателем союза — должны» (72). Брюсова это, похоже, не волновало.

И тут начался самый удивительный роман в его жизни — почтовый. 19 или 20 апреля Валерий Яковлевич получил письмо из города Изюм Харьковской губернии от Ирины Ивановны Шевцовой, двадцатилетней девушки, сочиняющей стихи: «Если Вы мне напишете хоть 2 строчки, я, кажется, сойду с ума от радости... но если заставите разочароваться — тоже сойду с ума». Раньше писем со стихами приходили мешки, теперь их стало много меньше, хотя в те же дни из Владивостока был получен сборник «Уступы» с надписью: «Великому мастеру от подмастерья. Арс. Несмелов 9 апреля 1924» (73). Обычно игнорировавший подобные письма, Брюсов ответил Ире (сохранились черновики): «20 лет, сами по себе, вещь более чем хорошая. Мне — 50, что Вы, может быть, знаете. Когда мне было 20, я думал, что это — конец жизни. Теперь этого никак не думаю, но все же завидую Вашим 20 годам. Право, поменялся бы с Вами жизнью и согласился бы быть в Изюме на Донце». Пораженная самим фактом ответа, Ира продолжала писать восторженные, немного наивные, но отнюдь не глупые письма, без малейшей примеси литературы, что, видимо, нравилось Брюсову — вкупе с «эффектом вагонного попутчика». Он рассказывал о своей жизни, посылал книги и новые стихи и даже сравнил свою заочную знакомую с Навзикаей из «Одиссеи». Обо всем этом мы знаем только из ее ответов, поскольку письма Брюсова пропали, как пропала и сама Ирина Шевцова. Последнее письмо (всего их было 10) она написала 12 сентября. Ответить на него Валерий Яковлевич, судя по всему, не успел (74).

В конце июня, по окончании экзаменов в МГУ и ВЛХИ,

Брюсов взял двухмесячный отпуск и отправился с женой и Колей в Алупку. Перед этим его ждала встреча с Вяч. Ивановым, приехавшим в Москву для выступления на праздновании 125-летия Пушкина и оформления командировки в Италию. Беседуя в начале 1920-х годов с М.С. Альтманом, Иванов много наговорил о том, что Брюсов «самым грубым образом изнасиловал свою музу», «проституировал поэзию» и даже «служил Злу», хотя и признался: «Да, я был одно время в него влюблен, я помню, целовал его глаза (а глаза его черные, прекрасные, подчас гениальные) неоднократно. Бывало, он стоит так с наклоном головы влево, гибкий весь, упругий, и вдруг он становится весь прекрасным, когда мелькнет у него какой-нибудь замысел» (75).

По свидетельству Виктора Мануйлова, сопровождавшего Иванова на 1-ую Мещанскую 32, разговор в саду около дома «был очень значительный и ответственный». «Вячеслав Иванов подошел и сурово и строго поздоровался с ним, а затем сказал приблизительно следующее: “Ну, вот видишь, Валерий, что ты сделал со своей жизнью, а главное со своим творческим даром?” И Вячеслав Иванович стал строго и гневно высказывать свое суждение о последних стихах В.Я. Брюсова: “Это не ты писал. Писал, как если бы это было тебе заказано. Но это не твои стихи и не твой голос”. [...] Брюсов весь сжался. Он стал жалким, каким-то маленьким. Как будто действительно почувствовал свою вину. И он говорил, что теперь ничего уже нельзя изменить, что все уже сделано, жизнь почти решена. Он говорил о том, что задумал написать большую вещь, но какую именно, не сказал. “Вот там я все и выскажу, ты поймешь”. [...] Он был в положении человека уязвленного, не обиженного, но раненного. Вячеслав Иванов недолго был у него. На прощание он сказал: “Нам нужно было повидаться, мы долго не виделись. Я хочу, чтоб ты знал, что я тебя любил и мне тебя очень, очень жалко”. Так они расстались. Эта встреча задела и ранила В.Я. Брюсова. Это были дни, когда он подводил итоги своей жизни и чувствовал неудовлетворение от многого» (76).

Знакомая интонация судьи и учителя, интонация «Леры и оси». Но кое-что важное осталось за кадром. Иванов не принял ни революционные, ни научные стихи позднего Брюсова, но и сам как поэт переживал творческий кризис, не написав почти ничего в промежутке между «Зимними сонетами» (1920) и «Римскими сонетами» (1924). Не поэто-му ли Валерий Яковлевич подарил ему самую нехарактер-

ную из своих новых книг — перевод пьесы Роллана «Лилиюли» — с надписью «строгому ценителю» (77).

При разговоре присутствовал еще один человек, рассказавший о нем. Димитрий Иванов (сын Вячеслава), которому тогда было 12 лет, запомнил не только содержание, но и атмосферу недолгой беседы поэтов, дружеской, умиротворенной, полной взаимного уважения, при осознании всего, что их разделяло. В ответ на упреки Иванова, относившиеся к его поэтическим экспериментам, «Брюсов сидел, подперев щеку ладонью, и грустно смотрел на отца». Ему было обидно, что старый друг, мнением которого он дорожил, не то что не одобрил, а не понял и не попытался понять его. Но резкого осуждения со стороны Иванова, по словам сына, не было, как не было и напряженности в разговоре, что, конечно, не означало согласия собеседников друг с другом. Иванов собирался за границу, и оба догадывались, что это их последняя встреча (78).

Июль Брюсовы провели в Алушке — где 26 лет назад прошло их первое лето после свадьбы — с Колей, «к которому “дядя Валя” проявлял любовь поистине дедовскую. [...] Моим просьбам обратиться к врачу, чтоб полечить кашель, мучивший его, не внимал Валерий Яковлевич, но старался доказать, что он совершенно здоров, бодрился, взбирался на горы, катался верхом, купался, плавал. Возвращались мы в Москву врозь. Валерий Яковлевич заехал на несколько дней в Коктебель» (79). «Несколько дней» обернулись месяцем — там была Адалис.

Двадцать восьмого марта 1924 года Волошин, впервые за семь лет выбравшийся в Москву, навестил Брюсова, подарил ему сборник «Иверни» как «память совершеннолетия нашего знакомства (1903—1924=21)» (80) и пригласил в Коктебель, где тот никогда не бывал. Валерий Яковлевич появился в «Доме поэта» в начале августа, в день, когда Андрей Белый должен был читать стихи. По воспоминаниям Анны Остроумовой-Лебедевой, облик Брюсова «являл собою сплетенный узел движения, нервности и раздражения». Он то отмалчивался, то раздраженно спорил по любому поводу, но постепенно «общее оживленное настроение захватило его, и вскоре он сам стал заметно способствовать этому бодрому темпу жизни».

Через несколько дней после приезда его уговорили читать новые стихи. «Брюсов читал около двух часов, развернув перед слушателями результаты громадной поэтической работы, — вспоминал Гроссман. — Но, несмотря на боль-

шое разнообразие тем, замыслов, стиховых приемов, было ясно, что эта ученая, изобретательная и какая-то неживая поэзия совершенно не доходит до слушателя. Все стихи производили неотвязное впечатление “сенилий”*, отмеченных громадным мастерством, тонким умением, гибкой и богатой техникой, но лишенных подлинных творческих импульсов». Более убедительной оказалась защита им стихов Пастернака, которого Брюсов «с томиком “Тем и вариаций” в руках в продолжение целого вечера читал и комментировал» (81).

С неожиданной стороны открылся Валерий Яковлевич в день рождения Волошина — 17 августа. Сочинить оду «владыке Киммерии» было в порядке вещей, но Сергей Шервинский затеял в этот день... «живое кино» — пародию на авантюрные фильмы. «Брюсов исполнял роль офицера французской службы в одном из африканских фортов — капитана Пистолэ Флобера. Одним из главных партнеров его был Андрей Белый в роли какого-то международного авантюриста. Оба поэта с увлечением выступали на столь необычном для себя поприще, великолепно поняв комизм задания и тонко разрешая эту трудную проблему. В частности Брюсов вызывал дружный смех зрителей своими широкими жестами при повторявшейся фразе конференсье-режиссера: “Садитесь. Через десять минут я покажу вам Африку”». Так произошло его примирение с Белым, по словам которого «и в легкой игре проскользнул лейтмотив отношений — старинный, исконный: борьбы между нами. [...] Наблюдавшие нас утверждали, что в лицах (моем и его) был действительный пыл, точно речь об аресте — не шутка: серьез» (82). 8 декабря 1924 года Белый писал Иванову-Разумнику: «Я очень благодарен Коктебелю хотя бы за то, что перед смертью Валерия Яковлевича с ним встретился и мирно прожил, можно сказать, под одним кровом 3 недели: мы примирились — без объяснения; и как бы простился (даже дурачились вместе)» (83).

Затем по предложению Брюсова были устроены стихотворные конкурсы. «Правила состязания сводились к следующему: стихотворение должно быть непременно рифмованным, размер его от 8 до 20 строк, срок подачи одинаковый для всех — через полчаса на первом конкурсе, через час — на втором. За пять минут до этого момента, рожок, сзывавший обычно на обед, возвещал об окончании

* От *senilia* — старческое (лат.).

положенного срока. Поэты прочитывали свои стихотворения, после чего избранное жюри определяло лучшее произведение. Решение его санкционировалось всем собранием. Такой “статут” был предложен Брюсовым и принят всем обществом. В стихотворных конкурсах принимали участие, помимо самого Брюсова, Максимилиан Волошин, С.В. Шервинский, поэтесса Адалис, П.Н. Зайцев и пишущий эти строки (Гроссман. — *В.М.*). Во главе жюри находился Андрей Белый.

Для первого конкурса (23 августа. — *В.М.*) остановились на теме “Женский портрет”. Конкурирующие разошлись на полчаса. Так как занимаемое мною помещение находилось рядом с комнатой Брюсова, я в продолжении получаса явственно слышал быстрые шаги Валерия Яковлевича, слагавшего, видно, свои стихи на ходу; небольшие паузы отмечали, повидимому, краткие периоды записи сложившихся строк. В момент окончания положенного срока, при первом же звучании рожка, дверь в соседней комнате шелкнула, и Брюсов прошел по сениям, очевидно, закончив свой текст и вполне готовый к конкурсу. Когда через несколько минут я поспешил на террасу, конкурирующие поэты еще не собрались в полном составе. Брюсов с листком в руке был недоволен этим опозданием, считая, что правила конкурса должны быть для всех совершенно одинаковы. Вскоре, впрочем, собрались все участники. Началось чтение. Жеребьевкой был определен порядок выступления: первая очередь выпала Брюсову». Первый конкурс выиграл Шервинский, второй — на тему «царь Соломон», два дня спустя, — Адалис. Брюсов признал оба стихотворения лучшими еще до вынесения вердикта, с чем согласились и жюри, и публика. Сам он подал безукоризненные и... старомодные стихи, вызывавшие в памяти «Венок», а не «Дали».

«Ничего строгого, властного, холодного не было в коктейльском Брюсове, — продолжал Гроссман. — Он был прост, общителен и мил. По-отечески снисходительно и дружелюбно вступал в спор с задорными девицами, отрицавшими огулом всю русскую культуру или отвергавшими какое-нибудь крупнейшее поэтическое явление. Участвовал в каждой морской или горной экскурсии в многолюдном обществе молодежи, выступал в диспутах по поводу прочитанных стихов, играл в мяч, налаживал литературные игры. Но тень какой-то глубокой утомленности и скрытого страдания не покидала его. Часто он казался совершенно старым, больным, тяжело изнуренным полувеком своего земного странствия».

Вскоре после приезда Валерий Яковлевич отправился с молодежью на вершину Карадага и попал под сильный ливень, продолжавшийся три часа. «Естественно, что я захворал, — сообщал он Иоанне Матвеевне 15 августа. — Приемыхины кое-как меня поправили, но остался ожесточенный неврит в руке. Я не могу сейчас ни согнуть, ни разогнуть руку (левую), почти не могу спать, ибо боль длится 24 часа в сутки. [...] Вот почему сейчас выехать в Москву не могу. [...] Уверяю Тебя, что мне очень невесело, даже совсем плохо, и я куда предпочитал бы гулять по Алушке, чем здесь лежать и плакаться над своей рукой». Встревоженная Иоанна Матвеевна поняла, что дело не только в больной руке. Это письмо, с трогательной припиской для Коли о ведении дневника и собирании камушков, оказалось последним в их многолетней переписке (84).

Несмотря на боль в руке и постоянный кашель, Брюсов бодрился и не спешил в Москву. Остроумова-Лебедева захотела написать его портрет. Разговоры во время сеансов вращались вокруг явления «людей из нереального мира», которых не раз наблюдала художница-визионерка. «Я определенно чувствовала, что они — не продукт моей фантазии или нервов, что появление их вне меня, из высшего, хотя и не нашего, а какого-то другого мира. [...] Валерий Яковлевич отнесся к моим рассказам вполне серьезно, сказав, что такие явления носят определенное название в оккультных науках». Ее муж, химик Лебедев, категорически отрицал потусторонние явления и затеял жаркий спор с Брюсовым. Недовольная портретом, на котором «был изображен пожилой человек с лицом Валерия Брюсова, но это не был Валерий Брюсов», художница только во время этого спора, когда «в нем были и раздражение, и порыв», поняла: «Хотя я изображала его с глазами, смотрящими на меня, они были закрыты внутренней заслонкой, и, как бы я ни пыталась над портретом, я не смогла бы изобразить внутренней сущности Брюсова. Он тщательно забронировался и показывал мне только свою внешнюю оболочку. Но если бы он был более откровенен, распахнулся бы и я поняла, что в нем кроется, каков он есть на самом деле, смогла бы я изобразить его? — это еще вопрос». Прямо перед следующим сеансом, услышав его шаги, она... смыла портрет губкой. «За минуту я еще не знала, что уничтожу его. Вошел Валерий Яковлевич. Сконфуженно, молча показала ему на смытую вещь. Он посмотрел на меня, на остатки портрета и пожал плечами. «Почему вы это сделали? Он был похож».

— Не знаю, почему. Непростительно, что я вас заставила позировать, и безрезультатно. Простите меня!

— Не огорчайтесь, не волнуйтесь, — снисходительно сказал он, — это ничего, это бывает. Вот эту осень я собираюсь приехать в Петербург и даю вам обещание, что буду вам там позировать.

Мы попрощались. Я его больше никогда не видела. Точнее, все-таки видела...

Прощаясь с Коктебелем, Брюсов написал в альбоме Волошиных: «Я навсегда признателен за то, что после Тавриды узнал Киммерию, край суровый и прекрасный, край много-тысячелетней древности и край, где заглядываешь в будущее века. [...] Дни, проведенные мною впервые в Коктебеле, проводят новую четкую черту в моей жизни» (85). Схожее чувство — «особый дар судьбы» — пережил и Волошин, писавший 23 октября уже вдове поэта: «Мне дана грустная радость в сознании того, что последние дни своего ясного общения с природой Валерий Яковлевич провел под моим кровом в Коктебеле. [...] Я давно не видел его таким ясным, просветленным, умудренным. И все, кто ни были эти недели вместе с ним, вынесли то же впечатление и нежную симпатию к нему». «Было бы очень тяжело, — признался он Белому 15 ноября, — проститься с ним с тем равнодушным недружелюбием, которое установилось к нему в последние годы» (86).

Брюсов приехал больным, но сразу вышел на службу. Студентка ВЛХИ Маргарита Грюнер позже вспоминала, немного сместив даты: «В октябре я вернулась в Москву и пришла в институт — надо было сдать экзамен по римской литературе. Конечно, мы все мечтали сдать его Валерию Яковлевичу — он вел этот предмет. Но староста сказал мне:

— Грюнер, не ходи сдавать Валерию Яковлевичу, он совсем болен, а все валят и валят к нему.

Я посмотрела на старосту умоляюще:

— Хорошо, — сказал он с сердцем. — Пойдем и посмотрим, как он выглядит, и тогда — хватит ли у тебя совести...

Я посмотрела в дверную щель. И увидела худое, бледное лицо, слышала глухой кашель. Осторожно, прикрыв дверь, я спросила старосту упавшим голосом, куда мне идти.

— Я знал, что у тебя есть совесть, — сказал староста и направил меня к другому экзаменатору» (87).

Двадцать шестого сентября Валерий Яковлевич слег. «Крупозное и ползучее воспаление легких вместе с плевритом — констатировали врачи. После первой вспышки высокой температуры больной повеселел, сразу начал заниматься

делами, лежа писал статью о Безыменском. [...] Как выздоравливающий, он на все реагировал, делал распоряжения, давал советы», — вспоминала Иоанна Матвеевна (88). Позже она рассказала Шенгели, что «у Брюсова была старинная железная шкатулка с секретным замком, в которой хранились деньги и ценности. Открывать ее умел только он. Теперь, едва заболев, он позвал Жанну Матвеевну, велел принести шкатулку и показал Ж.М. секрет замка. Точно предчувствовал» (89).

Брюсова лечили его постоянные врачи Матвей Розенблюм и Георгий Рихтер. Затем обратились к Михаилу Кончаловскому и Василию Шервинскому, отцу Сергея Шервинского. Но «болезнь шла на ухудшение. Врачи ждали сначала кризиса, затем лизиса, а ползучее воспаление с каждым разрешением нового фокуса расслабляло больного. В полном сознании и понимании происходившего с ним лежал Валерий Яковлевич спокойно и почти безмолвно, но иногда выговаривал: “Конец! Конец!”. 8 октября настало мнимое облегчение. Валерий Яковлевич взял меня за руку, — завершила свой рассказ Иоанна Матвеевна, — и с трудом сказал несколько добрых и ласковых слов, относящихся ко мне. Затем после большого промежутка, подняв указательный палец, медленно произнес: “Мои стихи...”. Я поняла — сбереги. То были последние слова поэта» (90).

Девятого октября 1924 года, в 10 часов утра, Валерий Брюсов умер в своем кабинете, в присутствии жены, врачей и отца и сына Шервинских. Причиной смерти были названы воспаление легких и плеврит в сочетании с давним, залеченным туберкулезом, склерозом сосудов и нервным истощением «вследствие многолетнего влияния различных наркотических веществ» (о последнем официально не сообщалось) (91). С покойного была снята маска, а мозг взят на изучение в Институт мозга.

Глава двадцатая

«Я О ДУШЕ ТВОЕЙ МОЛЮСЬ, ВАЛЕРИЙ»

1

В последний год жизни Брюсов часто возвращался в разговорах к смерти и к тому, что будет «после». Одну из таких бесед запомнил Шенгели:

«— Вы верите в жизнь за гробом?

— Нет, не верю, — сказал я.

— А я верю. Или, точнее, я знаю, что я буду жить как личность и после смерти.

Я ответил, что если бы он просто верил, то я не стал бы спорить: вера есть безусловная данность и не может на что-либо опираться, но если он “знает”, то он должен это знание обосновать. И Брюсов, с большим остроумием, исходя из закона сохранения энергии, стал доказывать, что личность, как энергетическая монада, всегда равная себе, независимо от содержания сознания и от многократной смены физиологического коррелята в виде мозговых клеток, не может истребиться. Мне было бы не очень трудно опровергнуть эти выкладки, но мне не хотелось огорчать собеседника, впервые потянувшегося ко мне со своим и, видимо, наболевшим вопросом. Я сказал:

— С такими воззрениями легко жить.

— Нет, — грустно сказал Брюсов, — тяжело. Страшно думать, что целую вечность будешь с самим собою» (1).

В день смерти Валерия Яковлевича секретарь Зиновьева Ф.И. Музыка (почему он?) послал председателю Моссовета Каменеву записку: «Некоторые организации предлагают, чтобы похороны тов. Брюсова В.Я. взял на себя Моссовет или ВЦИК, прошу дать ответ». Каменев в тот же день сообщил об этом в Политбюро, которое — письменным опросом членов — постановило поручить организацию похорон Моссовету и Наркомпросу, которые ассигновали на это по полторы тысячи рублей (2). Распорядительная комиссия Госиздата экстренно постановила выпустить «Меа» «не позднее 13/XI, вклеив портрет в траурной рамке, и снабдить траурной бандеролью» (3). Поэтому воспоминания З.И. Ясинской о том, что эту книгу «раздавали» на похоронах неверны: мемуаристка спутала «Меа» со сборником к пятидесятилетию поэта, который выпускали так долго, что успели только к похоронам (4).

О смерти Брюсова немедленно сообщили все газеты, причем «Правда», «Известия» и ленинградская «Красная газета» на протяжении пяти дней регулярно давали подборки статей и материалов о нем, от краткой биографии до хроники последней болезни. Верные принципу «о мертвом либо хорошо, либо ничего» одни молчали, другие, включая бывших противников, искали и находили добрые слова. В «Правде» — Луначарский: «Внутренне этот строгий и несколько нескладный в своем усилии образ освещен тем

очаровательным идеализмом, который светился порою в глазах Брюсова и который сообщает для чуткого человека живую теплоту холодной красоте и подчас сумрачным усилиям, которыми полны его поэтические произведения» (5). В «Красной звезде» напостовец Лелевич: «В лице Валерия Брюсова сходит со сцены одна из самых ярких и благородных фигур современной литературы» (6). В «Известиях» Городецкий: «Старшие уходят. Увы, не стариками. “Наше время лишь звено”. Еще одно большое звено оборвалось. Не из тех звеньев, которые тянут в могилу прошлого, а из тех редких, которые лучшим мрамором прошлого подпирают стройку будущего. Брюсов лучше всех поэтов своего поколения умел распознавать этот мрамор культуры — ценный и для наших дней, и для будущих. [...] Ушел не только поэт, но и старший учитель многих, если не всех современных поэтических школ» (7). Об этом же — его стихи:

И стал над безднами провала,
На грани берегов иных,
На догоранье карнавала
Смотря с презреньем седины...
Ушел, испив вино и оцет.
Живет, расплавив миг в века.
Vos morituros nasci docet,
Vos nasciendos evocat*.

«Я давно привык высоко ценить и уважать Валерия Яковлевича, — писал вдове Сологуб, — и как поэта, и как человека, и всегда отрадно было думать, что в России живет и работает человек такой напряженной и сосредоточенной воли. Я верю, что пример его великого труда навсегда останется большим и знаменательным наследием последующим поколениям. Мы же, имевшие высокое счастье видеть Валерия Яковлевича и слышать его мудрые слова, сохраним чистую память о нем, как один из лучших даров, ничем не уничтожаемых» (8). «Помню наш литературный кружок в студенческие времена, — вспоминал в «Красной газете» Коган, — где он выступал виртуозом чудачеств, смеялся над всякой серьезностью, противопоставлял идеям общественности и гражданского долга “чистые звуки”, каприз своевольной души поэта. [...] И помню конец этой

* Вас, которым предстоит смерть, он учит рождаться. / Вас, которым предстоит родиться, он зовет к жизни (*лат.*). В позднейших перепечатках четыре последние строки отброшены.

богатой жизни, его нервные речи в государственном ученом совете, его точные ссылки на декреты совнаркома, на постановления коллегии наркомпроса, редкую добросовестность, его детальное знание распоряжений, его ясные, исполненные неумолимой логики доклады, его немецки аккуратное посещение наших бесчисленнейших заседаний» (9). Рядом слова Кузмина: «Помимо тяжести утраты законченного поэта, сохранившего свежесть и энергию до последней минуты, русская литература и просто множество молодых поэтов понесли незаменимую потерю в лице Брюсова как руководителя стойкого, энергичного, предусмотрительного и современного» (10).

Родные и близкие попрощались с Валерием Яковлевым дома — гроб стоял в кабинете. В полдень 10 октября тело было доставлено на катафалке во ВЛХИ. В шесть часов вечера началась гражданская панихида с речами Когана, Луначарского и Сакулина. За первой последовала вторая, на которой выступали преподаватели и студенты института. Читались стихи, звучал траурный марш Шопена, затем «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» и «Не плачьте над трупами павших бойцов...».

Продолжавшееся три дня прощание выразительно описал Шенгели в письме к Марии Шкапской 11 октября: «Умер Брюсов. Сегодня он еще лежит в зале Института, в сюртуке, узкоплечий, с запавшими глазами, сердитый и удивительно похожий на Плеханова. У тела почетный караул: писатели, профессора, госиздатовцы; я стоял два раза; во второй раз стало дурно: показалось (вероятно, тень от пролетевшей мухи черкнула), что он подмигнул мне; еле справился с собой. Вчера была грандиозная панихида». В тот же день он написал стихотворение «У гроба Брюсова»:

Тяжелый, серебряный, креповый свет
От крепом затянутых накрепко ламп;
В дубовом гробу костенеет поэт, —
И костью над гробом ломается ямб.
Как странно звучит панихида стихом,
Как странно и стих в панихиде звучит:
Кость мыши летучей, разрыв и разлом,
Крошится о крестик, нашитый на шит.
О, магия слова! Игрушка ночей.
Вот скулы камфарные вдвинуты в гроб.
А ну-ка, попробуй, под крепом лучей,
С крахмальной подушки поднять этот лоб!
И вьются летучею мышью слова

Под крепом затянутых накрепко ламп;
Крошится мышиною косточкой ямб;
В гробу — парафиновая голова.

«Лицо Брюсова в гробу было совершенно спокойно, — вспоминал Чулков. — Он как будто отдыхал от забот и дел. Никакого следа темных страстей не было в этом простом и тихом лице. Та детская улыбка, которая при жизни появлялась иногда на губах у этого сурового “мага”, очевидно, выражала сокровенное его души» (11).

Похороны были назначены на 12 октября. К 10 часам утра во дворе ВЛХИ начали собираться делегации учебных заведений, литературных обществ, театров: пришли Немирович-Данченко, Мейерхольд и Таиров. Кинохроника запечатлела, как из ворот гроб выносили Бухарин, Луначарский, Коган, Сакулин, Фурманов, Отто Шмидт. Процессия прошла по улицам Воровского (Поварской) и Герцена (Большой Никитской) — на здании английского посольства был приспущен флаг — затем по Тверскому бульвару к памятнику Пушкину, еще не перенесенному на нынешнее место. Здесь была первая остановка: поминальное слово сказал Сакулин. Вторая — у Моссовета, с балкона которого выступил Бухарин. Третья — у здания 1-го МГУ, с речами Пиксанова и Шмидта. Оттуда траурный кортеж направился к Новодевичьему кладбищу, по дороге остановившись у здания ГАХН — бывшей Поливановской гимназии.

Неожиданно из толпы раздался голос Андрея Белого, который позднее писал Иванову-Разумнику: «На похоронах Брюсова (я не участвовал в процессии, — лишь *“от себя самого”* проводил на тротуаре Брюсова вдоль Пречистенки) со мной случился инцидент; остановилась процессия под *“Академией”*; с балкона говорили речи; я случайно стоял под балконом; говорил *“нарком”*, потом говорил Коган, *“президент”* Академии (глупую пошлятину с *“великий”* Брюсов); а я тут вспомнил, что он стал писать в *“На посту”*, вспомнил, как 15 лет назад он ругательно ругал Брюсова; и вдруг — рассердился; когда Коган кончил, у меня вырвалось — среди торжественной, погребальной тишины — на всю улицу (как говорили *“отчетливо звонко”*, — я же думал, что — никто ничего не слышал): “А что вы говорили 15 лет назад?”. Тут из процессии раздалось увещание: “Борис Николаич, похороны не место дебатов”... Я поспешил скрыться, поняв, что я — на официальных похоронах Брюсова полез *“с суконным рылом в калашный ряд”*...» (12).

«Только в начале пятого часа вечера печальная процессия подошла к Новодевичьему монастырю. Над гробом склонялись знамена; венки и цветы окружили его. Почетный караул в последний раз занял свое место у праха усопшего. Последнее надгробное слово, последнее “прости” В.Я. Брюсову произнес нарком просвещения А.В. Луначарский. Гроб стал медленно опускаться в могилу, над которой склонились красные знамена» (13).

«Я не видел Брюсова в гробу, — вспоминал Шершеневич. — Меня тогда не было в Москве. Но я помню, что я, который без слез хоронил и отца, и маму, долго сидел и не мог постичь значения траурного объявления. Через несколько лет я встретил в театре Иоанну Матвеевну. [...] Я отвернулся. У меня не хватило силы подойти к ней. Я боялся расплакаться. [...] Я убежден, что, если бы было можно, я, придя на тот свет (а это путешествие необходимо), крепко пожал бы руку Валерию Яковлевичу, потому что все мои литературные успехи и неудачи, все достижения и ошибки намечены его словами, как, впрочем, и достижения почти всего моего поколения» (14).

2

«Великий маг» не хотел уходить. С его похоронами связан апокриф, записанный Александром Тришатовым. В одной семье на обед собралось большое общество. «Вокруг сидящих вертелась девочка, Машутка или Марфутка, только накануне приехавшая из деревни, очень непосредственная, чистая душа. В это время внимание всех привлекло какое-то оживление и движение за окнами. “Машутка или Марфутка, — сказал кто-то из сидевших женщин, — сбегай скорей, посмотри, что там на улице”. Через минуту влетела испуганная девочка: “Ой, тетеньки, — закричала она, — там гроб несут. А покойник не в гробу лежит, а идет перед гробом. Руки прижатые, а лицо черное, черное...” В это же время вошел еще кто-то из своих. “Николай Александрович, Коля, голубчик, — раздались взволнованные голоса, — объясни, пожалуйста, что там на улице!”. Вошедший ответил: “Там по нашему переулку сейчас проходит похоронная процессия. Хоронят Валерия Брюсова”» (15). Рассказывая Шкапской о панихиде, Шенгели заметил: «Уяснилось, что все, говорившие *de mortuis bene**, — и Луначарский, и Ко-

* О мертвом хорошо (*лат.*).

ган, и я, — движимы довременным инстинктом угодливости перед мертвецом, чей дух может навредить “оттуда”».

Двадцать шестого февраля 1925 года Петровская писала Ходасевичу: «Однажды в час великой тоски я написала ему (Брюсову — *В.М.*) письмо (недавно, в январе) и всунула в бумаги. Ну... звала прийти как-нибудь ночью... И странно, — забыла, что написала, на три дня. На 4-ую ночь он пришел, — то был полусон, полуявь. В моей комнате, сел за столом против кровати и смотрел на меня живой, прежний. И вдруг я вспомнила, что он умер... И завопила дико. Ах, с каким упреком он на меня посмотрел, прежде, чем скрылось видение. Звала же сама! Вот что сказал его взгляд» (16).

Легко объяснить это расстроенными нервами и воздействием наркотиков. Но как быть со свидетельством Остроумовой-Лебедевой, не склонной ни к наркотикам, ни к мистификациям. Вскоре после смерти Брюсова она пыталась восстановить по памяти и фотографиям уничтоженный портрет. «И здесь вот случилась очень странная и неожиданная вещь. Впереди меня, около самых моих ног, сейчас за кроватью, я вдруг увидела странную фигуру человека, у которого было очень, очень поразившее меня лицо. В первое мгновение я подумала, что вижу сатану. Глаза с тяжелыми-тяжелыми веками, черные, упорно-злые, не отрываясь, пристально смотрели на меня. В них были угрюмость и злоба. Длинный большой нос. Высоко отросшие волосы, когда-то подстриженные ежиком... И вдруг я узнала — да ведь это Брюсов! Но как он страшно изменился! Но он! он! Мне знакома каждая черточка этого лица, но какая перемена. Его уши с едва уловимой формой кошачьего уха, с угловато-острой верхней линией, стали как будто гораздо длиннее и острее. Все формы вытянулись и углубились. И рот. Какой странный рот. Какая широкая нижняя губа. Приглядываюсь и вижу, что это совсем не губа, а острый кончик языка. Он высунут и дразнит меня. Фигура стояла во весь рост, и лицо было чуть больше натуральной величины. Стояла, не шевелясь, совсем реальная, и пристально, злобно-насмешливо смотрела на меня. Так продолжалось две-три минуты. Потом — чик, и все пропало. Не таяло постепенно нет, а исчезло вдруг, сразу, точно захлопнулась какая-то заслонка. Я позвала свою племянницу, и просила принести мне бумагу и карандаш, и зарисовала по памяти эту фигуру. Но рисунок этот куда-то исчез. Пришел мой муж, и я ему об этом рассказала. И, хотя он скептик и материалист, настоял на том, чтобы я прекратила писать пор-

трет, говоря: “Оставь его в покое, не тревожь”». Видимо, вспомнил коктебельские беседы...

Третий «свидетель» — Садовской. Вычеркнутый из литературы и тяжело больной, он с 1929 года жил в Новодевичьем монастыре, в подвальном помещении одного из храмов. В дневнике, который он периодически принимался вести, есть запись: «Летом я в монастыре три раза видел тень Валерия Брюсова. Надо заметить, что на его могиле я так и не был. Однажды в полдень Надежда Ивановна (жена Садовского. — *В.М.*) повезла меня в кресле. Вдруг недалеко от колокольни вырастает спиной ко мне странное подобие человека, слегка трепещущее, словно огромный листок. Прележанные лохмотья, легкая плешь на маковке. Незнакомый поворачивает голову направо, и я узнаю профиль Валерия. Свернув за колокольню, он исчез. Другой раз сидел я в сумерках у могилы Гилярова-Платонова. Вижу — идет Брюсов с дамой, на нем парусинная блуза, шляпы опять нет. У дамы вместо лица пятно. Не была ли это О.М. Соловьева? Третий раз Брюсов днем, уже в шляпе и пиджаке, шел в обратном направлении, то есть от ворот к стене (к ограде нового кладбища, где его могила). И в эти оба раза он поворачивал ко мне профиль, но не взглянул на меня. Вид в эти разы он имел вполне приличный, но уже старческий» (17).

Как относиться к этим рассказам? Иоанна Матвеевна обратилась к Вячеславу Иванову с просьбой сложить «современную молитву», после того как он 19 октября посоветовал ей: «Молитесь за душу Валерия». 30 ноября он прислал из Рима стихи (18):

Как листья ветр, — у Вечности преддверий
Срывает Смерть, что украшало нас;
И в строгий, нелицеприятный час
Я о душе твоей молюсь, Валерий.
О вечной памяти — не здесь, в молве,
На поколений столбовой дороге, —
Но в ждущей нас недвижной синеве,
Но в искони помывшем нас Боге.

Рядом в его дневнике появилась запись: «Доломался, долгался, додурманился бедняга до макабрной пошлости “гражданских похорон”, с квартетом, казенными речами и почетной стражей “ответственных работников”» (19). Эти жестокие слова показывают, что двойственное отношение Иванова к Брюсову не изменилось, и как будто ставят под

сомнение искренность писем вдове друга. Допускает двойное прочтение и сама «молитва». Автор настоящей книги видит в ней примирение, хотя и окрашенное мотивами «Лиры и оси».

Дань памяти Брюсова отдали литераторы всех групп и направлений. Пролетарские: «Чуткий, он нас, пролетписателей (“Кузница”), пленял своим внимательным отношением как к нашей общей работе, так и к творчеству. Мы все его любили и любим» (Василий Александровский); «С его уходом мы стали культурно бедней. [...] Потеря — поистине непоправимая» (Владимир Кириллов). Крестьянские: Брюсов — «наш неугасаемый вечный маяк, зазывающий все наше молодое поколение все дальше и выше» (Петр Орешин); «В.Я. Брюсов был высок в полетах мысли, как и русский пролетариат. Поэтому он так близок нам, крестьянским писателям. Огонь, добытый им из земли, он передал революционной молодежи» (Григорий Деев-Хомяковский). Попутчики: «Для нашего поколения смерть Брюсова — смерть *учителя* в непосредственном значении слова» (Абрам Эфрос); «Мы живем сейчас вразброд, мы живем по углам, в каждом углу свои пророки и свои отщепенцы, но я верю, что над могилой Брюсова сойдутся все — и враги, и друзья, и друго-враги — в одном горестном сознании тяжелой потери» (Андрей Соболев) (20).

«Всё, что о нем писали (в эмиграции. — В.М.) после его кончины было окрашено фактом, что его бывшие приверженцы смотрели на него как на врага», — отметил Аарон Штейнберг (21). Гиппиус «похоронила» Брюсова еще в 1922 году: «Ввиду его данного положения в большевицкой России, я могу со спокойной совестью считать, что он умер для меня и для большинства русских». Парижские «Последние новости» уделили ему всего несколько строк — много меньше, чем смерти в те же дни Анатоля Франса. «Развенчанный король умирает в полном одиночестве, покинутый свитой, забытый учениками, — уверял Мочульский. — Его смерть не оставит пустоты в русской поэзии; для нового поколения Брюсов — громкое незначущее слово». Но и он признал, что покойный «был своего рода Ломоносовым, и вся современная русская поэзия многим ему обязана» (22). «Современные записки» поместили некролог, написанный князем Дмитрием Святополк-Мирским, — уважительный и холодный: Брюсов, по его словам, «узнал горечь ни с чем не сравнимую, — медленного высыхания творческих сил, медленного и мучительного *отставания* от жизни, — против

которого он боролся с упорством отчаяния, — горечь одиночества и ненужности. [...] Брюсов останется в Истории прежде всего как передовой боец за возрождение в России эстетической культуры и за возвращение поэзии принадлежащего ей по праву места. Великим поэтом он не был, но поэтом был, и лучшее из написанного им навсегда сохранит почетное и неотъемлемое место в сокровищнице русской поэзии» (23).

В следующей книжке появился очерк Ходасевича «Брюсов», который даже Айхенвальд посчитал «морально неприемлемым»: «На недавно закрывшуюся могилу поэта другой поэт, близкий к нему при жизни, возложил венок из крапивы и чертополоха» (24). В пражской «Воле России» (там же появился «Герой труда» Цветаевой) Сергей Постников указал на контраст двух текстов в «Современных записках», но в его позднейшем (7 мая 1942) письме к Иванову-Разумнику события описаны более резко: «Я написал, что Ходасевич, будучи интимно связан с Брюсовым, в свежую могилу его забил осиновый кол. Он страшно обиделся на меня, прекратил переписку и при разговоре с общими знакомыми заявил, что больше меня не знает» (25).

Игорь Северянин, которого в «Одержимом» зло задела Гиппиус, 16 октября 1924 года написал горькое стихотворение «На смерть Валерия Брюсова»:

Как жалки ваши шиканье и свист
Над мертвецом, бессмертием согретым:
Ведь этот «богохульный коммунист»
Был в творчестве божественным поэтом!
Поэт играет мыслью, как дитя, —
Ну, как в солдатики играют дети...
Он зачастую шутит, не шутя,
И это так легко понять в поэте...
Он умер оттого, что он, поэт,
Увидел музу в проститутском гриме.
Он умер оттого, что жизни нет,
А лишь марионетковое джимми...
Нас, избранных, все меньше с каждым днем:
Умолкнул Блок, не слышно Гумилева.
Когда ты с ним останешься вдвоем,
Прости его, самоубийца Львова...
Душа скорбит. Поникла голова.
Смотрю в окно: лес желт, поля нагие.
Как выглядит без Брюсова Москва?
Не так же ли, как без Москвы — Россия?

Напечатать эти стихи тогда оказалось невозможно ни в России, ни за ее пределами.

Уход Брюсова не осталась незамеченным в Европе, хотя его затмила кончина Анатоля Франса. Сообщения о смерти Валерия Яковлевича, полученные из Москвы по телеграфу и по радио, появлялись в газетах, начиная с 10 октября (26). Информация из советских источников перепечатывалась без проверки: например, ошибка «Известий», назвавших сборники «Русские символисты»... «Русскими самоцветами» (27), попала во французские, шведские и финские газеты (28). Одни цитировали известия из «Известий» дословно, другие расставляли свои акценты. Некоторые пытались сказать собственное слово о покойном поэте, как правые «Народни листы» в Праге и левый «Роботник» в Варшаве (29).

Думаю, Брюсову пришлось бы по душе слова академика Марра, выбитые на надгробии ученого в Александро-Невской лавре: «Человек, умирая индивидуально соматической смертью, не умирает общественно, переливаясь своим поведением и творчеством в живое окружение, общественность. Он продолжает жить в тех, кто остается в живых, если жил при жизни, не был мертв. И коллектив живой воскрешает мертвых».

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты Брюсова цит. без ссылок по следующим изданиям: стихотворения — *ПССП*. ТТ. I–IV; *СС*. ТТ. 1–3; *НН*; художественная проза — *СС*. ТТ. 4–5 (романы); *Брюсов В.* Повести и рассказы. М., 1988; драматические произведения — *Брюсов В.* Драматургия. М., 2016; статьи, рецензии, интервью о современной русской литературе — *Среди стихов*; статьи на политические темы — *Политкомментарии*; автобиографическая и мемуарная проза — *ИМЖ*; «Учители учителей» — *СС*. Т. 7; дневники — *Дневники*; стихотворные посвящения Брюсову — Венок Брюсову. Валерий Брюсов в поэзии его современников. М., 2013. Первые публикации указаны в примечаниях к этим изданиям. Данные о времени выхода и тиражах книг Брюсова: *Прижизненные издания*. Если заголовок рецензии совпадает с названием рецензируемой книги, в примечаниях приводятся только данные печатного издания, где она опубликована; фамилия или псевдоним автора указаны в основном тексте или в скобках после данных печатного издания.

Принятые сокращения:

Ашукин–Щербаков — *Ашукин Н., Щербаков Р.* Брюсов. М., 2006 (Жизнь замечательных людей. Вып. 1176 (976)).

Белый — *Белый А.* Критика. Эстетика. Теория Символизма: В 2 т. М., 1994.

Белый–Блок — *Белый А., Блок А.* Переписка 1903–1919 гг. М., 2001.

Белый–Метнер — Андрей Белый и Эмилий Метнер. Переписка 1902–1915: В 2 т. М., 2017.

Библиография — Библиография В.Я. Брюсова. 1884–1973. Ереван, 1976.

Блок–ПСС — *Блок А.А.* Полное собрание сочинений и писем: В 20 т. М., 1997–2014 (издание продолжается).

ВЛ — журнал «Вопросы литературы». Москва. 1957–2018 (издание продолжается).

Волошин — *Волошин М.* Собрание сочинений. Т. 6. Кн. 1. Проза 1906–1916. Очерки, статьи, рецензии. М., 2007.

Гумилев — *Гумилев Н.С.* Полное собрание сочинений: В 10 т. Т. 7. Статьи о литературе и искусстве. Обзоры. Рецензии. М., 2006.

Дневники — *Брюсов В.* Дневники. 1891–1910. М., 1927.

ЕРОПД — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома (с указанием года).

ИМЖ — *Брюсов В.* Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза. М., 1994.

ЛЖР — Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография. М., 2005.

ЛН — Литературное наследство. М., 1931–2018. Т. 1–105 (издание продолжается).

Материалы — *Брюсова И.М.* Материалы к биографии Валерия Брюсова // *Брюсов В.* Избранные стихи. М.; Л., 1933.

НБ – Неизвестный Брюсов. (Публикации и републикации). Ереван, 2006.

НЖ – журнал «Новый журнал». Нью-Йорк. 1942–2018 (издание продолжается).

НЛО – журнал «Новое литературное обозрение». Москва. 1992–2018 (издание продолжается).

НН – Брюсов В. Неизданное и несобранное. М., 1998.

Письма к Перцову – Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. 1894–1896 гг. М., 1927.

Письма 1914–1915 – Брюсов В. Письма неофициального корреспондента. Письма к жене (август 1914 – май 1915). М., 2015.

Политкомментарии – Брюсов В. В эту минуту истории. Политические комментарии 1902–1924. М., 2013.

ПССП – Брюсов В. Полное собрание сочинений и переводов: В 25 т. ТТ. I–IV, XII–XIII, XV, XXI. СПб. 1913–1914.

Прижизненные издания – Прижизненные издания Валерия Яковлевича Брюсова. Каталог. М., 1985.

РГБ – Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).

РМ – журнал «Русская мысль». Москва. 1880–1918.

РЛ – журнал «Русская литература». Л.; СПб. 1957–2018 (издание продолжается).

Сборник – «Брюсовские сборники» (Ставрополь) (с указанием года).

Среди стихов – Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. Манифесты, статьи, рецензии. М., 1990.

СС – Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. М., 1973–1975.

Чтения – сборники «Брюсовские чтения» (Ереван) (с указанием года).

Чуковский – Чуковский К. Собрание сочинений: В 15 т. М., 2001–2009.

Шершеневич – Шершеневич В. Великолепный очевидец. М., 2018.

К вступлению

1. Долгополов Л.К. Отзыв о работе: А.И. Гербстман и Б.Е. Казанков. Валерий Брюсов. Биография писателя. Пособие для учащихся. 1973. Машинопись (собрание В.Э. Молодякова).

2. Блок А. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 6. М.; Л., 1962. С. 175–176.

3. Брюсов В. Мой Пушкин. М., 1929. С. 207–208.

4. Тексты Ходасевича чит. без ссылок по: Ходасевич В. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. Некрополь. Воспоминания. Письма. М., 1997; Ходасевич В. Собрание сочинений: В 8 т. Т. 2. Критика и публицистика. 1905–1927. М., 2009.

5. Крейд В. Георгий Иванов. М., 2007. С. 161.

6. Воспоминания // Петровская Н. Разбитое зеркало. Проза. Мемуары. Критика. М., 2014. С. 438.

К главе первой

1. *Благоволина Ю.П.* Архив В.Я. Брюсова. (Материалы, поступившие после 1966 г.) // Записки Отдела рукописей / ГБЛ. Вып. 39. М., 1978. С. 69. Здесь (С. 69–86) дан подробный обзор материалов семьи Брюсовых, которые далее цит. без сносок.

2. *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л., 1933. С. 198–199; перепеч.: *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец. Л., 1989. С. 459–460.

3. «Я люблю большие дома»: Брюсов как рантье // *Соболев А.Л.* Тургенев и тигры. Из архивных разысканий о русской литературе первой половины XX века. М., 2017. С. 362–382 (цит. С. 369). Описания современников: Там же. С. 363–369.

4. Там же. С. 373. Цит.: *Точеный О.* Цветной бульвар, 22 // Литературная Россия. 1978. 26 мая. С. 24.

5. *Брюсов А.Я.* Страницы из семейного архива Брюсовых // Ежегодник Государственного исторического музея на 1962 год. М., 1964. С. 235.

6. *ЛН.* Т. 85. С. 114–164 / Публ. Ю.П. Благоволиной.

7. *Благоволина Ю.П.* Архив В.Я. Брюсова. С. 71.

8. Там же. С. 73.

9. Там же. С. 71–72.

10. *Брюсова И.М.* Странички воспоминаний // *Чтения-1962.* С. 305.

11. *Брюсов А.Я.* Страницы из семейного архива Брюсовых. С. 239–243.

12. *ЛН.* Т. 98. Кн. 1. С. 475.

13. *Материалы.* С. 119–120.

14. *Благоволина Ю.П.* Архив В.Я. Брюсова. С. 75–76.

15. *ЛН.* Т. 85. С. 83–87 / Публ. Вл.Б. Муравьева; Русский архив. 1903. № 3. С. 437–444.

16. *Ашукин–Щербаков.* С. 24.

17. *Голубева О.Д.* Автографы заговорили. М., 1991. С. 207.

18. *Аякс [Измайлов А.А.] У Валерия Брюсова* // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1910. 23 марта. С. 3; 24 марта. С. 4; с изменениями перепеч. под названием: Старый дом на Цветном бульваре // *Измайлов А.* Литературный Олимп. М., 1911. С. 387. Далее цит. по этой публикации.

19. Литературный распад. Критический сборник. Кн. 1. Изд. 2-е. СПб., 1908. С. 58–92.

20. *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 377.

21. *Лелевич Г.В.* Брюсов. М.; Л., 1926. С. 25, 51.

22. *Любецкий С.М.* Окрестности Москвы в историческом отношении, в современном их виде для выбора дач и гулянья. 2-е изд. М., 1880. С. 80.

23. В «Моей жизни» «Сережа Б.»; фамилия установлена по черновым записям: *ИМЖ.* С. 244.

24. Задуманное слово. 1884. № 16. С. 3.

К главе второй

1. Переписка А.А. Измайлова и В.Я. Брюсова (1909–1917) / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Э.К. Александровой // *Измайлов А.А. Переписка с современниками*. СПб., 2017. С. 167.

2. Тексты Брюсова до 1893 г. цит. по: *Гудзий Н.* Юношеское творчество Брюсова // *ЛН*. Т. 27/28. С. 198–238; *Ильинский А.* Литературное наследие Валерия Брюсова // Там же. С. 475–494.

3. *Конишина Е.Н.* Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве // *Записки Отдела рукописей / ГБЛ*. Вып. 25. М., 1962. С. 84–85.

4. *Станюкович В.К.* Воспоминания о В.Я. Брюсове / Публ. Н.С. Ашукина и Р.Л. Щербакова // *ЛН*. Т. 85. С. 718.

5. *ЛН*. Т. 27/28. С. 231. По одним данным, в Кабинет Брюсоведения переданы №№ 1, 2, 17 (*ЛН*. Т. 85. С. 752), по другим, №№ 4–8 (*Благоволина Ю.П.* Архив В.Я. Брюсова. С. 49).

6. *Материалы*. С. 122.

7. Певец города // *Гиляровский Вл.* Друзья и встречи. М., 1934. С. 74–84; перепеч.: *Гиляровский Вл.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 3. М., 1989. С. 329–330.

8. Вesy. 1908. № 11. С. 60–62, 59–60. Отклик на статью: Валерий Брюсов // *Чуковский К.* От Чехова до наших дней. СПб., 1908. С. 155–169; перепеч.: *Чуковский*. Т. 6. С. 151–163.

9. *ЛН*. Т. 85. С. 721–722.

10. Русь. 1907. 29 дек. С. 3; перепеч.: *Волошин*. С. 110–123.

11. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 376–377.

12. Там же. С. 377.

13. Подробнее Брюсов описал это в наброске 1895 г.: *Богомолов Н.А.* Вокруг «Серебряного века». М., 2010. С. 122–125.

14. Характеристика В.К. Станюковича: *ЛН*. Т. 85. С. 724.

15. *ЛН*. Т. 27/28. С. 233.

16. *Белый А.* На рубеже двух столетий. М., 1989. С. 260, 286–287.

17. *Иванушка Дурачок*. Московские декаденты // *Новое время*. 1894. 10 марта. С. 2.

18. *Белый А.* На рубеже двух столетий. С. 288.

19. Цит. по: Письма из рабочих тетрадей (1893–1899) / Вступ. ст., публ. и коммент. С.И. Гиндина // *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 558.

20. *ИМЖ*. С. 222–223.

21. *ЛН*. Т. 85. С. 73–83 / Публ. Вл.Б. Муравьева. Сочинения о Кантемире и Державине: *НБ*. С. 10–23; *Чтения-2002*. С. 397–404 / Публ. И.А. Атаджанян.

22. Цит. по: *Конишина Е.Н.* Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве. С. 94.

23. *ЛН*. Т. 27/28. С. 230.

24. Там же. С. 198.

25. *Андриенко А.* Мистицизм и вера / *Брюсов В.* Учитель // Современная драматургия. 2017. № 3. С. 210–222, 238–248.

26. *ЛН*. Т. 27/28. С. 210.

27. Там же. С. 201.

К главе третьей

1. РГБ. Ф. 386 (Брюсов В.Я.). Карт. 1. Ед. хр. 12/1, частично: Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного века». С. 93–118, 573–579 (примеч.); далее цит. без сносок.

2. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 517.

3. Остроумова-Лебедева А.П. Воспоминания о Валерии Брюсове (1929) // НН. С. 224–232 (цит. С. 230); далее цит. без сносок.

4. Венгерова З. Поэты-символисты во Франции // Вестник Европы. 1892. № 9. С. 115–143.

5. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 685. Заключенный в прямые скобки, текст в оригинале зачеркнут.

6. ЛН. Т. 85. С. 728.

7. Миропольский А.Л. Ведьма. Лествица. М., 1905. С. 107–109; Щербаков Р.Л. Неопознанные произведения В.Я. Брюсова // Чтения-2002. С. 393–394.

8. Измайлов А. Литературный Олимп. С. 395.

9. Всемирная иллюстрация. 1894. № 1319, 7 мая. С. 318 (Пл.Н. Краснов; подпись: Пл.К.).

10. Вестник Европы. 1894. № 8. С. 890–892 (подпись: Вл.С.); перепеч.: Соловьев Вл. Философия искусства и литературная критика. М., 1991. С. 508–509; далее его рецензии на «Русских символистов» цит. по этому изданию без сносок.

11. НЛО. 1999. № 39. С. 417 / [Публ. Н.А. Богомолова]. Другой вариант, без «полотенец» и «купален»: Емельянов-Коханский А.Н. «Обнаженные нервы». М., 1895. С. 120; перепеч.: НН. С. 10–11.

12. РГБ. Ф. 386. Карт. 1. Ед. хр. 12/1. Л. 20об, 23об, 30; приведены: ИМЖ. С. 250.

13. Из ранней верленианы Валерия Брюсова: Гиндин С.И. Перевод и критика — в портрете Верлена и после / Брюсов В.Я. Поль Верлен и его поэзия / Публ., подгот. текста и примеч. С.И. Гиндина // De visu. 1993. № 8(9). С. 24–47.

14. Не опубликованы и не изучены: РГБ. Ф. 386. Карт. 53. Ед. хр. 23–26.

15. Цит. по: Дронов В. Творческие искания Брюсова «конца века» // Валерий Брюсов. Проблемы мастерства. Ставрополь, 1983. С. 17.

16. Богомолов Н.А. Вокруг «Серебряного века». С. 130–164, 581–586 (примеч.).

17. Брюсов В. Заря времен. М., 2000. С. 27–28 / Публ. С.И. Гиндина.

18. Дронов В. Творческие искания Брюсова «конца века». С. 3.

19. Гудзий Н.К. Из истории раннего русского символизма. Московские сборники «Русские символисты» // Искусство. 1927. Т. III. Кн. IV. С. 180–218.

20. Загадка «А.Бронины» // НН. С. 233–235.

21. Подробнее: *Иванова Е., Щербаков Р.* Альманах В. Брюсова «Русские символисты»: судьбы участников // Блоковский сборник. XV. Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX–XX веков. Тарту, 2000. С. 33–76; далее цит. без сносок.

22. Орловский вестник. 1894. 14 апр. С. 1 (подпись: И.П.Б.); цит. по публикации переписки Брюсова и Бахтина, где установлено авторство Белоконого.

23. Переписка В.Я. Брюсова с Н.Н. Бахтиным (Н. Новичем) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Е.В. Ивановой и Р.Л. Щербакова // *РЛ*. 2004. № 4. С. 155–183.

24. *Гудзий Н.К.* Из истории раннего русского символизма. С. 191.

25. Цит. по: *Гудзий Н.К.* Из истории раннего русского символизма. С. 189; набросок ответа Брюсова: *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 621–622.

26. *Гиппиус Вл.* Александр Добролюбов // Русская литература XX века. М., 1914. Т. 1. С. 272–288; переизд.: Русская литература XX века. М., 2000. Т. 1. С. 259–263.

27. Цит. по: *Иванова Е.В.* Валерий Брюсов и Александр Добролюбов // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 40. 1981. № 3. С. 256.

28. *Гиндин С.И.* Творческий смысл брюсовской многоликости в сборниках «Русские символисты» // X Брюсовские чтения. Тезисы докладов. Ставрополь, 1994. С. 13–15.

29. Черновик письма Добролюбову (14 или 15 сентября 1895 г.) с коммент.: *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 631–635. *Арсений Г.* [Гурлянд И.Я.] Московские декаденты // Новости дня. 1894. 27 авг. С. 2; Там же. 29 авг. С. 3; перепеч.: *Среди стихов*. С. 36–41. Первый фельетон – интервью с Миропольским и Мартовым (фактически только со вторым) – не имеет отношения к Брюсову; второй – интервью с Брюсовым – подготовлен по его инициативе для исправления неточностей и недоразумений. «Заготовка» Брюсова: [Интервью о символизме] / Публ. [и коммент.] К. Локса // *ЛН*. Т. 27/28. С. 268.

30. *Ашукин–Щербаков*. С. 68.

31. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 650.

32. Письма А.Е. Ноздрина к Брюсову / Вступ. ст., публ. и коммент. С.Н. Тяпкина // *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 240–268; черновик 1 письма Брюсова: Там же. С. 673–677.

33. Там же. С. 692–693.

34. Мною готовится отдельное исследование о Емельянове-Коханском и его отношениях с Брюсовым.

35. Цит. по: *Дронов В.* Творческие искания Брюсова «конца века». С. 12–13.

36. *Гудзий Н.К.* Из истории раннего русского символизма. С. 217.

К главе четвертой

1. Ересь символизма и Валерий Брюсов // Слово. 1908. 19 янв. С. 2; с изменениями перепеч.: *Ардов Т.* Отражения личности. Критические опыты. СПб., 1909. С. 3–85 (См. с. 8–12, 15, 23). Далее цит. по этой публикации.

2. Север. 1894. № 21, 22 мая. Стб. 1058 (подпись: Кор. А-н).

3. *Гриневиц П.Ф. (Якубович П.Ф.).* Очерки русской поэзии. 2-е изд. СПб., 1911. С. 328–329.

4. *Рыкунина Ю.А.* «Книга дело – личное и, конечно, в России совершенно бескорыстное». Письма Владимира Гиппиуса Брюсову (1897–1912) // Тихие песни. Историко-литературный сборник к 80-летию Л.М. Турчинского. М., 2014. С. 321; далее цит. без сносок.

5. *ЛН.* Т. 85. С. 742.

6. Театральные и музыкальные известия // Московские ведомости. 1893. 30 нояб. С. 5; Театр и музыка // Русские ведомости. 1893. 1 декабря. С. 3.

7. *НН.* С. 107–110.

8. *Могилянский А.П.* Вопросы научной достоверности. Л., 1991. С. 34–36.

9. Современная драматургия. 2014. № 1. С. 222–235 / Публ. А.В. Андриенко.

10. Цит. по: *Тяпков С.Н.* Брюсов-пародист // *Чтения-1983.* С. 195.

11. *Верлен П.* Романсы без слов. М., 1894. С. III–IV.

12. Труд. 1895. № 2. С. 474–475 (подпись: Ап. К-ский).

13. Неделя. 1895. № 11, 12 марта. Стб. 351–354.

14. *Медведский К.* Символизм на русской почве // Наблюдатель. 1894. № 1. С. 314–333; *Н.Н. [Николаев Н.Н.]* Русские символисты и кое-что о символизме вообще // Русское обозрение. 1895. № 9. С. 362–372.

15. *Верлен П.* Собрание стихов. М., 1911. С. 7.

16. *Grossman J.D.* Valery Bryusov and the Riddle of Russian Decadence. Berkeley, 1985. P. 48.

17. *Гроссман Л.* Брюсов и французские символисты // Валерию Брюсову. М., 1924. С. 38–44; перепеч.: *Гроссман Л.* Литературные биографии. М., 2013. С. 497–504.

18. Черновики: *ЛН.* Т. 98. Кн. 1. С. 619–620, 640–643.

19. Русские символисты. Лето 1895 года. М., 1895. С. 27.

20. Письмо Станюковичу (30 ноября 1894 г.) // *ЛН.* Т. 85. С. 732–733; письмо П.П. Перцову (1 апреля 1895 г.) // *Письма к Перцову.* С. 17.

21. *Брюсов В.* Заря времен. С. 65–68 / Публ. С.И. Гиндина. Первое упоминание: *Григорьев М.С.* Валерий Брюсов в последние годы жизни // Прожектор. 1925. № 3. С. 19.

22. Тезисы реферата: *НЖ.* 2000. Кн. 218. С. 63–65 / Публ. В.Э. Молодякова.

23. Переписка с А.А. Курсинским, 1895–1916 / Вступ. ст. А.А. Козловского и Р.Л. Щербакова. Публ. и коммент. Р.Л. Щербакова // *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 269–361; Письма к М.В. Самыгину (1897–1903) / Вступ. ст., публ. и коммент. Н.А. Трифонова // Там же. С. 362–410.

24. Характеристика из неоконченного романа Брюсова «Декаденты» (Наше наследие. 1997. № 43/44. С. 130), где под настоящими фамилиями выведены Фриче, Курсинский и сам автор.

25. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 563 / Публ. Н.А. Трифонова.

26. Там же. С. 649.

27. Там же. С. 649–650, 656–661, 670–671.

28. Последние новости (Париж). 1936. 19 марта. С. 3; перепеч.: *Адамович Г.* «Последние новости». 1936–1940. СПб., 2018. С. 48.

29. *Брюсов А.Я.* Воспоминания о брате // *Чтения-1962*. С. 296–297.

30. Русское слово. 1911. 9 окт. С. 3; перепеч.: *Философов Д.В.* Критические статьи и заметки. 1899–1916. М., 2010. С. 417. Автокомментарии Брюсова: *Письма к Перцову*. С. 35; *Измайлов А.* Литературный Олимп. С. 395; *Иванова Е.В.* «Бледные ноги» в судьбе Валерия Брюсова // На рубеже двух столетий. Сборник в честь 60-летия А.В. Лаврова. М., 2009. С. 288–294.

31. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 678. Окончательный вариант, без указания автора и с сокращениями, опубликован Гурляндом в анонимной заметке: Мелочи // *Новости дня*. 1895. 7 сент. С. 3.

32. *Перцов П.* Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. М.; Л., 1933. С. 199–200; перепеч.: *Перцов П.П.* Литературные воспоминания. 1890–1902 гг. М., 2002. С. 161. Далее цит. по этой публикации.

33. *Михайловский Н.* Литература и жизнь // Русское богатство. 1895. № 10. С. 34–38 (2-й паг.); перепеч.: *Михайловский Н.* Опыты. Т. I. СПб., 1904. С. 172–175.

34. Северный вестник. 1895. № 9. С. 71–74 (2-й паг.); перепеч.: *Воынский А.* Борьба за идеализм. СПб., 1900. С. 406–409.

35. А.Б. [Богданович А.И.] Критические заметки. Русские декаденты и символисты // *Мир Божий*. 1895. № 10. С. 193–196.

36. Цит. по: *Щербаков Р.* Брюсов и Владимир Станюкович // *Сборник-1977*. С. 161–162.

37. *Джонни* [Станюкович К.М.] Письма «Знатного иностранца». Письмо третье / Пер. с рукописи К. Станюковича // *Русская мысль*. 1896. № 4. С. 225 (2-й паг.); перепеч.: *Станюкович К.* Собрание сочинений: в 13 т. Т. 11. Письма знатного иностранца. М., 1898. С. 424.

38. *Письма к Перцову*. С. 44; *Воынский А.* Указ. соч. С. 413.

39. *Дронов В.* Творческие искания Брюсова «конца века». С. 5–6.

40. *ЛН*. Т. 27/28. С. 269–274 / Публ. К.Г. Локса.

41. *Паниян Ю.М.* Ранние критические статьи В. Брюсова //

Чтения-1963. С. 272–277. О замысле 1894 г. «Русские символисты. Характеристики и наблюдения», тоже не вышедшем из стадии набросков: *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 709.

42. Цит. по: *Дронов В.* Творческие искания Брюсова «конца века». С. 8–9.

43. *Гречишкин С.С.* Ранняя проза Брюсова // РЛ. 1980. № 2. С. 205.

44. Один из вариантов: «Бледны московские улицы...». Незавершенный роман В.Я. Брюсова / Подгот. текстов С.И. Гиндина и А.В. Маньковского. Вступ. и коммент. А.В. Маньковского // *Наше наследие*. 1997. № 43/44. С. 121–135.

45. В книгу предполагалось включить рассказы «Клеон и Антоний», «Трижды Ангел», «Август и Вергилий»: *Ашукин–Щербаков*. С. 70.

46. Очерк истории русского стиха и рифмы // *Вопросы языкознания*. 1970. № 2. С. 104–109; Из «Истории русской лирики» // *Русская речь*. 1972. С. 48–51. Обе публикации подготовлены С.И. Гиндиным.

47. Автохарактеристика из письма М.В. Самыгину (15 июля 1897 г.): *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 376.

48. *Измайлов А.* Помрачение божков и новые кумиры. Книга о новых веяниях в литературе. М., 1910. С. 14.

К главе пятой

1. *Письма к Перцову*. С. 37–38.

2. Речь. 1913. 22 июля. С. 2; перепеч.: *Философов Д.В.* Указ. соч. С. 446.

3. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 278–302.

4. *Максимов Д.* Поэзия Валерия Брюсова. Л., 1940. С. 57.

5. Цит. по: *Дронов В.* Творческие искания Брюсова «конца века». С. 19.

6. В пересказе Брюсова: *Письма к Перцову*. С. 38.

7. *Эллис [Кобылинский Л.Л.]* Русские символисты. М., 1910. С. 132; перепеч.: *Эллис*. Русские символисты. Томск, 1998. С. 114. Далее цит. по этой публикации.

8. Цит. по: *Тяпков С.Н.* Брюсов в пародиях современников // *Творчество писателя и литературный процесс*. Иваново, 1986. С. 82.

9. *Дронов В.* Творческие искания Брюсова «конца века». С. 29.

10. *Максимов Д.* Поэзия Валерия Брюсова. С. 34, 50–52, 56–59, 109, 113.

11. *ЛН*. Т. 85. С. 721.

12. *Максимов Д.* Поэзия Валерия Брюсова. С. 111.

13. Екатеринбургская неделя. 1895. № 39, 1 окт. С. 760 (подпись: Энъ). Сообщил А.В. Бурлешин.

14. *Эллис*. Указ. соч. С. 120.

15. Цит. по: *Щербаков Р.* Брюсов и Владимир Станюкович. С. 162.

16. ЛН. Т. 85. С. 738.
17. Там же. С. 737; *Письма к Перцову*. С. 39–40.
18. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 709; купюра в публикации.
19. СС. Т. 1. С. 574.
20. *Перцов П.П.* Указ. соч. С. 130.
21. Молодая поэзия. СПб., 1895. С. 1.
22. *Письма к Перцову*. С. 7.
23. Там же. С. 7–8; *Сапаров К.С.* «Молодая поэзия» в оценке В.Я. Брюсова. (К вопросу об эстетической позиции Брюсова 1895 года) // *Чтения-1980*. С. 131–137.
24. Цит. по: *Перцов П.П.* Указ. соч. С. 135.
25. *Письма к Перцову*. С. 37, 40.
26. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 691–698.
27. Там же. С. 695.
28. *Письма к Перцову*. С. 53.
29. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 673; СС. Т. 1. С. 571 (примеч.).
30. *Чернов В.* Эрос и мечта в поэзии Валерия Брюсова // *Заветы*. 1913. № 12. С. 51–74 (2-й паг.).
31. *Письма к Перцову*. С. 55–56.
32. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 698–700.
33. *Мочульский К.* Валерий Брюсов. Париж, 1962. С. 37.
34. Валерий Брюсов. Великий мастер русского Возрождения // *Возрождение* (Париж). 1965. № 163, июль. С. 52–72; перепеч.: *Ильин В.* Эссе о русской культуре. СПб., 1997. С. 243.
35. *Элиис*. Указ. соч. С. 120.
36. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 309.
37. Там же. С. 309–310.
38. ЛН. Т. 85. С. 740. 19 июля повторено Перцову с ремаркой: «Мне обидно за природу»: *Письма к Перцову*. С. 77.
39. ЛН. Т. 27/28. С. 230–231; *Максимов Д.* Поэзия Валерия Брюсова. С. 38.
40. *Дронов В.С.*: 1) *Пятигорское лето Валерия Брюсова* // *Литература и Кавказ*. Ставрополь, 1972. С. 158–177; 2) Из неопубликованных страниц дневника Брюсова // *В. Брюсов и литература конца XIX – XX века*. Ставрополь, 1979. С. 107–124; далее цит. без сносок.
41. Брюсов о Тургеневе // *Лавров А.В., Гречишкин С.С.* Символисты вблизи. Статьи и публикации. СПб., 2004. С. 148–172.
42. Письма Валерия Брюсова к Марии Павловне Ширяевой / Публ. В.С. Дронова // *Русская литература и Кавказ*. Ставрополь, 1974. С. 88–110 (письма из Пятигорска: С. 93–104).
43. *Браиловский А.* «Три завета». Знакомство с Валерием Брюсовым // *Новое русское слово*. 1949. 26 июня; перепеч.: Даугава. 1997. № 3. С. 100–104 / Публ. Р.Д. Тименчика.
44. *Сабьянова О.* Письмо Александра Браиловского Брюсову // *Сборник-1977*. С. 189–193.
45. Цит. по: *Прищепенко В.* «Как там у вас в Вологде?» // *Красный Север* (Вологда). 1988. 25 дек. С. 4.

46. К 1896 году относятся замыслы сборников «*Novelle simplice*» («Простенькие рассказы») и «Рассказы ужаса». Известны два рассказа, относящиеся к первому замыслу: Под старым мостом // Брюсов В. Повести и рассказы. М., 1983. С. 19–31 / Публ. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова; Голубые глаза и черные волосы // *ЛН*. С. 111–115. План второй книги: *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 715; по предположению С.И. Гиндина, к нему относятся незавершенные рассказы «Он – мимоходом» и «Это история моего возрождения».

47. Ашукин–Щербаков. С. 104–105; квадратные скобки поставлены Брюсовым. Опускаю указания, связанные с корректурой и рассылкой экземпляров.

48. Цит. по: Благоволина Ю.П. Архив В.Я. Брюсова. С. 80–81.

49. Дронов В.С. К творческой истории «*Me eum esse*» // *Чтения-1971*. С. 82. Посланная Лангу рукопись: *РГАЛИ*. Ф. 56. Оп. 2. Ед.хр. 10.

50. Grossman J.D. Указ. соч. Р. 133–136.

51. Этот вариант книги не опубликован: *РГБ*. Ф. 386. Карт. 5. Ед. хр.1.

52. Цит. по: *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 709.

53. Мотовилова С.Н. Минувшее // *Новый мир*. 1963. № 12. С. 82–86.

54. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 711.

55. Черновики писем к Павловской в публикации С.И. Гиндина «Письма из рабочих тетрадей» (*ЛН*. Т. 98. Кн. 1); неопубликованные письма Павловской цит. по примечаниям к ней.

56. Черновик письма Бальмонту (12–14 марта 1897 г.): *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 733.

57. Ардов Т. Указ. соч. С. 58.

58. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 737.

59. Записи от 6–8 сентября: *СС*. Т. 1. С. 599 (примеч.).

60. Письмо Самыгину (8–9 сентября 1897 г.): *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 384.

61. Запись от 9 декабря 1897: Ашукин–Щербаков. С. 119.

62. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 770.

63. *Материалы*. С. 125–126.

64. Брюсова И.М. Странички воспоминаний. С. 302; далее цит. без сносок.

65. Ашукин–Щербаков. С. 111.

66. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 749.

67. Там же. С. 748–750; *Материалы*. С. 126.

68. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 378–380; впервые: *Материалы*. С. 126–128.

К главе шестой

1. Одинокий // Сегодня. Утр. вып. (Рига). 1927. 10 авг. С. 2–3; перепеч.: Пильский П. Затуманившийся мир. Рига, 1929. С. 48. Далее цит. по этой публикации.

2. Эллис. Указ. соч. С. 110.
3. Пильский П. Указ. соч. С. 53.
4. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 174.
5. Письма Федора Сологуба к В.Я. Брюсову // *Соболев А.Л.* Летейская библиотека. Очерки и материалы по истории русской литературы XX века. II. М., 2013. С. 323–324. Черновики письма Брюсова: ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 710–711; СС. Т. 6. С. 612 (примеч.); отправленный текст: *Брюсов В.Я.* Письма к Ф.К. Сологубу / Публ. В.Н. Орлова и И.Г. Ямпольского // *ЕРОПД* на 1973 год. Л., 1976. С. 105.
6. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 329–330.
7. Цит. по: *Дневники*. С. 156.
8. *Поступаев Ф.Е.* У Л.Н. Толстого // Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник / Собрал и ред. Н.Н. Гусев. М.; Л., 1928. С. 240.
9. «Быть может, раньше “Corona” (будущий сборник «*Tertia vigilia*». — В.М.) и раньше I-го тома “Истории Лирики” я напишу “Философские опыты”. (Содержание: I. Лейбниц. II. Эдгар По. III. Метерлинк. IV. Идеализм. V. Основание всякой метафизики. VI. Любовь (Двое). VII. Христианство)» (23 октября 1897). Ни один из планов не был реализован, кроме университетского сочинения «Теория познания у Лейбница» (*РГБ. Ф. 386. Карт. 4. Ед. хр. 28*). Другие работы этого времени: роман «Гора Звезды» (Фантастика. 73–74. М., 1975. С. 191–236 / Публ. Р.Л. Щербакова); статья «Мировоззрение Баратынского» (см.: *Тиханчева Е.П.* Брюсов о русских поэтах XIX века. Ереван, 1973. С. 46–88); наброски «Учебника стихотворства» (*РГБ. Ф. 386. Карт. 3. Ед. хр. 20*), из замысла которого выросла «Наука о стихе» (1919).
10. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 602–603.
11. Цит. по: *Благоволина Ю.П.* Архив В.Я. Брюсова. С. 80.
12. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 775–785; в комментариях фрагменты из писем Добролюбова Брюсову.
13. Там же. С. 395–398.
14. Письма Самыгину и Бальмонт: Там же. С. 388–393, 764–767.
15. *Материалы*. С. 129.
16. Цит. по: *Лавров А.В., Гречишкин С.С.* Указ. соч. С. 98.
17. О смерти, воскресении и воскрешении. (Письмо в ответ на вопрос) // Вселенское дело. Вып. 1. Одесса, 1914. С. 49; цит. по: *Федоров Н.Ф.* Сочинения. М., 1982. С. 31.
18. *Гиппиус З.* Одержимый. О Брюсове // *Окно* (Париж). 1923, № 2. С. 199–234; перепеч.: *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. Живые лица. М., 1991. С. 251–276 (цит. С. 254–255).
19. *Прижизненные издания*. С. 31 (инскрипт); Север. 1899. № 4, 24 января. С. 3 (подпись: А-н Кор.).
20. Вопросы философии и психологии. 1899. № 1. С. 54–55.
21. Pro domo sua / *Ред.* // Петербургская жизнь. 1892. № 12 (39), 21 мая. С. 129.

22. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 417.
23. Собрание С.Л. Маркова. СПб., 2007. С. 58.
24. *ЛН*. Т. 85. С. 746.
25. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 342.
26. Ответ Брюсова (26 марта 1899): Литературный критик. 1939. № 10/11. С. 235 / Публ. А.Г. Островского.
27. Переписка [Бунина] с В.Я. Брюсовым. 1895–1915 / Вступ. ст. и публ. А.А. Нинова // *ЛН*. Т. 84. Кн. 1. С. 440–444; дополнение: Там же. Кн. 2. С. 515–516.
28. Поэт и ученый. (Воспоминания о В.Я. Брюсове В.Ф. Саводника и письма к нему В.Я. Брюсова / Публ. Е.М. Беия // Встречи с прошлым. Вып. 6. М., 1988. С. 99–115.
29. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 795–796.
30. *Розанов И.Н.* Встречи с Брюсовым / Предисл. и публ. Е.А. Кречетовой // *ЛН*. Т. 85. С. 762–766.
31. *Коневской И.* Стихотворения и поэмы. СПб.; М., 2008; *Лавров А.В.* Символисты и другие. Статьи. Разыскания. Публикации. М., 2015; *Гроссман Дж.* Иван Коневской, «мудрое дитя» русского символизма. СПб., 2014.
32. Переписка с Ив. Коневским (1898–1901) / Вступ. ст. А.В. Лаврова. Публ. и коммент. А.В. Лаврова, В.Я. Мордерер, А.Е. Парниса // *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 424–554.
33. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 533.
34. *Лавров А.В.* Русские символисты. Этюды и разыскания. М., 2007. С. 85.
35. Книга о русских поэтах последнего десятилетия / Под ред. М. Гофмана. СПб., <1909>. С. 104.
36. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 427.
37. *Ашукин–Щербаков*. С. 132.
38. *ЛН*. Т. 84. Кн. 1. С. 445.
39. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 347.
40. Литературное приложение к «Торгово-промышленной газете». 1900. № 8, 20 февр. С. 4.
41. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 6.

К главе седьмой

1. *Андреева-Бальмонт Е.А.* Воспоминания. М., 1997. С. 338.
2. *Материалы*. С. 131.
3. *Old Gentleman*. [Амфитеатров А.В.] Литературный альбом // Россия. 1901. 25 июня. С. 2.
4. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 27.
5. «Монна Ванна» и г. Дорошевич // Новый путь. 1903. № 2. С. 191–192 (подпись: Москвитянин).
6. Письма В.Я. Брюсова к Альберто Мартини / Публ. [и предисл.] М. Морабито // *РЛ*. 2015. № 3. С. 203–215.
7. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 457–469, 475–477.
8. Там же. С. 479–486.

9. Мир искусства. 1900. № 11/12. Художественная хроника. С. 242 (отдельная пагинация).
10. Скорпион – Весы. Каталог. № 7. <М., 1907>. С. 11–12; *Гречишкин С.С.* Архив С.А. Полякова // *ЕРОПД* на 1978 г. Л., 1980. С. 5–9.
11. *Бунин И.А.* Собрание сочинений. Т. 9. С. 291.
12. Мир искусства. 1902. № 4. Художественная хроника. С. 80–81 (отдельная пагинация); перепеч.: *Философов Д.В.* Цит. соч. С. 39.
13. *НЖ.* 2000. Кн. 218. С. 73 / Публ. В.Э. Молодякова.
14. «Письмо Юргису, Ореусу, Бальмонту и Шестеркиной (в Москву, на Сайму, в Оксфорд, в Бахчисарай из Ревеля): *Ниннов А.А.* Так жили поэты. Документальное повествование // *Нева.* 1978. № 6. С. 124–125; *ЛН.* Т. 98. Кн. 1. С. 501, 504–506 (Коневскому); *ЛН.* Т. 85. С. 623–627 (Шестеркиной); *Русская литература и Кавказ.* С. 109–110 (Ширяевой).
15. *ЛН.* Т. 98. Кн. 1. С. 404–405.
16. Там же. С. 515–519.
17. Колдовство Полюса / «Мой сон, и новый, и всегдашний...»: эзотерические искания Валерия Брюсова // *Молодяков В.* Загадки Серебряного века. М., 2009. С. 139–147.
18. *Горький М.* Литературные заметки. Стихи К. Бальмонта и В. Брюсова // *Нижегородский листок.* 1900. 14 нояб. С. 2; перепеч.: *Горький М.* Несобранные литературно-критические статьи. М., 1941. С. 43–50.
19. Русское богатство. 1901. № 3. С. 28–30 (2-й паг.) (без подписи); перепеч.: *Гриневич П.Ф.* Указ. соч. С. 328–331.
20. *Саводник В.* Современная русская лирика // *Русский вестник.* 1901. № 9. С. 127–136.
21. Переписка Брюсова с Ясинским цит. по: *Ясинская З.И.* В. Брюсов и И. Ясинский // *Чтения-1971.* С. 402–437.
22. Ежемесячные сочинения. 1900. № 12. С. 399–400; Новый поэт // Ежемесячные сочинения. 1901. № 1. С. 35–41; перепеч.: *Чуносков М.* [Ясинский И.И.] Критические статьи. СПб., 1904. С. 116–125.
23. Пушкин и Баратынский // *Русский архив.* 1901. № 1. С. 158–164 (В.Б.); Старое о г-не Щеглове // Там же. № 12. С. 574–579.
24. Цит. по: *Ясинская З.И.* В. Брюсов и И. Ясинский. С. 411.
25. *Эллис.* Указ. соч. С. 113, 131.
26. *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 39–40.
27. *ЛН.* Т. 84. Кн. 1. С. 455–458.
28. Там же. С. 466; *Бунин И.А.* Письма 1905–1919 годов. М., 2007. С. 244, 635.
29. *Бунин И.А.* Письма 1905–1919 годов. С. 246–247.
30. И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. I. М., 2004. С. 415–416.
31. *ЛН.* Т. 85. Кн. 1. С. 657.

32. Горький М. Письма к Валерию Брюсову / Предисл. Вяч. Полонского / Примеч. Н. Ашукина // Печать и революция. 1928. № 5. С. 54–66; Ильинский А. Горький и Брюсов. Из истории личных отношений // ЛН. Т. 27/28. С. 639–643.

33. Цит. по: Перцов П.П. Указ. соч. С. 304.

34. Али [Эфрос Н.Е.] Юродивые // Новости дня. 1901. 24 апр. С. 3; Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1901. 27 апр. С. 2.

35. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем. Письма. Т. 9. М., 1980. С. 228; ср. письмо Бунину (20 апреля 1901 г.): Там же. Т. 10. М., 1981. С. 13. Ответы Бунина: ЛН. Т. 68. С. 410–411.

36. Гиппиус З. Критика любви. Декаденты-поэты // Мир искусства. 1901. № 1. С. 28–34 (1-й паг.); перепеч.: Гиппиус З. Дневники. Т. 1. М., 1999. С. 190–200.

37. Материалы из собрания В.Я. Брюсова. Объяснение собирателя // Известия Литературно-художественного кружка. Вып. 13. Март 1916. С. 37–39; перепеч.: НБ. С. 25–27.

38. Ашукин–Щербаков. С. 169–170; Марков А. Магия старой книги. Записки библиофила. М., 2004. С. 175–179; ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 236–240.

39. Мир искусства. 1902. № 4. Художественная хроника. С. 80–81 (отдельная пагинация); перепеч.: Философов Д.В. Указ. соч. С. 38–39.

40. Бакст Л. Моя душа открыта. Кн. 2. Письма. М., 2016. С. 36–37, 60–63, 68. Рисунок обложки: С. 37.

41. Там же. С. 269–270.

42. Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1901. 27 апр. С. 2.

43. Опять декадентщина! // Южный край (Харьков). 1901. 1 июня. С. 3.

44. Ежемесячные сочинения. 1901. № 6. С. 152–154 (без подписи).

45. Новый альманах // Русский вестник. 1901. № 5. С. 212–213.

46. Новые направления в искусстве // Русский листок. 1901. 24 апр. С. 2.

47. Грецишкин С.С. Новеллистика Брюсова 1900-х годов // РЛ. 1981. № 4. С. 150. Выборочная перепечатка: Публикации В. Брюсова в газете «Русский листок» / Вступ. заметка, публ. и примеч. Э.С. Даниелян // НБ. С. 38–90.

48. Перевод и комментарий: Ильёв С.П. Обзоры русской литературы Валерия Брюсова для английского журнала «The Athenaeum» (1901–1906) // Чтения-1980. С. 275–349.

49. ЛН. Т. 84. Кн. 1. С. 460.

50. Письма к А.А. Шестеркиной. 1900–1913 / Предисл. и публ. В.Г. Дмитриева // ЛН. Т. 85. С. 622–656.

51. Там же. С. 647.

52. Дж. Гроссман отметила хронологическое совпадение меж-

ду рождением Нины и написанием стих. Брюсова «Habet Illa in Alvo» («Она имеет во чреве», лат.): Grossman J.D. Указ. соч. Р. 232.

53. Ашукин Н. Заметки о виденном и слышанном / Публ. и коммент. Е.А. Муравьевой // *НЛО*. 1998. № 33. С. 250.

54. *ЛН*. Т. 85. С. 622.

55. Там же. С. 645.

56. Цит. по: Лавров А.В. Символисты и другие. С. 131.

57. Письмо Шестеркиной (15 августа 1901 г.): *ЛН*. Т. 85. С. 646–647.

58. Из «Воспоминаний о Валерии Брюсове» Н.Я. Брюсовой / Публ. В.Я. Мордерер // *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 553; Петровская Н. Указ. соч. С. 435.

К главе восьмой

1. Свидетельство И.М. Брюсовой: Ашукин–Щербаков. С. 213.

2. Перцов П.П. Указ. соч. С. 162–163.

3. Там же. С. 308.

4. Цит. по: Молодяков В. Bibliophilica. М., 2008. С. 137–138.

5. Цит. по: Молодяков В.Э. Валерий Брюсов. Биография. СПб., 2010. С. 227.

6. В основу статьи положен доклад, прочитанный 7 января 1903 г. в Литературно-художественном кружке и воспринятый как «эстетский»: Москвитянин [Брюсов В.Я.] Фетовский вечер и фетовский скандал // *Новый путь*. 1903. № 2. С. 189–191.

7. Переписка Мережковских с Брюсовым началась с подготовки этого приезда: Переписка З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского, Д.В. Филофова с В.Я. Брюсовым / Публ. и подгот. текста М.В. Толмачева / Вступ. заметка и коммент. Т.В. Воронцовой // *Российский литературоведческий журнал*. 1994. № 5/6. С. 276–322 (1901–1903); 1996. № 7. С. 200–226 (1904–1906); *Литературоведческий журнал* // 2001. № 15. С. 124–260 (1906–1909); 2005. № 19. С. 165–257 (1910–1919); *ЛН*. Т. 85. С. 686–702 / Публ. А.Н. Дубовикова; Лавров А.В. «Забытые» фрагменты переписки Брюсова и Мережковского // *От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова*. М., 2011. С. 198–223. Далее цит. без сносок, с указанием автора и даты письма.

8. Вышло 4 номера (январь 1902 г.), и Брюсов ничего не успел в них напечатать: Из переписки Валерия Брюсова и Акима Волынского / Вступ. заметка, публ. и примеч. М.В. Покачалова и Л.А. Сугай // *НБ*. С. 373–386.

9. Брюсов В. Письма к П.П. Перцову // *Русский современник*. 1924. № 4. С. 231.

10. *Новый путь*. 1903. № 1. Хроника. С. 1 (отдельная пагинация).

11. «Порой они (черновики. — В.М.) написаны так тщательно, что недоумеваешь — черновик это или собственноручно скопиро-

ванное письмо, или письмо неотправленное? Их варианты часто очень близки друг к другу, порою же значительно расходятся, и, не имея оригинала письма, отправленного адресату, или его ответа, затрудняешься решить, какой текст читал адресат»: *Коншина Е.Н.* Переписка и документы В.Я. Брюсова в его архиве // Записки Отдела рукописей / ГБЛ. Вып. 27. М., 1965. С. 7.

12. *Белый А.* Начало века. М., 1990. С. 189.

13. Письмо Перцову (не позднее 26 марта 1902 г.): Валерий Брюсов и «Новый путь» / Публ. [и предисл.] Д. Максимова // *ЛН*. Т. 27/28. С. 282.

14. *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. Живые лица. С. 252.

15. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 117.

16. Избравшая Брюсова с лета 1902 г. «наперсником своих тайн» (*ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 64; упомянута в «дон-жуанском списке» с датой «1904–1905»: *ИМЖ*. С. 223), Образцова 4 сентября 1912 г. (через десять лет!) писала ему, пытаясь получить долг: «Очевидно, они желают мои деньги зажить или, того хуже, считают это платой за любовь. В таком случае – дешевая любовь была. Деньги мной были даны на издание книг обоих супругов»: *Белый А.* Начало века. С. 680 (примеч.).

17. *ЛН*. Т. 27/28. С. 281.

18. Частично перепеч.: Советские писатели об Италии. М., 1986. С. 41–45.

19. *ЛН*. Т. 27/28. С. 284–285.

20. Валерий Брюсов и Людмила Вилькина. Переписка / Подгот. текста А.Н. Демьяновой, Н.В. Котрелева и А.В. Лаврова. Публ. и коммент. Н.В. Котрелева и А.В. Лаврова // Лица. Биографический альманах. 10. СПб., 2004. С. 279–407 (цит. С. 286–287).

21. Там же. С. 288.

22. Письма Валерия Брюсова // *Чуковский К.* Репин, Горький, Маяковский, Брюсов. М., 1940. С. 197; перепеч.: Переписка К.И. Чуковского и В.Я. Брюсова / Вступ. заметка., публ. и коммент. А.В. Лаврова // Контекст-2008. М., 2009. С. 331. Далее цит. по этой публикации.

23. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 152.

24. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 165; *ЛН*. Т. 85. С. 362.

25. *Философов Д.В.* Указ. соч. С. 61.

26. *Белый А.* Начало века. С. 172–175.

27. Цит. по: *Перцов П.П.* Указ. соч. С. 320.

28. *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900-е годы. Жизнь и литературная деятельность. М., 1995. С. 40.

29. Там же. С. 45.

30. Там же. С. 140. Ср. реакцию Э.К. Метнера («визитные карточки Единочиха и Единорога») и объяснения Белого («Принимайте карточки как озорство [...] не имеющее ничего серьезного по существу, как “странные” сочетанья букв»): *Белый-Метнер*. Т. 1. С. 356, 362.

31. *Лавров А.В.* Юношеские дневниковые заметки Андрея Бе-

лого // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник 1979. Л., 1980. С. 123.

32. Переписка с Андреем Белым. 1902–1912 / Вступ. ст. и публ. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова // *ЛН*. Т. 85. С. 327–427 (перечисленные сюжеты: С. 350–370).

33. *Белый А.* Начало века. С. 178, 179, 186.

34. *Поярков Н.* Поэты наших дней. СПб., 1907. С. 59–60.

35. *Чулков Г.* Годы странствий. М., 1930. С. 91–92, 100–103; перепеч.: *Чулков Г.* Годы странствий. М., 1999. С. 109–110, 117–120. Далее цит. по этой публикации.

36. Переписка с Вячеславом Ивановым. 1903–1923 / Предисл. и публ. С.С. Гречишкина, Н.В. Котрелева, А.В. Лаврова // *ЛН*. Т. 85. С. 428–545; Вячеслав Иванов и Валерий Брюсов. Неизданная переписка / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А.Л. Соболева // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 2. СПб., 2016. С. 277–385.

37. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 76.

38. Письмо Замятниной (24 апреля (7 мая) 1903 г.) цит. по: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. Документальные хроники. М., 2009. С. 77.

39. *ЛН*. Т. 85. С. 360.

40. *Белый А.* Начало века. С. 255.

41. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 229.

42. *Петровская Н.* Указ. соч. С. 411.

43. *ЛН*. Т. 85. С. 280.

44. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 230.

45. *Блок А.А. – Менделеева-Блок Л.Д.* Переписка 1901–1917. М., 2017. С. 77. Подробнее см. в предисловии З.Г. Минц: Переписка Блока с В.Я. Брюсовым (1903–1919) / Вступ. ст. З.Г. Минц и Ю.П. Благоволитой. Публ. и коммент. Ю.П. Благоволитой // *ЛН*. Т. 92. Кн. 1. С. 466–524.

46. Письмо Блоку (3 декабря 1903 г.): *ЛН*. Т. 92. Кн. 1. С. 485–486.

47. *Антон Крайний* [Гиппиус З.Н.] Два зверя // Новый путь. 1903. № 6. С. 227–232; перепеч.: *Гиппиус З.* Дневники. Т. 1. С. 212–217.

48. Подробнее в письмах Блоку (*Белый–Блок*. С. 118–119) и Метнеру (*Белый–Метнер*. Т. 1. С. 389, 397–398).

49. *ЛН*. Т. 85. С. 371–372.

50. Экземпляр первого варианта в Музее книги РГБ: *Прижизненные издания*. С. 36.

51. *Жирмунский В.* Валерий Брюсов и наследие Пушкина. Опыт сравнительно-стилистического исследования. Пб., 1922. С. 7, 50.

52. *И.* [Игнатов И.Н.] Литературные отголоски // Русские ведомости. 1903. 25 нояб. С. 4–5.

53. *Аббадонна* [Амфитеатров А.В.] Отклики // Русь. 1904. 15 мая. С. 2; *Боцяновский В.* Критические наброски // Русь. 1904. 16 нояб. С. 2.

54. Вестник Европы. 1904. № 3. С. 376–381 (подпись: Евг. Л.); письмо Бальмонта Брюсову (4 марта 1904 г.): *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 155.

55. *Брюсов В.* Письма Е. Ляцкому / Предисл. и примеч. И. Ямпольского // *Новый мир*. 1932. № 2. С. 190–196.

56. *Измайлов А.* Литературные заметки. (Новая более определенная фаза декадентства. Книга стихов В. Брюсова «*Ugbi et orbi*») // Новая иллюстрация. Приложение к газете «Биржевые ведомости». 1903. № 47, 25 нояб. С. 15. Подробнее: *Измайлов А.А.* Переписка с современниками. С. 132–134.

57. *ЛН*. Т. 85. С. 439–440, 543.

58. Письма Федора Сологуба В.Я. Брюсову. С. 333.

59. *Бакст Л.* Указ. соч. С. 80.

60. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 377–378; *Белый–Блок*. С. 109.

61. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 385.

62. *Белый–Блок*. С. 121.

63. *Блок А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. М.; Л., 1962. С. 90. Рецензии: *Блок–ПСС*. Т. 7. С. 139–141 (опубл. посмертно), 141–144 (Новый путь. 1904. № 7. С. 202–208).

64. Перепеч.: *Белый*. Т. 1. С. 375–390 (цит. С. 383).

65. *Блок А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 8. С. 96.

66. Брюсовское стихотворение «Младшим» // *Перцов П.П.* Указ. соч. С. 319–321.

67. *ЛН*. Т. 27/28. С. 671 (инскрипт); *ЛН*. Т. 92. Кн. 1. С. 489.

К главе девятой

1. Основополагающие работы: *Азадовский К.М., Максимов Д.Е.* Брюсов и «Весы». (К истории издания) // *ЛН*. Т. 85. С. 257–324; *Лавров А.В., Максимов Д.Е.* «Весы» // *Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания*. М., 1984. С. 65–136.

2. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 70.

3. Новый путь. 1904. № 1. С. 244–248; перепеч.: *Филосов Д.В.* Указ. соч. С. 59–62.

4. *Эс*. [Козиенко М.П.] «Весы». Новый декадентский журнал // *Киевская газета*. 1904. 14 февр. С. 2.

5. Письмо Брюсову (24 ноября 1903 г.): *Бакст Л.* Указ. соч. С. 80.

6. Примеч. Н.В. Котрелева: *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 86.

7. Дневниковая запись (начало 1904) цит. по: *Семенов М.Н.* Вахх и Силены. М., 2008. С. 657 (примеч.).

8. *-бо* [Любошиц С.К.] Кустари // *Новости дня*. 1904. 26 февр. С. 2.

9. *Бурлешин А.* Сатиры с Аполлоном. Сатирические отклики в массовых изданиях на первые номера журналов «Весы» и «Аполлон» // *Аполлоновский сборник*. СПб., 2015. С. 42–45. Пять откликов: Там же. С. 83–85.

10. *ЛН*. Т. 85. С. 455–456.
11. *Белый А. В.* Брюсов. (Силуэт) // Свободная молва. 1908. 28 янв. С. 3–4; перепеч.: *Белый. Т. I*. С. 350–366.
12. Письмо В.А. Сырового, позднее жившего в этой квартире, автору настоящей книги (15 ноября 2011 г.).
13. *Садовской Б.* «Весы». (Воспоминания сотрудника) / Публ. Р.Л. Щербакова // Минувшее. Исторический альманах. 13. М.; СПб., 1993. С. 19–20. Подробное описание: *Белый А.* Начало века. Берлинская редакция (1923). СПб., 2014. С. 351–356.
14. *Белый А.* Начало века. С. 179.
15. Черновые варианты: К истории «Ключей тайн» // *Богомолов Н.А.* Вокруг «Серебряного века». С. 259–290.
16. Письмо Семенову (19 ноября 1904 г.): *Семенов М.Н.* Указ. соч. С. 497.
17. Письмо Блоку (до 23 февраля 1904 г.): *ЛН*. Т. 92. Кн. 1. С. 488.
18. *Садовской Б.* «Весы». С. 18–19; *Щербаков Р.Л.* Переписка В.Я. Брюсова с Б.А. Садовским // *НЛО*. № 4. 1993. С. 101–122.
19. Контекст-2008. М., 2009. С. 275.
20. *Чуковский. Т. 14*. С. 78.
21. Цит. по: Предисловие // Письма А.М. Ремизова и В.Я. Брюсова к О. Маделунгу. Copenhagen, 1976. С. 6. Переписка с А.М. Ремизовым (1902–1912) / Вступ. ст. и коммент. А.В. Лаврова. Публ. С.С. Гречишкина, А.В. Лаврова и И.П. Якир // *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 137–222.
22. План книги в письме Брюсову (1 августа 1903 г.): *ЛН*. Т. 92. Кн. 3. С. 203–204.
23. *Luther A. Valer Brjussow* // *Das literarische Echo*. 1904. № 11, 1. März. Sp. 758–765.
24. Письма А.М. Ремизова и В.Я. Брюсова к О. Маделунгу. С. 60, 7; «Сансара»: Там же. С. 72–78. Письма Брюсова перепеч.: *ВЛ*. 1976. № 7. С. 175–182.
25. Переписка с М.А. Волошиным (1903–1917) / Вступ. ст., публ. и коммент. К.М. Азадовского и А.В. Лаврова // *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 251–399.
26. *Волошин. С.* 110.
27. *Семенов М.Н.* Указ. соч. С. 500–501.
28. *Дубровкин Р.* Рене Гиль и Валерий Брюсов. Хроника одной переписки // *Гиль Р. – Брюсов В.* Переписка. 1904–1915 / Публ., вступ. ст. и коммент. Р. Дубровкина. СПб., 2005. С. 16, 24, 39.
29. *Струве П.Б.* Наше «бездарное» время // Полярная звезда. 1906. № 14, 19 марта. С. 225.
30. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 310.
31. Цит. по: *Перцов П.П.* Брюсов в начале века (1901–1903) // Знамя. 1940. № 3. С. 253.
32. Письмо Кузмину (3 августа 1907 г.): *Кузмин М.* Стихотворения. Из переписки. М., 2006. С. 175.
33. *Семенов М.Н.* Указ. соч. С. 494–504.

34. ЛН. Т. 85. С. 458.
35. Цит. по: *Перцов П.П.* Указ. соч. С. 314.
36. Русский современник. 1924. № 4. С. 232–234.
37. СС. Т. 1. С. 631 (примеч.).
38. Цит. по: *Перцов П.П.* Указ. соч. С. 316.
39. ЛН. Т. 85. С. 279. *Погорелова Б.* «Скорпион» и «Весы» // *НЖ.* 1955. Кн. 40. С. 168–178; перепеч.: Воспоминания о Серебряном веке. М., 1993. С. 312–321 (Погорелова – фамилия в позднейшем замужестве); *Немирова М.А.* Автографы из старого альбома. Альбом автографов поэтов Серебряного века Брониславы Рунт (1885–1983) из коллекции Государственного музея В.В. Маяковского. М., 2006.
40. Письмо Брюсову (1 августа 1905 г.): ЛН. Т. 85. С. 477.
41. Письма П.П. Перцову / Публ. и предисл. Г. Лелевича // Печать и революция. 1926. № 7. С. 44.
42. ЛН. Т. 27/28. С. 642.
43. *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 14. М., 1960. С. 288.
44. СС. Т. 1. С. 634–635 (примеч.).
45. Золотое руно. 1906. № 11/12. С. 149; перепеч.: *Чуковский.* Т. 6. С. 410.
46. *Брюсов А.* Воспоминания о брате. С. 299–301.
47. Цит. по: *Чулков Г.* Указ. соч. С. 343.
48. Печать и революция. 1926. № 7. С. 44.
49. ЛН. Т. 85. С. 767.
50. *Чуковский К.* О Валерии Брюсове // Свобода и жизнь. 1906. 20 окт. С. 2; перепеч.: *Чуковский.* Т. 6. С. 402–407.
51. *Чуковский.* Т. 14. С. 88.
52. Письмо Замятниной (21 января 1906 г.) цит. по: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов в 1903–1907 гг. С. 158.
53. Письмо Н.Я. Брюсовой (28 января 1906 г.) цит. по: Там же. С. 159–160.
54. Переписка с Эмилем Верхарном. 1906–1914 / Вступ. ст. и публ. Т.Г. Динесман // ЛН. Т. 85. С. 546–621.
55. *Прижизненные издания.* С. 68.
56. ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 174.
57. Золотое руно. 1906. № 7. С. 175–176; Хризопрас. Художественно-литературный сборник. М., [1906]. С. 76–77; перепеч.: *Блок-ПСС.* Т. 7. С. 198–200, 204–205.
58. Мир Божий. 1906. № 7. С. 88–92 (2-й паг.).
59. О Максе Волошине и древнем змее // Весы. 1905. № 8. С. 69–71 (без подписи); *Волошин М.* Эмил Верхарн и Валерий Брюсов // Весы. 1907. № 2. С. 74–81 (перепеч.: *Волошин.* С. 153–162); *Брюсов В.* Р.С. // Весы. 1907. № 2. С. 81–82 (перепеч.: *Волошин.* С. 665–666).
60. *Ленин В.И.* Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 12. М., 1960. С. 99–105.
61. Русский современник. 1924. № 1. С. 235.

62. Цит. по: *Ямпольский И.* Поэты и прозаики. Л., 1986. С. 337–338.

К главе десятой

1. *Брюсов В., Петровская Н.* Переписка: 1904–1913 / Вступ. статьи, подгот. текста и коммент. Н.А. Богомолова, А.В. Лаврова. М., 2004; далее цит. без сносок, с указанием даты и автора письма.

2. *Ivanov G., Odojevceva I.* Briefe an Vladimir Markov. 1955–1958. Köln, 1994. S. 29.

3. *Успенский П.* Творчество В.Ф. Ходасевича и русская литературная традиция (1900–е гг. – 1917). Tartu, 2014. Гл. 1 (цит. С. 24).

4. *Ходасевич В.* Некрополь. Воспоминания. Литература и власть. Письма Б.А. Садовскому. М., 1996. С. 381–382, 410–411.

5. *Белый А.* Начало века. С. 307–308.

6. Там же. С. 306–307, 308.

7. *Петровская Н.* Указ. соч. С. 410.

8. Письмо Волошину (29 марта 1904 г.): *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 331.

9. *Петровская Н.* Указ. соч. С. 461–463.

10. Письмо Замятниной (24 марта 1904 г.) цит. по: *Богомолов Н.А.* Вячеслав Иванов в 1903–1907 гг. С. 97–98.

11. Валерий Брюсов и Нина Петровская: биографическая канва к переписке // *Лавров А.В.* Символисты и другие. С. 146–147.

12. *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900–е годы. С. 170.

13. *Белый А.*: 1) Начало века. С. 309–312; 2) Начало века. Берлинская редакция. С. 66.

14. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 294–295.

15. *Белый А.* Начало века. Берлинская редакция. С. 63–64.

16. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 445–446.

17. *Белый–Блок*. С. 151.

18. *Белый А.* Начало века. Берлинская редакция. С. 65, 69.

19. *ЛН*. Т. 85. С. 376–380.

20. *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900–е годы. С. 171.

21. *Петровская Н.* Указ. соч. С. 451.

22. *Белый А.* Воспоминания о Блоке // *Эпопея (Берлин)*. 1922. № 1. С. 261; перепеч.: *Белый А.* Воспоминания о Блоке. М., 1995. С. 94.

23. *Белый А.* Начало века. Берлинская редакция. С. 67.

24. Контекст. Литературно-теоретические исследования. М., 1991. С. 53–54 / Публ. Е.В. Ивановой, Л.А. Ильониной.

25. Там же. С. 36.

26. *Белый А.* Начало века. Берлинская редакция. С. 67.

27. *Белый–Блок*. С. 189.

28. Цит. по: *Malmstad J.E.* From the History of Russian Symbolism: Andrej Belyj and Sergej Poljakov // *Stanford Slavic Studies*. 1987. Vol. I. P. 74–78.

29. Цит. по: *Лавров А.В.* Андрей Белый в 1900–е годы. С. 176.

30. *Белый А.*: 1) Начало века. Берлинская редакция. С. 121–123; 2) Начало века. С. 513–514. Письма: *ЛН*. Т. 85. С. 381–383.
31. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 502.
32. *ЛН*. Т. 85. С. 473.
33. Там же. С. 384.
34. *Белый А.* Начало века. Берлинская редакция. С. 132; *ЛН*. Т. 85. С. 384.
35. Цит. по: *Лавров А.В.* Символисты и другие. С. 147.
36. *Ашукин Н.* Указ. соч. // *НЛО*. 1998. № 32. С. 194.
37. *Погорелова Б.* Валерий Брюсов и его окружение. С. 32.
38. Цит. по: *Лавров А.В.* Символисты и другие. С. 157.
39. Там же. С. 164–165.
40. *Прижизненные издания*. С. 36, 37–40 (фото); *НН*. С. 262; *Дневники*. С. 137.
41. Золотое руно. 1906. № 1. С. 136–140; Литературное приложение к газ. «Слово». 1906. 12 февр. С. 4; перепеч.: *Блок–ПСС*. Т. 7. С. 179–183, 189–190.
42. *Бакст Л.* Указ. соч. С. 103, 105.
43. Вестник Европы. 1906. № 4. С. 793–796.
44. *ЛН*. Т. 85. С. 401–402.
45. *Лавров А.В., Гречишкин С.С.* Символисты вблизи. С. 51.
46. О поведении Брюсова в этот день Ходасевич написал дважды, дав ему положительную оценку в письме Петровской (24 ноября 1911 г.; Из переписки Н.И. Петровской / Публ. Р.Л. Щербакова и Е.А. Муравьевой // *Минувшее. Исторический альманах*. 14. М., 1993. С. 391) и отрицательную в очерке «Брюсов».
47. Цит. по: *Лавров А.В.* Символисты и другие. С. 175.
48. *Белый–Метнер*. Т. 1. С. 587.
49. *Короткина Л.В.* Письма Н.К. Рёриха В.Я. Брюсову // *РЛ*. 1983. № 4. С. 174.
50. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 205.

К главе одиннадцатой

1. *ЛН*. Т. 85. С. 280–281.
2. Письмо Брюсову (17 декабря 1905 г.): Там же. С. 488.
3. Запись Брюсова: Там же. С. 390–391. В аналогичных выражениях Белый объяснял свой поступок Блоку (31 декабря 1905 г. и 6 января 1906 г.): *Белый–Блок*. С. 264–269.
4. *НЖ*. 2000. Кн. 220. С. 191 / Публ. В.Э. Молодякова.
5. *Кузмин М.* Стихотворения. Из переписки. С. 163.
6. *НЖ*. Кн. 220. С. 192–195.
7. *Белый А.*: 1) Начало века. Берлинская редакция. С. 451; 2) Начало века. С. 422; 3) Между двух революций. М., 1990. С. 300.
8. «Золотое руно» // *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 460–462.
9. *Бенуа А.* Мои воспоминания: В 5 кн. Кн. IV, V. Изд. 2. М., 1990. С. 435–436.

10. Цит. по: *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 459–460.
11. *ЛН.* Т. 92. Кн. 1. С. 494.
12. *ЛН.* Т. 85. С. 490–491.
13. *Чулков Г.* Указ. соч. С. 346–347.
14. Там же. С. 347–348.
15. *ЛН.* Т. 85. С. 493–494.
16. *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 374; ответ Брюсова (30 апреля): *Чулков Г.* Указ. соч. С. 352.
17. Материалы: Блок в неизданной переписке и дневниках современников / Вступ. ст. Н.В. Котрелева и З.Г. Минц / Публ. Н.В. Котрелева и Р.Д. Тименчика // *ЛН.* Т. 92. Кн. 3. С. 269–367.
18. *Кречетов С.* Апологеты культуры // *Золотое руно.* 1906. № 3. С. 131–133.
19. Полностью: К истории «Золотого руна» // *Богомолов Н.* От Пушкина до Кибирова. М., 2004. С. 42–46.
20. *ЛН.* Т. 98. Кн. 1. С. 273.
21. Эти слова Брюсов привел в письме Сологубу (31 августа 1907 г.): *ЕРОПД* на 1973 год. С. 110–111.
22. *ЛН.* Т. 92. Кн. 1. С. 495 (фото).
23. «Перевал» // *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 486–498. Относящаяся к «Перевалу» переписка далее цит. без сносок.
24. *Белый А.* Между двух революций. С. 221–227.
25. *Перевал.* 1907. № 4. С. 64–65.
26. Письмо Соколова Чулкову (5 февраля 1907 г.): *ЛН.* Т. 92. Кн. 3. С. 269–270.
27. Письмо Чулкову (19 января 1907 г.): *Чулков Г.* Указ. соч. С. 350–352.
28. *Новый мир.* 1932. № 2. С. 191.
29. Письма Эллы к Блоку (1907) / Вступ. ст., публ. и коммент. А.В. Лаврова // *ЛН.* Т. 92. Кн. 2. С. 290.
30. *Гиппиус З.* Проза поэта // *Весы.* 1907. № 3. С. 69–71; перепеч.: *Гиппиус З.* Дневники. Т. 1. С. 342–345. После этой рецензии выражение «проза поэта» вошло в обиход.
31. *Золотое руно.* 1907. № 1. С. 86–88; перепеч.: *Блок–ПСС.* Т. 7. С. 206–209.
32. *Эллис.* Указ. соч. С. 174.
33. *Ауслендер С.* Проза поэта // *Речь.* 1910. 1 нояб. С. 4.
34. В октябре 1913 г. Брюсов предоставил Курсинскому право на инсценировку для кино всех своих ранее опубликованных рассказов. По рассказу «Сестры» Курсинский написал сценарий, одобренный Брюсовым, для московской фирмы «Торговый дом П. Тимана и Ф. Рейнгардта. Кинематограф и ленты». Постановка не состоялась, сценарий был утерян, но в 1918 г. восстановлен автором (*ЛН.* Т. 98. Кн. 1. С. 355–358). О единственном фильме, снятом по сценарию Брюсова при его жизни, см. главу 14. После смерти Брюсова по его прозе сняты фильмы: «Захочу – полюблю» (1990; Россия; реж. В.С. Панин; «Последние страницы из дневника женщины»), «Жажда страсти» (1991; Россия; реж. А.И. Ха-

ритонов; «по мотивам прозы»), «Откровения незнакомцу» (1995; Франция—Россия—Италия; реж. Ж. Бардавилль; «Последние страницы из дневника женщины»).

35. ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 191.

36. З.Л. [Львовский З.] «Земля» Валерия Брюсова (К сегодняшнему 1-му представлению в Большом Драматическом театре) // Вестник театра и искусства. 1922. № 8, 27–30 янв. С. 2. Премьера состоялась 27 января 1922 г.; до конца сезона пьеса прошла 11 раз.

37. Мейерхольд Вс.Э. Переписка. 1896–1939. М., 1976. С. 82; Брюсов и театр / Вступ. ст. и публ. Г.Ю. Бродской // ЛН. Т. 85. С. 167–189. Статьи Брюсова о театре не собраны, хотя в 1915 г. он планировал издать сборник «Перед сценой», который, по его словам, «скорее ставит вопросы, чем дает ответы»: Валерий Брюсов — театральный критик / Публ., предисл. и примеч. Р. Помирченко // Литературная Армения. 1973. № 12. С. 86–90.

38. Долгополов Л.К. На рубеже веков. О русской литературе конца XIX — начала XX века. Л., 1985. С. 74–75.

39. Лазарев В.А. Из истории литературных отношений первой четверти двадцатого столетия // Ученые записки Московского областного педагогического института им. Н. Крупской. Т. СХVI. Очерки по истории советской литературы. Сб. 3. М., 1962. С. 99.

40. Волошин. С. 137.

41. Вопросы жизни. 1905. № 6. С. 256–257; Письма Федора Сологуба к В.Я. Брюсову. С. 340 (14 мая 1905 г.).

42. Эллис. Указ. соч. С. 169–170.

43. Лелевич Г. Указ. соч. С. 218.

44. Азадовский К.М., Максимов Д.Е. Брюсов и «Весы» // ЛН. Т. 85. С. 288–289.

45. Там же. С. 293.

46. Товарищ. 1907. 23 сент. С. 3; перепеч.: Филосовов Д.В. Указ. соч. С. 123–129.

47. Белый А. Между двух революций. С. 182–183.

48. Белый А. Начало века. С. 424–425.

49. Белый—Метнер. Т. 1. С. 589–644 (цит. с. 624).

50. Ашукин—Щербаков. С. 272.

51. Белый А. Начало века. С. 315.

52. Там же. С. 638 (примеч.).

53. ЛН. Т. 85. С. 499–506.

54. ЛН. Т. 92. Кн. 1. С. 501–511.

55. Белый—Блок. С. 336–337; Белый—Метнер. Т. 1. С. 610.

56. Лавров А.В. Русские символисты. С. 481.

57. Скорпион — Весы. Каталог. № 7. С. 3–4.

58. Валентинов Н. Два года с символистами. Stanford, 1969. С. 151.

59. ЛН. Т. 85. С. 357.

60. Белый А.: 1) Начало века. С. 46; 2) Начало века. Берлинская редакция. С. 309, 388.

61. Письма Брюсову: Эллис в «Весах» / Предисл., публ. и коммент. А.В. Лаврова // Писатели символистского круга. С. 297–327.
62. Цит. по: *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 376.
63. Переписка Блока с С.М. Соловьевым (1896–1915) / Вступ. ст., публ. и коммент. Н.В. Котрелева и А.В. Лаврова // *ЛН*. Т. 92. Кн. 1. С. 308–413 (цит. С. 378–379, 389).
64. *Лавров А.В., Максимов Д.Е.* «Весы». С. 119.
65. *Абрамович Н.Я.* В осенних садах. М., 1909. С. 57.
66. Критическое обозрение. 1907. № 5. С. 32–35; перепеч.: *Белый*. Т. II. С. 403–408.
67. Столичная почта. 1908. 27 февр. С. 3; перепеч.: *Филосов Д.В.* Указ. соч. С. 177–180. Ответ: *Поляков С.* Письмо в редакцию // Столичная почта. 1908. 4 марта. С. 5.
68. В литературном мире // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1909. 14 апр. С. 3 (без подписи).
69. *Лазарев В.А.* Из истории литературных отношений первой четверти двадцатого столетия. С. 91–134 (письма к Элиасбергу); *Зиппль К., Поляков Ф.* «Нравы Дикого Запада»: письма Валерия Брюсова о переводе драмы «Земля» из архива Иоганнеса фон Гюнтера // Россия и Запад. Сборник статей в честь 70-летия К.М. Азадовского. М., 2011. С. 196–206.
70. Перепеч.: *Белый*. Т. II. С. 408–411.
71. Речь. 1908. 8 дек. С. 3.
72. *Эллис*. Указ. соч. С. 174.
73. *РМ*. 1909. № 2. С. 29 (2-й паг.).
74. *Коган П.* Очерки по истории новейшей русской литературы. Т. III. Современники. Вып. II. М., 1910. С. 108.
75. *Измайлов А.А.* Переписка с современниками. С. 147–152.
76. Измайлов А. Что нового в литературе? // Биржевые ведомости. Утр. вып. 1908. 20 сент. С. 2; вместе с фрагментами двух других рецензий Измайлова на роман частично перепеч.: *Измайлов А.* Помрачение божков и новые кумиры. М., 1911. С. 90–92.
77. *Гуревич Л.* Заметки о современной литературе. Дальновзорские // *РМ*. 1910. № 3. С. 143–155 (3-й паг.); перепеч.: *Гуревич Л.* Литература и эстетика. М., 1912. С. 115–123.
78. Письмо Андрея Белого к Эллису // *Лавров А.В.* Андрей Белый. Разыскания и этюды. 412–424.
79. Относящаяся к Белому характеристика из письма Брюсова к Струве (начало 1912 г.) цит. по: *Ямпольский И.Г.* Поэты и прозаики. С. 348–349.
80. *ЛН*. Т. 85. С. 412–416.
81. Письма Федора Сологуба В.Я. Брюсову. С. 350–352; *ЕРОПД* на 1973 год. С. 114–115 (Брюсов Сологубу); *Лавров А.В., Гречишкин С.С.* Символисты вблизи. С. 363–365 (Белый Сологубу), 368–369 (Сологуб Белому).
82. *Белый–Метнер*. Т. 2. С. 118, 333.
83. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 113–122; *Азадовский К.М., Максимов Д.Е.* Брюсов и «Весы». С. 302–306.

К главе двенадцатой

1. *Блок—ПСС*. Т. 7. С. 189.
2. *П.Я.* [П.Ф. Якубович] Без руля и без ветрил // Русское богатство. 1908. № 5. С. 130—131 (3-й паг.).
3. *Ардов Т.* Указ. соч. С. 76—77, 80.
4. Энциклопедический словарь. Т. 1 доп. СПб., 1905. С. 322—324.
5. Новый энциклопедический словарь. Т. 8. СПб., <1912>. Стб. 313—323.
6. Энциклопедический словарь. Т. 7. СПб., <1911>. Стб. 11—13.
7. *Горнфельд А.* Торжество победителей // Товарищ. 1907. 23 авг. С. 3.
8. *Каменев Ю.* О ласковом старике и о Валерии Брюсове // Литературный распад. Кн. 1. С. 59, 91—92.
9. *Брюсов В.Я.* Письма к В.С. Миролюбову (1904—1908) / Подгот. А.Б. Муратовым // Литературный архив. 5. М.; Л., 1960. С. 172—185.
10. *А. П-к* [Поляк А.П.] О символизме в поэзии. [Ч. I] // Саратовский листок. 1908. 11 марта. С. 3.
11. *Брюсов В.* Избранные сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1955. С. 671 (прим.). Создание бюро: Свободные мысли. 1908. 14 янв. С. 4. Перечислим неучтенные в *Библиографии* публикации двух стихотворений: 1) «Дар поэта» («Как страстно ты ждала ответа...»; в дальнейшем озаглавлено «Близкой»); Южный край. 1908. 17 янв. С. 4; Ташкентский курьер. 1908. 20 янв. С. 2; Смоленский вестник. 1908. 22 янв. С. 2; Далекая окраина. 1908. 2 февр. С. 3; Волжские дали (Казань). 1908. № 7 (сентябрь). С. 17. 2) «Сны» («Спите, дети! Спите, люди...»); Ростовский вестник. 1908. 18 апр. С. 2; Киевские вести. 1908. 18 апр. С. 2; Смоленский вестник. 1908. 19 апр. С. 2; Наш путь. 1908. 20 апр. С. 2; Волжский листок (Казань). 1908. 8 мая. С. 2. Сообщил А.В. Бурлешин.
12. *Ляцкий Е.* Пути и перепутья в поэзии Валерия Брюсова // Современный мир. 1908. № 3. С. 39—52 (2-й паг.); Речь. 1908. 29 мая. С. 5 (Н.С. Гумилев; перепеч.: *Гумилев*. С. 15—16); *Анненский И.* О современном лиризме // Аполлон. 1909. № 1 (октябрь). С. 12—42 (перепеч.: *Анненский И.* Книжки отражений. М., 1979. С. 328—357); *Антон Крайний* [Гиппиус З.Н.] Свой. (В. Брюсов — человек-поэт) // РМ. 1910. № 2. С. 14—20 (2-й паг.); *Чернов В.* Модернизм в русской поэзии // Вестник Европы. 1910. № 11. С. 209—228; № 12. С. 107—135.
13. *П.Я.* Без руля и без ветрил. С. 141.
14. Слово. 1909. 7 мая. С. 5 (В.В. Гофман); Русская мысль. 1909. № 6. С. 138—141 (2-й паг.) (Б.А. Садовской); Современный мир. 1909. № 7. С. 183—185 (2-й паг.) (В.Л. Львов-Рогачевский); *Адрианов С.* Критические наброски // Вестник Европы. 1909. № 10. С. 845—854.

15. Свободные мысли. 1908. 16 янв. С. 3.
16. Айхенвальд Ю. Валерий Брюсов. (Опыт литературной характеристики). М., 1910. Рукописный отдел ИРЛИ РАН. Архив И.Л. Леонтьева-Щеглова. 808. Л. 26–26 об; сообщил А.С. Александров.
17. Измайлов А. Скандал на гоголевском празднике // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1909. 29 апр. С. 3. См.: Гоголевские дни в Москве. М., 1909. С. 89–90.
18. Бурнакин А. Трагические антитезы. М., 1910. С. 28–32.
19. Измайлов А. «Испорченный молебен» // Русское слово. 1909. 28 апр. С. 4.
20. Письмо Брюсову (8–9/21–22 июня 1909 г.): ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 208.
21. Письма Федора Сологуба В.Я. Брюсову. С. 353; ЕРОПД на 1973 год. С. 116.
22. В.Я. Брюсов // Вересаев В. Невыдуманные рассказы. М., 1968. С. 437–448; встречается также дата избрания: 1908 год.
23. Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 1. Нью-Йорк, 1956. С. 312; перепеч.: Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. 2-е изд., доп. СПб., 2000. С. 242.
24. Асеев Н. Валерий Брюсов // Известия. 1924. 11 окт. С. 3.
25. Переписка В.Я. Брюсова с А.И. Сумбатовым-Южиным // Вступ. заметка, публ. и примеч. М.К. Айвазян // НБ. С. 401–423.
26. Письма Комиссаржевской цит. по: Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. М.; Л., 1964. С. 164–174; Рыбакова Ю. В.Ф. Комиссаржевская и В.Я. Брюсов // О Комиссаржевской. Забытое и новое. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1965. С. 117–130. Подробнее: Сергеева-Клятис А. Комиссаржевская. М., 2018. Гл. 13.
27. Осипов И. [Абельсон И.О.] [Обозрение театра] В.Ф. Комиссаржевской // Обзорение театров. 1907. 12 окт. С. 12; Азов Вл. [Ашкинази В.А.] «Пеллеас и Мелизанда» // Речь. 1907. 12 окт. С. 2; Тамарин Н. [Окулов Н.Н.] Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской // Театр и искусство. 1907. № 41, 14 окт. С. 661–662.
28. «Пеллеас и Мелизанда» на сцене театра Комиссаржевской // Голос Москвы. 1907. 13 окт. С. 3–4 (подпись: Латник); перепеч.: Мейерхольд в русской театральной критике. Т. 1. 1892–1918. М., 1997. С. 156–160.
29. Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 2. С. 355; Александров А.С. К истории подготовки перевода трагедии «Франческа да Римини» Габриэле д'Аннунцио Вяч. Ивановым и В. Брюсовым // Филологические науки. Литературоведение. 2016. № 6. С. 53–60.
30. ЛН. Т. 92. Кн. 1. С. 507–509.
31. Бродская Г.Ю. В.Я. Брюсов – В.Э. Мейерхольд – В.Ф. Комиссаржевская // Русский театр и драматургия эпохи революции 1905–1907 гг. Л., 1987. С. 96–130 (цит. С. 125).
32. Старый друг [Эфрос Н.Е.] «Франческа да Римини» в Ма-

лом театре // Театр. 1908. 2 сент. С. 8; Там же. 3 сент. С. 4–9; *Эфрос Н.* Из Москвы // Театр и искусство. 1908. № 36, 7 сент. С. 628–629; *Дий Одинокий* [Туркин Н.В.] Дневник театрала // Голос Москвы. 1908. 3 сент. С. 4.

33. *ЛН.* Т. 85. С. 511–512.

34. *Старый друг* [Эфрос Н.Е.]: 1) «Пелеас и Мелизанда» // Театр. 1908. 4 сент. С. 3–5; 2) Вторая «Франческа» // Там же. 6 сент. С. 3–7; *Дий Одинокий* [Туркин Н.В.] Дневник театрала // Голос Москвы. 1908. 3 сент. С. 4; Там же. 5 сент. С. 4; *Львов Як.* [Розенштейн Я.Л.] Гастроли В.Ф. Комиссаржевской // Рампа. 1908. № 4. С. 61–62.

35. Современный мир. 1908. № 10. С. 136–138 (2-й паг.) (А.Я. Левинсон; подп.: А.Л.).

36. Положительная рецензия В.В. Гофмана: Речь. 1909. 2 марта. С. 3; отрицательная – Ю.И. Айхенвальда: *РМ.* 1909. № 4. С. 85–86 (2-й паг.).

37. *Материалы.* С. 145. Перевод прочитан Брюсовым в Доме печати 9 и 16 сентября 1921 г. и издан в июле 1922 г. при поддержке Луначарского, что видно из адресованного ему инскрипта «с глубокой признательностью за защиту этой книги»: *Трифонов Н.А.* Луначарский и Брюсов // *РЛ.* 1973. № 4. С. 14.

38. Письма Дризену: *НЖ.* 2000. Кн. 218. С. 91–97 / Публ. В.Э. Молодякова.

39. *Койранский А.* «Герцогиня Падуанская» (Малый театр) // Утро России. 1912. 16 февр. С. 4; *И.* [Игнатов И.Н.] Малый театр. «Герцогиня Падуанская» // Русские ведомости. 1912. 16 февр. С. 4; *Львов Як.* [Розенштейн Я.Л.] «Герцогиня Падуанская» // Новости сезона. 1912. 17 февр. С. 5–6.

40. *Юрьев М.* Спектакль литераторов // Рампа и жизнь. 1912. № 16, 15 апр. С. 10–11; Валерий Яковлевич Брюсов / *Соболев А.Л.* Из воспоминаний С.Г. Кара-Мурзы // Литературный факт. 2018. № 7. С. 96; *Чужой* [Эфрос Н.Е.] На спектакле литераторов // Речь. 1912. 11 апр. С. 2.

41. Брюсов в Париже (осень 1909 года) // *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 143–153. Письма Брюсова жене из Парижа цит. без сносок.

42. *ЛН.* Т. 98. Кн. 1. С. 212.

43. *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 151.

44. *Поступальский И.* Поэзия Валерия Брюсова // *Брюсов В.* Избранные стихи. М.; Л., 1933. С. 62.

45. Валерий Брюсов и журнал «Аполлон». Переписка с С.К. Маковским и Е.А. Зноско-Боровским // *Лавров А.В.* Символисты и другие. С. 673–730; далее цит. без сносок.

46. Цит. по: *Белый–Метнер.* Т. 1. С. 659 (примеч.).

47. Аполлон. 1910. № 7 (апрель). С. 15–20; перепеч.: *Чулков Г.* Указ. соч. С. 204–210.

48. *ЛН.* Т. 85. С. 526–530.

49. *Белый–Метнер.* Т. 2. С. 42.

50. *Валентинов Н.* Указ. соч. С. 145.
51. *ЛН.* Т. 85. С. 530–531.
52. *ЛН.* Т. 92. Кн. 1. С. 513.
53. *Кузмин М.* Стихотворения. Из переписки. С. 194.
54. Письмо Кузмину (12 сентября 1910 г.): Там же. С. 197.
55. Письма Федора Сологуба В.Я. Брюсову. С. 355–356.
56. Частично опубликованы: *Брюсов В.Я.* Письма к П.Б. Струве (1910–1911) / Подгот. А.Н. Михайловой // Литературный архив. 5. С. 257–345; далее письма Брюсова цит. без сносок, письма Струве – по предисловию и примечаниям.
57. *Дий Одинокий* [Туркин Н.В.] Литературный календарь // Голос Москвы. 1911. 13 февр. С. 3–4.
58. *Венгеров С.* Литературные настроения 1910 года // Русские ведомости. 1911. 19 янв. С. 2–3.
59. *Колтоновская Е.* Брюсов о женщине // Речь. 1911. 17 янв. С. 3; перепеч.: *Колтоновская Е.* Критические этюды. СПб., 1912. С. 182–188.
60. *Закржевский А.* Карамазовщина. Психологические параллели. Киев, 1912. С. 18–41.
61. *Чернов В.* Эрос и мечта в поэзии Валерия Брюсова. С. 58–59, 66–67.
62. Простор. 1993. № 12. С. 209–212 / Публ. В.Э. Молодякова.
63. *Абрамович Н.* Эстетизм и эротика. Гл. III. Художники эроса // Образование. 1905. № 5. С. 46 (2-й паг.); перепеч.: *Абрамович Н.Я.* Литературно-критические очерки. Творчество и жизнь. Кн. 1. СПб., 1909. С. 103.
64. *РГБ. Ф. 386.* Карт. 34. Ед. хр. 19. Л. 1. Подзаголовок: «Рассказы 1906–1909». «Добрый Альд»: *НЛО.* 1994. № 5. С. 5–20 / Публ. и послесл. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова; *НН.* С. 118–137. «Рассказ акушера» об извращенцах, наслаждающихся муками роженца, закончен, но не перебелен, и к середине рукопись становится нечитаемой (*РГБ. Ф. 386.* Карт. 35. Ед. хр. 19). О замысле «Дворца крови» ничего не известно.
65. Новое время. 1913. 4 мая. С. 7 (подпись: Ю-нь).
66. *Войтоловский Л.* Летучие наброски // Киевская мысль. 1913. 7 апр. С. 3.
67. *Бальмонт К.* Восковые фигурки // Утро России. 1913. 29 июля. С. 5; перепеч.: *Бальмонт К.* О русской литературе. С. 116–117.
68. *ЛН.* Т. 92. Кн. 1. С. 514–517. Слово «мóтор» (с ударением на первом слоге) в значении «автомобиль» встречается в стих. Брюсова «На память об одном закате» (13 декабря 1914) и «Казачье становье» (9 июля 1915).
69. *НЖ.* 2005. Кн. 238. С. 145–148 / публ. В.Э. Молодякова.
70. Письма Кузмина (14 и 20 августа, 6, 11 и 14 сентября 1912 г.): *Кузмин М.* Стихотворения. Из переписки. С. 203–208.
71. В.Я. Брюсов и Н.А. Морозов. (Неопубликованные письма В.Я. Брюсова) // Известия АН СССР. Отделение литерату-

ры и языка. 1964. Т. XXIII. Вып. 4. С. 331–339 / Предисл. и публ. С.В. Белова; Судебное преследование «Звездных песен». Из переписки Н. Морозова и В. Брюсова / Публ. и примеч. Б. Внучкова // ВЛ. 1976. № 7. С. 182–206.

72. Долгополов Л.К. Творческая история и историко-литературное значение романа А. Белого «Петербург» // Белый А. Петербург. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 554–559; Валерий Брюсов о «Петербурге» Андрея Белого // Ямпольский И.Г. Поэты и прозаики. С. 345–349.

73. Письма Блоку (15–16 и 19 ноября 1911 г.): Блок–Белый. С. 426–427, 429.

74. ЛН. Т. 85. С. 425–426.

75. Письмо Метнеру (30 января 1912 г.): Белый–Метнер. Т. 2. С. 238.

76. Белый А.: 1) Начало века. Берлинская редакция. С. 665–667; 2) Между двух революций. С. 433–439.

77. Прижизненные издания (С. 55) указывают 20–27 марта, но 9 марта Брюсов подарил книгу Волошину: Радянське літературознавство. 1974. № 2. С. 83.

78. Буренин В. Литературные заметки // Новое время. 1912. 6 апр. С. 5.

79. ЛН. Т. 85. С. 536.

80. Белый А. Начало века. Берлинская редакция. С. 102, 671–672.

81. Гумилев Н. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1912. № 3/4. С. 99–100; перепеч.: Гумилев. С. 118–119.

82. Гиперборей. 1912. № 1. С. 27; перепеч.: Гумилев. С. 139.

83. Речь. 1912. 2 апр. С. 3.

84. Булдеев А. Валерий Брюсов в «Зеркале теней» // Жатва. Лето 1912. [Кн. 3.] М., 1912. С. 220–230.

85. Измайлов А. По садам российской поэзии // Биржевые ведомости. Веч. вып. 1912. 21 авг. С. 3.

86. Гермес. 1912. № 7. С. 199; Россия. 1912. 7 апр. С. 3 (подпись: В.К.).

87. Переписка с П.Е. Щеголевым (1903–1917) / Вступ. ст. Е.Ю. Литвин и С.А. Фомичева / Публ. и коммент. Л.К. Кувановой и Е.Ю. Литвин // ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 235.

88. Ауслендер С. Проза поэта // Речь. 1910. 1 нояб. С. 4.

89. Голос Москвы. 1910. 16 окт. С. 2 (подпись: -чъ).

90. Новый журнал для всех. 1910. № 25. Стб. 125 (без подписи).

91. Чулков Г. Верлен // Речь. 1911. 1 июня. С. 2.

92. Измайлов А. Новые книги: (Верлен) // Русское слово. 1911. 30 апр. С. 2.

93. Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 2. С. 363.

94. Петровская Н. Между музыкой и поэзией // Утро России. 1911. 2 апр. С. 7; перепеч.: Петровская Н. Указ. соч. С. 610–612.

95. Гумилев Н. Письма о русской поэзии // Аполлон. 1912. № 1. С. 72; перепеч.: Гумилев. С. 116; Чуковский К. Русская литература в 1911 году // Ежегодник газеты «Речь» на 1912 год. СПб., 1912. С. 439–440; перепеч.: Чуковский. Т. 7. С. 552.

96. Экземпляр из библиотеки Сологуба описан: Филичева В. «Соединение наших переводов могло бы быть полезно» (Ф. Сологуб и В. Брюсов в работе над переводами П. Верлена) // Текстология и историко-литературный процесс. М., 2015. С. 131–140.

97. Письма к Тинякову: НЖ. 2000. Кн. 220. С. 188–191 / Публ. В.Э. Молодякова.

98. Новый журнал для всех. 1913. № 10. С. 123.

99. Ежемесячные литературные и популярно-научные приложения к журналу «Нива». 1913. № 8. С. 619 (подпись: Л.).

100. Московские ведомости. 1913. 31 июля. С. 3 (подпись: А.); Вестник Европы. 1913. № 7. С. 387 (В.Е. Чешихин-Ветринский; подпись: Ч. В-ский).

101. Русское богатство. 1912. № 2. С. 165–167 (без подписи); Киевская мысль. 1911. 31 окт. С. 3; Вестник Европы. 1912. № 2. С. 368–370 (подпись: Ч. В-ий).

102. Переиздано: Русская литература XX века. 1890–1910 / Под ред. проф. С.А. Венгерова. ТТ. 1–2. М., 2000.

103. Н.Я. Стародум <Стецкий Н.Я.> Журнальное обозрение // Русский вестник. 1903. № 8. С. 707. Отрицательный, но корректный по форме отзыв: Барсуков Н. По поводу заметки В.Я. Брюсова «О ране совести Пушкина» // Там же. № 7. С. 268–270. Полемику вызвали статьи: 1) Из жизни Пушкина // Новый путь. 1903. № 6. С. 84–102; 2) Пушкин. Рана его совести // Русский архив. 1903. № 7. С. 473–478.

104. Весы. 1907. № 6. С. 68–70; Товарищ. 1907. 7 дек. С. 5–6 (подпись: Н.Л.); Былое. 1907. № 8. С. 308–310 (подпись: Н.Л.); Исторический вестник. 1907. № 9. С. 999–1002; Русская старина. 1908. № 6. С. 3 обл. (подпись: Н.Л.); Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. 1908. Т. XVIII. № 1. С. 428–436.

105. [Письма] Е.В. Аничкову / Публ. Э.С. Литвин // ЛН. Т. 85. С. 672–675; Литвин Э.С. Письмо В.Я. Брюсова Е.В. Аничкову (3 декабря 1910 г.) // Чтения-1980. С. 350–354.

106. Цит. по: Коншина Е.Н. Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве. С. 128.

107. Исторический вестник. 1916. № 6. С. 784–785. См. также: Речь. 1915. 12 окт. С. 3 (Н. Лернер); Северные записки. 1916. № 1. С. 279–280 (В. Жирмунский).

К главе тринадцатой

1. Большаков К. Маршал сто пятого дня. Книга первая. Построение фаланги. М., 1936. С. 99–103.

2. Шервинский С.В. Ранние встречи с Валерием Брюсовым //

Чтения-1963. С. 494—498; перепеч.: Шервинский С.В. Стихотворения. Воспоминания. Томск, 1997. С. 81—94.

3. *НЖ*. 2003. Кн. 231. С. 143—147 / Публ. В.Э. Молодякова.

4. Переписка с Н.С. Гумилевым (1906—1920) / Вступ. ст. и коммент. Р.Д. Тименчика и Р.Л. Щербакова. Публ. Р.Л. Щербакова // *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 400—514 (цит. С. 436).

5. *Шершеневич*. С. 376.

6. Ранняя поэзия Ив. Филипченко в оценке В Брюсова / Публ. и коммент. подгот. Б.М. Сиволов // Вопросы русской литературы. Вып. 3 (12). Львов, 1969. С. 86—90.

7. Не включено в *Среди стихов*; перепеч.: *Тахо-Годи Е.А.* Великие и неизвестные. Очерки по русской литературе и культуре XIX—XX веков. СПб., 2008. С. 634—635.

8. Переписка с В.Я. Брюсовым и письма к И.М. Брюсовой (1911—1915) // *Клюев Н.* Письма к Александру Блоку. 1907—1915 / Публ., вводная ст. и коммент. — К.М. Азадовский. М., 2003. С. 306—353.

9. Письмо Брюсова: *НЖ*. 2000. Кн. 218. С. 86—87 / Публ. В.Э. Молодякова; письма Кропивницкого: *РГБ*. Ф. 386. Карт. 90. Ед. хр. 53.

10. *Цветаева М.* Волшебство в стихах Брюсова // День поэзии. М., 1979. С. 33—34 / Публ. А.А. Саакянц; перепеч.: *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 5. М., 1994. С. 226—229.

11. *Цветаева М.* Герой труда. Записи о Валерии Брюсове // Воля России (Прага). 1925. № 9/10, 11, 12; перепеч.: *Цветаева М.* Собрание сочинений: В 7 т. Т. 4. М., 1994. С. 12—63.

12. [Об отношении к молодым поэтам] / Предисл. и публ. Т.В. Анчуговой // *ЛН*. Т. 85. С. 205—209.

13. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 117, 120.

14. *По Э.* Полное собрание поэм и стихотворений / Пер. и предисл. В. Брюсова. М.; Л., 1924. С. 112; перепеч.: *По Э.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. М., 1993. С. 200.

15. Автографы шести вариантов: *Коншина Е.Н.* Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве. С. 98—103 (фото).

16. Из архива Валерия Брюсова / Предисл. и публ. Р.Л. Щербакова // *Чтения-2002*. С. 341—346. Толчком к его написанию могло быть письмо М. Галановой с вопросом, сможет ли ее сын, пишущий стихи, прожить литературным трудом. 24 сентября 1913 г. Брюсов ответил ей (письмо не было отправлено): «Если бы я писал только стихи, я давно умер бы с голода. [...] Литература вообще — самая невыгодная из всех существующих в мире профессий. [...] Если у Вас есть какое-либо влияние на сына, уговорите его немедленно бросить не только стихи, но все мечты о литературной работе». Новый мир. 1926. № 6. С. 127—132 / Публ. Н.С. Ашукина. Общая характеристика писем молодых литераторов: *Коншина Е.Н.* Переписка и документы В.Я. Брюсова в его архиве // Записки Отдела рукописей / ГБЛ. Вып. 27. М., 1965. С. 24—26.

17. *Эренбург И.* Собрание сочинений: В 9 тт. Т. 8. М., 1966.

С. 38–40; Переписка [Брюсова] с И.Г. Эренбургом (1910–1916) / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Б.Я. Фрезинского / ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 515.

18. *Родин А.Ф.* Из минувшего. Воспоминания педагога-краеведа. М., 1965. С. 46; Подольская поэтка // *Бобров А.* Указ. соч. С. 199–201.

19. Вокруг гибели Надежды Львовой. Материалы из архива Валерия Брюсова // *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 199–208; далее цит. без сносок.

20. *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 163–167; *Соболев А.Л.* Летейская библиотека. Т. II. С. 125–126.

21. *Гумилев Н.* Письма о русской поэзии // Аполлон. 1914. № 1/2. С. 122; перепеч.: *Гумилев.* С. 158.

22. *Прижизненные издания.* С. 58; *Городецкий С.* Два стана // Речь. 1913. 25 нояб. С. 3; *Брюсов В.* Письмо в редакцию // Там же. 28 нояб. С. 6.

23. *Асеев Н.* У Валерия Брюсова // Дальневосточное обозрение (Владивосток). 1920. 20 июня; перепеч.: *Асеев Н.* О поэтах и поэзии. Статьи и воспоминания. М., 1985. С. 50–54.

24. *Коншина Е.Н.* Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве. С. 94.

25. «Новые стихи Нелли» — литературная мистификация Валерия Брюсова // *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 154–198. Письма Львовой к Брюсову далее цит. по этой публикации.

26. *Шершеневич.* С. 378–379.

27. Два письма Зинаиды Гиппиус // *Азадовский К.* Серебряный век. Имена и события. СПб., 2015. С. 433.

28. *Ходасевич В.* Некрополь. С. 343.

29. *Родин А.Ф.* Из минувшего. С. 48.

30. *Н.Б.* Самоубийство поэтессы Н.Г. Львовой // Русское слово. 1913. 26 нояб. С. 4.

31. *Лавров А.В.* Русские символисты. С. 201.

32. Цит. по: *Орлова М.* Еще раз вокруг гибели поэтессы Надежды Львовой // Октябрь. 2017. № 4. С. 171–179. По этой публ. цит. материалы, не вошедшие в публ. А.В.Лаврова.

33. *Гиппиус З.Н.* Стихотворения. Живые лица. С. 270.

34. *Родин А.Ф.* Указ. соч. С. 48–49; искаженная (мемуаристом?) цит. из стих. Львовой без заглавия, начинающегося «Все безнадежные, усните без боли!..» (*РМ.* 1912. № 9. С. 180).

35. *Бобров А.* Указ. соч. С. 205–206.

36. Оба письма впервые: *Молодяков В.Э.* Валерий Брюсов и Вячеслав Иванов: окончание диалога (1914–1924) // Collegium. Международный научно-художественный журнал (Киев). 1994. № 2–3 (на обложке: 1995, № 1–2). С. 87.

37. ЛН. Т. 85. С. 538–539.

38. *Шершеневич.* С. 381.

39. Аврора. 1973. № 12. С. 65 / Публ. В.Н. Орлова; перепеч.: НЛО. 1993. № 4. С. 121.

40. *Письма 1914–1915*. С. 188.
41. *Садовской Б.* Озимь. С. 22–23.
42. Контекст-2008. М., 2009. С. 398.
43. *Чуковский*. Т. 14. С. 366.
44. *НЛО*. 1993. № 4. С. 122.
45. *Садовской Б.* Озимь. С. 38.
46. *Садовской Б.* Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916. С. 197.
47. *НН*. С. 191–195, 304–305 (примеч.).
48. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 520.
49. *Эренбург И.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 229.

К главе четырнадцатой

1. Цит. по: *Ашукин–Щербаков*. С. 361.
2. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 131–134.
3. Северные записки. 1915. № 4. С. 223–225; перепеч.: *Эйхенбаум Б.М.* О литературе. М., 1987. С. 321–323.
4. В материалах собрания сочинений, которое Брюсов в 1919 г. готовил для Гржебина, есть план третьей книги рассказов «Здесь и там»: «Обручение Даши», «Последняя любовь», «После детского бала», «Султан Мурад», «Рея Сильвия», «Элули сын Элули»: *Благоволина Ю.П.* Архив В.Я. Брюсова. С. 51.
5. *Бальмонт К.* Забывший себя // Утро России. 1913. 3 авг. С. 3; перепеч.: *Бальмонт К.* О русской литературе. С. 117–120.
6. *Бальмонт К.* Что есть работа. (Ответ В. Брюсову) // Утро России. 1913. 22 авг. С. 4.
7. *ЛН*. Т. 98. Кн. 1. С. 233.
8. Современник. 1913. № 8. С. 323–325 (В.Л. Львов-Рогачевский); Современный мир. 1913. № 9. С. 254–256 (2-й паг.) (В.П. Кранихфельд).
9. *Философов Д.В.* Указ. соч. С. 447.
10. *Котрелев Н.В.* А. Блок в работе над «Изборником» // *Блок А.А.* Изборник. М., 1989. С. 189, 235–236.
11. *Молодяков В.Э.* Авторские «изборники» Валерия Брюсова: замысел, композиция, аудитория // *Чтения-2016*. С. 410–418.
12. *Вечев Я.* [Чернов В.М.] Дела и дни / II. Чаяния грядущего // Заветы. 1913. № 9. С. 113–131 (2-й паг.).
13. Русские ведомости. 1915. 5 июля. С. 5.
14. Выступление на банкете в Московском Литературно-художественном кружке (18 января 1915): *Известия Литературно-художественного кружка*. Вып. 10. Февраль 1915. С. 40.
15. *Вишневский В.* Художественные фильмы дореволюционной России. М., 1945. С. 40.
16. Вестник кинематографии. 1914. № 95 (15), 1 августа. С. 28–29. Сообщил А.В. Бурлешин.
17. *Вознесенский А.С.* Встречи с Брюсовым / Предисл. Ю. Красовского // Из истории кино. Вып. 7. М., 1968. С. 93–97.
18. *Письма 1914–1915*. С. 17–18.

19. Там же. С. 22–23.
20. Военные корреспонденции Брюсова перепечатаны: Политика и поэтика. Русская культура в историко-литературном контексте Первой мировой войны. Публикации, исследования и материалы. М., 2014. С. 264–580; подготовка текста и примечания не вполне соответствуют академическим требованиям.
21. *Письма 1914–1915*. С. 40.
22. *Ходасевич В.* Некрополь. С. 347.
23. *Талызин М.* [Суганов М.А.] По ту сторону. Париж, 1932. С. 167.
24. История Марии Вульфарт // *Соболев А.Л.* Летейская библиотека. II. С. 70–78; «Санаторная встреча» (Мария Вульфарт в жизни и стихах Валерия Брюсова) // *Лавров А.В.* Символисты и другие. С. 178–187; далее материалы этих работ, включая переписку действующих лиц, цит. без сносок.
25. *Письма 1914–1915*. С. 57, 63, 66, 75–76, 80.
26. Там же. С. 76, 103, 113.
27. *Садовской Б.* Озимь. С. 34.
28. Чествование В.Я. Брюсова // *Известия Литературно-художественного кружка*. Вып. 10. С. 39–40.
29. *Письма 1914–1915*. С. 170.
30. Там же. С. 64, 106, 151.
31. Полный текст: Политика и поэтика. С. 504–508. Комментарий: *Орлова М.В.* Статья В.Я. Брюсова «В обстреливаемом городе» под военной цензурой // Там же. С. 261–263.
32. *Письма 1914–1915*. С. 137, 140.
33. *Измайлов А.А.* Переписка с современниками. С. 174–189.
34. *Письма 1914–1915*. С. 175; Письма Александра Аполлоновича Мануйлова В.Я. Брюсову (1914–1915) / Публ., вступ. заметка Э.С. Даниелян // *Чтения-2013*. С. 599–605.
35. *Измайлов А.А.* Переписка с современниками. С. 184.
36. *Письма 1914–1915*. С. 182–183.
37. Там же. С. 177.
38. Там же. С. 196.
39. Там же. С. 198–199.
40. Там же. С. 214.
41. Там же. С. 218.
42. Цит. по: *Ильинский А.* Литературное наследство Валерия Брюсова // *ЛН*. Т. 27/28. С. 498–499.
43. *Письма 1914–1915*. С. 140.
44. Там же. С. 201, 210.
45. Контекст-2008. М., 2009. С. 393.
46. *Чуковский Т.* 14. С. 367–368.
47. *Письма 1914–1915*. С. 171, 174–175, 183, 186.
48. Там же. С. 160–161; *Ходасевич В.* Некрополь. С. 349, 406–408.
49. Русские ведомости. 1916. 21 дек. С. 6.
50. Одесский листок. 1916. 3 июля. С. 5–6.

51. Аполлон. 1917. № 1. С. 38—43.
52. *Иванов Вяч.* О творчестве Валерия Брюсова // Утро России. 1916. 17 марта. С. 5.
53. *ЛН.* Т. 85. С. 539—540; Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 2. С. 383—384.
54. Цит. по: *Григорьян К.Н.* Ваан Терьян. Очерк жизни и творчества. Л., 1985. С. 111.
55. *Айхенвальд Ю.* Литературные наброски // Речь. 1916. 12 июня. С. 2.
56. *Лернер Н.:* 1) Облезлая радуга // Журнал журналов. 1916. № 27, июнь. С. 13; 2) Заметки читателя // Там же. 1915. № 2. С. 7—8.
57. Заметка «К биографии Н.О. Лернера. Факты»: *Ашукин—Щербаков.* С. 457—458.
58. *Полянин А.* [Парнок С.Я.] По поводу последних произведений Валерия Брюсова // Северные записки. 1917. № 1. С. 157—162; перепеч.: *Парнок С.* Сверстники. М., 1999. С. 73—84.
59. *Ашукин—Щербаков.* С. 474.
60. *ЛН.* Т. 27/28. С. 654.
61. Ипокрена. 1918. № 2/3. С. 33—40.
62. *Жирмунский В.* Валерий Брюсов и наследие Пушкина. С. 7—8.
63. *Мочульский К.* Возрождение Пушкина // Звено (Париж). 1924. 16 июня. С. 2; перепеч.: *Мочульский К.* Кризис воображения. Томск, 1999. С. 32—35.

К главе пятнадцатой

1. *Волошин.* С. 121.
2. Цит. по: *Измайлов А.* Литературный Олимп. С. 392.
3. Итоговое издание: *Авсоний.* Стихотворения / Изд. подгот. М.Л. Гаспаров. М., 1993 (переводы Брюсова: С. 223—227).
4. Гермес. 1911. № 9. С. 228—230 (подпись: А.М.).
5. Письмо Брюсову (7 мая 1911 г.): *Ашукин—Щербаков.* С. 353.
6. Исторический вестник. 1912. № 6. С. 1027—1028 (подпись: О.).
7. *Малеин А. В.Я.* Брюсов и античный мир // Известия Ленинградского государственного университета. Т. II. Л., 1930. С. 188.
8. *Иванов Ю.А.* К вопросу о религиозном мирозерцании Авзония. (Эпизод из истории падения язычества в Римской империи) // Журнал Министерства народного просвещения. 1916. Апрель. Отд. V. С. 138—164.
9. *Измайлов А.А.* Переписка с современниками. С. 163.
10. Цит. по: *Коншина Е.Н.* Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве. С. 133.
11. *Гаспаров М.Л.* Неизданные работы В.Я. Брюсова по античной истории и культуре // *Чтения-1971.* С. 189—208; далее цит. без сносок.

12. Цит. по: *Коншина Е.Н.* Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве. С. 133. Текст в квадратных скобках зачеркнут в оригинале.

13. *Измайлов А.А.* Хрестоматия новой литературы // Новое слово. 1912. № 1. С. 116–119; № 2. С. 113–116; № 11. С. 113–115 (цит. первая заметка).

14. *Игнатов И.* Литературные отголоски // Русские ведомости. 1912. 28 апр. С. 3; Там же. 1 сент. С. 2; *Адрианов С.* Критические наброски // Вестник Европы. 1912. № 7. С. 348–351; *Чудовский В.* «Русская мысль» и романы В. Брюсова, 3. Гиппиус, Д. Мережковского // Аполлон. 1913. № 2. С. 72–77.

15. Московские вести // Русские ведомости. 1912. 20 янв. С. 3.

16. Цит. по: *Коншина Е.Н.* Творческое наследие В.Я. Брюсова в его архиве. С. 132.

17. *Брюсов В.* О переводе «Энеиды» русскими стихами // *Вергилий.* Энеида. М.; Л., 1933. С. 39–46; *Брюсова И.* К истории перевода В.Я. Брюсова // Там же. С. 319–321, *Гаспаров М.Л.* Брюсов и буквализм. (По неизданным материалам к переводу «Энеиды») // Мастерство перевода. Сб. 8. М., 1971. С. 88–128.

18. Сны человечества. (Отчет) // Русское слово. 1913. 16 нояб. С. 7.

19. Предисловия и планы: СС. Т. 2. С. 459–464.

20. *Брюсов В.* Неизданная проза. М., 1934. С. 5–6.

21. К истории «Сборника финляндской литературы» // *Соболев А.Л.* Летейская библиотека. II. С. 112–131.

22. Переводы В.Я. Брюсова в «Еврейской антологии» / Вступ. заметка, публ. и примеч. Н.П. Сейранян // *НБ.* С. 312–329.

23. *ЛН.* Т. 27/28. С. 648–650; Письмо Блока к жене (9 февраля 1915) // *Блок А.А. — Менделеева-Блок Л.Д.* Переписка 1901–1917. С. 563; *Бурлюк Д.* Интересные встречи. М., 2005. С. 80–83 / Комментар. Л.А. Селезнева.

24. *РГБ.* 386. Карт. 105. Ед. хр. 2. ЛЛ. 22–22об.

25. *Гиппиус З.* Дневники. Т. 2. С. 215–217.

26. Переиздана в Ереване в 1966, 1973 и 1987 (репринт первого издания) гг.

27. Наиболее полное собрание: Брюсов и Армения. ТТ. 1–2. Ереван, 1988; далее цит. без сносок.

28. Переиздана в Ереване в 1940 и 1989 гг.

29. *Измайлов А.А.* Переписка с современниками. С. 227.

30. Там же. С. 213.

31. Реконструкция замысла: Армянская историческая проза и поэзия (V–XVIII вв.). Антология по проекту Валерия Брюсова. Ереван, 2009.

32. Встречи с Брюсовым // Сегодня. Утр. вып. (Рига). 1927. 9 окт. С. 4; перепеч.: *Северянин И.* «Я — гений...». СПб., 2013. С. 396–402.

33. Валерий Брюсов // *Шенгели Г.* Иноходец. Собрание стихов. М., 1997. С. 452–453.

34. ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 544–545 / Публ. Н.А. Трифонова.
35. Рихтер Н. В семье Брюсовых // *Сборник-1974* С. 181–182.
36. СС. Т. 7. С. 484–485 (примеч.).

К главе шестнадцатой

1. Бонч-Бруевич В. Д. Что читал Ленин в 1919 году // На литературном посту. 1926. № 2. С. 18.
2. ЛН. Т. 27/28. С. 657–658.
3. Там же. С. 654–656; СС. Т. 2. С. 446–447 (примеч.).
4. ЛН. Т. 85. С. 34; купюры в первой публикации.
5. Орлова М.В. В.Я. Брюсов – комиссар по регистрации произведений печати в 1917 году // Перелом 1917 года. Революционный контекст русской литературы. Исследования и материалы. М., 2017. С. 219–232. Оценка работы Брюсова: Боднарский Б.С. В.Я. Брюсов как библиограф // Советская библиография. Сб. 1/3. М., 1933. С. 159–160.
6. Ашукин–Шербаков. С. 494.
7. Эренбург И.Г. Собрание сочинений. Т. 8. С. 224.
8. НН. С. 144, 301 (примеч.).
9. Молодяков В.Э. Дарственные надписи Валерия Брюсова на книгах и фотографиях: итоги и перспективы изучения // *Чтения-2013*. С. 549–557.
10. ЛН. Т. 92. Кн. 1. С. 523.
11. Поступальский И. Поэзия Валерия Брюсова. С. 75–76.
12. Материалы. С. 144.
13. Там же.
14. Цит. по: Дурьлин С. В своем углу. М., 2006. С. 289.
15. Записки Отдела рукописей / ГБЛ. Вып. 29. М., 1967. С. 220 / Публ. Н.В. Зейфман.
16. Неоконченная статья «Времена тридцати тиранов» (1918) цит. по: Гаспаров М.Л. Неизданные работы В.Я. Брюсова по античной истории и культуре. С. 203–205.
17. Там же. С. 205 (вместо «Максимин» ошибочно напечатано «Максимиан»).
18. Цит. по: Молодяков В.Э. Валерий Брюсов: политический портрет // *Политкомментарии*. С. 51.
19. Смена вех. Прага, 1921; перепеч.: Литературное обозрение. 1991. № 7. С. 63–111; далее цит. по тексту републикации без сносок.
20. Антокольский П.Г. Валерий Брюсов // СС. Т. 1. С. 25; перепеч.: Антокольский П.Г. Собрание сочинений: В 4 т. Т. 4. М., 1973. С. 7–32.
21. ЛН. Т. 82. М., 1970. С. 105 / Публ. Л.М. Хлебникова.
22. Трифонов Н.А. Луначарский и Брюсов // *РЛ*. 1973. № 4. С. 7–8.
23. Шиперович Б. «И искра есть в лучах – моя...». (Страницы из жизни В.Я. Брюсова) // День поэзии. М., 1969. С. 244.

24. Гиппиус З. Дневники. Т. 2. С. 60–61, 128, 208.
25. Письмо А.М. Кожебаткину (22 ноября 1918 г.): *НЖ*. 2000. Кн. 218. С. 90–91 / Публ. В.Э. Молодякова.
26. *Прижизненные издания* (С. 63) датируют выход второй книги декабрем 1918 г., но известен экземпляр с инскриптом автора от августа 1918 г.: *РЛ*. 1991. № 4. С. 71.
27. Письмо В.И. Язвицкому (12 апреля 1918 г.): Записки Отдела рукописей. Вып. 29. С. 222–223 / Публ. А.Л. Паниной; поэма впервые: *ЛН*. Т. 27/28. С. 253–264 / Публ. Н.С. Ашукина.
28. Содержание: «Воспоминанье», «Роковой ряд», «Страсть и смерть», «Египетские ночи»; корректура в Музее книги РГБ: *Прижизненные издания*. С. 83.
29. Письма М.В. Сабашникову (2 и 24 мая, 11 сентября 1918 г.): Записки Отдела рукописей. Вып. 29. С. 223–226, 229–230 / Публ. А.Л. Паниной. В январе 1920 г. Брюсов заключил с Госиздатом договор на перевод «Энеиды», но издание не состоялось: см. его заявление от 18 октября 1920 г.: Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг. (Путеводитель по Фонду Госиздата). М., 2009. С. 141–143.
30. *НБ*. С. 398–399.
31. Издание художественной литературы в РСФСР. С. 175–176, 234.
32. На литературном посту. 1928. № 20/21. С. 125–128 (Б.Я. Гейман); перепеч.: Гетевские чтения. 1999. М., 1999. С. 235–239.
33. Официальный адрес: Настасьинский пер. 1/52. *ЛЖР*. Т. 1. Ч. 1. С. 63; далее сведения из этого издания приводятся без дополнительных указаний.
34. *Шершеневич*. С. 366.
35. Дневник Мачтета цит. без сносок по: «Так жили поэты...» (Шершеневич и мир литературной Москвы в дневнике Тараса Мачтета) // *Дроздов В.А. Dum spiro spero*. О Вадиме Шершеневиче, и не только. Статьи, разыскания, публикации. М., 2014. С. 627–777.
36. Статья Э.М. Бескина: «Живые альманахи» // *Театральная газета*. 1918. 24 марта. № 12. С. 8 (подпись: Э.Б.). Стих. «Табакерка» в *СС* (Т. 3. С. 371–372) датировано 19 марта 1918 г.
37. *Шершеневич*. С. 366–367.
38. Цит. по: *ЛЖР*. Т. 1. Ч. 1. С. 163.
39. *Спасский С.* Маяковский и его спутники. Л., 1940. С. 134–135.
40. Импровизация, реплика, полемика // *Арго А.* Звучит слово. Очерки и воспоминания. М., 1962. С. 79–89.
41. Из далеких двадцатых годов двадцатого века. (Исповедальная переписка фольклористов Б.М. и Ю.М. Соколовых). М., 2010. С. 203
42. Цит. по: *Павлович Н.* Воспоминания об Александре Блоке // *Прометей*. № 11. М., 1977. С. 239.

43. Горн. 1919. № 2/3. С. 113–114 (Н. Шварц). Издательский отзыв: Апология графомании // *Чудаков Г.* [Тиняков А.И.] Пролетарская революция и буржуазная культура. Казань, 1920. С. 59–71.

44. Книга и революция. 1921. № 10/11. С. 32–34; Брюсов как стиховед // *Томашевский Б.* О стихе. Л., 1929. С. 319–325. После отзыва Иванова (Три неизданные рецензии В.И. Иванова / Публ. [и примеч.] К.Ю. Постоутенко // *НЛО*. № 10 (1994) / Вячеслав Иванов. Материалы и публикации. С. 243–250) статья вышла в смягченном виде: *Якобсон Р.О.* Брюсовская стихология и наука о стихе // Научные известия Академического центра Наркомпроса. Сб. 2. Философия. Литература. История. М., 1922. С. 222–240; перепеч.: *Jakobson R.* Selected Writings. В.; N.Y., 2012. Vol. IX, 1. P. 121–143. Брюсов частично учел критику в новом издании: Основы стиховедения. Курс В.У.З. Ч. 1–2. М., 1924.

45. Из далеких двадцатых годов двадцатого века. С. 251.

46. *Рихтер Н.А.* Дом Брюсова / Публ. В.Э. Молодякова и М.В. Орловой // Звено. 2011. 2012 / Вестник музейной жизни. М.; СПб., 2015. С. 66–75; далее цит. без сносок.

47. *Ашукин–Щербаков*. С. 485–486.

48. *Погорелова Б.* Валерий Брюсов и его окружение // *НЖ*. 1953. Кн. 33. С. 193–194; перепеч.: Воспоминания о Серебряном веке. С. 40.

49. Обложка и одна из страниц альбома: *Ашукин Н.* Валерий Брюсов-филателист // *Огонек*. 1929. № 8. С. 13.

К главе семнадцатой

1. Письмо Брюсову (21 ноября 1921 г.) // *ЛН*. Т. 93. С. 552 / Публ. Е.А. Динерштейна.

2. Сообщение Б.И. Пуришева: *Ашукин–Щербаков*. С. 555–556.

3. Новая русская книга (Берлин). 1922. № 5. С. 33.

4. *Талызин М.* Указ. соч. С. 167–168; перепеч.: *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 539–540.

5. *Горбачев Г.* Памяти В.Я. Брюсова // Красный журнал для всех. 1924. № 11. С. 831–837.

6. Гонорарные документы (16 и 24 июля, 6 сентября 1919 г.): Издание художественной литературы в РСФСР. С. 28, 30, 45.

7. *Зайцев П.Н.* Воспоминания. М., 2008. С. 210–212, 682–683. 26 марта 1924 г. Госиздат постановил «немедленно приступить к подготовке издания сочинений [...] Пушкина — полное собрание сочинений в 6 томах под ред. В.Я. Брюсова» (Издание художественной литературы в РСФСР. С. 418), но проект не был осуществлен.

8. Книга и революция. 1921. № 1. С. 57–60; Там же. № 10/11. С. 32–34.

9. Рецензия: Художественное слово. 1920. Кн. 2. С. 65–66 (Н.С. Ашукин).

10. Документы Брюсова: История библиотечного дела в

- СССР. Документы и материалы. 1918–1920. М., 1975. С. 32–37, 100–113, 135–138, 209–210.
11. *НН.* С. 314–317; Записки Отдела рукописей. Вып. 29. С. 230–231, 233–234 / Публ. М.В. Чарушниковой.
12. Цит. по: *ЛЖР.* Т. 1. Ч. 1. С. 313.
13. Издание художественной литературы в РСФСР. С. 40.
14. Там же. С. 57, 61, 63, 79, 81–83, 86, 95, 97, 102–103, 105–109, 113, 115–116, 128–129, 134–139, 167.
15. Там же. С. 59–60.
16. Цит. по: *ЛЖР.* Т. 1. Ч. 1. С. 481.
17. Протокол заседания Коллегии НКП: Государственный архив Российской Федерации. Ф. 2306. Оп. 1. Ед. хр. 416. Л. 5. Сообщил В.А. Дроздков.
18. *Кириллов В.* Памяти В.Я. Брюсова // *Прожектор.* 1929. № 40, 6 окт. С. 15–16.
19. *Эренбург И.* Портреты русских поэтов. Берлин, 1922. С. 51; перепеч.: *Эренбург И.Г.* Портреты русских поэтов. СПб., 2002. С. 41–42.
20. Издание художественной литературы в РСФСР. С. 119–120.
21. *ЛН.* Т. 85. С. 241–246 / Публ. Т.В. Анчуговой; для Госиздата: *ВЛ.* 1965. № 5. С. 137–141 / Публ. А. Новикова и Д. Субботина; Литературная Армения. 1973. № 12. С. 83–85 / Публ. Ю. Фединского.
22. Издание художественной литературы в РСФСР. С. 136.
23. Последний опубликован: *Геворкян А.В.* Деятельность Валерия Брюсова в первые годы советской власти (Лито Наркомпроса) // *Перелом* 1917 года. С. 694–757.
24. Пролетарская культура. 1920. № 17/19. С. 98 (подпись: П. Рудокон).
25. Резолюция по докладу Брюсова цит. по: *ЛЖР.* Т. 1. Ч. 1. С. 683–684.
26. *ЛН.* Т. 80. С. 251 (фото).
27. *Трифонов Н.А.* Луначарский и Брюсов. С. 11.
28. *ЛН.* Т. 85. С. 806–807
29. *ЛН.* Т. 85. С. 253 (фото).
30. *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 394.
31. *Ходасевич В.* Некрополь. С. 361.
32. *Шершеневич.* С. 373.
33. *РГБ.* Ф. 386. Карт. 111. Ед. хр. 43.
34. Цит. по: *Молодяков В.Э.* Валерий Брюсов: политический портрет. С. 61–62.
35. Там же. С. 62.
36. Документы Троцкого: Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956. М., 2005. С. 50–54.
37. В. Брюсов в полемике с Л. Троцким. (Одна из последних рецензий Брюсова) / Публ. Н.А. Трифонова // *ВЛ.* 1989. № 9. С. 271–275.

38. Гроссман Л. Указ. соч. 507–508.
39. Шершеневич. С. 372–373.
40. Цит. по: ЛЖР. Т. 1. Ч. 1. С. 591.
41. Луначарский А. Литературные силуэты. М., 1925. С. 173.
42. Валерий Брюсов и Владимир Маяковский. (Скорбные мысли) // Бухарин Н. Этюды. М., 1932. С. 192–193; перепеч.: Бухарин Н. Революция и культура. М., 1993. С. 146–152.
43. В биохронике В.И. Ленина не отражено. Дата встречи неизвестна, но она состоялась вскоре после покушения 30 августа 1918 г. Воспоминания участника: Фомин С. Талантливый поэт-самоучка. К 75-летию со дня смерти И.З. Сурикова // Литературная газета. 1955. 7 мая. С. 2.
44. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 50. С. 234–235; Юров Ю. Родниковская новь // В мире книг. 1973. № 5. С. 28–29.
45. Брюсова И. [Предисловие] // Дневники. С. [VIII].
46. Ясинская З.И. Мой учитель, мой ректор // Чтения-1962. С. 317.
47. Записки Отдела рукописей. Вып. 29. С. 244–245 / Публ. А.Б. Сидоровой.
48. Сообщение Р.Л. Щербакова автору.
49. Валентинов Н. Указ. соч. С. 150.
50. Речь на юбилейном чествовании В.Я. Брюсова в Большом театре 17 дек. 1923 г. // ЛН. Т. 82. С. 245–261 (цит. С. 260) / Публ. Л.М. Хлебникова.
51. Фефер В.В. Брюсов в «Школе поэтики» / Публ. А.М. Смирновой / Предисл. и примеч. И.Ф. Кунина // ЛН. Т. 85. С. 799–826 (цит. С. 807–808).

К главе восемнадцатой

1. Новая российская энциклопедия. Т. 3(2). М., 2007. С. 20 (В.В. Полонский); Большая российская энциклопедия. Т. 4. М., 2006. С. 266 (Н.А. Богомолов).
2. Выгодский Д. О новых стихах // Петербург. 1921. № 1, дек. С. 29–30.
3. Печать и революция. 1921. № 3. С. 271–272.
4. ЛН. Т. 98. Кн. 2. С. 553–554 / Публ. Н.А. Трифонова.
5. Новая русская книга (Берлин). 1922. № 2. С. 18.
6. Косолапов П. Как был создан Всероссийский союз поэтов // Литературная Россия. 1967. 10 марта. С. 15.
7. Грузинов И. Собрание сочинений. М., 2016. С. 368.
8. Карпов Д. «Союзиада» Арго и история первых лет деятельности Всероссийского союза поэтов // ВЛ. 2007. № 1. С. 114.
9. Пятилетие Союза поэтов / Публ. К.Н. Суворовой // ЛН. Т. 85. С. 232–235.
10. Цит. по: Соболев А.Л. Летейская библиотека. I. С. 33–35.
11. Антокольский П. Валерий Брюсов // СС. Т. 1. С. 8–9.

12. *Шершеневич*. С. 369.
13. Там же. С. 368.
14. *Грузинов И.* Указ. соч. С. 368.
15. *Шершеневич*. С. 370–371.
16. Цит. по: Вечер импровизаций 5 августа 1920 г. // *Соболев А.Л.* Тургенев и тигры. С. 408, 402.
17. *Ашукин–Щербаков*. С. 547.
18. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 555–556 / Публ. Н.А. Трифонова. См.: Пастернак и Брюсов. К истории их отношений / Публ. Е.В. Пастернак // *Russia / Россия* (Torino). 1977. Vol. 3. P. 239–265.
19. Печать и революция. 1922. № 6. С. 293.
20. Звено (Париж). 1923. 26 февр. С. 3; перепеч.: *Мочульский К.* Кризис воображения. С. 323–324.
21. Утренники. Кн. 1. Пг., 1922. С. 120–122.
22. Утренники. Кн. 2. Пг., 1922. С. 155–156.
23. *Аннибал Б.* Поэзия или механика? (Опыт характеристики Валерия Брюсова) // *Вестник литературы*. 1921. № 12. С. 11–12; 1922. № 1. С. 11–12.
24. *Аннибал Б.* В.Я. Брюсов // *Наша газета*. 1926. 9 окт. С. 2.
25. *Оленев С.* [Родов С.А.] И было... (Из старой хроники) // *Горн*. 1922. № 1. С. 136–138; *Лернер Н.* Саморазоблачение Валерия Брюсова // *Жизнь искусства*. 1923. № 8. 27 февр. С. 16 (ответ Брюсова, не вошедший в *Среди стихов*: По поводу очередной критики // Там же. № 9. 6 марта. С. 6); *Полянин А.* [Парнок С.Я.] Дни русской лирики // *Шиповник*. Сборник литературы и искусства. Кн. 1. М., 1922. С. 157–161; перепеч.: *Парнок С.* Указ. соч. С. 85–98.
26. Цит. по: *ЛЖР*. Т. 1. Ч. 2. С. 361–362.
27. Цит. по: *Клейнборт Л.* Печатные органы интеллигенции из народа // *Северные записки*. 1915. № 7/8. С. 122.
28. *Арватов Б.* Контрреволюция формы. (О Валерии Брюсове) // *ЛЕФ*. 1923. № 1. С. 216–230; перепеч.: *Арватов Б.* Социологическая поэтика. М., 1928. С. 65–84.
29. На посту. 1923. № 1. С. 214 (подпись: ЛЕЧ).
30. Post-scriptum [к статье «Ответ Георгию Шенгели»] // *Печать и революция*. 1923. № 6. С. 87–88 (подпись: В.Б.). Poleмика с Шенгели касалась переводов из Верхарна.
31. *Луначарский А.* Брюсов и революция // *Печать и революция*. 1924. № 6. С. 3; перепеч.: *Луначарский А.* Собр. соч. Т. 1. М., 1963. С. 440–454.
32. *Асеев Н.* Советская поэзия за шесть лет / Публ. Л.Н. Таганова // *ВЛ*. 1967. № 10. С. 180.
33. Литературный архив. 5. С. 174–175.
34. *ЛН*. Т. 85. С. 541–543. Ответы Брюсова неизвестны.
35. *Бэлза С.И.* Данте и Брюсов // *Данте и славяне*. М., 1965. С. 67–94; *Брюсов В.* Данте — путешественник по загробью // *Дантовские чтения*. М., 1971. С. 229–233 / Публ. С.И. Гиндина.
36. *Шенгели Г.* Иноходец. С. 455.

37. *Эренбург И.* Собрание сочинений. Т. 8. С. 228.
38. *Трубниковский Ф.* Судья лукавый. (Валерий Брюсов и «Кузница») // *Рабочий журнал.* 1924. № 2. С. 141–145.
39. *Кириллов В.* Памяти В.Я. Брюсова. С. 16.

К главе девятнадцатой

1. Включая чтение в 1918/19 учебном году лекций по русской литературе (предложенный курс по истории древнего Рима был отвергнут) в Социалистической академии общественных наук, созданной декретом ВЦИК от 25 июня 1918 г.; к этой работе Брюсов был привлечен в августе 1918 г.: *Винокурова Н.Н.* Письма В.Я. Брюсова в Социалистическую академию общественных наук // *Чтения-1962.* С. 401–411.
2. *Луначарская-Розенель Н.* Память сердца. Воспоминания. М., 1965. С. 56–57.
3. В ЛЖР ее существование не отражено.
4. Преобразована в Школу поэтики (техникум) при ВЛХИ под руководством Адалис.
5. *Фефер В.В.* Указ. соч. С. 800–803, 812–819.
6. *Известия.* 1921. 20 нояб. С. 2.
7. Цит. по: *Лазовский П.П.* Подвижник мысли и труда // *Чтения-1962.* С. 338.
8. *Пуришев Б.И.* Воспоминания об учителе // *Чтения-1971.* С. 516–517; *Лазовский П.П.* Указ. соч. С. 336.
9. «Консерватория слова». Из воспоминаний Е.Б. Рафальской о Высшем литературно-художественном институте имени В.Я. Брюсова / Предисл., публ. и примеч. А.Л. Евстигнеевой // *РЛ.* 2001. № 2. С. 188–189.
10. *Пуришев Б.И.* Указ. соч. С. 517.
11. Письмо Иванову-Разумнику (17 июля 1920 г.): *Белый А., Иванов-Разумник.* Переписка. СПб., 1998. С. 207–208.
12. Из далеких двадцатых годов двадцатого века. С. 679, 701.
13. Высший литературно-художественный институт имени Валерия Брюсова. Программы и учебные планы. М., 1924.
14. Курс «Введение в историю античной литературы» в 1929 г. был подготовлен к печати бывшим студентом ВЛХИ В.И. Шевченко «по черновым наброскам покойного и записям слушателей, тщательно сопоставляемым и сверяемым между собой»; не издан: *Благоволитина Ю.П.* Архив В.Я. Брюсова. С. 89.
15. *Пуришев Б.И.* Указ. соч. С. 517–518.
16. «Консерватория слова». С. 192–194.
17. *Шенгели Г.* Иноходец. С. 457.
18. Там же. С. 519–520.
19. *Григорьев М.С.* Указ. соч. С. 22.
20. *Ясинская З.И.* Мой учитель, мой ректор. С. 316.
21. *НЖ.* 2006. Кн. 243. С. 171–172 / публ. В.Э. Молодякова.

22. Корчагин А. Из воспоминаний о Брюсове // *Чтения-1971*. С. 629.
23. «Консерватория слова». С. 190. Описание жизни студентов: *Смирнова-Козлова А.* В Брюсовском институте. М., 1998.
24. *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 552–553 / Публ. Н.А. Трифонова.
25. *Абов Г.* Воспоминания о Чаренце // Вместе с Чаренцом. Ереван, 1961. С. 128–132.
26. «Консерватория слова». С. 192.
27. Цит. по: *Смирнова-Козлова А.* В Брюсовском институте. С. 20.
28. *Лазовский П.П.* Указ. соч. С. 343, 345.
29. *Ясинская З.И.* Мой учитель, мой ректор. С. 317.
30. *Кормилов С.И.* В.Я. Брюсов и Московский университет // *Чтения-2002*. С. 5–22.
31. Отчет В.Я. Брюсова, члена Моссовета, бил. 840/1492, прикрепленного к Ф.О.Н. 1-го МГУ (октябрь 1923): *ЛН*. Т. 85. С. 251–254 / Публ. Н.А. Трифонова.
32. Переписка с редакцией журнала «Печать и революция» (1920–1923) / Вступ. ст., публ. и коммент. Т.В. Анчуговой // *ЛН*. Т. 98. Кн. 2. С. 572–582.
33. Предисловие к неосуществленному сборнику стихов «Planetaria» // *ЛН*. Т. 85. С. 236–239 / Публ. К.С. Герасимова.
34. *Гаспаров М.Л.* Академический авангардизм. Природа и культура в поэзии позднего Брюсова. М., 1995. С. 28–29.
35. *Рихтер Н.А.* В семье Брюсовых. С. 191; автор использовал свидетельства своих братьев Георгия (Юрия) и Андрея.
36. *Ланский Л.* Брюсов в начале 1920-х годов. Переписка с А. Кусиковым // *ВЛ*. 1976. № 7. С. 206–215 (цит. С. 214). 2 письма Брюсова перепечатаны здесь с купюрами («Маяковский перешел на шаблон») из: *Nivat G. Trois correspondants d'Aleksandr Kusikov // Cahiers du monde russe et soviétique*. 1974. Vol. XV. № 1/2. P. 203–206.
37. Цит. по: *ЛЖР*. Т. 1. Ч. 2. С. 467.
38. Студенческая мысль (Саратов). 1923. № 3/4. С. 52 (В.А. Сушицкий; подпись: В.С.).
39. Коммуна (Калуга). 1922. 4 окт. С. 3 (В. Корнеев; подпись: В. Кор); *Бахтин М.М.* Собрание сочинений. Т. 2. М., 2000. С. 398.
40. *Мочульский К.* Валерий Брюсов. С. 180–181.
41. *Саянов В.* Валерий Брюсов // *Брюсов В.* Стихотворения. Л., 1959. С. 34.
42. *Поступальский И.*: 1) К вопросу о научной поэзии // Печать и революция. 1929. № 2/3. С. 61–65; 2) Поэзия Валерия Брюсова. С. 90–116.
43. *Герасимов К.С.* Научная поэзия Брюсова // *Чтения-1962*. С. 89–126 (цит. С. 119).
44. *Герасимов К.С.* Книга стихов В.Я. Брюсова «Меа» // *Чтения-1973*. С. 144.
45. *Максимов Д.Е.* Брюсов. Поэзия и позиция. С. 236–238.

46. *Гаспаров М.Л.* Академический авангардизм. С. 28.
47. *Мочульский К.* Валерий Брюсов. С. 182.
48. Красная новь. 1924. № 7/8. С. 382–383 (К.Н. Лаврова); Последние песни Брюсова. (Стилистический анализ сборника «Меа») // *Шувалов С.В.* Семь поэтов. М., 1927. С. 159–176.
49. Полностью: *Молодяков В.* Тринадцать поэтов. Портреты и публикации. М., 2018. С. 343–354.
50. *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 564 / Публ. Н.А. Трифонова.
51. *Шершеневич.* С. 353.
52. *ЛН.* Т. 82. С. 262–263 / Публ. Л.М. Хлебникова.
53. Наркомпрос хлопочет об ордене Трудового Красного Знамени для Валерия Брюсова. Правильно ли это? (Анкета «Вечерней Москвы») // Вечерняя Москва. 1923. 14 дек. С. 3.
54. Валерию Брюсову. М., 1924. С. 77.
55. Там же. С. 85.
56. Там же. С. 19–53.
57. *Зайцев П.Н.* Воспоминания. С. 216–217.
58. Премьера (в главной роли – А.Г. Коонен) состоялась 8 февраля 1922 г. Отклики: *Луначарский А.* Камерный театр. «Федра» // Известия. 1922. 11 февр. С. 3; *Бескин Э.* «Федра» // Театральная Москва. 1922. № 27, 14–19 февр. С. 13–14; *Коонен А.* Страницы жизни. М., 1975. С. 270–276, 284–286.
59. *ЛН.* Т. 82. С. 245–261 / Публ. Л.М. Хлебникова. Ответное слово Брюсова: *ЛН.* Т. 85. С. 239–240 / Публ. Н.А. Трифонова.
60. *Брик Л.Ю.* Чужие стихи. Глава из «Воспоминаний» // В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 353.
61. *Асеев Н.* Валерий Брюсов. С. 3.
62. *Асеев Н.* Советская поэзия за шесть лет. С. 181.
63. *Чуковский.* Т. 14. С. 548–549.
64. Валерию Брюсову. С. 80–84.
65. Письмо О.А. Ресневич-Синьорелли (3 февраля 1924 г.) // Минувшее. 8. С. 122.
66. *Ланский Л.* Указ. соч. С. 206–209.
67. *Флейшман Л.* Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003. С. 34.
68. Свидетельство М.А.Тарловского: Там же. С. 40.
69. *Степанян А.* Встречи с поэтом // Литературная Армения. 1959. № 5. С. 107–109.
70. 16 марта 1924 г. Брюсов благодарил М.Л. Лозинского за поправки к переводу По; его же замечания к переводам из Верхарна (27 июля 1922 г.) остались без ответа: *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 565–566 / Публ. Н.А. Трифонова.
71. Известия. 1924. 14 марта. С. 6. Между 29 января и 3 февраля 1924 г. Луначарский известил Брюсова, что «бумаги давно пошли в СНК» (Записки Отдела рукописей. Вып. 29. С. 252 / Публ. В.М. Федоровой), а 21 февраля официально ходатайствовал о пенсии Брюсову в «150 червонных рублей» (*ЛН.* Т. 82. С. 263–264 / Публ. Л.М. Хлебникова). После смерти Брюсова пенсия была сохранена за его вдовой.

72. Цит. по: *Соболев А.Л.* Летейская библиотека. Т. I. С. 132.
73. *РГБ. Ф. 386.* Книги. 1225.
74. 4 письма Шевцовой и 2 черновых письма Брюсова: *ЛН.*
- Т. 98. Кн. 2. С. 566–571 / Публ. Н.А. Трифонова.
75. *Альтман М.С.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 25–27.
76. *Мануйлов В.* О Вячеславе Иванове // *Иванова Л.* Воспоминания. Книга об отце. М., 1992. С. 358.
77. *Прижизненные издания.* С. 73.
78. Сообщения Д.В. Иванова автору книги в июне-июле 1991 г. (Москва) и в декабре 1993 г. (Гарньяно, Италия).
79. *Материалы.* С. 148–149.
80. *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 271 (фото).
81. Последний отдых Брюсова // *Гроссман Л.* Указ. соч. С. 509–517.
82. *Белый А.* Начало века. С. 516–517.
83. *Белый А., Иванов-Разумник.* Переписка. С. 304.
84. *Ашукин—Щербаков.* С. 627–628.
85. *ЛН.* Т. 98. Кн. 2. С. 270–271.
86. Там же. С. 271, 279.
87. Мемуарный очерк М. Грюнер «Памятный год» / Вступ. заметка и публ. В.Э. Молодякова // *Чтения-2010.* С. 409–412.
88. *Материалы.* С. 149.
89. Рудин из Брюсовского института. (Письма Г.А. Шенгели М.М. Шкапской. 1923–1932) / Публ. С. Шумихина // *Минувшее.* 15. М.; СПб., 1994. С. 264; далее цит. без сносок.
90. *Материалы.* С. 149.
91. У профессора М.П. Кончаловского // *Известия.* 1924. 10 окт. С. 5; заключение Шервинского: У профессора М.П. Кончаловского // *Известия.* 1924. 10 окт. С. 5; заключение Шервинского: *Ашукин—Щербаков.* С. 629–630.

К главе двадцатой

1. *Шенгели Г.* Иноходец. С. 458–459.
2. Большая цензура. С. 89; Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б). Повестки дня заседаний. 1919–1952. Каталог. Т. I. 1919–1929. М., 2000. С. 331.
3. Издание художественной литературы в РСФСР в 1919–1924 гг. С. 431.
4. *Ясинская З.И.* Мой учитель, мой ректор. С. 348; Сборник памяти В.Я. Брюсова // *Правда.* 1924. 11 окт. С. 3.
5. *Луначарский А. В.Я.* Брюсов // *Правда.* 1924. 11 окт. С. 3.
6. *Лелевич Г.* Валерий Брюсов // *Красная звезда.* 1924, 14 окт. С. 4.
7. *Городецкий С. В.Я.* Брюсов // *Известия.* 1924. 11 окт. С. 3.
8. Цит. по: *Соболев А.Л.* Летейская библиотека. II. С. 321–322.
9. *Коган П.С.* Валерий Брюсов // *Красная газета.* 1924, 10 окт. С. 3.

10. Там же. С. 2; перепеч.: *Кузмин М.* Проза и эссеистика. Т. 3. Эссеистика, критика. М., 2000. С. 338. См. также: *Кузмин М.* Валерий Брюсов // Жизнь искусства. 1924. № 43. 21 окт. С. 1–2; перепеч.: *Кузмин М.* Проза и эссеистика. Т. 3. С. 253–255.

11. *Чулков Г.* Указ. соч. С. 111.

12. *Белый А., Иванов-Разумник.* Переписка. С. 312.

13. У открытой могилы // Известия. 1924. 14 окт. С. 6.

14. *Шершеневич.* С. 377–378.

15. Цит. по: *НН.* С. 322.

16. Цит. по: *Лавров А. В.* Символисты и другие. С. 175–176.

17. Цит. по: *Ходасевич В.* Некрополь. С. 370.

18. *ЛН.* Т. 85. С. 544–545.

19. *Иванов Вяч.* Собрание сочинений. Т. III. Брюссель, 1981. С. 851.

20. Книга для чтения по истории новейшей русской литературы / Сост., снабдил примеч. и ввод. ст. В. Львов-Рогачевский. Т. 2. Л., 1925 [на обл.: 1926]. С. 211–213.

21. *Штейнберг А.* Друзья моих ранних лет. Paris, 1991. С. 17.

22. Звено. 1924. 20 окт.; перепеч.: *Мочульский К.* Кризис воображения. С. 370–371.

23. *Кн. Д. Святополк-Мирский* Валерий Яковлевич Брюсов // Современные записки (Париж). 1924. Кн. XXII. С. 414–426; перепеч.: *Святополк-Мирский Д. П.* Поэты и Россия. СПб., 2002. С. 84–96.

24. *Каменецкий Б.* [Айхенвальд Ю. И.] Литературные заметки // Руль (Берлин). 1925. 8 апр. С. 3.

25. Встреча с эмиграцией. Из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов. М.; Париж, 2001. С. 207–208.

26. Z kulturního života. Básnik Brjusow zemfel // Národní listy. Večerní vydání (Praha). 1924. 10 října. S. 1 (без подписи); Walerij Brjussow gestorben // Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe). 1924. 11 Oktober. S. 7 (без подписи); Walerius Brjusow †. Raadio tõi eile teate Walerius Brjusowi surmast // Postimees (Tartu). 1924. 14 (1) oktoobril. L. 4 (без подписи). Сообщил А. В. Бурлешин.

27. Из биографии В. Я. Брюсова // Известия. 1924. 10 окт. С. 2 (без подписи).

28. Dans l'Union des Républiques socialistes soviétiques // L'Humanité (Paris). 1924. 27 octobre. P. 3 (без подписи); Walerij Brjusow död // Hufvudstadsbladet (Helsingfors). 1924. 16 oktober. S. 11 (без подписи); Runoilija Brjussow kuollut // Suomen Sosialidemokraatti (Helsinki). 1924. 18 lokakuun. L. 8 (без подписи). Сообщил А. В. Бурлешин.

29. —*vh*—. Walerij Brjusow // Národní listy (Praha). 1924. 14 října. S. 5; Zgon Brjusowa // Robotnik (Warszawa). 1924. 14 października. S. 3 (без подписи). Сообщил А. В. Бурлешин.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА В.Я. БРЮСОВА

- 1873, 1 (13) декабря — родился в Москве.
- 1877 — переезд семьи Брюсовых в дом на Цветном бульваре; первый сохранившийся литературный опыт (комедия «Обед»).
- 1881 — первые стихотворные и прозаические опыты, сохраненные автором.
- 1884 — поступил в частную гимназию Ф.И. Креймана во 2-й класс; первая публикация (журнал «Задушевное слово», № 16).
- 1890, осень — перешел в частную гимназию Л.И. Поливанова.
- 1891 — составил первое собрание своих стихов.
- 1892, октябрь—декабрь — знакомство со статьей З.А. Венгеровой «Поэты-символисты во Франции» и текстами французских символистов.
- 1893, май — потрясение из-за смерти возлюбленной Е.А. Красковой; июнь — окончил гимназию Л.И. Поливанова.
Август — поступил на историко-филологический факультет Московского университета.
- 1894 — выход 1-го (1–8 марта) и 2-го (1–8 октября) выпусков альманаха «Русские символисты» и перевода книги П. Верлена «Романсы без слов» (16–23 декабря). Знакомство с К.Д. Бальмонтом, А.А. Курсинским, А.М. Добролюбовым, Вл.В. Гиппиусом, М.В. Самыгиным (М. Криницким), В.М. Фриче и др.
- 1895 — выход 3-го выпуска альманаха «Русские символисты» (10–23 августа) и сборника «Chefs d'oeuvre» («Шедевры») (24–31 августа).
- 1896 — выход второго издания сборника «Chefs d'oeuvre» (1–8 апреля).
Июнь—август — поездка в Пятигорск; выход сборника «Me eum esse» («Это — я») (16–23 декабря; дата 1897).
- 1897, январь — поездка в Петербург, знакомство с Ф. Сологубом.
Май—июнь — первая поездка за границу, в Германию.
28 сентября — женитьба на И.М. Рунт.
- 1898 — выход трактата «О искусстве» (24–30 ноября; дата 1899).
Декабрь — поездка в Петербург, знакомство с К.К. Случевским, Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус, И.И. Ореусом (И. Коневским), Н.М. Минским и др.
- 1899, апрель—май — сдал государственные экзамены в университете; основание С.А. Поляковым издательства «Скорпион» при ближайшем участии Брюсова; выход коллективного сборника «Книга раздумий» (24–30 ноября).
- 1900 — выход сборника «Tertia Vigilia» («Третья стража») (16–23 октября).
- 1901 — выход 1-го выпуска альманаха «Северные цветы» при ближайшем участии Брюсова (пять выпусков в 1901–1911 годах).

- 5 декабря — знакомство с Б.Н. Бугаевым (А. Белым)
- 1902, май—июль — поездка в Италию с женой и сестрой Надеждой.
- 1903, январь — знакомство с А.А. Блоком и М.А. Волошиным.
- Апрель—май — поездка с женой в Париж, знакомство с Вяч. Ивановым; выход сборника «Urbi et Orbi» («Граду и Миру») (октябрь); сотрудничество в журнале «Новый путь».
- 1904, январь — начало издания С.А. Поляковым журнала «Весы» при фактическом редакторстве Брюсова (до января 1909 года).
- Ноябрь — начало романа с Н.И. Петровской.
- 1905, февраль — несостоявшаяся дуэль с А. Белым.
- Июль — начало работы над романом «Огненный ангел»; выход «Стихов и современности» Э. Верхарна в переводе Брюсова (июнь) и сборника «Stephanos» («Венок») (декабрь; дата 1906).
- 1906 — выход книги рассказов «Земная ось» (декабрь; дата 1907).
- 1907, 15 мая — знакомство с Н.С. Гумилевым; роман с В.Ф. Комиссаржевской; выход 1-го тома собрания стихов «Пути и перепутья» (7—14 декабря; дата 1908), книги «Лицейские стихи Пушкина» (первая половина года).
- 1908 — выход 2-го тома «Путей и перепутья» (10—17 апреля) и романа «Огненный ангел» в двух частях (25 января — 1 февраля, 13—20 ноября).
- 1909, 27 апреля — речь на праздновании столетия Н.В. Гоголя в Обществе любителей российской словесности; выход отдельного издания речи под заглавием «Испепеленный» (11—25 июня; 2-е изд. 10—17 марта 1910), сборника «Все напевы» (4—11 марта) как 3-го тома «Путей и перепутий», перевода трагедии Э. Верхарна «Елена Спартанская» (21—28 января), антологии «Французские лирики XIX века» (2—9 июля). Избрание председателем дирекции Московского литературно-художественного кружка (до 1918 года).
- 1910, конец августа — возглавил литературный отдел журнала П.Б. Струве «Русская мысль» (до ноября 1912 года); выход второго издания книги рассказов «Земная ось» (1—7 октября).
- 1911, весна — знакомство с Н.Г. Львовой; выход «Собрания стихов» П. Верлена в переводах Брюсова (30 марта — 6 апреля) и сборника статей «Далекие и близкие» (20—27 октября; дата 1912).
- 1912 — выход сборника «Зеркало теней» (20—27 марта).
- 1913, март — начало издания «Полного собрания сочинений и переводов» (ПССП) (до июня 1914 года вышли восемь томов из 25); выход романа «Алтарь Победы» в виде томов 12 и 13 ПССП (6—13 августа и 17—24 сентября), сборника рассказов «Ночи и дни» (8—22 апреля), сборника очерков «За моим окном» (3—10 июня), анонимного сборника «Стихи Нелли» (15—23 июля).
- 24 ноября — самоубийство Н.Г. Львовой.

- 1914, 6 августа — премьера фильма Е. Бауэра по сценарию Брюсова «Жизнь в смерти» (не сохранился).
- 13 августа — выезд на фронт в качестве корреспондента газеты «Русские ведомости».
- 1915, начало января — прекращение издания ПССП.
- 23 мая — возвращение с фронта в Москву.
- 26 июня — встреча с представителями Московского армянского комитета, после которой Брюсов начал работу над антологией «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней» (вышла 23–30 августа 1916 года); выход собрания сочинений Каролины Павловой под редакцией Брюсова (29 сентября — 6 октября).
- 1916, январь — поездка в Тифлис, Баку и Ереван с лекциями об армянской поэзии; выход сборников «Семь цветов радуги» (28 января — 4 февраля) и «Избранные стихи. 1897–1915» (4–11 февраля), книг прозы «Обручение Даши» (3–10 марта) и «Рея Сильвия. Элули, сын Элули» (23–30 августа); работа над «Летописью исторических судеб армянского народа» (вышла в 1918 году).
- 1917, январь — поездка в Баку с лекциями о Пушкине, Верхарне и Атлантиде.
- Март–апрель — работа над брошюрой «Как прекратить войну» (вышла 26 августа — 9 сентября).
- 27 марта — назначен председателем Комиссариата по регистрации произведений печати в Москве.
- Лето — в семье Брюсовых поселился племянник И.М. Брюсовой Николай Филипенко (1916–1955).
- 1918, май–июнь — начало сотрудничества с советскими учреждениями.
- 26 июня — договор с Госиздатом на подготовку собрания сочинений Пушкина (единственный том вышел в начале апреля 1920).
- Июль — назначен заведующим Библиотечным отделом Наркомпроса и Московским библиотечным отделением; выход сборника «Опыты по метрике и ритмике, по евфонии и созвучиям, по строфике и формам» (август).
- 1919 — выход «Краткого курса науки о стихе» (19 августа — 16 сентября) и массовых изданий стихотворений Пушкина под редакцией Брюсова (30 ноября — 11 декабря).
- 1920, 21 мая — принят в члены ВКП(б).
- 27 мая — избран председателем Всероссийского союза поэтов (до начала февраля 1921).
- Июль — начало романа с А. Адалис.
- 22 ноября — назначен заведующим Литературным отделом Наркомпроса (до 25 января 1921 года); выход сборника «Последние мечты» (сентябрь).
- 1921 — выход сборника «В такие дни» (ноябрь).

- 16 ноября* — открытие Высшего литературно-художественного института под руководством Брюсова.
- 1922* — выход сборников «Миг» (март), «Дали» (июнь) и «Кругозор» (1 ноября — 31 декабря).
- 1923* — выход «Поэм» Э. Верхарна в переводе Брюсова (1–15 февраля).
- 16–17 декабря* — празднование юбилея Брюсова.
- 1924* — выход «Полного собрания поэм и стихотворений» Э. По в переводе Брюсова (16–30 июня) и книги «Основы стиховедения» (1–15 мая).
- Июль–август* — поездка в Алупку с женой и Колей Филипенко, затем пребывание в Коктебеле у Волошина.
- 26 сентября* — начало последней болезни.
- 9 октября* — скончался от крупозного воспаления легких.
- 12 октября* — похоронен на Новодевичьем кладбище.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Основные издания текстов Брюсова (в хронологическом порядке):

Дневники. 1891–1910 / Пригот. к печ. И.М. Брюсова / Примеч. Н.С. Ашукина. М., 1927.

Письма В.Я. Брюсова к П.П. Перцову. 1894–1896 гг. (К истории раннего символизма). М., 1927.

Гете И.В. Фауст. Часть первая / Пер. В. Брюсова / Вступ. ст. П.С. Когана и А.Г. Габричевского. М.; Л., 1932.

Вергилий. Энеида / Пер. В. Брюсова и С. Соловьева / Ред., вступ. ст. и коммент. Н.Ф. Дератани. М.; Л., 1933.

Собрание сочинений: В 7 т. / Под общ. ред. П.Г. Антокольского [и др.] М., 1973–1975.

Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов / [Ред. А.Н. Дубовиков, Н.А. Трифонов.] М., 1976.

Повести и рассказы / Сост., вступ. ст. и примеч. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова. М., 1988.

Брюсов и Армения / Сост., вступ. ст. и примеч. К.В. Айвазяна, С.К. Дароняна, Г.А. Татосяна. Кн. 1–2. Ереван, 1988.

Летопись исторических судеб армянского народа / Предисл. О.Т. Ганалаяна. Ереван, 1989.

Среди стихов. 1894–1924. Манифесты, статьи, рецензии / Сост. Н.А. Богомолов и Н.В. Котрелев / Вступ. ст. и коммент. Н.А. Богомолова. М., 1990.

Литературное наследство. Т. 98. Валерий Брюсов и его корреспонденты / Отв. ред. Н.А. Трифонов. Кн. 1–2. М., 1991, 1994.

Из моей жизни. Автобиографическая и мемуарная проза / Сост., подгот. текста, послесл. и коммент. В.Э. Молодякова. М., 1994.

Зарубежная поэзия в переводах Валерия Брюсова / Сост., [предисл.,] коммент. С.И. Гиндина. М., 1994.

Неизданное и несобранное. Стихотворения. Проза. Венок Брюсову. Воспоминания о Брюсове. *Varia* / Сост., подгот. текста и коммент. В.Э. Молодякова. М., 1998.

Заря времен. Стихотворения. Поэмы. Пьесы. Статьи / Сост., подгот. текста, [предисл.] и коммент. С. Гиндина. М., 2000.

Валерий Брюсов, Нина Петровская. Переписка, 1904–1913 / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. Н.А. Богомолова, А.В. Лаврова. М., 2004.

Рене Гиль – Валерий Брюсов. Переписка. 1904–1915 / Публ., вступ. ст. и коммент. Р. Дубровкина. СПб., 2005.

Неизвестный Брюсов. (Публикации и републикации) / Сост. Э.С. Даниелян. Ереван, 2006.

В эту минуту истории. Политические комментарии 1902–1924 / Сост., вступ. ст., подгот. текста и примеч. В.Э. Молодякова. М., 2013.

Письма неофициального корреспондента. Письма к жене (август 1914 – май 1915) / Общ. ред., сост., подгот. текста, пред. и коммент. М.В. Орловой. М., 2015.

Драматургия / Сост. и автор примеч. Даниелян Э.С. / Вступ. ст. Страшкова О.К. / Подгот. текста Чулян А.Г. М., 2016.

Справочные издания

Библиография В.Я. Брюсова. 1884–1973 / Сост. Э.С. Даниелян, [Г.И. Дербенев, Р.Л. Щербаков] / Ред. К.Д. Муратова. Ереван, 1976.

Прижизненные издания Валерия Яковлевича Брюсова. Каталог / Сост. Л.М. Ельницкая, Г.А. Сусликова. М., 1985.

Материалы к библиографии В.Я. Брюсова. 1974–1993 / Сост. Э.С. Даниелян. Ереван, 2010.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление.....	6
Книга первая. ХОЛОД УТРА (1873—1897).....	9
<i>Глава первая.</i> «Мечтающий о славе и победах»	10
<i>Глава вторая.</i> «Я рожден поэтом...»	27
<i>Глава третья.</i> «Путеводная звезда в тумане»	44
<i>Глава четвертая.</i> Искусство быть «Валерием Брюсовым» ..	66
<i>Глава пятая.</i> «Полдень Явы».....	87
Книга вторая. ПОСТРОЕНИЕ ФАЛАНГИ (1897—1906) ...	119
<i>Глава шестая.</i> «По-европейски скроенный москвич» ..	120
<i>Глава седьмая.</i> «Скорпион»	142
<i>Глава восьмая.</i> «Граду и миру».....	163
<i>Глава девятая.</i> «Весы»	186
<i>Глава десятая.</i> «Память вражды и любви»	213
Книга третья. ЧАША ИСПЫТАНИЙ (1906—1917).....	237
<i>Глава одиннадцатая.</i> «Раскол в символистах»	238
<i>Глава двенадцатая.</i> «Торжество победителей».....	267
<i>Глава тринадцатая.</i> «Любуюсь вами, ваш огонь деля...» ..	302
<i>Глава четырнадцатая.</i> «Высоких зрелищ зритель»	328
<i>Глава пятнадцатая.</i> «Сны человечества»	355
Книга четвертая. В ТАКИЕ ДНИ (1917—1924).....	375
<i>Глава шестнадцатая.</i> «Повеял вихрь и разметал Россию...»	376
<i>Глава семнадцатая.</i> «Товарищ Брюсов»	401
<i>Глава восемнадцатая.</i> «Дом видений»	422
<i>Глава девятнадцатая.</i> «С Пифагором слушай сфер сонаты»	447
<i>Глава двадцатая.</i> «Я о душе твоей молюсь, Валерий»..	477
Примечания.....	488
Основные даты жизни и творчества В. Я. Брюсова	537
Краткая библиография	541

Молодяков В. Э.

М 75 Валерий Брюсов. Будь мрамором / Василий Молодяков. — М.: Молодая гвардия, 2020. — 543[1] с.: ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1770).

ISBN 978-5-235-04234-6

Имя великого русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), вождя символизма и реформатора литературы, известно каждому образованному человеку, но его биография появляется впервые. Книга содержит пронизательный анализ жизненных и творческих коллизий, сплавленных в увлекательный «жизнетворческий» текст. Вдохновенный поэт и требовательный мастер, мудрый учитель и вечный ученик, мистик и рационалист, империалист и большевик, Брюсов-человек предстает перед читателем во всей своей «стообразной сути». Литературные произведения, мемуары, дневники, письма Брюсова и его современников, друзей и врагов, послужили автору материалом для критического жизнеописания, в котором из мозаики фактов складывается достоверный портрет уникальной творческой личности в контексте эпохи, обильной драматическими событиями.

УДК 821.161.1.0(092)

ББК 83.3(2Рос=Рус)

знак информационной
продукции **16+**

Молодяков Василий Элинархович

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

Будь мрамором

Редактор А. Ю. Сергеева-Клятис

Художественный редактор К. В. Забусик

Технический редактор М. П. Качурина

Корректор А. Ю. Обод

Сдано в набор 08.11.2018. Подписано в печать 27.11.2018. Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1. Печать офсетная. Гарнитура «Newton». Усл. печ. л. 28,56+1,68 вкл. Тираж 3000 экз. Заказ № 1915220.

Издательство АО «Молодая гвардия». Адрес издательства: 127055, Москва, Сушевская ул., 21. Internet: <http://gvardiya.ru>. E-mail: dsel@gvardiya.ru

arvato
BERTELSMANN
Supply Chain Solutions

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ООО «Ярославский полиграфический комбинат»
150049, Россия, Ярославль, ул. Свободы, 97

ISBN 978-5-235-04234-6

ISBN 978-5-235-04234-6



9 785235 042346 >

М О Л О Д А Я Г В А Р Д И Я